Виктор АСТАФЬЕВ

Виктор АСТАФЬЕВ

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор

АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•

Том
второй

•

ПЕРЕВАЛ

СТАРОДУБ

ЗВЕЗДОПАД

КРАЖА

Повести

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997

ББК 84Р7
Л91

Художественное оформление
А. Озеревской и А. Яковлева

Астафьев В. П.
А91 Собрание сочинений: В 15 т. Т. 2. Повести. — Красноярск: ПИК «Офсет», 1997 — 496 с.

Во второй том Собрания сочинений В. П. Астафьева вошли повести, написанные им в конце 50—60-х годов (к повести "Звездопад", искореженной в "идейных целях" тогдашними комсомольскими публикаторами, автор вернулся впоследствии); "Перевал" рассказывает о горестной судьбе мальчика, оставшегося без матери, и о добрых людях, приютивших сироту в трудный час; повесть эта стала своеобразным "литературным перевалом" писателя. Герой "Стародуба" тоже появляется перед читателями мальчиком и, вырастая, познает все сложности жизни. В "Звездопаде" юноша-сибиряк, раненный на войне, встречает в госпитале свою первую любовь. "Кража" — повесть о жизни подростка в детском доме в Заполярье.

© В. Астафьев, 1997
© А. Озеревская, А. Яковлев
Оформление, 1997
© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

ПЕРЕВАЛ

Повесть

Светлой памяти
матери моей
Лидии Ильиничны

ДАЛЕКИЙ ПОСЕЛОК

По всей стране стучали звонко топоры. Россия строилась и обновлялась. В большом сибирском городе, чуть повыше старого железнодорожного моста, на берегу Енисея, как-то разом, вдруг поднялась тощая труба с искрогасителем и начала обильно окуривать небо едучим опилочным дымом, здесь воздвигался и быстро рос деревообделочный комбинат — сокращенно ДОК. Само собой, комбинату, да еще деревообделочному, требовался и требовался лес.

И вот двинулись в таежный край, на реку Мару, плотники и срубили в разных местах по бараку для лесозаготовителей. К баракам один по одному присоединились домишки, и получились поселки.

Такой вот поселок как-бы внезапно возник и утвердился возле устья речки Шипичихи. Тому, кто полюбопытствовал бы узнать, когда именно начал свою жизнь этот рабочий поселок, надо отыскать под застрехой барака продолговатую, неровно выпиленную дощечку. На дощечке каленой проволокой выжжена секира, а под ней: **«12/VIII — 1929 года — заштрафовано».**

Шипичихинские бабы так разъясняли друг другу значение этого слова:

— Запали барак с любого угла, только загодя вытащи оттуда ребятишек, и пусть он сгорит, и государство все покроет, вплоть до наперстка...

Четыре дома на высоком полуобвалившемся яру, среди них длинный барак, прогнутый, как седло,— это и есть поселок Шипичиха. Чуть в стороне, в устье речки Шипи-

чихи, стоит еще один дом с множеством пристроек. В нем живет объездчик. Но шипичихинцы почему-то этот дом к поселку не причисляют.

Объездчик живет богато. У него есть даже граммофон, который он заводит на Новый год и на Первое мая. Чтобы не ходить далеко по ягоды, объездчик загородил растительность, какая густо населилась в устье речки. В ограду попали черемуха, несколько берез, ивняк и даже одна пихта. Все это называется садом, хотя никто ничего здесь не садил. Среди кустарников и деревьев стоят на ножках ульи, и здесь же судорожно култыхает спутанный конь, звякая боталом. Не любят в поселке хитроватого объездчика и оттого не считают его своим.

Поселок получил свое название от речки. А вот почему так именуется речка, даже ушлый объездчик толком не знает. Может быть, потому, что в устье речки, в небольшом омуте все лето колышется белая подушка пены и шипит она так, будто под ней упрятались рассерженные гусаки. А, может, зовут речку Шипичиха оттого, что по склонам гор, между которых она петляет, расселился ежистый шиповник. У сибирских цветов и трав сдержанные или уж чересчур дурманящие запахи. Но когда зацветает шиповник, серые горы становятся нарядными, и по распадкам ветер кружит тучи ярких лепестков, и отовсюду наплывает густой, нездешний дух. Такой дух, что даже ко всему привычные лесные люди умиляются, втягивают его носом. Впрочем, они не только нюхают, но и горстями собирают лепестки, наметанные между камнями, ситами вылавливают их из воды, сушат и зимой заваривают вместо чая.

Основное население Шипичихи — лесозаготовители-сезонники. Сейчас их в поселке нет. В бараке заняты всего две комнаты. В одной из них живет Тимофей Хряпов — сторож лесозаготовительного добра: веревок, саней, конской сбруи и не звонящего летом телефона. Сторожем он числится, а на самом деле контора вменила ему в обязанность: чинить сани, латать и сшивать сбрую, сталкивать бревна, обсыхающие на берегу. Всего-то и не упомнить, что велела делать контора Тимофею Хряпову. Может, оттого он больше спит на полатях или сидит на берегу — ждет баркас с Усть-Мары. На баркасе привозят из сплавной конторы зарплату, продукты, водку, газеты, кинопередвижку и распоряжения от начальства.

Дождавшись баркаса, Тимофей Хряпов напивается,

отводит душу и потом делается добрым, работящим. Он играючи ворочает бревна за целую артель, разжигает горн в дощатой маленькой кузне, гнет полозья для саней, клепает ободья, паяет кастрюли и чайники. Насвистывая, он размахивает искрящими железяками, притопывает, пугает понарошке любопытных ребятишек и... между прочим, хлопает ручищами поселковых женщин по мягкому месту. Они отругиваются и подсовывают ему разную утварь в ремонт, зная, что Хряпов теперь все может сделать.

У Тимофея Хряпова есть сын, дочка и жена. Сын его, Венька, учится в школе на Усть-Маре и приезжает домой на лето, а дочка Пашка еще мала. Она с утра и до вечера поет. Никаких песен она еще не знает. Мотив одной-единственной песни — «Как на кладбище Митрофановском» — запомнила, и все, что ей взбредет в голову, собирает под этот мотив, как под непрочную крышу.

Рядом с Хряповым живет семья охотника Павла Верстакова. В семье этой, кроме самого Верстакова, который редко бывает дома, имеется Настасья Верстакова, ее сын Митька и пасынок Илья. Настасья еще молода, но сердита и неуживчива на диво. Она ссорится с соседями и по привычке занимает у них закваску для квашни или соль, хотя часто клянется: пусть у нее ноги отсохнут, коли она соседский порог переступит.

Жизнь далекого поселка Шипичихи тиха и однообразна в летнее время, да и зимой в ней больше забот, чем веселья. В жаркие летние дни некоторые возбуждения в жизнь поселка вносят ленивые перепалки между женщинами да приплывающий раз в месяц баркас с Усть-Мары. Счет времени и событиям в летнюю пору здесь ведется от одного прибытия баркаса до другого.

В сенокос приезжают к Вербному острову, что в двух километрах ниже Шипичихи, городские косари, по слухам — студенты, и тогда живется веселей. Поселковых ребятишек в это время не загонишь домой. Они пропадают у студентов и тащат для них из огородов всякий овощ, помогают приезжим граблить сено, возить копны. Бабы для порядка ругают ребятишек, а сами тоже норовят быть поближе к приезжим, зазывают их ночевать и расспрашивают про город. Горластые парни и девушки с сожженной на спине кожей охотно рассказывают о себе, о городе, о том, что творится на белом свете, или возьмутся танцевать, песни петь. Слушают шипичихинцы новые песни и запоминают их. Слушают эти песни и ночные пти-

цы, привычные к таежной тишине, и сконфуженно помалкивают. Впитывает новые песни Илька. Мотив он схватывает быстро, а вот слова ему туго даются. Но у песни главное — мотив — так считает мальчишка и, когда очутится один в лесу или на рыбалке, поет во всю головушку песни без слов или выдумывает свои слова. На людях мальчишка совсем не поет взаправду, в полный голос, — не до песен ему.

Однако бывают вечера, когда мачеха отпускает его на рыбалку. Илька берет легкую осиновую долбленку и, толкаясь шестом, поднимается до Кабаржиного камня, верст пять от Шипичихи. Затем он пускает лодку по течению и с обоих бортов ее забрасывает на коротких удилищах лески с самодельными мушками-обманками на концах. Лодка плывет и плывет вниз по реке, бросаются на мушек стремительные хариусы. Илька снимает их с крючка и швыряет в кормовой отсек лодки, а сам поет, и голос его, неприглаженный, диковатый, разрезает таежную тишь, острым ножиком вонзается в вершины скал, из которых искрами высекается эхо.

Особенно любит Илька «Александровский централ» и «Отец мой был природный пахарь», а нынче вот услышал, как студенты пели бодрую песню, под которую ноги вроде бы сами ходят: «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река...»

Но не успел Илька запомнить песню. Недолго побыли студенты. Без них Шипичиха стала еще малолюдней и заброшенней. И мачеха снова затевала ссоры. Она хотя и молодая, но самая лютая на ругань. Соседка Хряпова да и другие женщины уже и не связываются с ней, зная ее прилипчивый и дикий нрав. Внутри Насти все кипит. Поругаться ей необходимо с кем угодно, хоть с пасынком Илькой, лишь бы отвести душу.

БОЙ С КРОВОПРОЛИТИЕМ

Настя мыла пол, Илька качал зыбку. В зыбке сучил ногами и выгибался дугой Митька. Спать ему не хотелось, и он развлекался как умел. Удивительно веселый и надоедливый человек этот Митька. Если он пожелает, может всю ночь не спать и никому глаз сомкнуть не даст, требуя к себе внимания. Глаза у Митьки бесоватые, нос и рот постоянно вымазаны ягодами или кашей.

Илька сидел на скамейке, дергал люльку за пеленальник, привязанный к очепу — жердине, и бросал свирепые взгляды на Митьку. Ильке хотелось на улицу, побегать, но Митька, судя по всему, не собирался скоро угомониться.

Ильку это злило, и он ворчал, с тоской поглядывая в открытое окно. Там виден кусочек светлой Мары, гора за рекой. Гранитный бок ее колышется темной тенью в воде. С реки доносятся крики и визг ребят. Ишь ведь, развеселились! Небось ползают, как лягушки, возле бережка, изображая из себя пловцов, и радехоньки. Ильке бы сейчас искупаться, он уж поплыл так поплыл бы, хоть по-собачьи, хоть на спине, хоть по-бабьи — это когда брызг много. Мачеха сегодня что-то еле двигается. Пошевеливалась бы попроворней, что ли! Вымоет пол, отпустит, пожалуй, Ильку поиграть. А не отпустит добром, он начнет ходить по мытым половицам, нарочно наследит, и она все равно его выгонит.

Чтобы дела у мачехи шли побыстрее, Илька одной рукой колотит молотком по камню, лежащему на скамье. Камень рассыпался на крошки — дресву. В эти крошки мачеха макала голик, будто пучок лука в крупную, хрушкую соль, азартно терла некрашеный пол. Темные волосы мачехи осыпались на глаза, она подбирала их запястьем руки, распрямлялась, хрустя поясницей, и сюсюкала, умильно глядя на голозадого Митьку:

— Мой холе-осенький! Мой цюма-а-азенький!..

Митька зря времени не теряет. Он запускает пухленькие пальцы в волосы матери, и она сначала похихикивает, упрашивает отпустить ее, потому что руки у нее грязные и высвободить волосы ей нельзя. Но Митька с каким-то диковатым наслаждением терзает длинные волосы матери.

— Ой-ю-юй! — завопила она.— Отыми, не видишь, что ли?

Илька с сердцем отдергивает Митькины руки и довольнехонько ухмыляется, заметив в горстях у малыша клочья волос. Мачеха шлепает за это Митьку мокрой рукой по голым ягодицам. Он заходится в плаче.

Вот вечно так: сначала лезет к парню, потом шлепает его. И попробуй успокой теперь Митьку. Он тоже имеет характер и станет сейчас капризничать полдня, требовать чего-то на непонятном своем языке и отвергать все, что ему подадут.

Кипит все внутри у Ильки. Он зыбает люльку и старается перекричать Митьку:

Баю-баюшки-баю,
Тимофей живет с краю,
Тимофей живет с краю
С Тимофенхою.

— Тише дергай, вывалишь ребенка!

— Не вывалю, не первый день! — Илька невозмутимо цыркает слюной сквозь зубы. Настя угадывает вызов.

— Я говорю, тише качай!

— Я и так тихо, чего тебе еще? — огрызается Илька и качает люльку шибче.

Митька прибавляет голосу.

— Ты у меня поговори!

— И поговорю!

— Поговори, поговори!

— Поговорю!

Мачеха возвышает голос. Паренек делает свое дело, помалкивает, но при этом ехидно носом пошмыгивает либо передернет плечами, а то заведет глаза к потолку и ядовито ухмыльнется.

За всем этим кроется ехидный умысел — побесить мачеху.

Ну вот хотя бы этот взгляд в потолок. Что он может обозначать?

Для постороннего человека ровным счетом ничего, а отец Ильки уверяет: если она, Настя, заводит скандал, значит, луна в это время на ущербе.

Мачеха сразу доходит до полного накала, обзывает пасынка, как ей только хочется, и обнаруживает, что Илька сохраняет невозмутимый вид. Лишь в сощуренных глазах его видна немальчишеская ненависть. Когда Настя замечает в глазах пасынка этот острый блеск, ей видится узкий охотничий нож, и она, холодея, думает, что Илька когда-нибудь зарежет ее. Но мачеха и виду не подает, что боится его. Ей хочется, чтобы Илька огрызался, чтобы в доме был шум, гром, тарарам, после которого она выплачется, ее охватит усталость, и наступит недолговременное затишье.

Она знает, как этого можно достичь, и перекидывается на покойную мать Ильки, на его дедушку и бабушку, называет их зобатыми.

Илька сразу же утратил насмешливость, открыл рот, схватился за горло.

— Зобатые, да уж конечно получше тебя! — задушенно крикнул он.

Этого вот только и недоставало.

Мачеха затрясла головой, запричитала. Она-то обшивает, обмывает его, она-то недоедает, недопивает, все ему, а он ей вот какие благодарствия! Илька пытался слово вставить, да куда там — никакой щелочки не оставляла мачеха.

Митька утомился. Голос его ослаб, переплелся с причитаниями мачехи. Так вот вдвоем они и шпарили и до того разжалобили друг друга, что снова начали поднимать голос.

Но тут в стенку постучали. Это Хряповы требовали дать им покой. Удобный момент сбежать Ильке на улицу, побыть там часок. Мачеха переметнется на соседей и, глядишь, постепенно утихомирится. Но засел сегодня бес в Ильку и подзуживает, подзуживает: не уходи, мол, не уходи, позли мачеху своим присутствием.

Перебрав всю его родню по косточкам, Настя заявляет в тысячу первый раз, что, как только явится перстун (такое дала она прозвище отцу) с охоты, она немедленно соберет манатки и уйдет. Куда? Зачем? Это уж ее дело. Но терпеть такую распаскудную жизнь она дальше не намерена и губить свои молодые годы в лесной дыре тоже не имеет желания.

Илька уже наперед знал, что сейчас мачеха закроет глаза, примет мечтательную позу и начнет вспоминать, как отговаривал ее один человек идти за Верстакова. И человек-то был не простой, а городской, на моторке работал. Но она, дура, шла как слепая и, хотя ныло у нее сердечко ретивое от всяких нехороших предчувствий, ничего поделать с собой не могла. Опутали ее, околдовали. Ведь в селе Увалы живут сплошные колдуны.

Ильке давно известно: черной тенью ходит это прозвище за его односельчанами. Но ведь на каждом сибирском селе, да что на сибирском — почти на каждом русском селе, клеймом припечатано прозвище. Про мачехиных односельчан, к примеру, говорят, будто они с похмелья изжевали гужи. Забыла она об этом? Так он ей сейчас напомнит.

— Вы — гужееды! Вот!

Будь бы Настя поумней, она бы рассмеялась и внимания не обратила бы на эту мальчишескую выходку. Но Настя кровно оскорбилась, завизжала, затопала ногами,

и не успел Илька занять оборонительных позиций, как она ему шмякнула по лицу грязной тряпкой. Захлебнулся Илька, взвыл от боли и обиды. В глаза попали крошки дресвы. Сплевывая грязь, он вытирал рукавом глаза и шарил рукой по скамье, отыскивая молоток.

— Попробуй ударь! Попробуй ударь! — испуганно затвердила мачеха, пятясь к двери. Она уже повернулась, чтобы юркнуть на улицу, но ее настиг молоток.

Настя сунулась носом в порог. Илька точно помнил — хотел угодить ей молотком в спину, да дернуло мачеху пригнуться, и он попал в затылок.

«Убил!» — похолодел Илька, видя, как мачеха дрыгает грязными ногами на мокром полу. Волосы на ее затылке сделались еще темнее.

Митька смолк, вытаращил глаза.

Илька стоял посреди комнаты и остолбенело глядел на кровь, расплывающуюся по шее мачехи и по мокрому полу.

Крик вытолкнулся пробкой:

— Карау-у-ул!

И подстегнул Ильку. Он прыгнул на подоконник, на завалинку, в огород, скатился в густую крапиву и замер. Сердце колотилось, глаза покалывало дресвой, на зубах хрустело.

— Уби-и-ил, уби-ил! — вопила мачеха.— Ой, головушка моя!..

Илька, унимая дрожь в коленках, шепотом твердил:

— Так тебе и надо! Так тебе и надо...— И в то же время радовался, что не насмерть зашиб мачеху.

— Тяжело с неродным-то дитем жить... ох, милые, тяжело-о! — плакала и сморкалась Настя.— Сильно изувечил голову-то?

Насте кто-то вполголоса ответил, но слов Илька разобрать не мог.

Соседка Хряпова громко и гневно завела:

— Во какие детки-то славненькие пошли, во как они стараются за наши труды...

— Чижолые времена, и люди растут озверелые...— напевно подхватила мать объездчика, набожная и подозрительная старуха.

— Эк ведь он ее! Ножницы-то где? Выстричь надо волосья, кабы зараза не попала. Да не ори ты, не зевай! — прикрикнули на мачеху, тонко и боязливо скулящую.

Сбежались все бабы.

Теперь разговоров и пересудов хватит уж точно на несколько дней.

— За это шкуру мало спустить — неистовствует Хрящиха, сразу забывшая все раздоры с мачехой.

— Бога, Бога перестали бояться, отсюдова все грехи и беды мирские,— твердит свое божья старушка.

А Илька уныло думает: неплохо бы и блаженной этой залимонить камнем в башку, чтобы не каркала, все равно теперь дело пропащее.

— Ей тоже надо было смотреть, за кого замуж шла. Ума еще не нажила, а за детного выскочила...— Это говорит тетка Парасковья. Женщина суровая, бывшая партизанка, раненная в лицо и оттого незамужняя. Она всегда говорит, что думает. Тетку Парасковью Илька уважает и побаивается. Она к Ильке относится с грубоватой ласковостью, а мачеху терпеть не может, называет ее подергушкой. Остальные жительницы поселка тоже не любят мачеху, перемывают ей косточки, но в случае скандала всегда принимают ее сторону и во всем винят Ильку.

Видимо, Илькина непокорность, его бунт против мачехи — вызов им. Ведь они требуют от детей прежде всего покорности и безоговорочного подчинения. Сами они когда-то жили под вечным страхом наказаний. Сами сопротивлялись, как могли, родительскому гнету, да позабыли об этом.

Мир несправедлив к детям, особенно к сиротам. Это Ильке стало давно ясным и понятным. Есть, правда, люди на земле, которые могут жить с Илькой в ладу и как равные с равным. Эти люди — дедушка и бабушка. Но они далеко отсюда, за горами, за лесами, в родной деревне.

Отец Ильки — охотник. Он неделями и месяцами пропадает в лесу, добывает мясо маралов, лосей, коз, медведей для сплавщиков и лесозаготовителей. При отце Ильке живется легче. Мачехе есть кого точить. Она чуть ли не каждый день говорит отцу о том, что он загубил ее молодость, и о том, что ее один человек — не то моторист, не то фельдшер — сватал, а она была околдована и вышла за него, и теперь ей остается только одно — удавиться или утопиться. Она жаловалась отцу на Ильку, мешая правду с выдумкой. Отец делал внушения сыну ремнем. Бил, правда, не очень больно. Но ведь нет ничего страшней напрасного наказания. Видел же мальчишка — отец лупит его для порядка, для острастки, чтобы угодить мачехе. А она

становилась от этого наглей. Илька дошел до того, что вскакивал по ночам с бессмысленно вытаращенными глазами.

Так шла жизнь до нынешнего дня. Скапливалась в сердце злоба капля по капле и вот...

Илька лежал в крапиве до тех пор, пока в квартире не утихло. Даже Митька перестал звать брата. А зовет он его необыкновенно: «Ия! Ия!» Руки и ноги обожгло крапивой. Илька почесал ногу об ногу, и на голых икрах вспыхнули красные пузыри. Тогда он вылез из крапивы и поплевал на ожаленные места.

Перелез Илька через городьбу, постоял возле речки, бросил в воду плиточку и, даже блинчиков не сосчитав, медленно побрел от поселка по берегу.

Возле острова Вербного, куда приезжали косить сено шумные студенты, Илька отыскал шалаш. Просторный и сухой, покрытый толстым слоем сена. Сколько тут проживет, чем будет питаться, Илька не знал. Идти через горы к дедушке и бабушке очень далеко, и дорогу Илька не запомнил. Ехали они в Шипичиху позапрошлой зимой. Илька был закутан в доху и почти не видел дороги.

Взять в поселке лодку и поплыть вниз по реке? Илькина деревня Увалы всего в пяти километрах от устья Мары. Но впереди много перекатов, камней, есть даже пороги, через которые и опытным речникам не всегда удается переплыть. Значит, остается одно — жить и ждать.

А чего ждать?

ОДИНОЧЕСТВО

Бывают летним вечером самые тихие и торжественные минуты, когда вся природа, разомлев под солнцем и натрудившись за день, медленно-медленно погружается в сгущающиеся сумерки. Заря почти отцвела, лишь за самой высокой горой видна прозрачная полоска. Она еще бросает робкий свет на вершины деревьев, что одинокими вехами маячат у самого края света. Но это там, в недосягаемой, безмолвной дали. А на реке, куда солнце заглядывает только к полудню, уже сгустились краски. Тени от прибрежных скал легли от берега до берега, соединились по-братски. Они еще не черны, а с густо-синими оттенками, отливают на быстрине блеском глухариного крыла.

Но под самым берегом, где в этот час явственней слышно бормотанье многочисленных ручейков, уже устоялась темнота. Она ползет на реку, подминает под себя сиреневый и темно-синий цвет. Запевают речные кулики, неслышно пролетающие вдоль берегов.

Из ущелий тянет холодком. Листья на деревьях не шелохнутся. Трава потеет. Если побежать сейчас по ней босиком, ноги обожжет холодом и на стороны светлыми искорками посыплются кузнечики.

Илька никуда бежать не собирался. Он сидел возле шалаша, втянув голову в плечи, подобрав под себя ноги, и слушал.

Из Шипичихи доносились охающие удары — кто-то колет дрова или колотит вальком белье, а может быть, мастерит чего-нибудь Тимофей Хряпов. Там люди, а здесь никого — один Илька. Над ним кружатся-гундосят комары. Он их не отгоняет и старается дышать по возможности тихо.

Наступил самый жуткий и оттого длинный час. Если очень длинен этот вечерний час, то как же бесконечна будет ночь?! Илька старается не думать. Чем сильнее темнеет, тем он настороженней слушает. Оказывается, даже в эти медленные, однотонные минуты существует жизнь, и она издает звуки, правда, осторожные, боязливые. Прибавляют прыти кузнечики, а может быть, дзык кузнечный слышно сейчас сильнее потому, что никто его не заглушает? Устало и мерно плещется река. Филин в лесу безнадежным голосом просит шубу, а в Шипичихе все что-то стукает, стукает. Дымком оттуда нанесло, затинькал колокольчик, зазвякало ботало — это объездчик выгнал скотину пастись.

Но вот оборвался стук в поселке, и на острове Вербном, что темнеет против шалаша, ровно бы очнувшись, крякнул коростель. Крякнул, прислушался — никакого ответа, лишь, удаляясь, позванивали колокольчик и ботало. И наплевать, решил, видно, коростель, да и завел скрипучую песню на всю ночь.

Неуверенно, точно настраиваясь на музыкальный лад, в бузине за шалашом чиликнула пичужка. Минуту она молчала, устраиваясь поудобней на веточке (и это услышал Илька); дождалась малая птаха, пока разойдется коростель, и начала мерно вторить ему, как бы скрашивая девичьим голосом хрипловатую мужицкую песню.

Сделалось совсем темно. Луна еще не выплыла из-за

гор. Илька не стал ее ждать, а осторожно, ползком залез в шалаш, закутал ноги в старую телогрейку, из-за дряхлости брошенную покосниками, и закрыл глаза. Сердце паренька билось вразнобой с птичьими голосами.

Шуршало потревоженное сено, похрустывало, оседало, сжималось оно, и казалось Ильке, что в шалаше есть еще кто-то.

Сердце, как ружейный курок на взводе, готово в любую секунду сорваться, оно отзывается на каждый шорох, на каждый пустячный звук. Вот прошуршала где-то мышка, а у Ильки все внутри оцепенело. Вот голосом лешего вскрикнула на острове выпь — у Ильки холодный пот на лбу выступил. Вот хрустнул сучок в лесу. Мало ли отчего он мог хрустнуть, а мальчишке кажется: подползает к шалашу кикимора болотная, скользкая, холодная, может, и сама нечистая сила с рогатой и зубатой рожей.

Илька стискивает зубы, сжимает кулаки, принимается считать. Считает, сбивается и снова считает, но уши ловят не счет, а то, что свершается в ночи.

Долго лежал Илька, то замирая, то шумно ворочаясь, чтобы отогнать страх. И наконец пришла такая минута, когда он почувствовал себя совершенно обессиленным, и на него напало безразличие. Тогда он, отрешившись от всего на свете, пошевелил одеревенелыми ногами, подумал: будь что будет, свернулся в клубочек и не заметил, как уснул.

Или оттого, что мальчишка сильно устал и переволновался, или от постоянных недосыпов, а может быть, и от густого запаха сена, туманящего мозги, спал Илька крепко и проснулся поздно.

Проснулся и удивился тому, что вечером он дрожал от страха.

Мир вокруг светлый, приветливый, многоголосый. Отава на покосе, деревья, кусты на острове покрылись задумчивою сединой. И по этой седине россыпью перекатывались искры. В лесу пересвистывались рябчики. Сварливо крякнула ронжа возле шалаша, а потом пружинисто подскакала к огневищу, поглядела на Ильку — с ружьем или нет. И принялась искать что-то в холодной золе.

Илька крикнул, ронжа нехотя взлетела. Вскочил тогда мальчишка, пробежал по отаве, и за ним размотались две извилистые ярко-зеленые полосы. Илька забежал в мелкую протоку, отделявшую остров от берега, и после жгучей росы вода показалась ему бархатисто-мягкой и теп-

лой. Он поплескал себе на лицо, потом попил из ладоней и побрел на остров. В одном месте споткнулся и замочил закатанные выше колен штаны. Немножко постоял, оглядеся, вдыхая полной грудью влажный воздух, и сказал:

— Славно-то как!

Солнце начинало пригревать. От земли поднимался парок. Ветви берез, ольхи, тальника и даже всегда шумливого осинника недвижно висели над протокой. С листьев скатывались капли росы и мелкой галькой булькали в воде. На шум устремлялись всегда голодные малявки, суетливо искали упавший в воду корм. Илька улыбнулся, бросил малым рыбкам хлебные крошки, обнаруженные в карманах, и, не подбирая штанин, побрел дальше.

Остров Вербный невелик. Со средины протоки виден тот и другой конец его. Растительность на острове мелкая, но до того густая, что литовки не протащишь. Космы ольховника и верб возвышаются над островом. А внизу стелются, выискивая себе щели, отвоевывают махонькие пятачки земли всевозможные кустарники. Здесь и красноватые лозы узколиста, и настырные колючки всюду приспосабливающегося малинника, и переплетение волчьих ягод, и коричневые побеги черемушника. Но гуще всего разросся здесь тальник со сладкими на вкус молодыми вершинками и смородинник. Лишь местами сквозь пучки духовитого смородинника сумели пробиться пырей, метлига, крапива и запашистый лабазник. Ягод на острове хоть лопатой греби, но только смородина и черемуха. Малинник здесь бесплоден. Ему не хватает солнца. Зато смородинник весь в черных, будто чугунных, каплях.

Илька мимоходом срывал смородину с кустов и сыпал в рот. Сладко!

Хлебца бы еще кусочек и с хлебом ягоду-то. Но хлеба нет, и где его взять? А есть хочется. Надо картошки накопать. Картошка — тот же хлеб. Конечно, не совсем хлеб, но все же сытная штука. В голодный тридцать третий год на одной картошке жил с бабушкой и дедушкой. Ничего. Тошнит, правда, иной раз, но ничего. Ранней весной, как только вытаяли из-под снега склоны увалов, Илька выкапывал маслянистые луковицы саранок. Когда трава зазеленела, ели крапиву, дикую редьку и пучки — их еще купырями или пиканами называют. Бабушка где-то брала кусочки овсяного хлеба или стряпала лепешки из рассыпчатого, неободранного проса. Вкусно было.

Некоторые ребятишки умерли в тот год. А Илька вы-

жил. Да и как не выжить? Бабушка не даст умереть. Она, бабушка, сама не съест — Ильке отдаст. И зачем только отец вернулся? Тогда и мачехи не было бы, и жил бы Илька с бабушкой и дедушкой и ни в какую Шипичиху не уехал. К чему ехать в такую даль, где даже школы нет.

Живы ли хоть бабушка с дедушкой?

Должно быть, живы. Нельзя им умирать. Без них Ильке совсем худо будет. Их вот нет здесь, а Илька знает, что они все равно есть на свете, что они думают о нем, и оттого уже не так ему одиноко.

Ломится мальчишка сквозь густые заросли, трещит, будто медведь, и черные ягоды сыплются к его ногам. Не хочется больше ягод. Во рту кисло, челюсти сводит.

Вспоминается Ильке школа — первый класс. Бабушка сшила Ильке сумку из своего старого передника. Нарядная получилась сумка, бордовая, с цветочками и двумя тряпичными ручками. В сумке карандаш и книжка-букварь, да еще полкалача, да еще два яичка.

В школе Илька перво-наперво смолотил калач и яйца, чтобы не думать про них, потом взялся играть с ребятишками. Ребятишки все до одного знакомые, только нарядные. Илька тоже был нарядный. Бабушка собственноручно сшила ему штаны из юбки покойной матери, а рубаха вышла все из того же широкущего неиссякаемого бабушкиного передника.

Ух и форсил же Илька! Страсть! Играть лез в самую что ни на есть кашу.

А потом был звонок, и ребят повели в класс. Смешно называется: класс, но это вовсе не класс, это горница кулаков Платоновских, которых куда-то выселили. Дом их назвали школой. Дом был как и прежде, только пустой и оттого скучный. В нем даже обои на стенах оставались те же, что были здесь прежде, и на обоях светлели пятна от икон и рамок с фотокарточками. Над тем местом, где стояла кровать, два длинных гвоздя. На этих гвоздях висело ружье. Из того ружья старик Платоновский в упор застрелил Солодарева Леонида Германовича. Солодарев Леонид Германович был ссыльным в Увалах, потом кулаков зорил. За то и пострадал.

После того как отзвенел медный звонок, снятый с рысака кулаков Платоновских, в класс пришел сын Солодарева, Федор Леонидович, в другой класс, где раньше была передняя, пришла мать Федора Леонидовича. Всю зиму вдвоем они и учили детей.

Хорошо учили. И буквы писать, и считать, и по букварю читать, и в поход водили. Хорошо было в школе.

Однажды болели у Ильки ноги, и несколько дней он не ходил в школу, так учитель сам навестил Ильку и подарил ему красный карандаш, только изредка писал им Илька и нажимал несильно. Но уже здесь, в Шипичихе, мачеха отдала карандаш баловню Митьке, и тот куда-то его зашвырнул. Э-эх, люди! Ничего им не жалко, и никакого понятия нет.

Идет Илька по острову как будто без всякой цели. Так, от нечего делать бродит и бродит человек, вспоминает прошлое житье и печалится о нем. Мимоходом Илька хватает крупные ягоды, сыплет их в карман. Зачем? Да так, между прочим.

А ноги сами ведут его на верхний конец острова. Там, если перебрести протоку и подняться на берег, поселок видать и барак видать. В бараке уже Митька проснулся и зовет его: «Ия! Ия!» Мачеха небось стряпает, носом и головой подергивает. В комнате печеным пахнет и щиплет в носу от сваренной в мундирах картошки. Картошка, она тоже ничего, если разваристая да с солью, да если еще ржаного хлеба ломоть...

Хрустят кусты, шуршит влажная трава, идет Илька, мокрый по пояс, и делает вид, будто не знает, куда идет. Он даже насвистывает громко, бодро, как вольный, не обремененный никакими заботами человек. И когда выходит на приверху острова, удивляется:

— Скажи ты, куда меня вынесло!

А раз уж вынесло и поселок видно, как-то неловко не заглянуть в него.

Низами, прячась за густыми зарослями крапивы, репейника и белены, стеной ставшими возле жердей, Илька крадется к бараку.

Вот огород, который ему нужен.

Упал мальчишка в борозду, лежит. Голову от земли чуть приподнял, прислушался, огляделся. Рядом огурец с гряды вывалился собачьим языком — ярко-желтый, перезрелый. Мачеха не снимает огурцы на засолку — некогда: с соседями грызется.

Илька смотрит в окно. Оно распахнуто настежь. Видно, как пыль столбится в комнате, а больше ничего не видно. На окне герань и бабьи сплетни. Это цветок так называется. Он вьется и переплетается клейкими листьями, цепляясь за все, что подвернется. Загородили эти

бабьи сплетни все от Ильки. Он ползет вперед. Возле завалинки барака в гнилом щепье растет мелкий конопляник и кустится лебеда. Меж двумя окнами — Хряповых и Верстаковых — заросли особенно густы. Илька залез в конопляник, вспугнул оттуда мухоловку и шмеля.

Навалившись на соседний подоконник, сидела Пашка Хряпова. Подперла голову руками и тоненьким голоском выводила: «Милый Колечка, я белеменна и хочу тебе это сказать...» Из-за великого пристрастия к сладкому Пашку облепила золотуха. Волосы обстригли ножницами, обходя болячки, и оттого голова Пашки похожа на плохо оперившуюся голову утенка. Широкий нос делал ее еще более схожей с утенком.

Илька улыбнулся и пополз к своему окну.

Прислушался.

Доносится громкий рокот, шлепает вода. Мачеха белье стирает! Значит, полоскать скоро пойдет.

«Толково!»

Митька ноет: «Ма-а... ма-а... ма-а-а...»

«Паскуда мачеха не накормила небось парня».

Но вот слышится раздраженное:

— Жри!

И на время все затихает.

И наконец-то:

— Ну, бай-бай, мой холёсенький, я скоро...

Митька закатывается. Не желает, чтобы мать его покидала. Он не переносит одиночества. Вот окаянный человек! Из-за него мачеха может долго не пойти полоскать. Однако слышно, как Настя звонко шлепает Митьку. Он закатывается пуще прежнего. Мачеха кричит: «Чтоб ты пропал!» — и хлопает дверью.

Настя спускается к реке с тазом, доверху наполненным бельем. Голова ее перевязана старым белым платком. На платке темное пятно засохшей крови. Настя пошмыгивает носом и в лад тому шмыганью часто моргает глазами́. Натруженные еще с детства руки ее тоже суетятся. Вот так она все время подергивается, как деревянный человечек на ниточках, какого однажды привозил Ильке дедушка из города.

Мачеха приостанавливается, с сердцем хлопает себя рукой по бедру и, обернувшись, кричит в окно:

— Я те поору! Я те поору!..

Митька отвечает ей прибавкой в голосе. Илька запал в конопле, не дышит. Мелкая растоптанными, широкими

пятками, мачеха исчезает за изгородью. Следом за ней, вывалив от жары язык, тащится соседская собака Лампосейка. И это Ильке на руку, никто шум не поднимет.

Не обращая ни на что внимания, Пашка продолжает песню про Колечку.

— Кряк! — Илька ждет, но Пашка ничего не слышит.

Илька кинул комок земли на подоконник. Пашка осеклась. С изумлением огляделась.

— Ты чего свыряесся?

Передние зубы у Пашки выпали, и она вместо «ш» произносит «с». Выдумщица девчонка, взяла где-то пятак с дыркой, надраила камнем и прицепила вместо брошки. На руку выше запястья привязала ленточку, нарисовала на ней кружок химическим карандашом: часы.

— Пашка! — зашептал Илька.— Мне домой надо, так ты погляди за мачехой.

— Ну,— согласилась Пашка.— Я буду громче петь, когда она пойдет. А ты зачем ее убил?

— Не твое дело! Убил, стало быть, так надо. Я ее до смерти хотел зашибить. И еще зашибу! Думаешь, что?!

Глаза у Пашки округлились. Она испуганно отодвинулась от окна и с придыхом произнесла, схватившись за «брошку»:

— Засибес?

— Зашибу!

— Насовсем?

— Насовсем!

— Ой!

— Вот тебе и ой! Сторожи давай и не вздумай сказать, что я здесь был, а то у меня запросто...— Что «запросто», Илька не разъяснил, но по его виду Пашка заключила, что слово это ничего доброго не предвещает.

Она покорно запела все тем же тоненьким, исстрадавшимся голоском.

Илька раздвинул горшки с цветами и шмыгнул с завалинки на окно, с окна на сундук. Митька смолк и вытянул шею, а когда опознал брата, с ликованием закричал, протягивая руки: «Ия!» Но Илька настроился в беседе с Пашкой воинственно и не склонен был предаваться нежным родственным чувствам. Он мимоходом поднес кулак к сопливому носу Митьки и поинтересовался:

— Нюхал?

Митька и тому рад. Ухватился за кулак, потянул его в

рот. Илька даже растерялся. А когда опомнился, выдернул руку, вытер ее о штаны.

— Не цапай! Больно зацапал! Отводился я с тобой! Хватит! Я теперь...— Кто он теперь, Илька сразу определить не мог, но, во всяком случае, он уже не тот закабаленный человек, который — водись да водись и поиграть некогда. Нет, друг любезный, шалишь! Пусть теперь сама мачеха ночью попрыгает! Да! А у Ильки — дела!

Он с торопливостью вора шарил в ларе, в сундуке, в кладовке. Мешок на гвоздике, в нем две булки хлеба, соль в узелке и тут же ножик, сахар в мешочке. Ровно кто приготовил все это.

— Что еще? Да, удочки.— Илька выдвинул столешницу — крючки, нитки здесь.

Теперь обуться бы ему во что? Надеть разве мачехины сапоги! Не стоит. Ну ее! Сапоги одни. Надо мачехе по ягоды ходить, в огород, на речку, туда-сюда. Не стоит. Ага, пальтишко тоже следует в мешок затолкать. Что еще? Надо что-то. Очень необходимо надо, но не может мальчишка вспомнить, да и некогда прохлаждаться. Уходить пора.

— Ну что, сопленосый, подглядываешь? — повернулся Илька к Митьке, который с открытым ртом наблюдал за братом. Тот, словно бы разумея все, что творится в Илькиной душе, робко сказал: «Ия!» — и не протянул к нему руки, а лишь скорбно сморщил носишко, и глаза его наполнились слезами. У Ильки разом потяжелело на сердце. Вспомнил он, что вот надо уходить из избы, одному ночевать в шалаше, а одному-то жутко. Царапнуло в горле Ильки:

— Живите!.. Да, вам хорошо!..— И замолчал, прислушиваясь.

Ты убей ее иль в плиют отдай,
Только сделай ты все посколей...

Напевала Пашка наивную и страшную песню «Как на кладбище Митрофановском» про злую мачеху. Видимо, старалась угодить Ильке. Он потер кулаком лоб, чтобы вспомнить, но ему показалось, что Пашка запела громче. Мальчишка сунул руку в карман штанов, вынул горсть давленой смородины и высыпал ее в маленькие Митькины ладошки. Тот не запихал ягоды в рот, только пялил бесхитростные глаза.

Илька шмыгнул носом, шаркнул рукавом по глазам, губы его дрогнули:

— Вот... Ухожу я, Митька... Вам хорошо...— И неожиданно поцеловал Митьку в пухлую щечку, вымазанную соплишками, а может, и киселем.

И когда Илька выпрыгнул в окно, побежал по огороду, спустился к реке, исчез за поселком, ему все еще слышался голос Митьки: «Ия! Ия!»

На губах Илька ощущал солоноватый и чуть кислый запах теплой Митькиной щеки.

БОЙ БЕЗ КРОВОПРОЛИТИЯ

Все взял Илька, все предусмотрел, как человек бывалый, сызмальства привычный работать на покосе, ходить по ягоды и на рыбалку, а вот котелок забыл. Забыл, и только. Хватился, когда понадобилось похлебку варить, а котелка нет. Беда? Да нет, не большая. Напек картошки в золе, пескарей нажарил на палочке и с хлебом съел.

Житуха!

И ночевать вторую ночь не так страшно было. Устал за день, в воде бродил, когда удил пескарей, продрог и оттого уснул быстро.

Но пескари — это разве рыба? Так себе, забава! Вот хариусов Илька наудил — это рыба! Удить хариусов Илька мастер. О-о, тут уж с ним не только мальчишки, даже не все дяденьки тягаться возьмутся. Тут что главное? Момент!

Илька вечером долго ползал по траве, ловил прытких кузнечиков. Напихал их в спичечный коробок. Кабы коробок был побольше, кузнечики не подохли бы. Живые лучше. Но другого коробка нет.

Утром рыбак первым делом заглянул в коробок: два кузнечика едва передвигали лапками, а остальные и вовсе не шевелились. Один кузнечик выбрался в щелку, помятый и вялый, как с похмелья. Илька сунул его обратно в коробок и поспешил на реку.

Перебрел протоку, пересек остров и вышел на пологий обмысок, усыпанный крупным галечником, сквозь который пробивались редкие и тощие листы копытника. Из заливчика, подернутого водяной чумой, поднялся табун чирков, взметнулся и стремительно заскользил над рекой, чуть не касаясь брюшками воды.

По реке густо шел лес. Значит, сплавщики, которые спускаются по Маре с зачисткой, подходят к Шипичихе.

Возле верхней стрелки острова лес застрял, бревна наползли одно на другое, сделали торос. Под бревнами вода клокотала, завихрялась.

Доброе место. Хариус любит стоять в этакой стремнине. Илька, скользя по мокрым бревнам, взобрался на торос и размотал удочки.

Кузнечика он подбросил к самому торцу крайнего бревна. Бурунчик воды завертел наживку и понес к струе. Илька стал усаживаться поудобней. В это время раздался всплеск, лесу дернуло. Илька подсек, но поздно. Кузнечика на крючке уже не было.

— Полоротый! — обругал себя Илька вполголоса, насаживая второго кузнечика на крючок. Теперь он весь напружинился. Как только из-под бревна метнулась навстречу приманке темная полоска и вода взбугрила, резко подсек. Хариус стрельнул вглубь, однако он уже был на крючке, и, выдернув его на бревна, Илька степенно сказал:

— Надул разок, и хватит! — уверенный в том, что именно эта рыбина сорвала первого кузнечика.

Клев был слабый. Гул бревен, которые сшибались друг с другом, отпугивал рыбу. Но все-таки на уху Илька натаскал.

Когда высоко поднялось солнце, навалились ельцы и пескари. Илька быстро скормил им кузнечиков и уже собрался было идти на стан, да услышал, что на острове перекликаются мальчишки. «По смородину пришли»,— заключил Илька и, прихватив ивовый прут, на который ловко были вздеты рыбины, начал неслышно пробираться на голоса, чтобы разведать — одни мальчишки пришли или же со старшими.

Мальчишки были одни. Они топтали смородинник и уплетали за обе щеки до блеска налитую ягоду. Афонька, сын объездчика, обшаривал кусты жадными и быстрыми руками, бросал ягоды в старый жестяной котелок. Остальные были с корзинками и туесками. Илька вынырнул из кустов и насмешливо поклонился:

— Здоровы были!

Мальчишки, не отозвавшись на приветствие, с опаской поглядывали на него. Был он для них сейчас чем-то вроде лесного варнака, которому ухлопать человека все равно что раз чихнуть. После того как Илька угостил ма-

чеху молотком, названия варнак и бродяга к нему приклеились накрепко. Тетка Парасковья протестовала: «Да какой же он варнак? Сирота-горюн. Кто за него заступится, если он сам себя не защитит?» Но тетку Парасковью не больно слушали, да не больно любили ее за мужицкую грубоватость и прямоту.

Илька небрежно бросил на траву прут с хариусами и ни с того ни с сего поинтересовался:

— Закурить нету? — И тут же презрительно заключил: — Хотя откуда у вас!

В Шипичихе было всего пять мальчишек — вот эти четверо да еще Илька. Жил Илька с ними недружно, часто дрался. Эти вот четверо учились и на зиму уезжали из поселка. Ему было завидно оттого, что они учились, жили беззаботно, и он их задирал иной раз вовсе беспричинно. Да и как не задирать: они учатся грамоте, а он вот уже две зимы школы в глаза не видал. Закончил первый класс, и, как иногда с кривой усмешкой говорил отец: «Весь его курс науки тут!»

Эти ребята летом бездельничают, играют себе, а он с Митькой водится. Их матери берегут и холят, а его мачеха шпыняет. И никто из них, кроме Веньки Хряпова, даже не расскажет Ильке про школу, учебники посмотреть не даст. А сам он разве попросит? Ни в жисть. Коли подвернется случай, ребятишки эти дразнят Ильку издали нянькой, лестуном за то, что он однажды неправильно произнес слово «пестун». Сирота ведь рубах меньше изнашивает, чем прозвищ. Но куда годны эти береженные мамками малявки, если Илька побежит с ними вперегонки, или на рыбалке, или же ягоды брать, дрова пилить, огород копать, в лодке плавать. Илька все может, а ему никакого почтения — прозвищами награждают, варнаком зовут. И пусть варнак, пусть! Взять вот и доказать им на деле, какой он варнак. На кулаках доказать!

Только не тронет мамкиных сынков Илька. Ему котелок нужен.

Он начинает издалека:

— Ну, как живете?

— Да ничего... помаленьку...— робко отозвался Венька Хряпов.— Ты это один... в лесу?..

— Один. А кого мне еще? — Независимо расправил грудь Илька и полез в карман, словно бы за кисетом. Но ни кисета, ни табаку там не было, и, пошуршав спичками,

Илька разочарованно вздохнул: — Так, значит, курева у вас нету?

Некоторое время все молчали. Ребята с завистью смотрели на Илькин улов.

Тем временем красномордый Афонька торопливо выбирал ягоды из котелка. Зеленые он ел, а спелые обратно швырял.

— Эй ты, лесовик, отдал бы мне котелок-то?

Афонька открыл рот, не понимая, чего требует Илька, а поняв, спрятал котелок за спину.

— Варить не в чем.

Ребята услужливо упрашивали Афоньку отдать котелок, чтобы поскорее отделаться от Ильки. Венька даже за дужку котелка взялся. Но Афоньке жалко котелок.

— Самим нужон.

Не нравится Ильке толстая морда Афоньки. Не нравится не только потому, что она толстая, но еще и потому, что Илька не раз убирал навоз у объездчика — за картошку, не раз коня чистил и на водопой водил, а когда болела зимой Афонькина мать, даже воду таскал в здоровущих ведрах, которые аж до земли пригибают. Мачеха заставляла — за кусок. И вот еще надо унижаться, котелок просить.

— Ну и не надо! Уходи тогда с моего острова! Убирайся! Катись!

— Он советский, а не твой,— пробубнил Афонька,— я вот тятьке скажу, он шугнет отсюда...

— Са-вец-ка-ай! — передразнил Илька Афоньку и сгреб его за грудки.— Я те покажу савецкай! Мой! Понял? — И оттолкнул Афоньку. Тот грохнулся через колодину, просыпал ягоды и завыл:

— Погоди, погоди, убивец кровожадный, лестун проклятый!

Илька вовсе не хотел связываться с Афонькой, тем более ронять его, но тут страшно освирепел, растоптал ягоды, выкрикивая:

— На! На! Жалуйся иди, харя! Я тебе за это полвзвода зубов вышибу! Иди к папе и к маме! Плевать я на них хотел. Я и отцу твоему засажу из ружья... И все!

Ребятишки поспешно бежали с острова, а Илька все бесновался:

— Мне теперь все равно, порешу!..

Ружья у Ильки не было, и порешить он никого не смог бы. После того как ребятишки исчезли, до него дошло,

что он, пожалуй, зря погорячился. Явится объездчик, арестует, и здорово живешь — сошлют на каторгу или там еще куда.

А малявок этих он напугал, нагнал на них страху. Ничего, пусть знают наших, это еще ладно, удрали, а то бы он им всем наклал. Жалко котелок — получите! Да и котелок-то барахло. За него три копейки в базарный день не дадут. Но не было у Ильки даже трехкопеечного котелка, и решил он снова жарить рыбу на рожне. Волынка сплошная: разваливаются хариусы, с одного бока обгорают, а спинки сырые и горькие от дыма. На спине же самое мясо, самый вкус.

Крутился Илька вокруг огня, лицо в сторону воротил и жмурился. Внезапно зашелестели шаги по хрустящей отаве.

Обмер Илька. Уж не Афонькин ли отец?

Оглянулся. Среди покоса стоит Венька и протягивает сплюснутый котелок, который Илька сразу узнал. Отец этот котелок давно еще с собой привез и почему-то называл манеркой. По-городскому, должно быть.

— Илька, возьми! — кричит Венька. Он ставит котелок среди покоса и намеревается уйти.

— Постой! — машет ему рукой Илька и, бросив недожаренного хариуса, бежит вприпрыжку к Веньке.— Тебя я разве трогал когда?

— Трогал. Три раза.

— Ну, тогда, значит, заслужил, а теперь не трону. Где котелок взял?

— Мачеха твоя дала.

— Ма-аче-ха-а!

— Да.

— Врешь?

— Чего мне врать-то? Я прибежал и стал рассказывать, как ты Афоньке навтыкал, тетка Настя у нас была, а потом ушла, а потом принесла котелок и ничего не сказала. Мамка меня и послала...

Илька покрутил котелок в руках, зачем-то заглянул в него, понюхал и спросил:

— Как Митька там?

— Митька на улице ползает, тебя зовет. С ним Пашка водится, когда тетка Настя попросит.

— Ага.— Что это «ага» означало, ни сам Илька, ни Венька не поняли.

— Ну ладно,— протяжно вздохнул Илька.— Пусть живут, пусть без меня попробуют...

— А ты долго тут будешь?

— Захочу, так всю жизнь.

— И зимой? — вытаращил глаза Венька.

— И зимой. А что? — Илька задумался и уже неуверенно продолжал: — Зимой, конечно, холодно. Нет, зимой не буду. Уйду. К бабушке с дедушкой уйду. Через горы махну.

— Один?

— Конечно.

— Далеко-о, заблудишься.

— Вот то-то и оно, что заблудиться можно, а то бы уж давно ушел.

Венька с уважением и робостью смотрел на Ильку. Потом помялся и спросил:

— Тебе курева-то надо? Я в огороде наломаю.

— Не-е, зачем? Я это так, для форсу,— признался Илька и предложил: — Хочешь, уху будем варить?

— Давай.

— Идет!

И они начали хлопотать у костра, затем вместе хлебали пахучую уху берестяными ложками. Ложки эти Илька смастерил сам. Веньке понравилась Илькина жизнь, и он сказал:

— Хорошо как!

— Да, фартовая житуха! — беспечно молвил Илька и, скосив глаза на Веньку, неожиданно добавил: — А дома все-таки лучше.

Когда Венька уходил домой, Илька сам навязался его проводить.

— Ты приходи, не бойся, ну? Книжку принеси с картинками. — Хотел он это сказать погрубее, а вышло совсем уныло.

Венька обещал приходить.

Но увидеться им больше не довелось.

МАЧЕХА

Илька лежал и думал о мачехе. Ему уже было ясно, что два каравая хлеба, положенные на виду, узелок с солью, мешочек с сахаром — все это было приготовлено.

Мачеха могла закрыть окно и замкнуть комнату, хотя в лесном поселке Шипичихе избы никогда не замыкались. Но замок-то у Насти имеется с ключом на тряпочке. А вот ведь она не замкнула и котелок дала. Ох и непонятные же эти взрослые люди!

Илька раздумался и стал перебирать в памяти прошлую, самую трудную в его жизни зиму. Да разве только для него она была трудной. Мачехе-то еще тяжелей приходилось. И непонятное дело, никогда они так дружно не жили, как в ту зиму.

Отец еще в декабре уехал в город, и там его положили в больницу. Три месяца жили пасынок с мачехой и с Митькой. У них не было денег, дров. Мешок картошки, курица и петух да колода соленой лосины. Вот и все их запасы. Митьке шел четвертый месяц. Он тыкался в пустую грудь Насти и стискивал ее деснами так, что она вскрикивала. Ночами напролет орал Митька, требовал молока. Мачеха пила воду, стараясь накопить молока в грудях, а Илька к объездчику, бывшему кулаку, вовремя смотавшемуся в лес, ходил убирать во дворе. За услугу давали картошки на варево или кружок мороженого молока.

Илька растоплял молоко в чашке на печке. Кружок подплавлялся снизу, становился тоньше и рыхлей. Илька тыкал во вспученную верхушку пальцем, помогал быстрее растопиться молоку и слизывал с пальцев сладковатую жирную сметану.

Мачеха делала вид, будто ничего не замечает. Она разводила молоко кипятком и пила, пила, чтобы мог малый насосаться досыта. Илька давился сухой картошкой. Мачеха отделяла молока и молча пододвигала ему кружку. Илька с трудом отвертывался от посудины с молоком и тоном степенного, все понимающего человека ронял:

— Не надо, сама пей. Тянет ведь тебя Митька-то.

Мачеха похудела, окостлявилась. Шея у нее сделалась жилистой, под глазами залегли темные круги. Митьку стала прикармливать толченой картошкой. Малыш капризничал, выплевывал картошку, не давал мачехе спать.

С трудом отдирал Илька голову от подушки, заголяясь, спускался с печки, нащупывал пеленальник, за который Настя качала люльку, и хриплым со сна голосом советовал:

— Иди поспи.

На дворе трещал мороз, и сквозь разрисованное кухонное окно падал ломающийся свет луны. Илька выбе-

гал до ветру и слышал, как скрипели закоченевшие шипичихинские дома, видел подымающиеся из труб столбы дымов. Только из квартиры Верстаковых дым не поднимался. Дров мало, и печь топили раза два — утром и вечером, а иногда только утром. В углах и под окном в комнате поселились белые зайцы куржака. Темно в квартире Верстаковых. Нет керосину, нет еды, и дров совсем маленько. Хватит ли до рассвета?

Утром Илька надевал полушубок отца, подпоясывался. Мачеха засовывала ему сзади под опояску топор, завязывала шею полотенцем, закатывала рукава полушубка, и он отправлялся за дровами. Впереди него черным клубком катился маленький Осман, бойко изогнув тонкий щенячий хвост. Осман тыкался во все следы носом, пробовал нюх. Щенок от знаменитой лайки, и его, несмотря на скудость с харчами, никому не отдавали.

Илька рубил тонкий сухой осинник и, взяв по две осинки под мышки, тянул их по снегу, тяжело выдыхая клубы морозного пара.

Как-то заприметил Илька небольшую сухостойную лиственницу и решил срубить ее. Лиственница не то что осина. Она горит жарко. От нее больше тепла.

«Свалю, разрублю на кряжи и стаскаю,— думал парнишка,— теплынь всю ночь будет».

Но подрубленная лиственница завалилась на березу и не падала. Раскачивал ее Илька, раскачивал, колотил обухом, ругался матерно,— дерево ни с места. Отступиться бы мальчишке, но он человек упрямый, принялся березу рубить. Рубил, рубил, стылая березка, будто выстрелив, хрустнула, сухая лиственница сорвалась, упала Ильке на голову. Свет померк в глазах у мальчишки, все перевернулось вверх ногами и упало куда-то.

Очнулся Илька в снегу. Осман ему лицо облизывает. Повел по лицу ладонью Илька — кровь. Огляделся: на снегу, как от мышки, малюсенькие красные капли. Ничего не поймет мальчишка, стукнуло по голове, а кровь из носа прыснула.

Поднялся Илька. В голове звон, искры гасучие из глаз в снег сыплются. Шатаясь, побрел домой.

Мачеха перепугалась, завидев пасынка. Уложила в кровать, компресс на голову ему наладила и, перебарывая страх, запричитала:

— Да чтоб ты там, в больнице, и околел! Чтоб тебе

отравы подали вместо микстуры. Загуби-ил! Мои молодые годы загубил! Детей своих загубил!

Мачеха любила причитать насчет своих молодых лет.

Илька к этому привык. Но тогда мачеха как-то непривычно причитала, совсем по-другому, и оттого Ильке сделалось ее жалко, себя жалко. В самом деле, у нее тоже житье незавидное. Она старше Ильки всего на девять лет. Какая же она мать? Люди говорят, что не такую бы надо брать отцу, а ей не за детного выходить бы. Да у них все не как у людей, так приблизительно думал Илька, трясясь в ознобе. Видно, долго в снегу лежал, успел застудиться.

В комнату набились люди, все больше лесозаготовители. Щупали Илькин лоб. Старший из лесорубов, которого называли десятником, сказал резонно:

— Мальчишка отойдет, прогреть его только надо.— И распорядился подвезти бедствующей семье сушину.

Лесорубы еще посоветовались между собой и принесли из конторы четыре охапки пиленых дров. Тетка Парасковья дала Ильке лекарство, выбранила его отца, мачеху и жарко натопила печь.

Она распоряжалась в квартире Верстаковых как хозяйка, и квартира эта как-то сразу преобразилась, посветлела. Мачеха виновато помалкивала и, как чужая, услужливо помогала тетке Парасковье наводить порядок в своем жилье.

Илька ночью хорошо прогрелся и уже утром возился с братишкой Митькой.

У Ильки еще несколько недель кружилась голова. Но из-за дров они больше не горевали. Лесорубы привозили каждую неделю лиственную или сосновую сушину. Однако с едой по-прежнему было плохо, и когда Илька оправился, принялся сооружать ловушку. За палку он привязал бечевку и насторожил старое деревянное корыто, под которым нащипал крошек и насыпал овса, взятого потихоньку из конских кормушек. Бечевку Илька протянул в форточку и сидел у окна, зорко наблюдая за ловушкой.

Зима лютовала. Птицы были голодны. Они стайками сбегались под корыто. Тогда Илька дергал за веревку и выбегал на улицу. Из-под корыта он вытаскивал тепленьких птичек. Сердце у них колотилось быстро-быстро. Илька без лишних рассуждений свертывал головы птичкам, потрошил их и варил суп. Без головы и без перьев птички оказывались величиной с бутылочную пробку. Но из чу-

гунка все-таки пахло мясным, и сверху плавали светлые жиринки.

Однажды тетка Парасковья увидела, как Илька вылавливал из-под корыта птичек, догадалась, зачем он это делает, и закричала:

— Брось! Отпусти, говорю!

Илька послушно выпустил из горсти помятых пичужек и виновато потупился. Тетка Парасковья забросила в огород корыто, отняла у Ильки бечевку, хотела отстегать его, но посмотрела на понурого худого мальчишку и уронила руки:

— Не надо птичек душить, не надо! Они ведь тоже голодные...— Она смолкла на минуту и тяжело выдохнула: — Ох, и семейка! Ну что мне с вами делать? — Она отдала Ильке бечевку и сказала, чтобы Настя завернула к ней. В тот же день она подрядила Настю стирать белье лесорубам и убирать их жилье. За это мачехе установили небольшую плату деньгами, а главное — давали муки, крупы, лапши и мыла.

Как-то в одной из комнат вымораживали тараканов. Воробьев и синичек залетело туда — тьма. Илька захлопнул дверь. Птички забились о стекла, как мухи. Лупи их и собирай. Илька подумал, подумал и снова распахнул дверь.

Тетка Парасковья часто просила Ильку подежурить у телефона и подкармливала его за услугу. Тетка Парасковья одновременно работала приемщицей и телефонисткой, но сидеть у гелефона днем ей было недосуг. А может, то был предлог. Даром Илька ну ни от кого ничего не взял бы.

Контора располагалась в соседней комнате. Илька смотрел на блестящие звонки аппарата, с интересом и нетерпением ждал, когда зазвонит. Но звонили днем редко.

Десятник дал Ильке книгу, чтобы он не скучал, и здесь же, в конторе, Илька прочитал эту первую в жизни книгу про Робинзона Крузо. Книга была растрепана, в ней не хватало страниц и не было конца, но Илька все равно читал ее каждый день, шевеля губами, и за зиму одолел. Весной, уезжая с участка, лесорубы отдали ему эту книгу. Илька читал ее еще раз, но Митька добрался до книжки и распластал всю.

Жалко.

Да, жить им стало тогда легче. Тетка Парасковья помогала, лесорубы, совсем незнакомые люди, помогали — не дали пропасть. А то, пожалуй, каюк пришел бы семей-

ству Верстаковых. Ведь к той поре, как стукнуло Ильку по голове (не бывает худа без добра), они уже успели съесть курицу, потому что петуху откусил голову Осман и одной курице, без петуха, было тоскливо. Ну, может быть, и не очень тоскливо, однако Илька с мачехой внушили это себе и съели курицу. И картошку съели и лосину, а объездчик, особенно его жена да мать стали куражиться.

Отец вернулся домой в начале марта. Он обвел взглядом комнату, полутемную оттого, что окна были завешаны половиками, заглянул в пустой курятник, скользнул взглядом по закутанному в тряпье Митьке и произнес, пожав плечами...

— Я же знал, что без меня вам гроб. Вы же никуда не годитесь...

Мачеха от обиды захлебнулась слезами. Илька сжал кулаки. Было бурное объяснение, в котором первый раз в жизни принял участие Илька. Он вместе с мачехой лез в драку на отца.

Собрав скудные харчишки, отец отправился с ружьем к берлоге, которую заприметил еще с осени, и принес в мешке кусок медвежатины. Назавтра он съездил с объездчиком в лес и привез остальное мясо.

Дела пошли на поправку. Илька ел жареную, пареную, вареную медвежатину, и мускулы его округлились, сделались что камешки.

Страшная зима позади. Но лучше бы уж жить в голоде, в холоде, да в ладу. Ведь всем пополам делились, каждой крошкой. Помнится, на Новый год в доме не было ничего поесть, кроме картошки. Мачеха зачем-то вечером ходила к объездчику и принесла творожную шаньгу.

Илька догадался: она ее украла.

Жена объездчика, вынув из печи листы, ставила их обычно на ларь возле дверей. Мимоходом можно взять шаньгу. Мачеха взяла и отдала ее Ильке. Она хотела, чтобы мальчишка что-нибудь вкусное съел в праздник.

МАТЬ

Но отчего же изменилась мачеха потом?

Должно быть, сделала она какую-то ошибку, неправильно распорядилась своей молодостью и вот злилась, срывала душу на Ильке, если не было дома отца. А когда

возвращался отец, начинались скандалы и жить становилось еще тяжелей. Мачеха и отец кляли друг друга, а Илька чувствовал себя в чем-то виноватым, лишним. Потом они принимались драться. Отец как-то страшно избил Настю. Ладно, до суда далеко, посадили бы его в тюрьму.

Да-а, все у взрослых сложно, непонятно. Вот, к примеру, зачем мачеха всегда поддевает покойницу мать? Утонула мать давно, и могила ее крапивой заросла, а мачеха ее тревожит. Илька не может этого стерпеть. Если его обижают, куда ни шло. Но мать...

И он не дает. Молотком, топором, чем угодно ударит, обороняя самое дорогое, что хранится в душе. Не тронь! Не дам! Мое, и все тут. Больше у меня с собой ничего нет.

Илька любил видеть мать во сне. Он плохо помнил мать, и она всякий раз виделась ему по-разному. Но вот один день и запах земляники он запомнил на всю жизнь. Если он закрывал глаза, события этого дня проходили перед ним со всеми подробностями и отовсюду наплывал земляничный запах.

Это было накануне того дня, как уйти матери навечно. Они отправились на увал за земляникой. Мать сказала, чтобы Илька старался и набрал бы полную кружку земляники. А потом она поплывет на лодке в город и отдаст землянику отцу. Отец в ту пору сидел в тюрьме, а Ильке говорили, что он в больнице. Когда они возвращались домой, дорогу им пересекла черная змея. Мать прижала к себе Ильку и, провожая глазами медленно уползающую гадюку, прошептала: «Господи! Не к добру!»

Спать они легли поздно, и всю ночь чудно пахло в избе земляникой.

Рано утром, да, это было совсем, совсем рано, его разбудили. У Ильки слипались глаза, и потому, наверное, он и не помнит лица матери, со сна-то не разглядел ее как следует. Рано утром, когда еще сквозь щелястые ставни чуть просачивался синеватый рассвет, мать наклонилась над Илькой и позвала: «Сыно-ок!» Мальчик через силу разлепил ресницы и обхватил горячими руками ее шею. И, словно чувствуя, что они прощаются навсегда, женщина, не приученная к нежностям, крепко притиснула сына, заглянула в лицо и стала жадно целовать в щеки, в нос, в ухо. А потом опомнилась. «Что это я? — сказала и деловито поправила на голове платок.— Ну, пойди запрись и спи, а я гостинцы поплавлю отцу».

В прохладных сенцах она подняла котомку. От котом-

ки доносило ягодой — земляникой. Поцеловала Ильку крепко еще раз.

Губы матери тоже пахли земляникой.

Илька вернулся в избу, нырнул в теплую постель. И казалось, только закрыл глаза, в дверь забарабанили. Илька вскинулся, огляделся. За дверью слышался хриплый, надорванный голос бабушки:

— Иленька!.. Илюшка!..

Илька откинул крючок, и бабушка с перекошенным ртом, с растрепанными волосами упала к его ногам, ткнулась в колени, пытаясь что-то сказать, но вырывалось у нее только:

— Ой! Ой! Лизавета-а! Лизавета-а-а! Касатушка-а-а!

Илька ничего не мог понять. Но все равно стиснуло у него грудь, и сделалось трудно дышать.

Сбежался народ. Бабушку оттащили, плеснули из ковша воду на ее лицо и голову. А Илька вернулся в избу и стал одеваться. В избе плавал лесной запах. Илька пошарил глазами и заметил на столе кружку с земляникой. «Мама мне оставила»,— подумал он и с надетой на одну ногу штаниной поковылял к столу и принялся есть ягоды, жадно, горстями.

В первые дни Илька о матери не тосковал. Он еще не мог постигнуть смерти. В его голове еще не укладывалось, что мать может никогда не вернуться. Ведь запах земляники, тот самый запах, который оставила мать, был всюду с Илькой. Она уехала и все равно приедет скоро. Надо только ждать.

И он ждал. Уже выловили мать из реки и привезли на подводе. А он все равно ждал. Какое ему дело до того темного, вздутого, что под навесом. Его даже показать Ильке боялись. Правда, он все же тайком заглянул через забор, но ни жалости, ни боли не испытал, а только страх.

Нет, это все не то. Мать не могла быть страшной. Все эти плачущие люди и бабушка, рвущая на себе волосы, ошибаются, а Илька не ошибался, потому что он один чувствует тот запах, который никто другой уловить не может.

И когда хоронили мать, когда по всему кладбищу разносились вопли, а Ильку просили: «Поплачь, поплачь, легче будет»,— он, сколь ни старался угодить взрослым, ни одной слезинки из себя выдавить не смог.

Он ждал. Месяц, два ждал, потом съежился, примолк, ходил потерянный.

Минуло лето, и мальчишка стал что-то постигать.

Однажды бабушка, которая не пускала Ильку к реке, боясь, что он тоже утонет, после долгих поисков обнаружила Ильку на кладбище. Он стоял у могилы матери. Возле самого креста была выцарапана ямка. В ней торчал тоненький стебелек со звездочкой среди сухих багровых листьев.

Это была земляника.

Заметив бабушку, Илька прижался к ней и долго, безутешно плакал. Потрясенная бабушка гладила его по спине и повторяла: «Что ты? Что ты, дитятко? Успокойся, не плачь,— и со вздохом прибавила: — Твои слезы впереди».

И лежа в шалаше с закрытыми глазами, Илька, как ему думалось, видел во сне мать и ощущал сладкий, томительный земляничный дух. Но он вовсе не спал, потому что вдруг вздрогнул, заслышав шаги. Приподнявшись, Илька выглянул в треугольный выход шалаша — и увидел отца. Тот шел через покос.

Илька заметался в шалаше, как в мышеловке, и, смекнув, принялся поспешно выдирать сено в другом конце шалаша. Отец уже подходил к огневищу. Илька нырнул в отверстие, выполз на четвереньках и кинулся вброд через протоку. На острове он забрался в чащобу и внезапно упал на живот.

Перед его носом была кочка. Из нее торчал пучок метлиги. Казалось, кочка выбросила фонтанчики, которые рассыпались мелкими струйками. Раздвинув метлигу, Илька выглянул. Отец стоял у шалаша, пожимая плечами. Это было признаком раздражения. Потом отец поворошил носком сапога огневище и, видимо, обнаружив жар, вдруг усмехнулся.

Отец был невысок ростом, кривоног и подвижен. Он уже выпил, это чувствовалось по тому, что пальцы рук у него все время находились в движении, выдавая молчаливые рассуждения. Мальчик уже знал, что если отец перстит, значит, он под градусами. Как-то, будучи под этими самыми градусами, отец учил Ильку ходить на шесте в лодке. Правда, Илька сам напросился, чтобы его научили этому хитрому делу. Отец все обещал, обещал, а потом, выпивши, значительно прищурился и сказал: «А ну-ка, сын, бери шест!»

Илька взял шест. Отец столкнул с берега верткую лодчонку и, показав на другую сторону Мары пальцем, спросил: «Во-он, белый камень видишь?» — «Вижу»,— отве-

тил Илька. «Так вот, если тебя снесет ниже того камня, этот шест об тебя обломаю. А теперь плыви!»

Ильку, конечно, снесло, и далеко ниже камня. Мара неумелых не любит. Мальчик сидел по ту сторону реки и ревел. Отец прыгнул в другую лодку — и за ним. Илька испугался и обратно поплыл. Отец гонял его от берега к берегу полдня и таким образом научил ходить на шесте.

Пьяненький, он похвалялся перед людьми своим «методом», Илька не мог его слушать, постоянное раздражение так и кипело в нем.

Люди рассказывали, будто отец сильно бил покойницу мать, и, видимо, за это Илька его не переносил. Бабушка прямо в глаза говорила Верстакову, что мать погибла из-за него. Не пьянствуй он, не мошенничай на мельнице, был бы на воле. А то сел в тюрьму, срок получил, и мать Илькина из-за этого утонула. Он отбыл на строительстве, в какой-то шараш-монтаж конторе припаянный ему срок, освободился. Матери же у Ильки нет и не будет.

Постояв у огневища, отец обошел вокруг шалаша, должно быть, заметил дыру и направился к берегу протоки. Илька припал к земле, пополз.

— Илька-а!

Мальчишка не отзывался.

— Илька-а! — повторил отец и, не дождавшись ответа, сердито приказал: — Сейчас же иди домой!

Илька молчал.

— Я кому говорю, вертайся домой! — снова потребовал отец и, подождав, добавил: — Никто тебя не тронет!

«Да, не тронете! Знаю я вас! — металось в голове Ильки.— Сейчас-то, может, и не тронете, а потом...»

— Чтобы сегодня же был дома! — удаляясь, хмуро бросил отец.

До глухой темноты околачивался Илька на острове, боялся, что отец вернется. Поздней ночью пробрался в шалаш, зарылся в сено и, поминутно просыпаясь, дрожал мелкой дрожью до самого утра.

ВСТРЕЧА СО СПЛАВЩИКАМИ

Мешочек с хлебом и узелок с солью отец не заметил или не захотел взять. Должно быть, не заметил, удочки и те унес.

Илька прикрепил мешочек к поясу, перебрался на остров и здесь, срывая горстями смородину, поел с хлебом. Делать было нечего. Мальчишка вышел на берег, привалился спиной к изогнутому стволу вербы и снова задремал. Солнце еще не вышло из-за гор, и губы Ильки скоро задрожали от озноба. Он проснулся, поежился и длинно зевнул. Потом резко вскочил, принялся прыгать, махать руками. Чтобы стряхнуть утреннюю тишину, так угнетающе действующую на одинокого человека, сердито заорал:

— Мо-о-орда!

Горы согласно ответили: «Да-да-да...»

— То-то же... — буркнул мальчишка и стал бросать камни в воду, стараясь угодить в плывущую щепку.

На другой стороне реки, на высокой скале, стояла громадная лиственница. Лучи солнца откуда-то снизу ударились в ее вершину, и сразу мелкий клочковатый туман, робея, сполз к подножию гор, заколыхался над рекой, вытягиваясь в легкую, как пух, полосу.

Илька ждал солнца. А оно не торопясь просыпалось за перевалом, и, когда наконец выкатилось на гребень дальних елей, все кругом засияло яркими отблесками. От бревен, что тесно нагромоздились на берегу, шел пар. Гладкий камешник на берегу стал быстро обсыхать. Птицы перестали петь и чиликать, занялись промыслом, обследуя гнилые деревья, вылавливая жуков и насекомых. Куда-то пробежал бурундучишка, выскочила на берег лиса и раскопала мышиную норку. Понюхала, разочарованно фыркнула и подалась дальше. Ворона снизилась над водой, сцапала зазевавшуюся рыбинку — и на берег. Склевала добычу, очистила клюв о камень, задумалась. С одного берега на другой с угрожающим криком перелетел ястреб и опустился на островерхую сушину. Мелкие птахи сразу перестали там хлопотать и возиться — затаились. Вверху, сваливаясь за горы, кружил подорлик.

Новый день, с трудами и заботами, начался. Илька забрался на тот самый залом, с которого удил хариусов, и лег животом на широкое бревно. Спину и голову пригревало. После беспокойной ночи мальчишка крепко спал.

— Что ты спишь, мужичок? Уж весна на дворе! — услышал он и, вздрогнув, поднял голову.

Перед ним с камбарцами — короткими баграми — стояли двое. Один молодой, в рубахе с расстегнутым воротом, с курчавой белой головой. Казалось, кто-то выхва-

тил из-под столярного верстака пригоршню крупных стружек и швырнул их на голову этого парня. На лбу у него широкая поперечная складка.

Второй уже стар. У него дряблое лицо, нос красный, только губы мягкие, улыбчивые. Он-то и обращался к Ильке так складно.

— Придется тебе, брат, удалиться отсюда,— продолжал старый сплавщик.— Сейчас мы твою кровать разберем и на лесопилку отправим.

Илька молча сошел с залома и сел на камень. Сплавщики принялись сталкивать бревна, не обращая внимания на мальчика. К удивлению Ильки, залом они разобрали быстро и словно бы играючи. Потом закинули багры на плечи, пошли вниз и стали отталкивать от берега обсохшие лесины. Сплавщики нет-нет да и поглядывали в сторону Шипичихи, кого-то, очевидно, ждали.

— Копаются, черти! — ругнулся молодой.

— Не спешат от людей уплывать,— подтвердил второй сплавщик и предложил: — Давай покурим.

Сплавщики сели неподалеку от Ильки на бревно и принялись развязывать кисеты. Пожилой, набивая табаком трубку с коротеньким кривым мундштуком, посмотрел на Ильку и, обхватив колени, что-то сказал молодому. Тот тоже посмотрел на мальчика и поманил его к себе. Илька послушно подошел, сел на край бревна. Пожилой сплавщик насмешливо прищурился, протянул ему кисет.

— Не курю,— отверг предложение Илька хриплова-тым голосом и прокашлялся.

— Ты чей будешь, паренек? — обратился к Ильке кучерявый плавщик.

— Здешний.

— А чего рано из дому ушел?

— Да так...

Разговор не клеился. Вид у Ильки подавленный, и в глазах его, еще вялых со сна, гнездилась тоска. Старый сплавщик внимательно присмотрелся к нему.

Заношенная синяя рубаха без пуговиц, штаны, прорванные на коленях, поцарапанные ноги, давно не стриженная и не чесанная голова — все это не ускользнуло от цепких глаз старика.

— Так чей же ты все-таки? — неожиданно повторил он свой вопрос.

Илька, нахмурившись, недружелюбно ответил вопросом на вопрос:

— Вам-то что? — Глядя на быстро плывущее бревно, прибавил: — Ничей.— Заметив, что таким ответом он озадачил сплавщиков, пояснил с грустной усмешкой: — Вольный казак!

— Чего, чего?

— Вольный казак, говорю,— повторил Илька и ожесточенно закончил: — Бродяга!

С этого и пошел разговор. Нехотя выжимая из себя слова, паренек начал рассказывать о себе, а затем, ободренный вниманием и участливыми взглядами сплавщиков, продолжал уже уверенно, ничего не утаивая, доверяясь этим людям.

— Конечно, дело семейное — непростое,— вздохнул Илька, повторяя чьи-то чужие слова.— Но и терпенья моего больше нет. Тряпкой в рожу?! Это как называется? За это даже в сельсовет можно идти. А где он, сельсовет-то? Нету сельсовета. Кому пожалуешься? Некому. А они увезли меня сюда и изгаляются. Вот и рубанул я мачеху молотком. Довели! Это еще ладно, ружья дома не было, а то бы до смертоубийства дошло. Тетка Тимофеиха вон говорит, что я очень даже опасный для опчества, если обозлюсь. Я нервный. Есть даже такая болезнь — нервоз называется. Это отец в больнице узнал. Он у нас все по больницам, по лесам да по тюрьмам скитается. Вот кабы наоборот было: отец бы утонул, а мама бы осталась. Бабушка говорит, что без отца был бы я полсироты, а без матери — полный сирота...

Сплавщики слушали не перебивая.

Молодой парень уже докурил цигарку до того, что она обжигала губы, но он словно бы не замечал этого, тянул и тянул, жадно, порывисто. И у него все чаще и чаще подпрыгивало веко. Илька заметил это и подумал, что молодой дяденька тоже очень нервный человек, раз у него глаз так дергается.

— Говори, говори,— попросил пожилой сплавщик с глубоким вздохом и протянул кисет своему товарищу.

Но Илька не мог дальше говорить. Ему как раз надо было рассказывать о том, как отец вчера унес у него все, даже старое пальтишко и удочки.

Из-за острова выплыл плот, на котором стояли два домика: один длинный, наподобие барака, другой маленький, как будка. Все это вместе взятое на сплавщицком наречии именовалось казенкой. Люди на плоту дружно работали потесями, прибиваясь к берегу, на котором си-

дел Илька со сплавщиками. Молодой сплавщик подбежал к воде и, сложив руки рупором, закричал:

— Эй, приставайте ниже острова! — И, заметив, что его поняли, с досадой полюбопытствовал: — Чего это вы мало спали?

Но плот уже пронесло мимо, а может, люди делали вид, что ничего не слышали. Из всего этого Илька заключил: кучерявый парень хотя и молодой, но, видимо, у сплавщиков за старшего. Вернувшись к бревну, на котором сидел Илька со стариком, он первым долгом поинтересовался:

— Ты ел сегодня?

Мальчик молча кивнул головой. Сплавщики переглянулись между собой. Илька догадался — не поверили ему, и пояснил:

— Хлеб остался. Он не увидел его... У меня мешочек-то в кустах спрятан...

—А-а, ну тогда другое дело,— согласился старый сплавщик и тут же обернулся к товарищу: — Что будем делать, Трифон?

Молодой сплавщик сердито тыкал багром в гальку, а когда поднял голову, Илька заметил в его глазах злобу.

— Я вот пойду сейчас в поселок и его преподобному папе морду набью: умей содержать родное дите, коли произвел на свет...

— Нет, нет! — вскочил Илька с бревна.— Я утоплюсь лучше, но домой не пойду...

Старый сплавщик обнял Ильку, посадил рядом с собой и стал гладить по голове, отчего Илька разревелся. Сирота чувствителен к ласке, особенно к мужской. Трифон сидел, стиснув зубы, и веко его снова застрочило.

— Бабушка-то с дедушкой, значит, в деревне Увалы живут? — спрашивал между тем пожилой сплавщик.

Илька тряс головой.

Захрустела галька под ногами. Растянувшись цепочкой, подходили четыре сплавщика. Два здоровенных детины, которым по локоть были рукава сплавщицких брезентовых курток, шли рядом. Чуть поодаль, словно досыпая на ходу, брел мужик, опираясь на багор. Нижнюю губу вместе с челюстью вынесло у него вперед, точно у старушки. За ним, держа камбарец под мышкой, как ружье на полевой охоте, переставлял длинные ноги прыщеватый парень, и по лицу его плавала мечтательная улыбка.

— Чего, малый, хнычешь? — уставился на Ильку ши-

роколицый детина с узко разрезанными глазами и помонгольски выпуклыми скулами.

Трифон знаком велел сесть и коротко рассказал об Илькиной беде. Два здоровенных детины, которых Трифон называл братанами, обматерились и закурили. Сонный сплавщик, часто моргая, уставился на Ильку. Длинноногий же беззаботно заявил:

— Сплавщики находят Робинзона! — И повернулся к Трифону: — Скажи, нет? — И, не давая тому усомниться, обвел вокруг себя рукой: — Остров есть? Есть! Леса есть? Есть! Говори товарищу,— повернулся он быстро к Ильке,— ты читал о Робинзоне Крузо? Читал! Очень хорошо. И, значит, что?

Букву «г» говорливый сплавщик произносил так, как это умеют делать только украинцы. Парень этот сразу понравился Ильке. Пусть морда у него прыщеватая и с этаким серым отливом, как у лежалого налима, но все-таки, видать, человек он бойкий и веселый. А веселых людей Илька страсть как любил.

Мальчишка, стряхивая с ресниц слезы, моргал усиленно, пытаясь улыбнуться.

Прыщеватый же парень продолжал болтать. Трифон перебил его:

— Ты, Дерикруп, ровно пулемет. Скажи лучше, что с мальчишкой делать?

— Как что делать? — изумился Дерикруп.— Мы люди? Люди! Мы нашли Робинзона? Скажете, нет? А какие же порядочные люди оставят человека одного на необитаемом острове?

— Значит, решено?! — хлопнул себя по коленям повеселевший Трифон.

Пожилой сплавщик притиснул к себе Ильку, а его товарищи облегченно выдохнули и снова полезли за кисетами. Но Трифон пресек этот маневр:

— Курить довольно. Солнце скоро на обед покажет, а мы еще не работали. Дядя Роман,— обратился он к пожилому сплавщику,— бери братанов и айдайте на ту сторону. Дерикруп и ты, Сковородник,— со мной. Ты, малый, как тебя звать-то? Илькой? Ты, Илюха, ступай на плот. Варить умеешь? Хорошо. Пока что постоянно будешь там с Исусиком...

— С кем?

— С Исусиком! Это мы так одного нашего кличем. Не

вздумай ты его так называть — изобьет. Он там обед варит и дежурит. Ну, все — в ружье!

С этими словами Трифон взял камбарец и вместе со сплавщиками принялся сталкивать лес, а Илька с остальными мужиками отправился к плоту. Он на минуту забежал в кусты, взял мешочек с хлебом и, появившись, сконфуженно пробормотал:

— Вот и все мои вещи — молоток да клещи!

— У нас их тоже не лишка,— ободрил его дядя Роман.

Плот был причален за толстый ствол сосны. К стене барака прибит плакат, смытый дождями. На нем уцелели только два слова: «Вперед» и «пятилетку», а остальные угадывались лишь по полоскам, оставшимся на красном полотне. На коньке барака укреплена небольшая мачта, на ней железный флажок, выкрашенный неизменно красным цветом.

На берегу подле плота горел костер. Вокруг него хлопотал человек с узкой спиной и тощей шеей, в ложбинке которой виднелась косичка. Когда человек обернулся, у Ильки глаза на лоб полезли. Ну до чего же люди умеют точно давать прозвища! Есть у бабушки икона, на которой изображен какой-то святой,— ровно с этого срисован. Бледное узенькое личико, острый нос, тоненькие бескровные губы с горестными складками в углах рта и голубенькие глазки. Только на иконе глаза большие, невинные, а у этого маленькие, глубоко провалившиеся и какие-то подозрительные.

— Кто такой?

— Мальчонка. Не видишь, что ли? — буркнул дядя Роман, отвязывая лодку от плота: — Сирота он. Поплывет вместе с нами до Усть-Мары, а там уж к бабушке с дедушкой уйдет в Увалы.

— Нахлебник, значит,— заключил Исусик, но дядя Роман так глянул на него, что тот осекся и забормотал: — Мне-то что, мое дело маленькое, раз начальство велит... А если сопрет чо, тогда как?

— Развякался! — пробубнил один из братанов, бодуче глянув на Исусика. Левого глаза у этого богатыря не было. Целый глаз смотрел на всех прямо и спокойно.— Покажи малому хозяйство. Он тебя подменит, зря хлеб уж точно есть не станет.

Илька уважительно посмотрел вслед одноглазому и сделал заключение, что этот сплавщик — человек очень серьезный. Другой братан тоже шагнул в лодку. Дядя Ро-

ман толкнулся багром, и, пощелкивая о каменистое дно носками камбарцев, сплавщики погнали лодку на другую сторону реки. Исусик раздраженно ворчал что-то непонятное себе под нос.

— Чо стоишь? Луку нарви, дров принеси. Чо, думаешь на дармовщинке кататься? В артели нашей лодырям нет климату — Трифон Летяга сырым съест...

Илька положил мешочек на камни и, не дослушав Исусика, пошел по берегу искать полевой лук. «У меня еще свой хлеб есть,— обиженно думал он,— да я и голодом продюжу, только бы не прогнали, только бы до Усть-Мары уплавили».

ХОЗЯИН КАЗЁНКИ

Сплавщики обедали, а Илька сидел в стороне.

— Чего куксишься-то? — крикнул Исусик.— Ступай кашу хлебать.

— Не трожь парня,— вскинул на него глаза Трифон,— обидел словом, так не лезь теперь.

— Экая цаца! — сердито пробурчал Исусик, вытирая подолом рубахи запотевший нос.— Кабы я его хоть пальцем тронул? Слово бы какое сказал.

— Иное слово больней оплеухи,— заявил Трифон.— А сирота, он особенно к слову чувствительный, по себе знаю.

Илька ничего этого не слышал. Он макал горбушку в воду. Стараясь не глядеть на мелькающие ложки сплавщиков, медленно жевал хлеб. Потом лег на живот и запил водой. «Пусть брюхо полнее будет — дольше продюжу».

Сплавщики пообедали. Илька собрал ложки в котел и отправился мыть посуду. Жидкая каша, заправленная поджаренным луком, пригорела. Илька отскребал ножом пригоревшую кашу и глотал слюнки. Лучше бы, конечно, съесть эти горелые корочки. Они тоже вкусные, но он не станет этого делать. Как-нибудь обойдется своими харчами, перебьется как-нибудь.

Появились пескари и гальяны — маленькие рыбки. Сначала несколько штук, а потом целый табун. Они похватывали горелые корочки и жадно теребили их. Ну и подлая рыбешка! Илька схватил камень и трахнул в суетящийся табун. Одного пескаря задело, и он, переворачиваясь со спины на брюхо, с брюха на спину, поплыл вниз.

— Не жадничай!

— Что готовить к ужину? — спросил Илька у Трифона Летяги, вернувшись на плот.

— Да кашу опять же. Продукты у нас на исходе. Одна крупа осталась. Не сегодня завтра баркас с Усть-Мары должен прийти. А покудова наляжем-ка, навалимся на кашу, как солдаты.

— Нет ли у вас, дядя Трифон, обманок? Я бы харюзов наудил и уху сварил.

— Обманок, Илюха, нет, а крючки есть. Да и где ты наловишь харюзов-то?

— Здесь их страсть!

— Уметь надо рыбу эту ловить. Она, бестия, не всякому дается.

— Были бы обманки,— рассудил Илька и, подумав, прибавил: — Ладно, я на червя попробую. Где крючки?

Трифон Летяга показал ему удочки. Они стояли в будке, предназначенной для просушки одежды. Илька отправился копать червей и ловить кузнечиков. Исусик недовольно ворчал:

— Без ужина будем.

Ему не хотелось идти работать, ворочать бревна. Кашеварить приходилось по очереди. И каждый сплавщик, дождавшись своего дня, отсыпался вволю, меньше всего заботясь о том, чтобы получше сварить еду. И вот, прождав целую неделю этого благословенного дня, Исусик ни с того ни с сего вынужден был горбатить, вместо того, чтобы валяться на нарах. Сплавщики посмеивались, а Дерикруп значительно сказал, уставившись белыми глазами на Исусика:

— Этот паренек из Шипичихи — тутошний Робинзон! Он подался на промысел. К ужину будут устрицы! Скажете, нет?

— Придурок! — рыкнул на Дерикрупа кашевар и для порядка крикнул Ильке: — Ну, гляди, парень, если без еды всех оставишь!..

— Не твоя забота,— проворчал Илька, ковыряясь в кустах. Он уже успел невзлюбить этого занудливого человека с иконописным лицом.

Червей было мало. Кузнечики сигали как угорелые, и мальчишка вернулся в барак. В баночке вяло пошевеливалось с десяток тощих червей.

В бараке, пропахшем дымом, вдоль стены сделаны про-

сторные нары из толстых расколотых лесин. На нарах измятое сено. На сене несколько подушек в затасканных наволочках, как попало брошенные дождевики, телогрейки. В головах под сеном чемоданы и мешки. Только в углу в старое лоскутное одеяло были аккуратно завернуты подушка да ситцевая накидка вместо простыни.

«Это Исусикова постель»,— отметил про себя Илька и покачал головой. Увидел на стенке керосиновую лампу. Стекло у нее было сплошь покрыто сажей. Рядом с лампой отрывной календарь с портретом какого-то военного на картонке и список дежурств по бараку. В стены вбито множество гвоздей, над печкой висят железные крючки. Чугунная печка туполобым боровом лежала на брюхе в ящике с песком. Окурки, обрывки газет, рыбьи кости вперемешку с сеном толстым слоем лежали на полу. «Нет, не до рыбалки сегодня», — обреченно подумал Илька и стал искать веник.

— Ну и охреди! — покачал головой мальчишка.

Илька полез под нары и, по-дурному вскрикнув, вынырнул оттуда. Под нарами сидел кто-то с поблескивающими в темноте глазами. Илька снял с лампы стекло, зажег фитиль и, боясь запалить клочья сена, свисающие в щели между плахами, осветил под нарами. В дальнем углу, сжавшись крутым комочком, дрожала перепуганная собачонка. Илька поманил ее:

— Кабздох! Кабздох! На! На!

Собачонка дрыгнула коротким хвостиком и поползла к мальчишке на животе. Была она совершенно неведомой для Ильки породы: белого цвета, лапы короткие, хвост заячий, на волосатой морде чуть виднелись глазки из-под старческих, длинных бровей, широкий, тоже старческий рот растягивался в умильной улыбке, показывая мелкие желтоватые зубы. Илька схватился за живот, глядя на это уморительное сотворение. А собачонка лохматым шариком выкатилась на порог, сторожко огляделась и радостно подергала хвостиком.

— А-а, вот ты кого испугалась? — догадался Илька и потрепал собачонку: — Нету, нету Исусика, ушел, злыдень несчастный.

Илька связал веник из пихтовых лап и принялся убирать в бараке. Сено он все выбросил в реку, одежонку выхлопал, мусор вымел. Потом сыскал в сушилке тряпку и ведро, зачерпнул воды и выскоблил стол, отмыл един-

ственное в бараке окно, протер стекло от лампы и только после этого взялся варить кашу.

Мужики изумлялись и громко ахали, вернувшись с работы.

— Светлица! Скажете, нет? — восклицал Дерикруп, обращаясь к сплавщикам, но тут же поцарапал загривок: — А на чем же спать станем? Сено-то наш покорный слуга выкинул!

Илька сказал мужикам, чтобы они сходили в его шалаш и принесли бы свежего сена на нары. Сплавщики начали было препираться. Трифон Летяга разозлился и крикнул:

— Мальчонки бы постыдились!

Сена притащили больше, чем надо. В бараке сразу сделалось свежее. Сыроватый запах был вытеснен и задавлен духом сухой травы.

Сколько ни упрашивали сплавщики Ильку ужинать, он не сел, и отвечал одно и то же:

— Вам самим мало...

Мужики ужинали на берегу, и, когда Илька ушел в барак, делая занятый вид, Трифон ткнул ложкой в сторону Исусика:

— Это все ты! Теперь он с голоду пропадет, а к нашим харчам не притронется.

Исусик виновато помалкивал, работая большой деревянной ложкой. Сплавщики тоже угрюмо молчали. Чем еще воздействовать на парнишку? Что сделать для того, чтобы он чувствовал себя в артели своим человеком? Дерикруп поковырял спичкой в зубах и неожиданно предложил:

— Его надо оформить!

— Как оформить?

— А обыкновенно. Я сделаю все. Вы уж только мне не мешайте.

Сплавщики с уважением посмотрели на Дерикрупа. Голова! На артиста когда-то учился, грамотный! Этот все может! Фамилия у бывшего студента театрального училища была Круподер. Это уж сплавщики переиначили. На сплав он попал совершенно случайно. Из училища его за что-то исключили. Остался он без стипендии, без жилья и завербовался на сезонную работу к сплавщикам. Никто этому, конечно, не удивился. В те годы на сезонных работах можно было встретить кого угодно, начиная от быв-

шего члена Государственной думы и кончая распоследним босяком, побывавшим во всех концах матушки России, перепробовавшим все работы, какие доступны смертному человеку.

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО

После ужина Дерикруп отозвал в сторону Трифона Летягу и о чем-то долго совещался с ним. Трифон, закончив тайную беседу, заговорщически подмигнул Дерикрупу и официальным тоном обратился к сплавщикам:

— Сейчас, товарищи, прошу всех на собрание,— и обернулся к Ильке: — Тебя потом позовем.

Илька присмирел, ожидая вызова. Уселся на вынутые из воды потеси, подальше от барака, чтобы мужики не подумали, будто он подслушивает, и стал трепать собачонку, которая была мягче кролика. Трифон Летяга зажег лампу, велел Дерикрупу сесть за стол, дал ему чистый бланк рабочего наряда и налил из чайника воды в пузырек, где едва виднелись высохшие чернила. Подкатив чурбаки к столу, он скомандовал развалившимся на нарах усталым сплавщикам:

— Всем сесть и не ржать. Будем мальчонку приручать к коллективу.

Бригадир еще раз оглядел стол, открыл дверь и кликнул Ильку.

Невольно подобравшись, Илька перешагнул порог барака и стал по команде «смирно» — сейчас должно произойти что-то очень важное. И если до этой минуты у него еще копошились в душе подозрения насчет того, что сплавщики какую-то шутку над ним проделать собираются, то при виде преисполненного важности Дерикрупа, немножко натянутых, но торжественных лиц сплавщиков, все исчезло. Илька понял: тут не до шуток. Правда, Исусик загадочно ухмылялся, штопая рукав рубахи. Так это ж Исусик!

Трифон Летяга жестом пригласил Ильку сесть на свободный чурбак и, прокашлявшись, повел речь:

— Тут, товарищи, такое дело. Пришла в нашу артель еще одна человеко-единица. И поскольку эта человеко-единица, то есть Илюха, показал на деле, что он способен заменить дежурного сплавщика и высвободить тем самым другую единицу на работу, я думаю оформить его в бри-

гаду, чтобы поставить на колпит, обеспечить спецодеждой и разными льготами. Возражения есть?

Возражений не было.

Тогда Тимофей Летяга сел на край нар и кивнул головой Дерикрупу:

— Приступим.

Дерикруп почистил заржавевшее перо где-то сзади о штаны, обмакнул ручку в пузырек и ошарашил Ильку первым вопросом:

— ФИО?

— Чего?, — растерянно открыл рот Илька.

— Говори по-русски,— загудели сплавщики на Дерикрупа, но он строго глянул на них и тем же важным тоном, от которого у Ильки пошел холод по спине, пояснил:

— Фамилия, имя, отчество?

Прежде чем ответить, Илька поднялся с чурбака, одернул короткую рубаху и обвел глазами сплавщиков.

Какие уж тут шутки! Тут совершался акт огромного значения, можно сказать, происходило священнодействие. Его, Ильку, принимали в рабочие. И, набрав побольше воздуха, он выпалил:

— Верстаков Илья Павлович! — Мальчишка даже удивился: настолько получилось длинно.

Ни один мускул не дрогнул на лице Дерикрупа. Ох, не напрасно этот человек учился на артиста! Он размашисто написал это самое ФИО в графе наряда, где сверху значилось: «Колич. куб. др-ны», и снова поднял глаза на Ильку:

— Национальность?

Илька беспомощно огляделся по сторонам. На лбу его выступил пот.

— Ну, кто ты: татарин, тунгус или русский? — пришел на помощь к нему дядя Роман.

Мальчишка помялся и ответил:

— Наверное, русский.

Мужики сдержанно рассмеялись. Сковородник же, подрагивая широкой нижней губой, как всегда не ко времени, принялся шутить, откуда, мол, парню знать, к какой национальности он принадлежит, дело-то, должно быть, было ночью. Но Трифон Летяга метнул яростный взгляд и рубанул по шаткому столу ребром ладони так, что подпрыгнул пузырек.

— Кто будет зубоскалить, удалю из помещения!

Лица у сплавщиков вытянулись. Сковородник сконфуженно спрятался за спину братана Азария, который

сидел с полуоткрытым ртом, громко сопел и не моргал даже живым глазом. Он помнил, как неотесанным деревенским парнем сам первый раз оформлялся на работу, и потому сочувствовал Ильке. А мальчишка совсем ошалел от серьезности минуты. Но следующий вопрос оказался легким — насчет образования. Он коротко отчеканил:

— Одна группа! — и перевел дух, да преждевременно.

Дерикруп тут же вверг его в смятение мудренейшим словом:

— Соцпроисхождение?

— Как это? — жалко и растерянно улыбаясь, уставился на него Илька.

— Ну, кто родители твои: крестьяне или рабочие? — дал наводящий вопрос все тот же добрейший дядя Роман.

Илька быстро, с благодарностью взглянул на него и затряс головой: дескать, дошло, дошло.

— Отец — охотник, а мать утонула,— сказал мальчишка и с трудом сглотнул слюну — так пересохло у него в горле.

Вот тут и начался сыр-бор, чуть было не погубивший все дело. Одни доказывали, что рыбаки и охотники самые настоящие пролетарии, так как ведут странствующий образ жизни, следовательно, ни к рабочему, ни к крестьянскому сословию не относятся. Другие утверждали, что охотники самые настоящие крестьяне, потому как живут они в большинстве своем по деревням.

Исусик, перекусив нитку, вколол иголку в подклад фуражки и огорошил сплавщиков:

— Выходит, толстоляхие попы тоже крестьяне, раз они по деревням живут?

Все озадаченно притихли. Дерикруп, чтобы остаться на высоте положения и разрядить обстановку, несмело предложил:

— Может, так и напишем — про-ле-та-рий! — и, чтобы не дать никому опомниться, макнул ручку в пузырек.

Но Исусик выскочил из угла и замахал руками. Тень его заметалась по бараку, переломившись надвое.

— Это как же? Парень небось хрещеный, а вы его басурманским званием заклеймили?

— Заткнись ты! — разозлились на его мужики.

Исусик, как укушенный, быстро обернулся к нарам и, поскольку ближе всех к нему оказался дядя Роман, напустился на него:

— Ты, Красно Солнышко, бродишь без Божьего надзора по земле и хочешь невинную душу увлечь?

Дядя Роман был лыс, и сплавщики за это дали ему прозвище — Красное Солнышко. Он отстранил напирающего на него Исусика:

— Слюной-то не брызгай, раб божий.

— И раб! И раб! — ярился Исусик.— Раб, да не беспорточный бродяга. А ты богообманщик! И все лысые — богообманщики. Просили кожи на одну рожу, но Бога обманули и верховище обтянули.— При этом Исусик показал на лысину дяди Романа и тоненько захихикал.

Мужики тоже захохотали, и дядя Роман вместе с ними. Дерикруп под шумок заполнил графу, вписал слово «пролетарий» и поднялся, давая понять, что дело с оформлением закончено.

— Нашему полку прибыло! — воскликнул дядя Роман и с облегчением хлопнул Ильку по плечу.

В полном изнеможении мальчишка опустился на чурбак и долго сидел, неспособный двинуть ни рукой, ни ногой. По лицу его все еще струился пот.

Трифон Летяга сказал:

— Готовиться ко сну. Завтра рано начнем спускать плот. Надо поджимать с зачисткой. Впереди еще Ознобиха — это понимать надо. Поскольку сейчас высвободился человек, дело пойдет быстрее. Я так думаю.

Все вышли из барака, закурили по последней перед сном цигарке. Только Исусик сидел в стороне, чтобы не оскоромиться,— табаку он не курил.

В небе слоились темные облака. Где-то в горах голосом глиняной игрушки вела длинный счет людским годам недремлющая кукушка. Перебивая ее задумчивый голос, чеканил перепел в траве: «Спать пора», и чуть слышно доносился лай собак из Шипичихи. Илька напрягался, стараясь уловить голос Османа, и подумал: «Хоть бы скорее уплыть подальше». На костер неслышно налетали и шарахались в темноту крылатые мыши. На перекате в конце острова звучно плескалась рыба.

Архимандрит — так звали лохматую собачонку сплавщики — во время дебатов лежал под нарами и не шевелился. Сейчас он вылез на плот и юлил возле мужиков. Те благодушно трепали его за волосатую морду и обзывали кому как желательно.

Долго дивился Илька на эту невиданную собаку, спрашивал, откуда она взялась и как. Мужики хитровато пос-

меивались, но в конце концов мальчишка все-таки узнал непростую и загадочную историю этой собаки, по определению Дерикрупа, принадлежащей к благородной вроде бы породе болонок.

Хозяйкой собаки была жена начальника сплавной конторы, очень дельного и сдержанного мужчины. До революции он долго служил лесничим. Уже будучи немолодым человеком, случайно и дико влюбился в дочку промотавшегося вконец дворянина со старинной фамилией. Дворянин этот в смутные годы революции и гражданской войны исчез с лица земли, а дочка осталась с молчаливым лесничим, подверженным романтике. Взамен приданого она привела ему на шелковом поводке совершенно ненужную, но падкую на сладости собачонку.

И вот эта собачонка вместе со своей хозяйкой очутилась на сплавном рейде среди разношерстного народа. Бабы плевались, узнав, что барыня дает собачонке тот же сахар, от которого сама откусывает. Целыми днями сидела хозяйка с собачонкой в плетеном креслице возле окна, квелая, рано поседевшая, и мечтательно смотрела вдаль.

Потревоженное гражданской войной, сдвинутое с родных мест разрухой и голодом население поселка жило трудно. Вместе со всей страной люди на рейде тужились, чтобы сделать немыслимое дело — поднять одряхлевшую Русь на новые строительные леса. А среди них, как измочаленная хворостина в куче деловых лесин, запуталась эта несчастная барынька.

Конечно же, все, начиная от ребятишек и кончая служащими в конторе, как могли, изводили ее.

Однажды поселковые ребятишки замыслили дерзкое дело и осуществили его: они утащили у барыньки собачонку и швырнули ее в реку. Собачонка каким-то образом выкарабкалась на катер, забилась под лавку, и ее обнаружили спустя несколько дней уже в верховьях реки, куда поднималась молевая бригада Трифона Летяги. Собака очутилась на сооруженном в верховьях плоту и по недоразумению или ехидному умыслу получила мужское имя — Архимандрит. Она уморительно служила и опрокидывалась кверху лапами при первом окрике, боясь всего до смерти, как и ее хозяйка.

О хозяйке этой сплавщики говорили часто. Она была чем-то вроде постоянного недуга. И говорили о ней такое, что даже Илька, с малолетства привыкший к грубым ругательствам и срамным рассказам, краснел.

Однако при всем этом мужики сучонку не уничтожили, даже привязались к ней. Но спать на постель ее не допускали, хотя в силу аристократической привычки она и норовила иногда прилечь на что-нибудь мягкое. Место собаки на улице или под нарами — исключения не делалось даже Архимандриту.

Илька накормил Архимандрита и загнал под нары, долой с глаз Исусика. Тот пинал собачонку при всяком удобном случае. Сам Илька лег спать между Трифоном Летягой и дядей Романом.

Полежав немного, он тронул бригадира и вполголоса спросил:

— Нет ли у вас, дядя Трифон, шелковой нитки?

— Зачем тебе?

— Я бы обманки сделал и харюзов наловил, ухой бы вас накормил.

— Спи, спи, кормилец,— сонно отозвался натомившийся бригадир и натянул на Ильку дождевик, заботливо ощупывая мальчонку: не поддувает ли ему под бок?

Илька вытянулся и затих. Он еще долго не мог уснуть. Прислушиваясь к свирепому храпу сплавщиков, он снова думал о взрослых людях — таких неодинаковых, таких непостижимых.

РАЗНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ

Да, разные. Даже эти семеро из одной артели ничем не походили один на другого. За несколько дней Илька успел внимательно присмотреться к сплавщикам и немного ближе узнал каждого.

Вот бригадир Летяга. Есть белка с таким названием в Сибири. Делает она огромные прыжки с дерева на дерево, летает, как говорят про нее.

Ловкий в работе, всегда собранный, умеющий приноровиться к любой обстановке бригадир как нельзя лучше соответствовал своей фамилии. Да и глаза Трифона Летяги напоминали беличий пушистый мех. Если в этот мех подуть, он становится темнее, рассыпаясь, словно пепел. Лучистые и мягкие, в глубине глаза Трифона были темно-серые и, когда он сердился, становились совсем темными. Казалось, на светлое небо наползала туча, которая пряталась за облаками зрачков.

Фамилия Трифона была одновременно и его прозви-

щем, потому что точнее ничего придумать нельзя. Трифон, как узнал Илька, а скорее почувствовал по постоянному вниманию и заботе, какой-то ненадоедной, грубоватой и простой, тоже из сирот. Только осиротел он уже большой, когда ему было шестнадцать лет. На плечи шестнадцатилетнего парня легло хозяйство и забота о двух младших братьях и сестренке, а также и о матери. Он и до сих пор половину своей зарплаты отсылал семье, жил бережно.

Второй, наиболее заметной фигурой, был дядя Роман, Красное Солнышко. Дядя Роман говаривал о себе: «В моей жизни приключений было больше, чем дырок на терке». И в самом деле, жизнь его, что камешек, запущенный озорным парнишкой без всякого смысла. Куда камешек полетит и что с ним станется — никому неведомо.

Был дядя Роман множество раз женат, но остался без семьи. Имел массу профессий, но ни одна к нему не приклеилась. Все в жизни он приобретал легко и сбывал не задумываясь. Если дело доходило до нательного белья, он и его снимал без всякого сожаления. Где только ни колесило Красное Солнышко, чего только ни видело, но вот на старости лет, подобно бесприютному шатуну медведю, подался старик в родные сибирские леса — умирать.

Ну, о Дерикрупе говорить нечего. Он весь на виду. В артели его любили за болтовню, беспутную и широкую натуру, называли малахольненьким. Узнать поближе и расспросить его о прошлом житье-бытье как-то не догадывались, считали, должно быть, что делать это незачем, а сам о себе он распространяться не любил.

Что же касается братанов, то тут особый разговор. В каждой более или менее порядочной артели есть или должны быть вот такие здоровенные работяги, которые двое не скажут за одного, а сделают за четверых. Никакими братанами они не были. Вплоть до прихода на сплав они и не знали друг друга. Первый из них, Гаврила, родом из низовьев Енисея, из так называемых сельдюков. Второй со святым именем Азарий — из минусинских крестьян.

Когда и как подружились Гаврила и Азарий, никто точно сказать не мог бы. Но видели их всегда вместе и считали за братьев. А уж если требовались по отдельности, кликали: «братан низовской» или «братан верховской». Что же касалось лично их, то Азарий думал, что без Гаврилы он давно бы пропал, а Гаврила, в свою очередь, не

смог бы представить себя без Азария, которого надо было опекать, поддерживать и при нужде с уверенностью опереться на его широкое плечо.

Пожалуй, самой незаметной и все-таки очень занимательной личностью в бригаде был Сковородник. У него тоже, как и у Исусика, имелись, конечно, и фамилия, и имя, но какие — никто не смог бы вспомнить сразу. Если Трифону Летяге требовалось записать, он всякий раз спрашивал у него об этом.

Наиболее заметной достопримечательностью лица Сковородника, как уже отмечалось, была нижняя губа, за которую он и получил прозвище. Впрочем, он не обращал на это ни малейшего внимания. Если мужики прокатывались насчет губы, он невозмутимо заявлял: «Зато, когда я хлебаю, так не каплет».

Сердился Сковородник редко и больше сердился ни с того ни с сего. В разговорах участвовал тоже изредка и если вставлял слово, то обычно невпопад. Работал Сковородник старательно, однако в азарт не входил. Стоило кому-нибудь всерьез или в шутку крикнуть: «Шабаш!», как Сковородник тут же закидывал багор на плечо, и уж никто не мог заставить его спихнуть лежащее на пути бревно. Мужики говорили, что, если у Сковородника загорится изба и он возьмется тушить ее, надо крикнуть: «Шабаш!», и он тут же перестанет лить воду.

Была у Сковородника многочисленная семья на Усть-Маре. Но он никогда о ней не вспоминал, хотя Трифон Летяга, хорошо знавший его, утверждал, что ребятишек своих Сковородник любил сильно и жену, очень работящую и бойкую, никогда не бил. А бить жен для сибиряков — занятие не только привычное, но даже модное.

Зато Исусик постоянно трещал о своей семье, о своих ребятах, которых у него было четверо, и о жене, которую он учитывал в каждой копейке и лупил нещадно за любую хозяйственную проруху. Он встревал в любой спор и бывал до глупости откровенным в иные минуты. Вот вчера вечером раскинули сплавщики портянки возле печки, думали, что она прогорела. В печке оказалась головня. Когда все уснули, головня подсохла и разгорелась. Лежащие на дровах портянки Исусика затлели, и, наверное, был бы пожар, да дядя Роман проснулся, затоптал горящие холстины, а потом тряхнул за ногу Исусика:

— Дрыхнешь, ястри тебя, пропастина, а онучи начисто сгорели.

Исусик подскочил, плеваться начал:

— Ить слышал я, слышал, что горят портянки, но думал — не мои...

Дядя Роман, не употреблявший ругательства, кроме «ястри тебя», свирепо матюкнулся после этих слов.

Исусик большой словолей и обычно заводил споры сам. Разговорчивых людей в артели мало, и потому все баталии разгорались чаще всего между дядей Романом, Дерикрупом и Исусиком. Спор начинался с божественных тем и доходил до матюков.

Дядя Роман ни в Бога, ни в черта не верил и никаких божественных книг не читал. Не прикасался к Божьим писаниям и Исусик, а только слышал разные обрывки и отдельные изречения из десятых уст. Но он отстаивал все эти истертые холщовыми мужицкими языками пророчества с ярым упорством.

Мужики подзуживали его, особенно дядя Роман, вызывали на разговор, а потом высмеивали. Дело иной раз доходило чуть не до драки, и тогда Трифон Летяга разгонял всех спать.

В тихий вечер, располагающий скорее к молчанию, а не к разговору, Исусик уселся после ужина возле барака и певучим голосом завел:

— Вот, братцы мои, какая хреновина в божьем писании есть насчет роду людского.— И, делая вид, что он наизусть цитирует, загнусавил: — «И прийде такое время, когда два человека один веник в баню таскать станут». Это значит, выродится человек,— пояснил он,— обессилет.

— Да к той поре уже все переменится: и бань-то не будет, и париться люди не подумают, бескультурье это и вред для сердца,— возразил дядя Роман, у которого было худое, изношенное сердце.

— Чо-о? — изумился Исусик.— Бань не будет? Ха-ха, значит, культурных людей вша загрызет!

— Олух! Ванные будут, души и тому подобное!..— выкрикнул Дерикруп.

— Души! — взъелся Исусик.— Пусть бусурмане, азияты в душах-то моются. А русскому человеку баню с каменкой подай, да чтоб пар столбом. Игрушкино дело удумали — коммунизм без бани! Не признаю такого паршивого коммунизма!

— Эх ты, молотилка-колотилка, мелешь, сам не знаешь, чего мелешь,— с укоризной заговорил дядя Роман.—

Таким, что в твоем писании обрисованы, если ты хочешь знать, только в душе и мыться подсильно, хлибкие-то не больно-то парятся.

Исусик наморщил лоб.

— Да, это рассужденье сурьезное...— И тут же начал спасаться.— А раз в Божьем писании есть, должно все сбыться. Писание не игрушкино дело!

— Демагог! — заключил Дерикруп.— Скажете, нет? — спросил он у мужиков.

Те согласились с ним, явно приняв незнакомое слово за какое-то ругательство.

Потом разговор перескочил на другие темы, и было рассказано множество былей и небылиц. Когда дело коснулось медицины, Исусик заявил, что вся эта медицина сплошной обман и что доктора существуют только для того, чтобы денежки выуживать у простаков. В подтверждение он рассказал такую историю.

— Вот в одном селе парень захворал. Молодой был — кровь с молоком! А потом стал чахнуть, чахнуть. Родители евонные к одному доктору, к другому — не игрушкино дело с дому работника терять. Корову стравили, коня, за куриц принялись, а доктора все свое: не можем ничего сказать определенного. А тут как раз на постой к этим крестьянам верховские обозники встали. Узнали они про всю эту ужасную жизнь парня и говорят: «Поезжай-ка ты, брат, в Минусу. Живет там в одном селе старуха, ужасть дошлая по леченью». Ну, долго ли, коротко ли колесил по свету парень, а только, значит, напал на ту лекарку и в ноги ей бух: «Спаси,— грит,— баушка, век за тебя Богу молиться стану. Всех докторов, фершалов объездил — никакого результату». Старушка эта любезно и спрашивает его: «А скажи, милый сокол, куришь ли ты табачок?» — «Нет,— говорит,— не курю, милая бабуся, где уж мне, и без табаку впору на карачках ползать».— «А спал ли ты на покосе или на пашне один?» — снова спрашивает старушка. «Спал, баушка, спал, а зачем тебе это знать?» — «Тогда все ясно-понятно»,— сказала лекарка и велела жарко баню натопить.

Натопили баню. Завалила старуха этого парня на полок — и ну парить, ну парить. Попарит, попарит да ковш ледяного квасу поднесет. И до того она парня искуделила, что он из сознанья вышел. А когда в себя пришел — лежит на постельке, и так-то ему легко дышится, и совсем-то он здоровый. Давай он эту старушку благода-

рить, и в пояс ей кланяться, и спрашивать, что это за хворь у него была. Бабушка и говорит: «Сидела у тебя в брюхе змея. А залезла она тебе в рот, когда ты спал. Если бы ты табак курил, она бы не залезла — табаку змея не переносит. А так вот заползла и сосала из тебя кровушку, тварь гремучая. Ну теперь я ее выгнала оттудова и земле предала...»

— Фу-у ты! — тряхнул головою дядя Роман.— Видал хлопуш, слыхал хлопуш, сам хлопуша, но такого, как Исусик, встречать не приходилось. Брешет, ястри его, ну просто, как пишет!

— Тебе чо, тебе все не так,— протянул Исусик,— все осмеешь, все сомнению предашь. А это истинная правда!

— Ну, если правда, тогда почему тебе змея в рот не заползает? Ты ведь тоже не куришь?

— Хэ, сказал! Я его, рот-то, трижды закрещу, прежде чем уснуть, а через крест не только змея, даже сам черт не перелезет.

Дядя Роман плюнул, со злом пнул головни. Упав в воду, они зашипели и поплыли, чадя последним дымком.

— Спать пора,— проговорил дядя Роман.— Этого остолопа не переслушаешь и не переспоришь.

Илька, у которого мураши по спине от страха ползали во время рассказа Исусика, помялся и ушел в барак, так и не поняв, правду рассказал Исусик или нет.

В бараке было душно, и братаны, а за ними и Исусик, с постели отправились спать на берег.

Когда все затихло, Илька шепотом спросил у дяди Романа:

— Дядя Роман, а ну как залезет Исусику змея в рот, что делать будем? Из одного котла едим. Может, крест-то не всегда действует?..

— Да-а, это верно,— рассудил вслух дядя Роман, и мальчишке показалось, что Дерикруп заколыхался от смеха.— А мы вот сейчас проверим, паренек, надеется на крестное знамение Исусик или нет. Посмотрим...

Приговаривая так, дядя Роман осторожно спустил с нар босые ноги, нащупал на стене легость, которую забрасывают с плота на берег во время учалки, и пошел из барака. Илька двинулся за ним, поднялся и Дерикруп — любитель занимательных сцен и острых ощущений. Сковородник уже пускал носом свист с переливами.

Осторожно приблизившись к кусту, за которым спал Исусик, дядя Роман отошел, размотал легость и кинул ее

через Исусика на поляну. Потом медленно потянул и стал сматывать бечевку легости на руку.

Илька уже понял, какую проделку хочет учинить дядя Роман, и зажимал рот ладонями. Бечевка шуршала в траве, ползла по одеялу Исусика, потом скользнула по его лицу, холодная, гладкая. Послышался вопль, Исусик выскочил из-за куста и начал истово креститься.

Дядя Роман, Илька и Дерикруп, давясь смехом, вернулись в барак.

— И когда вы угомонитесь? — поднял голову Трифон Летяга.— Ты-то, дядя Роман, старый человек, а вроде дитя!

Через несколько минут появился Исусик с одеялом. Дядя Роман, позевывая, скучным голосом вяло полюбопытствовал:

— Чего вернулся?

— Да чтой-то прохладно стало,— отозвался Исусик и тут же притих.

— Змеи небось испугался?

— Чего мне змея? Мне стоит перекреститься...

Илька прыснул первый, за ним покатились Дерикруп и дядя Роман. Дерикруп даже кулаками по нарам колотил. Он всегда так самозабвенно смеялся.

Исусик слушал, слушал, видимо, догадался в чем дело, выругался и с головой завернулся в одеяло.

Трифон, подавив смех, двинул Дерикрупа в бок и приказал:

— Да спите вы!

УХА

Шелковые нитки нашлись. В сундучке Дерикрупа отыскалось фасонистое шелковое кашне с красными полосками. От него отрезали две кисточки. Илька распорол угол подушки и выпул несколько рыженьких перышек. После этого он сел за стол и принялся делать обманки, или, как их еще называют, мушки. Сплавщики с любопытством наблюдали за его работой, дивились. Перышко, подрезанное и очищенное на концах, Илька продел в ушко крючка, обернул вокруг него и кончики прихватил ниткой. Эта нитка плотными рядками легла до изгиба крючка и пошла вверх, снова к ушку. Петельки постепенно образовали брюшко искусственной козявки, а растопыренное перо было крыльями.

Илька не без форса бросил на стол самодельную мушку, и она пошла по рукам.

— Этот парень, братцы, не пропадет! — заверил сплавщиков Сковородник. Он хотел добавить еще что-то, подумал и брякнул: — Одно слово, сирота!

— Фокусник! Скажете, нет? — приставал ко всем восхищенный Дерикруп.

— Ловкач! — хвалили по-своему сплавщики.

Один Исусик засомневался:

— Как на деле покажет себя эта штука...

— Покажет, покажет!

— И язва же ты, Исусик,— вполголоса сказал ему дядя Роман.— Мальчишка мастерит своими руками — пусть забава, а ему радость...

— Не забава... Не забава! — услышав это, вскипел Илька и выбежал из барака.— Вот увидите! Сами увидите!.. Сами!..

Продукты вовсе на исходе, а баркас так и не появлялся. Илька все еще чувствовал себя нахлебником в артели, лишним ртом и хотел чем-нибудь пополнить артельные харчи, внести свою долю.

Илька рыбачил прямо с плота. Мушка подпрыгивала и вертелась возле бревна. Илька слегка потряхивал удилище, будто мушка беспомощно билась, попав в воду. В узлом закрученной струе раздался шлепок, и мушка исчезла. Илька снял с крючка крупного хариуса и ловко бросил его в ведро.

— Вот те и забава!

Мальчишка потчевал сплавщиков ухой очень торжественно. Он принес котел, вынул ложки, объеденные, треснутые. Перед каждым мужиком положил кусочек бересты и вывалил по разваренному хариусу, а если попадались рыбины меньше — по полторы. Потом выловил уголек из котла, плеснул через плечо и важно пригласил:

— Давайте, мужики, подвигайтесь!

Подвязанный мешком вместо передника, с мазком сажи на лбу, потный и довольный, он похаживал вокруг стола. Сплавщики наперебой запускали ложки в котел, обсасывая рыбьи косточки и хвалили Ильку.

— Постой, а сам-то ты чего не садишься? — спохватился Трифон Летяга, освобождая место на шаткой скамье.

— Ешьте, ешьте, я потом,— замахал руками Илька.

Так уж заведено в сибирских семьях: сперва накор-

мить хозяина-работника, а хозяйке что достанется. Бригадир спросил у Ильки:

— Большая семья у бабушки была?

— Тринадцать дитёв,— сказал Илька и так внушительно, что всем стало понятно: «Тринадцать дитёв» — это не шутейное дело!

— Да-а, жизнь у твоей бабушки незряшная была,— протянул Трифон Летяга,— но подражать бабушке во всем не след.— Бригадир велел Ильке сесть за стол, разделил пополам свою рыбину.

Вечером, перед закатом солнца, Трифон Летяга с Илькой удили хариусов и снова разговаривали про дедушку и бабушку.

— Моя бабушка щуку ни за что есть не станет,— рассказывал Илька.— Хоть какую рыбу ест, а щуку ни в какую, ни Боже мой.

— Брезгует, что ли?

— Не-е, по леригиозным соображениям.

— Это как понять?

— Обыкновенно. У щуки в голове есть крест, из хряща крест, и бабушка считает, что есть рыбу с крестом нельзя, грех...

Илька замолк с таким видом, словно это бабушкино чудачество он снисходительно прощал. Помолчав, он сообщил как открытие:

— А я всякую рыбу ем. И в великий пост сметану с кринки пальцем слизал. За это бабушка меня антихристом назвала. Ага, антихристом. Она, ой, лютая, бабушка-то! Ой, лютая!

Трифон Летяга слушал Ильку, улыбаясь одними глазами. Он не мешал мальчишке вспоминать самое дорогое — дедушку и бабушку.

Вот едут Илька и дед с пашни. На телеге небольшой воз зеленой травы для скота. Конишка слабый, не может вытащить воз из лога. Дед распрягает лошадь, становится в оглобли и вытаскивает воз вместе с травой и Илькой на косогор. Потом неторопливо впрягает коня и, подъезжая к селу, роняет внуку: «В деревне-то не болтай».

— Скоро, скоро ты попадешь к дедушке и бабушке,— треплет по голове расслабевшего от воспоминаний мальчишку Трифон Летяга и отправляется спать.

Илька сидит один на краю плота, забыв про удочку, и когда вынимает ее, мушка оказывается обдерганной до того, что видна лишь нитка.

— Дрыхнул бы побольше, так и самого съели бы.

Привязав другую обманку, Илька пустил ее по течению и снова затих.

Плот причалили под скалой, которая щербатым животом нависла над рекой. Под скалой уже темно. А сверху струится еще желтоватый отсвет зари и, ударяясь в камешник на той стороне реки, высекает из него слюдяные искры. Илька засмотрелся на эту слепящую суету искорок, на вздремнувшего не ко времени молодого кулика и оттого вздрогнул, когда впереди булькнул камешек. Мальчик поднял голову и замер: на самом краю скалы, в поднебесье, проткнув рогами полотно зари, стоял горный козел. За ним на почтительном расстоянии замерли козлушки. Козел надменно смотрел на плот и на Ильку. Мальчик встал, и козы отпрянули вглубь, а козел не дрогнул и стоял все так же, подавшись грудью вперед.

Не успел мальчишка проводить стадо взглядом, как с неба в табун стрижей, спугнутых козами, ворвался сокол. Он ударил одну птичку, и на зорьке закружилась щепотка перьев. Стрижи завизжали еще яростней и ринулись на сокола, но он, спокойно, деловито помахивая крыльями, улетел в скалы.

Погасла зорька. Снизилась на реку темнота. Угомонились стрижи, спрятались в норки. Рокотала под скалой вода, и жалко поскрипывала упавшая сосенка, которую раскачивало, трепало течение, вырывая из расщелин корешок по корешку, обламывая хрупкие ветки.

Сплавщики раздевались, устраивались на нарах. В открытую дверь барака сочилась ночная стынь. Тонкими нитями в нее вплетались запахи иван-чая, багульника, ягоды черники и листвы, уже местами зажелтевшей.

На окне барака, словно заведенные, надоедно жужжали пауты и мухи. И окно, и дверной проем чуть отсвечивали от воды.

Как хорошо вытянуться, закинуть за голову гудящие от работы руки, несколько минут побыть наедине с собой и с этой тихой, обещающей крепкий сон ночью.

Но покой этот спугнула песня. Она звучала робко, вполголоса, как бы нащупывая себе дорогу в потемках. И все же голос крепчал, разрастался, отодвигал на стороны установившуюся было тишину.

Он был мальчишеский, этот голос:

Сяду я за стол да подумаю,
Как на свете жить одинокому...

Первый раз слышали мужики, как пел Илька, и боялись шевельнуться. Хорошо пел малый, тревожил сплавщиков, будил в них воспоминания, разжигал тоску по дому, по детишкам у тех, кто их имел. Он даже не пел — скорее думал.

Никто из мужиков не знал, что Илька затянул самую любимую бабушкину песню.

ДОЛГОЖДАННЫЙ БАРКАС

Вся жизнь на плоту смешалась, как только показался вдали баркас. Его тянули две лошади, а за кормовым веслом стоял мужчина и покрикивал. Нос суденышка зыбко зарывался в воду, оставляя после себя мелкую волну и мутную полосу. Лошади шли по колено в воде там, где нависали кусты, а миновав их, выбирались на берег и облегченно фыркали. Коновод (он же киномеханик) с закатанными по колено штанами сидел на одной лошади верхом и время от времени покрикивал во все горло. Лошади прядали ушами и спокойно делали свое привычное дело.

Завидев плот, лошади туго натянули постромки и прибавили шагу. Они знали, что здесь уж точно будет остановка и отдых.

А с плота в семь голосов раздавалось:

— Жмите, милые! Подналяжьте! Ждем не дождемся!..

На баркасе, в корме, откидным барьером был отгорожен ларек. За прилавком хозяйничала дородная круглолицая сибирячка, известная по всей реке под именем Феша. На самом деле ее звали каким-то другим именем, в котором даже буквы «ф» не было.

Здесь же находился и кассир сплавной конторы, во время рейса исполняющий обязанности рулевого. Он выдавал зарплату.

Получка везде есть получка. Даже здесь, на плоту, она была праздником. Зажав деньги в горсть, сплавщики наседали один на другого, пытаясь продвинуться поближе к Феше, и говорили ей комплименты. Даже молчаливые братаны и те широко улыбались и придумывали сказать чего-нибудь веселое.

Феша похохатывала и отшучивалась. Между делом она била по рукам тех, кто переходил дозволенные границы.

Мужчины гоготали.

— Нам только и радости, что ущипнуть тебя, Фешенька. Уж потерпи, пострадай за отечество.

— Да у вас, у леших, ноггищи-то, чисто багры, вся в синяках сделаюсь, пока по реке проеду.

— Ну-к что ж, такая ваша женская планида.

— Не завлекай мужиков-то, а дело делай, смутительница,— напустился на Фешу Исусик.

Продавщица зачерпнула из мешка медной тарелкой куски сахара и, ставя гири, отрезала:

— Чего раскудахтался? За свою бабу не пугайся, она у тебя в мослах вся, а щиплют за что есть ухватиться,— и при этом Феша так повела своими пышными достоинствами, что мужики защелкали от восхищения языками: «Корпусная баба!»

— На казенных-то харчах и моя бы раздобрела,— промямлил сконфуженно Исусик, но мужики уже не обращали на него внимания.

Они просились в помощники к Феше.

— Возьми хоть до Шипичихи, я те сахар нагребать стану и крупу,— приставал к Феше дядя Роман,— а то к нам на плот переходи, в полном достатке будешь!

Дерикруп, поддерживая просьбу дяди Романа, с выражением прочел:

...Мы, дети вольные эфира,
Тебя возьмем в свои края,
И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя!..

— Во-во, царицей будешь,— подтвердили мужики.

Но Феша не соглашалась быть царицей и съездила тарелкой по голове Дерикрупа, пытавшегося шепнуть ей что-то на ухо.

Шум и гомон стояли в тот день на казенке. Все были в праздничном настроении. Мужики побрились, надели чистые рубахи, купили водки. Архимандрит забился под нары и не дышал. Илька, очутившись как бы не у дел, потерянно болтался по плоту, придумывал себе занятие.

Феша, узнав про Илькины дела, расчувствовалась и насыпала ему пригоршню леденцов. Когда торговля закончилась, она села возле весел — поносных,— стала расспрашивать мальчишку. У Феши был когда-то сын, но умер еще маленьким.

Спутанные лошади паслись на поляне. К вечеру овод

схлынул, и они стояли, обнявшись головами, по привычке отмахивались хвостами и дремали.

Пока мужики получали продукты, пока суетились и говорили Феше всякую всячину, киномеханик натянул на двух баграх, воткнутых в бревна, полотно, которое по всем видам было когда-то белое. На это полотно уставился одним глазом киноаппарат. Для регулировки под аппарат подложили поленья, чурки, обрезки, щепки. К ручной электродинамке тянулись облезлые провода.

И вот братан Азарий крутанул динамку, послышалось жужжание, щелк, треск, и на грязно-сером полотне появилось пятно, ровно бы иссеченное полосками дождя, а затем блеклые буквы.

Все разом прочли:

— «Когда пробуждаются мертвые»,— и тут же закричали друг на друга: — Ша! Про себя читать!

В это время киномеханик, стоявший на чурбаке и крутивший ручку аппарата, сделал резкое движение, аппарат качнулся, из-под него выпал чурбачок, и широкий луч метнулся выше экрана, на реку, на скалы, выхватил из темноты оцепеневшую осину. «Квя! Квя! Квя!» — заполошно вскрикнул черный дятел, спавший на дереве, и заметался из стороны в сторону, пока со сна не плюхнулся в воду.

— Тьфу, так твою растак! Все чего-нибудь не слава Богу! — ругались мужики.

— Не волнуйтесь, граждане! — привычно и монотонно завел киномеханик.— Сейчас устраним неполадочку. А ну, малец,— обратился он к Ильке, который завороженно глядел на машину,— подай-ка мне деревягу какую-нибудь.

— Подмена! — потребовал Азарий, все еще крутивший динамку, но подмена не торопилась.

— Покрути еще, по части, а может и больше, на брата должно обойтись,— сказали ему.

Азарий на ходу сменил уставшую руку, и динамка снова зажужжала ровно, усыпляюще.

Картина была немая, но страшно веселая — про бродягу, который ушел из родной деревни, а попы объявили его мертвым и вместо него схоронили церковное золото. Бродяга же взял и объявился. Попы испугались, давай откупаться от него, умасливать всячески.

Бродягу играл молодой Игорь Ильинский. Уже при одном появлении на экране его круглой плутоватой ро-

жицы с дыркой на подбородке, с бровками-запятыми, нечесаной головой, где всякая волосинка норовила торчать куда ей вздумается, сплавщики хватались за животы.

После того, как бродяга залез ночью к попадье, которая была не в курсе дела и твердо знала, что он мертвый, да сел на нее верхом и потребовал свое золото, мужики уже не смогли смотреть кинокартину, а только дрыгали ногами и тыкали один другого в бока. Когда кончилась часть, изнемогающие сплавщики попросили киномеханика пошабашить, чтобы колики в боках унялись. Однако киномеханик заявил, что ему нужно еще много участков обслужить, что его ждут.

В те годы киномеханики да шоферы были «фигуры» и здорово важничали.

Картина продолжалась. Конец у нее оказался грустным. Одурманенные попами деревенские люди все-таки схватили явившегося с того света и снова, теперь уже окончательно, повезли хоронить бродягу вместе с его крестом и домовиной.

— Ат, что делают! — ругались мужики.— Вот она, темнота-то, живую душу губят...

— Но как он на попадью-то, а? Попадья-то! Ха-ха-ха!

— Не, не, постой! — кричал Исусик.— А как он купаться пришел: рубаху долой, штаны расстегнул и смотрит на меня. Я думаю: «Неужто сымет?» А он ровно угадал мои думки, покачал головой и за камыш присел. И как токо власти пропущают такое охальство?!

— А потом!.. Нет, постой ты,— настаивал Гаврила,— а потом нырнул, а там, на озере-то, неводят, и попал он в сеть. А те, ха-ха-ха, таймень, должно, подумали, ха-ха-ха, ой, не могу!..

— И заместо тайменя бац из воды человечья рожа! — визжал Исусик.— Ну, ей-богу, комедь, ну, ей-бо... Придумают же!..

Весь остаток ночи на плоту только и разговоров было, что о кинокартине. Илька тоже насмеялся до судорог в животе и пытался вставить слово. Дерикруп взялся рассказывать, как снимаются кинокартины, но его все время перебивали.

Покончив со всеми делами и расчетами, гости с Усть-Мары утром после завтрака запрягли лошадей и поехали дальше — в редкие лесные поселки, Феша стояла на корме баркаса и, пригорюнившись, смотрела на Ильку. Бар-

кас исчез за поворотом. Издалека еще долго слышались щелчки копыт о камни и подстегивающие крики коновода.

Сплавщики курили тоненькие папироски, купленные по случаю получки, и суетились на плоту. Они готовились к гулянке, к традиционной попойке в честь все той же получки. Так уж на сплаве было заведено от века, и против этого никто, даже бригадир Трифон Летяга, пока не мог восстать, да его и не послушались бы.

ПЕСНЯ ПРО ЧАЙКУ

Сплавщики бросили посреди плота дождевики, развели костер, открыли банки с консервами и нарезали колбасы. А Илька нащипал на берегу луку.

Гулянка началась. Началась она со строгостью и важностью, будто люди выполняли какое-то торжественное и очень почетное дело. Водку пили из кружек, отмеряя ее единственным стаканом, взятым с баркаса.

Сплавщики молвили: «Будем здоровы!», «Дай Бог не последнюю!», «Будем живы — под столом увидимся! Скажете, нет?» — и выпили разом по стакану. Закусывали вначале хрустким, как болотный хвощ, переросшим диким луком. Выпили еще по стакану с деловым молчанием, не произнося даже шутливых слов, и съели колбасу.

Не закусывал один лишь дядя Роман. Глаза у него сразу ожили, заблестели, и по дряблым щекам разлился жидкий румянец.

После третьего стакана мужики принялись хлопать себя по карманам, отыскивая папиросы. Братан Азарий натужно покраснел, вытягивая дым из папиросы «Ракета». Кончилось тем, что он шлепнул пачку с папиросами о бревна. Дядя Роман посмеивался, уютно посвистывая трубкой.

— Срамота, не курево,— сказал Азарий дяде Роману.— Дай-ка твоего крепачку.

И все, кроме Дерикрупа, побросали фабричные изделия, завертывая в бумагу благословенный, одобренный многими поколениями русских курильщиков самосад.

— Тютюнопожиратели,— усмехнулся Дерикруп, рассмешив мужиков незнакомым словом.— Вы любую благородную фирму под корень срубите таким зельем. Скажете, нет?

Мужики разом заговорили насчет самосада, который не чета всяким прочим табачным причудам.

Лишь некурящий Исусик блаженненько улыбался и выкрикивал:

— Вот тридцатку на выпивку убухал, и хоб что! Убухал ведь, братцы! И не жалею! За что работаем?

Но Ильке почему-то думалось: жалко Исусику денег, оттого он и трещит.

Трифон Летяга, поддевая пальцем тушеное мясо из банки, говорил братанам:

— Я за что вас уважаю? За трудолюбие!..

Сковородник, отворив рот, с любовью глядел на Трифона, на дядю Романа, на Дерикрупа, который уже перешел с табачной темы на искусство и стучал себя в грудь кулаком:

— Я люблю народ? Люблю! Я хохол? Хохол! Я добьюсь своего! О-о, я сыграю свою роль! Скажете, нет?

— Конечно, конечно, Гриша,— соглашался особенно добрый сейчас Сковородник. Илька только теперь и узнал, что у Дерикрупа есть имя.

Сплавщики пили, уже не закусывая. Ильке становилось жутко. Весь начальный порядок пошел насмарку. Всяк наливал себе и говорили все разом. Ильку тискали, как мячик, роняли на него слезы. Сковородник шлепал мокрой губой и рыдал, целуя его.

— Сирота ты несчастная... От многолюдствия все это, от многолюдствия! — неожиданно рявкнул он и стукнул кулаком по бревну.

Трифон Летяга, обнимая Ильку, грозился:

— За что парня били? За что пообидели? У-ух, я бы этого твоего отца...

— Я вижу все насквозь, все тонкости их знаю, и вот зачем я нынче не играю! — гремел трагическим голосом Дерикруп.

Ошалевший мальчишка переходил из рук в руки, будто кукла. Братан Гаврила настойчиво совал ему в руку кружку с водкой:

— Выпей, парень, выпей за свою и за нашу жизню...

И все закричали:

— Выпей, Илюха, выпей! Ты тоже рабочий! Наша косточка! Пей!

Илька хватил глоток и очумело вытаращил глаза.

— Давай, давай! — научали сплавщики, но тут кто-то запел песню, и про Ильку разом забыли.

Он отскочил в сторону и хотел выплеснуть водку в реку, однако не решился. Хоть она и зелье, эта водка, а

все же денег стоит. Илька отыскал старую банку, в которую накопал червей, да не успел ими воспользоваться, и осторожно вылил в нее водку. Кружку он незаметно поставил в круг.

Сначала недружно и врозь тянули сплавщики, потом распелись. И над притихшей рекой, между темнеющими берегами понеслась песня про чайку:

Не вейтеся, чайки, над морем,
Вам негде, бедняжечкам, сесть.
Слетайте в Сибирь — край далекий,
Снесите печальную весть...

И страшные пьяные мужики, грубые, чужие, разом сделались ближе, понятней.

Дядя Роман, Красное Солнышко,— поет, а по лицу его катятся крупные слезы. Рот его беззубый кривится, дрожит. И чудится Ильке, что этот никогда не унывающий бродяга устал и хочется ему тепла и покоя. Может быть, вспомнился старику молодой парень, который шагал по деревне и вызывающе напевал:

Я гуляю по ночам,
Не уважу богачам!
Я любому богачу
Р-рыло набок сворочу!

«Ах ты, дядя Роман, дядя Роман, почто же ты такто?» — Ильке всех жалко.

А песня про чайку вздымается все выше и выше. Чайки в этих местах не гнездились и пролетали где-то стороной. Илька никогда не видел чаек. Но раз про эту птицу сложили такую песню, значит, птица была красивая. Не будут петь о плохой птице так сердечно.

Говорят, чайка белая. Но этого цвета для такой птицы мало. Воображение Ильки окрашивает ее в яркие цвета, и летит чайка, как отблеск пламени, как длиннохвостая жар-птица, над высокими горами, над гремящими речками, над темными лесами к дедушке и бабушке.

И еще видит, как в такой же росный вечер бежит он из бани по огороду. С тяжелых листьев брюквы дробинами сыплется в опорки роса и колет ноги. Пахнет конопле́й, пахнет огурцами, пахнет едучим навозным дымокуром. А вот и крылечко с проломленной ступенькой. Быстро шлепают раскисшие от росы опорки. Слышен бабушкин окрик: «Обутки сыми. Мыто было».

На полу половики, от них доносит студеной прорубью.

В избе пьянящий дух дрожжей. Бабушка заводит квашню, пробуя языком лопатку. На длинном, как нары, столе кринка парного молока — это для него, для Ильки. Кошка тянется усатым рылом к кринке. Бабушка раз ее черенком по башке. «Не лезь! Не видишь, что ли, свое блюдце? А это ему, Ильке, приготовлено».

Нет, и до чего же он счастливый человек! У него есть дедушка и бабушка, и он плывет к ним, и они не знают. Медленно плывет. Люди его подобрали. Хорошие люди, очень хорошие. Они выпили, конечно, так что сделаешь, заведено такое. Зато как они поют! Как поют! Аж в горле щиплет. И до того жалко всех, ну, просто мочи нет.

И взревел бы, наверно, Илька по-бабьи, в голос, да песня кончилась. Но долго еще летела чайка над водой, смахивая крыльями покой с гор, потом упала в какой-то распадок.

Грустная тишь.

Роились звезды над краем гор и над головою. Чуть слышно плескала Мара-река, словно бы расслабевшая от песни. Ночь, припорошенная седоватым лунным светом, слушала, как слушает строгая, но все понимающая мать то, что рассказали ей люди песней, и то, чего рассказать они не смогли.

Сплавщики сидели молчаливо, печально. И так бы они и разошлись спать, потому как водки больше не было, но Исусика подхватило запеть частушку:

Ох куда мы идем?
Куда заворачивам?
Один пинжак на троих,
В нем и запинжачивам.

Благость тихого вечера, музыка песни, до дна пропитавшие сплавщицкие сердца, были смяты.

Братан Гаврила, бес в котором сидел глубоко и просыпался только после литра принятой водки, с закипающим буйством уставился на Исусика.

— В рожу хошь?

Илька знал нравы пьяных мужиков и заранее припрятал багры, топоры и прочие тяжелые предметы. Исусик тоже знал эти нравы.

— Ну, спели, и славно. Сейчас, значит, еще споем,— и попытался обнять Гаврилу, но тот скинул его жидкие руки с плеч.

— В рожу хошь?

Никакая порядочная гулянка без драки не обходится.

Илька даже был не прочь, чтобы Исусика отдубасили, но уж больно дик Гаврила, кабы не зашиб святошу, потом дяде Трифону отвечать придется. Илька нерешительно тронул за рукав братана:

— Дядя Гаврила, пойдем спать.

Гаврила изумленно оглянулся на Ильку, что-то трудно посображал и, наверное, отстал бы от Исусика, но тот подлил масла в огонь.

— Экой ты, Гаврила, ндравнай! — сказал он, сострадательно покачивая головой.

Видимо, слово «ндравнай» Гавриле не понравилось, и он сгреб Исусика за тощую грудь так, что треснула рубаха и брызнули пуговицы.

Трифон встал между братаном и Исусиком, завидев, что сбоку к Гавриле уже пристраивается братан верховской — Азарий.

— Гаврила, драки не будет! — отрубил бригадир.— Станешь рыпаться — свяжем!

— Кого? Меня? — поразился Гаврила.— Да не родился еще такой человек, который меня свяжет.— Выпустив Исусика, тут же юркнувшего в барак, Гаврила попер на Трифона Летягу.

Бригадир мигнул. Гавриле дали подножку. Он больно стукнулся о бревно затылком и минут через пять был водворен на нары. Уже связанный по рукам и ногам, Гаврила все еще изумлялся:

— Кого? Меня-а?..— Он так и уснул в полной уверенности, что нет еще на свете того человека, который бы осмелился связать его, низовского Гаврилу.

В темноте незаметно подкрался и покрапал дождь. Мужики один по одному потянулись в барак. Дерикруп, монотонно читавший весь вечер Сковороднику стихи и монологи, уснул в обнимку с ним прямо на бревнах. Илька попытался разнять их и перетащить в барак, но силенок у него не хватило, и он накрыл гуляк дождевиками.

Дядя Роман стонал и мучился во сне. Дышал он прерывисто, тяжело. Илька, прислушиваясь к его стонам, обливался холодным потом, боясь, что с дядей Романом приключится беда.

К утру дождь разошелся, смыл с бревен окурки, плевки и бумагу. Серое утро медленно наплывало из-за гор, не пробуждая природу, а погружая ее в еще более тягучий сон. Даже вестники утра — птицы, затянув пленками

глаза, чутко дремали в недоступных крепях и в лапах густого пихтача.

Илька затопил печку, поставил варить лапшу. От печки пригревало, на улице шуршал дождь, неровно стекая по узенькому барачному окну. Мальчишка незаметно для себя уснул.

Голодный Архимандрит ползком выбрался из-под нар, подергал, на всякий случай, шишечкой хвостика и, не поборов соблазна, облизал ложку, зажатую в руке Ильки.

ХВОРЬ

Утром сплавщики поднимались трудно, кряхтели, вяло переругивались. Дерикруп окунал в воду клиновидную голову и, вытирая лицо платком, с безнадежной мечтательностью тянул:

— Сейчас бы яблочко кисленького або квасу...

Поели только братаны. Гаврила все утро шевелил пальцами и поводил плечами. Веревками ему сильно перетянули суставы. Но он никого не ругал и ни на кого не обижался. Что связали — дело обычное, само собой разумеющееся.

Трифон от еды с раздражением отмахнулся. Дерикруп тоже. А Сковородник хватил было ложки две лапши, но тут же побежал к воде.

Хуже всех выглядел дядя Роман. Под глазами у него набрякли темные мешки, переносица посинела, руки тряслись. При каждом шаге старик хватался за поясницу.

— Ты останешься, дядя Роман,— сказал Трифон Летяга.— Какой из тебя сегодня работник.

— Как так? — заерепенился Исусик. Он тоже кряхтел и морщился.— Все с похмелья? Все! Почему одному плешивому льгота?

— При расчете мы тебе выплатим за прогул дяди Романа. Доволен? Тогда бери свой камбарец и не вякай больше! — сердито бросил бригадир.

Молча один за другим потянулись сплавщики по берегу. И вскоре до Ильки, разводившего огонь, донесся привычный напев:

О-о-ой, да еще разок!
О-о-ой, да куме в глазок!

Дядя Роман с великим трудом уселся возле огонька. Трубку он по пьяному делу где-то обронил и безуспешно пытался сделать цигарку. Пальцы старика поплясывали, табак рассыпался.

— Не свернешь, Илюха? Барахлит сердчишко-то, ястри его, барахлит,— жаловался старик, потирая широкую, но уже запавшую грудь.

— Небось нельзя пить-то?

— Нельзя, Илюха, нельзя. Строго-настрого фершала запретили.

— А ты трескаешь! — укорил мальчишка старика и подал ему неумело склеенную цигарку.

Дядя Роман мучительно скособочился, наклонился к огню, достал сучок и прикурил от него.

— Слаб я, Илюха, ой слаб,— сокрушался старик.— При виде его, проклятого, и особливо при запахе все у меня поджилки задрожат, истома какая-то пойдет по телу и внутри жжение получится. Словом, полное затемнение рассудка...— Дядя Роман сплюнул тягучую слюну, утерся ладонью и продолжал тем же ровным, бесстрастным голосом: — Скажи вот ты мне сейчас: выпей, дядя Роман, и через час помрешь — и я выпью, потому как вся нутренность моя уже не в моей власти...

Илька слушал старика, насупившись. Он снял с таганка чайник, сыпанул в него пригоршню заварки, сходил в барак, принес слипшиеся леденцы, которыми угостила его Феша, и опять же голосом недовольной, но все-таки сострадательной хозяйки, понимающей до тонкостей все эти похмельные дела, буркнул:

— Попей чаю с конфетками, может, полегчает. Я его крепко заварил.

— Чаек — это хорошо,— согласился старик.— А конфетки ни к чему, конфетки ты сам мусоль.— Дядя Роман отхлебнул дрожащими губами из кружки и мечтательно молвил: — Мне бы сейчас, Илюха, хоть бы пару глотков на опохмелку, и я вмиг бы человеком стал.

Илька задумался. Ничего не сказав, отправился в барак, перебрал все пустые бутылки, но в них даже капли не осталось. Тогда мальчишка заглянул в банку, куда вчера выплеснул вино. Дождь наполнил ее до краев. Но из банки все-таки пахло водкой. Боясь обидеть старика или оскорбить, Илька несмело сказал, протягивая банку:

— Может, через тряпочку процедишь?

Ноздри у дяди Романа затрепетали.

— Ну-ка, ну-ка, чего у тебя там?

Дядя Роман заглянул в банку, небрежно побросал над ней крестики:

— Вот и все! Вот она, зараза-то, и улетучилась. Исусик говорит, что крест даже чертей запросто отпугивает. Да и апостол Павел в свое время изрек: входящее в уста не оскверняет, а только выходящее из уст. А апостол не чета нашему Исусику! В больших чинах, он уж зря трепаться не станет!

— Ты, поди, оттого и не матершинничаешь?

— А? Да нет, не оттого. Зачем обзаводиться еще одной худой привычкой, коли их и без того многовато.— С этими словами дядя Роман глотнул из банки и яростно крякнул: — Ожило, Красно Солнышко, ожило! Восходит оно на небеси...

Ильку мутило.

— А ну, парень, дай-ка мне какую-нибудь тряпицу. Бог, он, конечно, глазастый, но за каждой тварью, не усмотрит. Иная тварь меж зубов в утробу проскочит, тем паче, что зубов у меня нет, то есть никаких преградительных застав...

Старик сквозь грязный платок дососал из банки остатки, поплевал, закурил, уже сам свернув цигарку, и внезапно встретился с брезгливым взглядом мальчика.

Дядя Роман как-то сразу приутих и после продолжительного молчания заговорил:

— Подлай я старикашка, Илюха! Подлай!

Мальчик не отозвался: он как раз подсаливал суп и принялся крошить на дощечке лук.

— Подлай, подлай. Размотал жизнь, по ветру попутному развеял. Суди меня Илюха, суди. И помни, как я вино с червями пил, никогда не забывай. Жизнь, она ровно большой город. В ней заплутаться — плевое дело. А чтобы не заплутаться,. надо по центральной улице идти, по самой то есть магистрали. Я же всю жизнь по переулочкам. Нет, не всю жизнь. Сначала тоже по центральной ударился, да на ней свету много, видно тебя всего, со всеми, то есть, сучками. А закоулки, они манят, в них огоньки помигивают, в них песни поют, в них многое друг другу прощают... Ой, не ходи, Илюха, переулками, не ходи... Не слабей корнем, не слабей..

Слова старика озадачили и насторожили Ильку. Уж не рехнулся ли он? Нет, рассуждает хотя и пьяно, но вроде бы по порядку. Еще вчера Илька подивился, что этот

веселый человек, забубенная голова, плакал пуще всех, когда пел. Видать, дядя Роман так же, как и его мачеха, что-то неладно сделал в жизни. Неужели она, жизнь-то, вроде рубахи? Неужто и не заметишь, как ее износишь?

— Дедушка, ты бы поспал, отдохнул,— участливо предложил Илька старику. Он первый раз так назвал его, должно быть, из чувства сострадания. Впрочем, ни тот, ни другой этого не заметили. Дядя Роман уже пытался петь голосом, клокочущим от слабых слез.

Он безоговорочно подчинился Ильке, заполз на нары. Из открытого барака еще долго доносилось заунывное:

Не для меня придет весна,

Не для меня Дон разольется...

После обеда он молча собрался и пошел на работу вместе со сплавщиками.

Притихший было к утру дождь снова начал сеяться, трусить, заполняя все вокруг тонкой, рябящей паутиной. Сплавщики, кутаясь в брезентовые куртки и плащи, ушли по берегу, поднялись на яр и исчезли за поворотом.

Илька чувствовал себя неловко, оставаясь в теплом, сухом бараке. Он решил тоже одеться и сходить по ягоды. Сапоги у него были большие, мужицкие. Вместо онуч он обертывал ноги мешками из-под сухарей. Рукава брезентовой куртки Илька закатывал наполовину. С ведром в руке он вышел из барака, припер палкой дверь.

Постоял Илька, огляделся. Дождь расходился. Дальние увалы заволокло низко осевшими тучами. По реке плыли пятна пены. Появились на воде и первые желтые листья. Леса покорно смолкли, в заводях начали садиться на дно переплетенные космы тонких водорослей. Низко проносились реденькие табуны уток. Они, как говорят охотники, разминались перед большими перелетами.

Близилась осень. Сплавщики теперь дольше бывали дома. В темноте на сплаве не наработаешь. Всей артелью грызли кедровые орехи, с прищелком жевали лиственную серу, играли в шашки, перечитывали старые газеты и книги, обсуждали мировую политику и жену начальника сплавной конторы, мечтали о прибытии баркаса.

И вот эти-то длинные бездельные вечера бригадир Трифон Летяга решил обернуть на пользу.

В один из дождливых вечеров, возвращаясь с работы, Трифон Летяга сказал Дерикрупу:

— Отстал мальчишка от школы, ты подзанялся бы с ним. Все одно вечерами-то лоботрясничаем.

— Чего? — поднял на Трифона тоскливые глаза Дерикруп. В последнее время он заметно скис — видно, погода действовала на него.

— Занялся бы, говорю, с Илькой, кто его примет во второй класс после такого большого пропуска, а первый он уж перерос..

Дерикруп остановился и долго соображал, потом вдруг кинул багор, поймал его.

— Идея! Скажи, нет? — зачастил он.— Правда, ни учебников, ни тетрадей. Но, будь спокоен, я его своим методом.

— Ты только не фокусничай,— предупредил Трифон Летяга.— Живой человек все же!

— Ты еще не знаешь, куда я годен! — возразил Дерикруп.— Ты еще убедишься, на что годен Гришка Круподер.

После ужина Дерикруп веско приказал Ильке:

— Давай наведем гигиену на столе, и я начну с тобой занятия. С сегодняшнего дня ты — предмет народного образования.

Илька аж присел от неожиданности, мужики робко спросили у Дерикрупа:

— Это как понимать?

— Вам ничего понимать не надо. Ваше дело не мешать мне работать с учащимся и вообще создавать условия: освобождать помещение своевременно и так далее...

Еще никогда не говорил Дерикруп так важно.

Мужики, покачивая головами, стали один по одному покидать барак. Исусик, стоя на краю плота, кивнул на окно, где был виден долгошеий Дерикруп.

— Он его научит в дырку калача пролазить либо на луну лаять, он ему преподаст науку...

— Ну, начала кила...

— Хватит, починяйте пока такелаж, чем языки обхлестывать,— заявил Трифон Летяга.— Багровищ вон кучу переломали — насадите. И наперед учтите — Дерикруп не шутки шутит, чтоб никаких...

А в бараке, подавленный важным видом Дерикрупа,

сидел за столом Илька и пытался на пальцах отнять от двадцати семь. Пальцев не хватило, таблицу умножения Илька не знал. Ничего не отнималось и не прибавлялось.

Видя, как Илька с отчаянием шевелит пальцами и как быстро обрастает его рябой нос каплями пота, Дерикруп понял — он уже сделал какой-то педагогический просчет. Тогда студент важно покашлял в кулак и прошелся по бараку с задумчивым видом, чуть волоча ноги.

— Ну, ладно, арифметику пока отставим,— решил он,— давай начнем чтение, затем писать буквы. У меня вот завелись тут кой-какие книжки.— И «учитель» открыл свой чемоданчик, к крышке которого была пришпилена фотография.

На фотографии Илька увидел не то курятник огромный, из которого хлестала вода, не то заплот. Словом, чудное что-то. Дерикруп заметил, что Илька уставился на фотографию, щелкнул по ней пальцем:

— Днепрогэс! Слыхал, что это за сооружение и что оно в нашей жизни значит?

— Не-е. Откуда вода бьет пуще, чем на перекате...

— На перекате! — фыркнул Дерикруп.— Дикарь ты. Скажи, нет?

Илька оскорбленно выпрямился и засопел. А Дерикруп стал с жаром рассказывать о Днепрогэсе и об Украине, особенно о своей деревне Погорыбци, лучше которой не было на свете и едва ли будет когда. Илька диву давался, что на земле есть такие места, где яблок растет — лопай их от пуза, и никто ничего не скажет. Илька только раз в жизни пробовал яблоко, да и то половинку, когда был с бабушкой в гостях у какой-то золотозубой городской тетеньки. А Дерикруп вон говорит, яблоки — это чепуха, есть еще груши, виноград, сливы, кукуруза, бараболя, абрикосы, черешня.

И каких только фруктов не произрастает на этой самой Украине! Там, стало быть, и находится тот самый рай, о котором бабушка все время поминает в своих молитвах.

Илька с неподдельным изумлением произнес:

— Так почему же ты из этого рая смотался?

Дерикруп с минуту молчал, подыскивая подходящий ответ, но так ничего нужного и не нашел, а сказал, пожав плечами:

— Судьба. Батьку петлюровцы изрубили, мать в двадцать первом от тифа умерла, и я побрел по свету. До Сибири добрел. Учти: добровольно!

Лицо Дерикрупа сразу осунулось и посерело еще больше. Но вот он резко тряхнул головой и грохнул три книжки на стол:

— Во, Илья, тебе циркуляр науки. Одна книга под названием «Джек Восьмеркин-американец», другая «Рыжик» — это почти про нас с тобой, и, третья, третья... ну, эту мы пока повременим читать, тут господин Золя описал, как парижская дамочка Нана с мальчиками дружила. Книга эта на холостых мужчин действует раздражительно. И хотя ты тоже мужчина, но в силу того, что в анкете твоей записал я — одиннадцатый год, пока что читать эту завлекательную книжицу воздержимся...— Дерикруп поднял палец,— из педагогических соображений!

Илька принялся списывать с книг слова. А Дерикруп снова прохаживался по бараку с заложенными за спину руками. Он играл учителя.

«Джек,— старательно вывел Илька и, уже исходя из собственной инициативы и сообразительности, дописал: «Сыобака». Прочитавши это, Дерикруп захохотал было, но Илька сердито глядел на него и готов был кинуться в драку.

— Слухай, хлопец,— сказал Дерикруп нахохлившемуся мальчишке,— Джек — это человек, понял?

Илька вышел из себя.

— Если взялся учить, так учи, а нечего!.. Что думаешь, уж вовсе ничего соображать не умею и собачьего имени от человечьего не отличу?..

Дерикруп захлопал белесыми ресницами.

— Га! Занятно! Вот так предмет! Как же я тебя, хлопец, учить буду? Ведь ты никакой методике не поддаешься?.. Никакой!

— Такая методика годна кобыле под хвост. По мне, взялся учить — учи взаправду, а надуть не надейся. Особенно насчет собак! Уж что-что, а собак я знаю. Вон у нас Осман...

— Так и тут неувязка, хлопчина,— почесал за ухом Дерикруп.— Османом тоже человека звали, турецкого султана, кажется...

— Чего-о-о?

— Султана, говорю, царя турецкого так звали.

— Айда-ко с худого-то места,— презрительно сощурился Илька.

И пришлось Дерикрупу весь вечер рассказывать Ильке про разные страны, и выходило так, будто есть на све-

те страны, где не только снега, но и зимы не бывает, и обезьяны по деревьям сигают хлеще белок, и разные звери бродят, и фрукты с голову величиной растут. Илька чему верил, чему нет. Однако слушать Дерикрупа было интересно, это нравилось мальчишке больше, чем считать. Больно уж надсадная наука — арифметика!

И на другой вечер «по методике» заниматься не удалось. Илька, весь вечер думавший про чудесную страну Украину, первым делом спросил:

— А Робинзон-то Крузо не у вас там жил?

И Дерикруп понял, что хватил лишку. Тогда студент принялся говорить об Украине по порядку, с доброй, от сердца идущей печалью.

Богатая, широкая земля. Вольные люди — казаки с вислыми усами. Синие вечера. Сады в белом цвету. Тарас Бульба с сыновьями. Черти, ворующие месяц с небес, чтобы пьяный кум в собственном селе заплутался. Все, все помнил Дерикруп, не утративший своего «хохлацкого» задора, не забывший голосистой песни.

Не удержался Дерикруп и затянул на радость Ильке:

Ой на гори
Тай жинци жнуть...

Дальше петь Дерикрупу не пришлось, хотя песня была и по сердцу Ильке. Дверь распахнулась, и в барак ворвался бригадир Трифон Летяга.

— Не можешь без фокусов-то? Не можешь?

— А что такое? Мы это... историей занимаемся.

— Историей! Показал бы я тебе историю, если б бригадиром не был,— гаркнул Трифон Летяга и указал на дверь.— Выметайся вон из барака, пока я еще в горсти себя держу.

Сконфуженный «учитель», обиженно вздохнув, покинул барак. Бригадир напустился на Ильку:

— Тоже певчая птица! Надо к школе готовиться, стараться, чтоб балбесом не стоять перед учителем, а он, видали, сказочки слушает, небось дважды пять не знаешь сколько, а туда же, за сказочками...

— Дважды пять будет десять,— обрадованно сообразил Илька, быстро перебравши пальцы под столом.

Трифон Летяга бросил кепку на стол и устремил взгляд мимо мальчишки.

— Ну, раз угадал, а дальше что? Дальше-то что? Допустим, дали тебе кило лапши на всю нашу артель и надо

разделить это кило поровну. По скольку лапши на рыло надо кинуть?

Сколько лапши на рыло кинуть — Ильке оказалось определить непосильно, и потому он лишился всяческого покоя, потому что с самого того вечера Трифон Летяга буквально извел его арифметикой.

Идет, допустим, с работы бригадир и еще издали, как приветствие, кричит:

— Илюха! У нас было семь багров. Один багор ротозей Исусик утопил да два Гаврила поломал, поскольку для него всякий человеческий инструмент хрупкий. Так сколько багров к вечеру осталось?

Вот это был метод так метод! Все мужики включились в работу. Илька ходил все время начеку, готовый отражать неожиданные, заковыристые вопросы. Они задавались ему по мере того, как возникали в головах сплавщиков. Принес, к примеру, Илька охапку дров, затопил печку, и вот уже ему вопросик: «Сколько было в охапке поленьев? Сколько в печь сложил? Сколько осталось?» Задачи касались не только предметов — они в зависимости от настроения сплавщиков бывали и с ехидцей, и с политикой, и с сольцой.

Вот одна из них:

— На голове у дяди Романа осталось шестнадцать волосьев, а было тридцать четыре, половину из них девки шалые выдергали, остальные со страху упали, когда он партизанил...

— Ду-урень, ястри тебя,— добродушно отругивался дядя Роман.— Если хочешь знать, у меня шевелюра была во! — И старик приподнимал руку над лысиной чуть ли не на пол-аршина.— Помню, здесь же вот, у Ознобихинского перевала. мясорубка была, ох, и мясорубка! Меня тогда камнями чуть было не завалило...

Старик медленно набил трубку, раскурил и, глядя на темные, резко очерченные мглистым окоемом утесы, начал рассказывать о командире Щетинкине, о том, какой это был отчаянный партизан и как заманил он отступающие отряды глупых колчаковцев на реку Мару и в неприступных местах на Ознобихинском перевале сокрушил своей хитростью недобитых беляков, которые еще надеялись отсидеться в лесах и даже организовать там свою отдельную республику.

История и арифметика, Украина и Сибирь, дальние страны и турецкий султан — они даже снились Ильке.

У Исусика была необычная обувь — бахилы. Бахилы — легкая выворотная обувь с длинными голенищами, пригодная бродить в воде и в дальней таежной ходьбе. Голенища и переда у бахил выкраиваются из цельного куска кожи, подошва вшивается изнутри ворсистой стороной. Сооружение это делается просто, быстро, и оно очень распространено было прежде в Сибири. Кожа, хорошо пропитанная дегтем, воду не пропускает.

На рыбалке бродят не так уж часто, и всегда можно просушить бахилы, снова намазать их дегтем. Другое дело — сплав. Здесь иногда целый день приходится быть в воде, прыгать по скользким бревнам. От этого бахилы начинают раскисать, становятся осклизлыми и не принимают дегтя.

Пока не наступила дождливая пора, бахилы Исусика были незаменимы. Но вот зарядили дожди, и бахилы стали похожи на огромных скользких жаб.

Дядя Роман смеялся:

— Тебе бы с твоими обутками в колхоз наняться, саранчу на полях давить, вот бы трудодней отхватил!

Бригадир Трифон Летяга не раз говорил Исусику:

— Не канителься, возьми резиновые сапоги.

Исусик не брал сапоги. За них надо платить, правда, половину их стоимости, как за спецодежду, а он дрожал за каждую копейку. Зимой на сплаве Исусик не работал, потихоньку выделывал кожи, шил бахилы и продавал местным рыбакам. Не взял Исусик и брезентуху, а работал в какой-то бабьей латаной-перелатаной кофте.

Дядя Роман донимал Исусика насмешками насчет непомерной скупости, говорил, что тот за копейку удавится, и не раз при этом добавлял:

— Я вот уже лет двадцать на расческах экономлю, а ничего не накопил.

Исусик на это презрительно отвечал:

— Такому ветродую и не скопить ни шиша! Такому всю Расею отдай, он и ее промотает!

— Да ну? — изумлялся дядя Роман и, многозначительно ухмыляясь, любопытствовал: — Тебе небось кажется, что Русь-матушка только такими и держится, как ты?

— А что ты думал?

Ознобихинский перевал — самое проклятое место на всей Маре. Народу здесь перетонуло видимо-невидимо.

Легенд и небылиц, перемешанных с былями, ходило среди местного населения насчет перевала множество.

Рыбаки спешили проскочить это, хотя и рыбное, но колдовское место. Охотники обходили его стороной.

Ознобихинский перевал тянется вдоль Мары. Вернее, Мара течет вдоль него. Левый берег лесистыми холмами подкатывает к Маре и полого спускается в воду. С левого берега можно брести до половины реки и не замочить пупка. У самых скал правого берега дно обрывается, и вода там такая студеная, что человека могут схватить судороги. Если кашлянуть — гул катится вдоль скал, отдаваясь громким эхом. Горы как бы отталкивают от себя все звуки, кроме одного, который они не в силах ни заглушить, ни оттолкнуть,— это шум Мары.

Восемь километров тянется стена из выщербленного ветрами, щелястого гранита.

Когда-то, давным-давно, прошел по Ознобихинскому перевалу пожар. Сгорело все до кустика. Даже земля, лежавшая в расщелинах и на террасках, выгорела. Сейчас на перевале нет ни одного живого дерева. Черные сучкастые остатки обгоревших лесин и высокие пни маячат на таких же черных скалах. Лишь кое-где виднеются плешинки мышастых мхов. На карнизах скал висят, как ласточкины гнезда, растения, по-здешнему — горная сарана, или дикая репа, на самом же деле карликовые кактусы.

В распадках так и сяк валяется обгорелый и оттого долго не гниющий листвяк и пихтач. Только березняк иструхлявился, развалился. У ручьев краснеют шапки цветов дикой примулы, а на трухе да на занесенной в расщелины пыли растет лишь кое-где травка да кустится тонкий малинник, потрескивает на ветру спутник всех пожарищ — кипрей.

Кипрей уже отцвел. Открылись его узенькие стручки, из которых порхнуло по щепотке светленького пуха. Ветер разносит этот пушок по голым скалам, скатывает в валики. Веревками свисают эти валики с камней, цепляются за обгорелые деревья, падают в реку, и кажется, что на Ознобихинском перевале все еще не затух пожар, распадки ущелья все еще дымятся.

Из дымка выползают змеи и клубками лежат на нагретых камнях.

Возле поворота, в узкой гранитной дыре, судорожно бьется речка Ознобиха. Бьется устало и озлобленно. Даже попав в Мару, она все еще беспокойно пошевеливает вспе-

ненным хвостом. И долго голубоватою змеей ползет Ознобиха по Маре, прежде чем в ней растворится.

Вечерней и утренней порой или в жаркий солнечный день, когда светловодную рыбу — хариуса, ленка и тайменя — одолевает водяной клоп, здесь слышен беспрестанный плеск, будто из пугачей стреляют. Хвосты тайменей раскаленными мечами рубят отливающую синевой струю Ознобихи. Хариусы, осатаневшие от клопиных укусов, сигают, бьются о воду.

Только поздней ночью затихают хлопки и всплески. И тогда явственно слышно, как дробно рассыпаются брызгами ключи, выбегающие из скал на верхних навесах, яростно клокочет Ознобиха и ворчит забросанная камнями, непокорная Мара.

Возле речки Ознобихи нет ни смородинника, ни черемушника. Она так же неприветлива, обнажена, как и скалы, родившие ее. Но, должно быть, в средине этих с виду мертвых скал, в темных тайниках, хранится что-то целебное. При выходе многих ключей накипели сероватые и ржавые наросты, похожие на березовую губу.

По-здешнему это называется каменным маслом. Рискуя жизнью, самые отчаянные знахари карабкаются на скалы, отколупывают каменное масло и пользуют им от всех немочей деревенский люд.

Мара виляла меж камней, торчавших то там, то тут из воды, прикидывалась тихоней, а потом, словно вспомнив о своем крутом нраве, вдруг сердито бросалась на скалы, с шумом била, как таранами, бревнами о камни. Бревна устрашающе гудели, образовывали тороса, набивались в расщелины, оседали на камнях и многочисленных перекатах. Только самые скользкие, самые юркие бревна проскакивали эти восемь километров, да и они выплывали из этой дыры побитые, с облупленной корой, с отколотыми ощепинами.

Ознобиха! Хорошо тем людям, которые могут проплыть мимо нее быстрехонько, не оглядываясь, а еще лучше тем, кто может обойти гиблое место стороной. Но сплавщикам этого делать нельзя. У сплавщиков возле Ознобихинского перевала самая трудная работа.

Каждый год к перевалу высылали людей на помощь молевой бригаде. А нынче их здесь почему-то не оказалось. Трифон Летяга все больше хмурился, но еще надеялся, что люди придут, и обнадеживал своих товарищей. Они ругались и кляли начальство, Ознобиху и всех,

кто подвернется под руку. Всем хотелось поскорей отсюда выбраться.

С утра до позднего вечера слышался сплавщицкий напев у Ознобихинского перевала. И уже без шуток, присказок, которые, как звенья цепи, целый день вяжутся к незамысловатому «Ой, да еще разок!».

Шли дожди. Под скалами по утрам лежал застойный туман и кружились лепехи шипучей пены. Только к полудню туман поднимался по расщелинам и распадкам к самым вершинам. Но и в вязком тумане слышалось:

Ой, да еще разок!
О-о-ой, да еще разок!

Катились с камней бревна, гулко сшибались, громыхая и бухая. Бестолковыми табунами кружились подле утесов, в суводях и водоворотах и снова наползали одно на другое, образуя высокие тороса.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Третий день казенка стоит на одном месте, там, где зачинается Ознобихинский перевал. Он вздымается разом, без обычных мелких каменных быков, без скалистых обнажений, завешанных космами мха и затянутых кустарником. Вот он встал, горбом подпер облака, непоколебимый, великий, и вся округа с лесами, зелеными седловинами робко приникла к его подножью и несмело выкидывает полоски зелени на траурно-мертвый камешник.

Плот спустили метров на триста вниз, причалили к левому лесистому берегу. Ночью Ильке спать почти не пришлось. Он жарким смольем топил в сушилке печку и развешивал одежду сплавщиков.

Сплавщики ушли работать рано утром. Илька лег спать, а когда проснулся, дождя уже не было. Дул ветер, растеребливал клочья тумана, вплетал в него нити клейкого пуха. Потом туман рассеялся, и мальчишка увидел на другой стороне реки медведя. Он стоял посреди обгорелого валежника в распустившемся кипрее и с неприязнью смотрел на казенку.

Архимандрит бегал по плоту, но вдруг поднял голову, заметил медведя и сначала задом, а потом, как заяц, прыжками ринулся в барак под нары. Илька забрехал топо-

ром о ведро. Медведь ухнул и заковылял по скалистой расщелине вверх, треща валежником. На пути медведю попался горелый пень. Он трахнул по нему лапой и с интересом наблюдал, как одряхлевший пень рассыпался, кувыркаясь вниз, пока не шлепнулся в воду. С горы медведь еще раз оглянулся на плот, изо всех сил рявкнул для острастки и скрылся.

— Ишь ты, мохнозадый, в каком месте прижился! — произнес Илька, проводив медведя взглядом, а про себя со страхом подумал: «Что, если он переплывет реку да на плот влезет!»

Мальчишка проверил на всякий случай задвижку в бараке, она показалась ему ненадежной. И он пожалел о том, что сплавщики работают далеко от казенки, метр за метром очищая реку, метр за метром продвигаясь вперед по порогу.

Лес стоял на пороге плотно. Бревна громоздились одно на другое, выпирали на клешнятые угесы, стояли торцом, и ветер коробил на них сырую обшарпанную кору.

Илька пошел на берег собирать дрова и как бы ненароком добрел до бригады. Дождавшись перекура, он подсел к мужикам и рассказал им про медведя.

— Потревожили мы его,— сказал Трифон Летяга,— вот он и корчует пни. Стращает нас: дескать, смотрите, какой я громило, и убирайтесь. Ты его не бойся. Он зверь хотя и могутный, но людей боится — пальнуть могут. Откуда ему знать, что сплавщики одними камбарцами вооружены.

Исусик кряхтел, подвязывая ремешками расплывшиеся бахилы у щиколоток и под коленками. Всю ночь маялся с этими бахилами Илька, а высушить не мог. К печке близко их сунуть нельзя — коробит кожу, в стороне они не сохнут. И что человеку неймется! Взял бы сапоги и работал, так нет, он в мокрой обуви уходит каждый день, но спецовку не требует.

Покурив, сплавщики начали разбирать залом. Ниже гремел и бесновался порог, состругивая камнями клочья пены с обезумевшей реки.

А это был еще первый и не самый большой порог. Впереди, у нижнего мыса Ознобихинского перевала, сплавщиков ждал Ревун — самый сильный, самый страшный порог. Там скапливался лес, и там была громадная, почти непосильная работа.

Залом из бревен сплавщики не раскатывали, а долго

щупали баграми, выискивали и, наконец, видимо, нашли бревно, которое, будто клин, держало всю сгрудившуюся древесину. Воткнув багры, мужики, мерно раскачиваясь, затянули:

О-о-ой, да еще разок!

Бревно медленно, сантиметр за сантиметром выползало, как заноза, из твердого тела земли. Вот показалась вершина бревна, мокрая, облепленная галечником, напоминающая узкую голову барсука.

Сплавщики запели сильней и дружней: «Взяли! Взяли! Взяли!» И разом дрогнул залом, затрещал, начал распадаться. Бревна плотом двинулись вниз, переворачиваясь, выныривая, ломая тонкие лесины, швыряя лиственные чурбаки.

Гул, скрежет, грохот! Сплавщики, словно акробаты, перепрыгивая с бревна на бревно, побежали на берег. Трифон, воткнув багор в толстую лесину, сиганул, как циркач.

И не зря же дана ему фамилия — Летяга!

Перебирая длинными ногами по бревнам, мчался Дерикруп.

Грузно шли один за другим братаны, взяв камбарцы под мышку, как это делают пешие люди во время ледохода. Провалишься — багор не даст уйти под бревна, послужит на долю секунды опорой, достаточной, чтобы выскочить из воды.

Спокойно и несуетливо уходил с бревен Сковородник — потомственный сплавщик. Губа у него уже не отвисала, а строго поджалась, весь он напружинился, подобрался. И никто бы не узнал в этом собранном, расчетливом в каждом движении человеке сонного, леноватого Сковородника.

Оскользая на бревнах, бежал Исусик и скороговоркой повторял: «Господи, спаси и сохрани!»

А бревна рассыпались и покачивались довольнехонько на вихрастых волнах.

Исусика относило. Но на это пока никто не обращал внимания. Дело привычное. Каждому из бригады за день приходится сотни раз прыгать по лесинам, обваливаться. Работа на сплаве — это бой. Трифон Летяга только крикнул раздраженно:

— Багор! Баго-о-ор!

Исусик послушно сунул багор под мышку, перепрыг-

нул на толстое бревно. Это была лиственъ. Кору с нее содрало, осталась лишь скользкая, как мыло, заболонь. И тут подвели Исусика бахилы. Они коснулись осклизлого бревна. Самый момент оттолкнуться, перепрыгнуть, но подошвы бахил забуксовали. Исусик взмахнул руками, выронил багор, упал на бревно. Лиственъ и без того идет почти вся в воде, а тут и вовсе осела под тяжестью человека... Стала поворачиваться, и вдруг закружилось бревно, перевернуло человека, швырнуло головой в воду.

— Спаси-и-ите! — завопил Исусик, вынырнув.

Никто еще не успел ничего сообразить, еще крик Исусика не поднялся до скал, а Трифон Легяга уже птицей мчался на выручку. Он делал саженные прыжки, танцевал на вертящихся бревнах, перебирая ногами, и снова перепрыгивал. Вот он попал на толстое сосновое бревно, расколотое посредине, и начал толкаться багром, точно под ним был плот. Он догнал Исусика, ухватил его за шиворот, выдернул на свое бревно.

Но камни порога были уже рядом. Они выставили остро заточенные зубья, готовые щепать, рвать на куски все, что попадет. И тогда Трифон сбросил Исусика с бревна, сам прыгнул в воду, поймал утопающего и, коротко взмахивая правой рукой, ринулся в сторону от лесины. Спасительные, привычные сплавщику бревна сделались опасны. Попади между ними в пороге — затискают, изомнут, растащат по кускам.

Люди бегали по берегу, ругались, махали руками, выкрикивали бестолковые советы. И вдруг ни с того ни с сего Дерикруп побежал по берегу, затем по бревнам поперек реки.

— Куда-а? Куда-а? — заорали все разом.

Братан Азарий с непостижимой для него проворностью сбросил куртку, сапоги и пустился догонять Дерикрупа, дядя Роман тормошил Ильку:

— Лодку, лодку-у! — Он хватался за сердце, семеня по берегу к казенке.

Быстрый на ногу Илька обогнал его, прибежал к плоту, столкнул лодку и упал в нее. Он успел заметить, как Азарий догнал длинноногого Дерикрупа, схватил его и нырнул с ним под бревна. Лесины косяком пронеслись над ними, Азарий потащил на берег нахлебавшегося воды Дерикрупа. Не знал еще Дерикруп, что самоотверженность без умения сама по себе ничего не стоит.

Трифона и Исусика уже не было видно.

— Дядя Трифон! Дядя Трифо-он! — захлебывался Илька, суматошно работая веслом.

Лодку потащило к правому берегу, где течение было мощнее.

— Дядя Трифон, дядя Трифон! — кричал мальчишка.

А впереди грохотал порог и бились о камни бревна, вставая свечой или исчезая в кипящей воде. Илька рванулся с лодкой к левому берегу, где суетились, бегали и кричали сплавщики.

— Туда, туда! — замахали мужики на порог, и мальчишка понял, что заворачивать к мужикам некогда, что дорога каждая секунда.

Стало быть, надо мчаться в порог одному.

— Дядя Трифон! — с отчаянием закричал Илька и оцепенел, заметив, что лодку начинает стукать бревнами и тащить на скалы. Илька затабанил веслом, пропуская мимо мокрые, бешеные бревна.

С берега несся трубный голос Гаврилы:

— Илья, спокойней! Илюша, спокойно!

Да, надо было спешить, но спешить спокойно, иначе бревна притиснут к скалам, раздавят лодку в щепки.

— Левей! Левей!

— Милай, гляди,— долетел до Ильки голос дяди Романа, и по голосу старика мальчишка догадался: теперь уже боятся не только за Трифона Летягу, но и за него.

Однако не зря же Илька вырос на реке. Не зря он уже девяти лет ходил на шесте в лодке. Не зря же тонул раз двадцать и не утонул. Илька расталкивал бревна, направляя лодку меж камней, и внезапно увидел Трифона Летягу с Исусиком.

— Дядя Трифон, я чичас! — крикнул Илька, но никто не отозвался на его крик.

Вот у кого надо было учиться Дерикрупу умной самоотверженности — у бригадира. Затащив Исусика за камень, высунувшийся из воды, бригадир ухватился за выступ и висел в воде. Исусик намертво вцепился в него.

Трифон Летяга сквозь стиснутые зубы просил:

— Не души! Не души-и!

Бревна ударялись об источенный водою камень и углом расплывались по сторонам. В воде болталась брезентовая куртка Трифона, волосы залепили ему глаза.

— Не души! — умолял, грозился и уже хрипел бригадир. — Не души!

Слабели руки Трифона Летяги, изнемог бы он и ото-

рвался от камня, но левая нога нащупала что-то твердое, должно быть, другой камень, и Трифон уперся в него. Рядом он видел расширенные глаза Исусика. Ошалев от страха, Исусик пытался залезть на Трифона и топил его. И тогда Летяга ударил Исусика ребром ладони по шее.

— Аа-а уб! — захлебнулся Исусик, хватив воды, и одна рука его беспомощно разжалась.

Трифон поймал его за волосы, из последних сил подтянул к себе и прижал податливую голову сплавщика под мышкой.

На это он израсходовал остатки сил. Мускулы слабели, в голове мутилось, пальцы соскальзывали с обжигающего камня. Он до крови закусил губу.

Все: небо, Мара, зеленый лес — уходят.

Темнота! Сил нет.

И вдруг неожиданный, тонкий, надорванный голос, в котором смешались боль и ужас:

— Дядя Трифон!

Бригадир открыл глаза: из-за камня летела лодка.

— На борт! — прохрипел Трифон Летяга, и мальчишка понял его, послушно навалился на другой борт лодки. Бригадир рыбиной метнулся к лодке, ухватился за нее одной рукой, а другой держал Исусика. Илька увидел на пальцах бригадира кровь, заметил, как свело их судорогой. Он торопливо погреб мимо камней, мимо бревен. Струя повернула лодку, порог злобно швырнул ее к левому берегу, где метались сплавщики. Они побрели навстречу, подхватили лодку, людей.

Исусик не отцеплялся от Трифона Летяги. Тот с силой разнял его руки, отшвырнул и вытянулся на берегу, лежал на камнях, тяжело, с присвистом дыша. Рядом валялся мокрый, скомканный Исусик. Возле него хлопотали мужики.

Исусик медленно открыл тусклые глаза, оглянулся, сморщился и вдруг заскулил:

— Господи! Господи! За кусок за несчастный погибаешь! Да пропади он, этот сплав, эта река и все на свете! Господи! Мужики, ребра-то целы ли у меня? Господи! Шея, шея штось не вертится. Не ранета? Господи! Пресвятая Богородица! Так вот, без причастия и погубишь душу. А голова? Голова как? — Он болезненно икал, корчился.

Трифон Летяга тяжело приподнялся, сунул два пальца в рот, и из него рванулся мутный поток. Потом он долго сморкался, зажимая то левую, то правую ноздрю. После

этого бригадир принялся молча разуваться. Мужики виновато притихли.

Дерикруп лежал чуть в стороне, не привлекая к себе внимания. Его сильно ушибло бревном. Гаврила подошел к нему и глазами спросил: «Ну, как ты, горемыка?» Дерикруп так же взглядом отослал его назад: «Иди, дескать!»

Гаврила сочувственно покачал головой, глядя на изможденного студента:

— Дурень! Скажи, нет?

Гаврила вернулся к товарищам. Трифон Летяга молча отжал штаны, куртку, портянки и, разбросав их на камнях, снова лег, вытянулся.

— Надо бы руки перевязать, Трифон! — несмело подал голос дядя Роман.

— Чего? — не понял бригадир и посмотрел на руки. На суставах клочьями висела кожа, пальцы кровоточили. Трифон Летяга откусывал крепкими зубами лафтаки кожи и, сплевывая их, зло бросил одно-единственное слово: — Дохлятина!

И хотя он вовсе не смотрел на Исусика, все поняли — это о нем.

Исусик натужно икал и, то и дело вытирая с лица слезы, которые градом текли от удушливой рвоты, с перерывами вопил:

— Первый, значит, сигаешь с бревен, первый! А люди тони, да?.. Вот... Сгинул бы... Отвечал бы...

— Замри, ты! — замахнулся на него всегда сдержанный и молчаливый Азарий.

Трифон Летяга буркнул:

— Не тронь его, Зоря. Он в Бога верует и в копейку, почти что святой,— и сердито добавил, показывая на бахилы, из которых текла вода: — Если еще раз увижу тебя на работе в этих клоподавах, голову оторву!

— Сыму, сыму, будь они прокляты! Сыму,— Исусик тут же начал развязывать ремни.

Илька сидел рядом с Трифоном Летягой, и никто не обращал на него внимания. По лицу мальчишки текли слезы. Он размазывал их рукавом, старался негромко шмыгать носом. Отчего плакал Илька, он и сам не смог бы объяснить. Он и старался не плакать, но слезы все равно катились и катились. Наверно, оттого, что сейчас ему по-настоящему сделалось страшно. Илька тоже сшиб на суставах кожу, должно быть, о камни или бревна, когда их расталкивал, но боли не чувствовал.

Трифон Летяга внимательно поглядел на Ильку, взъерошил ему волосы:

— Ну а плакать-то зачем? Э-эх, ты!

Илька приник к нему.

— Утонул бы так... Вон моя мамка насовсем утонула... Не шутка...

Рука Трифона Летяги дрогнула, он с трудом прокашлялся, легонько отстранил Ильку от себя и начал рывками обуваться, наматывая мокрые портянки. Обулся, встал.

— Ну, хватит сидеть, работа не ждет! Ты,— повернулся он к Исусику,— айда в барак, отлежись.

— А сам-то как же? — с поддельным участием спросил Исусик и быстренько начал собираться, соображая, что уж после такого бедствия не обидят и за этот день начислят ему зарплату, как и всем.

Бригадир зябко поежился, со свистом втянул воздух посиневшими губами и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вылакали вот водку! Сейчас бы стакашек не мешало.— И пошел впереди бригады, немного косолапый, кряжистый и строгий.

Люди двинулись за ним и принялись работать, разбирать следующий залом. И снова понеслась над рекой песня, и снова, бухая о камни, перевертываясь, сшибаясь, поплыли бревна вниз по реке.

Работа, работа, работа...

В СУШИЛКЕ

В сушилке плавал пар. Было жарко и душно. Илька часто выскакивал на улицу и тряс подол рубахи, чтобы охладиться. Чугунная печка с продырявленным коленом сердито гудела и выбрасывала черный дым. От стены до стены сушилки на скобах лежали закопченные жерди, и на них топорщились задубевшие под дождем брезентовые штаны и куртки сплавщиков. Постепенно они просыхали, делались мягче. Вокруг печки на чурбаках лежала обувь и колыхались от жары проношенные до дыр холщовые портянки.

Пахло смольем и гниющим сеном. Сено сплавщики клали вместо стелек в сапоги. Но запах пота забивал все остальное. Сушилась рабочая одежда, а она всегда и всюду пахнет потом.

Ильку долил сон. Стоило ему присесть, сложить руки на коленях, и голова сама валилась на грудь. Илька встряхивался, выскакивал на холодок и макал голову в воду.

Спать нельзя. Нужно к утру высушить всю одежду. Для этого необходимо шуровать и шуровать печку.

Гудит печка, фукает в дыры пламенем смолье. Тут уж смотри в оба. Затлеет портянка, обуглится — и разом займется оплывшая смолой постройка. Спать нельзя! Нельзя оставить сплавщиков без спецодежды.

Медленно возвращаются мужики с работы. Идут, растянувшись цепочкой, молчком прислоняют багры к стене барака и валятся в мокрой одежде на нары. Илька только теперь и заметил, что сплавщики часто пошевеливают пальцами, стараясь разжать их. Но пальцы судорогой собирает в кулак.

Илька робко и сочувственно наблюдает за поверженными усталостью мужиками, боясь предложить им еду.

Трифон Летяга не залезает на нары, должно быть, страшится, что ляжет и не подымется до утра. Он минут десять сидит на пороге барака, вытянув ноги и уронив руки. Потом обводит ввалившимися глазами товарищей и мрачно роняет:

— Мокрую одежу снять! Всем обмыться в реке. Ужинать — и на отдых!

Мужики с кряхтеньем встают, пощелкивают суставами. Один Исусик делает вид, будто ничего не слышит.

— Тебе особую команду подавать?

Исусик брюзжит, сползая с нар:

— Чисто фетфебель, этот Летяга! Пристанет как банный лист,— и, обозлившись окончательно, завывает: — Сам хлещись в реке! Я и так целый день в воде прею, как мочало. Игрушкино дело...

Но он все-таки раздевается и для вида плещет себе в лицо. Трифон Летяга, искоса наблюдая за ним, кивает головой на воду:

— Столкну с казенки!

Исусик окончательно выходит из себя, принимается громко пушить всех на свете, не трогая только Богородицу, но до пояса все же обмывается.

После этого мужики вяло ужинают и ложатся спать. Засыпают они разом, и, кроме дяди Романа, никто ночью не ворочается.

Илька с предосторожностью, совершенно излишней, ходит на цыпочках по бараку. Он собирает мокрую одеж-

ду, гасит лампу и отправляется на всю ночь в сушилку. За ним семенит лохматая собачонка. В углу сушилки брошен клок сена, и Архимандрит нежится всю ночь в тепле. Ильке немножко веселей, когда собачонка здесь. Все-таки живая душа.

Мальчишка то и дело пошевеливает одежду, переворачивает ее с одной стороны на другую. Сначала высыхают портянки, затем штаны и куртки. Он мнет их, чтобы они были хоть немного помягче, и складывает в угол. К утру на жердях остается все меньше и меньше штанов и курток. Илька накладывает в печь сырого березняка — чапыги и садится на дрова. Теперь можно и подремать. Однако постоянная боязнь, что спецовки могут загореться, не дает ему заснуть надолго. Он то и дело вскакивает, обводит глазами темную сушилку.

Тишина. В открытую дверь видно отливающую свинцом реку. С гор тянет стынью. В небе громоздятся тучи, и сквозь них не проглядывает ни одной звездочки — к утру опять пойдет дождь. Внизу под бревнами плещется вода. Плот слегка покачивается и скрипит. Плот давно на воде. Он уже глубоко осел. Кора на бревнах сопрела. На плоту постоянно пахнет вином. Это от коры. Запах сладкий. Он щекочет в ноздрях, и, наверно, от этого запаха все мутится в голове и клонит ко сну.

Сварить бы чего-нибудь мужикам вкусного. Киселя? Ягод набрать и сварить киселя. Но что кисель? Это Митькина еда. Как-то он там, сопленосый, поживает? Вот тайменя бы поймать да каждому сплавщику по здоровенному куску сварить, тогда бы у них силы прибавилось. Но на удочку тайменя не вытащишь. Он, подлец, так хватит, что вместе с удочкой с плота свалишься. Да и уходят таймени под лес.

А лесу у Ознобихи стоит много. Всю реку перегородили бревна. Справятся ли мужики? Устали они. И дядя Трифон устал. Челюсти у него заострились, нос больше сделался, глаза запали и помутнели. Дядя Роман тайком от всех чем-то натирает поясницу. Забежит в сушилку и натирает. Илька все видит. Но разве он скажет про дядю Романа? Ему труднее всех.

Скрип, скрип, шлеп, шлеп... Щелк! Скрипят бревна, шлепает вода, постреливает печка. Хорошо! Теплынь. Ночь.

Опустил Илька голову. Губа у него отвисла, и слюнка выкатилась. Уснул хозяин казенки, уснул в полной уверенности, что только ему живется в артели легко.

Снится Ильке дом, братишка Митька снится. А может, так, в полудреме видится Ильке дом. Вчера прошла сверху казенка, уже без продуктов, без водки, и кино было спрятано в железные колесики. Феша потчевала Ильку мятными пряниками. Он долго мялся, но не выдержал, спросил:

— Как там у нас, дома-то?

Феша удивленно поглядела на Ильку, затем положила руку на его голову.

— Болит сердчишко-то, што ль, о доме? — И сама себе ответила: — Какой же это дом? Пришла я к твоему папаше с мамашей, а они блины пекут. Обрадовались, когда я рассказала, что ты на казенке. Думали, ты утонул, и боялись, как бы им за тебя не влетело. Но теперь успокоились. Плохие люди. Только и родни у тебя там — малыш Митька. Он-то все еще кличет тебя. А те,— Феша махнула рукой,— лучше тебе без них будет...

Ильке снится дом. Неприветливый, вроде бы чужой, а все-таки дом. И мачеха снится. Что знает о ней Феша? Разве она знает, как коротали вместе страшную зиму мачеха и Илька? У нее тоже где-то глубоко, глубоко, будто в загнете угли, подернутые пеплом, хранятся добрые чувства. Она их никому не выказывает. Видимо, стесняется. А отец — кисель. Так его называла бабушка. Жидкий кисель, потому что он бесхарактерный: бабе поддается.

Снится Ильке кисель, сладкий, черничный. Этим киселем Илька кормит малого братишку. Митька дурачится, выталкивает языком кисель изо рта. Илька шлепает баловня ложкой. На лбу у Митьки остается черная звезда. Смешно Ильке, смешно Митьке. Оба хохочут, но хохот почему-то переходит в лай. Что такое?

Илька открывает глаза.

В открытую дверь сушилки ползет утро и промозглая сырость. Печка прогорела. Только под серым пеплом еще тлеют угли. Архимандрит высунул голову из сушилки и лает.

— Чего ты, Кабздох? — спросил у собачонки Илька.— Он так и зовет ее с самого начала, не признавая громкого и святого имени, которым нарекли приблудную сучонку сплавщики. Архимандрит, заслышав голос Ильки, залился пуще прежнего.

Вдали звякали кованые шесты. Мальчишка поспешно

вышел из сушилки. По пологой стороне Мары на лодке поднимались двое. Они разом выкидывали белые шесты, делали резкий толчок, и, зарываясь носом, легкая долбленка устремлялась вперед.

Бородатый мужик, перепоясанный патронташем поверх телогрейки, выдернул нос лодки на плот и басовито поприветствовал Ильку:

— Здорово, парень!

Архимандрит выходит из себя. Илька цыкнул на него и ответил на приветствие.

— Где бригадир? — спросил чернобородый.

А молодой чернявый парень, должно быть, сын приплывшего мужика, отвязал бечевку, с помощью которой перетягивал лодку через затор.

Илька повел мужика в барак и тряхнул за ногу Трифона Летягу. Бригадир разом вскинулся, произнес сонно: «А?» — и стал продирать глаза. Приглядевшись, он подал руку мужику:

— Здорово живем, Прохор! Что, за орехами вверх?

— За орехом. Да и пострелять собираемся маленько,— ответил Прохор, вытаскивая из кармана письмо, завернутое в серый носовой платок.— Вот тебе от начальника сплавной конторы.

Трифон взял письмо, положил его рядом с собой на нары и, тут же просовывая ноги в штаны, отдал Ильке распоряжение:

— Свари-ка чаю.

Илька принялся разжигать таганок на плоту. Прохор расположился возле стола. Приняв от Трифона кисет, он поинтересовался:

— Чей парнишка? На обличье знакомый!

— Верстакова.

— Павла?

— Его.

— Нагрезил что или пустил все-таки папа сынка в беспризорники? — Прохор покачал головой.— Вот скажи ты: охотник на всю округу знаменитый. Не боится ни тайги, ни черта, а дома...

— Сопля!

Прохор хотел что-то возразить, но придержал слова, увидев, что бригадир принялся читать письмо.

«Приветствую вас, товарищ Летяга, и всю вашу бригаду! — писал начальник сплавной конторы.— Надеюсь, что все живы-здоровы. Последние сведения от вас я получил

из Верх-Мары, и, по моим подсчетам, сейчас вы уже должны подходить к Ознобихинскому перевалу. Вы, вероятно, удивились и рассердились, не обнаружив там людей. Дело в том, что рабочие, какие есть в моем распоряжении, все до единого заняты на сплавном рейде. Сами знаете, что паводок нынче мал и дожди пошли поздно. Заморозки же ожидаются ранние, и на большой осенний паводок рассчитывать нельзя. Деревообделочный комбинат уже пущен на полную мощность. Он получил срочный заказ от строящегося на Урале металлургического завода. На нас жмут. Мы здесь работаем уже в три смены. Работаем и ночью при электрическом свете. Да, да, у нас в поселке уже есть электричество! И все же мы не полностью обеспечиваем комбинат древесиной. Сильно она у нас нынче обсохла. Нам обещают прислать трактор, чтобы вытягивать из торосов бревна. Но пока его нет. И людей нет. Я крепко надеюсь, товарищ Летяга, что вы справитесь со своей бригадой у Ознобихи. О трудностях не говорю, знаю, что трудно. Трудно, но нужно. Мы увеличили количество пикетных постов, и ниже вести лесозачистку вам будет все-таки легче.

Передайте вашим товарищам, что все дома у них в порядке, дети здоровы. Премия за успешное прохождение верх-марских порогов всей бригаде начислена. Думаю, и у Ознобихи не подкачаете.

Вас поздравляю отдельно — с кандидатским билетом! На днях приезжал из города работник крайкома и велел направить вас в город, как только вы вернетесь, за получением билета. Нынче у нас откроется вечерняя школа, и нужно будет вам обязательно учиться. Но об этом поговорим при встрече. А пока еще раз поздравляю и надеюсь на вас вдвойне!

Крепко жму всем руки.

20 сентября 1935 года».

— Дипломат! — хмуро обронил Трифон Летяга, глядя на размашистую подпись начальника сплавной конторы, и тут же, перестав хмуриться, весело заорал:

— Подъем!

— Чего хайлаешь? — загудел в углу Исусик.— Полегче нельзя? — И, заметив приезжего, зевнул.— Поклон Прохору Зырянычу! Как там мои? — Не дожидаясь ответа, пожаловался: — А я вот третьево дни чуть не ушел ко дну. Чуть не утоп!

— Бывает,— коротко отозвался Прохор, отодвигаясь в сторону, чтобы дать Ильке место поставить еще булькающий чайник. Из отверстия чайника торчали ветки смородинника. Прохор потянул носом и от удовольствия потер руки.

Он пил чай и неторопливо, с обстоятельностью рассказывал новости: В городе на самом краю построен мелькомбинат, и теперь там проезда нет, а пшеница прямо из барж высасывается воздухом; в поселок провели электрическую линию, но пока что народ керосиновые лампы держит на всякий случай; есть слухи, что какие-то германские фашисты или рецидивисты начали без всяких оглядок заедаться и рабочий люд пачками в тюрьмы швыряют; жену свою начальник сплавконторы увез в город и поместил не то в диспансер, не то к знакомой; в столовке сейчас кормят уже на два блюда и даже иной раз кисель дают; хлеб стали выпекать кирпичами, и баб от этого дела устранили, поскольку равноправие; бабы, которые без понимания текущего момента, ревут: мол, полное уничтожение женской личности начинается.

Напившись чаю, Прохор с сыном отчалили и, мерно перебрасывая шесты, ушли вверх по реке. Бригадир отодвинул в сторону хлеб, сахар и стал читать письмо вслух.

Мужики крякали, ругались, говорили, что не худо бы к Ознобихе самому начальнику приехать, небось скоро бы пуп сорвал. Конец письма Трифон Летяга сначала не хотел оглашать, но подумал и не без удовольствия прочел.

Сплавщики оживились и заявили, что с него полагается самое малое — ведро водки.

— О водке потом, сейчас давайте о деле.

Сплавщики надолго умолкли. Бригадир не торопил, не мешал думать. Первым заговорил Исусик. Пробивая кулаком слои дыма перед собой, он изрек:

— Значит, так. Согласья нашего нет надсажаться здесь. Надо писать письмо начальнику и просить помощи. (В глубине души Исусик таил надежду, что с письмом пошлют его в сплавную контору и он передохнет несколько дней дома, а тем временем мужики, глядишь, и оседлают Ознобиху.)

Трифон Летяга обвел взглядом хмуро насупившихся сплавщиков.

— Вы что скажете?

— Чепуху порол! Скажи, нет? — обратился к Исусику Дерикруп.

Исусик не удостоил его ответом.

— Конечно, чепуху,— поддержал Дерикрупа Сковородник, прикуривая от папироски братана Азария.— С письмом дён пять надо идти по горам, да столько же пройдут люди из Усть-Мары, если их сымут с гавани. Больше-то взять негде. Начальник не шутейно ведь просил самих нас...

— Чего мне твой начальник! — вспылил Исусик.— Он руки в брюки расхаживает. А мы грыжу наживаем. Игрушкино дело такой заторище разобрать. Где сила?

— Не первый год молюем,— пробасил от окна Азарий.— Разбирали всякие заторы, и этот надо сковырнуть.

— А как? Как? — подскочил к нему Исусик.

— Это другое дело — как,— вмешался в разговор Трифон Летяга.— Об этом и думать надо.

— Ну и думай, если у тебя голова большая,— огрызнулся Исусик.— В партейные затесался, рад стараться.

Трифон Летяга побледнел, приподнялся из-за стола.

— Ты потише на поворотах, понял?! — рявкнул он.— Меня приняли в кандидаты, понял? И ты не цапай это, божья тварь.

Гаврила молчком взял Исусика за ворот, подтащил к двери и дал ему в зад коленкой.

— Успокойся, Трифон, нашел с кем связываться! — сказал дядя Роман.

Бригадир опустился на скамью, отнял у Сковородника окурок и жадно затянулся.

— Я найду на вас управу! Я до Москвы доберусь! — бесновался за дверями Исусик.

— Вот ведь холера дремучая! — покачал головой дядя Роман.

Братан Гаврила открыл дверь и коротко бросил:

— Уймись! Не то я тебя угомоню!

Исусик притих.

Илька убрал со стола кружки, хлеб, сахар и, смахнув тряпкой крошки, присел возле печки, в сторонке. Сплавщики долго молчали. Первым поднялся Сковородник и, отыскивая глазами фуражку, буднично проговорил, как о давно решенном:

— Без лотка нам не обойтись!

Мужики с облегчением поднялись, заговорили о том о сем и стали собираться на работу.

Плот спустили к самому затору, и началась работа, непонятная для Ильки. Сплавщики почему-то не выдергивали бревна из затора и не спускали их вниз по течению, а наоборот, топили лесину за лесиной, втыкали их, как клинья. Река грудью навалилась на затор, перегородивший ее путь. Лес шевелился, скрежетал, сжимался. Вода поднималась, пенилась, хлестала в берега, с ревом устремлялась между бревен. Сплавщики же, нет чтобы дать ей ходу, как это делали обычно,— заклинивали щели лесинами, вспруживали реку. Вода бугрилась, рвалась и свирепела все больше.

Плот, учаленный за скалу, покачивало все сильней и сильней. Мелко дрожал натянутый, как струна, цинковый трос, поскрипывали стены барака, хлюпала под полом вода, по столу каталась кружка.

А сплавщики метались по затору, который сжимался, грудился, делался плотнее. Сегодня за командира был Сковородник. Он тыкал багром в одно место, в другое, и туда вдавливали бревна, ставили на попа. С багром в руках Сковородник все ещё, как будто вяло, расхаживал по затору, перепрыгивал в лодку и толкался в ней от одного берега к другому. В этот день он больше обычного матерился. Только потому и мог заключить Илька, что Сковородник волнуется, строя какую-то наихитрейшую сплавщицкую штуковину.

К полудню реку точно взнуздали. Она бешено вскидывалась на бревна и скалы, бросала клочья пены, как загнанная лошадь. Даже длиннохвостые береговые синички боялись садиться на бревна. Грохотал, ярился порог Ревун, державший на горбу своем вспухшую, ощетинившуюся тучу леса. Гул, нарастая, разносился вдоль Ознобихинского перевала. Выше затора вода все прибывала и прибывала.

Плот укрепили еще одним цинком.

Чуть подрагивала земля. С гор то и дело лавиной сыпался камешник, гремя о бревна.

Илька уже начал догадываться, что сплавщики нарочно запрудили реку. Стало быть, они хотят поднять древесину, сорвать ее с места, и тогда волной помчит бревна вперед, смоет на пути другие заторы и мелкие торосы.

Во время обеда необычно возбужденный Сковород-

ник черпал похлебку, радостно слушал, как гудит река, и довольнехонько ухмылялся:

— Шу-мит, шу-ми-ит! Осатанел Ревун! — И, показывая ложкой в сторону затора, добавил: — С лотком, Трифон, ничего не выйдет. Лоток надо делать середь затора, чтобы слив воды был в стрежь. Тогда бревна летят в дыру, как пули. А тут ямина у правого берега, и весь слив воды туда. Один выход: забить эту яму, и тогда лес подымет...

Трифон Летяга и все сплавщики слушали внимательно. Слушал и мальчишка. Слушал и дивился. Ведь думал он, что на казенке всех знал до последней косточки. Оказывается, нет. Вон Сковородник-то какой смекалистый! Дядя Трифон и тот соглашается с ним и подчиняется ему.

Два дня забивали сплавщики яму бревнами у правого берега. Обвалился с бревен и чуть не утонул дядя Роман. Сильно поранил руку Азарий. Но оба они ушли на работу. В эти дни даже Исусик не ныл и не скулил. Все были взвинчены, у всех лихорадочно блестели глаза.

Многое зависело от того — сумеют или не сумеют сплавщики поднять лес искусственным паводком.

Они его подняли!

Лес затрещал и двинулся в потемках. Дрогнула ночь. Зашумела еще сильнее и злее прорвавшаяся река, рявкнул сбросивший со своей спины тяжкий груз порог Ревун. Дрожали горы, и беспрерывно сыпался в воду камешник. Жутко закричал вспугнутый канюк и слепо ринулся в темноту.

«Бум! Бум! Бум!» — набатом доносились из ночи удары бревен об утесы.

Лес прорвался, лес пошел!

— Ай да мы, спасибо нам! — орал Дерикруп.

— Одолели! — будто свалив гору с плеч, выдохнул Сковородник.

— Сила силу ломит! Помогла Пресвятая! — радовался Исусик.

— Вот ради чего я живу! — ликовал дядя Роман.

Елки-палки, лес густой,
А хожу я холостой...

Дяде Роману стали подпевать, подсвистывать. Он неожиданно выхватил из темноты счастливо рассыпавшегося в смехе Ильку, потащил его к костру, и они пустились вместе в пляс.

— Ну, связался черт с младенцем! — рассмеялся Трифон Летяга и с фонарем помчался к затору.

Мужики увязались было за ним, но он строго приказал всем отдыхать.

Бригадира не было всю ночь. Он пришел под утро и произнес коротко:

— Все, хлопцы, спать!

Трифон Летяга с трудом добрался до нар, не раздеваясь, упал и тут же уснул.

Илька проснулся раньше всех. Он вышел из барака и посмотрел на реку. Она снова обмелела и трепыхалась на оголившихся камнях. Но какая же она сделалась мелкая, раздражительно суетливая! Наподобие льдин, оставшихся после ледохода, по берегу еще белели кучки бревен. Но это уже были остатки. Весь основной затор подняло и далеко унесло вниз.

Днем сплавщики делали зачистку у последнего поворота Ознобихинского перевала, и снова над рекой понесся надорванный, дрожащий, но неунывающий голос дяди Романа:

Вы зачем меня женили?

Бригада подхватывала:

О-о-ой, да еще разок!

Опять голос дяди Романа:

Пару коней маяли.
О-о-ой, да еще разок!
Вы зачем такую брали?
Да ой, еще разок!
Чтобы люди хаяли!

И все разом:

Хаяли, хаяли!
Ой, да еще разок!
Без штанов оставили!
Да ой, да еще разок...

И дальше в эту бесконечную, сочиняемую на ходу песню вплетались такие ядреные слова и скоромные шутки, что хоть стой, хоть падай. Черные, острокрылые стрижи высыпали из своих норок, тучей мошек носились кругами и возмущенно взвизгивали.

А казенка плыла вперед и вперед, оставляя за собой перевалы, пороги, шивера. Плот обгоняли бревна, исклеванные баграми сплавщиков.

Много верст прошли сплавщики, много мысов обогнули, а вдали, то призрачно синея, то проступая сквозь завесь дождя или четко вырисовываясь на закате, все еще видна темная гряда.

Там, за этой темной грядой, за горбатыми горами осталось Илькино, пока еще маленькое, прошлое. Впереди была какая-то другая жизнь. Он представлял ее себе просто. Будет жить у бабушки и у дедушки, будет учиться в школе, играть с ребятами — вот и все.

Но люди в артели были уже умудрены временем, они уже умели заглядывать в будущее, пытались хотя бы на ощупь определить нужную Ильке дорогу и подтолкнуть его на нее. Они-то, понимали, что бабушка и дедушка на земле недолговечные жильцы.

Трифон Летяга как-то спросил у Ильки, кем он собирается быть, когда вырастет.

Мальчишка, не задумываясь, ответил:

— Рабочим.

Бригадир посмотрел мимо Ильки на лесистые горы, уже подернутые желтизной, и после долгого раздумья с расстановкой заговорил:

— Рабочим быть — тоже дело мудреное, силенка требуется, да и характер потверже. Рабочим земля держится.—Трифон докурил папироску, бросил ее в воду и, проводив глазами окурок, продолжал: — Но ты видел, чем мы работаем? Теми же самыми баграми, какими еще при царе Горохе вояк с коней стаскивали. А ведь на нашей земле ба-альшие дела, и баграми да топорами их несподручно ворочать. Ученые люди нам сейчас нужны, чтобы придумывали они разные машины, полегченье делали нашему труду. Я и сам нынче думаю за учебу браться, чтобы и в политике мировой разбираться, и бригадой или там участком руководить по-правильному. А тебе, Илька, и вовсе без школы нельзя. Может, выучишься да изобретешь такую машину, которая сама будет стаскивать лес с берегов, разбирать заломы. И мы обязательно будем всем говорить: «Вот Илька молодец! Не зря хлеб ел. Видел он, как мы маемся, суставы вывертываем и тонем иной раз целыми артелями...»

Илька смотрел на Трифона Летягу, и ему было хорошо уже оттого, что этот кучерявый, сильный и в то же

время простой человек разговаривает с ним, как равный с равным, и доверяет ему свои мысли.

Трифон Летяга не был красавцем. На широкоскулом лице, с этим приплюснутым и раздвоенным бороздкой носом, даже как-то неуместно выглядели его пепельно-серые глаза. Только крупные кудри, которые Трифон Летяга никогда не расчесывал, а время от времени подрезал, были здесь к месту. Впрочем, Ильке все в бригадире казалось к месту, и не было для мальчишки на свете красивей человека. Верилось, что по соседству с таким человеком никогда не пропадешь, даже его мачеха сделалась бы другой. Она бы, как медяк, потерлась о золото и тоже заблестела. Да только не надо, чтобы дяде Трифону попала в жены такая баламутка. Нет, на нем женится самая что ни на есть раскрасавица. Такую именно однажды Илька видел в городе, в магазине. Она торговала конфетами — эта достойна!

Дерикруп твердо решил поступать в лесотехническое училище и навсегда остаться в сибирских краях.

Исусик клялся, что больше на сплав не пойдет, а наймется в плотники.

Сковородник и Азарий с Гаврилой не говорили ничего. Было и так ясно: они со сплава никуда не уйдут. Зимой им работа найдется на ремонте ледорезов, на стройке бон, гавани.

Дядя Роман, стараясь быть беспечным, уверял, что найдет себе какую-нибудь куму с коровой и всю зиму будет лежать на печке — греть бока.

Сплавщики поддакивали ему с невеселыми улыбками. Они знали, что на самом деле придется старику жить в бараке среди содомной молодежи и наниматься в сторожа на лесопилку. Не раз приходила в голову дяде Роману мысль уйти в город и поселиться в доме престарелых, но он откладывал это еще на год и каждую весну нанимался в артель сплавщиков. Бригадиры брали слабеющего сплавщика неохотно.

В последние дни перед остановкой в Усть-Маре дядя Роман все чаще затягивал одну и ту же песню:

Делать нечего паршивке,
Надо требовать расчет,
Со хозяином простился,
Ничего мне не пришлось,
Со хозяюшкой простился,
Кулаком глаза утер...

Не докончив песню, глядел слезящимися глазами на реку. Должно быть, думал о доме престарелых. И так ему делалось жутко, что старик вдруг принимался невесело балагурить. Не мог он представить себя без вольной жизни, без реки, без лесов, без бродяжьих дорог. Он все боялся, что затоскует в стариковском приюте и удавится.

Смолкла песня. Сложены багры в кучу, причален плот в последний раз. Причален крепко, не за случайную лесину, а за мертвяк, вкопанный в берег. Скоро придут сюда люди, разберут барак и сушилку, в которой не одну ночь провел Илька.

И плот разберут. Пустят часть бревен в гавань, а часть выкатают на дрова.

Грустно Ильке, как подумает он обо всем этом. Жалко ему расставаться со сплавщиками, но надо. Бабушка и дедушка уже совсем близко. Надо идти с Усть-Мары по дороге через гору, спуститься в лог, где когда-то дедушка вытаскивал воз с травой, спуститься вниз, и вот она, поскотина, а за нею вытянулась в две улицы деревня Увалы. Там, на задах, в пошатнувшейся набок избе живут дедушка и бабушка.

Илька вымыл резиновые сапоги, высушил их, снял брезентовую куртку и штаны, которые доходили ему до груди, принес все это добро бригадиру.

— Вот, спецовка в сохранности...

Трифон Летяга поглядел на ноги Ильке. Старые цыпки сошли. Ноги мальчика шелушились. На отмытой коже белели зажившие отметины и царапины. И лицо мальчишки загорело, округлилось. Загар почти скрыл живучие веснушки. Илька раздался в плечах. Под ситцевой рубашкой угадывались затвердевшие комочки мускулов.

Окреп, подрос парнишка.

Бригадир многозначительно кашлянул, внимательно обвел глазами сплавщиков. Как бы заручившись их согласием, он сказал:

— А мы ведь выдаем спецовку на износ,— и, видя, что мальчишка уловил острым чутьем неправду, тверже добавил: — Да, да, на износ. Пользуйся, носи! Ты заработал спецовку.— И бригадир стал поспешно помогать Ильке одеваться.— Вот, надевай сапоги, великоваты, правда, но дедушка их, может, на меньшие сменяет, и будет тебе осенью в чем в школу бегать. Куртку и штаны бабушка перешьет.

Илька безвольно подчинился Трифону Летяге и растерянно улыбался.

— Постой-ка,— сказал бригадир.— А тебе ведь расчет полагается. Работал? Работал! У нас задарма работать нельзя — закон советский не разрешает.— И на секунду задумался.— Ты пойди пока веревки смотай, а мы тут ведомость составим.

Илька вышел. Трифон Летяга обернулся к сплавщикам:

— Ну, мужики, кто сколько может! Ты, Дерикруп, снова за дело. Составь что-то вроде ведомости и дай нашему сплавщику расписаться. На подачку он обидится, не возьмет, а мы ему выдадим зарплату.

Сковородник положил на стол десятку. Дядя Роман тридцать рублей. Трифон Летяга тоже вынул деньги. Долго ерзал на нарах Исусик, потом раздернул зубами носовой платок, в углу которого были завязаны деньги, и, выбрав изношенную трешку, сунул ее на стол:

— Вот и от меня, на конфетки.

Трифон Летяга смахнул драную трешку со стола:

— Мы не нищему подаем!

Илька старательно, печатными буквами вывел свою фамилию рядом с цифрой «84 рубля 50 копеек». Мелочь эту прибавили по совету Трифона Летяги, чтобы у паренька не возникло никаких подозрений.

Деньги Илька завернул в платок и упрятал глубоко в карман. Но, подумав, перепрятал — засунув их за голенище сапога.

Илька не раз думал, как он будет прощаться со сплавщиками и благодарить их. Бабушка говаривала когда-то, что добрым людям за добро не грех и в ноги поклониться. И мальчишка уже давно и твердо решил поклониться каждому сплавщику в ноги. Но вот, когда заговорили все разом, стали пожимать ему руку, как большому, хлопать по плечу, он только твердил одно и то же:

— Спасибо, дяденьки, спасибо, дяденьки!

В мешок из-под сухарей ему насыпали крупы, бросили несколько банок консервов. Он приделал к мешку веревочные лямки.

Присел Илька возле стола в последний раз, как это делают при разлуке все порядочные люди, и после торжественной, какой-то особенно печальной минуты пошел с плота. Когда он поднялся на крутой яр, от которого тя-

нулись на гавань толстые нити тросов и цинков, еще раз оглянулся.

На плоту крепко стоял, широко расставив ноги, Трифон Летяга и смотрел вслед Ильке. Рядом с ним сидел на выдернутой потеси и дымил трубкой дядя Роман. Остальные сплавщики вытаскивали из барака вещи, хлопали одежду, связывали в пучки багры.

Илька поглядел на старика, вспомнил его слова, сказанные на прощанье: «Живи, Илюха, как душа велит. Не улыбайся, когда на то охоты нет, и не плачь без надобности»,— и помахал рукой:

— Спасибо, дядя Трифон! Спасибо, дядя Роман!

Илька повернулся и пошел, наклонив голову. Его душили слезы, но он не плакал. Реветь не надо. Он уже не тот опасный для «опчества» малец, у которого слезы готовы брызнуть от первой обиды и особенно от ласки.

Он уже зарплату получил, за первую получку расписался. И теперь твердо знал, что, если в жизни будет когда-нибудь трудно, если случится беда, надо бежать не от людей, а к людям.

1958—1959

СТАРОДУБ

Повесть

Леониду Леонову

На крутом лобастом мысу, будто вытряхнутые из кузова, рассыпались десятка два изб, крытых колотым тесом и еловым корьем,— это древнее старообрядческое село Вырубы.

Приходили сюда люди, крадучись, один по одному, и избы ставили на скорую руку, стараясь влезть в них до стужи. Потом уж достраивались, вкапывались глубже, отгораживались высокими крепкими заплотами. И можно было в Вырубах увидеть раскоряченные, невзрачные избы за крашеными резными воротами, за тесаными заборами в ухоженных дворах. Впрочем, у иных хозяев эта наспех поставленная первая изба, первый приют поборников «древлеотеческих устоев», сбежавших от утеснений «нечистых» нововерцев, становилась потом зимовьем — иначе говоря, флангелем.

Мыс, на котором приютилась деревушка, был накрепко отгорожен от мира горными хребтами и урманом — тайгой. Лишь изредка по реке Онье мимо деревни проносились на плотах верховские жители, лихорадочно работая скрипучими потесями. Там, в верховьях, по соседству с кочевниками-скотоводами, в засушливых степях мыкали горе русские переселенцы — это они на сплав уходили и гоняли плоты по бешеной Онье мимо упрятавшихся в горах раскольничьих скитов и сел, очень похожих на Вырубы, угрюмых, потаенных. Уже давным-давно нет в живых того, кто первым пришел на мыс, огляделся, настороженно прицеливаясь: горы сзади, горы спереди, горы спра-

ва, горы слева, и среди них с пеной на губах мчится, бушует Онья. Тесно Онье в скалах, жестко на камнях, невесело в ущельях. Только прибежит к плесу, успокоится немного, вздремнет, и опять впереди порог, шивера или перекат. Опять дерись, пробивай дорогу и смотри, как весело, буйно играют в струях таймени да хариусы.

Возле самого мыса, по ту сторону реки, в воде клыкастые каменья, и всю-то летнюю пору деревня наполнена шумом, будто никогда не затихают здесь ветра и шевелят, волнуют тайгу. И зимою возле вырубских шивер долго чернеют полыньи, и почти до Рождества слышен все незатухающий шум. Ни по реке, ни по горам не пробраться к Вырубам — сгинешь. Знал тот неизвестный старовер, который свалил здесь первую лиственницу на избушку, как и где прятаться от мира.

Очень опасным, труднопроходимым считался у плотогонов Вырубский шивер. Не зевай возле него. Здесь река почти внаклон, все сваливает к левому берегу. Не остерегись — и на ребро поставит плот, расщепает на каменьях, изорвет в клочья. Так и случилось однажды — руки плотогонов оказались слабее реки, затащило на камни плот, крякнул он, захрустел скрепами и рассыпался.

Слабо, без всякой надежды кричали артельщики о помощи. Они знали, что никто из староверов и не подумает кинуться в лодку спасать их. Нет резона спасать тех, от кого надежно спрятались. Зачем в селе чужие? Раздор от них, порча.

И надо же было так случиться, что малый парнишка с плота со страха судорожно уцепился за бревно, да так крепко, что ногти его впились в древесину. Бревно ударило о скалу, раздавило малому руку, но он все равно не отпустил бревна. Его покружило-покружило и кинуло на берег, к деревне.

Сбежался народ. Но сколько ни тормошили докучливые бабы мальчонку, сколько ни расспрашивали намеками, знаками, кто, мол, он, откуда, ничего добиться не могли. Парнишка с испуга лишился языка, смотрел на всех немигающими, подавшимися из орбит глазами и постоянно тряс головой.

— Свихнулся! — заключил сапожник Троха, и матери начали прогонять с берега ребятишек, боясь, как бы «тронутый» не покусал их.

Мужики стали держать совет: как быть с парнишкой?

Долго шумели, спорили и всем миром согласно порешили: дурачка убрать.

Суеверие да «древлеотеческие устои» не знают жалости. И это суеверие подсказало людям, что мальчишку прибило к берегу не зря, что есть в этом дурное знамение и что не оберешься напастей, если оставишь его в деревне. Неспроста же получилось так, что все взрослые плотогоны в воду канули, а малый, почти бессильный человечишка уцелел. Убрать! У малого башка трясется и глаз дурной — светлый, водянистый и не моргает. Такой глаз не только корову, но и бабу в тягости изведет. Да и мало ли что еще может быть! Чужие нагрянут, табашника-исправника приведут, тот учинит допросы, как да что, и откупись от него попробуй. Нет уж, лучше от мира подальше, грехов поменьше.

Берег быстро опустел. Подгоняя, как телят, любопытных ребятишек, бабы-староверки разбежались по домам, закрещивая двуперстиями свои следы.

Из тех же бревен, что прибило от разбитого плота к берегу, мужики принялись сколачивать салик. Нет, убивать парнишку они не собирались. Большой то грех! Они посадят его на плотик и оттолкнут. Плыви с Богом! А куда, до каких мест доплывешь — это уж их не касается. Бог тебя послал, пусть Бог и к месту определит. Захочет — до другой деревни убережет, не захочет — на первом пороге утопит. На то его Божья воля.

Мальчик неотрывно смотрел на мужиков, суетливо орудовавших топорами, и пытался что-то понять. Но боль мешала ему это сделать. Он тихонько застонал, пополз с шорохом по камешнику и погрузил изувеченную руку в холодную воду. Мужики нахмурились.

Сапожник Троха высморкался и виновато сказал:

— Перевязать бы ему руку-то.

Никто ничего не ответил, и Троха метнулся домой за тряпицей. Никакой бросовой тряпки не нашлось под руками. Жена Трохи, бедная баба, замученная нуждой, тяжким гнетом да презрением коренных жителей Вырубов — староверов, отпорола кружева от холщового рушника, который берегла еще с девичьих времен, и отдала его мужу со словами:

— Что делают, что делают!..

Троха обматывал руку мальчика желтой от времени и табачной пересыпки холстиной. До мужиков доносилось его виноватое бормотанье:

— Будь бы ты кабарга или какая другая зверюшка — добили бы тебя, и не маялся бы. А ты все ж таки человек, и делать этого невозможно, потому, стало быть, мучаешься... Ты все ж таки человек...

Мальчишка глядел на Троху и тряс головой. По лицу его картечинами катились слезы. Боль давила мальчишку. Троха осторожно опустил его на каменья.

— Охо-хо-хо, отошел бы вот здеся-ка, схоронили бы мы тебя на мирском кладбище, душа твоя еще невинная, светлая... А то плыть за смертью тебе сызнова...

Мальчик притих, закрыл глаза, и Троха, стараясь не шуметь камешником, отошел от него.

— Может, уснет, сонного и погрузим, ох-хо-хо! — Троха поднял глаза и робко произнес: — Неладно это, братцы... Неладно...

— Не скули! — буркнул кряжистый мужик с раздвоенной губой.— Мир постановил.

Троха сник. Против мира не восстанешь. Мир, он — сила. А мужик с заячьей губой осторожно поднял мальчика и понес к плоту. Увидев воду, мальчик дернулся, застонал и забился на чужих, по-деревянному твердых руках.

Трижды затаскивали мальчонку на салик, но он всякий раз соскакивал с него и, захлебываясь слезами, карабкался на яр. Запятнанный кровью рушник развязался, мальчик наступал на него, падал. Кровь на раздавленных пальцах перемешалась с землей и песком. Из грязного комочка на месте пальцев торчали ослепительно белые косточки. Но и они, эти косточки, хватались за крапиву, царапали землю. Троха не выдержал, убежал за баню — от «ужасти». А мужики уже волоком затащили на салик малого человека и придавили коленями к бревнам. Мальчишка барахтался, выскальзывал, как рыбка, кусал трясущиеся руки мужиков. Внезапно он ослабел, завял, но и беспамятство не усмирило его. Мокрое худенькое тело мальчишки все еще содрогалось. Мужикам казалось: чахнет малая душа, но ловится за жизнь.

— Воды боится,— сказал кто-то сдавленным от страха голосом и совсем уж тихо: — Надо привязать, кабы снова не примчался в деревню.

— Некогда привязывать. Сталкивай, пока он сомленый. Сталкивай...

— Стяжек бы, стяжек,— заторопился кто-то,— эх, на суше салик сколотили...

— Поторапливайтесь, божьи люди, пока у ребенка душа

с телом не рассталась,— падет грех на ваши головы! — раздался насмешливый густой голос.

Вздрогнули бесстрашные на вид и робкие в душе староверы, будто голос с неба раздался. В суете они не заметили, когда к берегу пристала осиновая долбленка и из нее вышел большой чернобородый охотник Фаефан. По святцам — Феофан, но людские языки обкатали это имя, как вода обкатывает острые камни, сделали его более гладким для произношения.

Грузно ступал Фаефан по берегу, шагал так напористо, что каменья уходили в песок, а мужики расступались на стороны.

Вся деревня знала, что Фаефан водится с лешим, и потому боялись его. Да и сам он вроде лешего: длиннорук, волосат, нос его перешиблен, а под хохлатыми бровями чернущие цыганские глаза, которые так и пронзают насквозь, так и всверливаются в самое нутро.

Фаефан наклонился над мальчишкой, пальцем вспорол рубашонку, плеснул на бледное большелобое лицо мальчика воды.

Медленно открылись затуманенные глаза, уставились на Фаефана.

— Живой! Ах ты, таймененок! А божьи люди удумали тебя на тот свет спровадить и рук не замарать...

Фаефан протянул волосатые руки к мальчонке. Тот отшатнулся. В горле мальчика что-то засипело, заклокотало, и внезапно вырвался мучительный, гнусавый звук:

— А-а-ама!

— Да не бойся, не бойся! Эх ты, ясна душа, еще не отличаешь зверя от человека!

Приговаривая, Фаефан поднял мальчика, обернул его полой дождевика и шагнул на яр. Преграждая ему дорогу в деревню, мужики сгрудились нерешительной стенкой. Белки глаз Фаефана яростно сверкнули:

— Сгинь, отродье, пока лихо не содеялось!

Берег пустел. Мужики, которые с облегчением, которые трусовато, засеменили по домам. Фаефан слишком хорошо знал нравы односельчан и потому громогласно объявил, ступив в деревенскую улицу:

— Если тронете хоть пальцем — порешу!

В ответ — ни звука. Только створки окон захлопываются. За ними короткая суета рук. Крестятся на медные иконки, принесенные еще прадедами в паузах и холщовых сумках, на позеленевшие от времени распятья: «Убе-

реги, Господь, от постороннего глаза, укрепи веру в душе, спаси и сохрани!»

А Фаефан, по прозвищу Каторжанец, нес нового жильца по деревне, называя его таймененком. Это было самое ласковое слово из всех, какие знал Фаефан Кондратьевич.

* * *

Жена Фаефана Мокрида встретила мужа во дворе, решительно отогнула полу дождевика, глянула на притихшего парнишку.

— Эко горе Бог дал! На печку неси его, я святой водой обрызжу. Только не жилец он, не жилец. Пустоглазый. Да и супротив желания в деревне.

— Каркай больше, кикимора! — цыкнул на жену Фаефан.— Я заступником ему буду! — Подумал, сощурился: — И ты тоже.

Мокрида вознесла глаза к небу, приложила к левому плечу два перста с погнутыми от работы ногтями.

— Всем нам Господь-батюшка заступник. На все воля Его... На все Его воля...

Так и не понял Фаефан — осудила его Мокрида за то, что он приемыша в дом принес, или нет. Бесовски хитра и скрытна Мокрида, не сразу распознаешь, что у нее на душе. Давно уже правит она хозяйством, с тех пор как угодил в солдатчину Фаефан.

Сыскало однажды волостное начальство деревушку Вырубы в лесу — и сразу рекрутчина, налоги. Старики предложили рекрутам сжечься в молельне, дабы не обмирщиться в солдатчине. Никто заживо гореть не согласился. Тогда те же старики предложили взять сподручную поклажу: иконки, распятья да «устойные» книжки в котомы и двинуть всей деревней дальше, в леса, в «землю восеонскую, идеже нет власти, от людей поставленныя».

Повыли, поплакали, повздыхали и никуда не пошли вырубчане. Тогда уставщик Агафон — отец Мокриды — проклял их всех, заперся в молельне и три дня и три ночи молился без питья и еды, а на четвертый день поджег молельню и сгорел в ней.

В деревне Вырубы появился староста, сход; раз, а то и два раза в году здесь появлялось начальство в лице исправника и нагоняло на угрюмых вырубчан холоду. Научились вырубчане обходиться с начальством и откупать

рекрутов; но пока они научились это делать, хватили несколько молодых парней горькой солдатчины.

Диковатый, неуклюжий и фанатичный парень Фаефан отчего-то невзлюбился сразу франтоватому унтер-офицеру, и тот выдумывал для детинушки одно дело грязней другого, насмехался над солдатом, бил обязательно при людях, но ни стона, ни слезы, ни взятки выбить из таежника с тяжелым, лешачьим взглядом не смог. Однажды на ученье, во встречном рукопашном бою, унтер-офицер направил штык на Фаефана и, когда тот отшиб его своим штыком, коротко взмахнул прикладом снизу вверх, и Фаефан услышал, как хрустнул у него нос и хлынула на грудь кровь.

Фаефан на глазах у всей роты всадил унтер-офицеру штык по самое дуло винтовки.

Всю жизнь надлежало Фаефану проработать в забайкальском руднике за этот сквозной удар штыком, но кто-то кого-то сменил на престоле в Питере и всемилостивейше пожаловал свободу десятку-другому каторжников.

Чужим вернулся в Вырубы Фаефан. Ни старой, ни новой веры он не принимал. Он уже вроде бы ни во что и не верил. Месяцами пропадал он в тайге, зверовал. Мокрида уже привыкла одна вести хозяйство и обходиться без мужа. Так даже лучше было. Она молилась, сколько хотела, как хотела, и блюла Божьи устои строго, по-старинному, хотя ослабела, ох, как ослабела у вырубчан древлеотеческая вера...

Как-то само собой получилось, что после «сжения мученика Агафона» Мокрида очутилась вместо уставщика и звалась не иначе как мать Мокрида. Фаефан по пьяному делу высмеивал ее. Но она умела не обращать внимания на «отступника» мужа и делала свое дело, а он свое.

За твердый характер, за то, что не скисла она в трудные годы, за то, что умела вести хозяйство и править людьми, уважал Мокриду Фаефан. Недолюбливал, но уважал. Он был уверен, что кто-кто, а Мокрида сумеет оборонить, когда надо, приемыша.

Язык к мальчишке возвращался медленно. Пальцы на руке отболели и высохли. Остались только мизинец да большой, вроде рогульки.

Культявый, Культя, Култыш — так стали кликать в деревне Вырубы мальчонку. Он к этому быстро привык и другого имени никогда не знал и не помнил, хотя и нарекла его Мокрида Титом. Не привился Тит.

Был у Мокриды и Фаефана сын — Амос. Костлявый, увертистый парнишка — года на два старше Култыша.

— Вот братка тебе,— сказал Амосу Фаефан,— дружно живите, не забижай его сам и другим в обиду не давай.

— Н-ну, только мой устав во всем,— предупредил Амос отца.

— Ладно, пусть твой, абы не Мокридин, а то сделают из малого кликушу-стихирщика. Мне охотники нужны, не уставщики...

Фаефану нужен был помощник. Охотник. Мокриде — уставщик, да такой, чтобы в кулак зажал односельчан, в душах которых подгнили устои и вера древлеотеческая, православная вера, ради которой на огонь пошли бесстрашные раскольники, протопопы Аввакум и Иван Неронов, великомученицы Феодосья Морозова и Евдокея Урусова головы сложили и во славех погиб один из предводителей Соловецкого восстания, старец Геронтий.

Амос — вот кто радовал сердце матери. Прозорливость у него в глазах, ум потаенный, даже мать не всегда знает, что он думает, но уж если возьмется за какое дело Амос, не оторвешь. Синяков себе наставит, руки в кровь порвет, а сделает.

Вот такой уставщик нужен, такой властью своей покорит, волей.

Но мал еще Амоска, глуп. Увертывается от материнской кабалы. А в людях разброд. Укреплять надо веру. Чем? Как?

Копытка — лесная болезнь — свалилась на скот. Не отпугнули ее зарытые во дворах копыта, повешенные на колья черепа, болезнь косила коней, коров, овец. Не помогало чтение охранительных стихир и повсенощные стояния на молитве от мала до велика. Скот падал. Беда пришла в деревню. Повывелись охотники и рыбаки в Вырубах, повыродились добытчики и промысловики, только пашней да скотом жили — и на вот тебе: падеж, мор.

Прогневали отца-хранителя, задабривать надо. Жертвоприношение нужно — голой молитвой не ублажишь.

Жертва, жертва, жертва... Все чаще повторялось это слово, и Амоска замечал: глядят при этом материны молельщицы на малого приемного брательника. Его не жалко, его сразу сбыть хотели.

Мокрида задумалась, ночь на коленях простояла, отбивая поклоны перед маленькой полустертой иконой.

Утром объявила:

— Тита безродного, святую, неопятнанную душу Господу Богу угодно...

Пали вырубчане на колени перед Мокридой: потрафила мать-заступница, угодила. Кому охота свое дитя на огонь посылать!

Три дня и три ночи не давали есть малому Култышу, только водицы испить давали. Шили ему саван из домодельной холстины, крест самого мученика Агафона изготовили на шею мальчонки. Молилась Мокрида, косила глазом на Амоса. Потом позвала Амоса за баню, приказала, сунув сумку с харчами:

— Вверх по Онье, вверх по Онье до Изыбаша, к отцу. За ночь и день обернись, иначе...

На рассвете ударился плечом в тесовую дверь охотничьей избушки Амос, упал на замусоренный пол, отдышался, испил водицы и прохрипел всполошившемуся отцу:

— Брательника...— и показал на дотлевающие в печке поленья.

По чердакам и подпольям долго прятались от осатаневшего Фаефана вырубчане. Сама мать Мокрида боялась даже на глаза ему показаться. Побив посуду в доме и окна у соседей, Фаефан забрал с собой приемыша и снова уплыл в Изыбаш.

Тысячу поклонов наложила на себя Мокрида за мужнин грех и на Амоса сотню.

«А на меня-то за что?» — с обидой думал Амоска, исподлобья глядя глубокими глазами на мать, но перечить не стал. Перечить матери он еще боялся.

Так семья разбилась надвое.

Несподручно было с малым человеком в лесу. Всюду за собой таскать его по тайге невозможно, одного в Изыбаше оставлять боязно. Однако быстро пообвык Култыш в новой жизни. Да и характера он был уединенного, раздумчивого, не по возрасту углубленного. Сядет на взгорок по-над Оньей Култыш и сидит, бывало, часами, обняв колени. О чем он думал? Может быть, ни о чем. Просто сидел, просто дышал, впитывал хилой грудью животворные соки земные...

В вешнее разноцветье мальчишка заваливал избушку всякой цветущей всячиной. Придет в избушку Фаефан — на нарах цветы, на столе цветы, под матицей цветы и даже за ремешком фуражки и в петлях рубахи у парнишки цветы. Дух цветочный в избушке такой, что с ног валит.

— Вот молодец, вот молодец! — дивясь ненадоедному, странному характеру приемыша, хвалил его Фаефан.

Однажды взял за руку Култыша Фаефан и отвел на лысоглавый угор, что яйцом выпростался из таежной шубы в устье Изыбаша. Здесь охотник показал мальчонке цветок с таким мохнатым и духовитым стеблем, будто все лесные запахи впитались в него.

— Стародуб! — непривычно мягко произнес Фаефан и рассказал приемышу о том, как в давние-давние годы появились в этих краях суровые, ни перед чем не гнущиеся, стойкие люди. Они пришли оттуда, где росли дубы, где росли яблони, груши, вишни и не было кедрачей и лиственниц. Они всему дали свои названия, и самый целебный и красивый цветок назвали в честь любимого дерева — дуба. Так цветок этот, желтый и духмяный, сделался постоянной, неумираемой памятью о родном, навсегда потерянном крае. Сменялись поколения, умирали люди, исчезли те, кто притеснял и кого притесняли за приверженность к старой вере, но каждую весну зажигались ясным огнем по всей Сибири стародубы и роняли семена, чтобы никогда не переставала цвесть земля, чтобы сердце человека наполнялось соком и духом ее и не истлевала в нем память о том крае, который его родил.

С этого дня Култыш стал потихоньку бегать на угор, отыскивал там полюбившиеся ему стародубы и подолгу, не моргая, смотрел на них.

Так вот, на природе, в охотничьей избушке, под суровым доглядом Фаефана, рос Култыш, сызмальства перенимая все трудовые охотничьи премудрости. А дома тянулся под потолок долговязый Амос. Был он костист, длиннорук, как отец. И глаза у него сидели в глубоких глазницах, только были они маслянистыми, чуть сонливыми, умиротворяющими. В глубине этих глаз таилась хитреца, пристальность, а в прищуре — высокомерие. Фаефану чудилось, что сын его знает больше, чем говорит, и видит дальше, чем думают люди.

Отца Амос дичился, матери со скрипом покорялся, но при первой возможности делал все напоперек. Особенно презрительно, как-то издевательски спокойно относился он к устоям староверов. Никакая стихира не разжигала его, никакая молитва не трогала. Он тянул все эти устои, как лошадь воз, хотя и без понукания, но и без всякой охоты. Уставщика из сына не получалось — это Мокрида

уже видела ясно. Он отлучился от матери, вроде бы невзлюбил ее и был чужой отцу. Он стал тихонько потягивать медовуху и покуривать табак у разгульной вдовы-солдатки, и Мокрида не выдержала. Она сказала Фаефану, когда тот явился в село:

— Ну, отец, пора тебе и о родном сыне вспомнить. Он кобелиться начинает. Возьми-ка ты его в дело...

Первый раз Фаефан Кондратьевич взял Амоса в дело, когда тому исполнилось девятнадцать лет. Охотились за маралами на солонцах. Сделать солонцы трудно, а сидеть на них того трудней. Нет такой охоты, которая бы требовала от человека столько выносливости, смекалки, осторожности и меткости в стрельбе, как охота на солонцах.

Слышал обо всем этом Амос и вроде бы из разговоров знал, что и как. Он даже помогал однажды таскать соль отцу и Култышу к речке Изыбашу.

Отец вбивал колья в землю на лесной кулижке, расшатывал их и в узкие лунки вливал крутой тузлук из соли.

И вот они пришли в этот самый Изыбаш. Амос не узнал того места, где два года назад отец солил землю. Лунок уже больше не было, зато черной раной зияла яма, выбитая копытами зверей. Вокруг ископыти росла всевозможная мелочь: дикая редька, ползун-горошек, пырей, чемеричник вперемежку с выпрысками елок и осинника.

Глухая, душная тишина. Писк мелкого мокреца, прижившегося возле солонцов. Значит, ходит зверье, раз густо поет комар. От речки, что несмело ворковала внизу, тянуло холодком, а с косогоров доносило угарным запахом багульника. Сквозь этот тугой, ладанный запах несмело просачивался нежный медовый дух лабазника, накатывали волны терпкого, лекарственно-приторного марьиного корня.

Амос надеялся, что отец с Култышом закурят и предложат ему (своего табаку у него тогда еще не водилось). Но отец указал глазами на караулку. Они осторожно вползли в нее. Амос опять с удивлением принялся озираться. Он видел снаружи лишь кучу бурелома, насквозь простреленного шишками лесного морковника и травой-метлигой, а под ним оказалось хитрое сооружение из неотесанных бревен. Сооружение низенькое, но достаточное для того, чтобы стоять в нем на коленях. Торцы каждого бревна замазаны грязью или смолой лиственницы — чтоб не белели. Впереди на неокоренных бревнах проделаны отверстия в виде бойниц. Каждое отверстие обито берес-

той и косматым мхом, поседевшим на летнем солнце. «Это для того, чтобы не стукнуло ружье», — догадался Амос.

Ни звука, ни шороха не должен издавать здесь человек. Сдержанно дыша, Амос подполз к окошечку, на которое кивком головы указал отец, встал на колени и просунул свое ружье. Отец потыкал себя пальцем в лоб: дескать, думать надо, соображать. Амос вопросительно уставился на него. Отец рывком поднял курок его ружья. Вспыхнул Амос и отвернулся. Снаружи, как бы занесенная ветром, колыхалась пленка бересты. Пристально вглядевшись, Амос разобрался, что эта пленочка здесь неспроста, — она указывает направление ветра. Хвостик берестинки вытягивался в сторону караулки. Хиуз — легонький струистый ветерок, неспособный расшевелить даже пугливую осину, постоянно сочился из ущелья на людей. «Хитро! — отметил Амос. — Так выбрали место, что здесь тяга всегда от зверя».

Заныли, завеселились мокрецы. И только сейчас Амос уразумел, почему отец тщательно осматривал свою и его одежду. Он велел зашить все дыры, засунуть травы в голенища ичигов, перевязать волосяной накомарник платком на шее. Амос посчитал все это пустой затеей и не зашил штаны в промежье. Туда и забрались комары.

Амос шевельнулся.

Отец показал ему кулак.

Затих парень, покосился вправо. Обрисованное полоской света, проникающей через окошечко, видно остроносое суховатое лицо Култыша. Молодой охотник сидел неподвижно, будто дремал. Было непривычно видеть его без трубки, которую, сколь помнил Амос, Култыш, как засунул в рот еще в раннем детстве, да так с тех пор и не вынимал. Мать Мокрида била табашника по зубам и однажды вколотила ему трубку вместе с огнем в рот, но и это не помогло. В семье одержимой ревнительницы благочестивых устоев появились два не менее одержимых курца — отец и Култыш.

«Вышколил его отец!» — ухмыльнулся Амос и стал смотреть в окошечко. Заря уже отцвела за дальней лесистой седловиной. Луна с подтаявшим боком выпутывалась из ячеистых облаков, то появляясь на секунду, то надолго исчезая с глаз. Бурьян и кустарник, окружавшие яму, напоминали лохматое облако, упавшее на землю.

Лес побратался с темнотой. Настал самый глухой час. Слышалась только гнусавая нудь комаров. Шевелились

штаны Амоса от мокреца, набившегося в дыру. Руки его облепили эти мелкие, но больно жалящие комарики. Они лезли в глаза и особенно в нос, каким-то образом проникая под накомарник.

С хмельным писком комары косо вылетали в отверстие, мелькали черными искорками в лунном свете и падали в бурьян. Но на смену им прилетали другие. Они деловито гудели и столбились возле отверстия.

Амос даже вспотел. «Скорей бы уж луна и холод», — подумал он тоскливо и заметил: отец подает ему какие-то знаки. Долго не мог разобрать в темноте Амос, чего от него хотят, наконец догадался — отец показывает на руки. Парень обрадованно выпустил ружье и свирепо ударил ладонью правой руки по тыльной стороне левой. Рука его сделалась влажной от крови. Тут же он получил затрещину в ухо и свалился на бок.

— Я ж тебе в мох велел! — порывом ветра прошелестел гневный шепот отца.

Амос запоздало сунул руки в мох.

Упрямая луна все-таки выпуталась из облаков, как рыбина из липкой мережи. И все разом обозначилось перед глазами: головки цветов, куст калины в бурьяне, и все это, точно застигнутое врасплох, оцепенело от немого, могильного света.

Возле караулки обеспокоенно завозилась и затрещала дроздиха, не покинувшая своего гнезда даже при людях. Амос почувствовал, как отец напряженно подался вперед. «Птица кого-то чует», — догадался парень. Когда луна заплыла вправо, за караулку, и лес, стоявший впереди, разомкнулся, Амос увидел меж деревьев марала. Он стоял с гордо вознесенными рогами, приподняв правую ногу, как нарисованный.

Отец больно даванул плечо сына: «Не смей стрелять! Рано».

Марал рванулся в сторону, затрещал кустами.

«Ушел!» — ахнул про себя Амос и боязливо соображал: не он ли уж чем напугал зверя?

Отец приложил к его губам жесткую ладонь: «Не дыши!»

И Амос послушно перестал дышать, удивляясь, как отец делает все совершенно бесшумно, будто сова. Амос до боли в глазах глядел туда, где только что стоял бык-марал, и неожиданно увидел его совсем в другом месте, за стволом

сухого дерева. Впрочем, решительно все деревья казались сейчас неживыми.

Зверь хитрил. Он долго хоронился за стволами деревьев, за выворотнями и ветлами. Но вот он тихо, несмело двинулся к соленой землице.

Несколько раз выходил он на кулигу, затем с шумом бросался в лес и замирал там. Амоса колотило. Он уже не подсчитывал, сколько может отхватить деньжат за кустистые рога-панты, которые кем-то и где-то перепродаются в китайскую землю. Толковали знающие люди, что из пантовой жидкости приготовляют такое зелье, попивши которого даже немощный старик в женихи годен делается. Очень хотелось Амосу попробовать этакого диковинного питья: вкусное, поди. Но сейчас ему было не до этого. В глазах туманилось, суставы одеревенели, лоб покрылся испариной. Грудь, как ему казалось, распухла от сдерживаемого дыхания. Комары грызли парня напропалую. Секунды и минуты ему уже казались часами. Он чувствовал, как к голове приливает кровь, тяжко давит виски. А марал все еще сторожился, хитрил. Вот он снова бросил тень рогов в лунную полосу и снова хватил в кусты. И тут Амос дико закричал, выпустив из себя воздух и бешенство:

— А-а, гад! — И грохнул из ружья.

Отец бил Амоса прямо на караулке, катая, будто трухлявый пень. Парень не оборонялся. Он только закрывал лицо руками. Фаефан в потемках ударял кулаками о бревна, разбил суставы и, когда обессилел, выдохся, схватил сына за ворот и выбросил, как щенка, из караулки.

Култыш нащупал за пазухой трубку, закурил.

Фаефан вырвал у него трубку, жадно затянулся.

Охота была испорчена.

Амос катился кубарем к речке и, хлюпая разбитым носом, вопил:

— Матери все расскажу! Колдуны-ы-ы!..

Он умылся в речке, попил из ладоней, трахнул камнем в то место, где пил, зарядил ружье, собираясь пальнуть в сторону караулки, да раздумал.

Странное дело: ему стало легче. Парень даже радовался, что наступил конец этой пытке, и решил, что лучше уж битым быть, чем сидеть закостенелым и чувствовать, как заживо съедает мокрец.

«Культя-то, Культя! — возмущался Амос. — Хоть бы шевельнулся! Я его от огня сберег, а он? А ежели б этот

каторжанец зашиб меня? У-у, оборотни! Отшились от мира-то, озверели!»

Амос остановился, послушал.

Ночь. Седая от луны ночь. Лес в речке темный, а в косогорах и на увалах серебристый, дышит знойким холодком. Запахи унялись, едва слышны. И такая тишина, что оторопь берет. Иногда только прошуршит бессонный зверек, промышляющий по ночам, да где-то грызет дряхлое дерево коросд-червь. Будто и не случилось ничего, будто все приснилось Амосу: марал-пантач, недвижный Култыш, ругань отца, сладковато-приторная кровь, стекающая на губы, вкус которой почему-то казался ему похожим на жижицу из пантов, хотя он никогда ее и не пробовал. Но именно такой она ему представлялась — немного противной, раздражающей и до тошноты сладкой, щемящей и разжигающей то потайное, чтс скрыто до поры до времени внутри человека.

Амос зевнул, пощупал под деревом: не сыро ли? Прилег. Полежал, думая, — прочитать молитву, как учила мать, или нет. И решил: не стоит, дома надоело. Он лизнул разбитые губы и, сглатывая слюну, подумал: «Жениться надо, а не молиться. Кто он такой, этот Бог, чтобы ему постоянно кланялись и улещали его? Небось не пригнал быка на солонцы, только раздразнил виденьем и увел, а я через это лупцовку заработал. Кулак у каторжанца ровно каменюка. Погоди, подрасту, силы подкоплю, может, и моих кулаков отведаешь!» — погрозился Амос и, с хрустом потянувшись, блаженно зевнул, по привычке занеся руку перекрестить рот. Но в это время молчком налетел на него филин и шарахнулся в сторону. Парень опустил руку и угрюмо пробурчал:

— Долбану, так будешь знать, как с ума сводить православных!

Ни страха, ни робости Амос не испытывал, хотя и пытался представить, как он будет повествовать матери обо всех ужасах, какие довелось ему пережить в эту ночь.

Комары отступились от него и куда-то исчезли. Амос на всякий случай побросал перед лицом двуперстие и спокойно уснул, поближе придвинув ружье: на него он надеялся больше, чем па крест и молитву.

От холодка парень скоро проснулся, поводил глазами из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где он.

В тайгу просочился рассвет и вытеснил лунное сияние. Просыпались птицы и пробовали свои голоса. Из

травы высунулся утомленный ночной беготней длинноногий дергач, стал пить из речки. Он высоко забрасывал голову, чтобы стряхнуть капли вовнутрь. Амос внимательно рассмотрел птицу, которую человеку редко доводится видеть, ничего в ней особенного не нашел и поднялся. Дергач юркнул в траву.

Амос похлопал себя по карманам: нет ли там куска хлеба?

Ничего не обнаружив, нарвал горсть черемши и, смачно похрустывая, отправился к устью речки Изыбаш, где стояла охотничья избушка.

За мыском, в густом черемушнике, мелькнуло что-то темное и исчезло в дыроватой валежине, лежавшей поперек речки. Амос застучал по пустому стволу дерева прикладом. В отверстие сгнившего сучка, как в дверцу, выскочил зверек. Парень выстрелил по нему дробью. Зверек упал в речку. Проламываясь сквозь кусты и чащобу, Амос опередил течение, выловил еще живого зверька из воды, ударил его головой о камень и только после этого внимательно осмотрел.

Пушистый хвост, узенькая смышленая мордочка, круглые, не по голове крупные уши — соболь!

— Будет выручка, — довольнехонько погладил Амос зверька и, насвистывая, пошел к Изыбашу.

Там уже дымил таганок. Отец с Култышом прошли к стану где-то прямой дорогой.

— Вот добыл!.. — с вызовом сказал Амос и бросил соболя к ногам отца.

Фаефан Кондратьевич взял за хвост зверька и без зла, как показалось Амосу, даже с затаенной болью ударил им по лицу сына.

— У-у, отродье! Соболюшку загубил! Она только осенью выкунеет, а сейчас у нее соболята. Осиротил, на мор обрек... Ух-ходи! Сегодня же уплывай домой! Ты враг природе, и охотника из тебя не может получиться!

— А ты друг, да? — тяжело усмехнулся Амос. — Тайга, значит, только для тебя с Культей сотворена?

— Уходи! Скройся с глаз! — вдруг рявкнул отец и схватился за ружье.

Откуда-то метнулся Култыш, упал на ружье. Гукнул выстрел, взрыл землю у ног Амоса. С Фаефаном Кондратьевичем случился припадок. Пена подернула его губы. Култыш навалился на отца, пытаясь разжать его руки. Но

охотника так подбрасывало, корежило, что хрустели кости подростка, отчаянно боровшегося с ним.

Потрясенный Амос топтался вокруг отца и Култыша, свившихся в хрипящий клубок, и не знал, что делать. Ему было известно, что в молодости отец его ходил в «каторжанцах» и оттуда, с каторги, привез падучую. Но еще никогда не видел Амос, как валит отца эта падучая.

Было страшно.

— Ну чего расстраиваться-то из-за зверушки? — невнятно бормотал он. — Уплыву, уплыву, не надо мне этой вашей тайги. И коло хрестьянства дело найдется...

И в тот же день Амос отбыл в Вырубы.

Фаефан лежал на нарах слабый, разбитый и, проводив взглядом Амоса, горько сказал:

— Мокрида умница, а такого парня измякинила. Что из него теперь получится? Страшный человек может выйти, пострашнее всех двуперстников наших, потому как умен, бес!

— Зря ты его так-то, — сказал Култыш.

— Чего — зря? — удивился Фаефан редкому возражению приемыша.

— Отпихнул от себя зря.

— А-а! — задумчиво протянул Фаефан. — Но если уж привечать его, то раньше следовало, теперь он материн сын, только похитрей ее и посноровистей еще.

Так и не смог встать на ноги в этот раз охотник Фаефан. Старая болезнь долго корежила его и, наконец, доконала. Ночью с ним снова случился приступ. Фаефан Кондратьевич упал с нар, разбил затылок о половицы. Затащив отца на нары, Култыш сидел возле него и печально думал о том, что надо очень возненавидеть людей, вовсе отрешиться от них, чтобы бродить одному по тайге с падучей болезнью.

На рассвете Фаефан Кондратьевич открыл уже далекие, стынущие глаза.

— Все... Отходился Фаефан Кондратьевич, отмаялся... — С минуту помолчал, собираясь с силами. — Здесь похоронишь... Не желаю на кержацкое кладбище... Ты бойся их, бойся, отродье... трусливое и злое... Бойся... В мир не ходи. Страшен мир наш...

Култыш выбрал место на взлобке увальчика, где сам часами сиживал в детстве. Видно с угора далеко-далеко. Весной здесь раньше, чем где-либо в округе, сходит снег и быстрей пробиваются стародубы. Разлив не достигает

этого места, а говор Изыбаша отсюда слышен круглый год.

Хоронил Култыш отца своего один. Мать Мокрида, узнав о смерти Фаефана Кондратьевича и о воле его быть похороненным в лесу, сухо сказала:

— Оскоромился в миру, обмирщился и не захотел наше кладбище поганить. Благочестивой души человек был, да жизнь искорежила.

— Много ты понимаешь! — презрительно буркнул Амос. — Может, он сам не хотел о нас пограниться...

Мать Мокрида наложила на Амоса за этакую дерзость сто поклонов и сама ночь напролет стояла на молитве, желая, чтобы пухом земля была лихому человеку и мученику Фаефану.

* * *

Култыша жители Вырубов уподобляли раннему снежку. Нагрянул снежок нежданно-негаданно, убелил землю, а выглянуло солнце — и нет его: пропал.

Только не взяли жители деревни в расчет того, что после такого снежка озимь в поле зеленеет ярче, листья на деревьях делаются шумливее, полет птиц стремительней, и лишь недолговечное, хиленькое, что за жизнь держалось слабенькими корешками, увяло, угасло, умерло.

Железо калит огонь, человека — беда. В беду сразу становится видно, кто куда и на что годен. Беда приходит без спроса, сама распахивает ворота, и, готов ли, не готов ли — принимай ее или не пускай, борись.

Беда без спроса пришла и в Вырубы. Большая беда, самая страшная — голод. Он перещупал людей. Как они? Кто из них стоек? Кто нет? Кто куда гож? Голод, как война, выявляет сильных и слабых. Побеждают его только сильные. Появился в селе старый киргиз с внучонком. Первый вестник голода. Первый ворон.

Старик был сморщен, будто прихваченный морозом гриб. На черной голове у него синеватые пятна, должно быть, от давних болячек. За руку он вел косоглазого, худенького мальчика. Киргиз останавливался возле каждого двора, стаскивал лохматую шапку и, приложив ладонь к ладони, что-то торопливо бормотал и кланялся, кланялся. А малый диковато смотрел раскосыми глазами и молчал. Люди в страхе задвигали толстыми затворинами во-

рот, кышкали на киргиза, гнали его от ворот, как нечистую силу.

Старый киргиз с мальчишкой протащился из конца в конец деревни, постоял на росстани дорог, долго глядел на подернутый призрачной дымкой восток воспаленными, гноящимися глазами и повернул обратно. Он уже не ныл у ворот и не кланялся, а робко позвякивал щеколдой и царапался в доски, как приблудный пес.

Утром киргиза обнаружили возле забора. На ногах, сложенных калачом, он держал мертвого мальчика и, раскачиваясь всем телом, напевал что-то незнакомое, тягучее и заунывное.

Никто не решался потревожить старика.

Какая-то сострадательная хозяйка наконец бросила через забор кусок хлеба. Старик на секунду приоткрыл подернутые пыльной тоской глаза, покосился на хлеб и снова закрыл их.

Так он просидел и вторую ночь.

Наконец люди не выдержали и стали показывать знаками, что мальчик умер и надо, мол, его схоронить. Киргиз кивал головой, соглашался будто бы, но люди отходили от него, и он снова с облегчением закрывал глаза. Тогда несколько мужиков взяли старика под руки, подняли и увели за деревню. Там, на травянистой елани, была выкопана щелка, и киргизу велели опустить в нее мальчика. От трупа уже шел худой запах.

Безучастно смотрел старик, как зарывали в землю внучонка, и только губы его шевелились — почти беззвучно, роняя какие-то заклинания.

А ночью всю деревню покоробил дикий вопль: «А-а-а-а... А-а-ай!» И людям чудилось — пришлый человек кричит: «Малай!» Это было единственное нерусское слово, известное жителям Вырубов.

Шли дни.

Тощий киргиз, как неприкаянный, бродил по деревне, рылся в отбросных кучах, грыз какие-то кости и коренья, а ночами жутко кричал за околицей.

Несколько раз его выводили на дорогу, подталкивали в спину. Он тупо глядел на людей, покорно отправлялся, куда указывали, но в потемках снова и снова пробирался к могиле внучонка.

Между тем второгодичная засуха снова почти доконала посевы на полях, пашнях и в огородах, и голод гулял по дворам деревушки, выхватывал оттуда сначала малых де-

тей и стариков. Нынче замели вырубчане по сусекам последние зерна на посевы, картошку резали на части и садили, думали: не обойдет Господь милостью — уродит из этих крох пропитанье. Ан снова гневом откликнулся Господь-батюшка, снова изжег землю и труды людские.

В лесах начались пожары. Птица, зверь — все живое в страхе бежало из тайги. Иной раз по Онье проплывали вздутые, протухлые трупы лосей, коз, маралов. Одного лося кинуло на камень в шивере, и он стоял дыбом, открыв рот в безгласном реве. Потом его уронило и долго таскало по заводи вместе с обгорелыми колодинами.

При старанье да уменье еще можно было бы добыть рыбы в дальних речках, сыскать зверя в таежных крепях, но вывелись добытчики в Вырубах, выродились в них сметка, мужество и выносливость, — осталась удушливая, как сажа, вера, черная злоба да трусость. Боялись всего: тайги, в особенности пожаров таежных, окапывали от них рвом деревню и каждый двор канавой обходили. Но больше всего боялись гнева Господнего и семьями валились на колени, умаливали его скопом и в одиночку, пели старинные длиннущие стихиры, читали мудрые книги отцов и праотцов, блюстителей Божьих порядков — ничего не помогло! Голод давил людей, как тараканов, оставлял на земле черные пятна могил.

Ночами, и особенно в глухие вечера, в деревне становилось душно. Сажа тучами накатывала на деревню из тайги, слоем ложилась на крышах, липла на окнах и ликах икон, застила солнце, забивала горло людей. Ревела скотина, выли собаки, и голос старого киргиза сливался с ними. Устали голодные люди от этого воя. И когда из одного двора исчезла двухлетняя девочка, обвинили азиата в сглазе, увели за околицу.

Вовсе примолкла деревня, притаилась. Каждая семья теперь жила сама по себе, каждая боролась с напастью в своем дворе, в своей избе. Сначала люди ходили на кладбище провожать соседей, молились по привычке, читали стихиры, а потом уже хоронили всяк своих, без обязательных обрядов, а порой и без домовин.

В один из душных вечеров, когда над деревней колыхалось марево и солнце, словно бы закуганное в мелкую красноватую шерсть, садилось за горы, в Вырубах появился Култыш. Был он уже в больших годах, но, однако, еще крепок в кости, подвижен, лицо его уже сморщилось,

усохло. Из-под вытертой на сгибах беличьей шапки торчали завитушки седых свалявшихся волос.

Култыш удивленно глянул на потрескавшиеся под солнцем лодки, приподнял ухо меховой шапки, стараясь уловить какой-нибудь посторонний шум или лай собак, но ничего не услышал.

Охотник покачал головой, сокрушенно почмокал губами, подтянул свою лодку. Древнее, но хорошо сохранившееся ружье забросил за плечо, почти пустую кожаную суму взял в руку и побрел в деревню.

Рыжели переулки опаленной травкой, сникла даже живучая жалица-крапива, сделалась до ярости стрекучей. Бани в огородах не пахли свежим дымком. Да и в огородах пусто, словно поздней осенью, даже заметны тропки между гряд, а на них сеточки трещин. Кур не видно, горластых петухов не слышно. Прошла мимо Култыша девочка с одним ведерком по воду, глянула на него болезненно-вялыми глазами и ничего не сказала: ни здравствуй, ни прощай.

Сердце у Култыша сжалось. Навалилась на Вырубы напасть и не покидает. Редкостная злая засуха второй год приходит в эти края. Первое лето вырубчане продержались. У кого запас был, кому соседи помогли, некоторые семьи выручал Култыш, давал мяса, рыбы, а нынче уже и помогать друг другу нечем, и в лесах безголосье: вымерло, выгорело все живое в лесах.

С весны занедужил Култыш ревматизмом, болезнь не выпускала его из избушки. Сам питался солониной да черемшой, ничего не привез с собой, а его небось ждут не с пустыми руками.

Беда в деревне. И не может Култыш помочь этой беде. Раньше бывало так: пала в чьем доме скотина, ушибся или умер кормилец, погорел ли кто — Култыш там, отдаст и рыбу, и мясо, и панты, и пушнину — все отдаст. Ему ничего и не надо было, кроме припасов: табаку, соли и хлеба. И так привычен и удобен сделался Култыш, что старообрядцы мирились даже с тем, что он из «поганых», и привечали его наперебой в любом доме, пить давали уж не из кошачьей посуды, а из своей.

Култыш постоял, постоял у широченных тугих ворот крючковатого мужика Урина, перекупщика пушнины и пантов, и несмело взялся за вензелем согнутое кольцо калитки. Позвякал. И тут же отдернул руку. Обожгло.

Кольцо будто из горна вынуто. С минуту подождал и забренчал встревоженно, торопливо. Из дома раздался надсадный кашель, а потом крик Урина:

— Пошел, пошел, поганай! Зарублю!

Култыш очумело уставился на ворота.

— Ты что, Ионыч? — робко спросил он, но Урин, должно быть, не расслышал голоса охотника и не откликнулся. А Култыш больше не решился стучать.

Он устало присел возле высокого заплота на испеченную землю и бессильно опустил плечи. Посидел, глянул вдоль улицы, непривычно пустой, пепельно-серой. Тихие, неприветливые избы. В окнах неподвижное пламя заката. Время, когда доят коров, когда ребятишки гоняют коней к реке купать и поить, а бабы поливают огороды.

Блаженное время — деревенский вечер! Но что-то в нем не то. Не хватает в веках утвердившейся, размеренной неторопливости, какая одолевает человека после трудового дня. Не доносится ребячий визг с реки, не звякает гулко подойник, и не слышен вслед за ним утомленный бабий голос: «Да стой ты, одер!» Ничего не слышно, никого не видно. Лишь маячит среди улицы брошенная телега с пьяно раскинутыми оглоблями.

«Без добычи я им не нужен, сами зубы едят».

Взял Култыш кожаную, пропитанную звериным жиром суму и заковылял на зады, к дому своего покойного отца Фаефана Кондратьевича.

Дом стоял возле самого леса. За частоколом огорода сразу же начинался мшистый увал. Из него бил холодный ключ и разливался по огороду, до самой бани. В жаркие дни сюда заползали змеи, а в холодные весны все замерзало. Но нынче в огороде этом, особенно за баней, зеленела островом густая трава, ершилась крапива вперемежку с конопляником и не ко времени засияли ярким, нахальным цветом дикие мальвы. Култыш перелез через огород, подошел к бане, сложил в ней свой багажишко. После этого снял мокрую от пота шапку и полушубок, присел на позеленевший, замытый банной водой порог.

Хозяйствовал в доме Фаефана Кондратьевича, и уже давно хозяйствовал, Амос. Женился он еще при жизни матери и оттер Мокриду в сторону от хозяйства, поразогнал всех кликуш и странниц, коих та вечно пригревала да прикармливала. Амос дармоедов и пустопорожних людей терпеть не мог, вел хозяйство толково, исправно и за это

почитался в деревне. Глава схода — старшина наметил его на свое место: дескать, сам я наверховодился, постарел, пора и на покой.

Если Култышу случалось по пьяному делу забрести в свой двор, он обычно спал в бане или на сеновале. Амос не прогонял его, но и приветных слов не говаривал. Никогда они не были особенно близки друг с другом и не чувствовали себя сродственными, а после той памятной охоты на марала вовсе разошлись они. И когда умер Фаефан Кондратьевич, порвалась вроде бы последняя нитка, связывающая их.

Выкурив трубочку, Култыш снова наполнил ее табаком, набрал дров в предбаннике и затопил каменку. Из мешка он вынул котелок, черный и помятый, начерпал воды в ключе.

В доме заметили дымок. Воротца, сделанные из ровненького осинника, распахнулись, и появилась Клавдия — жена Амоса. Миловидна, несмотря на худобу, с большими карими глазами, в глубине которых застоялась давняя усталость и грусть.

— Здравствуй, Култыш!

— Здравствуй, Клавдия, здравствуй! — быстро отозвался Култыш, и в голосе его проскользнула робость. — Как живете, как ребятишки?

— Живы пока, слава Богу, — со вздохом проговорила Клавдия. — А как ты? Что-то долго не появлялся? Мы уж думали — помер.

— Едва и не помер, — без всякого огорчения, словно бы даже с оттенком радости, подхватил Култыш. — Сковырнула меня хвороба, с весны в Изыбаше валялся. Вот отдышался, дай, думаю, на люди покажусь, ан не пущают... — уже с обидой заключил Култыш.

— Ты бы голос подал, — сказала Клавдия. — Киргиз с внучонком тут был, кричал сумасходно по ночам, и ровно на голос его нищие повалили. Вот все наши благочестивые и заперлись. — Клавдия помолчала и прибавила: — Мрут нищие, и благочестивые тоже. Никого не щадит голод. Никого.

— Экая ведь беда! Никто не гадал, не чаял, — сокрушенно покачал головой Култыш и виновато развел руками: — И я вот явился с пустой сумой, занедужил...

— Всех не обогреешь, не накормишь один-то...

Оба надолго умолкли. Клавдия встряхнулась, подбросила березовых дров в каменку и взяла ведра.

— Согрею воды, помоешься. Из тайги ведь.

— Коли можно, так хорошо бы, — обрадовался Култыш. — Вша на хворого навалилась, страсть.

Клавдия принесла воды и сказала:

— Исподники тятины вроде бы где-то есть еще, схожу. Вроде бы где-то есть...

— Да ладно, ладно, обойдусь! Загундосит сам-то.

— Погундосит и перестанет, — спокойно уронила Клавдия и пошла из огорода.

Култыш проводил ее задумчивым взглядом. Под ситцевой блеклой кофтой обозначились острые лопатки Клавдии. Из-под завязанного на затылке платка виднелись темно-русые, отливистые, как орех, волосы. Посеклись они, засалились. Култыш протяжно вздохнул, зажмурился и сидел неподвижно, навалясь на дверной банный косяк.

Он помнил Клавдию другой.

Хоть и вырос Амос под крылом у лютой староверки, но часть фаефановского норова все же переселилась в него и оказалась неистребимой. Иногда он становился таким поперёшным, что даже властная мать Мокрида не могла ему укорот сотворить. Так, наперекор матери, взял Амос и женился не на той невесте, которую нарекли ему, а на девушке из семьи сапожника Трохи. Из бедной, многочисленной и самой непутной, по мнению староверов, семьи, нуждой загнанной в Сибирь все из той же Расеи.

Пожалуй, и еще кому-то хотел досадить Амос своей женитьбой...

Култыш и Фаефан Кондратьевич любили заходить к компанейскому мужику Трохе, слушать его сыпучую бывальщину, сдобренную прибаутками, присказками. В ершистой голове Трохи хранилось былей и небылиц не меньше, чем шпилек в берестяной коробке, что стояла перед ним на верстаке. Выпив вместе с охотниками, Троха утрачивал бодрую веселость и начинал слезливо печалиться, проситься в лес:

— Возьмите. Не могу здесь. Улово* — не деревня. Я вам хоть что делать стану: сумы таскать, похлебку варить, обутки опять же догляжу...

— Куда тебе? У тебя рукомесло и семья.

---

* *Улово* — водоворот, круговое течение на быстрых реках. *(Здесь и далее прим. авт. — Ред.)*

Однажды Троха в шутку, а может, и всерьез, бухнул Фаефану Кондратьевичу, показывая на большеглазую, еще нескладную Клавдию:

— Вот девка. Дочь моя. Начнет Култыш женихаться — за него отдам. Но в улово не кину.

Трохе что? Троха запустил слово, как парнишка камень с ремня, и забыл. А оно пало в тихую душу парня, и пошли по ней круги, взбаламутилось все там.

Ходит по лесу Култыш, улыбается, губами шевелит. Работать возьмется — откуда сил: чертоломит так, что Фаефан Кондратьевич за ним, бывало, не угонится. Пятьдесят верст для парня стали не околица. Чуть чего, норовит в деревню сбегать, хоть на дом Трохи поглядит, и то ладно. Заходить в гости к Трохе один Култыш почему-то уже стеснялся.

Но умер Фаефан Кондратьевич, и заслонила эта страшная беда, эта непоправимая потеря все на свете от Култыша. Боялся даже на день могилу оставить. Думал, затоскует без него отец.

Зима прошла.

Длинной она показалась Култышу в полном одиночестве, без отца.

Но вот с мягким шорохом повалилась кухта с деревьев, а потом зачастила капель. До самой до земли обвисли с низкой охотничьей избушки сосульки, похожие на светлые морковки. И вытаяло окошко, и глянула избушка на свет белый глазом, одним своим глазом, и поймала им солнце. Распахнул настежь двери Култыш, и одуряющий, переполненный соками нарождающейся весны воздух потеснил из избушки застоявшийся угар.

Пришел конец зимней охоте. Затеснило в тайге. Затеснило и на душе молодого охотника. Вот уже и лед на Онье отъело от берегов, наступили весенние распары, и покатились понеслись с гор ручьи. Оголилась могила Фаефана Кондратьевича, и сразу проткнулась, взялась на ней и засветилась зеленая трава. И думал Култыш: это скрытая от людей душа родного человека оттаивала и прорастала травою.

Потерял Култыш сон. Отчего — и сам не знает. Нет ему покоя. Выбежит ночью из избушки, ринется в лес, проваливаясь в рыхлом снегу, без одежды бродит там, оглаживая рукой клейкие вершинки пихт, — ищет успокоения и не находит.

Даже в лесу не находит.

Как-то, пробродив до самого утра, Култыш понял, все понял и заорал на весь лес:

— Клавдия! Я приду! Я скоро! Погоди до стародубов!

По годам, по виду Култыш — мужик, а остался все тем же вроде не от мира сего парнишкой. Хотел он, непременно хотел идти сватать Клавдию с цветками-стародубами. Они зацветают вслед за подснежниками и медуницами — эти ярко-желтые, с горящими углями в середине цветы. И чем больше они сохнут, тем шибче пахнут.

У Изыбаша стародубы появлялись прежде всего на том угоре, где покоился отец. Каждый день прибегал туда Култыш и смотрел на царственно пышные всходы. Зажали они в тугой зеленой щепоти цветок и не выпускали. Подгонял их Култыш: «Ну быстрее, быстрее!» Считал, что мало им тепла от вешнего солнца, опускался на колени и дышал, дышал на каждый стебелек.

А весна все размашистей шагала по тайге. Гнала друг за другом удалые, недолговечные ручьи. Распустила шишки вербача, завесила сережками березник и ольховник, прибавила звону птичьим голосам, одурманила хмельным воздухом, перепоила всех допьяна.

Набух, вспучился, посерел лед на Онье.

И в тот день, когда вспыхнул на угоре и засветился первый в нынешнюю весну стародуб, охнула, зашумела и сломалась река.

Схватил Култыш стародуб и понес его своей невесте под рубахой, а за плечами мешок, полный соболиных, беличьих и горностаевых шкурок. Всю завалит, с ног до головы, свою невесту мехами Култыш, а в волосы ей вплетет он солнышко!

Пусть горит!

Пусть все знают — тайга женит своего сына!

Амос не дарил Клавдии ни цветов, ни мехов. Он поступил по-обычному: подпоил Троху и высватал его дочь.

В тот особенно неспокойный день, когда Онья, всю зиму копившая силу подо льдом, со скрежетом и гулом раскалывала камни, валила, как былинки, прибрежные деревья, в Вырубах началась степенная старообрядческая свадьба, на которой много пили, еще больше занимались иконоцелованием, молились, кудесничали и шушукались.

И вдруг чей-то крик в клочья порвал свадебную нудь, сдул ладанный угар, смешанный с запахом медовухи-опьянительницы:

— Человек реку переходит!

Словно шапкой смахнуло людей из-за стола. Все высыпали на берег.

Насупился Амос.

Побледнела Клавдия. Прижала кулаки к груди, будто боялась: выпадет сердце. Сама не своя поднялась она и пошла из избы медленно, как во сне. На широкой белой заплате среди реки темнела одинокая фигурка. И льдину и фигурку кружило, волокло в каменный шивер. Побежала Клавдия к реке, забыла впопыхах подобрать подол длинного платья, наступила на него. Хрясь! Со скрежетом лопнула холстина.

— Куда торопишься? Зря! — Она и сама знала — поздно, да ноги несли. А человек на реке все шел и шел неустрашимо вперед — грудью на Онью, на людей, на эту Богом забытую деревушку.

Человека относило. Он перебирал ногами, как горячий, нетерпеливый конь, ждал подходящую льдину. А она неслась кругами, точно огромное блюдо, смалывала в крошку острые края, рубила клыки встречными льдинами. Вот сунулась, как утюг, в нее узкая, что щука, льдина, вперлась между пластинами — и к человеку. Взвился он на жерди, мелькнул в воздухе и сразу же на следующую глыбу, прошитую капелью.

Еще прыжок, еще! Ближе берег. Деревня ближе. Дальше ревущий шивер. Совсем рядом тихое улово. Льдина, другая, третья! Сорвался. Упал.

— Ах, оглашенный, утоп!

Но человек появился снова и снова рванулся к берегу, где суетились и очумело орали люди. Бежать и прыгать стало нельзя — намок. Но человек не сдавался. Он бросал жердочку со льдины на льдину и, чуть коснувшись ее ногами, перемахивал через полыньи.

Река ревела, кромсала лед, рушила зимнюю твердыню. Открывались, исчезали кипящие полыньи, звонкими веретенцами рассыпались льдины, и все время метались по реке черные молнии, распластывали их, рвали в клочья. Сошлись две льдины в шивере, вздыбились на камне, уткнулись тупыми лбами. Выше, выше, выше встают они, яростные, в последней смертной схватке. И на мгновение замерло все кругом, приостановилось, и от затора, запечатанного на шивере двумя льдинами, волной покатилась на берег вода.

А человека нет, канул, погиб.

Да и что он в сравнении с этакой силищей: мураш. Но

грохнулись льдины, разбились в звонкие дребезги, опала, снова пошла замершая было река, дала простор глазу — и все увидели его.

Он боролся.

Он мчался теперь не поперек реки, а чуть наискось — в понизовье.

Понял видно: не взять грудью Онью-реку.

Охнул, засуетился онемевший было народ на берегу.

— Назад вертайся! — кричали ему.

— Сгинешь!

— Хоть мешок-то кинь! — махали рукой, показывали: — Ме-шок-то! Э-эх, не слышит!..

— Доску лови!

Кто-то швырнул в воду плаху. Поймал ее человек и снова рванулся вперед, дерзкий, стремительный!

В трех верстах ниже села он вымахнул на берег, поскользнулся, упал.

Подбежали люди, подняли: Культя!

Глаза его горят, в них еще не угасла ярость схватки. Бел парень, что льдина, но смеется, во весь рот смеется.

С детства тронутый — всем это в деревне известно, потому, стало быть, и ринулся в такую стремнину, смерти не убоявшись, потому, стало быть, смеется.

Тронутому что, тронутому все потеха.

Но вдруг перестал смеяться парень, глаза его потухли, еще больше побледнело лицо. Клавдия в разорванном платье прибежала, остановилась, не зная, что сказать. Рядом пристроился Амос и уронил, как булыжник в воду:

— Что, поздравить нас торопился? Дуй!

Култыш вынул из-под рубахи мятый, но все еще светящийся стародуб, вложил его в безжизненные, податливые пальцы Клавдии.

По берегу сыпанулся смешок: эти люди никогда и никому цветов не дарили. Разве только покойникам, да и те из древесных стружек. Култыш с ненавистью глянул на толпу, ждущую потехи, и сжал кулаки:

— Слякоть! Слякоть! Слякоть! Слякоть!..

Он бросил к ногам Клавдии суму с мехами и пошел обратно. Шел медленно, опустив безвольные руки, но у самой воды снова вскрикнул, как раненый, и пошел махать со льдины на льдину.

Толпа шарахнулась и замерла.

Никто уже не посмеивался, не орал, не ойкал. Люди с

ужасом и недоумением наблюдали за тем, как уходил человек, дальше, дальше, по зыбучему, неверному льду.

Лишь только Троха-сапожник все порывался бежать вслед за Култышом. Но его схватили, ахнули оземь, придавили коленями.

Он плакал навзрыд и с отчаянием бился лицом в грязную землю.

Клавдия была намного моложе Амоса, ладна телом, хороша лицом. Большие карие глаза ее смотрели на всех открыто, прямо, с каким-то дерзким вызовом. Староверы не любят такого взгляда. В деле она оказалась хваткой, мужику не уступала. Пока не умерла свекровь, жилось Клавдии трудно. Мокрида привыкла главенствовать в доме и все подчинять своим правилам, своей вере.

Амос вывернулся из ее рук — она невестку подмяла. Любила Клавдия, как и ее разудалый папаша, спеть и сплясать, но ее приструнили, стали отучать от таких зряшных занятий. Молилась с лестовкой в руке утром и вечером, перед сном и после сна, перед едой и после еды.

— Неужто так вот всю жизнь? — пробовала жаловаться Клавдия Амосу.

Он ухмылялся:

— Ничего. И по-нашему жить попробуй, в строгости. Вера наша прямым человека делает, как кол. Бей обухом по нему, в землю вколачивай — молчит. Молчи и ты. Терпи. Я вон сколько лет терпел. Не теба чета — мужик все же. И ты терпи.

В бедной, безалаберной семье Клавдии никогда не было такого унылого гнета.

Иной раз Клавдия, крадучись, пробиралась домой. Навалившись на плечо отца, от которого всегда пахло прелой кожей, дегтем и самогонкой, выплакивалась вволю. Троха суетливо дергал черными пальцами свой висячий нос и проворно орудовал молотком, забивая деревянные шпильки в старую обувь. Молоток нет-нет да и срывался, попадал по пальцам. Остервенившись, Троха давал по затылку малому Изотке, который лез под руки, или вынимал из лоханки лоскут моченой кожи и тянул его зубами, как резину.

После того как дочь уходила, Троха в дымину напивался, и тогда в окна летели сапоги, ичиги, опорки:

— Нате... Сами починяйте! Заели жизнь мою и дочернюю, зипунщики мохнорылые, под горшок стриженныя-а-я... Заели жизнь!..

Вырубчане относились к Трохе, как и ко всякому поселенцу, с высокомерной снисходительностью. Тем более что Троха даже иноверцем не был. Он никак не молился. Словом, вовсе бросовый человечишка, — ведь безверный, что беспорточный, весь в наготе. Однажды мужики взялись было учить Троху кулаками и палками уму-разуму и почтению к «опчеству». Больно уж он срамил всех накануне, терпежу не стало. Но налетела Клавдия с топором, ворвалась в толпу мужиков, и, не разбегись они, пожалуй, кое-кто и несдобровал бы.

Что только сотворилось с бабой! Неслыханное дело — на мужиков пошла!

Дикой прозвали с тех пор Клавдию селяне, утверждали, будто тронулась она, и не раз интересовались, как это Амос до сих пор цел и невредим. Он показывал костлявый кулак:

— Вот он, бабий ундер!

Бахвалился мужик. В душе он и сам побаивался «дикой» и никогда не смел ее даже пальцем тронуть.

Будто в отместку кому, Клавдия привечала охотника Култыша и всем давала понять, что был он и остался близкой родней. Амос ревниво следил за ними, но виду не показывал, донимал только ехидными насмешками.

А Култыша, как он ни противился, влекло туда, где жила Клавдия. Себе же он объяснял это тем, что в нем жила неистребимая любовь к памяти отца. Но была, конечно же, была и другая причина. И чем больше тянуло его в этот дом, тем реже он появлялся в селе. А если и появлялся, то стороной обходил родное подворье, выпрашивался ночевать к другим хозяевам, чаще всего спал у Ионыча, у перекупщика.

Не пустил сегодня Ионыч. Переломить себя пришлось. И вот теперь он снова здесь и снова говорил с Клавдией. Амос узнает, будет подковыривать его, нехорошо шутить над Клавдией. А может, и не будет? Годы ведь многие прошли. Амос сохранился лучше Култыша. Но и его уже добрым молодцем не назовешь, да и время вон какое страшное. До шуток ли?

Распахнулась деревянная створка. В огород ступил Амос. За ним Клавдия. Сделался Амос еще суше и ровно бы в росте подался. Седина обметала голову Амоса, как хрупкий ледяной припай темную полынью. Глубоко сидящие глаза оплела сетка морщин, брови козырьком суну-

лись к переносью. Большой кадык в синеватых жилках, шея тонкая, будто у мальчика.

Хозяин подал руку, крепко даванул пальцы Култыша и пристроился рядом с ним. Охотник отодвинулся, озадаченно покашлял.

— Чего в избу не идешь? — спросил Амос, протягивая Култышу кисет. «Поперёшный» Амос курил, ел пряженики, коржики, стряпанные на дрожжах, и даже пил самогон и бражку с хмелем, что у староверов считалось одним из самых злых грехов.

— Да так вот, дошел до баньки и сижу вот, — забормотал Култыш.

Амос кинул на Култыша косой взгляд, медленно облизал бумажку:

— Ладно уж городить-то! Ступай в избу, чай, не чужая.

Култыш засуетился, отыскивая суму.

— Я принесу, принесу, — обрадованно замахала рукой Клавдия.

— У меня там гостинец ребятишкам — черемши соленой туесок.

— Им бы мяса, — сумрачно выдохнул Амос, — вовсе отощали...

— Нету мяса. Хворал я, — несмело начал оправдываться Култыш.

— Ушел зверь из лесу? — спросил Амос, пропуская Култыша во двор.

— Весь способный перекочевал. Увечные звери да коровы с телятами еще кое-где остались. На солонцы одна ходит. Всего одна.

Брови Амоса шевельнулись, глаза сощурились. Все тем же утомленным голосом, но уже приветливей он обронил:

— Полушубчишко-то брось под навес, сама его табаком пересыплет. Вшей небось больше, чем овчины?

— Есть вша, есть. Что ты с ней, с окаянной, сделаешь... Есть...

Ночью Култыш исчез.

Пошла Клавдия утром на сеновал будить его и не нашла. Даже сено примятое Култыш завернул козырьком и сунул к стене. Ни ружья, ни сумы в сене не было.

— Форменный нечистый дух! Свалится — не поймешь откудова, и сгинет невесть куда, — озабоченно развела руками Клавдия.

— Зря ты его поносишь вонючим словом, — ухмыльнулся Амос, сидевший на крыльце. — Ангел он непорочный, и крылышки у него под вшивой шубой снежные, лебединые. Улетел он на этих крылышках ангельских заповеди исполнять.

— Паясник старый, чего мелешь? Сказывал он тебе, куда наладился?

— Где же он скажет! От меня он на пудовый замок душу запер и ключ в Онью кинул.

— Слабый он еще после болезни и тощий — пропадет в тайге.

— Н-ну, пропадет! Скорее мы здесь пропадем.

— В пустой тайге хоть кому гибель.

— Тайга, она тоже для кого мачеха, а для кого и мать родная. Для одних пуста, для других густа. Завтра или послезавтра явится твой беспалый, помяни мое слово, — заключил Амос, почесывая мослатую грудь, — и не с пустой сумой...

Култыш приплыл на другой день под вечер. Посреди лодки, накрытая березовым корьем, была сложена крупно разрубленная туша лося. В кормовом отсеке лодки плескалась бурая от крови вода. Пока Култыш отчерпывал воду деревянным ковшиком, на берег сбежались мужики, а за ними бабы и ребятишки. Молча и выжидательно толпились они возле лодки. Култыш окинул взглядом темных от голода, как бы осевших к земле односельчан с провалеными, тускло светящимися глазами. Перевел взгляд на яр. Все так же ершился крапивой яр, и на выступе стояла все та же черная баня, только углы у нее местами отгнили и отвалились. По этому яру когда-то бежал маленький человечишка, хватаясь за землю, за крапиву, наступая на полотенце, на желтое от табачной пересыпки полотенце, которое яркими петухами испятнала кровь.

— Трофим Матвеевич здесь? — тихо и неуверенно спросил Култыш.

— Троха, а Троха! Тебя! Култыш тебя требует! — эхом прокатилось по берегу, и вперед несмело просунулся босой, кривоногий Троха и смущенно подергал себя за нос все еще полосатыми от дратвы пальцами, хотя он давно уже ничего не чинил и не шил.

— Топор принеси, Трофим Матвеевич. — При людях Култыш упорно навеличивал Троху, чем приводил его в крайний конфуз.

— Топор, топор принесите! — снова колыхнулось по берегу эхом.

— Есть, есть топор, вот он! — И вот уже из рук в руки пошел топор, и двое обессиленных мужиков услужливо катили к лодке чурбак.

Култыш скинул на воду корье, и дрогнули лица людей на берегу, затрепетали ноздри. В лодке горой лежало мясо! Ребятишки кинулись в воду, вылавливали корье и слизывали с него сукровицу. Никто на них не цыкнул. Все смотрели на мясо и нетерпеливо переступали, готовые кинуться, разорвать, растащить, расхватать эти розовые куски, сулящие силу, а значит, и жизнь хоть ненадолго.

Но голод сделал людей покорными. Они ждали.

Култыш неторопливо выколотил трубку о борт лодки, еще раз исподлобья глянул на односельчан и положил на чурку переднюю лопатку сохатого. Она весила пуда полтора. Он прицелился топором раздвоить лопатку повдоль, уже замахнулся было и внезапно опустил топор.

— Бери, Трофим Матвеевич!

Троха не двинулся с места. Он стоял как вкопанный.

— Бери, говорю, — повторял громче Култыш. — Все бери!

— Куда же эстолько? — залепетал вконец растерявшийся Троха. — Хоть фунта три-четыре. И на том за милость вашу Бога молить.

И то, что жалок был Троха, и что слова говорил такие жалкие, и как к уездному начальству обращался на «вы», вывело из себя Култыша. Он схватил грузную лопатку, хрястнул ее на плечо Трохи так, что тот даже присел под тяжестью.

— Убирайся.

Троха послушно засеменил вверх по яру. Он раскорячивался от груза, хватался рукой за крапиву, но мясо держал крепко.

— Повезло! — выдохнул кто-то.

Со свирепостью рубил Култыш лосиную тушу. Не рубил, а прямо-таки крушил и, сунув мясо в протянутые руки, задышливо кричал, будто от себя рвал куски:

— На! Убирайся! Н-на! Убирайся! Н-на! Убирайся!

И вот он остался один на берегу. Помыл руки, вынул трубку, сел на борт лодки. В деревне сплошь задымили трубы. Руки Култыша дрожали.

Амос и Клавдия на берегу не появлялись. Култыш завалил губастую голову лося в мешок, сложил, как

поленья, в беремя лосиные ноги с травинками в раскопытье и устало побрел к дому Амоса.

Пряча злую усмешку, Амос глянул на приношение Култыша и пророкотал:

— Что ж, для голодных зубов и кость благо! Баба, топи баню, охотник с промыслу вернулся.

И больше не сказал ничего. Култыш виновато опустил голову.

После бани непривычно чистый, причесанный Култыш сидел за столом. Возле него ребятишки-племянники. В рот смотрят Култышу — неустрашимому зверобою. Клавдия стала поздно носить детей, племяши были еще малы. Култыш гладил головы мальчишек, рассказывал им про лес, про Изыбаш. У старшенького глаза большие, приветные. У матери его когда-то были такие же. Прижал его Култыш к себе, шепнул на ухо:

— Подрастай. В тайгу возьму. Голубой камень покажу, стародубов нарвем...

Прислонилась спиной к шестку Клавдия, загорюнилась, вспомнив что-то.

Амос сумрачно крякнул и выдворил сынов сначала из-за стола, а затем жестом приказал им немедленно выметаться на улицу.

— Чтобы не докучали, — пояснил он.

Хозяин тоже в бане попарился. В новой сатиновой рубахе, шуршащей, как тонкая кожа, поместился он супротив Култыша. Костлявые руки Амоса, рябоватые до запястий, тяжело лежали на столе.

Деловито, без суеты пили затхлый от давности самогон. Култыш слишком быстро хмелел. Амос равнодушно подливал ему:

— Дак чего ж ты сохатого завалил, а корову оставил? — между делом полюбопытствовал хозяин.

— Говорю, телок у нее — подрастет пусть, на жительство определится, — обсасывая мокрые усы, отозвался Култыш.

— И телка взял бы. Гляди, голодуха какая...

Култыш часто замигал веками, и Амос только сейчас обратил внимание, что на этих веках нет ресниц. «Выболели от укусов комарья и мошки», — догадался он.

— Выходит, что на вашем знаменитом Изыбаше ноне только вошь и водится...

— Оскудел Изыбаш. Мертво и даже жутко. Встанешь утром — ни голоска птичьего...

Амос придвинул Култышу деревянный бокал, сделанный из березового корня. Култыш выплеснул самогон в рот, сморщился, отыскивая глазами закуску. Амос резко сунул ему чашку с головизной. Култыш обошел чашку рукой и зацепил щепоткой капусты.

— Чего убоину-то не ешь? Твоя.

Култыш поперхнулся, прожевал капусту и сумрачно молвил:

— Не могу. Против воли сохатого добыл. Не могу.

— Это как понимать?

Култыш задумался, потупил взгляд, сник весь.

— Нет горше дела, чем добивать.

— Смотря кого.

— Хоть кого. Слабого только слабый бьет.

— Ха, ей-богу, слушать тошно! Будто он всю жизнь овсяным киселем питался, — взъелся Амос.

— Я ослабелого зверя никогда не бивал, самку в тягостях не трогал, гнезд не зорил...

— Говори, — махнул рукой Амос. — Бабе моей говори — она восчувствует, а мне заливать не след...

— Не бивал! — стукнул кулаком Култыш. — И этого не тронул бы ради себя. Я его из огня выгнал, к рассолу выгнал. Ушибло, опалило его. Но он бы выжил. А я его... Он ведь там у рассола и лежал. На пять сажен подпустил. Доверился. А я его...

Култыш скрипнул зубами. Амос сочувственно покачал головой, принялся сокрушаться:

— Господи-святы! Ничего не пойму! Тот человека укокошил, а этому елейную блажь в голову вогнал. Дурак он был! И ты дурак! Простофиля и дурак! — снова вспылил Амос и заорал на всю избу: — А тебя, тебя пожалеют? Ты им мясцо роздал, душу свою бабью истерзал. А попади в огонь, они тебя выгонят к рассолу? Они тебя дальше, в пекло, загонят. Хотели уж однова, растяпа ты, ничего не знаешь. Любят кликуши, когда люди на огне жарятся. Ране сами себя жгли, а теперь оскудодушели. Теперь они других на уголья. А ты им мяса! Давай! Вали! Ангел с крыльями! Когда гореть будешь, они этими крыльями, жар под тебя подгребут. Со святыми упокой, скажут, со святыми упокой!..

Совсем прибил к столу Култыша Амос, совсем расшиб его словами этими. Клавдия врезалась в разговор:

— Ну, будет, будет, чего взбесился? Чего напустился на человека? Ему и без того тошно. Не тебе о его душе

пекчись. Выпивайте уж лучше да ладом говорите. А то вы, как вода с огнем. Сойдетесь раз в году и ну кипеть. Родные все-таки, хоть по дому, да родные.

Амос утих, покашлял, достал корчагу с самогоном из-под стола, налил, подвинул пальцем посудину Култышу:

— Напейся уж, что ли? Может, полегчает. Уродил Бог чуду. Пей!

Култыш опять одним махом выплеснул в рот самогон. Амос повел разговор ладом.

— Так, говоришь, корова-то, все-таки осталась?

— Куда она с ребятенком-то?

— Уйдет!

Култыш хотел что-то ответить, да махнул рукой: дескать, хватит про это, и попытался затянуть песню. Захмелел охотник. Голос его дрожал и чуть сипел:

Тю-рима, тю-рима, какое слово!
Гля все-ех позо-орно и страшно-о.
А гля-а-а меня совсем друго-ойе,
Пр-ривык к тю-риме давным-давно...

— Тяти-покойника любимая... — затряс головой Култыш, роняя частые слезы, — Фаефана Кондратьевича... Э-эх, человек был! Челове-ек! Клаша, а Клаша, ты тятю-то помнишь? Фаефана-то Кондратьевича?

— Как же, как же, помню, — стараясь угодить пьяненькому Култышу, заторопилась Клавдия. — Бродни ему мой тятя всегда чинил. Гуляли они вместе. Самондравный был человек, но добрый. Мне однова зайчонка приволок... Как живого вижу... Ты бы закусывал хоть капустой, раз уж сохатина тебе не к душе...

— Отец-то твой горюн, посмотрел я давеча на него...

— А-а, — тряхнула горестно головой Клавдия и отвернулась, подняв передник к глазам.

— Худо тестю, худо. Можно сказать, только нашей милостью и жив. Обутки ноне никто не чинит. До обуток ли? — И, что-то сообразив, Амос быстро приказал Клавдии: — Сбегай-ка за ним. Пусть с нами выпьет. — Хозяин хлюпнул носом: — За тятю, Фаефана Кондратьевича, царствие ему небесное...

— Дай я тебя поцелую! — полез через стол умилившийся охотник.

Клавдия встревоженно глянула на хозяина, постояла и пошла за Трохой.

Под поцелуй выпили еще, и Амос с прежней настойчивостью повернул разговор на охоту, на зверя. А Култыш все пытался запеть и твердил:

— Мор в тайге. Мо-ор! Всемирный мор, конец свету. Прогневали матушку-кормилицу...

— Ну, мор! Закаркал, едрена мать! — сердился Амос. — Сохатого свалил, еще корова ходит, а он — мо-ор, мо-ор! Добыл бы ее да не раздавал попусту, с деньгами был бы. Побаловал кержаков сохатинкой — и будя. Пусть трясут кошельком, а то обсевком голым и сдохнешь...

Култыш, взбычившись, глянул на хозяина. Амос тоже уставился в упор, будто на мушку взял.

— Ведь врешь, брешешь про корову! Толкуешь, что даже в Изыбаше пичуги малой не осталось... А уж коли в Изыбаше нет...

— Ах, Амос, Амос! Да разве один Изыбыш в тайге! Разве, окромя его, нету мест золотых? Курушка, Серебрянка, Медвежья падь... Э-э, не знаш ты, чужая тайга...

— Ты много знаш! Врать только! В Медвежьей пади все выгорело. А Курушка? Чего на твоей Курушке осталось? Чего?

— Да ничего почти что. Харюз только в речке, — подтвердил Култыш.

— Да им Серебрянка уже отсеребрилась, кладовка-то ваша опустела, и мышей даже нету — мужики сказывали.

— Чего мужики сказывали? Если бы мужики там побывали, от коровы и шерсти не оставили бы! Сказывали! Кишка тонка у твоих мужиков на Серебрянку ходить!

— Так уж у всех и тонка? — вызывающе и недобро усмехнулся Амос.

Култыш подозрительно уставился на хозяина, потер кулаками виски.

— Ну, ну, не беленись! Давай еще хлебни да закусывай хоть капустой. Свалишься с копытов долой... — заторопился Амос.

Но Култыш уже был готов. Когда Клавдия вернулась домой, он лежал на полу, положив под голову кулаки, и тоненьким, угасающим голоском тянул:

Тю-рима, тю-рима, ка-а-акое слово...

Клавдия затащила его в горницу, на половики, сунула под голову плоскую подушку. Пришел Троха, выпил, за нос себя суетливо подергал и скоро уже лежал рядом с Култышом, плакал, называя его благодетелем и прочими хорошими словами.

Амос поднялся из-за стола почти трезвый, коротко бросил жене:

— Собери соли в дорогу, котелок, сухаришек.

Он снял со стены много раз чиненное ружье отца, Фаефана Кондратьевича, осмотрел, дунул в стволы, щелкнул курками.

— Ты куда? — испугалась Клавдия. — Не смей. Подожди Култыша, согласуйся, воровски не смей! Таежный закон забыл?!

— Сейчас голод всему закон! — отрезал Амос и с силой отстранил ее.

* * *

Амос спешил. Он толкался шестом по обмелевшей Онье так, что узенькая осиновая долбленка на перекатах зарывалась в воду по самые борта. Силенка у него еще сохранилась. Сам он и его семья голодовали меньше других жителей Вырубов. Старая, заведенная еще при отце привычка сгодилась. В семьях охотников всегда сушат сухари. Зачерствел ли хлеб, получились ли у стряпки неудачи, куски ли со стола, краюшки ли с покоса — все на сухари. На полатях накопилось несколько мешков сухарей, потому что после смерти Фаефана Кондратьевича их мало употребляли. Иногда только в охотку со щами ели ребятишки, да если Култыш забредал. Клавдия насыпала сухарей в его суму или нищим подавала. Капуста еще с прошлого года осталась. Свежая картошка вот-вот появится, она уже с воробьиное яйцо — Амос глядел. Ботву свеклы, брюквы и листики капусты Клавдия уже во щи крошит.

Нет, не умрет Амос с голоду, и детишки не умрут. Может, и деревня помаленьку поднимется. Месяц-другой протянут жители Вырубов и, глядишь, тоже начнут огородным пользоваться. Правда, в огородах не ахти как наросло, но все же зелень — еда. Ну а за эти два месяца многие перемрут, ой многие...

«Прогневали, видно, косматого!» — подумал Амос и подивился на себя. Вот опять Бога помянул. А сам ведь в душе-то знает, что это лишь пугало для людей, узда невидимая. Уму и смекалке Амос доверял больше. Еще с детства он твердо уразумел, что Бог-то он Бог, да сам не будь плох. Правда, по наущению матери исполнял Амос ритуалы и правила староверов, но на самом деле оставался к

ним совершенно равнодушным. Вон они, соседи-то, ждут, что Бог подаст, — и мрут как мухи. А он не станет ждать, он добудет мяса, и эти же соседи придут к нему и начнут канючить, делая вид, будто ничего не знают и знать не хотят: по-божьи или нет сделал Амос, сходивши воровски на чужие солонцы.

Что же касаемо Култыша, так его в расчет брать не стоит. Для него Бог — тайга и превыше всего — таежный закон. Но защитить этот закон он один не в силах. Каждый закон, худой ли он, хороший ли — миром создается и держится миром.

Амос равномерно перебрасывал и перебрасывал шест. Горели ладони, ломило поясницу, сохло во рту. Он время от времени зачерпывал жилистой рукой воды, отпивал глоток, вытирал рубахой лицо и снова гнал лодку вперед.

Отощалая Онья бестолково билась на перекатах, урчала в шиверах, гремела на порогах. По крутым берегам ее неподвижно стоял березник со скрученными коричневыми листьями. Даже сосны и те порыжели. Солнце беспощадное, вовсе не сибирское солнце сжигало все, высасывало из скудной скалистой почвы последние соки. По узеньким берегам-бечевкам торчали прошлогодние остожья. Трава на них реденькая, ершистая. Сено нынче вырубчане не поставили. Падет скотина, совсем обнищает деревня.

С радостью вспомнил Амос, как он мало-помалу подкашивал траву в огороде и набил почти полный сеновал. Трава на мокрой земле нынче, как тесто на опаре, поднимается. А кто не велел соседям пригородить ключ?

К вечеру с гор нанесло гарью. Амос поднял голову. Высокое, изнывающее от жары небо затягивало темной пленкой дыма. Яростное, немое солнце пекло немилосердно даже в предзакатные часы.

Впереди показалась черная полоска. Должно быть, несколько дней назад лесной пожар подступил к речке, потоптался возле нее, зашипел, забегал вдоль берега, подобрался к самой воде и по упавшей лесине или веточкой, подхваченной ветром, перекинулся на другую сторону и ушел в глубь тайги. Лишь трупелые валежины и высокие пни курились синенькими струйками, словно только что задутые свечи. По воде хлопьями плыли сажа и листья. Дышать сделалось трудно. К берегу подбивало обгоревших на лету птиц. Амос выловил из воды копалуху-глухарку и тут же отбросил. Она уже протухла. Подумав, он

все же подобрал птицу, зажарил на углях и, преодолевая отвращение, жевал, жевал, стараясь думать о чем-нибудь другом. Вдруг скривился, вырыгнул на ладонь вонючую кашицу и шлепнул ее о камни:

— Себя оммапешь, а брюхо нет, — проворчал он и размочил в воде сухарь.

После этой остановки всю ночь шел он на шесте, задыхаясь и слабея, однако уже к утру миновал пожарище и обрадовался.

Огонь, только он мог воспрепятствовать Амосу и остановить его. Но пожары уже объединились воедино, смахнули жизнь с горных хребтов и обрушились на предгорья, угоняя кочевников-скотоводов в голые степи.

Вот и Серебрянка — звонкая речка. Укрытая горами, лесом и кустарником, она неожиданно выныривала из непроходимой гущи, разъединялась на камне и двумя прозрачными крылами слетала в Онью.

Амос затащил лодку в кусты, забросал ее ветками. Оттаборившись, согрел чаю, заварил парочку сухариков, похлебал и лег спать. Спал недолго, беспокойно. Проснулся в поту и, лежа на животе, долго, с захлебом пил студеную воду из Серебрянки.

Палило солнце. Амос озабоченно потянул носом. Запах гари едва слышен. Захотел было почесать Амос спину длинной рукой, да не достал самого зудящего места и, прислонившись к дереву, поцарапался спиной о него. Затем собрал мешок, сунул топоришко за пояс, поглядел из-под руки на солнце и на всякий случай помахал двуперстием у груди.

— Благословясь. — И шагнул в густые заросли, как в душную баню, пахнущую распаренными вениками.

Там и сям перепоясывали речку черные ремни отбушевавших пожаров. Подлесок обуглился, вершины ольховника и черемушника были траурно темны. Однако половина их еще жила — у комлей, возле воды все еще топорщилась листва. Ни шороха, ни писка, ни птичьей возни в лесу.

Мертво.

Лишь голос беззаботной Серебрянки звучал неугомонно да одиноко, и оттого совсем тоскливо ныли квелые от зноя комары. Зато слепней было много. С лету, как пули, они ударялись в разопревшую шею Амоса.

— Ах, нечистая сила, на тебя и мору нет! — сквозь

зубы ругаясь, шлепал себя по шее Амос и швырял горсти битого гнуса в воду.

Голос человека гулко разносился по лесу, погруженному в нехорошую тишину, поэтому он и старался говорить меньше и как можно тише.

Будто осенью, с шорохом опадали листья. Ягодники в лесу посохли. Даже смородинник в речке и тот опустил водолюбивые листья. Ягоды на нем почернели раньше времени. Амос срывал мелкую смородину, давил ее языком и, думая о чем-то совсем другом, сокрушался:

— Вот напасть так напасть! Ягода и та зачичеревела! Этакой страсти не упомню...

Часто попадались змеи. Амос сначала суеверно содрогался, а потом срубил березку с выпуклым наростом и бил дубинкой гадов, люто матюкаясь, точно они, эти твари, были повинны в том бедствии, какое обрушивалось на родной край.

Далеко за полдень Амос неожиданно увидел сломленную рябинку. Прошел было мимо, но какая-то догадка шевельнулась в голове, и он вернулся, обследовал деревце. Вершинка его указывала в верховья речки. Прошел саженей двести, опять сломленное деревце, и опять рябинка.

— А-а, Культя двупалая, твоя работа! — громко, точно встретив попутчика, воскликнул Амос, утомленный тишиной и одиночеством.

Рябинка — деревце хрупкое, самое подходящее для того, чтобы сломить на ходу. Своя метка, свой указатель — рябинки же всегда надламывал и отец Фаефан Кондратьевич. Это Амос хорошо запомнил из разговоров. Он-таки сумел многое на ус намотать из этих разговоров. Пусть следов человечьих здесь нет, одни только рябинки, вроде бы ветром или зверем сломленные, а он твердо знает: солонцы скоро!

Но до солонцов оказалось добраться не так-то просто. Серебрянка в устье игривая, по-детски шалая, вроде бы заманивает, зовет картавеньким говорком идти по галечному бережку или по еланям и кулигам, примкнувшим к ней. Но в глубине тайги, сдавленная горами, речка бьется судорожно, как синяя жилка. Булыжник, плитняк, осклизлый от сырого зеленого мха, сплошь завалил ее. Слоистые бока скал нависали над речкой так низко, что в иных местах Амос пробирался под ними ползком и уже всерьез

крестился, боясь, что его придавит, как крысу ловушкой, или змея из трещины жоганет.

Метки Култыша больше не встречались. Должно быть, охотник знал обход этих гиблых мест. Да и рябинника не было. В ущелье рос только бесплодный боярышник с острыми шильцами, ранящими лицо; гнезда марьиных кореньев да развалистые ветви молитвенно-тихих папоротников. Если бы Амос знал таежные приметы, он не опасался бы змей в этих местах. Там, где растут марьины коренья, или, как их еще называют, лесные пионы, змеи не водятся.

«И до чего же народ легковерный! — злился Амос, утирая расцарапанное в кровь лицо. — Из полена Бога ему сделают и подсунут — за настоящего примет; на медной пластинке тыкву с глазами изобразят и скажут: «Мать-Богородица» — поверит; увидит речку, снаружи веселую, — Серебрянкой назовет. А какая она, к лешему, Серебрянка?! Лихоманка! Вот как пристало бы ей зваться!»

Наконец речка разъединилась, и Амос остановился на развилке, удрученно соображая: куда же идти? Ущелье волнами отвалило на стороны. Углом возвышался лесистый косогор, нетронутый пожаром. Присел на камень Амос, облил себя водой из котелка, гулко екая кадыком, точно конь селезенкой, напился. Спрятал котелок, задумался. Потом разулся, неспешно перемотал запотелые портянки, поднялся.

Тяга воздуха в ущелье, ровно в трубу. Лесок подходящий для солонцов. На Изыбаш похоже! «Здесь, здесь должны быть солонцы!» — металось в голове Амоса. Послюнявил палец, подставил — точно, как он и думал, тянет с косогора.

Неожиданно на гладком, будто отполированном стволе молодой пихты Амос увидел заплывшую белой смолой царапину. Потер рукавом, но смола только размазалась и вовсе затянула царапину. Осторожно выскоблил ее носком топора и пристально всмотрелся. «Ох, не случайная это царапина! — покачал головой мужик. — Из двух одно: или медведь когти точил, или Култыш метку сделал».

Отошел Амос шагов десяток — опять царапина, примерно на том же расстоянии от земли. Прикинул по росту Култыша — точно: метка! Заторопился Амос, но ступал как можно осторожней, предчувствуя, что вот-вот набредет на солонцы.

И он их скоро отыскал. Серебрянка раздвоилась и за-

путалась где-то в густом, забуреломленном лесу. С косогора, начавшегося в развилке, виден край неба вдали. Должно быть, там садится солнце. И там же маячит дерево со сломленной вершиной. Совсем недалеко от развилки речки, но все же на таком расстоянии, чтобы голос ее не глушил лесные звуки, посолена земля. Звери или один зверь — Амос не мог определить — вроде бы недавно стали ходить сюда.

Ямка, выбитая копытами и вылизанная языками, еще невелика.

Амос не стал приближаться к ямке. Он отыскивал глазами караулку, однако ничего похожего не обнаружил. Тогда он поднял голову, предполагая, что вместо караулки на каком-нибудь дереве налажен лабаз, но и лабаза не оказалось. Он чуть было не ругнулся вслух, однако вовремя закусил язык.

Прислонив ружье к огромной сухой осине — из таких в Сибири делают лодки-долбленки, — Амос сел, пытаясь докумекать, где подкарауливал зверя Култыш. Не сидел же он посередь поляны, лесная кикимора!

Ходить много возле солонцов Амос остерегался. Стоять тоже не было времени. Неслышно ступая, высунулся к поляне и еще раз огляделся. Проем в вершинах леса против, и воздух тянет оттуда. Амос глазом прицелился на сломленное дерево и подтвердил свою догадку: вершина дерева срублена именно для того, чтобы не застила зорькин свет.

«По всем признакам караулка должна быть тут, где я стою. Но ее нет!» — все больше вскипал Амос.

Он уже решил устраиваться возле старой, в несколько обхватов осины, наскоро прикрывшись корьем и мохом. Надеялся на дикую удачу и почти загодя был уверен, что дело это бесполезное: марал, а в особенности маралуха с теленком так сторожки, что любое, даже самое маломальское изменение на солонцах отпугнет их.

Отец Фаефан Кондратьевич сказывал, будто однажды он вырвал горсть пырея, выросшего перед окошечком караулки, и зверь перестал ходить на солонцы. Если, к примеру, вырастет на солонцах пучка-купырь — и будет мешать — ее нельзя вырвать: марал заметит. Он знает и помнит каждую былинку в опасном месте или на пути к водопою. Надо слегка подрезать растение ножом, зверь на ходу уронит его — вот это другое дело. Это он тоже обязательно запомнит.

И все же Амос рассудил так: будь что будет, не зря же он тащился в такую даль. Принялся искать корье. С той стороны осины, что не видна от ямки, слегка отвалился широкий пласт коры, будто подточенный червяками. Рванул мужик кору с силой, но пласт отделился легко, без шума. И тут Амос не удержался, громко и восхищенно ругнулся:

— Во, ушлый! Ну и голова-а!

Под пластом оказалось замаскированное отверстие в дупле осины. Амос просунул туда узкую голову. Да, вот она, караулка! Прямо перед глазами — небольшая дырка. Должно быть, отверстие было совсем маленькое, и Култыш расширил его ножиком, оставляя мелкую стружку здесь же, на оконце. Словно бы короед иди дятел работал. В дупле под ногами мох, а под мохом пенек. Оконце высоко, и Култыш, судя по всему, вставал коленями на чурбачок, чтобы хорошо видеть, что делается на солонцах. Вползать в убежище нужно было на карачках, как в нору. Амос еле протиснулся туда. Шевельнуться невозможно. Кость у него шире, чем у хозяина солонцов.

С великими усилиями загородил Амос пластом коры лаз в дупло. Чурбачок из-под ног выкатил наружу. Все равно тесно. Дупло как бы сжимало плечи Амоса, но он решил все стерпеть и постепенно обсиделся в этом тесном, душном нутре дерева. Ружье просунул в оконце, пошарил глазами по поляне, по лесу, по небу. Было еще рановато, но вылезать из дупла Амос не осмелился. Пусть лишний час-два просидит, зато уж больше никого и ничего не потревожит.

Чтобы все было в порядке, Амос на всякий случай прочел «Начало» — молитву всех молитв, а потом уж все подряд, какие знал. Не убудет его, если лишний раз перекрестится и лишнюю молитву прочтет, а это может очень даже сгодиться.

— «Боже, милостив буди ми, грешному, создавы мя Господи, помилуй мя. Господи, без числа согреших, Господи, помилуй... Печать на мне Христова, Николин ключ, Богородицы замок...»

На охоте, в тайге, в одиночестве, даже человеку неверующему лезет в голову разная блажь, и он становится суеверным, начинает доверять не только молитве, но и наговору, приметам. Амос же с детства был приучен ко всякого рода заветам и попытался в дополнение к молитвам вспомнить еще и наговоры:

— Как подходит мир-народ к животворящему кресту, как приходит солнце встречь земли-матери, безотпятошно, безоглядошно, безоговорошно, так бы шли-бежали рыскучие звери к солонцам мо... к солонцам этим, — поправился Амос, — безотпятошно, безоглядошно, безоговорошно. Аминь!

Тем временем солнце снизилось за дальние увалы, но еще долго колыхалось над окоемом знойное марево. Небо запекалось, краснело и постепенно темнело по краям, будто покрывалось окалиной. Из-за осины, от развилка Серебрянки, крадучись, выползла удушливая, как чахотка, ночь. Уже чуть не все небо запахнулось сероватой хмарью. Но за сломленным деревом, за далекой далью все еще не остыла раскаленная лепешка. От нее к солонцам сочилась багровая струйка и густела с каждой минутой, как бычья кровь. «Страсть какая — быть одному в тайге, — поежился Амос. Морила усталость, ныли ноги и руки. — Подремлю маленько, ночью свежей буду», — сказал себе и уронил голову на грудь. Это все, что он мог себе позволить для удобств в туго сжавшем его дереве.

Под рубахой забегали, защекотали муравьи. Амос передернул плечами, но глаз не открыл. Винный дух устоялся в пустой осине. Он дразнил Амоса, туманил мозги. В дереве продолжала гнить мягкая, волокнистая сердцевина, и труха с легким шорохом осыпалась сверху.

Под этот чуть слышный шорох забылся Амос.

Приснился ему Култыш. Он все силился запеть: «Тюрима, тюрима, какое слово!..», но ничего не выходило у охотника. Беззубый рот его открывался и закрывался. Амос ждал, напряженно ждал песню, однако вместо песни послышался хруст и высунулись зубы, длинные, белые и загнутые, как клыки, а потом клыки зашевелились, поползла изо рта белая змея и ощерилась на Амоса собольей головой. Откуда-то взялся отец, схватил змею за хвост и принялся хлестать ею по голове долгошеего парня. Амос понял: это его бьют, попытался крикнуть и не мог, рот свело, заполнило вязкой мякотью.

Дернулся Амос, открыл глаза и долго не мог очухаться. Пришел в себя только после того, как сердце, сбитое было с ровного хода дурным сном, перестало частить и пошло как надо.

«Прости, Господи!» — смиренно пошевелил губами Амос и прислушался. Все также рыхлым снежком осыпалась гнилая труха за шиворот. В ноздрях сделалось до

того щекотно, что неудержимо потянуло чихнуть. Амос испуганно зажал нос. Он готов был скорее умереть, чем издать какой-нибудь звук. Не знал ведь, сколько времени проспал. «Может, зверь-то уже на солонцах?» — медленно вытягивая длинную шею, испуганно подумал он. Захрустела спина, защелкали суставы сухим хворостом. «Только бы руки не закозлились да глаз не застлало бы от отощания, остальное выдержу», — твердо решил Амос.

Как и в ту давнюю ночь в Изыбаше, на небо наползла чуть ущербная луна. Но какая-то рябь все время набегала на нее, и Амос не сразу уразумел, что это все тот же дым от дальних лесных пожаров. Он потянул носом и уловил едкий запах. «Хорошо это, у зверя чутье отшибает гарь. Корова-то, поди, нажралась и ушла? — И тут же спохватился. — А может, вовсе перестала ходить?»

Начали разбирать Амоса те сомнения, коих бывает полно у охотника с ненаметанным глазом. Иначе он бы еще давеча по следам заключил, ходит теперь зверь на солонцы или нет.

Впереди что-то мелькнуло. Амос рванулся и больно ударился носом о стенку дупла, но даже и внимания не обратил на это. Дрожащие пальцы его уцепились за спусковой крючок ружья. Однако сколько Амос ни напрягался, обнаружить больше ничего не мог. Только начал успокаиваться, думая, что ему померещилось, впереди опять ровно бы мячик упругий подскочил.

Амос оцепенел.

В это время рябь рассеялась на минуту, и он увидел у ямы зайца. Насторожив уши и приподняв передние лапы, заяц слушал. Послушал, послушал и кувырк в ямку. Лизнул соленой земли и опять начеку. «Холера! — беззлобно плюнул себе на грудь Амос. — Тоже бережет свою душонку, стервец! Надо быть, пожары его сюда загнали». Но слишком уж часто заяц исчезал и появлялся. И немало времени прошло, пока Амос догадался; зайцев-то двое, и они поочередно один другого сторожат.

«Артелью пасутся. Хорошо это. Культя говаривал: когда заяц на солонцах, марал идет смелей, меньше опасается. Хорошо...»

Долго следили пристальные глаза человека за возней большеухих. Но они до того разлакомились, что не чуяли глаза, от которого содрогаются и бегут любые звери. Амос до того засмотрелся, что и не заметил, как из кустов выскочил еще зверек и бесшумно подбежал к ямке. У него

были тоже большие уши, гибкая, как у змейки, шея и тоненькие, паучьи ножки. На узенькой мордочке в свете луны стеколками поблескивали глазенки. «Это же теленок!» — ахнул от неожиданности Амос и зажмурился, памятуя о том, что зверь страшно чуток к человеческому глазу. «А у меня глаз-то урочливый».

Однако не удержался Амос, тут же разомкнул ресницы и принялся отыскивать корову. Она стояла чуть поодаль, подозрительно приподняв голову. Затем сделала несколько мелких шажков, едва слышно прошелестела губами, видно, разрешала своему детенышу отведать соленой землицы — звериной сласти.

Но малый не ждал позволения. Он уже припал на колени и вкусно запричмокивал. Длинные уши его пошевеливались, как ольховые листья. Мать приблизилась к ямке, грозно мотнула головой, и зайцы отпрянули. Однако соль манила, так манила, что и природный страх, и всякое уважение к сильному забыли косоглазые. Они настырно лезли к солонцам. Тогда маралуха бросилась на них, занесла ногу, намереваясь сразить копытом всякого, кто осмелится докучать ее дитю. Зайцы ловко увернулись, припали за кустом, выжидая.

«Господи, баслови! — опять беззвучно зашевелил губами Амос, повторяя «Начало», а сам в это время тщательно целился в корову, явственно видимую в лунном пятне. Зайцы урвали-таки удобный момент, перемахнули через куст в ямку. Теленок пугливо шарахнулся, фыркнул. Мать метнулась к нему и на секунду ушла с прицела.

И тут Амоса осенило: «Ребенка не кинет, а он, глупой, может и удрать. Обоих надо брать. Крышка!»

Мушки не видно. Лишь маленькая искорка продвинулась и замерла под тоненькой фигуркой мараленка.

Занемевшие пальцы рванули спуск.

Искру загасило пламя.

Раскололась ночь.

По горам и дальним седловинам покатился гул, смахивая душную тишину. И все, что еще оставалось в лесу живое, ринулось в темноту, треща кустами, слепо натыкаясь на деревья.

А тоненькие, как у комарика, ножки мараленка подломились, и он сунулся мордочкой в такую вкусную землю, которую, сколь ни лижи, досыта не налижешься. Теленок еще попробовал ползти в родной лес, выцарапывал

копытцами траву и корешки, даже еще заблеял чуть слышно — и утих.

— Ну, один испекся, — облегченно выдохнул Амос. Он провел языком по пересохшим губам и забормотал: «Не уронится и не призорится мать-сыра земля, и да не уронится и не призорится промысел мой, добыча моя. Аминь!» Маралуха еще бежала, гонимая ужасом. Трещали сучки под ее стремительными ногами. Но вот шаги ее стали замедляться, треск и щелчки прекратились. Она остановилась, помолчала, чутко вслушиваясь в ночь. Чуть-чуть прошлепала губами, призывая дитенка.

Никакого ответа.

Она позвала еще раз — громче, тревожней.

Ждала минуту, другую, от нетерпения переступая с ноги на ногу. И вдруг закричала на весь лес так дико, что даже у человека покоробило спину, и он занес руку перекреститься.

Шорох приблизился.

Мать еще не теряла надежду отыскать и дозваться мараленка. Она кружилась возле солонцов и, пришлепывая губами, настойчиво звала его. Шаги ее, то медленные, крадущиеся, то нервные, стремительные, доносились отовсюду. Можно было подумать, что вокруг солонцов мечется несколько зверей.

От гнева и страха дрожали у маралухи ноздри, все мускулы были напряжены. Она останавливалась, смотрела, слушала — не выскочит ли быстроногий детеныш, не побежит ли навстречу ей. Она переваливала язык, готовый облизать дитя от кончиков ушей до светленьких копытец.

Тишина.

Был гром, а теперь тишина.

Медленно, как бы пробуждаясь от душного сна, дыхнул лес, и между ним просочились только ей слышные струи воздуха, а вместе с ними страшный запах крови. Маралуха снова пронзительно крикнула и отчаянно заметалась возле солонцов.

— Э-э, чтоб тебя, худая немочь! — свирепым шепотом бранился человек, напряженно всматриваясь в предрассветную мглу.

Луна скрылась.

Небо заволокло тучами, а может, и дымом.

«Или дождик будет?» — постарался отвлечься Амос, но слух его был напряжен до предела.

Невыносимо тяжело сидеть.

Пошевелиться бы.

Суставы, шея, все остамело от неподвижности, а маралуха не подходит. Мечется, будто безумная. «Что, как бросит? Вот тогда и выгадаешь, рябой ирод!» — побранил себя Амос.

Сделалось свежей.

Влагой потянуло в отверстие дупла.

«Будет, будет дождь, — радовался Амос. — Раньше бы требовалось. Ну, ну, чего же ты, язва, пляшешь? Иди же, слышишь, иди!»

Надоело ждать.

Снова, как в молодости, в ту первую охоту, одолевало желание садануть из ружья, чтобы чертям и тем тошно сделалось. Но он уже не тот сосунок, чьего духу не хватило даже на полночи. Последним усилием он заставляет себя сидеть неподвижно. Выдюжит, непременно выдюжит. Но уж тогда он резанет эту комолую скотину, резанет.

Далеко за обезглавленным великаном-деревом, должно быть кедром, порозовела кромка неба, стали видны облака.

Амос с ликованием воззрился на них.

Давненько он не видел ни одного облачка на небе. Клочками старательно расчесанной кудели несмело наползли они из-за гор, гасили звезды. Коснувшись розовенькой полоски зари, вспыхивали по краям, бездымно и бесследно таяли.

И вот когда уже посветлело полнеба, когда из леса поспешно потекла темнота, высвобождая одно по одному деревья, кусты, пни и валежины, мать, не таясь больше, с гордо поднятой головой вышла из леса и рванулась к лежавшему на поляне мараленку.

Амос не допустил ее близко. Стиснув зубы, он выстрелил в отвислую грудь коровы и, когда она стремительно метнулась, ударил еще раз вдогонку — это уже со зла.

Вместе с пулей вылетело зло.

Зализорадила, затрясла охотника радость.

— Пришла, пришла, голубушка! — приговаривал он и с удовольствием слушал хриплый от долгого напряжения голос. — А ты думала человека перехитрить! Не-нет, человек, он...

Амос болезненно охнул, пытаясь выбраться из дупла. В ноги вонзилось множество иголок, будто ими были пе-

реполнены ичиги. Дрыгнул ногами, пошевелил головой, руками, разгоняя кровь, — едва расходился.

— Вот ведь до чего довела! И надо же такую охоту выдумать?! Тьфу! Только с голоду да поневоле такое и стерпишь!

Выполз на поляну, полной грудью вдохнул хвойный воздух, тронул ногой белобрюхого теленка, ухарски сдвинул на глаза шапчонку Амос и, ухмыляясь довольно, пошарил в затылке:

— Сейчас мы тебя, милок, распотроши-им. Вот посмотрим, где сама, и распотрошим.

Как бы ни была смертельна рана, марал, какой-то неведомой силой, наверное, даже не силой, а остатним вздохом, последним рывком всегда чутко напряженных мускулов делает бросок. Иногда сил хватает пройти еще двести-триста сажен, но он никогда не падает там, где его ранят. Амос знал это.

Отыскав следы маралухи, на которых рядками клюквы рассыпалась кровавая потечь, Амос удовлетворенно потер руки:

— Далеко не уйдешь! Сыщу!

Он закурил, судорожно закашлялся:

— Ну и... о-о... кха!.. охота! Мать ее так! Кха-кха! Дыхало все... кха-кха... сперло...

Наконец он прокашлялся, отдышался, снова торопливо выплюнул слова «Начала» и принялся свежевать мараленка. Одним махом умелого крестьянина, сызмальства привыкшего забивать и обрабатывать скотину, он развалил мягонький живот. Ноздри Амоса алчно запульсировали, радовался он.

— Ах, мясцо-то! Мясцо! Нежно, пахуче! И жирен, чертенок! Жире-он! Заботлива мать была. В бескормном лесу еду находила! Нагулял жиру, нагулял. А сама небось тоща. Вечно так: в теле мать — дети тощи, в теле дети — мать костями стучит. Ну, с удачей тебя, Амос Фаефаныч! Будут и денежки и свежинка!.. Пофартило! А ты, Культя, паси теленка-то... Х-хы, простота! С твоей бы сноровкой озолотеть можно! Умна голова, да дураку досталась!..

Знал Амос: худое, пакостное дело учинил он и вот пытался охальными словами, как каменьями, завалить сосущую тревогу в сердце, пытался ухарем представиться и убедить себя в том, что он, а не кто иной, прав. И плевать ему теперь на все и на всех! Плевать, и только!

Он выбросил кишки теленка прямо на солонцах, отре-

зал ноги, голову, бросил здесь же. Запакостил солонцы, но ему на них больше не бывать. Медведь явится, сожрет. Какое ему дело, Амосу, до того, что там, где побывает медведь, может быть, год или два не появится марал. Ему, Амосу, теперь дай Бог вытаскать мясо к лодке да незаметно, желательно в поздний час, приплавить его в деревню.

А там!..

Там — «Амос Фаефаныч, подсоби! Амос Фаефаныч, выручи! Амос Фаефаныч, за ценой не постоим!»

И Амос Фаефаныч выручит, лишка не возьмет. Он не шкуродер. Придет время, односельчане и его выручат, подсобят на пашне, помогут с мельницей.

Есть у Амоса думка свою мельницу поставить. Ух, тогда держись! Потечет хлебец! А Култыш пусть бережет теленка-то! Пусть! Без штанов на этом свете жил, без штанов и на том свете перед непорочными девами явится... Пусть!

Закипела вода в котелке.

Самое нежное мясцо выбрал Амос — грудинку с молодым хрящиком. Нетерпеливо тыкал он палочкой в мясо, судорожно сглатывал слюну. Не выдержал искушения, махнул рукой и сам себя урезонил:

— Горячо — сыро не бывает! — И поспешно схватил подолом рубахи дужку котелка.

Тут же у огня, громко чавкая, жевал, давился круто посоленными кусками мяса. Ел без сухарей. Чтобы мясо скорее остыло, вывалил его на залиселую от сухости траву. По губам Амоса, треснувшим от жары, и по грязным, тоже потрескавшимся пальцам стекал жир. Амос облизывал пальцы, мурлыкал:

— Славно! Ах, славно! Не уварилось мясцо-то, ну да в брюхе доварится... Житье! Ей-бо!

Вспомнил Култыша, злорадно рассмеялся: «Спасибо за убоинку!» Съел все мясо до последнего хрящика, попил жижи из котелка через край, с рокотом икнул, кинул двуперстием крест у рта и блаженно вытянулся возле затухающего огонька.

Дремота навалилась сразу, но мухи облепили лицо, замазанное жиром.

— Ф-фу, язвы! — закряхтел Амос, отгоняя мух, и недовольно поднялся после благодушного потяга. Звонко трещa суставами, собрал куски мяса в мешок и, преодолевая сытую разомлелость, двинулся на поиски маралухи.

Прошел Амос двести-триста сажен — нет маралухи.

Недовольно пофукал носом и последовал дальше. Примятая трава, выбитый мох и багровые капли вели в косогор.

— В гору не уйдешь! Вот уже выдыхаешься! — обрадовался он, заметив шерсть на корявом стволе расколотой зимней стужей лиственницы. Во время остановки наваливалась маралуха на дерево.

Однако миновал Амос одну гору, другую, а следы вели все глубже и глубже в тайгу. Крови на следах становилось меньше. Лишь изредка мелькали маленькие кляксочки на листиках, на траве, либо на невзрачном желтеньком цветке с грозным названием зверобой.

Вот ключик лесной.

Возле него корова полежала, отдохнула.

— Напилась, напилась ведь, подлая! — взвыл Амос, зная по рассказам бывалых охотников, как живительно действует водичка на раненого зверя, у которого огненный пал бушует внутри.

Еще седловину одолел Амос, прислушался — ни единого звука не слышно. Тайга как будто притаилась.

Устал Амос, изнемог. С трудом собрал дровишек, развел костер, поставил котелок с мясом, но так и не дождался, когда оно сварится, уснул.

Спал долго.

Проснулся, когда уже совсем ободняло.

Жадно набросился Амос на переварившееся мясо. Вода из котелка выкипела, и подгорелое мясо похрустывало на зубах.

И в этот день не нашел Амос маралуху.

И без того растревоженное сердце будто иглой боярки царапнуло.

— Да какая же нелегкая тебя тащит? Все одно ведь не уйдешь! — ворчал по-домашнему однотонно, словно бы на ребятишек, Амос. Но уловка не удавалась, страх вошел в сердце, когтями впился в него, хотя Амос в этом себе еще не признавался.

Ночью не спалось.

Расстроился желудок, и он несколько раз отбегал в ближние кусты. «На тощее брюхо недоваренного мяса нажрался! Башка еловая!» — запоздало ругал себя Амос.

Утро наступило хмарное.

Погода явно налаживалась перемениться. Небо сплошь затянуло тучами. Дождь собирался трудно, как бы все еще не решаясь залить лесные пожары, окропить изнывающую от зноя землю.

Амос торопился.

Понимал мужик: пойдет дождь — зверя ему не найти. Смоет следы маралухи, а он ведь не Култыш. Тот умеет каким-то своим особым нюхом отыскать в тайге все, что ему требуется. Тайга для него что собственный дом и двор для Амоса, где известно хозяину все, вплоть до ржавого гвоздя, вбитого в стену бани для лошадиной уздечки.

Разом возникла горбистая, обожженная грива. На земле мох, на деревьях, на валежинах мох, и даже на ржавых камнях проплешистый ядовито-зеленый мох. Лес наполовину сух. По мху сплошная россыпь чуть закраснелой брусники, и сизым, едва-едва заметным дымком подернулась круглорылая черника. Тих лес. Мох скрадывает все звуки, глушит шаги.

На гриве маралуха стала делать лежки.

Амос облегченно перевел дух.

Теперь все! Он скоро настигнет корову и с каким же удовольствием всадит ей еще одну пулю! На ходу Амос наклонялся, обдаивал пальцами брусничник и высыпал упругую ягоду в рот. «Чего-то весь живот ожгло, может, от ягоды полегчает?»

За гривой, в темно-зеленом лесу, змеилась, петляла, как пьяная, шаталась из стороны в сторону речка.

Амос осмотрелся.

Речка показалась знакомой.

Он хлопнул себя по бедрам:

— Да ведь это Серебрянка! Во зануда, корова, бродила, бродила и снова к солонцам подалась. А того не возьмет в разум, что сосунок-то ее в сумке следом за ней ходит...

Маралуха пошла вниз по речке.

Она часто пила, видимо, не решалась удаляться от воды.

Амосу уже несколько раз чудилось, что он видит ее, медленно продирающуюся сквозь заросли, слышит вроде бы хриплое дыхание. Он хватался за ружье, спотыкаясь, бежал в кусты и обнаруживал там лишь свежие, расползающиеся следы.

Наконец он увидел маралуху на маленьком мысочке, усыпанном белой галькой. Как пила мать из речки, припав на колени, так и умерла. Голова ее с открытыми глазами упала в воду, и речка, натыкаясь на запруду, по-щенячьи урчала, обсасывая белый, вывалившийся язык.

— У-у, падла! — пнул Амос маралуху в куцый зад с нежными подпалинками.

Маралуха чуть посупулась в речку. Замусоренная сожженной листвой, шишками хмеля, веточками и сухой ягодой вода рванулась валом.

Со злобой выхватил Амос корову на берег. И хотя ему нездоровилось, он решил сегодня же уйти к Онье.

Прежде чем освежевать маралуху, Амос полежал на обмысочке. В шерсти и в разъеденных комарами ноздрях коровы уже копошились мелкие муравьи. Присаживались на нее пауты и слепни. Потыкавшись жадными до крови носами, они с недовольным жужжанием отрывались от маралухи и набрасывались на Амоса.

Живот коровы был светленький, в пушистой шерсти.

Маленькое вымя матери сморщилось, соски посинели. Поморщился Амос, глаза отвел и с притворным равнодушием зевнул. Но его все-таки стошнило. Губы мужика передергивало озноб ом, бурлило в брюхе и завывало так, будто там делили добычу голодные коты.

С кряхтеньем и охами Амос ощупал живот. «И чего это со мной содеялось?» — думал он, спеша за куст.

— Нажрался, нажрался мясца-то жирного, духовитого! — забарабанил Амос в свой костистый лоб с провалинами на висках. — Кобель беззубый, до старости дожил — ума не нажил! Шутейное дело — в тайге захворать!.. Страшно...

С трудом ободрал Амос корову.

Превозмогая слабость, сделал лабаз на дереве и поднял туда мясо. В мешке он оставил немного телятины и добавил к нему мягкий кусок от маралухи. «Первая ноша должна быть невелика, — так рассудил Амос. — Вот когда дорогу покороче к Онье сделаю, разомнусь, хворь одолею, глядишь, благословясь, перетаскаю всю добычу».

Можно бы, конечно, за мужиками сплавать. Найдутся сейчас такие, что даже с чужих солонцов согласятся поживиться, но больно артельно получится, делить надо. И тогда прости-прощай мельница на долгие годы. «Нет уж, как-нибудь сам справлюсь. Сам мясо переправлю, сам раздам, пожалуй, раздам вовсе бесплатно — народ отплатит потом мне за щедроту усердием и почтением. И мельницу люди миром соберут». Это будет единственная мельница на Онье. Изо всех деревень зимой потекут к ней обозы с зерном. Примол знатный будет, а если с умом поставить жернова да небольшую, совсем маленькую утечку муки подладить, вовсе в хлебе купайся. Вот тогда дай

Бог год, на нонешний похожий, — не одну деревню обротает Амос Фаефанович.

Обламывая коричневые, как ореховая скорлупа, зубы, Амос упорно размалывал плесневелые сухари, а сердце млело от сладостных мечтаний. И только боль в животе отравляла хорошие думы.

«Какая-то трава ведь есть от живота или корни? — напряженно пытался вспомнить Амос и не мог вспомнить. — Культя, тот бы все сыскал. Надо было, пожалуй, вместе с ним. Но он опять за так раздал бы мясо, развеял бы добро по ветру. Да и не сговорить бы его. Ему телепочка жалко. У-у, вшивец!»

Злые, шалые думы наползают на сладостные мечты. Чехарда в голове Амоса. Страх его разбирает. Он бредет пошатываясь, а котомка за плечами делается все тяжелей и тяжелей.

Остановился Амос на изгибе речки, брови на переносье собрал, посоображал туго и, вынув кусок мяса, бросил его в омуток, под корни черемухи. На черемухе метку топором сделал.

Но легче не стало.

Схватившись за живот, тащился Амос.

Впереди него возникла мокрая от ключей скала, густо заваленная ветровалом, заросшая волчатником, малинником, кипреем, горной сиреневой ромашкой, ярко-красными саранками, примулами и прочей благодатью. За этой густой-прегустой зарослью сухой распадок. Свет от него небесный струится, ровно бы камни голубого цвета, да и в траве тоже кое-где голубеют камни. «Вовсе извела хворь — уже сине в глазах», — ужаснулся Амос и еще раз глянул на голубое ущелье, поморщился: обходить придется.

Речка, пожурчав в непроходимой дурнине, которую даже пожар обошел, заползла в гиблые овраги, где-то раздругой проворковала и вдруг замолкла и куда-то делась. Козырек бровей вовсе скрыл воспаленные глаза Амоса. Догадка щемящей волной пошла от самого сердца, хлестанула в его голову, и он бессильно уронил руки:

— Да ведь это не Серебрянка!

Подскочил Амос, вломился в переплетенные заросли, кувыркнулся в овраг, упал, оцарапался.

Ветки жалицы, малинника хлестали его по лицу, но он карабкался из оврага, попал в безмолвный распадок. Уже не боясь змей, хватался за голубые камни, с шумом ронял их, снова карабкался.

Вот и вершина.

Откуда только сила взялась — так быстро вымахнул Амос на нее. Соскользая, ринулся вниз, чуть не наступил на затаившегося барсука, вздрогнув, послал вслед ему свирепое проклятье.

Предостерегающими перстами маячили в вышине останцы, и от каждого из них сочились, били ключи, но речки не было..

Унырок!

Подлая штука, этакая речка — лесная колдунья. Бежит она себе по тайге, заманивает, а потом раз — и нету! Зарницей мелькнула и угасла.

Затравленным зверем метался Амос между скал, отыскивал выход унырка. Он уже забыл про котомку, не чувствовал тяжести. Даже эта нудная судорога в желудке на время прекратилась. Где-то обронил топор, порвал стеганый шабур, но все еще бежал, выкидывая длинные ноги.

Речки не было.

Амос, задыхаясь, вскарабкался на крутую седловину. Огляделся. Тайга. Кругом тайга, тихая, угрюмая и настороженная. А над нею клыкастые останцы. От тишины в ушах звенело. Он икнул, тошнота подкатила к горлу, захлестнула дыхание.

— Завела! Завела-а-а! Оборотень — не корова! — схватился за голову Амос, и забилась сумка на его спине, будто в ней ожил теленок. Голос Амоса сделался тонким. Уже без слов, с отчаянием и обреченностью он разрубил таежный покой воплем: — А-а-а!

Тучи опустились низко.

Лес помрачнел и глухо зашумел. Неуверенно, как бы примериваясь, тронули сухую, шуршащую траву первые капли дождя. Дождь приближался, наступал из глубины тайги чуть слышными шажками.

— Слава тебе Господи! — умильно пропел Амос, обессиленный слезами, и повернулся лицом к небу.

Глаза, щеки, лицо защекотали мелкие капли. Лохмы туч набрякали, потемнели, собираясь с силами, коих хватило бы залить пожары, омочить исстрадавшиеся леса, оживить то, что еще не успело умереть.

— Боженька! Ты ведь добрый! — неожиданно для себя завел Амос. — Вот дождика послал и без грозы. А после такой жары вон какие грозы бывают. Так помоги и мне. Ну, чего Тебе стоит, выведи!.. Либо болесть утихомирь...

И, чувствуя, что нет у него никакого права на такую просьбу, Амос замолк, в душе проклиная себя.

Тайга шумела слитно и величаво, расправляя широкие плечи. Каждая веточка, каждый листик, каждая былинка, каждый цветочек распрямлялись, подставляя свое исхудалое тельце живительной благодати. Знойное оцепенение спадало, кругом слышался умиротворенный шепот.

Тайга начинала зализывать раны, и никакого дела ей не было до человека, распластавшегося у ее ног.

Слушал Амос, слушал с закрытыми глазами эту пробуждающуюся жизнь и понял: никто — ни Всевышний, ни эта заново ожившая тайга — ему не поможет.

Он встал, прикусил губу, заглушая стон. Голова сильно кружилась.

В горле и во рту отравная сухость. Упрямо выгнулся вперед мужик, точно боднуть кого прицелился, и двинулся длинной одинокой тенью по лесу. Прошагал немного, остановился, прислушался к животу: гнетет, тянет. Одышка появилась, жар волнами ходит внутри. Развязал Амос мешок, подержал в руках мягкий розовый кусок мяса, страдальчески покривился и бросил его в сторону. Отошел немного, вернулся, намереваясь забросать мясо ветками, хватился — нет топора. Тогда он безнадежно вздохнул и заковылял дальше.

Ноги Амоса заплетались, но он не позволял себе лечь. «Главное — идти, главное — не садиться», — стучала в голове одна мысль. Он неуклюже полез через колодину, упал с нее и расслабленно подумал: «Верно, уж больше не подняться...»

Поискал глазами воды, но ее поблизости не было.

Земля жадно впитывала влагу.

Амос пососал сырой мох, стряхнул на лицо капли с нижних веток пихты и забылся, чуть посунувшись под валежину. Несколько раз просыпался, пытался встать, но руки подламывались, долило к земле.

Он надолго утих.

Очнулся от холода. Все на нем промокло. Заохал, сел — из глаз «мухи» полетели, во рту горечь, как с похмелья, в голове звон, что-то призрачное кружилось перед глазами. Вот ровно бы человек мелькнул, вот прянула в сторону маралуха, вот зажурчало, полилось на него. Нет, мимо куда-то, в провальную пустоту.

— Пить! Пить! — открыл рот Амос, стараясь поймать

этот стремительный, оглушающий поток, который зыбал, качал его, мчал на огненно жгучих волнах неведомо куда.

На секунду Амос очнулся, облизал влажные от дождя губы. Шум не прекращался. Где-то совсем близко метался поток. Он звал, он требовал, чтобы человек поднялся, пришел к нему, упал бы в холодные волны и поплыл, поплыл, поплыл...

Срывая ногти, Амос беспомощно хватался за ствол ближнего дерева.

Поднялся.

Шагнул.

Ноги переламывались в коленях. Он шевельнул испекшимися губами, творя несвязную молитву, и побрел от дерева к дереву, как пьяный. Обхватывал стволы, прижимался горячей щетинистой к холодной коре, подолгу отдыхал.

Дождь измельчал и сеялся, сонно шурша по задумчивой, разомлевшей тайге. Сумерки незаметно смешались с зарядившим дождем.

Приближался вечер. И эта наползающая со всех сторон темень сдавила, стиснула Амоса. Он воздел руки к небу:

— Уверую! Навсегда уверую! Только помоги!..

Глухо и равнодушно шумела тайга.

Шум ее вместе с темнотой надвигался на человека. Вспомнил он что-то и, уже обращаясь не к небу, а к этой зловеще настороженной тайге, запричитал:

— Тятя! Тятенька! Прости меня, окаянного! Прости-и-и! Фаефан Кондратьевич, родимый, для деток, внуков твоих сердешны-ы-ых! Култыш, брательник, выручи! Тебе не впервой за зло добром платить! Каюсь! Каюсь! Каю-у-у-усь! — Бился лицом Амос о шишкастый корень дерева, целовал его, а тайга шумела все так же слитно и могуче. Она сомкнулась, вовсе затемнела, и эта стена, из которой не было никакого выхода, все надвигалась и надвигалась на человека.

Сам не зная, что делает, подгоняемый страхом и жаждой жизни, Амос ночью пополз куда-то и внезапно услышал голос родника. Он по-сумасшедшему, с клекотом в горле захрипел, заслышав этот живой голос, и рванулся к нему из последних сил.

Долго мочил голову Амос в холодной воде, облизывал стекающие на губы струйки, соленые от слез, и трясся в покаянном плаче.

— Господи! Помог, помо-ог! Милостивец! Тятя простил! Простил!

Ружье и котелок Амос давно уже потерял. Холщовый, домотканый шабур изорвал в клочья. В лохмотьях, в ичигах, раскисших от воды, свернулся трясущимся комком возле живого родника и впитывал его сердцем, головою, всем своим нутром, радовался его голосу, как ничему в жизни еще не радовался.

Шуршал дождь.

Было то тихо, то ветрено.

Сияло солнце и скатывалось за горы.

Звезды протыкали ночь. Выплывала луна с подтаявшим боком. Амос силился что-то вспомнить и не мог. Все перепуталось, стерлось и поблекло в памяти.

Где-то за вершинами леса приходил и уходил рассвет, а он все лежал и лежал, уже безразличный ко всему, даже к говору родника, лежал покорный, смирившийся, то просыпаясь, то впадая в забытье.

С трудом открывая глаза, видел Амос над собой побратски обнявшуюся тайгу. И думалось ему, это она, тайга, не пропускает слабый шепот его до неба, до Спасителя. Это она душила его, забрасывая колючими холодными лапами, и слой этих лап делался все тяжелей и толще, и безжалостно втискивал он его в землю, давил грудь, что каменная плита.

А лес все шумел, накатывал волнами, как бескрайное море-океан, всесильный, неумолчный и вечно живой.

* * *

В тот день, когда на Вырубы наконец-то полил дождь и во всем — в природе, в деревне, в людях — наступило благостное облегчение, Клавдия, не глядя на Култыша, сказала ему:

— Надо искать самово.

Култыш на это сердито отрубил:

— Я его в тайгу не посылал. — Схватил полушубок и подался на сеновал.

Как бы невзначай Клавдия забрела туда, выбрала из гнезд яйца, поправила на жерди веники и снова заговорила, обращаясь к Култышу, который делал вид, будто уснул:

— Детишки ведь у нас, Култыш.

Охотник резко приподнялся, отодрал от щеки лист и твердо отчеканил:

— Я не посылал его в тайгу грезить*.

Губы Клавдии дрогнули. Сморщился подбородок, ямочка на нем сдвинулась вбок, и сделался он похож на дряблую репу. Клавдия разом подурнела, и стало видно, что она все-таки баба, самая обыкновенная баба.

— Зачем было тогда болтать про эту Серебрянку? Зачем? Зачем?

— Вытянул он у меня секрет самогонкой. Как удой, вытянул. Иуда он! — Култыш встал, отряхнулся и резко продолжал: — За это, знаешь, что бывает?

Да, Клавдия знала, что за это бывает, — самосуд! Смерть. Неписаный таежный закон оберегал охотников от воров. Закон этот был жесток и неумолим, как и сама жизнь охотников. Он давал право жить и охотиться только тому, кто знал тайгу, умел, когда требовалось, трудиться до последнего вздоха, гнать зверя до того, что в глаза наливалась кровь и сердце отказывалось работать. Нет большего преступления, чем обокрасть охотника, лишить его добычи.

В кожаных сумах через перевалы и буреломы носит дорогую соль охотник, года два-три приваживает зверя, чтобы потом добыть его, и вот найдись человек и убей этого приваженного зверя, ограбь охотника, лиши его еды. «Вору в тайге нет места. Вору в тайге смерть!»

Клавдия знала это. Она спустилась с сеновала, долго плакала, прислонившись к деревянному косяку. Выплакалась, загремела коромыслом, дала затрещину одному из сынов, подвернувшемуся под руку, и тот благим матом заревел на весь двор.

Култыш слышал, как она ворчала, называя кого-то кибасом** на шее, «жадиной», который хватает, хватает и подавиться не может.

«Это о муже», — догадался Култыш.

Дальше пошло о нем:

«Сидел всю жизнь в тайге сиднем, миловался с тайгой, целовался с пеньями, и сам как пень стал — ни сердца, ни разуменья. Пришел, взбаламутил...»

Култыш крякнул, начал шарить в кармане, отыскивая

---

* *Грезить* — делать что-то нехорошее.

** *Кибас* — грузило у сетей.

трубку. Не переставая ворчать, Клавдия выхлопала холщовый мешок, зашила его. Надела мужицкие штаны, старые ичиги, подвязалась платком, сунула за пояс топор и распахнула двери сарая.

— Слышь, ты! — крикнула она громко: — Домовничай тут, а ружье мне дай!

Култыш приподнял голову. В светлом квадрате ворот стояла Клавдия, коренастая, крепкая, решительная. И лицо ее было сейчас совсем не такое, что видел охотник всего час назад. Неподдельной, уже зрелой, утвердившейся красотой и статью веяло от этой женщины, немного омужичившейся в трудах и заботах.

— Ладно, не дури, — буркнул Култыш, спускаясь по лесенке. Он знал, что дикая пойдет куда угодно, чтобы выручить пусть постылого, но все-таки живого человека из беды. — И сама пропадешь, и детишек осиротишь, — бубнил Култыш, пытаясь стянуть мешок с ее плеч.

Клавдия отстранилась.

— Ружье давай! — и прибавила: — Не думала, что ты такой злопамятный!

Култыш понял намек, смутился.

— Не дури, говорю, — уже испуганно твердил он, — что тебе тайга-то, коровий выгон? Один дурак забрался в нее, и ты туда же?

— Не твово ума дело! — отрезала Клавдия. — За то, что он таежный закон нарушил, — казните, но в лесу бросать человека никакой закон не дозволяет. Да и голод его туда погнал. Голод! Разумей это. А-я, где тебе! Ружье дашь или нет?

— Заладила: ружье, ружье! Чего ты с ним, с ружьем-то, делать станешь?! Это ведь не помело! — недовольно брюзжал Култыш. — А что касаемо голода, так я тоже не без сердца, хоть и пням молился. Но он опередить меня решил, покорыститься на беде людской. Вот и кукует теперь в лесу. Поделом ему!

Култыш натянул засохшие ичиги, проверил в патронташе заряды, забрал свою суму и двинулся со двора. Клавдия догнала охотника возле ворот, сдернула кожаную суму с его плеч.

— Куда без сухарей-то?

— Я без еды в тайге не буду.

Клавдия почти не слушала. Она торопливо пересыпала из своего мешка сухари в суму Култыша, бросила узелок с солью, смягчилась:

— Ну, с Богом! — Хотела еще что-то добавить, да отвернулась. — Ступай уж! Бабий язык и бабьи слезы в деле не помеха...

Култыш скосил на нее светлый глаз, чуть покачал головой на прощанье и спустился к речке.

* * *

Он пришел на серебрянские солонцы лишь ему ведомой дорогой, потратив на переход от Оньи часа два, не больше. И все время дивился он на Клавдию. «Гляди, как расходилась! Гляди, какими словами оглоушила! Баба она справедливая. Пожалуй, справедливей ее и не встречал никого. Только покойный отец...»

Долго стоял Култыш среди обезображенных солонцов, навалившись грудью на палку, насупив усохшее лицо, и наконец горестно выдохнул:

— Враг, ты и есть враг! Покойник-батюшка зряшных слов не говорил. И понапрасну тебя жена защищает, по слабости своей бабьей...

Собрал Култыш изъеденные горностаями кишки мараленка, унес подальше и закопал. Кострище тоже убрал, все до уголька. Неторопливо намял в пригоршне семян морковника, побросал их на выжженную плешинку.

Ночевал Култыш уже далеко от солонцов.

Дождь смыл следы маралухи и человека. Но охотник по каким-то лишь его глазу приметным следам отыскал первую остановку Амоса. Утром вскипятил чайку, размочил сухариков, посолил варево покруче и выхлебал.

В тайге стоял туман, первый в нынешнее лето. Все — и лес и земля — уже вдосталь напилось влагой. Тайга дышала спокойно и глубоко. Дым от огонька стелился низко, головни чуть слышно шипели и пощелкивали. Пихтач посизел от сырости, на колючих ельниках, на самых макушечках остроносых шишек дрожали крупные капли. С длинных игл кедровника, духовитых и мягких, скатывались росные дробинки в седой мох. Лиственницы распушили мягкие зеленые кисточки и сомлело замерли, боясь шевельнуться. На мхах бездымно горели кисти брусники, и сплошь пятнали землю блестящие от росы разноцветные грибы сыроежки. Покой в тайге. Благость!

Култыш остатками чая залил огонек, с кряхтеньем просунул руки в лямки сумы и двинулся дальше, шаркая

ичигами, мокрыми от росы. Иногда он останавливался, наклонялся и, точно читая какие-то письмена, в силу стародавней привычки вел разговор с самим собой:

— Эх ты, охотник — горе луково! Вот ты лежал, а вон в ста саженях — корова. Она тебя все время видела, а ты ее нет, потому как глаза тебе дадены завидущие и оттого незрячие. Медведя бы на тебя стреляного, на сукиного сына. Он бы у какой-нибудь колодины сгреб тебя, показал бы, как с открытым хлебалом зверя преследовать...

В том месте, где Амос хватал недозревшую бруснику горстями, Култыш на минуту задержался и укоризненно покачал головой:

— А зеленцу-то не надо было есть, лучше бы в кипяточек ягоду бросить, а разумней того — марьиного корешка выкопать — это ж наипервейшее средство от живота... Эх, люди! Где вы только взросли?

Здесь же, на брусничнике, Култыш спугнул выводок рябчиков и, чтобы не разогнать их совсем, рассуждал уж молча: «Вот и птица возвертаться в тайгу стала. Жизнь-то, она непоборима, не-ет, брат, ее не застрелишь, не выжгешь огнем-полымем. — Охотник приложился, сбил из ружья молоденького рябчика, припавшего к сучку. — И похлебку нам тайга-матушка сподобила».

Совсем близко чифиркнула рябчиха, собирая рассыпавшийся выводок. Култыш сказал ей:

— Все, все, боле не трону. Боле мне не надо!..

Было еще рано, и вполне хватило бы времени до темноты минуть перевал, но, видно, устал таежный бродяга. Приготовил он дровец на ночь, под бок пихтовых лапок набросал, портянки возле огня погрел, обулся и долго лежал возле огонька, посапывая трубочкой.

Думал. В дремоте, как в крупноячеистой мереже, путаясь, лезли одно на другое видения разные: вот отец Фаефан Кондратьевич манит, зовет. Он в последнее время почему-то чаще и чаще всплывал перед Култышом. Должно быть, свидятся скоро.

Пригрело ногу, накалился кожаный ичиг. Не открывая глаз, отодвинулся Култыш. Клавдия выплыла из зыбучего сна, молодая, в белом платье, со стародубом, уронившим голову. Такой, и только такой, она виделась ему всегда. Ведь до самой той минуты, до ледохода, она была в его мечтах и помыслах. Его нареченная... Наверно, тоже родились бы у них дети — двое. Два сына. Нет, сын и дочь. Нет, лучше много сынов, много дочерей.

Тайга...

Утром Култыш едва разломался. Глянул на небо — светло. «Провалялся, старый лодырь. Спешить теперь надо. Но должон же я чаю попить или нет? — злился он неизвестно почему. — Без чаю куда я годен? Обессилею вовсе... Обессилею..»

Скипятил чайку с брусничником. Пил. А откуда-то издали смотрели на него гневные глаза:

«Злопамятный ты!» Выплеснул чай Култыш, сердито бросил котелок в суму и подался в гору.

За перевалом он наткнулся на лабаз, принюхался — мясо уже припахивало. Он перетаскал маралину в реку, смыл с нее слизь и, отыскав холодный ключ, сложил все куски в воду. С собой он не взял ни одного куска, только хитро усмехнулся, поцарапав рогулькой левой руки переносье. Пошел вниз по речке.

Возле черемухи с меткой вынул из воды большой кус вымытого до белизны мяса и буркнул:

— Чего, Амосушко, тяжко краденое-то?

И снова сердитый голос, рядом, за деревьями, совсем близко: «Голод его погнал, голод! А-а, где тебе...»

Плюнул с досады Култыш. Отрезал кусок мяса, поставил варить. Стараясь отогнать душевную смуту, пытался думать о чем-нибудь другом и не мог.

Тем временем сварилось мясо. «Чье мясо? Ты что думаешь, тайга только для тебя сотворена?»

— Тьфу, нечистый дух! — плюнул еще раз Култыш и без всякой охоты поел. Долго потом выковыривал былинкой что-то из нескольких уцелевших зубов, глядя на голые утесы, вздыбившиеся среди тайги.

Там унырок.

Там голубые камни — богатство земное.

Дальше этого места Амосу не уйти. Лежит, поди, охотничек, помощи ждет и крестится со страха, видя кругом голубое сияние.

В неприступный уголок упрятала тайга голубой камень — красу земную. Два человека знали это место — отец Фаефан Кондратьевич да Култыш.

Незадолго до смерти привел его сюда отец, показал голубые камни, плиты, валяющиеся в распадке унырнувшего в землю ручья, который в давней давности, как и все речки, тоже бежал по земле, кроил горы и утесы.

— Небесный камень. В городах мрамором его называют, — сказал Фаефан Кондратьевич и, вздохнув, добавил:

— Вся гора голубая. Тайга мохом, оврагами да ветровалом и бурьяном заслонила ее от людского глаза...

Поднял Култыш плиточку — не камень это, а осколок весеннего неба, нежно-голубой с блестками звездочек. Рукой погладил — что льдинка гладкая, холодная.

И сотворится же такое чудо!

А Фаефан Кондратьевич рассказывал, как в солдатах служил и стоял однажды караулом в губернаторском доме. Какие-то бунтовщики бомбу в царя запустили. Губернатор тоже испугался и огородил свою персону военной силой. Там, в губернаторском доме, Фаефан Кондратьевич видел колонны из камня, и тот камень мрамором звался. Только был он коричневатого цвета с белыми полосами. Куда тому камню до небесного!

Потом на каторге он повстречался с «бунтовщиками» и многое от них узнал. Бесстрашные они были люди, но телом жидки. Не выдержали каторги, многие сломились, поумирали.

— И мой тебе наказ, — говорил Фаефан Кондратьевич. — Как наступит время, пойди к людям и укажи им небесный камень. Пусть пользуются для радости. А пока в тайге оставайся. Кость хрупкая у тебя — изломают. Тут ты царь, там рабом станешь.

«Без малого тридцать лет прошло с тех пор. Лежит небесный камень, ждет часу своего. Дождется ли? Лежит камень, и я возле него караульщиком. Олешачился вовсе, уж не пойму, что к чему. Вон Амос таежный закон нарушил, а меня Клавдия виноватит. Чья же правда-то? Чья? Люди ведь зверей всякого зверя».

Загорюнился Култыш. Глаза его повлажнели, как у пьяненького. А тайга кругом перешептывалась, словно бы успокаивала охотника: «Не расстравливай себя, Култыш, иди в лес, иди глубже, дальше, утешься...»

И охотник шел. Медленно шел, сгорбившись, с опущенной головой. Неладно было у него на душе.

Но вот Култыш поднялся к унырку, вскинулся, охнул:

— Вовсе заблудился охотник-то! Вот те и на!

Быстро-быстро засеменил Култыш, цепко хватался за кусты на крутом спуске, скользил и, как бы перед кем-то оправдываясь, бормотал:

— Влево, влево забирать надо. Это же Малая Серебрянка. А во-он гора плешатая, там тебе Малая Серебрянка с Большой стекаются. Из горы из этой выныривает — и здорово живешь! Н-да, худы твои дела, Амос, худы!

Тайга — клад, но только с чистым сердцем надо к нему притрагиваться...

Недалеко от упырка ушел Амос — всего несколько верст. По кругу метался.

Култыш обнаружил его возле родника. Лежал Амос кверху лицом с широко открытыми остекленелыми глазами. Щемило и стискивало сердце Култыша, когда он стоял над сводным братом. Тяжелая дума давила охотника, скорбно томилась душа. Пропал человек, пропал дешево, бесславно. Разве для этого он рождался?

В одном глазу Амоса, как бельмо, отражалось белое облако, а в другом, словно в зеркале, неподвижно стояла вниз вершиной темная ель. Губы покойного были зелены. В горсти зажат пучок травы. Должно быть, в своей предсмертный час Амос, как собака, ел траву, все еще упорно цеплялся за жизнь.

Култыш защипнул сначала правый, потом левый глаз Амоса, сложил окостенелые руки на посиневшей груди.

Изредка бросая взгляды на покойника, лежавшего у воды, Култыш поел. После еды отдохнул и стал собираться в дорогу. Срубив две небольшие березки, он перехватил комли их опояской. На вершины березок положил покойника. Был Амос тощ, но тяжел. Култыш привязал покойника к волокушам. Топор, ружье, мешок Амоса и свои пожитки оставил в тайге, а сам впрягся в волокуши и неспешным, усадистым шагом двинулся к Онье.

Под шум волокуш, под шелест леса Култыш думал и молча рассуждал о жизни и смерти и, конечно, о тайге. И в который раз таежный скиталец приходил в этих молчаливых рассуждениях к мысли, что великая сотворительница тайга все предусмотрела и все сделала правильно. Одному зверю дала когти и зубы — добывать корм; другому — быстрые ноги, тонкий слух и даже четверо норок*, чтобы ими упасти свою жизнь; птице — крылья. Человеку же дан только ум, да и то не всякому. Крыльев, быстрых ног, когтей и прочего ему выдавать не полагалось, потому как, имей это человек, он давно бы истребил все вокруг и сам издох бы смертью голодной. Даже без крыльев, без когтей человек все живое истребляет. На войне, солдат рассказывал, несчетное количество людей побито. А на каторге, отец говорил, по костям человеческим тачки катали.

---

* *Норка* — отверстие для дыхания.

Так думал Култыш под шорох волокуш, на которых лежал бескрылый человек. Ни жалости, ни сострадания к нему Култыш не испытывал. Все, что делалось в тайге, по его разумению, не нуждалось в осуждении или сомнениях. А вот в миру у людей следовало бы кое-что переворошить, следовало бы...

На похороны Амоса Фаефановича собрались мужики и бабы почти изо всех домов. Чинно молились они, читали над усопшим стихиры из толстой, поточенной мышами книги. Ни одного осуждающего голоса, ни одного укора никто не бросил. Все шло, как полагалось. Мясо, добытое Амосом, Култыш приплавил, роздал по селу. Его приняли, тут же сварили с зеленью, пошедшей в рост после дождей, и, садясь за еду, все говорили: «Господи, упокой душу раба твоего Амоса Фаефановича, прости ему прегрешения большия и малыя...»

«Стало быть, таежный закон существует не для всех, — думал Култыш. — Да и нет, видно, на свете таких законов, которые оградили бы человека от бед и напастей. А раз нет таких законов, значит, и счастья человеку нет».

На веревочных вожжах под тихие всхлипы медленно пополз чуть накренившийся гроб с телом Амоса. Родственники степенно бросили по горсти земли в могилу. Подумал, подумал Култыш и тоже зачерпнул калеченой рукой землицы.

— Не замай! — жарко дохнул кто-то в ухо Култышу.

— Ишь, какой родич сыскался! — раздалось громче.

— Погубил человека, сволочь!

— Не он бы, так и не пошел бы Фаефаныч в эту распроклятую тайгу...

— Укокошил он его, люди! Ей-бо, укокошил! Сколько ден по тайге шлялся. Живым бы застал ишо.

— На-ме-ренно не торопился...

Култыш сначала затравленно озирался, а потом сник, опустил голову. Что делать? Со зверем он бы еще совладал, а это ж люди, человеки!

Он знал, нутром чувствовал, что вся эта задавленная голодом, озлобленная суеверным страхом толпа, кольями забившая старого жалкого киргиза, жаждет отдушины, хочет облегчить душу. Кто-то ж есть виновный в тех бедах, какие на них свалились? Не Бога же виноватить!

Сдвигается толпа вокруг охотника, точно лес в ненастье. Полегоньку, будто бы ненароком, еще трусовато, но смелея от страха, подталкивают мужики охотника к краю

могилы. Бабы с особым усердием крестятся, бледнеют губы. На тупых, испитых лицах судорога. Да и нет уже лиц, есть маска, как бы высеченная из камня. И в складках этой жуткой маски тысячелетняя боль, смешанная со страхом и дикой злобой.

— Каторжанца отросток! — кричат, подхлестывают себя люди.

— От него злобство на нас перенял!

— Он напасти принес!

— Бедой на село свалился...

— Змею пригрели! Тогда еще, на салике, оттолкнуть следовало!

— Чего слова тратить? Спускай его!..

Теснее сдвигается толпа и все настойчивей подталкивает к могиле Култыша. Оступись, упади — моментально землей забросают, а потом будут сидеть на запорах, обходить стороной кладбище, шарахаться в собственных домах от загробных видений и молиться, молиться.

Потрясенная Клавдия подняла голову, пыталась что-то понять. Она шевелила побелевшими губами, но ее не слышали. Тогда Клавдия закричала на все кладбище:

— Люди, опомнитесь!..

— А-а, полюбовника защищаешь!..

— У нас скот пал, дети вымерли!

— Мужнюю веру осрамила, поселенка тряпичная!..

— Молчать! — раздался тонкий, сломавшийся от непривычного усилия голос Култыша.

Это «молчать», слышанное только от исправника, ошарашило людей.

Култыш вдруг распрямился, до синевы сомкнул губы и двинулся на толпу.

— Чего у меня в горсти? Чего? — настойчиво совал он руку мужикам, и они пятились от него, будто держал он в руке порох, который уже вспыхнул и вот-вот рвануть должен. — Что, я вас спрашиваю? — не унимался Култыш и, заикаясь, как в детстве, сам себе ответил: — З-земля! А вы откуда взялись? Из земли! А тайга откуда взялась? Из з-земли! Так почему же татями живете на ней и боитесь ее, как мирового судьи?

Охотник передохнул, горькая усмешка слабо тронула его морщинистые губы.

— Порешить? Закопать? Валяйте!.. Меня бояться нечего: я смертен. А вот она, — показывая через плечо на увалы, продолжал Култыш, — она нет! — И кивнул голо-

вой на темную, как ночь, могилу. — Он не чета вам был, покрепче костью, ан и его смяла тайга-то! Э-эх, вы!

Не оглядываясь, Култыш швырнул из горсти землю в могилу. Она дробно рассыпалась на крышке домовины.

Сделалось совсем тихо.

Люди чего-то ждали, пряча глаза друг от друга. Но ничего больше не сказал Култыш, не развеял тягости, давившей сердца этих людей, не повел их за собой. Да и не пошли бы они за ним. Чужой он им. Всем чужой. И они ему тоже чужие.

В тайгу! В тайгу!

Отряхнул охотник штаны, вытер о них руки и пошел. Люди молча расступились перед ним. Они знали: теперь он уходит от них навсегда, и не пожалели об этом. А лишь позавидовали, что этот человек был таким, что перед ним все они и даже смерть были бессильны.

Ушел он, и больше в селе его не видели.

Когда наступил рекостав, Клавдия запрягла лошадь и поехала в Изыбаш попроведать охотника.

Култыш лежал на нарах в чистой рубахе. В изголовье у него слой мха и пихтовых веток перешибал запах тления. В руке Култыша вместо свечи цветок стародуб. Такой же, как и тот, что хранила за образами Клавдия. На столе исходил небесным сиянием голубой камень. Зимнее солнце, проникая в окошечко избушки, ударялось в него косыми лучами — в камне вспыхивали, переливались искры.

Резвился перекатный Изыбаш, не усмиренный даже холодом. В торжественном оцепенении стояли леса. Ослепительное морозное солнце сияло в небесах, искрился снег на ветвях кедра и на черном лиственном кресте, стоявшем под этим кедром на угоре. Осиротела могила Фаефана Кондратьевича. Осиротела охотничья избушка. Но осталась в ней истопля дров, узелок с солью, коробок спичек-серников и засохшие пахучие стародубы под матицей. Приходи, добрый человек, занимай всегда открытую охотничью избушку. И учуешь ты неслыханный запах цветов, услышишь, как призывно шумит в горах осиротелый Изыбаш!..

* * *

Хоронить охотника на кладбище «опчество» не разрешило. Клавдия отвезла его за поскотину и на той же елани, где был закопан киргиз с внучонком, схоронила. Вес-

ной Клавдия принесла и посадила на одиноком бугорке кедр с тремя пышными лапками. Не хотела она, чтобы последний покой Култыша затоптала скотина, как это случилось с могилкой старого киргиза и его внучонка.

Кедренок оказался живуч и настырен, растолкал траву, татарник, лебеду и пошел в рост, вытягивая веточками нити липучего вьюнка и наивные, светлые, как глаза ребенка, цветы чистотела.

В тот год, когда Клавдия определила сынов своих на работу в город, а сама, будто исполнив все, тихо умерла, с кедра, что стоял над могилой Култыша, упали первые шишки с семенами, и он перестал быть одиноким. И много уже лет стучат, стучат шишками о грудь земную вечнозеленые кедры, умеющие так мудро молчать вечерами.

1960

ЗВЕЗДОПАД

Повесть

•

Я родился при свете лампы в деревенской бане. Об этом мне рассказала бабушка. Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. Об этом я расскажу сам. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что любовь моя была какой-то уж чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь, и в то же время самая необыкновенная, такая, какой ни у кого и никогда не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь — старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему».

Каждое сердце обновляет ее...

Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Госпиталь наш размещался в начальной школе, и возле нее был садик без забора, потому что забор свели на дрова. Осталась одна проходная будка, где дежурил вахтер и принуждал посетителей следовать только через вверенный ему объект.

Ребята (я так и буду называть солдат, потому что в моей памяти все они сохранились ребятами) не хотели следовать через объект, «пикировали» в город мимо вахтера, а потом рассказывали такие штуки, что у меня перехватывало дыхание и горели уши. Тогда еще не было в ходу слова «пошляки», и оттого, стало быть, я не считал похождения солдат пошлыми. Они просто были солдаты и успевали с толком провести отпущенное им судьбой и войной время.

Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом, несколько раз подряд? Если не приходилось — и не надо. Это очень мучительно быть несколько раз под наркозом.

Я, помню, был маленький и играл с ребятами на сеновале. Они бросили на меня охапку сена, навалились, и я стал задыхаться. Я рвался, бил ногами, но они смеялись и не отпускали меня. А когда отпустили, я долго был совсем как очумелый.

Когда мне давали первый раз наркоз, я досчитал до семи. Делается это просто: раз — вдох, два — выдох. Потом станет душно и захочется крикнуть, рвануться, вытолкнуть из себя тугой комок, стряхнуть тяжесть. И рванешься, и крикнешь. Рванешься — это значит слегка пошевелишь рукой, а крикнешь — чуть слышным шепотом.

Но неведомая сила внезапно вздымет тебя с операционного стола и бросит куда-то в бесконечную темноту, и летишь в глубь ее, как звездочка в осеннюю ночь. Летишь и видишь, как гаснешь.

И все.

Ты уже во власти и воле людей, но для себя ты тоже не существуешь.

Я почему-то думаю — так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер.

Тогда я завидовал тем, кто быстро засыпал под наркозом. Очень тяжело засыпать долго. Минуло больше двадцати лет, а меня душит запахом больницы, в особенности хлороформом. Вот поэтому я до сих пор не люблю заходить в аптеки и больницы.

Помню, в тот раз, с которого и началось все, я досчитал до семидесяти и канул во тьму.

Приходил в себя медленно. Где-то внутри меня происходила непонятная, трудная работа, словно диски сцепления в двигателе подсоединялись один к другому и мозг ненадолго включался. Я начинал чувствовать, что мне душно, что я где-то лежу. И снова все отдалялось, проваливалось. Но вот я еще раз почувствовал, что мне душно, что я лежу, и кругом тишина, и только бесконечный пронзающий голову звон летит отовсюду.

Я напрягся и открыл глаза.

Посреди палаты было светло. Я долго смотрел туда, боясь закрыть глаза, чтобы снова не очутиться в темноте.

Горела лампа. Стекло на ней было прикрыто газетным

абажуром, и я постепенно разглядел и увидел, что абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня.

Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиной ко мне сидела девушка и читала книгу. Она в белом халате, поверх воротничка вроде бы темнела косынка. Волосы вытекали из-под белого платка на ее остренькие плечи.

Шелестели страницы. Девушка читала. А я смотрел на нее. Мне хотелось воды, чтобы смыть из горла тошноту, но я боялся вспугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее и хотелось плакать. Я ведь был все равно что захмелелый, а хмельные русские люди всегда почему-то плачут или буянят.

И чем дольше я смотрел на девушку, тем больше меня охватывала эта умильная жалость и оттого, что лампа вот горит, и что вот девушка читает, и что я снова вижу все это, вернувшись невесть откуда. И, наверное, заплакал бы, но тут девушка обернулась. Я отвел глаза и полуприкрыл их. Однако я слышал, как она отодвинула стул, как повернула абажурчик, и мне стало светлее. Слышал, как она пошла ко мне. Я все слышал, но маскировался, сам не знаю, почему.

Она склонилась надо мной. И тут я увидел ее темные глаза с ослепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови, изогнутые ресницы, слегка припухлую, нравную губу, тоненькую шею, вокруг которой в самом деле была повязана цветная косынка. Нет, вру. Она не повязана была. Халатик на девушке был с бортами, и косынка спускалась с шеи вдоль этих бортов. Из кармана халата торчал градусник с обвязанной бинтом верхушкой. А одна пуговица на халате была пришита черными полинявшими нитками. И еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка — двумя петельками. А повыше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка! Я все, все увидел разом, хотя в палате горела лампа, всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был еще какой-то свет, который озарил мне всю ее!

— Ну, как вы?

Я постарался бодро ответить:

— Ничего.

Девушка озабоченно и смешно сдвинула брови, которые никак не сдвигались, потому что очень уж разбрелись они в разные стороны, и подала мне воды. Я потя-

нулся к стакану, но девушка отстранила мою руку, ловко подсунула мне под голову ладонь и приподняла меня.

Я выдул полный стакан воды, хотя пить не особенно хотелось. Она спросила:

— Вам дать снотворный?

— Не, — испугался я, застигнутый врасплох этим предложением, — я не хочу спать. — И, чего-то стесняясь, добавил: — Я уже наспался...

— Тогда лежите спокойно.

Она снова села за стол и раскрыла книгу. Но теперь я уже не решался долго смотреть на девушку. И только так, изредка, украдкой пробегал по ней глазами. Она сидела вполоборота, готовая прийти в любую секунду ко мне. Но я не звал ее, не решался.

В палате спали и бредили раненые солдаты. Некоторые скрежетали зубами, а Рюрик Ветров, бывший командир минометного расчета, все время невнятно командовал: «Огонь! Огонь!.. Зараза! Вот зараза!.. Вот за-ра-за... Во-о-о-за-ра-за-за-за...» Это уж всегда так: отвоюется наяву солдат, а во сне еще долго-долго продолжает воевать. Только во сне очень трудно стрелять. Всегда какая-либо неполадка стрясется: курок не спускается либо ствол змеевиком сделается. А у Рюрика, видать, мина в «самоваре» зависла, вот он и ругается. Мину из трубы веревочной петлей достают. Опасно! Вот он и ругается. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь убьют раз десять, но все равно проснешься. Во сне воевать ничего, можно.

Я так и не решился позвать девушку. Я просто чуть-чуть шевельнулся, и она подошла. Подошла, положила ладошку на мой горячий лоб и ровно бы всего меня накрыла этой прохладной и мягкой-мягкой ладошкой, потому что всему мне сделалось сразу легче, нервная дрожь, смятение, духота и покинутость оставили меня, отладились, утихли.

— Ну, как вы? — снова спросила она.

И снова я сказал:

— Ничего... — Сказал и проклял себя за то, что никаких других слов на ум больше не приходило. — Ничего, — повторил я и заметил, что она собирается снять ладошку с моего лба и уйти. Я сглотнул слюну и чуть-чуть шевельнул пальцами здоровой руки: — Вы... вы какую книжку читаете?

— «Хаос». «Хаос» Ширванзаде. Читали?

— Не-ет. «Хаос» я не читал. А вот «Намус» читал. Это вроде бы тоже Ширванзаде?

— По-моему, да.

Снова стало не о чем говорить. Я знал, что она вот-вот уйдет, и заторопился:

— А я много книжек читал. — Мне тут же стало жарко, и я пролепетал: — Правда, много, разных, всяких... Ну, может, и не так много... — И разом возненавидел себя за такое хвастовство, и отвернулся к стене, и отрешенно ковырнул стенку ногтем, уверенный, что девушка сейчас уйдет и будет вечно презирать меня.

Но она не уходила.

Я прислушался.

Да, она стояла рядом, и я, кажется, слышал ее тихое дыхание.

— Вам, может, почитать? — спросила она.

— Ой, пожалуйста! — обрадовался я.

Девушка огляделась, покусала губу.

— Ах, нельзя! Свет будет мешать вам и соседу вашему, а он тяжелый. Знаете что, давайте лучше тихонько пошепчемся, а?

— Чего-о?

— Ну, поговорим шепотом.

— Давайте, — тоже сразу переходя на шепот, стыдливо согласился я.

И мы заговорили шепотом.

— Вы откуда? — наклонилась она ко мне.

— Сибиряк я, красноярец.

— А я здешняя, краснодарская. Видите, как совпало: Краснодар — Красноярск.

— Ага, совпало, — тряхнул я головой и задал самый «смелый» вопрос: — Как вас зовут?

— Лида. А вас?

Я назвался.

— Ну вот мы и познакомились, — сказала она совсем уж тихо и отчего-то опечалилась.

А я лихорадочно соображал: не сделал ли опять что-нибудь неловкое?

— А теперь помолчим. Вам еще нельзя много разговаривать. Вам поспать бы.

— Нет, не буду, мне уже ничего... — запротестовал я, — хорошо.

— Знаю я вас. Все вы так геройствуете, а потом...

И я сразу скис. Конечно, все мы. Нас тут много. А я-то

уж, готово дело, расчувствовался. Она небось со всеми так вот шепчется, всех ласкает, как умеет. Жалко ей, что ли, пошептаться или воды подать. А я аж целый стакан выдул, балда!

И до того я расстроился, что мне, по всей видимости, стало хуже, и когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы.

Солдаты просыпались, кряхтели и охали, потому что вместе с ними просыпалась боль от ран, боль от недавно сделанных операций. Стоны, ворчанье, кашель, ругань — знакомая картина.

По окну криво текут капли. Ветка черная видна, вся усыпанная каплями, светлыми, круглыми. Два нахохленных воробья сидят на ветке — подачек ждут — крошки им из окна бросают.

У нас с поврежденным позвоночником лежит Афоня Антипин из города Бийска или из деревни, что под Бийском. Он без подушки лежит, на матрасе, набитом песком. Кровать его поставили так, чтоб хоть эту ветку видно было, воробьев, — все радость какая-никакая.

За ним, так, чтоб можно было руками дотянуться и подать Антипину чего потребуется, глыбится грудью, брюхом и сыто хрюкает ноздрями старшина Гусаков, командир полковой разведки. Обе ноги у него в гипсе, желтые, белым вымазанные, пухлые ступни и пальцы с кривыми ногтями торчат из-под одеяла — оно ему коротко, одеяло-то, а он, скабрезник и посказитель, поясняет, что одеяло ночью с ног стягивается по причине воздействия хорошего харча и прелюбодейных сновидений.

Старшина спит здорово, но чуток, как птица, — разведчик! — и, учуяв шевеление в палате, хуркнул затяжно, прощально и сладко, завыл, открыв широченный зубастый рот. Зевая, он подтянулся, схватившись за спинку кровати, и глянул в окно:

— Прилетела стая воробушков на землю зерна клевать, ох и настала погодушка, растуды же, туды ее мать! Ну, что, Афоня? — это он к Антипину обращается, они из одного взвода разведки, и ранило их в одном поиске, и, кажется, вернулось из поиска-то всего двое — Гусаков с перебитыми ногами выпер с нейтралки Антипина на себе. Что-то, видать, не додумал, не доглядел Гусаков, перед тем как идти в поиск, и вот всячески выслуживается за всю перебитую группу перед Антипиным. Впрочем, если б на

фронте можно было воевать без ошибок, мы бы уж давно в Берлине были.

— Шоб тому хвюреру! — ворчит вислоусый украинец, мой сосед, схватившись за полоску бинта, приклеенную к животу. — Шоб ему на тым свити було як мэни сейчас...

— Как дела? — спросил меня Рюрик Ветров, всю ночь командовавший минометом.

— Живу, — коротко ответил я, глядя на лампу, которую забыла погасить Лида. «Где она сейчас? Сменилась или нет? Хорошо быть ходячим».

— Курить будешь? — опять полез с вопросом Рюрик.

— Без курева тошно.

— А я, братцы, закурю, — испрашивая у всех разом разрешения, сказал Рюрик.

Никто ему не ответил. Через минуту в палате хорошо запахло табаком, и ненадолго пропала палатная вонь, в которой смешались все запахи, какие только бывают в больницах.

Утренняя разминка продолжалась, шел ленивый треп, и ожидание няни с тазом для умывания и несколько позднее — завтрака.

— И что за сторона такая? Мокрень и мокрень! — жаловался старшине Антипин, делая передышки. — Текот и текот, текот и текот! Это ж весь тут отсыреешь. Вот бы меня домой — у нас уж мороз так мороз, жара так жара. И люди не подвидные, хоть в грубости, хоть в ласке нарастопашку. Меня бы домой, а?

Это повторяется изо дня в день — Антипин намекает старшине, чтобы тот выхлопотал эвакуацию в другой, желательно алтайский, госпиталь. Но дела Антипина плохи, ему нельзя и здесь-то шевелиться, даже много разговаривать нельзя, силы его убывают. Старшина Гусаков и все мы это знаем. Потому старшина увиливает от разговора с Антипиным. Он громко, с показной озороватостью, командует:

— Кому что снилось? Докладывай!

— Да че может нам сниться? Война! Все она, проклятая, все она...

— У меня опять мина в трубе зависала, мучился, мучился, — откликается из угла Рюрик.

— Выудили?

— Дак уж и не помню.

Худой, непородистой щетиной обметанный мужичонка, из тех, чьей фамилии не узнаешь, имени и роду-пле-

мени тоже, пока он не помрет или что-нибудь выдающееся с ним не случится, вдруг подал робкий и смущенный голос от двери.

— А мне баба приснилась. — Мужичонка сделал паузу, и вся палата заинтересованно насторожилась. — Голая! Прет на меня, понимаешь, и грудя у ей, как мины... — Мужичонка опять прервался, сглотнул слюну.

— Нну-у!!! Дальше-то чего?! Дальше?..

— Дальше? Испугался я. Попятился...

— Э-э-эх! — простонал старшина Гусаков. — Везет мудакам! Хватался бы за мину-то, обезвреживал...

— Э-э, нет! — Мужичонка оживился. — Я — сапер! Сдуру за мину не схвачусь. А ну как и рванет!.. Я думаю: такой сон к выздоровленью, братцы, а? — повернул он разговор на серьезное направление.

— Знамо! Баба голая да еще чужая уж зазря не приснится! Это уж точно!

Мы с Рюриком и рты пооткрывали — внимаем! Я и про боль, и про наркоз, и про все позабыл, но тут после долгих попыток все же уселся на кровати мой сосед, отстонался, отхныкался и укоризненно покачал головой:

— Ай-яй-яй! Парубки тут, диты неразумные, а воны таку шкоду размовляють!..

Старшина Гусаков сконфуженно крякнул, прокашлял скрипуче горло и, приподнявшись на локте, нашел меня взглядом:

— Ну как ты там, недорезанный парубок?

— Живу! — коротко, как и Рюрику, ответил я, не спуская глаз с лампы.

«Хорошо-о, — сердился я неизвестно отчего, — очень хорошо! Водички попил, на косыночку посмотрел, пошептался — и рассолодел, готово дело. И до чего я чувствительный, оказывается! Но не на такого напала! Меня, брат, такими штучками не доймешь... Я, брат... Я вот сейчас встану и погашу лампу. Какого черта она горит днем? Керосину много, да? Я вон до фронта на станции работал составителем поездов. Там дальние стрелки иной раз не освещали: керосину не хватало. А тут, видали, палят!»

Я оперся здоровой рукой о кровать, сел, и все пошло передо мной кругом: палата, стол с лампой, скуластый Рюрик, у которого ран было столько же, сколько и годов, — девятнадцать...

Постепенно все встало на свои места. Я глянул на Рюрика. Он мне подмигнул. Хорошая у него морда. Нос

набок, рот большущий, уши круглые, как у соболя; в треугольнике рубашки виднеется орел с утиным клювом, увлекающий женщину под небеса.

Рюрик знает обо мне решительно все, и я о нем тоже — мы одногодки.

Я подхватил раненую руку, поднялся, утвердился на полу, подошел к столу и дунул. Свет в лампе качнулся, взмыл вверх, и его не стало. Еще недолго от фитиля тянулся дым, обволакивая и без того потемневшее за ночь стекло, но и дым скоро исчез.

— Дай докурить, — подсел я к Рюрику.

Он обкусил замусоленную цигарку, выплюнул ошметок на пол, сунул недокурок мне в губы.

— Раза два дерни, и все, довольно.

— Ладно.

Я затянулся два раза, и Рюрик без лишних разговоров вынул окурок из моих губ. Я еще посидел маленько и, страшась расстояния в три шага, отправился на свою кровать. Голова закружилась. Меня качнуло и бросило на соседа. Он зажмурился от ужаса, но я не упал на него. Падать на него было нельзя — он ранен в живот.

— Носит тебя тут, — заворчал сосед. Он поймал меня за кальсоны, подтолкнул вперед.

Ходячих у нас в палате не было, и я кое-как самостоятельно добрался до своей кровати.

Я ныром вошел в подушку, отдышался и закрыл глаза. Стало сильнее тошнить. Зря курил, совсем зря.

Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил больше, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. После завтрака обход. Старшая сестра, палатная сестра, кастелянша, няня и другой разный народ — все в белых халатах, и у всех такой вид, будто они к безобразникам, если не к разбойникам в камеру, зашли, чтобы подвергать их исправлению и вообще поменьше с ними церемониться. Впереди всей челяди, как сухонький, маленький полководец Суворов, только без шпаги, Агния Васильевна — главный врач. У нее одной приветливое лицо, весело сверкает старомодное пенсне, да серые вихры из-под белой шапки торчат. Лицо, как она ни тужится делать его строгим, выражало давнее озорство, и я всегда думаю, с первого дня, как ее

увидел, с первого взгляда, что как, наверно, любил ее какой-то парень! Без ума!

Агния Васильевна, может, угадала эти мои хорошие о ней мысли, потому что ко мне хорошо относится, но прикрывает такую свою слабость строгостью. Уж так она строга ко мне, так строга, что мне порой и смешно даже. Но только не сейчас.

Лидочки нет среди челяди, сопровождающей Агнию Васильевну. Жаль. Ну ладно. Я на Агнию Васильевну люблю смотреть. Я бы не знаю что для нее сделал, а она даже и не взглянет в мою сторону! Задрала рубаху на том мужичонке, которому баба голая приснилась, постучала, послушала и заключила:

— Вас жена так заморила или на фронте отощали? — И, не дожидаясь ответа, кинула через плечо сестре, изготовившейся писать: — Усиленное питание!

Ох уж эта Агния Васильевна! Ну до чего же я ее люблю! Да что там люблю, обожаю просто! Вот если б она это знала, если бы посмотрела бы на меня!.. Хоть разок!.. Нет, не смотрит.

Азербайджанца Колю (у него другое имя, но трудное, и он махнул рукой: «А какой разница?! Пусть будит Коля!») слушает Агния Васильевна, слушает, щупает. Коле щекотно, и он ужимается, хихикает. А еще месяц назад Богу, или — как он у них там? — аллаху, что ли, душу отдавал. Когда ему сделали операцию, он, обалдевший от наркоза, утром мостился и мостился на кровати, улыбаясь всем нам светлой такой улыбкой. «Ты что?» — с ужасом, придавленно вопросил кто-то наконец. «А я сичас на кина пойду!» — все так же лучезарно улыбаясь, заявил Коля. Ну, тут все мы застучали, забренчали чем только можно, прибежали санитарки и Колю к кровати привязали.

Агния Васильевна звонко завезла по Колиной спине ладонью:

— В палату выздоравливающих!

Что тут началось! Азербайджанец рубаху на себя, вскочил, глазами засверкал:

— Вот! Кто прав! Я прав! Вот! Мне Полше гаварили: «Памрешь!» Украине гаварили: «Па-а-амрешь!!» и Левове, и Виннце, и Киеве — «Памрешь! Памрешь! Памрешь!» Как памрешь? Пачиму памрешь? Ни согласный! Жить хачу! Вина пить хачу! Танцивать хачу! Девушек любить хачу! — Колю тут же осенило: — Дайте я вас па-сссы-ц-

лую! — Раскинув руки, Коля двинулся вперед, но Агния Васильевна остановила его:

— Потом, потом! Придешь в процедурную и, сколько твоей душе будет угодно — целуй! Мы изготовимся, а сейчас обход. Не мешай!..

Говоря это, Агния Васильевна медленно двигалась к койке Антипина, и тон ее и выражение лица заметно менялись. Возле Антипина она пробыла недолго и все время уводила глаза. А он ловил ее взгляд, не умеющий и все-таки часто вынужденный врать.

— Вас переведут в другую палату, — сказала Агния Васильевна, помолчала. — В отдельную.

— В изолятор?

— Нет-нет, что вы! Просто в отдельную палату. Там тише, теплей. Удобней там...

Антипин все понял, попробовал бороться, отстоять еще что-то:

— Зачем же? Мне здесь хорошо. Ребята все свои... привык я к ним... Гусаков, товарищ старшина, однополчанин... ребятишки вон молоденькие! Веселые. Мне здесь глянется... — торопился Антипин, видя, что Агния Васильевна поднялась и собирается уходить от его койки.

В палате сделалось тихо. Так тихо при мне еще ни разу не было.

Агния Васильевна остановилась возле койки моего соседа.

— Ну а тут все пече?

— Пече, доктор, ох, пече...

— Шов рубцуется нормально. В палату выздоравливающих! Она у нас самая холодная. Чтоб не пекло! — Что-то неприятное, свойственное только докторам и всем тем, кто может беспрепятственно властвовать над людьми и распоряжаться их судьбами, появилось в голосе Агнии Васильевны. Я ее такую не любил, боялся и потому затаился под одеялом и не лыбился уж ей встречно.

— Та як же ж?.. Та ж болыть! И так пече. Так пече... — ныл мой сосед.

Но Агния Васильевна ровно бы и не слышала его. Сдернула с меня одеяло, послушала, велела показать язык.

— Покурил?! — Я опустил покаянно голову. — Разве от хлороформа мало обалдел? Могу добавить!

— Н-не! — испугался я. — Ну его!

Что-то похожее на улыбку тронуло сухие губы Агнии Васильевны, и пенсне сверкнуло приветливей.

— Ходить когда разрешите? — осмелел я.

— Сие зависит от тебя. Будешь смирно лежать — скоро, прыгать станешь — полежишь.

«Зависит, — раздраженно повторил я про себя. — Ну, зависит если, так полежу смирно. Не жалко».

Больше никакого разговору в палате не было. Деловито и молча закончив обход, Агния Васильевна удалилась из палаты и, комкая в руках фонендоскоп, что-то на ходу раздраженно сказала старшей сестре. Та плаксиво скривила губы и отвернулась.

Афоня Антипин накрылся с головой одеялом и лежал плоский, неслышный, будто и вовсе не было никого под одеялом.

Старшина Гусаков залез рукой под себя, шарил где-то в тяжелых гипсах или под гипсами, выудил из недр кровати плоскую грелку, брезгливо выплеснул в плевательницу лекарство из мензурки. Грелка заскрипела коровьим выменем, захлюпала влагой, и по палате угарно поплыл запах самогона.

— Афонь! Афонь! — потянул с Антипина одеяло старшина. — Тяпни для сугреву, а? Тяпни!..

Антипин не отзывался. Старшина опрокинул одну, другую, третью мензурку в себя, попробовал еще выдавить из грелки чего-нибудь, но больше даже не капало, и тогда он сдавил мензурку в руке так, что она хрустнула, и из пальцев старшины кровь брызнула на постель. Старшина, не замечая крови, мрачно матерился и спрашивал: где и как еще самогонки достать? Но этого никто не знал, и никто, кроме старшины, находящегося в неподвижном состоянии и все же умудряющегося через нянь добывать горючку, сделать такое не сумел бы, таланту не хватило бы, и, как бы оправдываясь за эту нашу бесталанность, Рюрик угрюмо сказал:

— Руку обрезал.

Старшина глянул на руку, досадливо бросил: «А!» — и стал обмывать ее из графина над плевательницей.

Я не смог пролежать, как было велено, и двух дней. Однажды вечером я потихоньку поднялся и, придерживаясь за спинки кроватей, побрел к двери. Перед тем как подняться, я долго глядел в зеркало и любовался прической — больше-то нечем было любоваться.

Я и забыл сказать, что с тех пор, как окончательно

очнулся от наркоза, я занимался только своей прической. Случилось так, что до этого у меня никогда не было прически. В деревне бабушка меня стригла наголо ножницами; в детдоме всех нас чохом обрабатывали машинкой. В ФЗО я пытался отпустить чуб, но дальше вершка дело не пошло — обкорнали. Ну а потом армия, форма двадцать, суровые порядки. Одним словом, лишь в госпитале наступила некоторая вольность. Я забыл сказать еще вот о чем. В этом госпитале я лежал недавно. В него я был переведен из армейского госпиталя, где и начал отращивать чуб.

Госпиталь этот именовался не то нервно-патологическим, не то нервно-терапевтическим. В общем, нервным. А у меня на руке были перебиты обе кости и нерв. Вот его-то и вылавливали доктора, пока я лежал под наркозом. Говорят, связали, но пальцы все равно не шевелятся. Рука совсем-совсем не болит. Она висит, ровно чужая. Пальцы на ней усохли и пожелтели. Мертвая рука.

Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня единственная профессия — составитель поездов и семь классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки.

«А, наплевать! Не один я такой! Не пропаду! Не так страшен черт...»

Мне надо выбраться в коридор, ну просто позарез надо. А рука, глаз, нога — это все пустяки. И то, что я в одном белье, — тоже пустяки. Я обернул одеяло вокруг бедер, как римский патриций, и вот в такой юбке щеголяю. Все ребята ходят точно в таких же. Так прилично, не видно аккуратно завязанной бинтами прорехи, и теплее, да и вообще удобно.

Главное — это моя прическа, мой, можно сказать, единственный козырь. Говорят еще, что я веселый и беззаботный парень. Очень веселый. Да, я люблю пошутить, знаю всякие там присказки. Парубок, словом!

Уверен, что, если бы Лида поговорила со мной еще раз, я бы такие вещи ей рассказал из книг, про фронт и про тому подобное, что она сразу бы сомлела и взоры наши и вздохи наши слились бы воедино!

Где я это вычитал? Сильно написано!

Вот я и в коридоре. Вспотел. Прислонился к стене. Горит всего одна лампа. Электростанция в Краснодаре еще не восстановлена. И вообще город живет еще трудно — это я знаю по разговорам.

В дальнем конце коридора наша «культурница» Ира

беседует с раненым. Судя по всему, намечает план культмероприятий. Я начал продвигаться вдоль стены к этой парочке. Раненый с сожалением выпускает руку собеседницы и досадно смотрит на меня. Я же на него не смотрю. Мне не до него. Я хотел спросить у Иры, дежурит ли сегодня такая тоненькая сестренка с огромными глазами, у которых белки блестят, как фарфоровые, и повыше черной завязки дышит ямочка, а спрашиваю совсем-совсем про другое:

— Ирочка! Который час?

Удивленная моим игривым тоном, Ирочка пожимает плечами, давая понять тем самым своему собеседнику, что она ничего общего с этим солдатишкой в юбке не имеет, и говорит мне время. Я еще полюбопытствовал: когда завтра откроется библиотека? Ирочка уже сердито ответила, что в послеоперационную палату она сама принесет книги и, кроме того, доложит главврачу, как я шлялся без разрешения по коридору.

— Что ж, валяй! — вздохнул я и отправился в свою палату. По пути заглядывал во все открытые двери.

Будто через нейтралку за «языком» к противнику крался я к своей койке по нашей, глухо затемненной палате, и все же за моей спиной раздался внятный шепот:

— И кто там оно ходит? Хлебом, винам просит? — Рюрик! Ну, не скроешься, не спрячешься от этого командующего «самоваром!»

— Охламон! — ругается Рюрик. — Сестрицу ту перевели в операционную. Операционная мадама с одним товарищем капитаном активно дружила! Огния свет Васильевна так этого не любит!.. И еще учти — дежурит сестрица через сутки...

— По мне хоть через трои!..

— И зовут ее Лидкой.

— По мне хоть Маргариткой!..

— И ушивается возле нее тут лейтенантик один.

— По мне хоть генерал!

— Дурында! — взъелся и подскочил Рюрик. — Кого охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик! Я в этих вопросах!..

— Когда и выучился?

Рюрик отвечает не сразу, напускает на себя важность, неспешно скручивает цигарку, ну все-все делает степенно, важно, а ведь такой же оголец, как и я, и, главное, знает ведь, что никакого действия этот солидный кураж

на меня не производит, а вот поди ж ты, кочевряжится! Видать, такая уж порода у этих саратовских брехунов!

— У нас, у саратовских, знаешь как?

— Ну, как? — гляжу я на него, ухмыляясь.

— А вот так! Родится малый — ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки и пошло: «Я не знаю, как у вас, а у нас в Саратове, девяноста лет старухи шухерят с ребятами!..» — Рюрик аж заподпрыгивал, аж задом об койку заколотил так, что пружины забрякали.

— Трепло! — сказал я, отобрал у него цигарку, дотянул, поглядел в кругленькое зеркальце, лежавшее на тумбочке Рюрика, поплевал на ладонь, приплюснул ерша на маковке и отправился «к себе» — обдумывать положение.

В коридоре госпиталя реденько светят повешенные на стены керосиновые лампешки, большей частью с побитыми стеклами, а то и вовсе без стекол.

Копотно, людно. Пахнет горелой соляркой, карболкой, йодом, хлороформом, гниющим человеческим мясом и, конечно, кровью.

Нынче этакое скопище запахов изысканно называют «букетом».

Но еще смешанней, еще запутанней и разнообразней коридорный треп — этакая «мыслительная разминка» перед сном, короче — самая настоящая трепотня людей, без дела слоняющихся из угла в угол.

Вот возле школьной карты, истыканной спичками, изрисованной намусленными карандашами и разными чернилами, сошлись «стратеги». С видом если не заправского преподавателя академии, то хоть заместителя по политчасти, директора нашей школы ФЗО — человек в кальсонах и с желтушно цветущими глазами все водит и водит по карте пальцем:

— Главное препятствие на нашем пути: Висла и Одер. Героические наши войска уже один из этих рубежей одолели и ведут неукротимое давление с Сандомирского плацдарма — и лагерь хищного врага трещит по всем швам!..

Ему внимают, открывши рот, четверо контуженых — этим хоть что говори, они все слушают и ничего не понимают, пытаются по губам угадать что к чему.

Интересное вот тоже свойство с людьми происходит — отшибет память человеку, и он впадет в детство, не только умственно, но и телесно, глядишь сзади: стоит школь-

ник в кальсонах, шея тонкая, затылок, как у петуха, даже и кость наружу, ручонки в кисти плоские, плечи узенькие, грудь запала.

«Как сюда ребятишки-то затесались?» — подумаешь. Но, глядь-поглядь, человек-то в морщинах, на пятках старые мозоли известью взялись, кожа с них сходит, от годов сутулится человек, а взгляд младенчески несмышленый, пытающийся что-то осознать... Сестры и няни зовут их: «Ребятишки, ребятишки...»

Два белоруса, поддерживая друг дружку, лепятся к стене возле карты. Ну, эти хоть кого слушать готовы и верить чему угодно. Оба они счастливые — недавно из освобожденного города Витебска впервые за три года письма получили! Плакали, обнимались, за сестрами гонялись, чтобы и их обнять и поцеловать. А те Агнии Васильевны боятся — еще подумает чего, с работы прогонит, недаром кличут ее Огнея! Огневка! Огнюха! С Огнюхой не забалуешься!

— Так то ж выходиць?.. — после долгого обдумывания задает добровольному политруку-политинформатору вопрос один из белорусов. — У тым логове скоро наши будуць? Як то выходиць?

Но не успевает «политинформатор» подтянуть кальсоны, сползающие со впалого живота, и ответить умственно, с достоинством на вопрос, как находится человек, вся и всех подвергающий сомнению.

— Держи хлебало шире! Он у себя даст прикурить, немец-то!

— То ж ня дай Бог у конце войны загинуць! — простовато высказывает таимую многими про себя тревожную мысль второй белорус. — Ня дай Бог!..

Махорочный дым слоями плавает по коридору. На подоконнике двое контуженых, еще не выучившихся говорить и писать, но уже наловчившихся играть в шашки «в Чапаева», — это когда щелчками выбивают строй шашек противника, сражаются на щелчки по лбу.

Давно они сражаются, у обоих уж лбы буграми вздулись, а их, дурачков, болельщики подначивают — они и рады стараться, раскраснелись, трясутся, с кулаками уж готовые друг на дружку пойти! Зрителям потеха!

Больше всего народу возле старшего сержанта Шестопалова. Вот уж травило так травило! За ним с утра до вечера так и таскается косяк слушателей и зрителей — есть не давай, только бы Шестопалова слушать! Он за-

брался с ногами на кожаный, единственный в коридоре диван, и оттуда слышится:

— Купимо бугая?.. — Дальше уж ничего не слышно, народ просто валится друг на дружку со стоном и безудержными рыданиями.

Мимо пробегает, култыхая загипсованной рукой, паренек с подергивающимися шеей и глазом, умеющий шевелить ушами. Но сейчас ему не до фокуса с ушами: видать, разболелась рука или черви под гипсом завелись, а может, клопы залезли! Это уж беда, если клоп под гипс попадет, — ничем его, гада, оттуда не выгонишь! Попитается, попитается и тут же отдыхает, потом опять жрет. Черви, те дурь выедают, и польза от них из-за этого, но когда их много разведется и рану они подчистят, тогда начинают мясо точить — тут уж скорее гипс надо снимать, иначе ревом реветь будешь! А реветь нельзя, кругом люди, и тоже больные.

Ах, сколько я уже видел всего и знаю! — мрачные мысли, проникшие было в мою голову, на которой заметно отрос чуб так, что я его начал уже набок зачесывать, отвлекла и разбила одна занимательная пара: угрюмый человек в короткой пижаме, с бровями, из которых вполне рукавицы вышли бы, если бы с толком кроить, и узкозадый, суетливый человечек с козлиной неряшливой бородкой — один из них будто бы подполковник, а другой — артист. Наверное, так оно и есть: говорит всегда этот, с бородкой, а тот слушает, не выражая никаких чувств ни слухом, ни видом.

Я увязался за этой парой — интересно же послушать артиста!

— Н-да-с! — семенил старичок, заплетаясь в одеяльной юбке. — И не спорьте! И не возражайте! — Тот, с бровями, не только не спорил и не возражал, он даже бровью-то своей меховой не повел! — Богиня Коринфская была поднята со дна моря неподалеку от ...ского голубого грота!

Вот черт, не расслышал! Какого грота? А все из-за Шестопалова: он опять чего-то травануп такое, что госпиталь закачался от гогота, и дежурная сестра выскочила из палаты со шприцем наизготовку и цыкнула:

— А ну, тихо! А то всех переколю!..

— И не спорьте, и не возражайте! — настаивал артист с бородкой. — Обычай целоваться не губами, а носами распространен не только среди африканских племен, но

и на некоторых полинезийских островах, следовательно миграции народов...

Нет, он, пожалуй, не артист, он ученый, пожалуй. А может, и артист и ученый сразу! А может, просто хлопуша и болтун, как Рюрик! Целоваться носами? Это как же? Тут и губами-то не знаешь, как это делается. В кино только и видал да в книжках читал. Но книжки и кино — что они? Искусство мертвое и только!

А вот если бы...

Я отправился в санпропускник, устроился возле ванной комнаты на колченогом диване и грянул во всю головушку:

Я — цыганский барон,
Я в цыганку влюблен!..

На мой голос явился «псих» из девятой палаты и закатил глаза:

— К-к-к-к...

— Пой, — сказал я мрачно. Я уже знал, что заики или те, кто перенес контузию и у кого восстанавливается речь, поют внятней, чем говорят.

И «псих» запел:

— К-канчай му-му-узыку!

«Психами» мы звали контуженых. Их у нас целая палата. Ни одного ранения нет на теле контуженого, ни одной дырки, а он все равно что не человек. Человек, не чувствующий боли, вкуса пищи, забывший грамоту и даже мать родную, — разве это человек? Все выбито, истреблено. Из него заново пытаются сделать человека. Но удивительное дело, почти все контуженые болезненно переносили музыку и пение. Вот и этот: я еще только начал петь, а он уже явился.

Поскольку многие из контуженых были взяты с передовой в беспамятстве и оставили там, на поле боя, все, в том числе и свое имя, мы их всех подряд звали Иванами. И я мрачно сказал этому Ивану, который уже заметно подлечился и верховодил в девятой палате:

— Уйди! Я еще немного попою и перестану!

Иван, как птичка, свернул голову на плечо, глуповато уставился на меня печальными глазами и открыл рот.

Я отвернулся от него и грянул дальше:

Знает свод голубой,
Знает встречный любой,
Даже старый наш клен
Знает, как я влюблен...

Иван хихикнул и поддернул кальсоны.

Я замахнулся на него.

Лицо Ивана вытянулось и сделалось вовсе глупым. Я ушел в палату. Так и не дознался я, кого хотел. Для Ивана или просто так мне петь не хотелось.

А в палате-то у нас перемена! Пока я шлялся да соло исполнял в санпропускнике, вместо Антипова Афони танкиста положили. С Сандомирского плацдарма партию раненых привезли. Танкист мечется, кричит: «Горим! Братцы, в нижний люк! Горим! Братцы, не бросайте!..» И бьется-бьется — того и гляди с койки свалится. Нянь в госпитале не хватает, поэтому без уговоров и приказов возле послеоперационных и тяжелых добровольно дежурят те, кто пошел на поправку.

Эту ночь мы поделили с Рюриком. Он тоже начинает потихоньку бродить по палате, правда, еще за койки держится. Не спал также старшина Гусаков. В изолятор к Афоне его не допускают, самогонкой он не разжился — не на что самогонки купить: и часишки, и все, что было, уже позагонял.

Рюрик поздней ночью убрел в операционную, явился оттуда с Лидой — она что-то несла в мензурке. Я не видел Лиду с того самого раза, поспешно вскочил с кровати.

— Здрасте!

— Здравствуйте, здравствуйте! — мимоходом бросила она — и к Гусакову: — Ну что вы, ей-богу! У нас на операции нет спирту, йодом обходимся. Нате вот... — и сунула ему склянку.

Гусаков, не глядя, что в ней, выплеснул содержимое в себя и скосоротился:

— Че это? Тьфу!

Лида положила ладонь на лоб танкиста, и он сморился, обмяк под ее ладонью. Я-то знаю, помню прикосновение этой ладони! Лучше всякой процедуры. Может, даже лучше всякого лекарства эта маленькая прохладная ладонь.

— Ах, ребятишки, как я устала, если б вы знали! — пожаловалась Лида мне и Рюрику. — Такие дежурства иногда выпадают... такие!..

— К Афоне нельзя? — прохрипел Гусаков.

— Нельзя! Вам сказано!

— А он живой?

— Живой-живой! Господи! Что я вас, дорогие, обманывать стану?!

Гусаков отвернул голову, скрипнул зубами, засыпая, — каким-то снотворным, видать, угомонила его Лида.

— Ну, я пойду, ребятишки! — вздохнула Лида и посидела еще маленько. — Не хулиганьте тут без меня?

— Анделы! — Шепот Рюрика.

— Вы у меня молодцы! — Лида поочередно потрепала меня и Рюрика по отросшему волосью. — Хуже будет, — кивнула она на танкиста, — зовите. Свет совсем не тушите: во тьме раненые хуже себя чувствуют. Хотя что это я? Вы ведь все знаете, — и она еще раз дотронулась до меня и до Рюрика и пошла из палаты. И так пошла, что вот хоть верьте, хоть нет, я едва не разревелся: такая она была худенькая, усталая, такая жалостная — ну спасу нет никакого!

Вот так штука!

Оказывается, голос мой растревожил не одних контуженых! Он достиг ценителя и проповедника искусств — культурницы Ирочки, которая немедленно мобилизовала меня в самодеятельность. После недолгого сопротивления я согласился петь для народа, робко надеясь, что уж если не чубом, то песнями своими покорю кой-кого.

И вот стою я в палате выздоравливающих (здесь в прежние времена был школьный спортзал) и под баян пою грустную-прегрустную песню:

Не надейся, рыбак, на погоду,
А надейся на парус тугой.
Не надейся на тихую воду,
Острый камень лежит под водой...

Я и раньше участвовал в самодеятельности и даже приз однажды получил на районной олимпиаде — коробку шоколадных конфет. Я угощал конфетами ребят и девчонок наших, детдомовских. Всем конфет не хватило, и последние резали пополам, а потом на четвертушки. Мне и четвертушки не досталось. Тогда первоклассница Муська Кочергина дала мне откусить от конфетки чуть-чуть, как от своей собственной. Муська, Муська, помнишь ли ты про конфетку? Я вот все помню. И как пельмени всей оравой стряпали на Новый год и бросали друг в друга тестом: и как задом наперед кино показывали; и как курили в уборной и вы, девчонки, выслеживали нас, а мы всегда грозились отлупить вас и не лупили, потому что в

нашем детдоме был закон — не бить девчонок и тех, кто еще мал. А мы ведь драчуны были, ой, драчуны! И учиться нам все некогда было, и грешили с нами взрослые люди. Я все помню, все!

На баяне играет Рюрик. Рюрик, по-моему, человек неистребимый. Он весь в осколках. Один осколок даже пробил ему щеку и попал в рот. И Рюрик говорит, что проглотил его впопыхах. Врет, пожалуй. А может, и не врет. Попробуй узнай у саратовского, когда он врет и когда правду говорит?!

Рюрик лежит пробитой щекой на деке баяна и выводит так, будто не в палате находится, а где-то на реке или на озере в закатный час и печалится вместе с угасающим днем.

Злая буря шаланду качает.
Мать выходит и смотрит в окно
И любовь, и слезу посылает
На защиту сынка своего.

Слова песни мы с Рюриком восстанавливали по памяти и, по всей видимости, сильно изменили их в соответствии со своими мечтами и талантами. Но припев остался тот же, и я невольно снижал голос и чувствовал, что припев этот получается доверительней и что дурной совет давала мне Ирочка: петь громче, чем, мол, громче, тем шибчей проймет. И что она понимает в искусстве! Ей только бы с офицерами в уголочке шушукаться. И как она в культурницы попала? Должность все-таки...

А баян ведет меня, требует не отставать.

Сразу солнце заплещется рыбкой,
И лучи серебром заблестят.
Если мать провожала с улыбкой,
То с улыбкой вернешься назад...

Пока Рюрик пробегает проигрыш, я жду (надо повторить две последние строчки и закончить песню) и мысленно успеваю пройтись по всей своей девятнадцатилетней жизни, такой еще небольшой, такой нескладной и все-таки моей, дорогой мне жизни.

Очень мне жаль, что ни с улыбкой, ни без улыбки не провожала меня мать. Никто не провожал. Я сам уехал в армию, добровольно, один. И встречать никто не будет. Вот выйду из госпиталя инвалидом, ни к труду, ни к жизни не приспособленным...

Умереть бы мне здесь. Вот тогда бы, может, и пожале-

ли обо мне все, и Лида, может, пожалела бы. И сказала бы, может: «Эх, парень-то был — и пел славно, и чуб у него был ничего...»

Я окидываю взглядом палату. Койки, койки, койки. Весь спортзал набит ими. На койках лежат и сидят раненые. Молодые и старые, русские и нерусские, беззаботные и грустные, с прическами и без причесок, с костылями и без костылей, с руками и без рук, с ногами и без ног. Горе людское собралось сюда и слушает мою песню.

Среди раненых рядом с офицером сидит Лида. Я уже давно перестал смотреть в ее сторону. И тушеваться перестал. Что мне до нее, когда вон сколько глаз смотрят на меня и чего-то ждут. Я сам раненый, я сам почти убитый, и потому я знаю, чего от меня ждут. И я обнадеживаю их, этих знакомых мне и незнакомых изувеченных людей:

Если мать провожала с улыбкой,
То с улыбкой вернешься назад.

Я не пою, я почти говорю им это твердым голосом, из которого исчезла моя, такая еще жиденькая печаль, печаль хотя и много уже повидавшего, но все же девятнадцатилетнего человека. И вижу, что мне поверили. Однорукие стучат о колени, лежащие колотят костылями об пол: аплодисменты.

Рюрик встает и чопорно раскланивается, как перед чужими, направо и налево. А мой глаз упрямо косит туда, где сидит Лида. Она делает несколько вежливых хлопков и обращает свои глазищи к молоденькому офицерику, который отрастил усики, форсистые черные усики. «Кому что нравится, конечно. Кому — чуб, а кому — усики», — мысленно глумлюсь я над этой парочкой и слышу заполошный шепот Рюрика:

— Поклонись, поклонись, дуб! Полагается!

— Иди ты! — Я выскочил из палаты.

Мне теперь все нипочем.

Да, на этот раз Рюрик не соврал: Лиду и в самом деле перевели в операционную, правда, будто бы временно, да мне-то не легче от этого. Я не мог видеть ее хотя бы издали. А если и видел, то проходил мимо нее с гордым видом и безразличным тоном бросал: «Здрасте».

Я пытался не замечать ее, и, когда она появлялась поблизости, я отворачивался и заговаривал с кем-нибудь. За-

ложив руку за спину, я небрежно отставлял ногу и со значением произносил: «Прут наши, прут! Скоро по домам!» Или: «Краснодар — препаршивый городишко, и люди здесь больно уж какие-то гордые», — и, как дурачок, хохотал.

А когда я однажды заметил, что тот самый офицер с усиками надел кожаное летчицкое пальто и пошел провожать Лиду, то с горя-кручины лихо закрутил с Капой из электрокабинета.

Пальто это меня доконало!

Опытные солдаты заводили знакомства с поварихами, а я по молодости лет подрулил к электричеству. Не потому, что тянуло меня к технике, а просто так, с отчаяния.

Капа усаживала меня в уютное кресло, накрывала одеялом, и меня начинало греть со всех сторон, в особенности из-под низу.

— Как на русской печке! — шептал я истомно.

Капа, черноглазенькая, быстроногая девушка, управлявшая множеством непостижимой техники, которая светилась синими и красными лампами, моргала, жужжала, чихала и тикала, пищала и верещала, — Капа сидела за столиком в бывшей когда-то учительской этаким властным колдуном, этакой владычицей нездешнего царства, делая непринужденные, размашистые росчерки в карточках больных.

А я травил:

— Вот знаешь, Капынь, вот так же вот сидишь, бывало, на печке, на русской, задницу печешь, пот по всем членам текет, в трубе ветер воет: у-у-у-у-у! у-ууу — ну чисто волк и волк! И такая жуть кругом, аж тараканы со страху во все дырки и отверстия лезут, и так ще-окотно!..

Капа поднимает веселую кудрявую головку от бумаг и, обнажая в улыбке беличьи зубки, грозит мне пальцем:

— Будешь хулиганить — отключу!

Э-э, нет, мне не хочется, чтобы меня отключили, самую уютную, самую теплую процедуру прописала мне Капа «по блату», из явной ко мне симпатии. Вот возьму тоже, да как провожу ее домой, на глазах у Лиды и офицерика того, так будут знать! Вот только пальто летчицкого у меня нету, даже и обмундирования никакого нет. Не пойдешь же в одеяльной юбке девушку провожать...

— Хочешь, Капынь, стишок почитаю? — предлагаю я и удивляюсь самому себе: ну почему это вот с Капой могу

трепаться как угодно, а как Лиду завижу — все заколодит: и ум, и язык, и все-все!

— Ну, где стишок-то? Давай! — Капа отложила ручку, кокетливо изогнула шейку, ждет.

— А-а, стишок-то? — Я шевелюсь в теплом кресле, устраиваюсь удобней и начинаю: — «У лукоморья дуб срубили, златую цепь в торгсин снесли, кота на мясо истребили...»

Капа давно тут работает, всякого народу навидалась и наслушалась всего, так что все эти штучки-дрючки знает. И я декламирую ей стих серьезный, про любовь, единственный стих, который я знаю, вычитал в одной потрепанной, старинной книжке, когда лежал в больнице, переломив ребро в драке с городской шпаной:

> Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,
> На время краткое, без траты чувств и сил...

Но к этой поре меня уж так размаривало, так во мне слабело и распускалось все, что язык мой начинал дрябнуть, заплетаться, и я ронял голову на грудь, погружаясь в обволакивающий мягкий, бархатный сон, при котором нет никаких сновидений, даже война не снится.

Так, кажется, ни разу и не дочитал я Капе это стихотворение до конца. Да, по правде сказать, я до конца его и не помнил.

Я заметно поправился за это время, но рана на руке не заживала. На каждом обходе лица врачей делались все озабоченней и озабоченней. Они вертели мою руку, кололи ее иглой, заставляли шевелить пальцами. Я напрягался, но ни один из пяти пальцев даже не вздрагивал и боли от иглы не было. «Хорошо», — говорили врачи и уходили. Но я уже знал, что, если врачи говорят «хорошо», — это значит плохо. Так оно и вышло.

Как-то днем появилась в нашей палате Лида и прямо направилась ко мне:

— Больной, будем готовиться к операции.

— К какой опять?

— К обыкновенной.

— Так я готов. Режьте! Чего вам еще? Клизму мне вовсе не надо. Брюхо у меня крепкое. Я не какой-нибудь офицер-интеллигентик...

Последние слова я проговорил совсем почти тихо, но Лида услышала их и уничтожающе сощурила глаза.

— Когда на операцию? — заторопился я.

— Завтра, в одиннадцать. — Она повернулась и ушла, а я закрыл лицо рукой и упал на подушку.

Я боялся операции. Я боялся наркоза. Я боялся темноты. Я боялся...

А тут еще процедурная сестра Паня, как всегда лучезарно улыбаясь, вплыла в палату белой павой, неся кружку с наконечником, как стеклянную хрупкую вазу с вареньем для милых деток.

— Кто-то последние известия слушать будет! — возрадовался Рюрик. Ну что ты с ним сделаешь, если он такой веселый? Я показываю ему кулак: «Ну, погоди, гад, ну, гад, погоди!»

Лежу вниз лицом. Паня надо мной с кружкой стоит и как ни в чем не бывало с ранеными болтает о том о сем. Из ее, хоть и осторожных, окольных слов, между прочим, сделали мы вывод, что дела у Афони Антипина в изоляторе неважные, и даже очень. Гусаков осунулся за эти дни, почернел, неразговорчив сделался.

Так бы оно, может, и кончилось все незаметно, с клизмой-то, но Рюрик — это ж человек какой? Он уж, как говорится, не даст молоку прокиснуть.

— Ну, что слышно по радио, Михей?

— Наша берет! И рыло в крови!

— Вон ему маленько охладительного оставьте, — кивает головой Рюрик на койку моего соседа. — У него все пече. Пече и пече.

Сосед починялся, бумажник чей-то кожаный за сахар латал, и взвыл горестно, бросив работу:

— И шо вона, та кобылка, усе грае? Шо вона така вэсэла?!

В ту ночь я почти не сомкнул глаз. Несколько раз ко мне подсаживался Рюрик, давал докурить и со вздохом уходил на свою кровать.

К одиннадцати часам я крепко-накрепко (чтоб не развязали) закрутил бинтом кальсоны и прошел в операционную. Там была только Лида. Она помогла мне снять рубаху, глянула на подвязанные кальсоны и ничего не сказала, лишь подсобила забраться на холодный операционный стол и прикрыла меня до пояса простыней.

Противная мелкая дрожь возникла внутри меня, дошла до губ, и меня начало колотить так, что стол или на столе что-то забрякало. Хорошо, что Лида возилась у кипятильника с инструментами и не видела этого. Из соседней комнаты с поднятыми вверх руками появился хирург

и отдал Лиде какую-то команду. Она наклонилась ко мне с просящей улыбкой:

— Будем ровно и глубоко дышать, да?

Я тряхнул головой, и тут же на мое лицо обрушилась маска. Послушно, как обреченный, я вздохнул и сказал: «Раз!» Потом: «Два!» Потом: «Три!» Когда дошло до ста двадцати, откуда-то издалека донесся убаюкивающий голос Лиды:

— Родненький, спи! Родненький, спи...

Затем голос главного хирурга:

— Почему больной не снял белья?

И еще чей-то:

— Глядите, как он подштанники-то бинтом прикрутил — не развязать.

И снова издали, и все тише, тише:

— Родненький, спи... Родненький, спи...

Должно быть, я плохо спал, потому что, когда очнулся в палате, на мне оказалась разорванная рубаха и здоровая рука моя прикручена была к кровати.

Возле меня сидел Рюрик.

— Ну, здорово, Мишка-Михей! — ухмыльнулся до ушей Рюрик.

— Здравствуй, Урюк! — сказал я ему с какой-то детской радостью.

Урюком я его еще никогда не называл, и Рюрик непривычно нахмурился, считая, должно быть, что я все еще не в своем уме.

— Отвяжи руку, — попросил я Рюрика. — Затекла. Бушевал я, что ли?

— Ой, бушевал! — откручивая накрепко привязанный ремень, помотал головой Рюрик. — В основном матом всех крыл. Врачиха тут, а ты кричишь: «Что фашисты, что доктора — одинаковы. Все кровососы!»

— Да ну?

— Пра! Оно, конечно, не в уме ты был. Но только уж и безумному такое непростительно. Я окончательно убедился, что против сибиряков по мату никто не устоит.

— Я что? Вот у меня дед был, тот колена загибал, так уж загибал!.. Вороны с неба валились кверху лапами! Как даст, так и готово!.. — Мне так хотелось говорить, вспоминать что-нибудь из жизни смешное. Но Рюрик решительно пресек мое опьянелое озорство:

— Колена! Загибал! — передразнивал он. — Посмотрел бы ты, как девушку ту загибало!..

— Какую девушку? — похолодел я и цапнул под одеялом — бинт на месте. Кальсоны прикручены будь здоров.

— Ту самую! Она около тебя так и этак, родненьким называла, а ты... Ребята в хохот. А она: «Человек, — говорит, — в невменяемом состоянии, и смеяться, — говорит, — над ним подло... Подло! Подло!..» — И еще ногой топнула. Ну, я тут одному костылем по кумполу отоварил. В дверь заглядывал... В общем — концерт!

Я не успел ничего сказать Рюрику в ответ. Дверь в палату открылась, и стремительно влетела в палату ОНА. Губы у нее строго поджаты, лицо силилось быть суровым, но глаза смеялись.

— А ну, где тут этот гренадер? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь.

Я закрыл глаза рукой и еще одеяло на себя натянул. Но Лида приоткрыла одеяло и стала отнимать руку от лица, разжимая пальцы один за другим.

— Видали вы его, прячется, устыдился! Нет, вы поглядите, поглядите на меня, — все тем же строгим голосом, в котором бился смех, требовала она.

И я поглядел. И навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно:

— Лида!

— Что, родненький, что?

— Лида! — повторил я еще тише и увидел, как Рюрик подается из палаты, прихватывая с собой всех, кто способен двигаться: создает условия. От этого я вовсе смешался, и наступила долгая пауза.

Лида послушала у меня пульс, посмотрела температурный листок. Хорошо быть медиком. Если разговору нет, делом можно заняться.

— Та-ак, больше покоя, не курить, не дрыгаться лишка... Слышите?

— Вы будете приходить теперь... ко мне?..

Она погладила меня ладошкой по лбу и тронула за отросший чуб.

— А тебе хочется, чтоб я приходила?

— Ага.

— И ты не будешь больше ругаться?

— Нет.

Лида все еще перебирала пальцами мои волосы, и я

боялся шевельнуться, даже дышать боялся. И хотя в палате лежало несколько человек после операции, мы, кажется, чувствовали себя так, словно были одни.

— Идти мне надо, Миша, — с озабоченным вздохом сказала Лида, а сама продолжала сидеть.

Я осторожно сжал ее пальцы:

— Посиди еще маленько, ну?

— Две минутки, ладно?

— Пять.

— Ну, хорошо, пять, — уступила она.

И мы просидели не пять, а, наверное, целых десять минут. Когда она ушла, явился Рюрик и сообщил радостную весть: прибыл фотограф Изик Изикович Шумсмагер, и он, Рюрик, захватил на всю палату очередь.

На койках пошло шевеление. Рюрик в зеркальце глядеться взялся, прилизываться начал. Кавалер!

Меня он тоже тайком вывел во двор, и сначала я ничего не разобрал, захлебнулся воздухом, и голова моя пошла кругом. Ладно, Рюрик за талию держал, как барышню, а то бы я упал, пожалуй. Мы и снялись с Рюриком вроде бы как в обнимку, на самом-то деле поддерживали друг дружку. Он и сам-то еще ходить много не умел, хорохорился больше.

Был там такой гвардеец-доброволец, становился за спиной раненого, подпирал его плечом, а Изик Изикович, держась за черную круглую заслонку, из-под которой обычно птичка вылетает, делал отмашку рукой, будто командир орудия:

— Левее! Левее! Тэ-э-экс! Минуточку! Одну минуточку... Подбородок вище! И не так грозно, не так грозно! Ви же, надеюсь, не дорогому фюреру будете карточку высылать? Ви маме высылать ее будете! А маму пугать не нужно. Мамы и бэз того напуганы. Внимание! Опля! Прошу следующего героя!

Гимнастерку, штаны, фуражку и сапоги всем ссуживал тот самый младший лейтенант, что провожал Лиду. К ней, к этой гимнастерке, только награды свои перецеплялись, а у кого наград не было, тому младший лейтенант давал сниматься и с орденом своим — Красной Звезды, и с медалями своими, заявляя каждому ранбольному: «С тебя пол-литра!» А те его отшивали: «Шибко пьяный будешь!..»

В нижней рубахе, в палатном, заношенном халате, усиками только отличимый от солдатни, младший лейтенант слонялся по двору, травил чего-то и зароптал только тог-

да, когда его гимнастерку попытались надеть на старшину Гусакова, потому что она затрещала по швам, и младший лейтенант вслух ужаснулся: в город не в чем спикировать будет!

Тут старшина Гусаков, которого медленно вывезли на тележке, осторожно пытались поставить на ноги и подпереть плечом сзади, как шуганул услужливого подпорщика да как рявкнул на весь двор:

— Сымай так! Я со своей бабой пятерых ребят нажил! Я свою бабу обманывать не ж-желаю!.. Сымай, в три господа бога!..

Изик Изикович испугался, забегал, забормотал, дескать, он тут ни при чем, он готов отражать любую действительность... но все желают быть красивыми, и он делает их по возможности красивыми. Ведь даже великий русский писатель Достоевский... Не знаете такого? О-о, это был плодотворный писатель! Он написал много толстых книг! Так вот, даже Достоевский говорил, шо красота спасет мир, и хотя предначертание это не сбылось, будем надеяться — все же сбудется, хоть в какой-нибудь степени... Такой человек ведь не может напрасно бросать такие слова на ветер...

Вся эта сыпучая и ласковая болтовня Изика Изиковича не подействовала на Гусакова — вышел он на карточке огромной белой глыбой с твердо сжатыми челюстями, и только награды, много наград, прицепленных к нижней рубахе, как-то оживляли карточку и лежащего на тележке старшину.

А почему он озверел и таким голосом рявкнул — объяснилось тут же. Когда старшину везли по коридору на тележке, встречь ему выкатилась белая тележка из изолятора. Старшина попросил остановиться, приподнял на встречной тележке простыню и долго, пристально глядел под нее. Потом, как из пустого дупла, раздался его отдаленный, чужой голос:

— Как все просто! Один перекресток и две дороги: в наркомзем и в наркомздрав... — Неловко и грузно извернулся так, что затрещали на нем гипсы и посыпались крошки, припал к соседней тележке лицом и просипел задавленно: — Прости, Афоня! Не уберег... — Откинулся на свою тележку, махнул рукой уже вяло: везите, мол, кого куда положено...

Дня через два Рюрика перевели в большую палату и соседа моего тоже. Я попросился туда же. Прибыла боль-

шая партия раненых, в послеоперационной палате срочно нужны были места.

Мы здорово устроились с Рюриком за печкой-голландкой, поставив две кровати вплотную. Это был чуть затаенный, дальний уголок, и сюда устремлялся госпитальный люд с разными делами, не терпящими постороннего глаза: играли в карты, рассказывали всякую всячину, выпивали, если удавалось достать вина.

Вот старший сержант Шестопалов пыхтит, за печку протискивается. А здесь и так уже теснотища — Рюрик с Колей-азербайджанцем в подкидного играют и лупят друг дружку картами по носам, с оттяжкой лупят. У Коли и без того носище, как у парохода, а тут еще Рюрик уличил — мухлюет, азиат лукавый! И ну ему нос набок всей колодой карт сшибать. Коля шмыгает носищем после каждого удара и смиренно оправдывается:

— Ми, васточные люди, ни можим не мухлевать в любви и в азартных играх. Наша душа восточная фантастическая!.. Шехерезаду знаешь? Восточный народ придумал!.. Восточный народ!

— А вот игру в русского дурака худо знаешь.

— Асва-ываю!

Шестопалов отгреб карты с тумбочки, выудил стакашек из-под кровати, налил до краев мутной жидкости, выпил, в себя вслушивается:

— А-а, милая! — шепчет он, прикрывая глаза. — Идет! Идет! Воскресе душа и возрадовахуся!..

Было кольцо золотое на правой руке Шестопалова, с «брыльянтом» — как он называл белую бусинку, впаянную в кольцо, — охолостела рука Шестопалова. Плеснув по половинке стакана Рюрику и Коле-азербайджанцу, Шестопалов утырил грелку под пояс кальсон и стал закуривать. Рюрик выпил, задохнулся, головой очумело потряс. Коля выпил — скривился.

— Это вина?!. Приезжай на моюм родина, в Акстафа, я тебя такой вина налыо! М-м-мых! — целует он щепоткой сложенные пальцы. — А этот вина клопов душить и штрафникам пить самий раз, чтобы умирать не боялись.

— Я и есть штрафник, может? — Мутнея взглядом, Шестопалов решает про себя: еще выпить или погодить? Внутренние его борения с самим собой легко можно угадать по лицу.

Рюрик последний раз врезал картами по носу Коли-азербайджанца, тот красно высморкался в плевательни-

цу, пощупал осторожно нос и качнулся на Шестопалова, впавшего в угрюмость:

— Шту сыдыш? Шту ты сыдыш? Вина есть, он сыдыт! Сам ни хошь, гостю налывай, — тыкает он себя в грудь, — как пострадавшему!

Грелку они таки опорожнили. Шестопалов разохотился, вылез окном во двор и махнул на рынок задами госпиталя. А Рюрик с Колей-азербайджанцем продолжали сражение и изводили меня тем, что я вот пить бросил уже, скоро курить, поди-ко, брошу и вообще Бог знает до чего могу докатиться по причине влюбленности.

В палату, как всегда, важно, как всегда, с улыбкой царицы вплыла сестра Паня. Я зашипел: «Полундра!» — ребята сразу карты спрятали, дым начали руками разгонять. Но Паня уж тут как тут, принюхивается, пошевеливая чистеньким носиком, и розовенькие ноздри ее вздрагивают, как у чуткой лесной зверюшки-соболюшки. Шестопалов от пышной, чистенькой Пани без ума. Не встречайся, говорит, в укромном месте! Не отвечаю, говорит, я за себя; могу еще раз, говорит, в штрафную угодить, а я уж, говорит, два раза в ней был...

— Пануша, сыграем бдурака! — предлагает Коля-азербайджанец сестре, переставшей улыбаться и подозрительно принюхивающейся.

— Я вот вам сыграю! Я вот вам сыграю!..

— Что такое? — Рюрик с Колей-азербайджанцем уставились друг на дружку с полным недоумением. «Ну, гады! Ну, артисты!» — Я не удержался, прыснул и отвернул лицо к стене.

— Сивухой от вас прет, вот что такое!

— Ка-ааакой нух! Ц-цы-цы! — поражается Коля-азербайджанец. — Пануля, тебе с таким нухом шпиенов нада лавить! С таким нухом!

— Шпионов! Я вот вас поймаю и ко главному потащу! — И неожиданно мне: — А тебе как не стыдно, Миша?! Такой хороший мальчик и вдруг связался с такими разложившимися типами!..

Она повернулась и уже без улыбки, в полном расстройстве покинула палату, а Рюрик упал на койку, задрал ноги так, что видно сделалось заплату на заду кальсон, и до слез, до рыданий хохотал, показывая на меня пальцем. И Коля-азербайджанец не отставал от него. Они даже пытались, что-то сказать насчет меня и не могли сказать, уморенные смехом.

Я завез тому и другому затрещину и отправился к Капе в электрокабинет, затем к массажистке, затем...

Как только попал я в палату выздоравливающих, дела мои пошли на поправку. Рука стала оживать, и я принялся тренировать ее. Мало того, что я донимал массажистку и заставлял ее выделывать с рукой разные штуковины, я и сам все время тревожил немые пальцы, шевелил их, заламывал и уже мог, правда, еще с трудом, держать цигарку. И еще, каждую минуту, каждый час, словом, все время ждал Лиду. Она дежурила через сутки, и эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Я говорил себе: «вот осталось уже полсуток», «вот десять часов», «вот четыре часа», «вот час».

Когда оставался один час, я выходил в раздевалку и околачивался там.

Парадная дверь была широкая, со стеклами, и я замечал Лиду еще во дворе. Она чаще всего являлась со старым портфелем, у которого оторвался один железный уголок. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий.

На Лиде было узенькое в талии пальтишко, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлестанным хвостом. И еще на ней был беретик, освеженный акрихином. Ей очень шло желтое.

Ей все шло. Девчонки, работавшие в госпитале, да и все мы считали, что Лида шикарно одевается и имеет дополна всякой одежды. И как я удивился, когда узнал впоследствии, что у нее было всего лишь два платьишка да кофточка, та самая, со шнурочком.

Полюбовавшись Лидой издали, я задавал стрекача по коридору. Потом точно рассчитывал время, потребное на то, чтобы раздеться человеку, и не спеша, вразвалку, с видом не обременного никакими заботами парня шел насвистывая. На повороте я «неожиданно» сталкивался с Лидой и удивленно приветствовал ее:

— О-о, Лида! Мое глубокое почтенье! Как ваше ничего поживает?

— Здравствуй, Миша! Ничего мое поживает ничего, — и улыбалась усталой и доброй улыбкой.

Один передний зуб у нее чуть сломлен наискось, и меня он особенно умилял. Но я не показывал виду, что меня умиляет зуб, и безразличным тоном говорил:

— Заходи в гости, когда захочется.

— Хорошо, зайду, если будет время.

Но времени у нее часто не оказывалось, и тогда я ждал ее еще сутки.

Лишь иногда после вечернего обхода и после окончания процедур у Лиды выдавался свободный час-другой, и она приходила за печку слушать сказки. Я никогда не умел рассказывать сказки. А тут приохотился и, видно, рассказывал подходяще, потому что Лида и солдаты слушали их с большим вниманием.

Вскоре все сказки, какие я знал, кончились, и я стал их придумывать. Наверное, это были чудные сказки, потому что я собирал в кучу и прочитанное из книг, и виденное в кино, и разные были и небылицы. Но за то, что эти сказки имели в общем-то схожее содержание, можно ручаться.

Подобных историй, оторванных, как принято сейчас выражаться, от действительности, я наслышался в детдоме от бывших беспризорников. Но я их переделывал на свой лад. Вместо душегуба-блатняги у меня преимущественно действовал благородный воин-храбрец, а вместо купеческой дочери — фронтовая сестра, называемая то принцессой, то царицей. Оба они были красавцы, и оба из сражений выходили целы и невредимы, а дальше шло, как во всякой доброй сказке: женились, справляли свадьбу. Я там был, мед пил и так далее.

Чудные это были сказки! И Лида, очевидно, догадывалась, что я выдумываю их, но она не прерывала меня и хорошо слушала. Она ведь знала, что я стараюсь для нее и что солдаты, которые слушают вместе с нею мои сказки и хвалят меня за них, вовсе тут ни при чем.

В госпитале возбуждение, суета и сумятица — идет подготовка к Новому году. Должны приехать наши шефы со швейной фабрики и студенческий ансамбль медицинского института — давать концерт. Студентов мобилизовали Агния Васильевна, читающая какой-то предмет на каком-то курсе института, и ее любимая студентка и помощница Лида. А швейников завербовал Шестопалов, давно проникший в сердца разлученных с мужьями модисток, шьющих, чинящих белье нашему и многим другим госпиталям.

Праздник разбит на два этапа: сперва студенты концерт дадут, а назавтра швейники прибудут и чего-то принесут, — намекал Шестопалов.

В коридоре стук, бряк, волнение. Больше всех суетится культурница Ира, и голос ее слышен везде и всюду:

— Молоток? Кто взял молоток? Вы же порвете панно! Панно, говорю, порвете! Не знаете, что это такое? Нет, товарищи, это невозможно! Я н-не выдержу, н-не выдержу! Я сама попаду в палату контуженых!..

Рояль в коридор выкатили. Все, кому не лень, бренчат на нем. Ирочка отгоняет от инструмента ранбольных и раскудлаченная, потная летает по коридору, вроде бы не касаясь пола, всюду и везде дает указания и постоянно уверяет руководство и себя, что она таки не выдержит, таки угодит к психам.

Между прочим, тот самый псих, что рассказывал про богиню Коринфскую и про то, как целуются носами (умора, ей-богу!), смущенно, дергая себя за бородку, предупредил Ирочку насчет палаты контуженых: вы, мол, знаете, как на них музыка дурно влияет.

— Знаю, знаю! — оборвала его Ирочка. — Сейчас, между прочим, у всех нервы! И у меня нервы! Распустились, понимаешь!..

Старичок сконфузился, теребнул еще раз себя за бородку и тихо удалился в девятую палату.

И вот наступил долгожданный день! Лежачих вынесли на носилках, повыкатывали на тележках, и пошла музыка.

Один парень из медицинского института жарил на барабане, другой изо всех сил дул в трубу, третий — в саксофон, а длинноволосый студент в латаных штанах юлил смычком по скрипке. Девчата увлеченно пели всякие песни про любовь и про войну.

Студенты не только играли и пели, они еще и сценки потешные разыгрывали. Одна сценка уж больно смешная получилась. Из санпропускника явился на костылях одетый в драный немецкий мундир и в дырявую каску «фриц» с нарисованными углем усами. Студент в латанной на рукавах вельветке, но при галстуке, который вел концерт и называл себя в нос «конфэрансьэ», глянув на «фрица», пожал плечами и спросил у всех нас:

— А это, простите, что за фигура? — И повернулся к «фрицу»: — Мы, любезный, кажется, вас сюда не звали?

Хохот прокатился по коридору и разом замер — все предвкушали, какая потеха дальше пойдет, если уж сейчас смех удержать невозможно.

— С-под Сталинграда пробираюсь! — жалостливо за-

ныл «фриц». — Щоб об любимого фюрера эти костыли обломать!..

Ну, тут уж все грохнули так, что в лампах свет подпрыгнул, и заговорили:

— Во дает!

— А нога-то, нога-то?! Крива!

— Дойдешь ли до Берлина-то?

— Вы поглядите, как он поумнел после Сталинграда! — усмехнулся конферансье.

— Умнель! Умнель! — согласился «фриц» и чего-то еще хотел сказать, но все представление чуть было не испортил старшина Гусаков. Он последнее время возжается с Шестопаловым, и вот, видать, они опорожнили на двоих грелочку с микстурой, и оттого перепутал старшина искусство с жизнью и загремел, приподнявшись на тележке:

— Поумнел?! Об чем ты раньше думал, живоглот? Где твоя башка была? Объясни народу!..

— Говори, стерьва, не то мы тебе!.. — поддержал старшину Шестопалов, и другие ранбольные тоже грозно загоношились.

Едва угомонили публику. «Фрицу» даже каску пришлось снимать и доказывать, что он самый настоящий русский парень из медицинского института и никакой не враг, а шеф и что все это было лишь искусство, направленное против фашизма. Однако номер с «фрицем» дальше продолжать студенты не решились, хотя там еще были сатирические куплеты и танцы на костылях, завершающиеся пинком «фрицу» под зад. Во всех других местах этот номер имел потрясающий успех, а здесь не прошел, здесь ведь не простой госпиталь, а нервно-патологический, о чем забыли медики и руководство забыло.

И, надо сказать, напрасно забыло оно об этом!

В коридоре был полумрак, потому что горело возле артистов всего несколько привезенных ими же свечей да несколько лампёшек на стенах. В дальнем конце коридора, занавешенная красным одеялом, виднелась дверь девятой палаты. За нею шла жизнь, а какая — никто пока этого не знал.

Концерт после небольшой заминки продолжался и вошел в свое русло. Ребята уже исполнили один номер, другой. Уже спела белокурая девушка неугасимый в то время «Огонек», а Лида все не появлялась. «Неужели не придет?» — расстроенно думал я.

Никакой договоренности насчет концерта у нас не было, но я все же захватил для нее место и упорно оборонял его от наседающей солдатни. На моем же ряду сидел тот офицер с усиками и тоже нет-нет да и озирался по сторонам. Я не озирался, но все равно почувствовал, когда появилась Лида. Офицер сразу вскочил и предложил ей свое место. А я только метнул взгляд в их сторону и отвернулся.

— Сидите, сидите, — тихо сказала Лида офицеру и уважительно, как бы оправдываясь, добавила: — Чего же вам стоять, когда есть свободное место.

Она, очевидно, по моему взгляду или еще по чему догадалась, что, если не сядет рядом со мной, я уйду и чего-нибудь натворю: окно разобью, лампу, а может, и зареву. И она села рядом со мной и сразу уставилась на оркестр с полным вниманием.

Я тоже напряженно слушал оркестр и не отрываясь смотрел на него.

Народ захлопал, зашевелился, и я тоже с запозданием начал хлопать. Кто-то втиснулся еще на наш ряд, и меня прижали к Лиде. Я испуганно отодвигался, теснил и наваливался на моего бывшего соседа в операционной палате, а теперь вот и по скамейке соседа. Везет мне!

— Шо я тоби, забор? А? Дэрэвьяный, га? — не выдержал он.

— Оловянный! — рыкнул я.

«Дэрэвьяный» удивленно уставился на меня, моргнул раз-другой и не стал больше ничего говорить.

В это время конферансье, рассказывавший ехидные штуки про Гитлера и его клику, объявил в нос, как настоящий столичный конферансье:

— Л-любимая песня фронтовиков — «Дочурка»!

К роялю подошла улыбающаяся девушка, поклонилась нам и запела:

Злится вьюга всю ночь, не смолкая,
Замело все дороги-пути.
Ты в кроватке лежишь, дорогая,
Нежно мишку прижавши к груди...

Пела девушка о маленькой дочурке, которую в полуночный час, в час короткого роздыха между боями вспоминал в окопе отец. И то, что от имени отца-фронтовика пела об этом девушка, женщина, почему-то особенно тревожило и скребло сердце.

Одеяло на двери девятой палаты шевельнулось, и из-под него возник Иван, тот самый, что просил меня прекратить «м-музыку». Иван прислонился спиной к дверному косяку и стал слушать. Я с тревогой следил за ним и почувствовал, как обеспокоенно шевельнулась и напряглась оцепенело Лида.

Рот Ивана начал подергиваться и кривиться. Казалось, какая-то жилка на его лице сделалась короче и оттягивала губы вбок. Иван с таким усилием выпрямлял губы, что пальцы его сжимались в беспокойные костлявые кулаки. Блик от свечи падал на лицо Ивана, и я увидел, как постепенно разгораются и дичают его тоскливые глаза.

Это же заметили и санитарки, которым велено было бдить и в случае чего принимать решительные меры. Они белыми тенями возникли подле контуженого и принялись осторожно и молча оттирать его от косяка в палату. Иван тоже молча и настойчиво отбивался от санитарок. Он смотрел в одну точку — на свечу, рот его подергивался, будто он судорожно сглатывал музыку.

И вдруг Иван издал клокочущий, гортанный вопль:

— Н-не ца-ца-пай-те! — И тут же высоко, как резинового, подбросила его страшенная сила, и он упал, сраженный припадком, ножницами раскинув ноги.

Музыка оборвалась. И теперь особенно явственно слышалось, как часто и тупо стучит затылок контуженого о деревянные половицы. На крики Ивана выскочили из палаты еще несколько контуженых, и началось...

Свечи погасли. Коридор провалился в темноту. Раненые бросились бежать. Крик, стон, вой...

— А-а-а-а-а!

— Бомбят, что ли?!

— Товарищи, товарищи!

— Уби-и-или-и-и-и! Ой, убили-и-и-и!

— Больные, спокойно! Голубчики, спокойно! — взывала во тьме Агния Васильевна. Но ее никто не слышал и не слушал.

Няни старались поскорее растолкать по палатам тележки, унести носилки.

— Кончай панику, в господа бога! — перекрывая весь грохот, заорал старшина Гусаков и тут же опрокинулся с тележки, громко рухнув на пол, хрустнули на нем гипсы, голос оборвался.

Видимо, опыт разведчика подсказал мне, как надо дей-

ствовать в этой обстановке. Я схватил Лиду, прижал к стене, загородил собой и кричал ей:

— Стой! Изувечат! Стой, говорю!

Она порывалась бежать.

— Да стой же ты!..

Кто-то сильно ударил меня, а потом рванул за раненую руку так, что в глазах закружился огонь. Я охнул. Оседать начал.

— Миша, что с тобой?! — подхватила меня Лида и в ужасе истерически крикнула: — Свет! Зажгите свет! Ой, да что же это такое?

Появился свет. Санитарки и солдаты из выздоравливающих навалились на Ивана, связали его полотенцем. Контуженый все еще вздрагивал на руках санитарок и со всхлипами брызгал слюной и пеной. Гладя по мосластым спинам и по стриженым головам других контуженых, наговаривая им что-то умиротворяющее, баюкающее, санитарки повели их в девятую палату. Туда же пробежала дежурная сестра со шприцем наготове и со стаканом воды. Двоих солдат и старшину Гусакова, валявшихся на полу, тут же унесли на перевязку. Несколько человек, люто ругаясь и охая, пошли в перевязочную сами.

А я, когда близко мелькнула лампа, увидел кровь на щеке Лиды и рванулся к ней:

— Кровь?!

— Какая кровь? — изумилась Лида и вдруг схватила меня за руку. — Это твоя! Это твоя... Я слышала, как потекло по щеке. — И сильно потащила меня: — Скорей на перевязку, скорей...

Мы очутились в перевязочной. Там толпился бледный народ. Кто похохатывал, кто требовал скорее остановить кровь, некоторые все еще рыдали, ругались, а иные лишь слабо стонали. Гусакова оживили нашатырным спиртом.

— Все это сикуха-культурница! Предупреждали же ее контуженые об музыке, предупреждали! — ругался старшина, и голос его успокаивающе действовал на раненых, на меня в особенности.

Я потихоньку выбрался из перевязочной и пошел искать Рюрика. Он оказался цел и невредим, помогал сестрам. Помогали и студенты-медики, Коля-азербайджанец, парень, который изображал фрица, даже усики не успел стереть. Я тоже стал помогать. Но тут послышалось: «Миша-а! Мишка! Вы не видели Мишу?» Я еще и подумать не

успел, что это обо мне, — мало ли Мишек на свете, как налетела на меня петухом Лида:

— Герой какой нашелся! Без перевязки ушел...

— Не шуми ты, Лидка, ничего мне не сделается.

— Да, не сделается, — сказала она, и губа у нее запрыгала. — Вон кровь-то лье-от! Иди, говорю, на перевязку, несчастный, а то я тебе не знаю что сделаю!

И я пошел на перевязку.

Ирочку с работы выгнали. Раненых привели в порядок. Все прибрали, наладили. Вот только шефы наши пострадали — остались без инструментов. В суматохе погнули трубу, на барабан кто-то наступил или упал и покорежил его. Студенты, по слухам, прирабатывали на хлеб музыкой этой. Остались без приработка — жаль. Неловко получилось. Нехорошо. Я всегда презрительно относился к этой Ирочке. Оказывается, не зря.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После этой «битвы» отношения между мной и Лидой сделались такими, что мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться.

Если по какой-либо причине я не выходил ее встречать, она сама появлялась в нашей палате хоть на минутку. Солдаты к этому уже привыкли и даже насмехаться надо мной перестали. Мало того, нас всячески оберегали, и до меня дошел слух, что всем надоевший грубиян и выпивоха старшина Гусаков отчитал офицера с усиками за то, что он сказал какую-то поганость о нас с Лидой, и в заключение даже будто бы кулачище под усики младшему лейтенанту поднес. Ну, это уж придумали, пожалуй. У нас тут присочинить есть такие мастера, что закачаешься.

Конечно, если бы услышал какую гадость я сам, то просто дал бы плюху младшему лейтенанту, и все. А за это меня выдворили бы из госпиталя, а может быть, в штрафную роту отослали бы. Бить офицера солдату не полагается, даже в госпитале.

Катится время, бежит. Весна скоро. Шестопалова, старшего сержанта, моего соседа — «дэрэвьяного», Колю-азербайджанца и еще много кого уже выписали из госпиталя и направили на пересыльный пункт.

Рюрика тоже комиссовали домой — у него на легком не зарастает дырка. Он получил новое обмундирование и

ждал какую-то окончательную бумагу. Завтра я провожу его на поезд. Мне разрешили. А сегодня он меня спросил:

— Ты хоть знаешь, где живет Лидка-то?

— На улице Пушкина, дом с поломанным крыльцом и с флюгером на крыше.

— Ну, раз с флюгером, значит, найдешь, — заключил Рюрик и бросил на мою подушку сверток с обмундированием.

Я прикрутил к гимнастерке свои награды, стараясь попадать в просверленные Рюриком дырки, надел тесные сапоги и предстал перед народом весь скованный, стесненный новым обмундированием.

— Ну как, ничего, братцы?

— Какой там ничего?! Гвардеец! Чистых кровей гвардеец!

— Нет, правда, братцы?

— Не верит! Да сегодня девки по Краснодару снопами валяться будут!

— Слухай, тэбэ до артыстки трэба!

— На хрена сдалась ему артистка! Какой прок от нее! Он любую буфетчицу в таком параде зафалует!..

— Да ну вас! — совсем уж обалдевший от конфуза и счастья, махнул я рукой и подался из палаты. А вслед мне неслось:

— Ты там про природу долго не разговаривай! Небо, мол, видишь? Землю, мол, видишь? Ну и все...

— Выпей для храбрости!..

Эти научат! Опытный сплошь народ, особенно на языке. А все же кой-чему и обучили. Пользуясь советами «опытных» бойцов, я благополучно миновал все госпитальные заслоны, а также вахтера с будкой и направился на улицу Пушкина, которой вскорости и достиг. Также без особенных помех и затруднений нашел дом с флюгером — и тут чего куда девалось: оробел, топтался возле поломанного крыльца. А потом сел, потому что ноги, отвыкшие от обуви, жало невыносимо.

Я долго сидел на крыльце, слушал, как скрипит ржавый флюгер на крыше и сыплются крошки льда с ветвей, и до того досидел, что замерз, и сунул руки в рукава стеганого бушлата. Из дому вышла женщина с кошелкой в руке, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.

— Вы чего-то потеряли, молодой человек?

— Червонец!

— Где потеряли-то?

— Там, — кивнул я подбородком за ворота, потому что руки не хотелось вытаскивать из рукавов; мне все как-то сделалось нипочем.

— А ищете червонец здесь оттого, что светлее? Я этот анекдот знаю.

Разговор иссяк, все смешное кончилось. Надо было уходить «домой» в тепло, а я как прирос к этому крыльцу с проломленной ступенькой.

— И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?

— Не знаю, — ответил я, впадая в уныние. — Еще посижу маленько, и тогда ясно станет.

— Что ясно-то?

— Все станет ясно.

— Э-э, дорогой солдатик, да ты вовсе закоченел! — нахмурилась женщина. — А ну марш в дом! Лидия спит. Разбуди ее. Я скоро вернусь из магазина. — И она ушла.

Дверь в сенцы осталась открытой. Я тщательно вытер сапоги, вежливо постучал в дверь и тихо вошел в дом. Снял бушлат, повесил. Звякнули медали. Я придержал их рукой и огляделся. Старый диван с зеркалом, бархатная с проплешинами накидка на туалетном столике, шифоньерчик с точеными ножками, картина, писанная маслом, в потускневшей раме. На картине арбуз и две груши — скудновато для такой рамы.

Отец Лиды был, видимо, начальником, и они жили в довоенное время хорошо. Но куда делся отец, Лида не рассказывала, а спрашивать было неловко. Из города они не успели выехать и во время оккупации проели с матерью все вещи, какие только можно было проесть. Проели и половину дома — это уже после оккупации. И зуб Лида поломала при немцах. Во время обстрела забилась она под стол, и не то со страха, не то еще от чего щелкала семечки, и под разрывами не заметила, как вместе с семечками попала в рот галька. Словом, понесла урон от войны.

Ох, и дуреха же! Право дуреха! Спит и не знает, что я пришел при всех регалиях и в обмундировании. Она привыкла видеть меня в одеяльной юбке или в байковом халате, протертом на локтях. Не узнает небось.

Я придвинулся к дивану и опасливо глянул в зеркало. Ничего парень. Лицо, правда, осколком повредило, но это ничего, это за свидетельство геройства сойдет. Какое-то

выражение на лице у меня незнакомое, осветилось вроде бы чем-то лицо. Недаром как-то в перевязочной, куда я пришел после ванны на перевязку, Агния Васильевна, эта до жуткости строгая Огния, сняв пенсне и, близкоруко щурясь, будто на Бог весть какого «прынца», поглядела на меня и закудахтала так, будто золотое яичко снесла:

— Лидочка! Лидочка! Ты посмотри, какой у нас Мишато стал!

Тогда я страшно смутился и удрал из перевязочной. Но все-таки знал, что стал красивей и лучше. И мне было хорошо оттого, что я стал лучше, и на душе у меня праздник. А в праздник люди всегда выглядят красивыми.

Я пригладил заметно отросший, чуть волнистый чуб и кашлянул. Никакого ответа. Тогда я осторожно отодвинул занавеску на двери, ведущей в другую комнату, и увидел Лиду.

Она спала.

Я поставил стул и сел подле кровати. Сидел, смотрел, как ровно и глубоко дышит Лида, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды. Они были действительно мягкие, невесомые, как пена. Лида шевельнулась и открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до подбородка.

— Ой, Миша! — Она какое-то время таращила на меня глаза, потом, как слепая, дотронулась до меня, провела рукой по волосам, по лицу, побрякала медалями, икнула и засмеялась: — Ой, и правда Миша!

Лида схватила меня за чуб и принялась теребить его так, будто это не мой чуб, а грива лошадиная. Она терзала мой чуб, а я терпел и улыбался. Она пригнула мою голову к себе, притиснула к груди и заливалась все громче и громче:

— Мишка! Пришел! Сам! Один! Нашел!.. — И все икала и смеялась. Вот уж воистину как у ребенка: то икота, то хохота! — Ой, Мишка, и ты сидел возле меня? Я никогда-никогда этого не забуду, Миша! — Она укусила губу, отвернулась и опять икнула. По щеке ее покатилась слеза, круглая-круглая, и беспомощная-беспомощная такая Лида была.

— Ты что? Ты что это?

— Ты знаешь, Миша, такая жизнь кругом: раны, кровь, смерти — и вот такое... Даже не верится. Все еще кажется, что я сплю, и просыпаться не хочется. — Икота, слава Богу, пропала, но смех тоже пропал. А как хорошо смеялась Лида, и зуб поломанный во рту ее мелькал веселой дыркой.

— Ты какая-то сегодня...

— Какая? — спросила она и по-ребячьи, локтем утерла лицо.

— Нервная, что ли?

— Ну уж и сказанул, — улыбнулась она сквозь слезы, которые дрожали на ресницах. — Мне ведь одеться надо, Миша. Отвернись.

Оба мы тут же смутились и стали глядеть в разные стороны.

Но глаза наши сами собой встретились.

В упор глядели мы один на другого. Глядели напряженно, не отрываясь, будто играли в «кто кого переглядит». Лида первая опустила глаза и жалобно попросила:

— Отвернись, Миша.

Я стиснул ее руку до хруста.

— Отвернись, родненький, — тише повторила она, — отвернись, лапушка... — Голос ее слабел, угасал. — Мама!.. — пропищала она.

Я с трудом выпустил ее руку и, переламывая в себе что-то такое смутное, захлестывающее даже рассудок, отодвинулся, а потом шагнул за занавеску и сел на диван. Медленно унималась дрожь, мне становилось все стыдней и стыдней, а Лида снова принялась икать.

— Господи, да что же это за напасть?! Ты, Миша, удрал без разрешения? — голосом, в котором была виноватость, спросила из-за занавески Лида и опять икнула.

— Да! — сердито отозвался я.

— Молодчик! — совсем уж виновато похвалила она меня и появилась в халатике, смущенная и робкая. Мимоходом, несмело погладила она меня по щеке, направляясь к умывальнику, стоявшему в этой же комнате.

А я как подскочил сзади, как цапнул ее под мышки да как зарычал лютым зверем — она аж шарахнулась, таз опрокинула:

— Ты чего? Ты чего? Рехнулся?!

— Ничего! Умывайся знай.

Она принялась чистить зубы углем, а я взял альбом в бархатных корочках с этажерки и начал листать его. На

первой странице обнаружился жизнерадостный ребенок. Он в совершенно голом виде лежал на подушке и пялил глаза на свет белый.

— Надо же! Икота-то кончилась! — удивленно сказала Лида, утираясь полотенцем.

— Хэ! — сказал я. — Икота! Я и похлеще чего изгнать могу! Наваждение! Беса! Родимец! Даже наговоры... приворотные средства. Это неуж ты? — ткнул я пальцем в жизнерадостного ребенка.

Лида выхватила у меня альбом, лихо треснула им меня по лбу.

— У-у, бессовестный какой! На вот! — Сунула мне подшивку журналов «Всемирный следопыт», а сама ускользнула под занавеску.

Я листал подшивку, стянутую веревочкой, смотрел картинки, а за занавеской слышался шорох одежды, и Лида развлекала меня оттуда разговорами:

— А где ты амуницию взял? Так она тебе идет!

— Рюрик дал. Его комиссовали.

— Молодчик.

— Кто молодчик-то?

— Ты конечно! Вон от икоты меня излечил. А нашел-то как?

— Нюхом!

— Ну и нюх у тебя! Звериный прямо!

— Говорю тебе, таежный человек я.

— С тобой опасно!

— Еще как!

Лида явилась в синеньком платье с белой кокеткой, в навощенных туфлях, причесанная как-то так, что волосы вроде бы сами собой на плечи скатываются, но в то же время и прибраны, и не кудлаты.

— Вот и я нарядилась! — перехватив мой взгляд, сказала она, скованная и чего-то стесняющаяся. — Не одному тебе форсить! — И, чудно закинув подол, подсела на диван, ощипалась, натягивая платье на колени. — Малое все сделалось...

Я листал журнальчики и помалкивал да поглядывал на нее украдкой.

— Что-то мама задержалась, — сказала Лида таким тоном, будто обманула меня в чем, и, не дождавшись ответа, с натянутым смехом прибавила: — В очереди застряла. Стареет. Любит поболтать. А раньше терпеть не могла очередей и болтовни.

Я листал «Всемирный следопыт». Лида отняла у меня подшивку.

— Ну, что будем делать, Миша-Михей?

— Почем я знаю?

— Почем-почем! Бука! — ткнула она меня в бок длинным пальцем.

Я подпрыгнул, потому что щекотки боюсь.

— Мы будем гулять с тобой по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.

— Не забуду!

— Как знать!

— Не забуду! — упрямился я.

— И до чего же ты сердитый, Мишка-Михей!

— У нас вся родова такая. Медвежатники мы.

— Какие медвежатники? Медведей ловили, что ли?

— Ага. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся: придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький! Пойдем в полицию!» И медведь орет, как пьяный мужик, но следует.

Лида внимательно слушала меня и вроде бы даже верила.

— Ну и балда же ты, Лидка! А еще говоришь в институте учишься!

— Сам ты балда!

Лида хлопнула меня по руке. Я ее. И пошла игра: кто чью руку чаще прихлопнет. Лида, медицинская сестра, ничего не скажешь, ловкая девка! Однако же и я не в назьме найден — в тайге вырос, с девяти лет ружьем владею, потом детдомовскую школу прошел — может, самую высшую по психологии и ловкости школу.

Лида лупит меня по руке, а я ее заманиваю, а я ее заманиваю. И как только она увлеклась, тут я и завез ей изо всей силушки!

Лида завопила — и руку в рот, а на глазах слезы навернулись от боли. Девушка все же, нежное существо, а я... Виновато погладил я ее руку, стал на пальцы дуть. А пальчишки, Господи Твоя воля, аж светятся насквозь и ногти розовенькие. Вот если бы не детдомовец я был, то и поцеловал бы пальчики эти, каждый по отдельности, но не могу я этого сделать, стыдно как-то.

Однако же и оттого только, что я подул на ушибленную руку, легче сделалось Лиде, и она принялась колотить меня кулачишком.

— Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!

— Карау-у-у-ул! Наших бьют! — заорал я и подвернул Лидку, придавил к дивану, и мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись — неизвестно, да в сенках послышались шаги Лидиной матери. Мы отпрянули друг от друга и стали торопливо приводить себя в порядок.

— Мама, а Мишка обманывает меня и балуется, — капризно пожаловалась Лида и надула губы.

— Это ж основная обязанность мужчин, доченька, — обманывать и баловаться, — ответила мать, выкладывая из кошелки черную горбушку хлеба. И по ее глазам и тону я понял, что эта женщина очень много переживала и много знает. Мать тут же окинула меня пристальным и умным взглядом.

— Так это и есть тот самый герой, который грудью защитил мое чадо?..

Она сняла шубу и стала цеплять ее на вешалку. Гвоздь у вешалки давно уже расшатался и вылазил из дырки. Шуба была тяжелая, и гвоздь не удержал ее — выпал. Шуба, слабо охнув, тоже упала. Я взял чугунный утюг с плиты, выпрямил гвоздь и забил его не в старую дырку, а в целую доску, пошатал, пристроил вешалку, водворил на место шубу.

— Вот что значит мужчина в доме! — сказала мать не то в шутку, не то всерьез и чуть заметно усмехнулась, глядя на меня, и я стушевался. А Лида наливала в рукомойник воды и совала мне плоский обмылок, будто я невесть какую работу выполнил.

Руки я все же помыл.

— Чем же мы будем потчевать гостя? — не то спросила, не то подумала вслух мать, и Лида жалостно отозвалась, глядя при этом с затаенной надеждой на нее:

— Придумаем что-нибудь.

— Да вы не хлопочите. Какой я гость? И сыт я. Нас хорошо кормят — на убой. Вот Лида знает.

— Мало ли как вас там кормят и мало ли чего Лида знает, — заявила мать и подала Лиде жестяной бидончик. — Мигом слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу. Вы когда-нибудь ели мамалыгу? — обратилась она ко мне.

— А что это такое?

— Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга, — усмешливо проговорила она и, когда Лида выпорхнула за

дверь, думая о чем-то совсем другом, пояснила: — Мамалыга — это почти каша, только из кукурузы. Понятно?

— Понятно.

Мать прошлась по комнате, без надобности поправила занавеску и остановилась против меня. Я почувствовал — она хочет что-то сказать, и сказать неприятное для меня. Я отвел глаза в сторону и насторожился. И вдруг мать дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида, и спросила:

— Вам сколько лет, Миша?

— Девятнадцать.

— Хороший возраст, — вздохнула мать и принялась растапливать печку тремя дощечками от тарных ящиков, бумагой какой-то и мазутным тряпьем. — Хороший возраст, — повторила она. — Вам бы сейчас по клубам, по вечеркам, петь, танцевать...

— У нас танцевать не умеют, у нас пляшут, — мрачно прервал я ее и отстранил от печки, потому что не растапливалась она, а только дымила.

Кое-как раздул я печку. В ней огонек закачался, хилый, чуть живой от такого топлива. Сюда бы охапку наших сибирских швырковых дров!

— Студено у вас, — сказал я.

— Студено, — эхом откликнулась мать. — Слово-то какое точное. Везде сейчас студено: в домах, на улицах, в душах.... — Она хрустнула пальцами и наконец тихо спросила:

— Михаил, мне можно поговорить с вами совершенно откровенно?

— Почему нельзя? Можно. Я откровенно люблю.

— Вы не сердитесь. Я — мать. И дочь — это единственное, что есть у меня. Муж нас оставил, бросил. Он доктор. Сошелся с какой-то во фронтовом госпитале. И вы понимаете... Словом, Михаил, будьте умницей, побеpегите Лиду. Душонка у нее — распашонка. Она уж если... все отдаст. А девушке и отдавать-то — всего ничего.

— Зачем вы так?

— Ах, Михаил, Михаил... — сжала ладонями седые виски Лидина мать. — Не так бы надо сказать. Но раз уж сказалось, так слушайте дальше. Вы уже взрослый, вам уже девятнадцать. Не ко времени это все у вас, Михаил! Еще неделя, ну, месяц, а потом что? Потом-то что? Разлука, слезы, горе!.. Предположим, любви без этого не бывает. Но ведь и горе горю рознь. Допустим, вы сохранитесь.

Допустим, вас изувечат еще раз, и несильно изувечат, и вы вернетесь. И что?.. Какое у вас образование?

— Семь.

— А специальность?

— Была специальность... да сплыла.

— Вот видите, вот видите, — подхватила она. — Лидка тоже еще на перепутье. Институт даже не кончила. В общем, Михаил, будьте взрослым. Сделайте так, чтобы ваши отношения не зашли далеко. Понимаете, есть вещи, есть такие вещи... Ну вы меня понимаете...

— Да. Почти что. — Я резко поднялся и стал надевать бушлат. А он, гад, как нарочно, не надевается, раненая рука мешает. Пришлось зубами помогать натягивать.

Диван затенькал пружинами. Мать подошла ко мне и молча отняла бушлат. В уголках ее глаз, у самых морщинок блеснуло.

— Не уходите. Вы сделаете ей больно. А боли и горя — добра этого и так хватает.

Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.

— Дети вы мои, дети! — Она уронила руки. — Разговор наш вы можете забыть... Это ведь только слова, слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, и я не права? Может, устала от нужды? Оскудоумела от горя? Все может быть. Простите меня, Бога ради...

— Что вы? За что?.. — У меня повело губы. — Я ведь и в самом деле отучился думать о других... За меня начальство думает, старшина харч выдает — и вся недолга. — Я помолчал и добавил: — Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме! Так в детдоме у нас говорили, — вымучил я улыбку.

— А у вас?

— У меня? Обо мне не стоит. Я — солдат, а загадывать наперед солдату нельзя, по суеверным соображениям, — пояснил я.

В это время в комнату ворвалась Лида, поставила бидончик на стол, разделась и... Ох, и глазастая девка все-таки!

— Вы что? Что у вас произошло? Мама!

— Да ничего особенного. Печку растопляли, о жизни говорили. Студено, — говорит твой солдат. Сейчас мы его согреем, мамалыгой угостим! Представляешь, он, оказывается, никогда не ел мамалыги.

— Ага! Он медвежатиной всю жизнь питался! — поджала губы Лида.

Мы гуляли по Краснодару, по улице Красной, по Чкаловской и еще по каким-то. У меня не шел из головы разговор с Лидиной матерью. Мне его никогда не забыть. Не так я устроен, чтобы забывать такое. Что-то повернулось во мне, непонятное содеялось. До этого я воспринимал наши отношения с Лидой как свет, как воздух, как утро, как день. Незаметно, само собой это входило, заняло свое место в душе, жило там и не требовало вроде бы никаких раздумий. Было, и все. А что, зачем, почему — это как будто и не касалось нас.

Оказывается, ничего в жизни просто так не дается. Даже это, которое еще только-только народилось и которому еще не было названия, уже требовало сил, ответственности, раздумий и мук. И еще мне страшно жало ноги, до того жало, что по самые коленки горели они. Я терпел, и даже шутил, и смеялся, но, видимо, иной раз не совсем ладно смеялся, говорил невпопад, и Лида удивленно спрашивала:

— Ты чего?

Я отделывался шуткой.

Ночь была ясная и звездная. В городе лишь кое-где тускло светились окна, но и они гасли одно за другим. Город, разрушенный в центре, с кое-как прибранными и подметенными улицами, утомленно затихал. Вскоре он и вовсе погрузился в темноту. Ямки возле тротуаров и на тротуарах были наспех засыпаны обломками кирпичей, мусором. В этом городе много деревьев, кое-где они почти смыкали вершины, и это маскировало раны и разрушения, сделанные войной.

Я держал Лиду под руку и говорил:

— Осторожно, воронка!

— Осторожно, воронка! — предупреждала она.

Забивая душевную смуту, эту, насквозь меня пронзившую после разговора с Лидиной матерью, горесть, даже не горесть, а недомогание какое-то, боль, еще неизведанную мной, точнее, непохожую на те боли, которые я изведал от ран, ушибов и тому подобных пустяков, я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил — страдание! Такое старомодное, так часто встреча-

ющееся в книжках и в кино слово, а я его забыл, вернее сказать, и не знал вовсе.

А тут еще сапоги эти проклятые! Хоть ложись на землю или разувайся и шествуй босиком по Краснодару. Но я ж героический воин, я ж гвардеец, я ж медвежатник, и что мне все эти самые страдания? Я весело и беспечно травил про войну:

— И вот кричат фрицы нам: «Еван! А Еван! Переходи к нам! У нас шестьсот грамм хлеба дают!» — «А пошел ты!» — отвечают ему наши. Ну, ты знаешь, куда пошел?..

— Смутно догадываюсь, — роняет Лида. — Я все-таки с военным народом на работе дело имею.

— Кхы! — поперхнулся я и продолжал: — «А пошел ты, фриц, туда-то и туда-то! У нас кило хлеба дают и то не хватает!» — Тут я как захохотал и вдруг обнаружил, что Лида-то не смеется.

Она остановилась против меня, смотрит и ждет, когда кончится мое веселье.

— Миша, вы о чем с мамой говорили?

М-да, эта девица-сестрица не такая уж простофиля, не такая уж девчушка с поломатым зубом! Надо ухо востро держать!

— Да так, обо всем. Про мамалыгу больше. Выяснилось, между прочим, что она все равно как наша сибирская драчена, только та из картошек, а эта из кукурузы.

— Объяснил вполне популярно. Дуй дальше. Только не про войну. Войной я сыта вот так! — чиркнула Лида себя ребром ладони по горлу.

— Так ведь кто про че... — Я вовремя застопорил, чуть не брякнув: «А вшивый про баню».

— Тогда стихи читай, как положено на свидании! — потребовала Лида.

— Стихи? Да я их не помню. Вот разве что: «У лукоморья дуб срубили...»

— Не трудись. Весь госпитальный фольклор я тоже давно изучила!

— Ну «Однажды, в студеную зимнюю пору»?

— Вот за этим углом груда кирпичей лежит — разбитая школа. В четвертом классе оной школы я, как сейчас помню, схватила «отлично» за декламацию этого популярного стишка.

— Н-ну, дорогая сестрица, я уж и не знаю, чем вас развлекать?

— Расскажи, о чем вы говорили с мамой?

— А-а! — хлопнул я себя по лбу: — Помню! Один стих помню! И какой стих! В нашем взводе стишок этот очкарик один читал. Его баба, извиняюсь, жена спокинула, вот он, по причине разбитого сердца...

— Валяй по причине разбитого сердца.

Я остановился, задрал морду в небо и с завыванием начал:

Я не любил, как вы, ничтожно и бесстрастно,
На время краткое, без траты чувств и сил.
Я пламенно любил, глубоко и несчастно.
Безумно я любил...

Гляди-ка ты: стишок, вычитанный мной в старой, растрепанной книге, звучит сегодня как-то совсем по-иному, смешным вовсе не кажется — от него незащищенность какая-то происходит! От него даже чего-то внутри зашевелилось и сердце давит. Ну, это, может, и по причине тесных сапог? От тесной обуви, говорят, даже порок сердца случается.

— Ну, чего же ты? — Лида упрятала лицо по самый нос в рыжий мех — и не понять: смеется она или на полном серьезе меня слушает.

— Да я дальше не помню. Конец только.

— Р-руби конец.

Я звал забвенье. Покорный воле рока,
Бродил с повержено, мятущейся душой,
Но, всюду и везде преследуя жестоко,
Она была со мной...

Тут я опять сбился, запамятовал стих дальше, начал терзать свою хилую память, натужно шевелить мозгами:

— Та-та-та-та... та-та-та... Есть! — обрадовался я.

И вот я слабый раб порока...

Та-та-та... та-та-та... Ага, поймал!

Искал всесильного забвенья в вине,
Но и в винных парах являлся образ милой
И улыбался мне...

Дальше опять не помню, делаю перескок.

И в редкие часы, когда, людей прощая,
Я снова их люблю, им отдаю себя,
Она является и шепчет, повторяя:
«Я не люблю тебя...»

Мы оба долго не шевелились и молчали. Какое-то жа-

лостное чувство подтачивало меня. Тянул самолет вверху. Над нами пощелкивали обмерзлые ветки. В темных улицах верещали свистки патрулей и подозрительно разбегались по подворотням подозрительные людишки, а мы стояли и молчали.

— Ну, как? — прокашлялся я. — Так себе стишок, правда? Но солдаты переписывали...

Лида ничего не ответила. Зябко ежась, она глухо, в мех лисы выдохнула:

— И в редкие часы, когда, людей прощая, я снова их люблю... — Голосишко ее задрожал. Она вдруг прижалась ухом к моей молодецкой груди и чуть слышно прошептала: — Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник!..

Я как будто того только и ждал. С торопливым отчаянием обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое и не сразу понял, что поцеловал лису.

— Ах, медвежатник ты, медвежатник, — прошептала Лида, — тебе бы только со зверями якшаться.

Я обиделся и пытался выдернуть руку. Но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал, не дыша, до тех пор, пока без дыхания уже стало невозможно.

Я отнял губы, сделал громкий выдох.

Мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.

— Гляди, Миша, сколько звезд сегодня! — наконец заговорила Лида, и я поглядел на небо.

Звезд и в самом деле сегодня было очень много. Ближе других ровно светились солидные, спелые звезды, а за ними мерцали, перемигивались, застенчиво прятались одна за другую звезды, звездочки, звездушки. И не было им конца и края, невозможно было их перечесть — эти бессонные, добрые звезды.

— Может, и наша звездочка там есть, Миша?

— Может, и есть, да не про нашу честь!

— У-у, какой ты грубый! — опечалилась Лида. — Я знаю, почему ты так...

Я насторожился и сказал, что ничего она не знает, что это детдомовщина да солдатчина во мне грубая сидит, и нечего тут мудрить!

— Миша, ты так и не скажешь, о чем вы говорили с мамой?

— Так и не скажу!

— Ну что ж! Ты настоящий мужчина и воин! — трях-

нула она меня за отворот бушлата. — Характер твой железный, и тайны ты умеешь хранить. А я слабое созданье женского пола. И прошу тебя все-таки загадать со мной вместе звездочку. Во-он ту, рядом с ковшиком которая...

Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду, и на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлата и слышать, как греет мою грудь ее дыхание, и так хотелось ее стиснуть, да уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-канарейка, и прилепилась, понимаешь, дуреха такая, примолкла! А я бы не знаю что сделал для нее и для всего советского народа!..

— Миша, ты когда-нибудь целовался... ну... с девушкой?

— Нет, не целовался. Некогда было.

— И я тоже не целовалась.

Я отстранил ее, в лицо всмотрелся с недоверием. Она тряхнула головой.

— Правда-правда. Тот младший лейтенант Макурин провожал меня два раза, но не целовал. Да я бы и не позволила ему...

— Ты, может, думаешь — ревную? — фыркнул я носом и даже хохотнул. Но смех получился такой, будто у меня подшипники в горле расплавились. И тогда я рассердился: — Была нужда!

— Не смей так говорить со мной. — От обиды голос Лиды дрогнул: — Грубиян несчастный!

— Ладно уж, не буду, — подразнил я ее и боднул лбом. Она схватила меня за чуб, и все дело кончилось тем, что мы еще раз поцеловались.

Поздно ночью мы остановились на улице Пушкина, возле дома с флюгером. Флюгера за тополем не было видно. Он только время от времени напоминал о себе железным, ленивым скрипом. И тогда голые ветви тополя начинали чуть слышно пошевеливаться, пощелкивать друг о дружку, и сверху к ногам падали звонкие ледышки. Снега на улицах нет. Лишь кое-где в заулках притаился он линялым зайцем. И холода настоящего нет, но и мокрети, этой вечной кубанской малярийной мокрети, нет сегодня. Какая хорошая ночь! А на душе горько, так горько, ну просто невмоготу.

Я перекатывал сапогом эти то вспыхивающие, то гаснущие звездочки-ледышки, помалкивал, понимая, что надо уходить, пора уходить, а ноги ровно бы приросли к земле.

По пустынным, гулким улицам города возвращался я в госпиталь и не замечал воронок, малой обуви, а рубил строевым и, забыв, что говорила мне Лидина мать, отрывал любимую песню нашего полка:

С нашим знаменем,
С нашим знаменем
До конца мы врага разобьем!
За родимые края, края советские
Мы в поход, друзья-товарищи, пойдем!..

И плевать мне было на все на свете. Во мне бурлило столько радости, что я готов был обнять первого же встречного и поцеловать его. Но первыми встречными оказались не те, которых надо целовать.

В одном из особенно темных переулков меня перехватили налетчики — добра этого тогда в Краснодаре водилось хоть пруд пруди.

Они весело приказали:

— Гоп-стоп! Не вертухайся, соловей!

— Вам чего?

— Лопотинку, всего лишь лопотинку, соловей! Кальсоны оставляем, уважая застенчивость.

— Рылы! — с облегчением произнес я, понимая, что имею дело с веселыми мазуриками, каких в детдоме перевидал видимо-невидимо, и сам «на дело» хаживал во младенчестве. — Госпитальник я! — Самоволочников из госпиталей никакие мазурики не трогали тогда. Ну уж самые распаскудные если, для которых ничего святого на свете не существовало.

Меня осветили из-под полы фонариком, погасили его, сказав: «Любезно звиняемся!», и попросили закурить. Я отвалил мазурикам всю оставшуюся у меня махру, и они растворились во тьме развалин и густых дерев, а я потопал дальше и снова грянул:

С нашим знаменем!
С нашим знаменем!..

Налетчики подсвистнули в лад моей песне и громко захохотали:

— Во хватанул вояка микстурки!

Я провожал Рюрика на вокзал. Он шагал рядом, опираясь на тополиный сук, курил без перерыва и почему-то сердито говорил, что все равно будет тренироваться и еще

станет играть в футбол, и успевал стрелять глазами в мимо проходивших девок. Бравый народ эти саратовские, послушать Рюрика, так у них там сплошные футболисты и гармонисты. И частушки у них одна чище другой.

— Зачем кочегаришь, когда дырка? — сказал я. А он вместо ответа пробубнил мне:

— Комиссуют если по чистой, приезжай без никаких. Все-таки халупа, отец, мать живые. И город у нас знаешь какой, Саратов-то, о-о-о-!

— Знаю: «Ты — Саратов, город славный», и так далее...

— Я те дело говорю!

— Ладно, Урюк, видно будет, что и как. Давай обнимемся, что ли.

— Давай, — говорит Рюрик, и пробитая щека его начинает подергиваться. Он притискивает меня к себе и давит концом палки в мой позвоночник. А я держу за удавку вещмешок, и так мы стоим некоторое время, будто собираемся побороть друг друга.

В одном поезде с Рюриком уезжал тот младший лейтенант, Макурин. Он в серой, ладно сидящей на нем шинели. Значит, кожан брал напрокат у кого-то, и я зря переживал. И усики лейтенант сбрил. Теперь они ему ни к чему, усики-то. Он на передовую едет, а там завлекать некого. Если есть одна или две девки в части, так они уже давно и не по разу завлеченные.

Мы и с лейтенантом обнимаемся. Он хлопает меня по плечу и говорит, весело сверкая серебряным зубом:

— Ну ты, ревнивый мавр, следи тут за порядком в городе.

Я знаю, кто такой мавр, и мне это не очень-то нравится, но младший на войну едет, не надо нам цапаться напоследок, и я отвечаю дружески:

— Можешь быть уверен — порядок в этом городе обеспечу, а ты там бродягу-фюрера скорее дожимай...

Наши шефы со швейной фабрики, не побывавшие у нас по причине новогоднего разгрома, затребовали энное количество кавалеров к себе на фабрику, чтобы веселей было праздновать Международный женский день восьмое марта.

В число «кавалеров», набираемых из команды выздоравливающих, угодил и я. Скучно мне сделалось после

отъезда Рюрика и отбытия всех близких мне корешков, с которыми сдружила нас госпитальная длинная жизнь.

Смятение охватывало, и места я найти себе не мог еще и оттого, что приближалась моя выписка из госпиталя, а значит, и...

Одним словом, решил я тоже малость поразвлечься, тем более, что Лидино дежурство в следующие сутки, а они, эти сутки, как вечность сделались, и надо было их как-то скоротать незаметней.

Швейная фабрика размещалась в подвалах, где был когда-то склад этой же фабрики. Сами же швеи восстанавливали свою фабрику и уже слепили целый этаж из собранных по городу кирпичей, но рам достать нигде не могли, и оттого пустоглазо чернел недостроенный этаж и дожидался лучших времен.

В подвале станки с машинами, раскройные столы и прочие швейные премудрости и весь инвентарь были сдвинуты в одну сторону, растолканы по углам, а на освободившемся месте сомкнутым строем стояли конторские столы, соединенные досками, на столбиками сложенные кирпичи были положены плахи.

На столах снедь в основном огородная, девушки, видать, тут работали все больше станичные и понавезли из дому, кто чего смог: огурцы соленые, капусту, помидоры, яблоки моченые, — и вина много на столах и под столами. Точнее, самогонки много, а вино «бабье» — красненькое лишь для разгона праздника и разживления веселья.

К моей радости, в гостях у швей оказались Шестопалов, Коля-азербайджанец и еще кое-кто из наших. Были и незнакомые ребята, как попало и во что попало одетые. Все они держались стесненно, жались по углам, не зная, что делать, понимая фальшь и неестественность той роли, какую они призваны были выполнять, — роль мужчин на женском празднике! По принуждению!

Один Шестопалов чувствовал себя тут как рыба в воде, бодрил мужской род, прибывший на «прорыв», сообщил между прочим, что через два дня отправляется с маршевой ротой на фронт и Колю-азербайджанца берет в свою команду, сделает из него совсем отчаянного солдата и вернет в Акстафу усыпанного орденами, а может, и сам туда рванет, потому что вина и девок там много — Коля говорит.

— Как же это вас Огния-то отпустила? — неожиданно перескочил он на другую тему.

— Скрепя сердце. Они, — кивнул я на девушек, суетящихся возле столов, — сулятся нового белья нашему госпиталю отвалить...

— А-а, бельишко и в самом деле заплата на заплате. А как же? — Шестопалов хотел, видно, спросить, как же это отпустила меня Лида, но парень он хоть и шалопутный, да многое понимать умеет. Тут же захохотал, тут же сообщил весело, что они с Колей-азербайджанцем воспользовались «заборной книжкой» — ушли через забор пересылки.

Речь говорил директор швейной фабрики, мужик на костыле и с завязанным белой тряпкой глазом. Точнее, он не говорил речь, а только открыл торжество, понимая, что для парадных выступлений вид его не очень-то подходящ, и скорее передал слово секретарю профкома, крепкой, подвижной женщине — лучшей стахановке цеха массового пошива, как представил ее директор, чем страшно смутил ее и взволновал.

Говорила она без бумаги и начала довольно бойко: «Мы, советские женщины, тут, на трудовом фронте, не жалея сил...» А как дошла до тех, кто «проливает кровь там», «а мы собрались тут», — брызнули у нее слезы, и речь продолжать она больше не могла. Девки многие тоже заплакали, и, горестно покачав головой, директор фабрики поглядел на нас скорбным глазом и жестом пригласил всех за стол.

Само собой, распорядителем праздника оказался Шестопалов и, будучи великим знатоком душ человеческих, наклонностей их и запросов, довольно точно угадал, кого с кем рядом посадить.

Для меня, как для «своего парня», он постарался особо. Рядом со мной оказалась девушка в черном платье с глубоким вырезом, красиво открывшим ее длинную шею, напоминающую рюмку, на которой висела цепь с золотисто сверкающей штуковиной, блямбой — назвали бы в детдоме, — и в блямбе этой зеленым кошачьим глазом светилось какое-то ювелирное изделие. Длинные, орехового цвета волосы девушки, закругленные на концах, волнами спадали на ее эту замечательную шею и приоткрытые плечи. Глаза у девушки были того же цвета, что и волосы, с коричневым отливом. Держалась она свободно, чуть свысока, умела, однако, не выделяться и на шуточку Шестопалова такой спокойный и складный ответ дала, что он сразу укатился на дальний конец стола, заграбастал

там пышную сероглазку, и та, бедная, не только пить или говорить не могла, у нее уж по всем видам и дыханье-то занялось.

А я держался скованно. Таких девушек, как моя соседка Женя (имя ее мне мимоходом Шестопалов сообщил), я боялся, считал недоступными нашему простому сословию и вообще мечтал о том, чтобы поскорее «отбыть положенное» и смыться отсюда на улицу Пушкина. Зайти в Лидин дом я, конечно уж, больше не решусь, но хоть возле него пошляюсь. А может, она по молоко пойдет, по воду, да мало ли зачем?..

— Вы что-то совсем за мной не ухаживаете! — оборвала мои раздумья Женя.

— Да вот... не умею... не приходилось, — смутился я и торопливо налил ей и себе из пузатой банки красного вина. — С праздником вас, с женским днем!

— Вас также! — стукнула рюмкой об мою рюмку Женя и, улыбаясь мне игриво, медленно тянула вино из граненой рюмки. А я выпил разом и вдруг сообразил: она же подъелдыкнула меня, она же вроде бы как и меня в женщины зачислила! Я покрутил головой и хотел придумать что-нибудь тоже ехидное, но в это время зазвучал баян, и все, сначала недружно, невпопад, но, постепенно собирая силы в кучу, уже в лад пели на мотив танго «Брызги шампанского» знаменитую тогда песню: «Когда мы покидали свой любимый край и молча уходили на восток, над тихим Доном, над веткой клена, моя чалдонка, твой платок...»

Когда песня подошла к концу и накатили слова: «Я не расслышал слов твоих, любовь моя, но знаю — будешь ждать меня в тоске; не лист багряный, а наши раны горели на речном песке», — то все уже бабенки и девчата заливались слезами, иные из-за стола повыскакивали и бросились куда попало, в голос рыдая.

Ну, тут все понятно, — у них мужиков и сыновей поубивало. С ними отваживались, отпаивали их водой и водворяли обратно за стол зареванных, погасших, с распухшими глазами.

Моя соседка Женя сидела бледная, прямая, с плотно сжатыми губами и, не моргая, глядела куда-то остановившимися глазами.

Я оробел еще больше и не шевелился, даже и коснуться ее боялся. Но сидеть все время вот так тоже было невежливо. Я положил на тарелку винегрета, сверху плюх-

нул яблоко моченое, поставил тарелку перед Женей и тронул ее за плечо:

— Женя, покушайте, пожалуйста!

— А? Что? — вздрогнула Женя и возвратилась откуда-то, из далекого далека, слабо и признательно улыбнулась мне:

— Спасибо, Миша! Я и в самом деле есть хочу...

«Вот это девка! — восхитился я. — Вот что значит культурное воспитание! Хочет есть и ест, а коснись деревенщины — изжеманится вся: «Да что вы! Да я не хочу! Да я вообще винегрет не употребляю...»

— Если бы вы палили еще и вина, вам бы цены не было, Миша!

— Вина? — Я сгреб пузатую банку: — С полным моим удовольствием!.. — Я начинал чувствовать себя свободней и пытался изображать развязность.

— Если можно, покрепче, Миша.

Мы выпили по рюмке такого самогона, что у меня сперло дыхание в груди, и если бы Женя не дала закусить от своего яблока, может, дыхание так бы и не началось больше.

— Вот, Миша, мы, как Адам и Ева, — вкусили одного плода, — показала Женя на отхваченный мною бок яблока. И я еще раз налил, и еще раз куснул, а потом ударился в умилительные мысли: «Миша! Почему меня все зовут Мишей? Я здоровый, крепкого сложения человек, а Миша. Это, наверное, потому, что я слабохарактерный? А может?..» Но дальше думать о себе я запретил, понявши, что захмелел крепко, потому что дальше уж Бог знает чего в голову полезло: «Может, я человек хороший, незлой», — ну и всякие такие пьяные глупости.

— Вы бы хоть развлекали как-то меня, Миша! — пьяненько жеманилась Женя, близко придвинувшись ко мне и опаляя меня оголенным жарким плечом.

Многие солдатики уже сидели за столом свободно, гомонили, рассказывали что-то — и все в обнимку, все вплотную, а Шестопалов исчез куда-то со своей сомлевшей сероглазкой.

— Да я, — горло у меня ссохлось, — не умею я.

— Ну, про войну, про героические подвиги что-нибудь соврите.

Ну, это она зря! Войны она касается зря. Фронтовые окопные дела мало подходящи для пьяной застольной брех-

ни. Из меня даже хмель начал выходить, и я сказал Жене строго:

— Война страшная, Женя. Не надо об ней шутить.

Она смешалась, нервно затеребила красивыми, но сплошь исколотыми иглой руками цепочку на шее и тут же, преодолев себя, с вызовом бросила:

— Тогда танцевать приглашай!

— А я и танцевать не умею. — И развел руками покаянно: — Видишь вот, какой нескладный кавалер попался.

— Обманули нас! Сказали: самих боеспособных, самых героических выдадут, а налицо оказалось что? Мякина! Ну мы им за это кальсоны назад ширинкой понашьем!..

— Ох, Женька, Женька! — расхохотался я и подумал: «Вот была бы у меня сестра такая!..»

Но Женя опять не дала мне углубиться в мысли, вытащила из-за стола, заявила, что мужику в танцах главное — ногами переступать и стараться не уронить под себя на глазах у публики партнершу!

«Шпана! Детдомовщина! Наш брат — кондрат! И никакая она не интеллигенция!» — порешил я и закружился вместе с нею. Мы кого-то толкали, и нас кто-то толкал, было шумно и весело.

Тетка, что говорила речь, обхватив Шестопалова за шею, громко кричала:

— Дай я хоть от имени профсоюза швейников тебя поцелую!

Тут я вдруг вспомнил про Лиду, как целовались, вспомнил, и потихоньку-полегоньку в кладовую умотал, где кучей были сложены шинеленки и шапки «кавалеров», и долго не мог найти я незнакомую, напрокат выданную мне шинель и шапку из бывших в употреблении, решил уж надеть какую попало, лишь бы налезла на меня, как услышал:

— А чтой-то ты, брат Елдырин, бросил меня? — Пойманный и уличенный, я только плечами пожал. — А помоги-ка, брат Елдырин, и мне одеться — чтой-то скучно мне на эфтом празднике изделалось!

Ох, земля ты кубанская, пространственная, плоская, нашему брату-сибиряку непонятная да и неподходящая.

Зимой моросило либо хлопьями снег валил, грязища по колено, да вязкая такая грязища-то! А вот в марте под-

морозило, и даже снежок выпал, пока мы на швейной фабрике лихо отплясывали. Да и сейчас рябит снежок, тихий такой, мирный, душу чем-то детским и далеким радующий.

Женя снежок скатала, лизнула его, как мороженку, и мне лизнуть дала. Сладко! Право слово, сладко!

Потом она этим снежком в меня запустила, но я не ввязался в игру. Мне почему-то не хотелось ни дуреть, ни играть после того, что поведала о себе Женя: она здешняя, краснодарская, из семьи художника, и сама в изостудии занималась. Но потом война, эвакуация, и вся семья погибла под бомбежкой, осталась Женя и два чемодана: один — с маминым платьями и украшениями, другой — с папиными этюдами и рисунками. Теперь Женя белье в массовке шьет и лучших времен ждет...

Хмель из моей головы весь почти испарился. Я шел по тихому городу и курил толсто скрученную цигарку. А Женя прыгала впереди меня на одной ножке, палочкой трещала по штакетнику палисадников и что-то напевала. Длинный белый шарф (тоже, видать, от мамы оставшийся) крыльями подпрыгивал и мотался над ее плечами, и мне было так жалко эту девушку, так жалко!..

— Дай и мне покурить, сибирячок-снеговичок! — остановилась и протянула руку Женя, вынув ее из тоже белой вязаной рукавички.

— Не дам! Не балуйся!.. И вообще не выкаблучивайся! — вздыбился я на нее и вправду что как старший брат.

Женя изумленно уставилась на меня:

— Да ты что?!

— А ничего! Вон какая девка! Красавица! Умница! На художника, может, выучишься!.. Я и сидеть-то сначала рядом с тобой боялся! А ты?..

— Ми-и-ишка, ты напился! В дребадан! Красавица! Умница! Художница-безбожница! Дай докурить! — Она вырвала у меня недокурок и несколько раз жадно и умело затянулась. — Ишь какой! — усмиренней буркнула она. — В богиню почти произвел!

— Чихал я на богиню! Девка ты мировая и не дешевись..!

— Ты чего орешь-то? Чего разоряешься?

— А ничего!

— Ну и все!

— Нет, не все!

— Нет, все!

Она опять опередила меня, опять попробовала прыгать на одной ноге и, рассыпая искры от цигарки, напевала: «Слабый, слабый, слабый табачок, вредный, вредный, вредный сибирячок-снеговичок...»

Но уже не могла она попасть в прежнюю струю беспечного, праздничного настроения и, остановившись возле ворот общежития, церемонно подала мне руку ребрышком и оттопырила палец каким-то фокусным фертом:

— До свиданья, милое созданье! Спасибо за кумпанью и приятственную беседу. В общагу не зову, поскольку приставать будете, а у нас этого девицы не любят и даже не переносят, поскольку обрюхатеть можно! А абортик, он — э-ге-ге-ге! Копеечку стоит!..

— Я чем-то обидел тебя, Женя?

— Да! — сверкнула она глазами: — Гадость сказал!

— Га-ааадость?!

— Твои благородные, красивые слова больнее гадости! Ты ими брезгливость прикрываешь! Прикрываешь ведь? Даже поцеловать не попытался! Брезгуешь, да! Брезгуешь?!

— Женька ты, Женька! Цены ты себе не знаешь...

— Цена мне четыре сотни и пятисотграммовая карточка! Ну, если не такой ископаемый, как ты, встретится — глядишь, покормит, попоит, четвертак отвалит.

— Будь здорова, Женя! Прости, коль неладное брякнул. Прости.

— Бог простит! — Женя вознесла руку к небу, принимая позу богини, но внезапно сникла вся, прикрылась концом шарфа и слепо бросилась в ворота.

Я свернул цигарку толще прежней, высек огня из трофейной зажигалки, прикурил, потоптался, удрученный, возле ворот общежития фабрики и подался «домой», в госпиталь.

Что я тут мог сделать? Чем помочь?

Час от часу не легче! Не успел я повесить на гвоздь в раздевалке шинель и шапку, как услышал за своей спиной свистящий, клокочущий, пронзающий, разящий — словом, самый грозный, самый потрясающий со дня сотворения рода человеческого, шепот:

— Ты где шлялся, медвежатник несчастный?!

Обернулся: за барьером раздевалки она — Лидка!

Кулаки сжаты, лицо серое, глаза молнии бросают, и только деревянный барьер, разделяющий нас, мешает ей броситься и растерзать меня на куски.

— О-о! Мамзель! Мое вам почтенье! — отвесил я земной поклон. — Не ожидал, не ожидал, понимаете ли, вас сегодня здесь повстречать! Такой приятный сурприз!

— Я тебе покажу мамзель! Я тебе покажу сурприз! Признавайся, где ты был?!

— На празднике. На Международном женском дне.

— И ты... и ты пил там?

— А как же?! — подныривая под барьер, развязно воскликнул я. — На то и праздник, чтобы петь и смеяться, как дети.

Лида была сражена. Рот ее беззвучно открывался и закрывался, глаза угасали. Я уж хотел пожалеть ее и перестать придуриваться, но в это время очень кстати появился «громоотвод» — приволокся тот артист с бородкой чего-то просить, и я догадался, что Лида на ночь подменила дежурную сестру.

— Отбой был?! — налетела Лида на «артиста». — Шагом марш в палату! Шля-я-ются всякие-развсякие! — И тут же набросилась на меня, принялась тыкать рукой в грудь. — Сейчас же! Сейчас же! — Она задыхалась от негодования, она обезумела, можно сказать: — Весь парад! Весь! И в палату! Я приказываю! Я вам всем тут покажу! — Она даже ногой топнула.

— Ты чего пылишь-то?

Лида сгребла меня за грудки и стала трясти так, что все мои медали заподпрыгивали и забрякали.

— Ты провожал модистку, признавайся!

Я покорно склонил голову. Лида втянула воздух дрожащими ноздрями:

— Да от тебя духами пахнет! Дешевыми! Пошлыми!

— Самогонкой от меня пахнет, не выдумывай!

— Нет, духами! Ты меня не проведешь!

— Ну, может, и духами. Танцевал я там с одной...

— Ага! Ага-а-а-! — с еще большим негодованием восторжествовала Лида. — Танцева-ал! А танцевать-то ты не умеешь, несчастный! Я все! Я все-о-о про тебя знаю! — Она притиснула меня к стене, да так сильно притиснула, что ни дыхнуть, ни охнуть. — Ты целовался с ней, целовался?!

И я тоже гусь хороший, нет, чтоб честно все расска-

зать и покаяться, давай ее дальше дразнить да разыгрывать — опять удалую голову на грудь опустил.— Сколько?

— Чего сколько?

— Сколько ты с нею лизался?

— Ну, сколько? — начал припоминать я. — Может, полчаса, может, больше. Часов-то у меня нету...

Я уж надеялся, что после таких моих шуточек она придет в себя и расхохочется вместе со мною, да не тут-то было. Она и в самом деле обезумела.

— А потом?

— Чего потом?

— Что было потом? Не скрывайся лучше! Признавайся, несчастный! Не то я тебе не знаю что сделаю!..

— Потом? Что же было потом? А-а, потом я вспомнил, что ужин пропадает, и скорее рванул домой.

Лида выпустила меня, уронила руки:

— Дядя шутит! Я тебя зарежу!

— Чем? Скальпелем или ножом? Лучше ножом. Скальпели уж больно тупые.

— Дурак! Медвежатник! Грубиян! Сибирская деревянная колода! Чурбан... И... и... Я плакала! Вот... Тут... Тут... — показывала она на кожаный диван, единственный в коридоре диван, истерзанный, мятый, дыроватый. И как я представил, что она на этом диване, вжавшись в уголочек, на пружинах этих жестких, маленькая такая, в халатике... — так сгреб ее и прижал к себе:

— Балда ты, ей-богу!

— Конечно, балда, да еще какая! — всхлипывая, прерывисто выговаривала она. — Разве умная стала бы из-за такого...

Я утер ей нос концом ее же косынки, глаза утер и дунул в ухо.

— Ты правда не целовался? — жалко пролепетала она, глядя на меня глазами, все еще полными слез.

— Ну ей-богу!

— Я ведь чуть не умерла. Правда-правда! Все меня обманывают. Все заодно. Я, как дура, по палатам шастаю, а мне говорят: к психам ушел, в физкабинет подался, в шашки сражается... Потом это ваша любимица-царица, процедурная сестрица: «Лидочка, ты кого ищешь? Мишу? А его сегодня не будет. Он к женщинам на праздник ушел!» Представляешь? Ы-ы-ых, я бы ее так и разорвала! — И Лида в самом деле разорвала какую-то бумажку, попавшую в руки, изображая, как она управилась бы с Паней.

Я утянул Лиду под барьер, в раздевалку, и там, закрытый одеждой и халатами, крепко-крепко ее поцеловал. После чего она брякнула меня кулаком по голове:

— Вот тебе, враг такой! — И, совсем успокоившись, сказала: — Сколько ты моей крови выпил, кто бы знал!

О том, что днями будет комиссия и меня выпишут из госпиталя, и потому она выпрашивалась подменять сестер и дежурила за них, забыв про сон и покой, чтобы только побыть со мною, — она мне не сказала. Об этом я уже узнаю позднее.

Многого я тогда еще не знал и не понимал.

Вот подошла и моя очередь покидать госпиталь. Меня признали годным к нестроевой службе. Предстояло еще раз мотаться по пересылкам и резервным полкам. Мотаться, как всегда, бестолково и долго, пока угодишь в какую-нибудь часть и определишься к месту.

Лида осунулась, мало разговаривала со мной. Завтра с утра я уже буду собираться на пересыльный пункт. Эту ночь мы решили не спать и сидели возле круглой чугунной печки в палате выздоравливающих. В печке чадно горел каменный уголь, и чуть светилась одинокая электролампа под потолком. Электростанцию уже восстановили, но энергию строго берегли и потому выключали на ночь все, что можно выключить.

Я пытался и раньше представить нашу разлуку, знал, что будет и тяжело, и печально, готовился к этому. На самом деле все оказалось куда тяжелей. Думал: мы будем говорить, говорить, говорить, чтобы успеть высказать друг другу все, что накопилось в душе, все, что не могли высказать. Но никакого разговора не получилось. Я курил. Лида гладила мою руку. А она, эта рука, уже чувствовала боль.

— Выходила тебя. Ровно бы родила, — наконец тихо, словно бы самой себе, вымолвила Лида.

Откуда ей знать, как рожают? Хотя это всем женщинам, поди-ка, от сотворения мира известно. А Лида же еще и медик!

— Береги руку. — Лида остановила ладошку на моей перебитой кисти. — Чудом спаслась. Отнять хотели. Видно, силы у тебя много.

— Не в том дело. Просто мне без руки нельзя, кормить меня — детдомовщину — некому.

Опять замолчали мы. Я подшевелил в печке огонь, стоя на колене, обернулся, встретился со взглядом Лиды.

— Ну что ты на меня так смотришь? Не надо так!

— А как надо?

— Не знаю. Бодрее, что ли?

— Стараюсь...

С кровати поднялся пожилой боец, сходил куда надо и подошел к печке, прикуривать. Один ус у него книзу, другой кверху. Смешно.

— Сидим? — хриплым со сна голосом полюбопытствовал он.

— Сидим, — буркнул я.

— Ну и правильно делаете, — добродушно зевнул он и пошарил под мышкой. — Мешаю?

— Чего нам мешать-то?

— Тогда посижу и я маленько с вами. Погреюсь.

— Грейся, — разрешил я, но таким голосом, что боец быстренько докурил папироску, сплющил ее о печку, отряхнулся, постоял и ушел на свою кровать со словами:

— Эх, молодежь, молодежь! У меня вот тоже скоро дочка заневестится... — Койка под ним крякнула, потенькала пружинами, и все унялось.

Близился рассвет. В палате нависла мгла и слилась с серыми одеялами, белеющими подушками. Было тихо-тихо.

— Миша!

— А?

— Ты чего замолчал?

— Да так что-то. О чем же говорить?

— Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?

Я знал, что мне нужно было сказать, давно знал, но как решиться, как произнести это? Нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный, размазня я, слабак.

— Ну, хорошо, — вздохнула Лида. — Раз говорить не о чем, займусь историями болезни, а то я запустила свои дела и здесь, и в институте.

— Займись, коли так.

Я злюсь на себя, а Лида, видать, подумала — на нее, и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер!

Я притянул ее к себе, взял да и чмокнул в эту самую вздернутую губу. Она стукнула меня кулаком в грудь.

— У-у, вредный!

В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула:

— Их либе дих!

Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но, что значит слово «либе», все-таки знал, — и растерялся.

И тогда Лида встала передо мной и отчеканила:

— Их либе дих! Балбес ты этакий!

Она повернулась и убежала из палаты. Я долго разыскивал Лиду в сонном госпитале, наконец догадался заглянуть все в ту же раздевалку, все в тот же таинственный, с нашей точки зрения, уголок и нашел ее там. Она сидела на подоконнике, уткнувшись в косяк. Я стащил ее с подоконника и с запоздалой покаянностью твердил:

— Я тоже либе. Я тоже их либе... еще тогда... когда ты у лампы...

Она зарылась мокрым носом в мою рубашку:

— Так что же ты молчал столько месяцев?

Я утер ей ладонью щеки, нос, и она показалась мне маленькой-маленькой, такой слабенькой-слабенькой, мне захотелось взять ее на руки, но я не взял ее на руки — не решился.

— Страшно было. Слово-то какое! Его небось и назначено человеку только раз в жизни произносить.

— У-у, вредный! — снова ткнула она меня кулачишком в грудь. — И откуда ты взялся на мою голову? — Она потерлась щекой о мою щеку, затем быстро посмотрела мне в лицо, провела ладошкой по лицу и с удивлением засмеялась: — Ми-ишка, у тебя борода начинает расти!

— Брось ты! — не поверил я и пощупал сам себя за подбородок: — И правда что-то пробивается.

— Мишка-Михей — бородатый дед! — как считалку, затвердила Лида и спохватилась: — Ой, спят ведь все! Иди сюда!

Теперь мы уже оба уселись на подоконник и так, за несколькими халатами, пальто и телогрейками, прижались друг к дружке и смирно сидели, как нам казалось, совсем маленько, минутки какие-нибудь. Но вот хлопнула дверь, одна, другая, прошаркали шлепанцы в сторону туалета, кто-то закашлял, потянуло по коридору табаком.

Госпиталь начинал просыпаться, оживать. Уже кличут из палат няню лежачие, и она с бременем посудин, зевая, пробежала по коридору, издали давая знать, что на

посту была, ни капельки не спала, а только то и делала, что больным прислуживала да ублажала их.

Скоро и сестру покличут.

Окно за нашими спинами помутнело, сыростью тянуло от него. Лида все плотнее прижималась ко мне, начала дрожать мелко-мелко и вдруг, словно бы проснувшись, начала озираться кругом, увидела совсем уже посветлевшее окно, куривших в отдалении и на крыльце госпиталя ранбольных.

— Неужели и все? Неужели сегодня ты уйдешь? Ведь только вот сказали друг другу, и уже все! Миша, что же ты молчишь? Что ты все молчишь!

— Не надо плакать, сестренка моя.

Лида встрепенулась и поглядела на меня потрясенными глазами. Дрожь все колотила ее, а слезы остановились, и лицо сделалось решительное:

— Миша, не откажи мне! Дай слово, что не откажешь!

— Я все готов... для... тебя...

— Я поставлю тебе температуру... ну, поднялась, ну, неожиданно, ну, бывает...

Я так и брякнулся с подоконника, сильно встряхнул ее за плечи:

— Ты с ума сошла?!

— Я знаю, я знаю: это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонят. Из института прогонят. Ну и пусть прогоняют! Хочу с тобой побыть еще день, хоть один день! Пусть же эта проклятая война остановится на день! Пусть остановится! Пусть...

— Лидка, опомнись! Что ты несешь? Лида! Лида! — тряс я ее, успокаивал. Мне было страшно. Мне жутко было. Меня озноб колотил. Я не знал, что она меня так любит. И за что только! За что? Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат! Боже ж ты мой, Мишка, держись! Раз любишь — держись! Не соглашайся! Ты сильный, ты мужик. Не соглашайся! Нельзя такую девушку позорить. Держись!

И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы оказался слабей Лиды.

Я в самом деле, видать, был тогда сильным парнем.

Пересыльный пункт размещался в бывших складах «Заготзерно». Там уцелели полати для просушки зерна и не надо было делать нар, вот и приспособили «Заготзерно» под временное жилье, под перевалочную базу для людей. По старой привычке на склады залетали присмиревшие от недоедов воробьи. Солдаты щепками и складными ножиками выковыривали зерна из щелей, обдували с них пыль и жевали, круто двигая челюстями. Щепотку-другую уделяли воробьям. Птички быстро и без драки склевывали зерна и ждали еще, томительно следя за унылыми, медлительными людьми.

Эта пересылка была не хуже и не лучше других, по которым мне приходилось кочевать. Казарма не казарма, тюрьма не тюрьма. От того и другого помаленьку. Я думаю, что о запасных военных полках и о таких пересылках напишут еще люди. Иначе наши дети не будут знать о том, сколько мы перенесли, сколько могли перенести и при этом победить. Дети наши приучены думать так, будто война — это только фронт, где мы лишь тем и занимались, что без конца совершали героические подвиги.

У меня же в этом рассказе совсем другая задача. Он же о любви. Только о любви. Могу лишь добавить, что за все время воинских и госпитальных скитаний я побывал все же на одной пересылке, где более или менее сносно кормили.

Там был хромой и очень строгий комендант, и он так следил за порядком, что поварам, пекарям, охранникам, интендантам не удавалось обворовывать постоянно меняющийся состав пересылки.

Но у этого коменданта была слабость — он любил марши. Жил он на территории пересылки в домике с балконом. И вот каждый вечер комендант выходил на балкон и наяривал на гармошке «Легко на сердце» и заставлял нестроевых солдат маршировать под свою музыку.

Что сделаешь, обожал, видно, человек пышные парады, под музыку ходить обожал, а фашисты взяли да изувечили его на фронте.

На краснодарской пересылке никто маршировать нас не заставлял, и делать ничего не заставляли. Нас просто никуда не выпускали с территории пересылки, и мы были круглые сутки предоставлены самим себе и ждали «покупателя». «Покупатели» — это представители нестроевых частей. Они выстраивали нас во дворе, устланном рас-

трескавшимися булыжниками, и выбирали тех, кто годился еще в охранники, в строители, и уводили с собой.

Здесь происходили частые встречи однополчан, знакомых по госпитальным палатам, и так же часто повторялись неизбежные разлуки.

Я отвоевал себе угол в дальнем конце склада и сидел там сутками, обняв колени. На меня напало какое-то оцепенение и тупое ко всему безразличие. На смотр «покупателей» я не выходил, в торговые сделки, которые совершались между солдатами, не ввязывался, увольнительную не просил. Да и бесполезно было ее просить. Слишком много оказывалось желающих хоть на часок-два вырваться за ворота пересылки, загнать на базаре бельишко и купить семечек, еды или самогона.

И продавать мне было нечего.

Времени у меня было теперь дополна, все я мог вспомнить и обдумать, в том числе и подробности разговора с Лидиной матерью. Ничего не скажешь, битая женщина! Все знает, все сумела угадать, что и как будет со мною, что с нами будет даже!

Вот он я, весь нестроевой, и ничего, ничего не могу изменить. Была радость, большая, оглушительная радость. Не хотелось ни о чем думать, и война вроде бы забылась, все-все забылось. И вот на тебе! Смотри, думай, оглядывайся, раз выбрел из тумана, который отгородил тебя от всего мира. В пересылке тумана не бывает. Здесь пыль, запах мышей и робкие, полуоблезлые воробьи. Солдаты в «очко» дуются; пользуясь «заборной книжкой», к бабам каким-то пикируют, и чего там сделают — не сделают, а уж наврут с три короба...

Однажды я вылез из своего угла, сходил в медпропускник, попросил, чтобы остригли волосы, — чего доброго, еще и вшей разведешь. Они особенно на тех, кто с тоски и горя доходит, насыпаются — это я по окопам знаю. Солдат, повязанный вместо фартука рюкзаком, быстро содрал тупой машинкой мой чуб, и голове сделалось легче. Я посмотрел на свои темные волосы, смешавшиеся на полу с рыжими, белыми, седыми.

И ушел. На что они мне теперь, волосы? Чуб мой знатный?! Зачем попу гармонь, когда у него есть кадило!

Угол мой тем временем заняли. Я попросил вежливо освободить его. Белобрысый солдат было заартачился, но глянул на меня и быстро отодвинулся в сторону со своими вещичками. Если бы он еще немного поогрызался,

я бы избил его. Неподалеку от меня сидел в окружении хохочущего народа старший сержант, не только званием, но характером и повадками вылитый бродяга Шестопалов, и так же, как тот, травил анекдоты. Знал он их чертову прорву. И вообще парень был из тех, что и в аду умудряются жить с прибаутками. Солдатня с любовью смотрела в рот рассказчику и взвизгивала, корчилась, утирала слезы руками. Я тоже стал слушать:

— Н-да, и вот приходит, стало быть, старик Еремей с собранья, а старуха уж тут как тут: «Об чем собранье было? Че постановили?» Ну, старик Еремей поначалу кураж напустил, потылицу чешет: «Да разве,— говорит, — скажут нашему брату, об чем оно, собранье-то было!..» — «О-ой, старик, не лукавь! Все ты понял, да мне сказывать не хотишь! Помучить меня желаешь...» — «Ну уж, ладно уж, — вздохнул старик, — об мансипации собранье было, об равноправьи, значит. И вырешили: к каждой бабе прикрепить по два мужика». — «Ну-к чё жа — собранье уж зря не постановит! Вот и будете оба-два как сродные братья жить...»

Пересылка содрогнулась так, что воробьи по ней заметались и в окна ударились, пыль взрывами из-под нар и углов заклубилась, солдатня повалилась кто куда.

— О-о-о-ой! — стонал и захлебывался кто-то подо мной. — Как сродные братья, значит?! О-о-ой, не могу! О-о-оой!..

«Как бы мы жили? Как бы мы одолели врага, горести, беды и утраты, если бы не было у нас таких вот парней, как этот старшной!» — ударился я в длинные размышления, которые неожиданно прервал окрик моего бывшего соседа по послеоперационной палате, пристроившегося вахтером на проходной пересылки.

— Рохвеев е?

— Кто? Кто?

— Рохвеев е? — пытаю.

— Кто, кто? — еще раз переспросили его сразу несколько солдат.

— Да Рохвеев, говорю! Там к нему прийшлы.

Я почувствовал, как похолодело темя на стриженой голове, рванулся к краю нар.

— Может, Ерофеев?

— Осе, осе! — подтвердил солдат. — То ж ты, Мыха! — захлопал он глазами. — А я ж хвамиль твою забув! — И пошел со склада величественный, неприступ-

но важный и оттого совсем уж глуповатый, осудительно глядя на валяющуюся по нарам публику, которая не выказывала никакого рвения к службе. А так вот валялась, курила, трепалась и довольно терпеливо ждала подходящего «покупателя».

Я шел и чувствовал, как тяжелеют мои ноги, как наливается ежистым страхом все внутри и как сразу замерзла раненая рука, снова подвешенная на бинт, потому что вчера открылся на ране свищ. Я снял бинт, скомкал и сунул его в карман, одернул гимнастерку.

Возле ворот, притулившись к кирпичной стене, озеленелой снизу, на чахлой травке, каким-то чудом проросшей в камешнике, стояла Лида. Она была все в том же желтеньком беретике, все с той же желтенькой лисой, все такая же большеглазая, хрупкая с виду девчонка. Она рванулась ко мне навстречу, и я рванулся было к ней, но вдруг увидел себя чьими-то чужими, безжалостными глазами, в латаных штанах, в огромных, расшлепанных ботинках, в обмотках, в ветхой гимнастерке, безволосого, худого.

Я остановился и, когда Лида подошла и не подала мне руки, а лишь испуганно глядела на меня, спросил, стиснув зубы:

— Зачем ты пришла?

Она чуть попятилась, оступилась на булыжнике, залитом рыженькой грязцой. Я поймал ее за локоть.

— Зачем ты сюда пришла?

Она не знала, что сказать, и только глядела на меня с ужасом и состраданием. И это вот сострадание, которого я никогда не видел в ее глазах, даже там, в послеоперационной палате, окончательно взбесило меня, и не знаю, что я сделал бы еще, но Лида вдруг выхватила из-за рукава конверт.

— Я... Вот... письмо тебе принесла.

— Какое письмо?

— От Рюрика. Я думала... оно три дня назад пришло... Я думала, зачем его обратно отсылать...

Она еще лепетала что-то, и я видел, как наполнялись слезами ее глаза.

— Ничего девочка! — послышался сиплый голос сзади меня. Я обернулся. По двору шлялись и глазели на нас два расхлябанных солдата. Бывшие лагерники, видать, — то в карты играют, то дерутся и все химичат чего-то, продают,

покупают, меняют и с пересылки не уходят, прижились тут, на фронт не торопятся — там и убить могут.

Я придвинулся к Лиде, попытался загородить ее грудью.

— Да, фигурешник! Конфета!

— И везет же человеку! Доходяга доходягой, а такую девку урвал.

— По нонешним временам не это главное. Главное, чтоб мужским пахло.

Я затравленно озирался по сторонам, Лида презрительно сощурилась, как тогда, в госпитале, когда я ей сказал про лейтенанта. Да ведь тут презрительностью и всякими другими интеллигентскими штучками никого не прошибешь! Тут потяжельше чего-нибудь требуется.

Солдат во дворе появлялось все больше и больше. Иные из них выламывались, форсили, чтобы обратить на себя внимание. Были тут и из нашего госпиталя ребята. Они здоровались и быстро уходили, оставляя нас в покое, пробовали и тех двоих урезонить, да куда там! Они от уговоров только распалялись в поганстве своем, куражились и наглели все больше.

Я знал, чем все это может кончиться. Я уже целился глазами на железную ось от телеги, стоящую в углу возле ворот. Лида обернулась, тоже увидела ось, бледнеть начала и шевелить беззвучно губами: «Не надо, Миша! Не надо!..»

Слава Богу, постовой вмешался.

— Шо вы к человеку привязались, га? — заорал постовой на двух блатняг. — Ну, шо? Мабуть, у людей горе? Гэть до помещенья!

Солдаты начали неохотно расходиться. Те двое тоже пошли себе вразвалку, циркая слюной, почесываясь и отвратительно вихляясь.

— И шо тильки безделье з чоловиком не зробыть? — как бы оправдываясь за всех, говорил охранник, доверительно глядя на Лиду, а потом подумал и добавил уже строго-официально: — Дозволяю выйти за ворота на скамейку.

Я сидел на скамейке возле ворот пересылки, уставившись себе под ноги.

По улице густо валил народ, все больше военный. Но уже и легко одетые девушки ходили. Какие красивые здесь на Кубани девушки, только полнеть начинают рано. Это от хорошей еды, наверное, от фруктов. Я когда-то успел сломить ветку с клена, что рос над скамейкой. Почки уже

клеились к пальцам, и радио где-то, с какой-то крыши играло про весну.

— Миша! — позвала меня Лида, но я не сразу услышал ее, я где-то далеко от нее и от себя был, и она потрясла меня легонько за плечо: — Миша!

— А!

— Миша, что с тобой? Ми-иша! — Лида поднесла руку ко рту, закусила палец, потом опять принялась трясти меня: — Миша, скажи же что-нибудь! Родненький, скажи!

Но я не мог говорить. Я держался из последних сил. Я чувствовал, что если скажу хоть слово, то сейчас же разрыдаюсь и стану жаловаться на пересылку, скажу, что мне плохо без нее, без Лиды, и что рана у меня открывается, и что не таким бы мне хотелось быть перед нею, какой я сейчас. Мне хотелось бы быть тем красивым, удалым молодцем, о котором я все время рассказывал ей в своих сказках. И если бы я в самом деле был им, этим сказочным повелителем, я бы велел всем, всем людям в моем царстве выдавать красивую одежду, особенно молодым, особенно тем, кто ее никогда не носил и впервые любит... и если не навсегда, то хоть на день остановил бы войну.

Но я солдат, нестроевой солдат, остриженный, как и все солдаты, наголо, и сказки нет больше, сказка кончилась. Не время сейчас для сказок.

— Лида, тебе лучше уйти, — сказал я и поднялся со скамьи. — Привет матери передавай! Умная она у тебя женщина. И очень тебя любит. Береги ее.

— Хорошо, хорошо, Миша, я уйду. Я сейчас уйду. Я ведь только письмо...

— Уходи, Лида!

Мы стояли посреди тротуара, и люди обходили нас, толкали. Лида что-то говорила, или губы у нее дрожали: невозможно было понять. Я наклонился к ней, и до меня донеслось:

— Миша, я боюсь за тебя! Миша, я боюсь тебя тут одного оставить. У тебя в глазах что-то...

— Прошу тебя, Лида, иди! — Я отбросил завязанную узлом кленовую ветку, закусил губу и поднял глаза к небу. — Иди, ничего со мной не станется. Я ведь медвежатник, — попытался пошутить я. Но шутки не получилось, голос у меня засекся, и я легонько повернул ее от себя. — Прошу тебя...

Она послушно пошла от меня, по-старушечьи ссутулившись. Я почувствовал — Лида вот-вот обернется.

— Пожалуйста, не оглядывайся.

Она шла медленно и услышала эти слова, тряхнула головой, согласилась... и все-таки оглянулась. Своими яркими глазищами, в которых стояла мука, она позвала меня.

— Да уходи же ты! — заорал я, оттолкнув постового, и вбежал во двор.

Я залез на нары, наглухо укрылся шинелью и плакал молчком до тех пор, пока были слезы. Потом я лежал просто так, обессиленный слезами, и впервые в жизни узнал, как может болеть у человека сердце. Кто-то осторожно потянул с меня шинель. Я подумал, что ее намереваются спереть два тех блатняка — они могут и последнюю шинель солдата на пропой пустить, — и резко поднялся.

— Курни, солдат. — Из темноты ко мне протянули светящийся окурок.

Я залпом выхлебал дым из бычка — ожгло даже губы.

— Убили кого-нибудь? — спросил меня из темноты тот, что давал докурить.

— Убили...

— Когда только и конец этому будет? — Вздох, молчание, а спустя время — тихий, добрый совет: — Спи давай, парень, если можешь...

Я снова завернулся в шинель, угрелся и где-то под утро заснул. Днем я вышел в строй и с первым попавшимся «покупателем» уехал на Украину. Оттуда было ближе добираться до фронта и отыскивать свою часть. В нестроевой части я, конечно, не помышлял оставаться — еще могу пока бегать, стрелять, работать, а кирпичи таскать да рельсы либо мыло варить и без меня кому найдется.

Ну вот и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву, и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было.

Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. Постепенно присохла боль в душе, рассеялось и чувство задавленности, одиночества, все входило в свои берега. В сутолоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла, а потом, показалось, и вовсе истлела, навсегда, насовсем.

Но вот годы прошли. Многие годы. И война-то вспоминается как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне пар-

нишка, а я все думаю: «А может, встречу? Случается же, случается!» И знаю ведь — ничего уже не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду, надеюсь...

Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом, как не умел когда-то и девушке своей сказать о любви. Но очень уж большая земля-то наша — российская. Утеряешь человека и не вдруг найдешь.

Но ведь тому, кто любил и был любим, счастьем есть и сама память о любви, тоска по ней и раздумья о том, что где-то есть человек, тоже о тебе думающий, и, может, в жизни этой суетной, трудной и ему становится легче средь серых будней, когда он вспомнит молодость свою — ведь в памяти друг дружки мы так навсегда и останемся молодыми и счастливыми. И никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал «горьким». Нет-нет, счастье не бывает горьким, неправда это! Горьким бывает только несчастье.

Вот обо всем этом я часто думаю, когда остаюсь один, остаюсь с самим собой, думаю с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич, незабвенный наш, прекрасный наш поэт, лучше, глубже и пронзительней всех нас умевший чувствовать любовь, уважать ее и душу любящую, сказал так просто и так доверительно: «Печаль моя светла...»

В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их все еще идет к нам, все еще сияет нам.

1960—1972

КРАЖА

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ночью умер Гошка Воробьев.

Обнаружилось это не сразу, а после побудки. Но и побудка произошла не сразу. Сначала в мутных сумерках на стене зашуршал, как мышь под обоями, репродуктор, затем в нем прокашлялись, и лишь после этого диктор по фамилии Ширшун красивым голосом сказала: «Внимание!» — и замолкла. А все детдомовские ребятишки, и в четвертой комнате и в других, насторожили уши и спали уже вполглаза, ожидая, что скажет Ширшун, которая из-за мелодического голоса казалась не только ребятам, но и всем жителям города Краесветска женщиной молодой и очень красивой.

Ширшун еще пошуршала на стене, повторила снова: «Внимание!» — и без обычной бодрости сонно сообщила, что сегодня пятница, а число восьмое апреля, а год одна тысяча девятьсот тридцать девятый. И дальше уже бодрее заговорила, проснулась, стало быть, окончательно. Про лесокомбинат говорила, много чего-то там перевыполнили и отличились какие-то рамщики и откатчики. Ребята слушали все без особого интереса, в проценты лесопилок не вникали. Они ждали сводку погоды. И дождались. В заключение утренней программы Ширшун весело так прочитала о том, что потепление, накатившее с юга, в ближайшие дни сохранится и, мало того, тронется дальше на север, и пока неизвестно, куда оно дойдет и что из этого получится. Ширшун и еще что-то там бормотала про по-

году, цифры разные называла, прогнозы на ближайшее время, но ребята уже не слушали ее.

Они были удручены и раздосадованы. Вот зимою, бывало, совсем другое дело. Ширшун как скажет «минус сорок» — и сразу весь дом потрясет криком «ура!». Сорок — это значит в школу не идти. Это значит весь день можно ваньку валять, делать чего хочешь. А сейчас потепление...

Кому от этого польза? Да и потепление-то только на градуснике, а в комнате все равно хоть чертей морозь — выстыло.

Дежурные по детдому уже не раз грохали в дверь и кричали: «Подъем!» Но ребята, угревшиеся под одеялами, пытались еще минутку-другую побыть в сладкой сонной расслабленности. Наконец белоголовый Попик, дежурный четвертой комнаты в наступающем дне, храбро вскочил, поддернул трикотажные сиреневые исподники.

— У-ух, блин, и холодина! — передернулся он и, вложив два пальца в рот, пронзительно свистнул и заорал: — Кончай ночевать, шкеты! — Исподники тем временем сползли до колен. Попик изловил их и, напуская на себя гневность, проревел голосом офицера-беляка, недавно увиденного в кино: «Не подчиня-а-аетесь, канальи!» — и принялся сбрасывать с парнишек одеяла.

Всколыхнулась четвертая комната, гвалт, шум, визг, хохот. От дежурного отбивались как могли, бросали в него подушками, учебниками, валенками. Но, смирясь с участью, вскакивали и, чтобы не быть в обиде, принимались помогать Попику, безжалостно зорили постельные гнезда, в которых еще подремывали и таились ребятишки.

С Толи Мазова сбросили одеяло, простыни, вытащили из-под него матрац и подушку — спит! На досках спит! Под матрацем оказалась толстая книжка «Капкан» Ефима Пермитина и еще одна книжка «Человек-амфибия», со страшной картинкой на обложке. Когда все уснули, Толя включил свет и читал до позднего часа, если не до рассвета, эти где-то им раздобытые книжки. Случалось, он и по всей ночи не спал, на физзарядке потом запинался, дремал в столовой и во время уроков в школе. Большинство ребят, и особенно девчонок, вообще-то почтительно относились к книгочею.

Но подъем есть подъем! Раз всем вставать, значит, всем вставать!

Они сгребли Толю и посадили на холодный крашеный пол. Он на мгновение проснулся, сказал: «Задрыги!» — и скорчился на полу, подтянув колени к подбородку.

— Во, хмырь-богатырь! — поразился дежурный. — Волоки! Спиной по полу! Запор-р-рю каналью! — опять рявкнул Попик киношным голосом и приосанился даже. — Воды на него! Из графина!

— Велосипед поставить! — просунул голову в дверь житель соседней комнаты Паралитик. — Сразу вздыбает! А чего Воробей спит? Опять ему привилегия?!

И вдруг гвалт разом оборвался, будто отсекли его острым топором.

Попик сдернул одеяло с Гошки Воробьева.

Гошка лежал, затискав в кулаки простыню. Глаза его чуть приоткрыты, рот тоже. Лицо с тонкой и желтой кожей, сморщенное у рта и у глаз, было, как и при жизни, отчужденно. Все было как прежде, только вытянулись ноги, и сделалось особенно заметно, что сиреневое трикотажное белье не по Гошке. В белье этом можно было еще уместить одного мальчишку.

Попик попятился, молча бросил одеяло на старое лицо Гошки и ринулся в дверь. За ним дернули все остальные ребята. Застряв меж косяками, давнули кого-то, заорали и сорвали с крючка вторую створку двери. Толя Мазов тоже успел выскочить в коридор, но ничего со сна не понимал, крутил головою, у него мерзли ноги, он подпрыгивал на крашеном полу, студеном и гладком, как стекло.

Вопль шарахнул по детдому и разорвался во всех комнатах.

Еще ничего не зная, но чувствуя по крику, что произошло страшное, взвизгнули в комнатах девчонки. Гошка остался в четвертой один.

Из-под одеяла, комком брошенного на Гошку, торчали худые ноги, и чуть задравшаяся рубаха оголяла впалый живот.

Гошка уже ко всему был безразличен.

Тетя Уля, детдомовская повариха, привыкшая еще в крестьянстве относиться к смерти со скорбным спокойствием, прищипнула глаза Гошке.

— Отмучился, горюн, — молвила она с протяжным вздохом и тут же стала соображать и прикидывать работу, какую требовалось сделать для покойника. Паника детдомовская не касалась ее дел и мыслей, как что-то малозначительное по сравнению со смертью.

Заведующий детдомом Валериан Иванович Репнин тихо вошел в комнату, постоял возле Гошки, опустив голову, зачем-то надел очки, потом снял их и как бы сам себе молвил:

— Не дотянул ты, Воробьев, до парохода. Не дотянул...

Тетя Уля всхлипнула по бабьей привычке. Валериан Иванович опустил руку на ее плечо:

— Не надо, Ульяна Трофимовна. Не надо, чтобы ребята видели слезы, — и так же тихо и печально добавил: — Будьте здесь. В комнату никого не впускайте. Я пойду звонить. Нужно, чтоб Гошу увезли в городской морг. Здесь ему, к сожалению, нельзя... — Еще постоял, не зная, что сделать и что сказать, будто стеснялся просто уйти, а должен был, как всегда, распоряжаться всем тут, все направлять.

Видя, что у него побледнело межбровье, и бледность пошла по всему лбу, и что он снова лезет в карман и начинает вынимать футляр с очками, тетя Уля пришла ему на помощь:

— Идите с ребятами управляйтесь, а здесь дело бабье, — и кротко вздохнула: — Родить, хоронить да ранетых и обиженных оплакивать — наша женская работа. Господи, прости раба Твово малово, новопреставленного.

Под ручеистый, нервущийся говорок тети Ули, в котором ее женские мысли и мимоходные точные распоряжения смешивались с молитвами, Репнин вышел, тихо притворив дверь.

Ребят в коридоре не было. Все они толпились в столовой, кто в чем.

Валериан Иванович постоял, оглядел всех. Воспитательниц здесь не было — тоже куда-то схоронились.

— В нашем доме несчастье, — глухо начал Валериан Иванович. Никто не шелохнулся. Кучка ребят была тесна и кротка. «Мало детей почему-то? Когда врассыпную бегают, оруг — больше кажется». — Нужно всем одеться, привести в порядок постели, прибрать в комнатах. Несчастье — это удел взрослых... Я хочу сказать — дело взрослых, — поправился Валериан Иванович и замолк. Так были нелепы слова, которые он говорил. Но куда деваться? Нужно было что-то делать, что-то предпринимать. — Друзья мои... — как будто сызнова начал Валериан Иванович, впервые в жизни назвав ребят друзьями, и заметил на лицах старших изумление. «Что я говорю? Зачем?»

Чувствуя, что запутался, Валериан Иванович рассердился на себя и сделал ту непоправимость, которую уже никогда не мог простить себе потом: — Словом, всем завтракать и отправляться в школу. Воробьева отвезут в морг и похоронят. Вам бояться нечего. Думаю, так лучше. Считаю, так лучше.

— Н-нет!

Так и не мог потом вспомнить Валериан Иванович, кто это крикнул. И вдруг прорвало, и все разом закричали, одна девчонка уже закатилась в истерике. К Валериану Ивановичу подпрыгнул Паралитик и замахал костылем:

— Гошку резать не дадим!

— Не дади-и-им!

— Не дади-и-им!

— ...а-ад-ы-ы-ы!

Это был тот самый момент, из-за которого слабонервные люди оставляли работу в детдоме. А те, что думали взбунтовавшуюся или, точнее, вмиг одичавшую толпу детдомовцев усмирять криком или кулаками, попадали на нож.

Валериан Иванович оторопело смотрел на ребят и не узнавал их.

Здесь уже не было Сашек, Борек, Мишек, Толек, Зинок. Было осатанелое лицо маленького человека, пережившего когда-то страшное потрясение, сделавшее его сиротой. Это потрясение осело в глубину, но не умерло и никогда не умрет. На самом дне души сироты, как затонувший корабль, всю жизнь лежит оно. И неважно, кто и почему тронет душу эту, отяжеленную вечной ношей.

Только тронь! Только ковырни!..

Среди этих ребят есть парнишка Малышок. На его глазах отец зарубил мать, и с тех пор лицо ребенка искривило припадочной судорогой и поселилась на нем вечная улыбка. Ребята бездумно и жестоко кличут Малышка Косоротиком.

Здесь где-то Зина Кондакова. Это именно с нею на глухом, занесенном снегом станке-деревушке случилось такое, что и взрослому человеку не всякому было бы по силам вынести.

А вот мечется по столовке на костыле Паралитик, человек без имени, без фамилии. Он не знает, когда и где умерли родители. Не помнит. Его избили за украденную краюшку хлеба так, что отнялись у парнишки левая нога и левая рука. Осталось полчеловека. Злобы на пятерых.

А Гоша? Гошка Воробьев!..

Валериан Иванович ожидал, что его ударят или бросят в него чем-нибудь. Думалось ему до этого: Воробьев надоел им, рады будут, если увезти его. Но они ж едины в своем несчастье...

Его никто не ударил. И как только поутихли плач, ругань, крики, Валериан Иванович произнес насколько мог спокойнее: — Будет все, как вы хотите, — и вышел из столовой.

И без того сутулый, он словно бы еще больше огруз и тяжело шаркал подшитыми валенками по крашеным половицам. На повороте коридора, за которым был отросток вроде кончика буквы Г, он поскользнулся и едва не упал. Прошел мимо кухни, двери кладовой и подержался за стену возле уборных для мальчишек и девчонок. Долго стоять здесь было нельзя, он добрел до своей комнаты и почти упал в дверь. Хорошо, что она открывалась внутрь.

Обхватив голову руками, Валериан Иванович минут десять сидел в комнате на койке и все твердил сам себе: «Надо ж постель заправить. Надо ж в комнате прибрать. Непорядок. Нехорошо. Ребята могут войти...»

Внешне он хотя и огруз и ни в походке, ни в движениях его почти не угадывался военный человек, все же в нем, как металлический осколок войны, всажена была внутренняя вышколенность, способность быстро оценивать обстановку, брать себя в руки — словом, по-военному мобилизоваться и мыслить быстро и сообразно моменту. Поэтому он никогда не позволял входить в свою комнату ребятам, если в ней было не подметено, не заправлена кровать, не убрано на столе. Спрашивал он с ребят тоже строго. За безалаберность и неряшество подвергал их ехидству, которого они выносить не могли. Все могли, а это нет. Как увидит Валериан Иванович оторванную пуговицу, особенно на штанах, да скажет: «Не изображай из себя сапожника! Сапожник куда опрятней тебя и дурь свою на вид не выставляет!» — ну хоть проваливайся сквозь пол, и только.

Валериан Иванович накапал лекарства в стакан, выпил, прислушался к себе и позвал воспитательниц. Пришла одна Маргарита Савельевна. Она спасалась на кухне. Бочком протиснувшись в дверь, она прислонилась к косяку, прижав к груди узлистые, мужицкие руки.

Валериан Иванович хотел спросить, где вторая воспитательница, Екатерина Федоровна, но, поглядев на эти

неуклюже сложенные на груди руки, спрашивать ничего не стал.

— Маргарита Савельевна, сегодня ребята в школу не пойдут, — заговорил заведующий, давая время воспитательнице опомниться. — Пусть ребята делают все, что считают нужным делать. Не мешайте им. — Репнин на минуту умолк. По лицу воспитательницы и по тому, что она все еще молитвенно держала на груди руки, нетрудно было догадаться — до нее так-таки ничего и не доходит, но со всем, что говорил заведующий, она согласна уже потому, что он старший и может сделать так, чтобы все это ужасное происшествие скорее кончилось. До детдома Маргарита Савельевна работала заведующей избой-читальней народов Севера и одновременно училась в вечерней школе. Избу-читальню передвинули на станок, поближе к народам Севера, а Маргариту Савельевну, как личность начитанную и оставшуюся не у дел, «бросили» на детдом, где не хватало воспитателей. Попав из почти никем не посещаемой избы-читальни в содомное заведение, к шумному и дерзкому народу, Маргарита Савельевна как перепугалась еще в первый день своей новой работы, так и боится ее до сих пор.

Репнин вздохнул, поморщился и уже больше сам для себя, а не для Маргариты Савельевны, прибавил:

— Есть такие вещи, в которых дети мудрее нас с вами, — и дотронулся двумя пальцами до бледной переносицы, будто поправил очки, хотя очков не было: он пользовался ими только по делу — читал, писал, а так обходился пока без очков. — Все! — Валериан Иванович выпрямился у стола. — Не раскисайте! — Он хотел сказать «держитесь», но побоялся, кабы не напугать женщину, и без того напуганную. Надо было приказать ей остаться на ночь здесь, да пожалел ее. Как-нибудь управится сам, не впервой ему проводить ночи в детдоме, один на один с ребятами.

Без лишних разговоров, без драк и споров ребята навели порядок в комнатах. Когда они хотели, могли сделать все, но хотение делать полезные дела находило на них редко, очень редко. Два человека с «крепкой кишкой» — Лешка Деменков и Попик, не любящий и не привыкший чего-либо долго бояться или чему-либо удивляться, — дежурили возле Гошки Воробьева, накрытого простыней. Ребята почему-то решили, что покойнику полагается быть в пустой комнате, вытащили все кровати, тумбочки, стулья. На полу валялись клочья мочала из матра-

цев, рваные тетрадки, учебники, рогатки. Девчонки принесли зеркало, прибили его к стене, занавесили черным — кто-то еще по дому родному запомнил: при покойниках зеркало полагается завешивать черным. Попутно завесили лыжными штанами тщедушного человека — строго исполненный портрет знаменитого педагога, чтобы посторонний не глазел на Гошку.

В детдоме неслыханный мир: ни шума, ни беготни — траур. Все заняты делом или придумывают себе дело. А делать-то, оказывается, и нечего. Толя Мазов подал мысль собрать полуразбитые балалайки, гитары, мандолины, заново создать струнный оркестр и хоронить Гошку под марш, горячо убеждая себя и ребят, что они постараются к нужному сроку отрепетировать похоронную музыку. С этой идеей он обратился сначала к Маргарите Савельевне, и та быстро согласилась, радуясь тому, что и она чем-то может быть полезной детдому и что с ней вот уже советуются.

— Да, да, — сказала она, пряча руки под полушалок, в который она куталась: — Я и ноты могу принести. Марш Шопена. У меня с прежней работы остались. Я домой сбегаю. Быстро сбегаю, — и она уже поспешила одеваться, тихо радуясь тому, что нашла предлог хоть ненадолго, хоть на какое-то время выбраться из детдома, где умер мальчик, где ходят злые или заплаканные маленькие люди и, как ей кажется, вот-вот кого-нибудь пырнут ножом или зажгут чего-нибудь.

— Да мы в нотах этих ни бум-бум! — почесал затылок Толя и тут же обнадежил воспитательницу: — Мы и без нот сыграем — будь спок!

— Что такое?

— Будь спок-то? Будьте спокойны. Понятно?

— Понятно. Словечки эти ваши сведут меня с ума.

— Н-ну, какой у вас ум хрупкий! — У мальчишки у этого плутовская улыбка в глазах. Во всяком случае так показалось Маргарите Савельевне, и она сказала тем тоном, каким говорила в избе-читальне эвенкам, чтобы они не мусолили пальцы, листая книги, и не выдирали бы из них страниц на потребу:

— Надо говорить нормальным языком, Толя.

— Нормальным неинтересно. — Он сделал ручкой воспитательнице и побежал к Валериану Ивановичу, а она осталась в коридоре одна и, грея под полушалком руки, горько подумала: «Я всегда любила детей и люблю их сей-

час. Но почему, почему они не принимают меня всерьез? Впрочем, я всегда любила детей послушных, аккуратных, отличников, а эти...»

Когда Толя доложил о своей идее Валериану Ивановичу, тот чуть за голову не схватился — такую распотеху доставить горожанам. Он по возможности деловито и спокойно начал втолковывать:

— Гоша еще ребенок. Понимаешь, ребенок! Не надо никакой музыки. Да и хоронят всегда с духовым оркестром. — Это был самый убедительный довод, и Толя, подумав, не сразу, но согласился с ним.

— Может, тогда стихи читать или песню спеть? — внес он новое предложение. — Молитвы ж читают над покойниками. А мы неверующие, атеисты.

«Вот еще атеиста Бог дал на мою голову!» — загоревал Валериан Иванович и мягко, деликатно стал разъяснять Толе, что и стихов-то тоже никаких не нужно, лучше сказать несколько добрых слов, и все.

— Не из хрестоматии, понимаешь?

— Н-ну, — неохотно согласился Толя и пошел было, но быстро вернулся. — Если что сделать, Валериан Иванович, так все мы...

«Нужно этого голубчика из дома выпроваживать, а то он напридумывает!» Он послал Толю к поварихе тете Уле на квартиру за метром, надеясь еще какое-нибудь занятие подыскать ему потом.

Толя вмиг слетал к тете Уле, занимавшейся после работы швейным ремеслом, принес старый клеенчатый метр, свернутый в кружок.

Екатерина Федоровна, бывшая портниха, снимала мерку с Воробьева, тетя Уля помогала ей, а Деменков и Попик, чуть отодвинувшись, напряженно следили за ними. Этим парням дано тайное поручение: следить за тем, чтобы труп Гошки куда-нибудь не увезли.

Все пока шло нормально. Никто и никуда Воробьева не увозил. Гордые наложенной на них ответственностью, парни решили и ночью поста не покидать.

Часть ребят вовлечена в дело, которое им покажется хоть и не таким важным, как у Деменкова и Попика, но занятием все-таки более интересным, чем, например, уроки в школе.

Пять человек отправлены с меркой в лесокомбинатовскую мастерскую — заказывать гроб. Десять человек — в лес за пихтовыми лапами. Кружком обступили девчата

Екатерину Федоровну, шьющую на руках новые штаны Гошке и новую рубаху из сатина, помогают делом и словом воспитательнице, а больше учатся ремеслу. У Екатерины Федоровны волосы шишом на затылке, а на глазах круглые очки, и она смешно держит иголку, оттопырив мизинец. Так форсистые дамочки едят ложечкой варенье. Вид Екатерины Федоровны домовитый и простой, говор ее, грустно-умиротворяющий, размягчает девочек, они становятся послушными, тихими и старательными рядом с этой женщиной, стесняющейся, когда ее зовут воспитательницей.

— Шить на покойников полагается руками, а не на машинке, потому что в тихое место отправляется человек и сопровождать его надо тихо, достойно, без стука, без речей и пьянок. Я не люблю, когда голосят над покойником и когда оркестр играет. Усопший ничего-ничего не слышит, а тут в тарелки бьют. Для живых бьют, чтоб душа их шибче загоревала. Но люди, если горюют, им и без того горько, а если не горюют, зачем заставлять их горе изображать? — Екатерина Федоровна, перекусив нитку, опять шьет быстро-быстро, смешно оттопырив палец с длинным ногтем, и степенный ее говорок слушают девчонки.

Парнишки иные подбегают послушать, да неинтересна, видать, им бабья болтовня.

Ходят, бродят, болтаются по детдому из комнаты в комнату парнишки.

Ребята эти, свободные от дел, затевали разговоры все на одну и ту же тему: о Гошке Воробьеве. А потому как Гошку в доме не любили и знали о нем очень мало, то быстро перескакивали на воспоминания о том, как умирали папа, мама или дедушка.

Валериан Иванович, воспитатели — все взрослые люди — старались устроить жизнь детдомовских ребят так, чтобы они как можно реже занимались воспоминаниями, не бередили бы и без того больные души. Но сейчас им невозможно помешать. Память ребячья устроена, как замок: только поверни ключ и...

И вот уже то в одном, то в другом углу заведующий замечает сгорбленную фигурку: чаще всего это те, кто недавно прибыл в детдом или у кого здоровьишко неважное. Табунный народ, скопом отбивающийся от городской шпаны, толпою бредущий в школу и беглой рысцой из школы, гурьбой вваливающийся в кинотеатр, в столо-

вую, в баню. Единые в шуме и в радости, в игре и в драке детдомовцы, как только нахлынет горе на них, начинают таиться.

Которые побольше — уходят в город, по опыту зная, какое ненадежное укрытие — угол.

Но это те, кто уже обжился в детдоме. А как быть с теми, что совсем недавно были дома, а потом проводили на кладбище родных, кому они были нужны и кто им еще больше был нужен? Они забываться уже стали. И вдруг умер Гошка. Опять шьют чего-то, ходят тревожные и непривычно скорбные люди — опять разбередили больную детскую душу.

Сжимается сердце Валериана Ивановича. Опустить бы руку на стриженую голову, прижать ребенка к себе, но тогда он обязательно разрыдается, и его не вдруг успокоишь. Пройти мимо? Ноги не идут. Остаются слова, только слова, и заведующий говорит:

— Петя, ты уж большой. Подумай о малышах. Они увидят, что тогда...

Валериан Иванович на минуту заходит в свою комнату, плескает в стакан лекарство. Язык обожгло, отравлено все во рту. С трудом удерживая посудину, стучащую о зубы, расплескивая капли на галстук, он пьет, уже не чувствуя горечи, а задохнувшись оттого, что в стакан вылил, помимо нормы, еще одну длинную каплю. На минуту он опускается на кровать, не снимая обуви, лежит, чувствуя под валенками скользкую от краски половицу, слушает, готовый пружинисто вскочить, если в дверь постучат. Сердце набирает ход, а в теле и в руках появляется расслабленность, и липкая сонливость склеивает глаза. Поднять бы ноги с полу, разуться, выпрямиться и забыть обо всем, обо всем...

Но всякий раз, как только он опускался на узкую железную кровать, на мочальный матрац, на тощую казенную подушку, на эти детдомовские постельные принадлежности, его кругом обступали ребята со своими одинаковыми и в то же время такими непохожими судьбами. И во сне они не оставляли его. Они всегда были вокруг него и вместе с ним. И ему казалось порой, что не было у него иной жизни и что он вечно жил в этом доме, с этими неведомыми ему когда-то заботами и делами. Но не приходилось ему еще ни разу заботиться о мертвых детях.

Как нелепо — мертвый ребенок! Мертвый Гошка Воробьев, человек, не успевший даже вырасти!

«Гошка. Как же это будет по-людски-то? Георгий? Да Георгий. Георгий Победоносец — святой, помнится, такой был. Фу, какие глупости в голову лезут!»

Где-то старательно выводят имя Георгия на фанерке детдомовские художники, навострившиеся писать лозунги к 7 Ноября и к Первому мая. Они, чего доброго, на дощечке напишут: «Гошка Воробьев» — и добавят еще какую-нибудь от сердца идущую чушь. Надо подняться и дать эскиз, нарисовать на бумаге. А то художники так изобразят, так разрисуют...

Пусть только перестанут дрожать руки, пусть немножко приотступит дрема. И тогда он напишет.

Чего же он напишет? Родился, умер никому не известный Георгий. И ребята будут удивляться — какое у Гошки звучное имя! Но не будут удивляться тому, что он так мало жил на свете, этот Георгий, Гошка Воробьев.

Воробьев появился в Краесветском детдоме осенью, с последним пароходом. И не один. Еще с пути следования капитан парохода известил краесветскую милицию телеграммой о том, что на борту его судна пиратничает группа беспризорников, и просил принять меры.

«Группа» вывалилась с парохода в составе шести человек. Первым шел, бодро постукивая костылем, Паралитик. За ним Лешка Деменков, Попик, Сашка Батурин и еще один парнишка. Среди этих изрядно подносивших казенную одежонку и довольно-таки одичавших «вольных людей» хоронился тонкошеий мальчишка, которому первоначально Валериан Иванович дал лет девять-десять.

«Вольные люди» убежали из одного уральского детприемника и почему-то решили податься на Крайний Север. Они, видите ли, там еще не бывали и хотели лично посмотреть на строительство нового города Краесветска, о котором молва катилась по всей стране.

Были у них и еще кое-какие «мотивы». О них, само собой, никому ничего не сообщалось. Главный «мотив» — пробраться на иностранный корабль и рвануть за границу — подивиться, как они там живут, буржуи. Говорят, большие ротозеи, деньги кладут куда попало, даже в наружные карманы, российских людей российские воришки давно уже отучили так делать.

Гошка на содержании. Был он когда-то мастер, да весь вышел. На базаре того самого города, где погибли отец и мать Гошки, поднимавшие из воды взорванный в гражданскую войну мост, и куда так тянуло все время парнишку, сдыбал его один дядька, и не в своем кармане вовсе сдыбал. Он поднял Гошку будто младенца, красуясь своей силой, ахнул, словно колол дрова, и посадил его на булыжник, как на горшок. У Гошки хрустнуло в спине, и показалось ему, что позвоночник уперся ему в затылок, а внутри пусто как-то сделалось, будто ни кишок, ни живота, ни печенок, ни селезенок в Гошке уже не осталось, и пронзило его по пустому нутру знобким сквозняком. Гошка сгоряча убежал за овощные ряды и там свалился меж отбросных ларей на капустные листья.

Ночью «вольные люди» перетащили Гошку с базара на станцию, засунули в вагон под скамейку и, решив, что Гошка к утру «прочухается», поехали смотреть Хакасию. Говорят, идолы какие-то в хакасской степи стоят. Надо идолов посмотреть. Не видели. Гошка в вагоне и на самом деле маленько оклемался, а может, водка его взгорячила, которой в пути разжился Паралитик, срезав флягу с пояса спавшего пассажира.

Словом, добрались они до Хакасии. Но земля эта «вольным людям» не поглянулась. Уныло в степи, однообразно, и люди совсем не остерегаются. У них даже красть как-то неловко. Идолы, правда, попадаются — не соврали люди. Но что они, эти камни со стертыми ушами и носами? «Вольные люди» и позанятней кое-чего видели.

Покинули Хакасию. Ночью по причальным канатам, как циркачи, забрались на старенький пароход «Улуг-хем» и поплыли куда глаза глядят. В дороге от нечего делать заметили, что с Гошкой все-таки неладно: без конца бегает парень в галыон, синий сделался. Достали закрепительных пилюль, велели Гошке целую горсть проглотить — не помогло. Стали поговаривать о том, чтобы «подкинуть» Гошку в милицию, а там уж знают, кого куда девать.

Гошка не захотел отставать от компании, притворился, будто с животом у него все хорошо обстоит. Раз компания собирается на Север, уж не бросят же его. Ему на Севере быть позарез необходимо — Север пользителен при чахотке, а при других болезнях, наоборот, вреден.

Подействовало.

Собрались парни перезимовать на магистрали, по весне уж двинуть в Заполярье. Но попустились замыслом:

раз необходимо для Гошкиного здоровья, поехали они холоду навстречу, тогда как беспризорники испокон веку поступают наоборот: бегут от зимы в теплые края.

Дорогой «вольные люди» нанесли немалый ущерб пассажирам парохода, держали в постоянном напряжении команду. Спали они на палубе, на дровах, возле кочегарки, на запасных трапах. Из коридоров первого и второго класса их прогоняли. Гошку помещали в середину — грели собой, но он все равно мерз.

Решили лечить его.

Полностью исчезла судовая аптечка вместе с настенным ящиком. Фельдшер парохода остался не у дел, таскался за Паралитиком, деловито постукивавшим костылем, упрашивал вернуть хотя бы часть лекарств, за что обещал уход и лечение больному. На том и порешили: вернуть аптечку, но чтобы с Гошкиной головы и единый волос не упал, чтобы лечили его по всем правилам науки.

Остаток пути Гошка провел на кушетке медпункта парохода.

В Краесветске Гошка немедленно был определен в больницу. Остальные «вольные люди» из милиции были препровождены в детский дом и повели там жизнь с расчетом до весны, а там уж и в дальние страны двинут — на буржуев смотреть.

Через полтора месяца Гошку выписали из больницы. Главный врач больницы, чего-то стесняясь и не глядя в глаза Валериану Ивановичу, сказал:

— Мальчишка смертельно изувечен. Если он доживет до весны, с первым же пароходом направим его в южный санаторий, там его, может, и спасут. Я же... Его бил мастер... Опущение желудка, мочевого пузыря. Одним словом, как говорят в народе, все внутренности отбиты. — И без перехода добавил, сбиваясь со строгого тона на недовольный: — Берегите мальчишку! — и ушел, сердито ткнув растопыренными перстами в дугу своих очков.

Какое-то время Гошка еще ходил в школу, даже в игры и в драки встревал, а потом школьники начали поводить носами, сторониться его, и учителя спрашивали Гошку с места, к доске не вызывали. Ученики придумали Гошке грязное прозвище.

Бросил Гошка школу.

Сколько-то дней шатался он по улице, околачивался в столовых и кинотеатрах и возвращался домой вместе с ребятами, будто с уроков. После и таиться перестал. Он

становился все более замкнутым, злым, то и дело лез в драку, но был уже настолько слабосильным, что даже с девчонками совладать не мог. Меньше силы, больше зла — он бил чем попало: молоток — так молотком, полено — так поленом, нож — так ножом.

Валериан Иванович твердил ребятам, что Гошка болен, просил не связываться с ним, уступать.

Да разве умеют ребята уступать? Гошка не ходил в школу, не тупел над уроками. Ему часто меняли белье, порой отдельно готовили еду. Капризам его потакали воспитательницы, заведующий, тетя Уля — и чтобы они, ребята, еще ему уступали! Нет уж, шиш с маслом этому Гошке! Видали, больной! Придуривается небось, учиться не хочет.

Валериан Иванович пытался снова определить Гошку в больницу. Мальчишка закатил истерику, порвал на себе рубаху, бился головой о стенку. После этого ребятишки окончательно решили: притворяется Гошка, волынит, и от зависти вконец невзлюбили его.

Валериан Иванович часто брал Гошку к себе, читал ему книги, рассказывал что-нибудь, и удивительно кротким, непривычно милым становился Гошка. Иногда он засыпал в комнате заведующего, по-птичьи уткнувшись подбородком в плечо. Валериан Иванович уже подумывал, не поставить ли вторую койку в своей комнате.

И вот весна как будто поспешила выручить Гошку, узнав, что он больной. Сначала она вломилась в окно ярким блеском солнца, срикошетившим от снега. Аж зажмурился Гошка от такого солнца, аж виски у него заломило, а внутри, где жил постоянный и уже привычный холодок, как будто что отмякло, нежным тополиным пушком все там обволокло.

Раз-другой капнуло с крыши — и зачастило, зачастило. Капли густели, как сера, и растягивались в сосульки, тонкие, ребристые, острохвостые. Так хотелось похрумкать Гошке сосульку, да не дотянуться до нее. Палкой бы сшибить, да нельзя сосульку есть — знобко телу. Вытаяла высокая завалина, запарила, обсохла. Гошка выползал на нее и сидел нахохлившись целыми днями, в валенках, в шапке, в простеньком детдомовском пальтишке — слушал, молчал, подремывал.

Солнце с каждым днем поднималось все выше и выше. Вытаяла еще одна сторона завалины, и Гошка стал передвигаться вслед за солнцем. Так в полусне, не размыкая

глаз, и полз он по завалинке на ощупь к теплу. К нему никто не смел приблизиться. Стоило подойти и вывести парнишку из сонного состояния, он принимался визгливо кричать:

— Чё вам от меня надо? — и жутко, не по-мальчишески ругался.

Вокруг Гошки возились, почирикивали воробьи. Вид у них был козыристый, какой бывает у всех птах, переживших зиму, да еще к тому же заполярную.

Гошке оставляли на столе еду, и он ел, когда ему вздумается. Гошке выписывали лекарство. Он пил его сердито, как будто принудиловку отбывал. На прием в поликлинику сердобольная Маргарита Савельевна водила его за руку, почти силком.

И вот больной сам выпросил ложку, завернул ее в тряпицу и носил в кармане — сам начал пить лекарства. В четвертой комнате снова запахло больницей. Есть начал Гошка. Бывало, он выпивал компот, отщипывал немного хлеба, и все. А тут принялся суп хлебать, второе ковырял вилкой, уставал от такой работы и однажды шевельнул морщинами на лице, пробуя улыбнуться: «Ешь — потей, работай — мерзни!» Желтое лицо Гошки тронуло загаром, губы его зашелушились, он сделался покладистей характером. В доме поговаривали о том, что Гошка «вытаивает».

В эти ранновешние дни Гошка приходил спать после отбоя, жалея, что мало времени еще бывает на небе солнце. Но это заполярное, ярко слепящее солнце все же помнило о Гошке и расправлялось с глубоко засевшей заполярной зимой хотя и не очень уверенно, однако ж снега растапливало, как масло, и кое-где на буграх одряхли снега, сочили в лога светлою снеговицею. И все же были пока ручейки еще вялы, бесшумны, коротконоги. В логах даже не поголубело, и леса не окутало вдали сиреневым дымком. Студено еще было. Утром горела корка наста из края в край, нестерпимо обжигая глаза. До полудня держался этот наст, а потом отмякал, ронял хрусткие козырьки, и в низинах снова проступали потайки, снова в недолгий путь отправлялись ручейки, неслышные, вялые. Ночь смиряла их, вымораживала до сухоты.

Знали люди: будет еще всякой всячины. Что весна эта вроде девки, не вошедшей в лета, — нет у ней ни серьезности, ни крепкого огня, а так, улыбочки одни, заигрывание, баловство.

И все же заполярный житель есть заполярный житель. Он постоянно скучает по чудесам, он надеется на них, верит в них, ждет.

Нет, он не доходит до больших фантазий, например, насчет того, что жаркий климат переселится сюда, а холодный туда, и где была зима, там станет лето. Заполярный житель — стреляный воробей, и мечты его как кони с закушенными удилами: побегли бы, да...

И все же вдруг именно нынче будет оно, долгожданное чудо — эта ранняя весна не загаснет. Не обманет. Вон она, милая, как старается, пластает белые полога, нащупывает водою землю, подтачивает и режет ручейками глину в ярах и осыпях; шевелит коренья трав и кустов. Уж бугры за сараем маленько оголились, и на них выпрастываются из-под снега хилые березки; тропа, по которой ребята в школу бегают, горбатой сделалась. С крыши капель частит, и Гошке чудится, что это птицы долбят зиму в самое ледяное, нечуткое сердце.

Ночью, вернувшись на свою кровать, Гошка нетерпеливо ждал утро. Во сне ему слышался шум ручьев и речек. Речки гремели под окнами, под полом дома, поставленного на сваи. Гошка плыл на корабле в теплую землю, в какой-то южный санаторий, куда обещал его отправить доктор.

Бушуют, пенятся валы вокруг корабля, и необозримо разливается океан-море. Где-то там, из-за края земли, уже скоро появятся дальние страны, о которых ему читал Валериан Иванович, и на скале, под самым небом, — большой санаторий, похожий на крепость. Белый-белый он, как снег, и у входа в санаторий плавают в озере белые лебеди и кланяются всем. В санатории тихо, и тоже все белое-белое и много солнца. В нем никогда не бывает зимы, в санатории-то, и не шумит, не бегает горластая братва. Там не надо ни шапок, ни пимов, ни пальто. Лежи себе голый возле озера на белом чистом песке, гляди на белых лебедей, пуляй камни в воду, а тебя греет солнце со всех сторон.

Так греет, так греет!..

И в последнем сне Гошке виделся белый санаторий, виделись дальние страны с высокущими елками. На елках сидели красные попугаи и кричали: «Пиастры! Пиастры!», а может: «Здравствуй! Здравствуй!»

Огромное белое солнце сияло над миром.

Вдруг оно покатилось быстро-быстро за гребень лесов, за край земли.

Гошка приподнялся на кровати, пытаясь заглянуть туда, за стену этих высоких елок, увидеть солнце.

Но оно опрокинулось и полетело плашмя, как тарелка, которую однажды Гошка запустил в воспитательницу. Мальчишка замер, ожидая страшного звона.

Но солнце разбилось беззвучно, оно даже не разбилось, оно лопнуло, ослепительно сверкнув огненными брызгами.

Гошка упал на мятую подушку, затискал в горсти простыню...

— ...Да-а! Не верили вот, шкеты. А он вот помер. Болел потому что, — рассуждал караульщик Попик, сидя подле накрытого простыней совсем смирного Гошки Воробьева. — Если бы весна наступила бы после Нового года, он не помер бы. — И, не дождавшись никакого отзвука от Деменкова, задумчиво продолжал: — Зря мы его с магистрали увезли. Там солнце раньше выходит. А на солнце все оживает: и трава, и лес, и человеки тоже... Да-а, я вон деранул из хазы одной, совсем доходил на вокзалишках. Дуба дал бы, да попал в один поезд. Он повез меня, повез и в Крым привез. А там солнца-а! Народу-у! С ходу два скачка сделал. Нашамался — во! Спал после этого сутки, может, боле. На земле прямо, под кустом. Разморило. Купаться надо. А в чем? Трусов-то нету. Баба одна, курортница, сушить на забор трусы повесила. Я снял их. Розовые были, с кружевами зачем-то. Накупался. Загнал трусы и опять нашамался. Лафа! — Попик прервался вдруг, поглядел на тускло белеющую в углу на Гошкиной кровати простыню и непривычным для него жалостливым тоном закончил: — Без солнца у нас никуда...

* * *

Хотя и заказывали гроб пятеро, он все равно оказался велик. Гошка весь утонул в нем. Лишь остренький нос торчал одиноко из бумажных цветов и пихтовых лапок. Долго решали, как положить Гошке руки: на груди крестом или по-другому. Вмешалась тетя Уля, сложила Гошке руки на груди. Еще дольше решали, надевать или не надевать на Гошку пионерский галстук, поскольку в пио-

нерах он не состоял. Все же галстук надели: пусть хоть на тот свет явится пионером Гошка Воробьев.

В новой рубахе цвета луковой шелухи, в черных сатиновых шароварах, в синих спортивных тапочках и при галстуке Гошка был совершенно всем чужой и на себя непохожий. Это больше всего и нагоняло на ребят трепета и благоговения.

Ребята вынесли Гошку из дому на руках, мешая друг другу. Затем, как принято у взрослых, взяли домовину на полотенца. Распределились, правда, не по двое, а по четыре человека на полотенце! Казенные, застиранные, с ляпписными штампами на углах полотенца. И хотя от детдома до кладбища было недалеко, решили дать крюку, торжественно пройти по центральной улице, а потом уж свернуть на кладбищенскую дорогу.

Серьезные девочки шли впереди и бросали пихтовые лапки. Мальчишки несли неумело свитый венок, из которого то и дело выпадали бумажные цветы. Ребята постарше несли следом на головах крышку, еще дальше — неуклюжий гроб. Было все как надо, как полагается по древнему похоронному ритуалу.

И все-таки ошарашенно замерло движение на центральной улице Краесветска, хотя жители его видывали виды. Люди стояли обочь вытаявшей мостовой, по колено в мокром снегу. Пожилые женщины крестились. Один школьник с сумкой отдал пионерский салют и смутился. Шустроглазая старуха, выйдя из универмага, приблизилась к домовине, заглянула в нее, побросала крестики щепотью на покойника. На нее угрюмо покосились ребята, несшие гроб, и она, ткнув себя троеперстием в грудь, засеменила в сторону. Из бараков все высыпал и высыпал народ. Появилась шпана из шайки Слепца — заклятого врага детдомовцев. Прошли «слепцы» следом с квартал, заедаться не решились, один по одному отстали.

Валериан Иванович хотел одного: как можно скорее миновать главную улицу, но торопить ребят не смел. У горсовета к похоронной процессии присоединилась инспектор гороно, бывшая заведующая детдомом Ненила Романовна Хлобыст.

— Й-я-ж-же предлагала Воробьева отправить в морг! — задышливо шептала она Репнину. — Эт-то ж-же ужас! Спектакль какой-то! Пантомима!..

Валериан Иванович приотстал, вытряхнул из калош снег и сказал, глядя по-петушиному на инспекторшу:

— Прошу вас на кладбище не ходить. Ребята все сделают сами. М-да, сами.— И, по-чудному решительно выкидывая ноги, догнал процессию, прилаживаясь к ребячьему шагу, и приладился уж было, пошел размеренно, однако скоро сбился с ноги.

Воспитательниц он не взял на кладбище под предлогом, что надо кому-то и делами заниматься, приводить в порядок дом, а тут эта дамочка вылезла, как всегда, не ко времени.

Ненила Романовна сердито смотрела вслед Репнину, непроизвольно ссутулившемуся, старающемуся быть незаметней и все же гористо возвышавшемуся над малолетней процессией. Ненила Романовна собралась было настичь Валериана Ивановича, сказать ему что-то руководящее, категоричное, но тут поравнялся с нею отставший от процессии этот ужасный, с костылем, огрел ее взглядом и поковылял дальше. У Ненилы Романовны пропала охота идти с ребятами, она поспешила с глаз долой, чувствуя себя в чем-то виноватой, а в чем, понять она не умела. С нею это происходило часто.

За городом нести Гошку оказалось тяжелее. Тропинка узкая. По обочинам пропитанный водою снег. Шагать же с гробом было надо по обочинам. Парнишки по колено увязали в снегу, спотыкались. Из домовины выпадали цветы, веточки, галстук съехал набок, а руки Гошки как были сложены на груди крестом, так упрямо и держались. Девочки подбирали цветки, бережно отряхивали, пальцы их были в чернилах и в краске. Шли без разговоров, без ругани, без шума.

Наконец добрались до кладбища.

Это заполярное кладбище чем-то напоминало хриплый человеческий вскрик. В болотах, меж озерин на хлябающих марях, среди березника, на котором и белой-то коры почти нет, а одни черные заплаты по стволам, среди елочек, у которых и лап-то живых одна-две, расселены могилы. Ползучими кустами карликовых березок, будто колючей проволокой, затянуто кладбище. Там и сям видны разномастные кресты и деревянные пирамидки с деревянными звездами — навострились их выпиливать мастеровые люди на лесозаводе. И кресты, и пирамидки стоят, отшатнувшись назад, как от зуботычин, или сунувшись надписью к земле, которую и землей-то назвать трудно. Много крестов, досок, перекладинок валяется на сне-

гу и торчит из-под снега, а бугорки могил просели, обнажая желтую, как мыло, мерзлоту. В просевших могилах вода и почерневший от нее багульник да спутанные нити тощих корней. В налитых снеговицею могилах болтаются облака и среди них, как яичный желток, солнце. А из кустов, из глубокого снега подгулявшей, раздерганной толпой выбредают и выбредают кресты с раскинутыми перекладинами. Перекладины будто руки, готовые к объятиям. Мерзлота «отдает» летом, не держит кресты, и они валятся, сползают с бугров в низины, а там, в рыхлом болоте, в ряске и трясине, затягивает их илом, болотной дурью, и вместе с ними навсегда исчезает память о человеке.

Петляют ребята по буграм, по просторному, кажется, бесконечному кладбищу без ограды и церкви, без сторожей и страшных сказок.

Вот и Гошкина могила. На самом высоком бугорке — хоть немножко ближе к солнцу. Ребята сами долбили ее и хотели угодить Гошке.

Облегченно поставили ребятишки гроб на мокрую комковатую глину в прожилках инея, в тусклых проблесках мерзлоты. Попик скатился в яму. Там уже скопилась болотная вода. Попик принялся вычерпывать ее шапкой. За Попиком спрыгнул Толя Мазов, потом Сашка Батурин. Пошли шапки конвейером. Веселее в работе стало. Кто-то засмеялся, но тут же испуганно смолк.

Отчерпали воду. Что теперь делать?

Валериан Иванович, не поднимая головы, сказал:

— Прощайтесь, ребята, с другом.

Как это — прощайтесь? — наморщены лбы, насуплены брови. Если до этой последней минуты похороны воспринимались многими, особенно малыми ребятами, как игра или представление, то вот сейчас наступило что-то другое, главное.

Все топчутся. Никто не знает, что и как делать. Попик бойко растолкал ребят, кинул мокрую шапку на голову, наклонился к Гошке, поцеловал его в полуоткрытый глаз:

— Прощай, наш боевой друг и соратник! Мы не забудем тебя! — бодро сказал он и секунду помедлил. — Мир праху твоему...

Поковылял к гробу Паралитик. Костыль застревал в глине, а он никак не мог его выдернуть. Паралитик отбросил костыль, попрыгал на одной ноге к гробу, упал на бок

и боднул Гошку подбородком. Он долго не мог подняться с земли без костыля. Ребята помогали ему, и от этого Паралитик разозлился, оттолкнул их.

Близко к гробу стоял Малышок и прикрывал рукавом вечно улыбающийся рот. К Малышку прижалась Зина Кондакова, высокая, красивая девочка, и слизывала, слизывала с губ слезы. Толя Мазов хмурился, сжимал кулаки — держался из последних сил, сглатывал воздух, а воздух, видно, твердел в горле. А может, полипы мешали ему дышать носом. Трудно держаться Толе — чувствительный парнишка. Любопытно глядит из-за спин Маруська Черепанова и все запоминает. Женя Шорников переминается, пританцовывает, ему необходимо отбежать в кусты, но он не решается в такой момент делать такое дело. Новенький мальчишка из первого класса еще не понимает горя, но все равно стоит по команде «смирно». Одна девочка, тоже первоклассница, взяла палец в рот и забылась. И над всеми ребятами глыбится, как всегда, угрюмый Деменков. Он молча, деловито подталкивает ребят прощаться с Гошкой. Все у него идет чередом: нет толкучки, нет реву, нет разговоров. Полная дисциплина.

Но смотреть на все это уже невозможно. Валериан Иванович отошел в сторону, сел на упавший нетесаный крест, закрыл глаза рукой.

Его закачало, плавно понесло в полузабытьи. Сидел он в мокром снегу, на старом кресте, плотно закрыв глаза, и, даже когда его тряхнули за рукав, очнулся не сразу.

— Валериан Иванович, пора вам... — неуверенно позвал Толя Мазов.

— Что пора? Ах, да, да...

Калоши снялись в размешанной глине, ботинки вязли, под ними чавкало, чмокало. Валериан Иванович с трудом добрался до выжидательно растворенной могилы, встал коленями в жидкую грязь возле гроба, поправил галстук на мертвом мальчике, загладил ему набок чуть отросшие светло-русые волосы и поцеловал в наморщенный лоб долгим, родительским поцелуем. Не поднимаясь с колен, все глубже уходя ими в жидкую холодную грязь, Валериан Иванович сдавленным голосом заговорил, глядя поверх кустов захлестнутыми глазами:

— Ребята, когда вы станете взрослыми и у вас будут дети — любите их! Любите! Любимые дети не бывают сиротами. Не надо сирот!.. Не.. — Чувствуя, что вот-вот

разрыдается и что делать этого ни в коем случае нельзя, Валериан Иванович резко поднялся из размешанной грязи и хрипло приказал: — Крышку!

Ждавшие от Валериана Ивановича большой, продуманной речи, ребята разочарованно накрыли гроб крышкой. Тут оказалось то самое, что всегда оказывается у людей, не привыкших заниматься похоронными делами, — забыли молоток.

Стали искать камень. Но где же его найдешь в снегу, в болотах?

Деменков отломил перекладину от лиственничного креста, на котором недавно сидел Валериан Иванович. Гвозди гнулись, не шли в доски. Но покончили и с этим. Следующее, что всегда забывается, — это веревка. И ее, конечно, тоже забыли. Деменков, Попик, Толя Мазов охотно соскочили в яму, чтобы принять домовину и поставить на дно могилы. Но домовина была широкая, а могила узкая. Притиснуло домовиной ребят к ребристой от ломов и кирок стене могилы, и они держали Гошку на груди.

И ни они, ни те ребята, что были наверху, и даже Валериан Иванович, не знали, что теперь делать...

На лесозаводе вдруг запел гудок, сипло, протяжно, и поплыл он над городом Краесветском, достиг окраин, прошел над болотистым местом кладбища, где кучкою толпились ребятишки и Валериан Иванович. И когда гудок запал во мшистом редколесье, далеко за городом, ребята еще постояли над могилой большую минуту молча, а потом забросали Гошку землею и, закончив горькое дело, побрели домой.

В душе у каждого из них звучал и звучал прощальный гудок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В доме нехорошее затишье.

Не стучали обломанные кии на бильярде, где взамен утерянных настоящих шаров катались шарикоподшипники, унесенные с автобазы; не ходили по коридору зеваки вслед за Борькой Клин-головой, который подпинывал шикарную «жошку» из оленьей шкурки и, даже обедая, орудовал ногой и не проливал суп и компот. Вечных стычек и потасовок тоже не было. Книги из библиотеки ре-

бята вовсе перестали брать. Не заправляли койки, валялись на них, ожидая от воспитательниц замечаний, чтобы поогрызаться. Те, кто любил поволынить, пользовались моментом, не ходили в школу. Звонил заведующий школой, беспокоился, ругался. Валериан Иванович попросил его прийти в детдом, а тот чего-то не шел. Маргарита Савельевна ушла — заболела-таки от потрясения, сидит дома. Тетя Уля присмирела, курила одну папиросу за другой и чего-то ждала. Екатерина Федоровна поговаривала о расчете, а кастелянша и завхоз повесили по второму замку на кладовую с продуктами и на шкаф с бельем.

Одиноко в этом густолюдном доме заведующему. Одиноко и тревожно. Ни смеха, ни возни вокруг, выжидательная, напряженная тишина.

Что из нее возникнет? Что получится?

«Хоть бы озорничали», — тоскливо думал Валериан Иванович, почти не спавший после похорон вот уже три ночи.

Девочки взяли патефон, заводили одну и ту же пластинку: «Не одна во поле дороженька», — и потихоньку плакали. Мальчики слонялись из комнаты в комнату, из угла в угол.

В обед Попик бросил в парнишку по прозвищу Глобус хлебом. Бросил целый ломоть доброго пшеничного хлеба. Валериан Иванович молча поднял хлеб, обдул его и громко, отчетливо сказал, чтобы слышали все:

— У Саши Рагулина родители умерли от голода. У Гали Косовой — тоже. Умерли оттого, что еще семь лет назад в стране засуха была. Голодали люди. — Он повернулся и ушел из столовой.

Паралитик хряпнул Попика костылем, а заодно и Глобуса. Он-то хорошо помнил тот страшный голод. Именно тогда, в тридцать третьем году, его истоптали на Камской пристани высушенные голодом мужики, у одного из которых он разрезал котомку и выковырнул из нее краюху, сляпанную из отрубей и мякины. Попик в том году совсем клопом был еще, но помнить должен все, потому что в том году его «забыла» на железнодорожном полустанке родная мать, а сама, шатаясь от голода, убрела куда-то. Попик доходил до того, что грыз поднятые с дороги мерзлые конские шавяки. Забыл?!

Паралитик еще раз треснул Попика костылем, чтоб не забывал, чего не следует. Попик схватился было за вилку, но на него заорали со всех сторон, и Паралитика дежур-

ные силком водворили за стол. На этом происшествие как будто закончилось.

Но что-то должно было произойти в доме, какая-то разрядка должна быть.

«Какая?»

Валериан Иванович ломал голову, ждал поножовщины, слез, драк, даже побега, но где же ему одному было уследить за фантазией такой оравы! Фантазия эта и настроение ребят способны изменяться каждую минуту, в зависимости от чего угодно, даже от погоды.

Наступил четверг.

Этот день ребята очень любили, потому что четверг был банный день. Еще с утра двое или трое ребят укатывали в город в прачечную и привозили на нарте чистое белье, застиранное, плохо отглаженное, почти серое, но все же из прачечной.

Приходили ученики из школы с предчувствием банных событий и зашвыривали учебники подальше. На каждой кровати лежало по две простыни, наволочка, полотенце. От белья пахло хозяйственным мылом и ледяной прорубью. По коридору из комнаты в комнату сновали ребятишки, донимая кастеляншу и завхоза просьбами полотенце заменить или наволочку. Сошедшая с круга потная кастелянша сопротивлялась, не меняла. «Много, — кричала, — тут вашего брата, всем не наменяешься!» Ребята из-за этого сердились, демонстративно не заправляли койки. Девочки, те подлизывались к кастелянше, набивались подсоблять ей, чтобы потом отобрать себе простыни да наволочки поповей и почище.

Ладно. Пусть. Неважно, что бумажно. Главное, шум есть, гам, работа веселая. Заправляй, братва, постели, живи дальше! Ночуй!

Уроки в этот день никто не делает: побоку грамоту! Баня! Суматоха! По комнатам пыль и перья столбом. Гвалт, возня, всякие интересные проделки: кто полотенце у кого стянет, кто на голову его намотает, как чалму, и хана какого-нибудь или просто придурка изображает, схватки случаются мимолетные из-за того, что у соседа койка заправлена чинно-важно, и не хотел бы, да сядешь на нее. Ну и получишь разок, а то и два.

Бельишко — штаны и рубахи — ребята надевали на себя еще дома и в баню отправлялись налегке, без узелков, потому что в те годы еще жива была непримиримая вражда между «приютскими» ребятами и теми, кто звал

их детдомовской шпаной, то есть ребятами городскими, имеющими свой дом и родителей.

В краесветской бане окна женского отделения были закрашены, а на мужское краски не хватило или считалось, что мужикам стыдиться некого и незачем; городские окружали баню, заглядывали в темное нутро моечной, дразнились, показывали дрыны, поджиги, ножики. Голые детдомовцы могли показать в ответ только кулаки да похлопать себя по тому месту, что ниже живота. Они знаками просили городских парнишек повременить, не разбегаться.

У бани начиналась свалка. Благодушные от бани и всеобщего дружелюбия, наступающего в четверг, детдомовцы постепенно накалялись и не раз обращали в бегство городских.

Выпачканные в болотной жиже, со свежими царапинами, ушибами и синяками, с оторванными пуговицами, а то и в распластанной рубахе возвращались парни в детдом, довольные собой, рассказывая друг дружке: «Ка-ак он меня!.. Кэ-эк я его!..»

Дома умывались, пришивали пуговицы, клянчили у кастелянши рубаху взамен порванной в бою, и на несколько дней в детдоме хватало воспоминаний и полнейшего всеобщего согласия.

Так было. Но в этот четверг так быть не могло. Валериан Иванович заметил негласное единение детдомовских сил. «Группа» Паралитика, всегда державшаяся на отшибе от других ребят, сейчас оказалась ядром детдомовского народа. Ребята шушукались, что-то прятали в карманы. Из железных кроватей вынуто много прутьев. Эти прутья — грозное оружие детдомовцев. Парни загибали концы прута, спускали его в штанину, цепляя крючком за пояс, — всегда под рукой железяка. При злости и ловкости ею можно голову размозжить.

Валериан Иванович редко ходил с ребятами в баню, обычно отправлял он туда воспитательниц и кастеляншу. Самому надо было успеть сдать грязное белье, отчитаться, звонить, организовывать дезинфекцию. Словом, вести так называемые хозяйственные дела. Но в этот раз он пошел с ребятами в баню и, мало того, позвонил в милицию, чего не делал прежде.

— Сегодня возле бани может быть резня. Прошу вас наведаться туда во второй половине дня.

Резни не получилось. И даже малой драки не было.

Милиция или разогнала городских, или те не собрались, но мылись ребята на этот раз спокойно, им даже чего-то недоставало. То и дело парнишки подбегали к окну и сообщали Паралитику, который всегда садился мыться в парной в самый темный угол, чтобы не видно было его сухую и вялую, как тюлений ласт, ногу: «Нету!»

«Сперло маминых деток!» — лешачьи сверкая глазами из густого горячего пара, ровно из преисподней, злорадствовал Паралитик.

На какое-то время Паралитик и несколько ребят опередили Валериана Ивановича, чтобы покурить после баньки. Курили за кассой, сколоченной внахлест из струганых досок. Из кассы этой, похожей на корабельный гальюн, только что вышла озабоченная кассирша, повесила замок-самозакрывалку и куда-то поспешила, простучав каблуками по банному широкому крыльцу. Попик повел щенячьим носом, сморщил его плотоядно и, понарошку чихнув, поздравил сам себя великосветским манером:

— Салфет вашей милости, Юрий Михалыч! — и тем же тоном прочастил: — Чую, грошами пахнет! — и еще продолговатее принюхался: — Аж воняет грошами, блин буду! Прокисают, должно, портются!..

Паралитик закрючил взглядом кругленький замок-самозакрывалку, и его глаза, с трещинками зрачков, расширились, как у кошки в темноте, перестали моргать.

— Косим! — Костыль застучал, как у полководца. — Батурка — в шухер, на крыльцо. Клин — в одевалку, зырь за Варьяном. Попик — гвоздь! — Паралитик — человек дела. Юмора он не признавал и не любил. Команды его были резки, обрывисты, работа точная.

Через каких-нибудь пять минут как будто нисколько не поврежденный замок-самозакрывалка висел на своем месте, только восемьсот рублей — банная выручка за несколько дней — из ящика стола исчезла. Мелочь — пятьдесят три копейки — оставили в выдвижной столешнице, на развод.

Покатились денежки в детдом на проворных ногах беспечно посвистывающего Попика. Они были подняты на чердак, завернуты в тряпку. Попик обвязал сверток бечевкой и спустил его в трубу старой, давно не топившейся голландки. Вынутый из трубы кирпич Попик вставил на место и присыпал пылью, следы замел рукавицей. Посидел на чердаке Попик до тех пор, пока не раздались голоса прибывших из бани ребятишек, отряхнулся, ос-

мотрелся и неторопливо спустился в раздевалку, а оттуда вместе со всеми явился в комнату.

Рассолоделый после бани, Попик свалился на кровать, включил радио. Передавали музыку, протяжную, печальную. Попик заслушался. «Хорошая же штука — музыка! — рассуждал он. — Вот слушаешь ее, слушаешь и даже зареветь можешь либо спать захочешь. А по весне из детдома рвануть можешь... Да-а, научиться бы на баяне играть или хоть бы на балалайке...»

О деньгах Попик уже не думал. Деньги были на месте, в заначке — чего о них думать? Их надо проесть, прокурить, Деменкову долю отдать, вот и вся недолга.

В детдоме обыск. Начальник милиции с одним сотрудником идут по комнатам, ворошат матрацы, подушки, тумбочки. В четвертой комнате мирно спит Попик, подложив под пухлую щеку ладошку. Здесь же, в четвертой, постоянное местожительство Деменкова, Мишки Бельмастого, Толи Мазова, Жени Шорникова, Малышка. Разбивку по комнатам делал сам Валериан Иванович и умышленно разделил «вольных людей».

В третьей комнате, где жили Паралитик, Сашка Батурин, Глобус и ребята помельче, обыск уже прошел. Паралитик волочится за властью, поигрывая костылем.

Начальник милиции косится на Паралитика, но ничего ему не говорит.

Они старые знакомые. В начале зимы Паралитика замели в милицию за драку с городской шпаной и решили не выпускать, покудова возможно. Ночью на чердаке милиции вспыхнул пожар — это Малышок, подосланный Деменковым, вылил из лампы керосин на чердаке и зажег милицию. Хорошо, что пожарка рядом. Потушили маленькое здание милиции. Дыра на крыше осталась, напоминая о том, что не так просто иметь дело с детдомовскими архаровцами. Дежурный по отделению вышвырнул Паралитика из помещения, бросил вслед ему костыль. Паралитик поднял костыль, надел шапку на голову, высморкался на крыльцо грозного заведения и поковылял домой.

С тех пор забирать в милицию с ночевкой детдомовских не решались. Начальник маломощной милиции, собрав в кулак все свои чувства, ждал первого парохода и грозился упечь в исправительную колонию половину детдомовской шантрапы, и в первую очередь Паралитика — главаря и заводилу всей этой хлопотной публики.

Ошибался начальник. Паралитик — заводила, но не главарь. Паралитика в детдоме боятся и ненавидят. Но есть человек, перед которым все трепещут, даже сам Паралитик. Это Деменков. Вон он сидит на кровати, угрюмый, замкнутый. «Леша» — выколото по темным ветвистым жилам его тяжелой руки. Взгляд его тоже глыбисто тяжел. Глаза — сплошные зрачки, на лоб клином спускается ежик волос, и оттого лоб кажется узким, как у пещерного человека. Черный клин волос почти заходит в сросшееся мужицкое межбровье.

Никогда и никого в детдоме не тронул Деменков даже пальцем единым, никого не обругал, ни на кого голоса не повысил. Но даже взгляда Деменкова пугаются ребята, корчатся под ним. Биография его еще невелика, но содержательна. Мать и отец Деменкова воры крупные, рецидивисты. Судили их и сажали за грабеж, за взломы и квартирные кражи. Совершенствуясь, они дошли и до «мокрых дел», и за убийство инкассатора отца Деменкова расстреляли, а мать затерялась где-то в лагерях. Деменков тоже успел побывать в «исправиловке». За это особый почет ему среди детдомовских ребят и боязнь перед ним особая.

Он убавил себе года и прилип к детдому до весны. Весной он уйдет, сделает в городе кражу или грабеж и уйдет. На иностранный корабль, как выяснилось, попасть не так просто. Да и «компания» что-то подразвалилась, о загранице не говорит, из детдома этого бежать как будто не собирается. Попик да Паралитик только и остались верными, но они все-таки, куда ни кинь, шкеты. А его уже ко взрослым тянет, к настоящим делягам, не к рыночным блудням. Он достойный сын своих родителей! Весной навсегда кинет он эту мелкоту, отчалит в захватывающую и опасную воровскую жизнь.

А пока Деменков тих и непроницаем. Ему услужливо сообщили об операции в бане, но он никакого внимания не обращает ни на воров, ни на милицию. Он по натуре «медвежатник», а это все мелочи. Кроме того, с Деменкова можно шкуру содрать, и он ничего не скажет, хотя бы потому, что доля его — сармак — ему твердо обещана.

Паралитик, осклабившись, стоит за спиной начальника милиции. Все встали. Сидит лишь Деменков и спит Попик. Но стоило появиться в комнате чужим, как чуткий воровской сон отлетел, и Попик, вздрогнув, открыл белые, как ребята говорят, «простоквашные» глаза. Он в

момент уяснил обстановку и, сладко зевнув, поприветствовал начальника милиции:

— Здорово живем!

Тот не удостоил его ответом. Попик вознамерился повести разговор дальше, но осунувшийся Валериан Иванович безнадежным голосом произнес то, что уже говорил до этого в трех комнатах:

— Ребята, из кассы бани пропали деньги. Кроме нас, там после обеда никого не было. Кто взял деньги?

Валериан Иванович переводит взгляд с лица на лицо. Не задерживаясь, проходит Деменкова, скользом — усмехающегося и почесывающегося Попика, ненадолго останавливается взглядом на напряженном и оттого совершенно жалком лице Малышка, пытающегося не улыбаться, и в упор, как штыком, колет взглядом Толю Мазова. Чувствительный, нервный мальчишка опускает глаза и тут же поднимает их. Все. Он уже переборол замешательство, теперь его так просто не заставить вздрогнуть.

Валериан Иванович, не спуская Толю с прицела, с расстановкой спросил:

— Анатолий, ты не знаешь, кто взял деньги?

В комнате струной натянулась тишина. Слышно, как работает на протоке лесотаска, скрежеща крючьями, и стук ножа тети Ули на кухне, слышно, как хрустит костыль под напряженно подавшимся вперед Паралитиком, даже скрип ремней и кобуры на начальнике милиции слышен. И вдруг в эту тишину ворвался веселый и наглый голос Попика:

— Сообразил кто-то! А я рядом с грошами был и не дотумкал! Поел бы уж конфеток, покурил бы папиросочек! Фартит же, блин, людям!..

Все! Главное сделано. Напряжение сбито.

— Помолчи, Попов, — резко обрывает мальчишку Валериан Иванович и уже без всякой надежды еще раз строго спрашивает у Толи: — Так, значит, ты не знаешь, кто взял деньги?

— Не знаю.

— М-да. Корсары! Хранители тайны! — грустно съязвил Валериан Иванович и громче объявил: — Сейчас здесь будет произведен обыск! — В голосе его проскользнул металл, и сам он подчеркнуто выпрямился, точнее, попытался выпрямиться, потому что сегодня сутулость его както особенно грузно давила. — Разумеется, с вашего позволения, — опять язвительно заговорил он.

— Пожалуйста! Хоть сто пудов! — откликнулся Попик, с готовностью расшивая матрац, развязывая наволочку на подушке.

Видно по всему, возня эта забавная очень по душе Попику. Малышок улыбается. Мишка Бельмастый истуканом торчит среди комнаты, а Толя приклеился спиной к подоконнику.

— Я за тебя буду распарывать наволочку? — взъерошился Валериан Иванович, и Толя подскочил к своей кровати, зашебаршил соломенной подушкой.

Деменков молча вывернул карманы, ушел в коридор курить. Он курит открыто и никому не дает «сорок», да никто и не решается у него попросить.

Заведующий еще надеялся, что кого-нибудь прорвет и ребята сознаются или выдадут чем-нибудь себя, но вместо этого начался спектакль. Зачинателем его был Борька Клин-голова — чемпион по «жошке». Сын шалавых родителей, пьянчужек-артистов, по суду лишенных родительских прав, он и сам артист немалый.

— Все на нас! Вали! Вали! — с гневом и обидой завел Борька Клин-голова. — Мы люди брошенные! Мы люди безродные! Жаловаться нам некому... В школе на нас жмут. В кинуху не появляйся.. Нигде нам ходу нет! Воры! Шпана! Такое наше званье!

— А какое б ты званье еще хотел? — рыкнул на него сдерживающийся из всех сил начальник милиции.

Как раз это и нужно было. Борька Клин-голова оскорбленно обратился к «публике», закупорившей вход в комнату:

— Видали, какое обращенье?! За людёв не считают! Матрацы шерудят! В штанах у меня еще не смотрели, во! — Борька Клин-голова мгновенно скинул штаны.

Девчонки брызнули от двери, а Борька Клин-голова, поворачиваясь то задом, то передом к очумевшему начальнику милиции, истерически кричал:

— Н-на! Ищи! Н-на, щупай!..

— Конечно, за людей не считают! — поддержал Паралитик давнего своего дружка, Борьку Клин-голову.

— Где чё ни стырят, всё на нас! — пробубнил друг Паралитика Сашка Батурин.

— Не имеет права без прокурорской бумажки обыск делать!

— Права не для нас писаны!

— Я-а-а-ави-или-ся-а-а!..

— Достоинство наше попирают, кана-альи! — бил себя в грудь кулаком Попик.

— В школу не пойдем, раз так!

— Лягавку спалим!

— Голодовку объявим, как большевики в кине! — неистовствовал Попик.

— Может, она сама, эта баба, денежки тиснула под нашу марку?

— Факт, сама!

Борька Клин-голова уже с отчаянием колотился лбом о спинку кровати:

— Утоплю-у-усь от такой жизни!

Валериан Иванович поднял штаны Борьки Клин-головы, хлестнул его по голым ягодицам и швырнул в лицо:

— Надень, паясник!

Валериана Ивановича трясло. Борька Клин-голова сразу перестал рыдать и принялся пугливо натягивать штаны, позвякивая ремешком.

Не стал ждать конца обыска заведующий, стремительно пошел из четвертой. У него прыгала лохматая бровь. В дверях перед ним расступились любопытные. Опасливо прячась друг за дружку, провожали его взглядом. Следом, не закончив обыск, отправились начальник милиции и милиционер.

— Брысь! — цыкнул он для порядка на ребят и девчонок, толпящихся в двери.

— Ладно, ладно, не пыли!.. — раздалось вслед милиционеру.

— Шароваристый больно!

— Фу ты, ну ты, ножки гнуты и дугою галихве! — прошелся, подбоченясь, перед публикой Попик, делая при этом ноги колесом.

— Денежки у своей жены поищи, в райёне пупа!

— Га-а-а!

Милиционер обезоруженно озирался и, не зная, какие принять меры, только погрозил пальцем и поспешно скрылся.

Борька Клин-голова свистнул, достал из кармана «жошку», обдул ее, разгладил и как ни в чем не бывало продолжал любимое занятие, прерванное милицией. Следом за Борькой Клин-головой шли двое счетчиков и восхищенно подводили итог. «Пятьсот пять, пятьсот шесть...» — это после бани начатый счет, а второй счетчик вел свой счет,

начатый Борькой Клин-головой еще до бани: «Мильён сто двадцать! Мильён сто двадцать один...» В конце коридора этот счетчик плаксиво заныл:

— Кли-ин, я дальше не зна-аю-у-у...

— Оч плохо! Зер шлехт! — сказал Борька Клин-голова, не прекращая спорт. — Учи арифметику, рыло, а то получишь от меня лично шестнадцать щелчков.

Счетчик остался доволен таким сгоряча произнесенным приговором и поспешил к бильярду, где уже стучали шарикоподшипники об избитые борта. Шарики по два, а то и по три разом вкатывались в одну лузу.

* * *

Валериан Иванович пригласил начальника милиции в свою комнату. Эту комнату, размещавшуюся против уборной для мальчиков, тетя Уля почтительно называла канцелярией.

— Я почти уверен, что деньги находятся у наших. Нужно время, — сказал Репнин начальнику милиции.

— Почти — это почти. Для нас это все равно, что ничего. Видите ли, тут еще одна штуковина смущает нас: кассирша почему-то не сдала в положенный срок выручку. Факт тоже подозрительный. Поэтому кассирша пока останется в кэпээз, а вы примете ее детей. Дома у нее никого нет.

— Как? — уставился на милиционера Валериан Иванович. — Да куда она денется? Что ее держать-то? Двое ж детей... Можно ж...

Начальник милиции поморщился:

— Ну, это не вашего ума дело. Мы сами с усами. — И, смягчаясь тоном и лицом, отвел глаза. — Не все вам равно, сто или сто две единицы будут здесь шаромыжничать?

— За последнее время участились хищения казны на предприятиях горкомхоза, — заметил молчавший до этого милиционер, — может быть, тут одна цепочка...

Но Валериан Иванович не расслышал его и про себя повторял:

«Не все ли равно? Далеко не все равно», — хотел возразить начальнику милиции Валериан Иванович, но тот уже надевал шапку и с нетерпеливой досадой поглядывал на замешкавшегося спутника. Покачал головой Валериан

Иванович и подавил вздох, поняв, что возражения его бесполезны.

— Когда прийти?

— Сегодня уже поздно.

— Значит, завтра. Всего хорошего, — холодно кивнул головой Валериан Иванович и, барабаня по столу, в раздумчивости твердил: — Я приму детей... Я приму детей... Две единицы... Чертовщина какая-то!..

В детдоме гул и прибойный рокот. Валериан Иванович прислушался и похлопал себя, как женщина, по бедрам: «Ах, сукины сыны! Веселятся!..»

По детдому волнами каталась, хлестала бурная жизнь. В раздевалке шла игра в чехарду. Где-то и кому-то истово драли чичер-бачер за непотребное поведение. В красном уголке девчонки, шушукаясь, округляя глаза, судачили о происшествии и сшивали красные полотна. Ребята разводили зубной порошок, готовились писать лозунги к Первому мая. Они подрисовывали себе усы, представляя из себя разных типов, смешили девчонок, смеялись сами.

Детдом вошел в нормальную колею, жильцы его будто забыли даже и о Гошке Воробьеве и его похоронах.

Скоро ужин. У ребят будет хороший аппетит. Они подотощали за последние дни. Нынче смолотят все, что им дадут, смолотят с шутками и прибаутками.

Ребята, ребята — веселый народ.

А завтра придут сюда еще ребята-новички.

Валериан Иванович закинул крючок на двери — не хотелось ему сегодня выходить из своей комнаты и видеть ребят. Он грузно ходил от окна к двери, от двери к окну, и тяжелела его голова от дум и безысходной обиды. И первый раз одолело его желание бросить все, уйти куда-нибудь, уехать, забыть эту работу на износ, этих безалаберных и жестоких в беспечности своей ребятишек.

Да куда уйдешь-то? На кого их кинешь?..

В дверь робко поскреблись.

— Меня нет дома! — резко и громко бросил Валериан Иванович.

Две или три девчонки зашушукались в коридоре и на цыпочках удалились от двери. И оттого, что это были девчонки, Валериан Иванович подумал, что у них какое-нибудь свое деликатное дело к нему, а он вот рыкнул на них, и вернуть ему захотелось этих девчонок. Но он пересилил себя...

После двенадцати детдом начал утихать. В третьей комнате, правда, еще хихикали: Паралитик рассказывал похабные истории и анекдоты. Анекдоты он перевирал, оборачивал их какой-то не смешной изнанкой и любой рассказ свой пересаливал хрушкой, несъедобной солью.

Ему не верили, над рассказами его не смеялись, но слушали. Была в них для ребят, видно, какая-то нечистая запретная притягательность.

Валериан Иванович громко постучал в дверь третьей комнаты. Притихли там.

В четвертой комнате спокойно. Мимо Валериана Ивановича промчался полусонный Женя Шорников по своим делам.

В двенадцать тридцать проснется Малышок-Косоротик и пойдет по комнате, по коридору с открытыми глазами, и, если его не остановить, он полезет на подоконник и нигде не соскользнет. Дети шарахаются от него, боясь колдовства, которое, как им кажется, заключено в мальчишке. А он идет, улыбается, идет, улыбается и все старается залезть куда-то выше, дальше.

Лунатик. Ребятам кажется, что он хочет добраться до луны. Чем манит, притягивает к себе холодная, нежилая планета Малышка? — недоумевают ребята. Что там такое заключено в ней, какое волшебство?

Малышок спит. Ему спать еще пятнадцать минут. В комнате чешуится рябь от бледной ночи и еще более бледной луны, чуть пропечатавшейся в небе.

Малышок улыбается, откинувшись на подушке, вздрагивают его полузакрытые веки, и пальцы рук вздрагивают. От обычного сна он переходит в другой, лишь ему ведомый сон. Кто знает, может быть, в этом, другом сне луна покажется ему матерью? Может быть, приходит она к нему в двенадцать тридцать, подает неслышную руку и ведет за собою? И бредет мальчишка один, только ощущая прикосновение этой легкой и прозрачной, как паутина, руки. И тогда не прогоняй его сон — мальчик очнется, как от обморока, и будет весь остаток ночи плакать, а днем вид у него будет вялый, больной.

Валериан Иванович слышал как-то на войне притчу об одном тихопомешанном. Дом сумасшедших попал под артиллерийский обстрел, и больные разбежались кто куда. Неподалеку от одного больного разорвался снаряд, он

внезапно очнулся и сказал, оглядевшись вокруг: «Ой, как неинтересно!» Оказывается, внутри повернутой души больного существовал совсем иной мир, сдвинутый в тишину, добрый, с райскими лесами, птицами, музыкой, красивыми женщинами.

— Анатолий! — вполголоса окликнул Валериан Иванович, наклонившись над Толей Мазовым. — Через пятнадцать минут тихо разбуди Малышка, своди умыться и уложи его обратно. Ну, ты знаешь, как это делается.

Репнин надевает шапку, пальто, выходит на улицу. Крахмалом похрустывает под валенками снег, схваченный ночной стылью. Лес низким черным забором разделил заснеженную землю и бледное в промоинах небо.

Поздние эти прогулки — самая дорогая отрада Валериана Ивановича.

Город редко и сонно помаргивает огоньками, маленький, деревянный город, а он идет, идет мимо него, и думы его выравниваются, освобождаясь от дневных сует и передряг, и сам он успокаивается, обретает душевный покой. Правда, и покой его был не очень-то покойным. Он все равно не может отделаться от мыслей о детдоме, о ребятишках, что остались там, дома, и спят себе посапывают. Иной раз слабым проблеском памяти выхватит что-либо из прошлого, и дивуется он сам себе: «Неужто и у меня детство было? Смешно!» А ведь было, было. Только так его уже забаррикадировало потом, что ничего путного и не припоминается. Жизнь получилась длинной, доверху наполненной событиями, и такими событиями, которые, как гранитная осыпь, завалили все. Память не сберегла детства. Как жаль! Как жаль! Он бы сравнивал его с детством своих ребят и, может быть, лучше понял бы их.

Отчетливо помнились годы ученья, студенческая труппа, огни Царского Села и театр. Он очень любил Александринку, любил оперы «Трубадур» и «Аида», «Иван Сусанин» и «Борис Годунов». Почему-то больше всего потрясал его «Демон», а в «Демоне» — хор «Ноченька».

Он как-то приобрел уже здесь, в Краесветске, пластинку, взял у ребят патефон и весь вечер сидел, запершись на крючок, заводил хор «Ноченька» и никого к себе не пускал. И тогда, в тот вечер, вытирая глаза платком, он вдруг почувствовал, что стариком успел сделаться не по летам, а душою старым, и еще понял, что сладкая грусть воспоминаний очищает человека и счастлив тот, кому есть что вспомнить хорошее.

Его хороших воспоминаний достало лишь на один вечер, и он вернул ребятам патефон вместе со своею пластинкой и вскорости обнаружил черные осколки этой пластинки за дровяным сараем, куда выносили мусор из дома.

Ребята разбили «Ноченьку».

Ему нечего было б делать на этом свете, не о чем вспомнить, если б он вдругорядь не родился на свет.

Посодействовал ему в этом комиссаристого вида следователь в кожаной куртке. Молодой, напористый, правый в словах, деяньях и убеждениях своих.

Вместе со многими белыми офицерами отпущенный после гражданской войны на все четыре стороны, Репнин болтался по Сибири, пробавляясь случайной работой. Одно время работал даже в иркутском театре хормейстером и чуть было там не женился. Но в годы нэпа бывшее офицерье и прочие недобитки прошлого начали поднимать головы, тайком потекли за границу. Тем офицерам, что не убежали, надо было пройти строгую проверку.

Веди себя посмирней на проверке Репнин, может быть, и не попал бы он в ссылку, но он орал на молоденького следователя, который с подковыром интересовался, почему это он остался здесь и не уехал за границу? Какие такие дела его тут задержали?

«Моя земля здесь! — указал себе пальцем под ноги Репнин. — За границу мне ехать незачем и не к кому. А если вас не устраивает мое общество, катитесь ко всем чертям!..»

«Твоей земли тут нет, контра! — хряпнул кулаком по столу следователь. — Твоя земля тама! — махнул он себе за спину: — И ты ее усвоишь!..»

Он так и сказал: не «освоишь», а «усвоишь». В этой маленькой замене слов оказался большой резон и свой смысл.

Репнин «усвоил». В этом новом, далеком городке он знает любой барак, любую улочку со своей недолгой, но особенной историей и помнит прожитые здесь дни в едином сплаве, а не по отдельности.

Люди, съехавшиеся сюда, распределялись по землячеству. Сообща легче было жить и работать. Они строили. Строили быстро, строили как попало, строили ордой, подгоняемые зимой, стужей и цингой. Поэтому в скородельных каркасных бараках зимою начали проваливаться в тартарары печи. «Отдавала» мерзлота. Весною не только печи, но и сами бараки загуляли, поэтому следующие

дома уже ставили на сваи, вытаивая для них дыры паром и горячей водой. До всего доходили своим умом люди, вырабатывая нелегкий опыт заполярных строителей.

Первые бараки были особенно скособочены, изверчены. Потом шли дома и бараки-смесь, под номерами — первый, второй, третий, двухэтажные, из бревен, на сваях, с внутренней лестницей. Такие бараки стояли прочнее, и вид у них был бравый.

Магазины тоже назывались по-разному и без лукавства: где кто отоваривался по карточкам, когда они еще были, такое название и получилось. Не изменилось лишь название у первого магазина, он так и звался — «Первый». Когда-то он был единственным и в нем отоваривались все без разбора.

Самый знаменитый барак в городе был номер десять, или «Десятая деревня». Знаменит он прежде всего тем, что из двухэтажного постепенно превратился в трехэтажный. Кто-то додумался на чердаке барака приколотить к слегам и поперечинам второй слой досок, набил меж них опилок, прорезал в крыше окно, огородился, и получилась комната с печкой.

Не успели власти опомниться и принять меры, как весь чердак барака был уже в окнах, в комнатах, и с двух сторон к нему, точно на корабль, сооружены сходни. Обитатели «Десятой деревни» делали нарты, сооружали мебель, подшивали валенки, выделывали шкурки, крали у соседей дрова, играли в карты, пили, дебоширили, дрались, резались, варили самогон (говорят, даже из опилок!), подделывали справки (говорят, даже паспорта!), пели песни и плясали так, что из засыпных стен барака облаком клубились опилки. В бараке часто случались пожары, обыски и разного рода тревоги. Милиционеры заглядывать туда в ночное время боялись и даже днем поодиночке в него не заходили.

От тяжести «Десятая деревня» просела, расползлась. Ее подперли со всех сторон бревнами. Окна в бараке вывалились наружу, ушли вбок, и весь он был как пьяный. «Десятую деревню» плотным кольцом окружали поленницы, дровяники, сараи и сараюхи, и оттого много вокруг нее хитроумных закоулков, щелей и переулков.

Ребятишки здесь жили один шпанистее другого, здесь же обитал атаман городской шайки — Слепцов. В народе — Слепец. Вели здесь тайные дела и гулевые бабы. Они залучали моряков с иностранных кораблей к себе и

«позорили советскую честь», как однажды сказал на собрании председатель горисполкома.

Город тогда еще лепился на берегу протоки и неглубоко еще врубился в лесотундру. Но лесозаводы и лесобиржа уже выпускали древесину — краесветскую продукцию. Репнин складывал в штабеля пиломатериалы, доска к доске, плаха к плахе, брус к брусу, и видел город, дома, раскиданные по буграм, в обход озерин и болот. Болота, мари, озера, багульник, карликовые березки, стелящийся ивняк, голубичник, пушица, огнистая морошка и целые пустоши, захлестнутые травой-кровохлебкой. Кровохлебка эта, с шишечками, похожими на пересохшие капли крови, пятнает низины до самых крутых утренников, а все другие веточки и травинки жмутся к земле и дышат, дышат себе под корень, отогревая для себя кружочек заледенелой глины или мокрого торфа.

Все в жизни наоборот. Надо бы южной растительности ложиться на обогретую землю, добрую, изнеженную, так нет же: пальмы, кипарисы, чинары рвутся вверх, прочь от взлелеявшей их нежной, теплой матери-земли. Надо бы взмыть к солнцу, на цыпочки подняться хилым северным растеньицам, а они жмутся к груди земли, греют ее своим еле ощутимым дыханьем, не дают загаснуть живым, только им и слышным токам.

И что тянет сюда птиц? Что?..

Почему они не живут в тепле и довольстве юга? Почему через поздние зазимки, через многие версты и невзгоды, через смерть они спешат сюда и здесь успокаиваются, продолжают птичий род свой, восполняют поредевшие в пути табуны? Чем притягивает к себе живое эта почти мертвая земля? Может быть, все живое, и городок этот далекий, возникли по исконному мудрому закону жизни, не по прихоти, а именно по закону. Город такой здесь нужен. Но город поднимается не ради города, не ради той прибыли, которую он дает государству, торгуя с иностранными державами.

Если бы не было смысла, город был бы только ссылкой для заключенных и раскулаченных переселенцев. Но в Краесветске половина, если не больше, жителей вольных, приехавших по своему желанию, и, обживая Север, оттаивают они мерзлоту дыханием своим.

Поднимаясь завершать штабель, Репнин видел город то занесенным по трубы сыпучим, как манка, перекаленным снегом, то стоящим по окна в весеннем разливе, то

заплеснутым огромным солнцем и птичьими голосами, то закутанным в неподвижный туман.

Перемены здесь всегда резки, зримы.

Зима.

Редкий лесишко еще реже и бедней, а ближе к городу совсем бело: лес покрупнее вырублен из противопожарных соображений, а карликовые березки, тальники, лесные всходы хвойника в глубоких сугробах.

Весна.

Искрится снег, и тайга худосочная отодвигается, сизеет, небо выше, видно дальше. На вырубках снег в серых пятнах, выступает наледь на озерах, потеют торфяники на марях, и расплющенные кустарники, спутавшись меж собой, как проволока, выпрастываются из-под снега один по одному: отбедовали зиму вместе — и хватит.

Потом несет все в озера, в болота, в реку, и сама земля вокруг города на короткое время подернется водой, и тогда уж кажется, что Краесветск плывет куда-то к морю-океану и ни к какому берегу прибиться не может.

В пору великого разлива и буйства, когда все куда-то с шумом плыло, спешило, металось, пело, бурлило, Репнин обычно переселялся в портовый лазарет — с сердцем у него бывало худо.

Может, оттого, что смерти не боялся, — выживал.

Лето.

По всей бирже ходит смоляной дух ангарской сосны. От марей и болот тянет парной, тинистой вонью. Но люди работают в брезентухах и в тюлевых черных сетках — заедает комар. Репнин поджарый, сухой делается. В костях у него легкость, будто у излетавшейся старой птицы. Поднимется на штабель, уложит плаху и вздохнет раздругой. Торопиться некуда, да и воздух тяжел. От штабеля скипидаром разит так, что щиплет глаза. Болотная прель сгущает воздух, и без того густой от комаров и забродившей в сырости древесной коры.

За городом все замерло, померкло, сморилось — от мелкого куста, свесившего листья, до малой пичуги — трясогузки, открывшей клюв. Все ждет ветра, любого ветра: северного или южного — верховки. Лучше верховка. Она прилетает резвая, сбивая воду на протоке в толкунцы, переполненная духовитостью российского сенокоса.

Долой брезентухи! Долой накомарники! Работается весело, и жизнь не так уж плоха, и лето заполярное не

так уж гнило. Правда, сено не высыхает, его кладут на подстава и крестовины или присаливают. Правда, в начале сентября уже дохнет снегом и пароходы сделаются раздражительней, нетерпеливей, спеша убраться в обжитые края. На бирже и на морпричалах начинается аврал. Но это потом. Это когда еще будет!

Все кончается всегда вдруг. Вдруг не станет больших пароходов, улетят птицы, и на протоке сделается просторно, а местные пароходишки и катера как неприкаянные болтаются, и если гуднут иной раз, то коротко, вполгорла — чего ж без дела-то орать?

Из-за болезни на бирже работать Репнину стало трудно, и было предписано врачами «сменить климат».

В комендатуре и поспособствовали ему насчет легкой работы — направили кладовщиком в только что открытый детприемник.

Город был новый, и все в нем было новое: заводы, дома, магазины, пристани, школы, больницы. Но, как и во всяком новом городе, в Краесветске не планировалось строительство тюрем, домов инвалидов, исправительно-трудовых колоний, детприемников. Все это возникало само собой.

Кладовщиком Репнин пробыл недолго. Детприемник расширялся. Одна воспитательница уже не могла справиться с работой, и достаточно присмотревшаяся к своему кладовщику заведующая детприемником Ольга Ивановна Полякова попросила перевести его на должность воспитателя.

Его вызвали в гороно и предложили — именно предложили — работу воспитателя в детдоме. Он никогда не имел семьи, детей, и все это показалось ему неспроста. «Если не подвох, то издевательство, определенно издевательство». Но привычка воспитанного человека уважать просьбу сделала свое дело, да и кладовщицкие обязанности ему надоели.

Не менее настороженный и угрюмый, чем ребята, предстал перед ними Репнин. Только разницу между собой и ребятами он почувствовал сразу.

С кладовщика какой спрос? Ребята почти и не знали его. Он постригся. Сшитый из холщовых мешков и покрашенный черной краской костюм починил и отутюжил. Ребята не давали ему никакого спуска. Он был старший, он был воспитатель, а остальное их пока не касалось.

Детприемник разрастался и разрастался. На «птичьих

правах» он уже не мог существовать. Нужно было по всем правилам и законам открывать в городе Краесветске детский дом. А раз по всем законам, значит, должно быть у детдома постоянное помещение, имущество и прочее, прочее, прочее...

Первая группа беспризорников сколотилась давно. В цинготных бараках, на чердаках, по конным дворам и гаражам хозяин города Ступинский еще в зиму с тридцатого на тридцать первый год собрал больше десятка ребятишек и держал их у себя в квартире. Кормились они в военной столовке, а спали на полу в ряд, и Ступинский вместе с ними спал, подальше упрятав наган.

Ступинский же хлопотал и об открытии детприемника, чтобы прибрать детей на зиму, а весной с первыми пароходами разослать их по детским домам на Большой земле, или, как зовут тут, на магистрали. Но там, видно, и своих сирот хватало, краесветских никто не принимал. Ступинский начал донимать райком, райком — область, область — еще кого-то, и сироты получили жилье.

Хозяйством занималась заведующая Ольга Ивановна Полякова, старая добрая учительница. Ей помогал в делах добровольный отец детдомовцев Ступинский. Вместе с воспитательницей Екатериной Федоровной, женщиной мастеровой, но малоподвижной, Валериан Иванович приводил детей в божеский вид.

Как и когда сделался он нужным детдому, а детдом ему, Валериан Иванович не успел заметить.

И вот тут начались перемены: заболела Ольга Ивановна, и ее в тяжелом состоянии увезли на магистраль.

На должность заведующей с магистрали прислали женщину по фамилии Хлобыст, со специальным образованием, напичканную лозунгами и какими-то новыми методами воспитания детей. Человек она строгий, солидный, но в детдоме никогда не работавший. В очках, под которыми мерцали ее огромные, с лешачинкой глаза, отутюженная, важная, появилась она перед детдомовцами и поначалу повергла их в трепетное изумление. И держаться бы Нениле Романовне так вот строго, солидно, однако зудила образованность, и она стала воспитывать детей по какому-то выученному назубок «мэтоду», ничего не прибавляя к нему от себя.

И пошло-поехало...

Вызнав бесхарактерность заведующей, скрывавшуюся за важным ее видом, ребята вплотную занялись Нени-

лой Романовной. Валериану Ивановичу день ото дня становилось все труднее сдерживать их. Чем только могли, тем и донимали ребятишки заведующую. Особенно одним дурацким стишком — увидят ее, глаза в потолок и заводят: «Тетушка Ненила лесу попросила на ремонт квартерки...»

Были у ребят в доме свои заделья, привычки и привязанности. Любили, например, они чистить картошку и есть ее сырую, страсть как любили.

Чистят и хрумкают, а в плите дрова потрескивают. Тетя Уля хлопочет на кухне, кастрюлями гремит да ворчит. Поскыркивают картофелины, булькают, падая в бачок с водой. За окном фокусничает северное сияние, в трубах ветер завывает, и это завывание смешивается с гудом лесозаводов. Занавески на окнах колышутся от ветра — в столовке выстыло. В доме тишь и темнота, а на кухне теплынь, уют и полное миролюбие. Растет гора очистков в ржавом бачке. Пахнет резко, спиртовато. На плите что-то шипит, из духовки пахнет сухарями — это тетя Уля, не раз голодавшая в жизни, подбирает все кусочки и сушит их, а потом выдает ребятишкам по горсти вместо лакомства или готовит суп-сухарницу, простенький суп, но такой вкусный, что за уши от него не оттащишь.

Хорошо работается на кухне и думается хорошо. Для большего уюта кошку завели. Днем она спасалась от мучителей на чердаке, а ночью возвращалась на кухню и терлась у ног, мурлыкала и тоже ела сырую картошку — ребята приучили.

На кухне говорили тихо, говорили о хорошем, все больше о родителях. И такие они у всех были замечательные, что ребята, не помнившие своих матерей и отцов, страшно завидовали тем, кто их помнил или выдумывал. И дом родной непременно представлялся ребятам — будь он хоть в деревенской избе, хоть в бараке — бесконечно дорогим.

Валериан Иванович забредал «на огонек», как он говорил с несколько смущенной улыбкой, и тоже рассказывал про разное, ел картошку с ребятами и удивлялся:

— Никогда не думал, что сырая картошка может быть такой вкусной! Вот какой наш человеческий организм привередливый! Надо ему — вкусна и картошка обыкновенная. Не надо — и банан покажется горьким. — А что такое банан? — спрашивали ребята.

— Банан? М-да. Как вам объяснить? Весной у тальни-

ков отрастают побеги, и я видел — вы их охотно жуете. По вкусу они напоминают банан.

— Н-у... А мы-то думали!..

— Я ж толкую вам — напоминают. До бананов тальнику, разумеется, далеко, но все же...

— А мы вот турнепс на острове тырили, и его тоже бананами называют. Похож, что ли?

— Фантазия ваша. Меня из-за этого турнепса когда-нибудь привлекут. А вас, чего доброго, и подстрелят.

В кухне можно было говорить обо всем, даже о проказах. И ребята откровенничали, вспоминали, как они летом делали пиратские налеты на опытные грядки с турнепсом, в совхоз, на остров. Грядки высокие на подушке мха. Почти у каждой грядки сторож охраняет редкий «фрукт» — турнепс. С километр ползут ребята на брюхе, в кустах выжидают. Как зазевается сторож — оравой бегут на грядки, выдергивают кто сколько может турнепсин — и в лодку. Сторожа палят по ним, аж дробь по воде брызжет. Но «пираты» жмут на весла и уходят к другому берегу. Там уж торжественно лакомятся «фруктой», отрезая по тоненькому пластику всем.

Нет ничего вкуснее этого турнепса, и потому его зовут невиданным фруктом — бананина.

— Бананина! — вздыхает Валериан Иванович и причмокивает губами. — Ребятишки вы, ребятишки... Когда-нибудь узнаете, какие на свете фрукты растут, и смеяться будете над тем, как с бою брали турнепс — кормовой овощ. Его ж коровам да свиньям дают.

— Хорошо им! — завидуют ребятишки.

— А, чтоб вам! — смеется Валериан Иванович. — Зато им компот не дают, макароны не дают, сгущенное молоко не дают.

— Это верно, не дают, — соглашаются ребята. — Нет, нам лучше. Нас если городская шпана не забьет, мы столько лет жить будем!.. А свиньям осенью нож под ребро. Н-не, пусть, уж мы тут будем, а они там. Турнепс мы у них упрем! Запросто!

Валериан Иванович хохочет вместе с ребятами. Все довольны друг другом, болтают, времени не замечают. Первым обычно спохватывается Репнин. Подслеповато сощурившись на ходики, он изумленно восклицает:

— О-о! Двенадцатый час! Спать, спать! Доброй ночи, Ульяна Трофимовна! Не задерживайте больше дежур-

ных, — и уходит, мешковатый, обмякший и до приятности понятный и близкий.

Тетя Уля после таких вот посиделок обычно оставалась ночевать в детдоме. Спала у девчонок. Перетащит какую-нибудь девчушку к другой такой же девчушке, укутает их, постоит над кроватью, побросает на грудь крестики и ложится с одним и тем же вздохом: «Ох-хо-хо, дети вы малые, души милые!..»

Ненила Романовна однажды желчно заметила Репнину по поводу этих посиделок на кухне:

— Приспосабливаетесь!

На это Валериан Иванович с плохо скрытой иронией ответил:

— Видите ли, Ненила Романовна, человек с начала своего сотворения только то и делает, что приспосабливается. Да, да. К природе, к Богу, к раю, к войне, к жене, к детям, к квартире, к соседям, ко всему на свете. Человек, видимо, только потому и жив, что смог приспособиться, а то бы вымер.

Ненила Романовна пристально посмотрела на Репнина, ушла в канцелярию и издала письменный приказ, запрещающий дежурным задерживаться на кухне после отбоя. Тете Уле за «использование воспитанников в корыстных целях» объявлен был выговор. И поревела же тетя Уля, сроду не получавшая никаких выговоров в письменном виде!..

Вслед за этим запрещением последовало еще одно, вовсе разозлившее ребят и Валериана Ивановича, хотя он и не принимал всерьез ни самое Ненилу Романовну, ни ее «мэтоды», ни грозные письменные приказы. Как-никак он был когда-то офицером, приказов куда более грозных видел много.

Пришел он в один из зимних скучных вечеров в четвертую комнату с томиком пьес Островского и прочитал «На бойком месте». Вспомнив молодость, кое-что даже сыграл.

Сначала в комнате было человек шесть. К концу пьесы набилось столько народу, что уже некуда было сесть. Ребята поражались не столько пьесе, сколько воспитателю. Из угрюмого, всегда насупленного, медлительного человека он вдруг превратился в озороватого подгулявшего купчика.

Ребята хохотали, тыкали друг друга в бока, показывая на незнакомого Валериана Ивановича, и просили почи-

тать еще что-нибудь такое же. И он стал читать и рассказывать ребятам о Москве, и, когда сказал, что ради хора «Ноченька» четырнадцать раз слушал оперу «Демон» и всякий раз плакал от восторга, ребята прониклись особым к нему почтением. Непонятность всегда почему-то привлекает детей.

Запретила Ненила Романовна и читки, сказав, что несолидно воспитателю паясничать перед воспитанниками.

Плюнул Валериан Иванович с досады, буркнул даже грубость какую-то и перестал раскланиваться с Ненилой Романовной.

Оставшись один на один с ребятами, Ненила Романовна решила идти на них в открытую, но сама была опрокинута.

Рыба-омуль сделалась причиной тому.

Ребят стали кормить прокисшим омулем с картошкой. Поначалу картошку и омуля в «сиговом засоле» ребята ели, переделав, правда, слово «сиговый» в «фиговый». Потом начали оставлять по половине порции на тарелках, после и по всей порции. Пили один чай, таскали хлеб в карманах. В комнатах появились тараканы. В конце концов нарисовали ребята черную метку, точно как в кинокартине про пиратов, — череп с костями, и сунули в карман заведующей. На метке красным карандашом написано было: «Омуля долой!» На этот ультиматум Ненила Романовна ответила со всей решимостью. Во время обеда она потребовала тишины.

— Что дают, то и есть будете!

Утром снова омуля дали. В столовке накалились страсти, возбужденно ожидались события. Чуть разрумянившаяся от мороза Ненила Романовна торжественно вплыла в столовую и как ни в чем не бывало произнесла:

— Здравствуйте, дети!

Ей никто ничего не ответил. Она не удивилась и не обиделась. Голос ее сделался еще ласковей и мягче.

— Как вам понравился завтрак?

— Лови!

Правое очко Ненилы Романовны залепила горячая картошка.

— Во, блин! Вляпал кто-то! — восхищенно прошептал Попик. — Ворошиловский стрелок!

Ненила Романовна схватила очки, потряхивая кофточкой, за которую попали картофельные крошки, и, шаря

близорукими глазами по слившимся в единое пятно столам и ребятам, кричала:

— Шпана! Вас не в советский детдом надо, вас всех в кэпэээ надо...

— А что такое кэпэээ? — невинно спросил Борька Клин-голова.

Все затихли, ожидая ответа на коварный вопрос. Ненила Романовна ничего не понимала со злости, дуром лезла в ловушку.

— Ты, балаганный клоун, со временем обязательно узнаешь, что такое кэпэээ!

— Я и сейчас знаю! — обиделся Борька Клин-голова. — Кэпэээ — это Красноярский пивной завод.

— Га-а-а-а!

В это время с возгласом «Прекратить!» ворвался в столовую Валериан Иванович. Его отыскала тетя Уля и панически сообщила, что дамочку вроде бы уж приканчивают. К большому сожалению ребят, он не дал развернуться дальнейшим событиям и увел Ненилу Романовну Хлобыст из столовой.

Ненила Романовна разрыдалась в комнате Валериана Ивановича. Он подал ей капель, утешал как мог.

— Ну что я им плохого сделала? Что-о? — жаловалась Ненила Романовна, раскудлатившаяся, зареванная.

По носу Ненилы Романовны непрерывно бежали слезы, накапливались в бороздках и оттуда обрушивались в перекошенный рот. Ненила Романовна захлебывалась слезами. Нечасто, видно, в своей жизни ревела она, и слез у нее накопилось много.

Валериан Иванович наблюдал за ней, уговаривал и хмуро думал, что эта милая особа покинет детдом и ему, хочешь не хочешь, одному придется утихомиривать подраспоясавшихся ребят, потому что Екатерина Федоровна все шьет да вышивает, а Маргарита Савельевна только-только перешла в детдом из избы-читальни и умеет пока красиво делать пионерский салют да декламировать Маяковского.

Тихо и сконфуженно убралась Ненила Романовна в гороно на должность инспектора. Репнин остался с ребятами в тесном, перенаселенном барачишке и волей-неволей сделался заведующим. Вскорости детдому отдали старое помещение четвертой школы на окраине города. Ребята разместились в бывших классах, заведующий — в

учительской, и стали они жить-поживать да Ненилу Романовну потихоньку забывать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Но прежде чем Валериан Иванович утвердился в должности заведующего, он побывал у Ступинского на «чашке чаю». Так и сказал Ступинский: «Заверните-ка на чашку чаю ко мне». Валериан Иванович усмехнулся, вынул из футляра очки, протер их, водрузил на место и, не гася язвительной улыбки, колюче глянул: «Как вам будет угодно».

Жил Ступинский неустроенно, по-бобыльи. В комнате с глухой, а не дощатой перегородкой, какие были во многих домах, железная кровать, по-солдатски заправленная байковым одеялом, стол, накрытый газетой, доска с книжками, висящая на проволоке; почти пустой посудный шкаф с вырезанным на дверцах сердечком, и совершенно независимо на простенке висел телефон с железной ручкой. Обстановка дополнялась еще кой-какой мелочью, сразу в глаза не бросающейся: фотокарточка старой женщины — должно быть, матери Ступинского, на крашеном угловике зеркало в деревянной оправе с железной подпоркой, бритва-безопаска, заряженная ножичком, расческа и замысловатый заграничный флакон с одеколоном.

Портретов на стенах не было. Висел лишь посеревший от времени круглый репродуктор и фотография, на которой стояли, сидели и лежали на боку курсанты в буденовках и галифе. Среди них, видимо, был и Ступинский. Но Репнин издали различить не мог, а утыкаться носом в фотографию посчитал неудобным. «Мог бы и поприличней жить комиссар,— подумал Валериан Иванович. — Подчеркивает бытом пролетарский дух свой, небрежение благами. Мы, мол, как все».

А Ступинский, проследив за взглядом Репнина, почесал затылок и подобрал рукою волосы.

— Живу, понимаете, как на вокзале. Уж извините, — и еще почесал затылок. — Жениться надо, устраиваться, а все недосуг.

Репнин не поддержал этого разговора. Он сидел прямо, твердо и ждал. Ступинский пошуровал в плите, стоя

на одном колене, подул, и у него покраснели уши, шея. Нехотя загорелись дрова, и плита задымила в кружки и щели.

— Вот еще дымить стала, кирпич, что ли, в трубу упал? — пробормотал Ступинский и обескураженно поглядел на плиту, исполосованную струями дыма, затем перевел взгляд на заплесканную газету, приколотую сзади умывальника, и отвернулся.

— Так что ж, Валериан Иванович, — поднявшись с колена и отряхивая брюки, заговорил Ступинский. — Удивились? — Репнин вопросительно вскинул брови. — Сознаюсь, это я посоветовал назначить вас завом, — пояснил Ступинский и тут же признался с улыбкой:

— Ничего не поделаешь. Приходится и недорезанных буржуев привлекать к воспитательной работе. — Он развел руками и располагающе посмотрел на гостя. Но Репнин и на этот раз не поддержал ни тона, ни улыбки коменданта. А тот продолжал с настойчивой доверительностью: — Недостает нам в Заполярье интеллигенции. А которая есть — несерьезная какая-то, культуры ей не хватает. Скороспелка, она и есть скороспелка.

— Поспешность нужна при ловле прытких насекомых, а ее употребили на усекновение русской интеллигенции, которая вырастала веками на нашей твердой российской почве!.. — высокопарно, с расстановкой произнес Репнин, но сию же секунду понял — получилось это у него неуместно, грубо, совсем не тот тон предложил ему Ступинский. Все же он в гостях, и вести себя так неприлично, и надо впредь следить за своими словами и не слишком нервничать и смущаться.

Ступинский достал из шкафика чайник и тем заполнил неловкую паузу.

— Может быть, вы и правы, — расстилая на столе свежую газету сказал он. — Что у нас распорядились со старой русской интеллигенцией круто — вы, видимо, судите по себе, на примере своей судьбы? — уточнил Ступинский.

— Вы что, на откровенность меня вызываете? — усмехнулся Репнин. — Напрасно. Все, что я думаю, могу высказать кому угодно и где угодно! — резко, с вызовом объявил он и поерзал на стуле от волнения.

— Кому угодно и где угодно не следует — не то время, — заметил Ступинский и поставил на стол два стакана с блюдцами, початую банку варенья, тарелку с лом-

тями белого хлеба. — А в том, что вы храбрый человек, я, например, нисколько не сомневаюсь. — Ступинский обвел взглядом небогатое убранство стола. — Прошу! — сделал он широкий жест, будто и не заметив, что Репнин покраснел, как мальчишка.

«Господи, какой я вздор мелю! — пододвигаясь к столу, подумал Валериан Иванович. — Неужели я в самом деле боюсь? Но чего же мне бояться?»

— Вам погуще? — услышал Репнин и быстро закивал головой:

— Да, да, люблю, знаете ли, погуще...

— Долго проживете! — басисто прогудел над ухом Ступинский.

Они пили чай в молчаливой сосредоточенности. Ступинский хмурился.

Лицо его, густо-смуглое, с ямкой на продолговатом подбородке, с крылатым носом, как-то уж очень не уживалось со светлыми бровями, и белесыми ресницами, и прямыми, соломенно рассыпающимися волосами. Казалось, на Ступинском надет парик, а брови и ресницы приклеены. Зато глаза, как говорят ребятишки, чика в чику — серые, глубокие, пристальны и задумчивы. Тревожные мысли метались в этих глазах. И весь он был словно бы на постоянном взводе: чудилось, вот-вот сейчас, сию минуту готов он вскочить, побежать куда-то, чтобы сделать очень неотложные дела.

«М-да! Неспокойная служба у тебя, гражданин-товарищ, — отметил про себя с иронией Валериан Иванович, позвякивая ложечкой. — А вообще, любопытно: комиссар и бывший офицер, смертельные, так сказать, враги, совместно гоняют чаи и подкарауливают один другого».

Впрочем, любопытные эти странности случались с Валерианом Ивановичем в последние годы довольно-таки часто. Недавно ходил он с ребятами смотреть кинокартину «Чапаев», и то ли потому, что все происходило хотя и в хорошей, но все же в картине (чудно только было Репнину смотреть на несколько театрализованных офицеров, на «психическую», очень уж эффектную атаку и не менее эффектное разбитие ее), то ли он проникся настроением зала, но ему тоже хотелось, чтоб Чапай доплыл до другого берега Урала, и он вместе со всеми зрителями горевал, когда тому спастись не удалось...

В картине той был тонко сыгран, будто из доподлинной жизни вышел, офицер, игравший сонату Бетховена

на рояле. Он тут же за роялем и приказ утвердил о наказании Митьки, брата покорного денщика своего, Петровича.

Вот такие тонкие «музыканты» и распалили гражданскую войну, втянули в нее простофиль вроде него, Репнина, пролили реки русской крови с помощью чужаков и заграничного оружия. Такие, а не те карикатурные офицеры, крикливые, с приклеенными усами, которых так потешно изображали и копировали ребятишки: «Запор-р-рю, кана-а-альи!.. Кр-р-рю-гэм, немытое р-р-рыло!.. Ар-р-рестовать!..»

Валериан Иванович, побрякивая ложечкой о стакан, неожиданно для себя начал рассказывать, как он смотрел с ребятишками «Чапаева», поглядывая при этом на Ступинского, словно бы проверяя, как тот отнесется к его рассказу. Хохотал Ступинский до слез, когда Репнин начал изображать, как уморительно ребятишки копируют киношную контру.

— Значит, крюгэм? Ар-рестовать! А, чтоб их! — махнул рукой Ступинский. — Вот бесенята! Дают они вам жизни, наверно?

— Да еще как! — прогудел Репнин, и разговор у них пошел проще.

С кино переключились на другую тему — говорили о первых годах строительства, а потом опять невольно перекинулись к воспоминаниям о войне. Ступинский полюбопытствовал, как же, мол, Репнину, потомственному дворянину, представлялась революция, в каком виде?

— А как? Трудно даже сейчас и вспомнить. Анархия! Конец света! Я ведь, кроме всего прочего, вырос в семье еще и патриархальной, богомольной. Это тоже кое-что значит. М-да... А революция ближе всего моему пониманию была изображенной на одной картине спившегося провинциального художника. Я ее видел... Э-э, постойте, постойте... Кажется, в Вологде видел...

Она сразу же всплыла перед ним, эта картина, писанная крупными мазками, нервно писанная, талантливо. На картине белая лошадь, телега старая, с белыми березовыми кряжами, и брюхатая баба в белой кофте, сдерживавшая туго натянутыми вожжами лошадь. Черное небо потрясло и раскололо острием огромной хвостатой молнии. Гриву лошади разметало, захлестнуло челкой один глаз. Воз с резко белеющими во вспышке молнии березовыми кряжами напер на лошадь, почти снял хомут с нее. Ло-

шадь ржала во весь оскал, и в глазу ее был человеческий ужас. Зажмурившись от страха, кричала во тьму и брюхатая баба, обнажив белые полосы зубов. Кофта лопнула. Виден был запутавшийся гасник с медным крестом на белой мощной груди, перепруженной вызревшими силами будущей матери. Впереди угадывался провальный обрыв. Гужи вот-вот лопнут, и все — и белая лошадь с расхлестанной гривой, и баба, брюхатая, некрасивая, одинокая в этом клокочущем мире, — будут столкнуты возом под обрыв и смяты...

У картины было название: «Революция».

— Меня тоже взяло в оборот, как ту женщину, бурей ослепило и оглушило. — Ступинский умел хорошо слушать. Он даже рассыпающиеся волосы не подбирал, так и сидел, чем-то отдаленно напоминая русского мастерового, стриженного под кружок. — Адмирал Колчак, должно быть, за исполнительность мою или Бог его знает за что, ценил меня, и, когда потребовалось сопровождать за границу эшелон с архивами и другими ценностями, меня включили в группу охраны эшелона особой важности. — Валериан Иванович прервался на какое-то время, молча отпил несколько мелких глотков из стакана и, уже как будто сожалея, что разоткровенничался, торопливо закончил: — Ну дальше вы все знаете. Перехвачен был эшелон на одной из сибирских станций. Я сопротивляться решил. Ничего из этого путного не получилось. Стукнули меня прикладом по башке — вот и вся история. Может, и расстреляли бы, да командир отряда красных не велел: пусть, мол, отчитается за украденное народное добро! Да-а, никогда мне не забыть, как сидел я на той станции, зажав разбитую голову, а передо мной, будто наяву, стояла и кричала во тьму та женщина. Гужи лопнули, воз обрушился. Российскую казну, думал я, растащат мужики по карманам, архив по ветру пустят или на костер... И всю мою землю горемышную ветром развеет.

Ступинский ровно бы ждал продолжения рассказа. Валериан Иванович тихо помешивал ложечкой в стакане и смотрел, не отрываясь, в стылое серое окно. Ступинский загреб пятерней волосы, обнажив угловатый, смуглый лоб, неторопливо размял папиросу, но прикурить не успел. Словно на железнодорожной станции, резко задребезжал телефон. Валериан Иванович аж вздрогнул от неожиданности и плеснул из стакана чай на брюки.

— Сплю мало и оттого крепко, — снимая трубку, по-

яснил Ступинский. — Вот мне наладили такую трещотку, которая мертвого разбудит. Слушаю. Да, Ступинский. Да, на дровозаготовках. Да, для пароходов. Да, доверяю... Отвечать? Отвечать я буду. Да, уверен. Никуда они не денутся, зато поселок новый заложат. Да-да. Когда кончатся лесозаготовки? Совхоз будет. Ну, какой? Зверосовхоз или овощной. Фантазия?! Скоро мы начнем садить свой картофель. Свой, понимаете? Кто вывел? Агроном в совхозе, ленинградская женщина. Герой! Ходатайствуем об ордене! Дело ваше! Нет, не отменю! Не отменю...

Закончив телефонный разговор, Ступинский достал другую папиросу, так как прежнюю успел растереть в пальцах, закурил и задумчиво произнес:

— Оказывается, вы причастны к делу с государственными ценностями? А я грешным делом недоумевал: за что, думаю, вас сослали? — Он все еще не отделался от телефонного разговора, мял папиросу, хмурился, делая паузы в разговоре: — Большинство же офицеров были отпущены после войны на все четыре.

— Да и меня тоже отпустили. Чего даром кормить. Но потом я так устал мотаться без определенного дела, без дома, что схватился с мальчишкой-следователем, надерзил ему...

— А-а, небось успели убедиться, что мальчишки сами дерзить любят, а чтобы им ни-ни...

— Убедился, — улыбкой на улыбку ответил Репнин. — Но я не об этом. Я, в конце концов, благодарен ему. Наслышан был, как вели себя за границей высокопоставленные российские кутилы. Они б тряхнули тем эшелончиком. И я, попади вместе с ними, уж точно запутался бы окончательно.

— Казна пошла на возрождение России. — Ступинский подался к окну, попытался выглянуть, но окно уже давно и толсто обмерзло. Он механически задернул занавеску, и Репнин понял, что разговор по телефону все-таки сбил его с мысли, с начатой беседы и он снова пытается попасть в тон, вернуться к теме. — Из пепла и развалин поднимались. Каждой крошечкой дорожили. Только вот поднялись, передохнуть бы. Некогда. Работаем, забывая о себе, о своем уюте, спешим сделать за десятки лет то, на что века требовались. На эту вот тему побеседовать и позвал вас. Оттуда, — показал Ступинский на телефон, — распоряжаются громко и охотно, а вот специалистов только на заводы да в порт дают, откуда реальная прибыль есть,

а вот в школу, в клубы, в газету не дают, жмутся. Кидают нам Ненил разных да бродяг вербованных валят валом. А тут и без того пройдох, типов да придурков девать некуда. Такие-то пироги, Валериан Иванович. Доверяется вам сто с лишним жизней, имущество. Вот вы уж и кусочек народной власти. А что было, будем считать — быльем поросло. Работать надо.

— Нечего сказать, подвели под знаменатель! — Валериан Иванович протянул Ступинскому стакан. — Подлейте, пожалуйста, горяченького. М-да, — пожевал он губами. — Должно быть, я отстал от времени, оттого и не понимаю иных вещей. Не понимаю, например, как это вы при нехватке, при этакой человечной заботе о детях в то же время обращаетесь с опальными взрослыми ровно с огородным овощем: вырастили, выкопали — и в подвал! Не вы лично, а ваши.

Ступинский ответил не сразу. Он сунул окурок папиросы в подтопок, проследил, как его подхватило и уволокло тягой, и, повернувшись к Репнину, глаза в глаза произнес:

— Представьте себе, Валериан Иванович, я тоже этого понять не могу. — Он развел руками и обессиленно уронил их. — Это напасть какая-то... Я ведь вижу и знаю куда больше, чем вы. — Ступинский горестно оперся лицом на руки и замолк. Волосы у него опять сползли, сделав пробор на середине головы, и он опять напоминал российского мастерового. Только руки его были тонки, без натруженных жил, давно не знающие тяжелой работы руки.

Валериан Иванович был несколько озадачен возникшим предметом разговора. Так и не отнимая рук от лица, Ступинский заговорил как будто и не прерывался:

— Стараемся помогать людям, спасать их. Спасать здесь, где сделать это не так уж просто. Кое-что все же удается сделать. Не все, но многое. Вы, надеюсь, заметили, что нет у нас в населении особого разделения? Все живут, работают, учатся вместе. Все это не само собою получилось. Были и есть тут настоящие руководители. Они понимали и понимают, что без людей мы дырка без калача, не дали они распоясаться нашему брату. Мне в первую зиму начальник стройки, старый коммунист, по сопатке въехал. Кобурой я любил по молодости лет пошуршать, — пояснил Ступинский. — Хорошая была оплеуха. До сих пор забыть ее не смею. И слов, какими она сопро-

вождена была. «Оборони Бог», — говорил начальник стройки, — дойти нам тут до грудков! Только того и ждут враги мировой революции». Без таких, как он, мы наломали бы тут дров.

Ступинский разом снялся с табуретки, распахнул плиту, потыкал в нее поленом, подгреб угольки и набросал сухого макарошника. Минуты две он постоял на колене, глядя на поднимающиеся огоньки.

Валериан Иванович взял со стола стакан и пододвинулся к печке. Он и не заметил, захваченный потоком мыслей, что ведет себя как в своей холостяцкой комнатушке.

Ему и раньше, конечно, приходило в голову, что такая большая, заброшенная в Заполярье стройка могла кончиться пшиком и что кто-то не дал довести эту болезненно, тяжело начавшуюся стройку до развала, отвечая за нее собственной жизнью.

Все же как много он не видел, пропустил мимо глаз, занятый собственной персоной, собственной бедой! А ведь здесь, в этом городе, рядом с ним жили, работали и бедовали такие разные люди, с такими разными судьбами и обязанностями. И самую, пожалуй, неблагодарную, тягостную обязанность выполнял Ступинский. Валериан Иванович не раз слышал от переселенцев, что «хозяина им Бог послал за все грехи и страдания ихние». Побольше бы таких начальников, как он, — «не оскорбит, не выгонит: в ночь-полночь приди, выслушает тебя как человека и по-человечески отзовется...»

«По-человечески» — это очень и очень умели ценить жители города Краесветска.

Город вырос. Вместе с ним по строительным лесам поднималось и утверждалось человеческое достоинство основателей и строителей этого города, ставшего частицей истории нового государства.

Стало быть, не за награды и почести работал Ступинский. Значит, знал он что-то такое, чего не знали и не видели пока такие люди, как Репнин.

«Очень правильно сделал Ступинский, позвав меня на чашку чаю, очень правильно», — отметил про себя Валериан Иванович и кашлянул в кулак, напоминая о себе.

— Вот все думаю, думаю о судьбах наших здешних людей, и голова у меня кругом идет, — снова заговорил Ступинский, будто разговор не останавливался, будто он слышал, о чем думал Валериан Иванович. — Мы здесь

сумели избежать разлада меж строителями. Все вместе, все нормально. Но вот подходит пора призывать в армию здесь уже выросших ребят. А что, если и там им припомнят отцов и дедов? — Ступинский молча ждал, что скажет на это Репнин. Но Валериан Иванович не отозвался на беспокойный вопрос. — Я считаю, — уже твердо продолжал Ступинский, — считаю, что этого допускать нельзя. И знать и видеть худого ребята должны как можно меньше. Надо ограждать их от подозрений и напастей.

Валериан Иванович помолчал, подумал.

— Разумеется, ребята должны верить в мир, в котором они живут, — медленно заговорил Репнин, — ценить людей, которые растят их, говорят добрые слова, дают хлеб.

Ступинский пододвинул стул, неторопливо уселся.

— В том-то и соль, — вздохнул он. — Об этом тревога, и не только наша с вами. — Он поболтал чайник. — Пусто. Заварить еще? Кстати, — хлопнул он себя по лбу. — Во балда! Позвал вас, чтобы сообщить в неофициальной обстановке приятную весть, а этот дурацкий звонок сбил меня. Разобрались в конце концов с вашим делом. Скоро вы получите паспорт. Простите, так уж получилось: сначала утомил разговором, а после угостил новостью. Следовало бы наоборот.

Репнин почти никак не отреагировал на это сообщение. Он только кашлянул, промычал свое «м-да», полагая, что Ступинский отчего-то малость схитрил, приберегая этакое известие к концу разговора.

— Вы как будто не рады?

— Нет, почему же? Но, видите ли, меня как-то уже перестало заботить мое положение. У меня много других, более важных забот.

— О ребятах?

— Вот именно, о детях. И работа моя день ото дня осложняется. Не так-то просто воспитывать детей по-новому, без кнута и Боженьки. — Репнин нахохленно уставился на Ступинского. — Скажите, только прямо: зачем понадобилась вся эта возня со мной? Ну, вот мое вызволение с биржи, теперь вот мое назначение на должность заведующего, хлопоты о гражданстве? Я ведь отлично понимаю, что это не без вашей, так сказать, инициативы. Не в благородство ль играете?

— Нет, играть недосуг, Валериан Иванович. Заведующим вас назначают как человека, понимающего, что до-

ски в штабеля складывать и человеческие жизни пестовать — не одно и то же. Не думайте, что это с бухты-барахты. Так лучше, когда дети у вас учатся, а вы у них. Вы все еще кособочитесь, не соглашаетесь. Дело, как говорится, хозяйское. Может, это даже и хорошо. А то у нас лишка развелось тех, кто со всем соглашается. Учите ребят почитать старших, но не раболепствовать перед ними. Это противно нашему обществу.

Валериан Иванович вынул из кармана часы, извинился, сказав, что дела не терпят, а дети ждут, и начал собираться.

— Я и в самом деле многому научился у детей, — надевая пальто, проговорил Репнин. — Привязался к ним, и хотелось бы без тревоги думать мне об их будущем. Простите меня за некоторую афористичность, что ли. Великий немецкий поэт сказал: «Если мир расколется — трещина прежде всего пройдет по душе поэта». А я думаю: прежде всего пройдет она по судьбам детей. Пришел к этому не сразу. Прозревал, как говорится, через беды. Ну, прошу простить меня. Кажется, за много лет наговорился.

Ступинский пожал мягкую руку Валериана Ивановича, повторяя про себя: «Да, если мир расколется...» — а вслух спросил:

— Так и не сможете, видно, никогда забыть ту женщину с картины?

— Никогда не смогу забыть.

Оба тяжело помолчали.

— Валериан Иванович, вот еще о чем хотел посоветоваться. У вас там некому вести занятия по военному делу. Я изредка мог бы. Не возражаете? Пока не хватает военруков. А надо, очень это надо. Ведь если мир расколется... А как там крестник мой поживает? — уже за дверью спросил Ступинский, провожая Репнина до крыльца.

«Какой воспитанный человек! И где бы это?» — удивился Валериан Иванович и переспросил:

— Мазов-то? Разно поживает. Сложный мальчишка. И хороший и плохой. Без середины. Еще раз извините, — по-военному приложил руку к шапке Репнин. — А что касается вашей просьбы, то дверь нашего дома для всех открыта, и ребята всегда людям рады. — Репнин тут же мрачновато добавил: — Если они по делу, конечно.

Он всю дорогу «переваривал» разговор с комендантом и только сейчас до конца понял тот деликатный и

настойчивый вопрос или просьбу Ступинского насчет того, чтобы дети меньше видели и знали худого. «От мира детей, к сожалению, не отгородишь. Они как трава — загороди жердями, проволокой, частоколом самым плотным, все равно просочатся на свет. М-да, просочатся. Они вон на морпричалах торчат круглое лето. Все видят, все слышат. И глаз у них востер, и память. Все вбирает... Что это вдруг вспомнил Ступинский Мазова? А-а, Толя и в самом деле «крестник», ведь Ступинский нашел его и определил в детский дом...»

* * *

Зимой тридцатого года из села увезли куда-то Светозара Семеновича Мазова — Толиного отца. Толя, конечно, не знал, за что взяли отца. Сказали: подкулачник, и увезли. Он был главной опорой большой и безалаберной семьи. Дед Толи, Семен, по пьянке давший старшему сыну звучное, городское, как ему казалось, имя, погиб в гражданскую войну, прадеду Мазову уже подкатывало к сотне лет, а больше мужиков в семье не было — сплошное бабье, ребятишки.

В городе семью Мазовых погрузили на пароход и повезли вниз по реке. Пароход тянул за собою пузатую баржу. И пароход, и баржа были набиты переселенцами, их везли в Заполярье, на какую-то стройку.

Мазовы ютились на палубе меж толстых узлов, спали, заворачиваясь в половики, деревенское барахлишко; ребятишки залезали на ночь в кадки из-под капусты.

Пароход отапливали дровами. Шел он сутки, а двое брал дрова. Тогда семьями ходили по ягоды, по грибы и кедровые орехи. В пути с парохода и баржи утерялись несколько ребятишек и глухая старуха. С дровами было много беспокойств, но и удобства были тоже. Люди делали в поленницах пещеры, загораживали вход дерюжинами, и получались каюты, хотя и временные, но все же отдельные.

На одной большой пристани на пароход посадили вербованных. Потеснились. Иным семьям пришлось устраиваться на верхней палубе, возле трубы. Труба чадила густо смольем, сорила угольями. Одежонка на пассажирах прогорала, решетилась.

Река мрачнела и узилась. Скалы возносились выше, и

на них уже не было тайги, а только маячили обгорелые ветлы да зябко корчились голодные кустарники.

Приближались к большому порогу.

Пугливо кричал пароходишко, болталась баржа. С нею никак не мог управиться шкипер. Вода кипела в реке, процеживалась вспененными потоками меж каменных зубьев. Коридор из скал сделался узкой щелью, и вверху кривою молнией отсверкивал белый свет.

Смолкли люди на пароходе и на барже, вдавились в стены, в койки, зарылись в постеленку. Матери прижали к себе детей.

Ревела река вдали. Где рев — там порог. Навстречу выныривали испуганно вихляющиеся бакены. Пароход подбрасывало, одно колесо вдруг увязало, переваливалось одышливо, с трудом. Пароход зарывался носом в воду. Другое колесо в это время билось, стучало вхолостую, едва касаясь воды, путаясь в брызгах, бросая ошметки воды до капитанского мостика.

Весь в белых застругах, седой от брызг, постоянно кипящих над ним, показался порог. Табунами дыбились тупоугловые камни поперек реки. На них вспухала желтая пена. В глубине лязгали каменные плиты, несомые течением. Кругом все шевелилось, корчилось, хлестало, вертелось, кипело. Лишь черные скалы с рыжими отливами висели по обеим сторонам неподвижно и голо. Ни деревца кругом, ни птички, даже куликов и плишек нет. Грохот, рев, лязг, как на железоделательном заводе, который любому мужику в первый раз кажется преисподней.

И когда судно качнуло и поволокло в эту преисподнюю, пароход и баржа ответили порогу ревом.

— Топи-и-и-ить буду-ут! Топи-и-и-ить — приплавили-и-и!..

Кто-то прыгнул с баржи и пропал в бурлящей воде, в камнях. Кто-то начал сбрасывать узлы. Поднялась давка. Вдруг раздался осекающийся голос старика Мазова, Толиного прадеда:

— Стой! В стоса вас и в спаса! Стой! Совецка власть не дура, чтобы из-за такова г... дорогу посудину губить!..

Остановились. Мазова знали. Грозный дед был когда-то. Да и поныне еще сила. Рявкнул так, что рев порога перекрыл, и паника униматься стала.

Промелькнули пороги. За «находчивость» капитан переселил Мазова и всю его ораву с палубы в трюм — там не дуло.

Вербованные ходили дивиться на белого старика, как на икону. Он на них не смотрел. Он вообще ни на кого не смотрел. Он все молчал. Даже на невестку и на детей не цыкал. Прежде, бывало, гаркнет — так кто куда, все притихнут, в щели, как тараканы, забьются, чтоб на глаза старику не попадаться. А сейчас молчит. Не спит, не ест. Молчит. Жутко даже от этого его молчания.

Пароход сделал крутой поворот возле острова, огибая подводную песчаную косу, полого уходящую в глубь реки. Развернувшись, пароход едва не закинул баржу на угреватый каменистый мыс, замыкавший устье протоки от ветров и бурь косою острова и мысом берега. По берегу в сиротливом россыпе горбились домишки и как попало поставленные, покоробленные мерзлотой бараки, сараюшки и односкатные, почти слепые времянки.

Болота с мокрыми кочками, мари с тощим лесом чадили, как отстрелянные гильзы, горелым порохом, холодной гнилью, ворохами гнуса и бескрайней тоской.

Опираясь на батог, одним из первых ковыльнул на дощатую пристань Мазов. Душный, парной ветер шевелил его белые волосы, подстриженные по-старинному, кружком. Густой сумрак лежал над осевшими пенистыми бровями старика и в крупных решетках морщин. И хотя многие годы пытались согнуть старика и согнули даже, но он все еще головы на две возвышался над остальным людом.

Переселенцев встречал комендант города Краесветска Ступинский со своими работниками. Он громко, на всю пристань ругался:

— Кого привезли?! Строиться надо, вкапываться, а тут старье, бабы, ребятишки... — и, заметив Мазова, смолк было, задивился и прибавил: — Да таких вот еще! Фамилия?

— Мазов.

— Неужто Яков Маркович?

Мазов шевельнул бровями, заходили морщины на его лице, всматриваться стал, напрягая память.

— Тебя и не узнать, Яков Маркович!

— Старюсь.

— Меня не помнишь?

— Не помню.

— В гражданскую ночевал у вас с отрядом.

— У нас дом крайний, большой был, много в ём народу ночевало. Всех не упомнишь. Куда определяться?

Ступинский посоображал и, вынув блокнот, размашисто черкнул в нем, выдрал лист и подал старику Мазову:

— Идите в гору, ищите кирпичный завод.

Гор тут никаких не было. Горой звался глинистый, наискось подмытый яр. За яром из края в край озера, болота, мари, затянутые багульником, карликовыми березками, голубичником, осокой и разной другой земной мелочью. Чахлое редколесье стояло вторым этажом, издали напоминая настоящую темную тайгу. Но это лишь только издали. Березник, пихтач и ельник худосочен, редколап и, как правило, внутри гнилой. Лишь на горизонте сонно темнели кедрачи.

Ветер гулял над неоглядным простором, прижимая гнус к земле.

И города тут никакого еще не было. Среди болот и озерин в вырубленной чащобе, средь раскорчеванных пней работали люди, строили дома, делали огорожу к лесобирже, рубили пожарную каланчу, тянули трубы к бане и пекарне. У самого берега протоки на возвышении дымилась железная труба, дальше вторая. Эта еще не дымила. Мазов удивился — завод! Он подумал, это и есть кирпичный завод. Но ошибся. Расторопная Ульяна, односельчанка Мазовых, уже успела узнать, что это лесопильный завод, а кирпичный в лесу, за Медвежьим логом.

К ним то и дело подбегали люди: «Откудова будете?» — и тут же сами представлялись, надеясь встретить земляков и односельчан. Перепутало, разбросало людей по свету бурное время.

Кирпичный завод прижился в мелком ельнике и чащобе, на скате косогора, в Медвежьем логу.

Мазовых расселили в старом сушильном отделении, на полках. Отделение вышло из строя. Надышавшись теплом от кирпича, мерзлота поползла, вместе с нею село и поползло сооружение, сунулось рылом в лог. Оно могло в любой момент упасть. Но жить было негде. Его подперли со стороны лога бревнами, забрали поддувы тесом и слепили внутри сушилки печки, благо кирпича было кругом дополна и глины сколько хочешь.

Среди болот складывали люди времянки-печки, забирали сверху тесовым козырьком, с боков тоже. Варили на этих печках похлебку и даже пекли пироги. Понемногу одолев страх, растерянность и сделав открытие, что жить здесь тоже можно, стали российские люди погуливать,

песняка драть, как и на всякой другой земле, ревновать и колотить жен, жениться, выходить замуж, рожать.

И строили, строили, строили....

Тетка Толи Мазова, Евдокия, старшая сестра Светозара, и все, кто был способен к труду, работали на кирпичном заводе. Старика Мазова работой не неволили. Он на добровольных началах топил печки в жилом помещении и все молчал.

Осенью начали приезжать с магистрали мужики, которых позабирали во время раскулачивания и теперь освобождали и отсылали к семьям. Мазовы ждали своего главного работника, Светозара Семеновича. Ходили к каждому пароходу на пристань. Но все не ехал и не ехал Толин отец. Отгудел последний пароход, ушел из протоки, уже обметанной заберегами. Взвыли люди, и вольные и переселенцы, сердцем чувствуя, что остаются они надолго и ждут их большие горести и беды. Пуще всех выла тетка Толи Мазова, Евдокия. Орава мазовская, из-за которой она осталась вековухой, опять тяжким грузом повисла на ней. Раньше хоть со Светозаром вдвоем тянули хозяйство и семью. Как же одна-то? Да еще на чужой стороне? Хоть бы Толина мать, молодуха Серафима, была, но она взяла и убралась на тот свет. Слабая здоровьем оказалась, не пережила беды. Уж очень она Светозара любила.

К морозам сушилку утеплили, сделав высокую завалину, прорубили окна и к подоконникам дощатые фартуки с опилом приладили, чтоб не выдувало тепло. Внутри сушилку разделили кое-где заборками и занавесками.

Зимой пошла по нашему городу чужая, неслыханная болезнь — цинга. Быстро переводилась семья Мазовых. Первой умерла Евдокия. Не от цинги умерла. Ходила она в город за продуктами, заблудилась в пургу и замерзла в сугробе. Обессилела или отчаялась она, кто знает?

В сушилку селились новые люди. Кто только не перебывал в сушилке за зиму! Русские и нерусские, бабы и ребятишки, старики и старухи, жулье и рецидивисты.

Своих в сушилке осталось вовсе мало: разбитная Ульяна, которую ни цинга, ни мороз не брали, жила, да еще кое-какие земляки отчаянно отбивались от цинги. Возле сибирских переселенцев жался кочегар из комендатурской столовки, кавказец Ибрагимка. Правнук Якова Мазова Толя каким-то чудом тоже держался. В прадеда, должно быть, выдался живучим, а может, не умирал оттого,

что прадед берег мальчишку пуще глаза, в пургу на улицу не отпускал, ночами грел, прижимая к своей костистой, но еще теплой груди.

Приладил кавказец Ибрагимка старика Мазова подменным истопником в комендатурскую столовую. Старик пошел на эту работу, как выяснилось потом, из-за Толика. Он незаметно стягивал из кухни картофелину-две, предназначавшиеся для цинготников, запихивал картофелину в штаны и таил до темноты. Ночью скоблил овощ ножом, как репку. Грязную жижицу насильно запихивал ногтистым пальцем Толику в рот. Иной раз луковицу приносил, приказывал Толику сосать ее, как конфетку. Лук был приморожденный, сладкий. Сам Мазов этот редкостный овощ не ел.

На себя он, видно, рукою махнул.

Добралась цинга и до Мазова, скрутила.

Он лежал на детской железной кровати, неведомыми путями попавшей в сушилку, и трудно расставался с жизнью.

Кровать ему уступили из почтенья. Цинга так исковеркала старика, что он уместился на этой кровати. Только колени с мощными копытистыми чашечками выставлялись с кровати и чугунно постукивали. Рот чернел беззубым провалом, и от хриплого дыха выбрызгивала кровь.

Люди, боязливо крестясь, пробегали мимо умирающего Мазова. Лишь Ульяна ничего не страшилась. Придя с работы, она решительно приближалась к Мазову поглядеть — дышит ли?

Мазов дышал. Уж обрывисто, с мышиным писком, но дышал. Он смотрел остановившимся взглядом в потолок сушилки, и чудилось Ульяне: видит старик там, за промерзлыми стенами сушилки, такое, чего никто не видит.

Он видел осокорь — рай-дерево. Так его зовут в глуби России. Дерево стояло среди степи, захлестнутое половодьем. А по российским дорогам клубилась пыль. Шли люди пеша и конно в сибирскую сторону. Шли медленно, тупо, упорно. Умирали, рождались в дороге, оставляя в припутье и на незнакомых погостах родителей, дружков и сопутников.

Вместе со всеми тащилась куда-то старуха с угрюмым, мослатым подростком.

Слепая эта бабка, при которой Яков состоял поводы-

рем, знала толк во многих делах, необходимых людям, и умела им пригодиться. На ощупь собирала она травы и цветки. Одни сушила у костерка, другие на груди, под одежкой, и от котомки ее пахло зимой и летом разным цветом. Этими травками-муравками да корешками она лечила мужиков и баб. По упокойным бабка Марфа читала молитвы за упокой. Приняв роды под придорожными ветлами у баб и молодиц, читала во здравие.

Однажды они остановились на ночлег у небольшой, тихоплесной реки. Кругом степь, обсыпанная цветами, птичьим звоном, и ни одного деревца. Лишь на обмыске, впахавшемся в реку, маячил одинокий осокорь без вершины. Он горел. Из пустой середины его, как из трубы, валил сизоватый дым и выплескивалось белым платом пугливое пламя, словно бы дерево просило пощадить его.

Бабка Марфа дотронулась до корявой, заскобенелой коры.

— Не молонья, люди подожгли, — вздохнула она. — Кто на виду, кто на глазу — тому и достается больше.

Ночевали они под осокорем. К утру разлив достиг обмыска. Отошли на берег. Бабка крестилась, нашептывала что-то, а поводырь ее, Яшка, все оглядывался. Рай-дерево стояло уже в воде, но все еще густо дымило. Сердце его все еще не истлело. Единственная живая ветка осокоря, на которой совсем недавно развязались листья, билась, трепетала, ровно хотела оторваться и улететь. Листья свертывались, темнели. С них каплями медленно скатывалась клейковина.

Они ушли, а дерево все дымило, дымило за краем земли. Выпала судьба этому дереву расти в раздолье и одиночестве. И умереть одиноко. Нет горше такой вот смерти, медленной и никому ненужной.

Горело нутро могучего дерева, исходило пламенем и дымом, а дышать было трудно старику Мазову. И чудилось, не дерево это — сердце его истлевает бесшумно. К ногам подкатывала холодная вешняя вода, леденила их, отделяя корни от догорающей вершины, на которой беспомощно бьют крылышками листья, и угорело хрипят меж ними голобрюхие грачата в гнездах.

— Тушите... Тушите... Ослобоните... Любите... Любите... Травушка-муравушка... Баушка... баушка... баушка... — жарко выдыхивал Мазов, и шепот его закатывался, густел, склеивался с глухим, далеким стоном.

— Часует! — определила Ульяна и наклонилась к уху Мазова: — Сусе-ед! Ты слышишь меня? Сусе-ед!..

Мазов шевельнул вывернутыми красными веками, перестал бредить.

— Попа тебе надо? Один есть тут. В таинстве он. На бирже работает. Без ризы, правда, в телогрейке, но все же пособорует, причастит, все требы честь по чести справит... Верного человека пошлю, Ибрагимку.

Мазов разлепил глаза. Пробуждаясь, глядел на Ульяну, на Толика. Начал подниматься, пытаясь ухватиться руками за что-нибудь. Толик подставил ему плечо. Прадед замахнулся огромным немощным кулаком и, смрадно дыша перегорелой во рту кровью, тонко закричал:

— По-о-оп! Н-н-не ж-желаю!.. Не признаю-у! Катитесь все! Поп! Бог! Все! Все! Н-не!..

И закашлялся, зашелся так, кто кости в нем забрякали. Криком этим подавил последний вздох Мазов. Он не потянулся, не выпрямился. Видно, детская кровать не дала ему распрямиться. Грузно лежал он, будто выпиленный из лиственницы, суковатый, витой кряж, от которого отскакивает топор, а зубья пилы на нем ломаются, как орехи. Таких кряжей за ненадобностью много валяется на лесосеках и новостройках.

Какое-то время еще текла изо рта Мазова струйка крови, прожигая насквозь подушку. Потом загустела кровь. Начали западать черные губы в черный его рот.

Он еще не остыл. Но его уже понесли из сушилки. У порога со стуком уронили. Ибрагим, помогавший нести старика, закричал что-то по-своему, засверкал глазищами. Толик подскочил помочь, поддерживая шишковатую голову прадеда. Голова сламывала жилистую шею. Затверделый кадык Мазова торчал, как кремень.

Толик попытался защипнуть глаза прадеда. Но веки его уже пристыли к глазницам. Как только мальчик убрал пальцы, глаза старика снова заблуждали в темноте.

Поежился Толя, отошел к сушилке, в мерцающую тень, и прислонился спиной к стене. Мальчишка еще не понимал смерти и не боялся мертвых. Да и привык он к ним в сушилке, как привык к снегу, к пурге, ко всему, что каждодневно было вокруг него.

Прикрытый тенью стены, в заветрии, он стоял и с любопытством глядел на прадеда. В коротких полосатых исподниках старик словно бы прикорнул на искрами пересыпанном снегу и казался при этом колеблющемся сия-

нии, в этом морозном мире стареньким-стареньким старикашкой.

И трудно верилось во все, что рассказывала об этом старикашке тетя Уля.

— Характерный, ой характерный был суседушка! С мельницы идет — еще верста до дому, а в избе чихнуть боятся. Однова, это уж как мельницу и копей у мазовских отняли, увидел он на полосе Гошку Скоковского, пахал тот на мазовском чалом жеребце. Для выезда держал Яков Маркович жеребца-то. Сядет в кошевку и, не успей ворота отворить, вышибет, а потом материт за поруху. И вот завидел Гошка Мазова-то, а язва тоже, и ну по храпу жеребца, ну по храпу! В дыбы жеребец, ревет, к Якову Марковичу из шлеи рвется. И что ты, матушки мои, старик ведь уж был, Мазов-то, преклонный старик, а силищи в нем, силищи! Сгреб он Гошку, как кутенка, — и раз хомут на него! А потом пристегнул его к плугу и погнал. Лупит и гонит, лупит и гонит. Допахал ведь борозду-то на Гошке! Допахал и бросил, а у него кровь ротом и ушами...

А гулеванить Мазов-то как любил! Э-э-э-э, да все с куражом, все с норовом чтобы. Он ить, почитай, на всех свадьбах посаженным отцом перебывал. Не пригласи-ка! Колдуном его считали на селе. Колдуно-ом, колдуно-о-ом! И что ты, матушки мои, прибудут на мельницу к нему — уважит, хоть на тройке, хоть на одной лошаденке, не откажется. Но коли на тройке — разоденется: сапоги до пахов, картуз хромовый, рубаха плисова — все честь по чести, и всю он избу свадебну червонцами забросает, ну, а коли на одной лошаденке, да без колокольцев, в мельницкой одеже явится и муки из штанов натрясет, холера... Холера...

— Вот те и Яков Маркович! Вот те и дедушка Мазов! И тебя нрав-то его коснулся, да, слава Богу, краем одним только. Ты в отца свово пошел, в Светозара Семеновича, а он ведь вылитая бабушка Антонина, из капельки в капельку прямо. И помучилась же ангелица светлая, перестрадала женщина ясная от него, большеголового, ой перестрадала, царствие ей небесное...

И вот он, и в самом деле большеголовый, тяжелый, из занюханного самохода превратившийся во властного, грозного хозяина, лежал теперь поверженный, скрюченный под чужим заполярным небом. В черный провал его рта падал снег. Толик все ждал, что прадед вот-вот сглотнет снег. Но тот ничего не сглатывал, и скоро снегом заткну-

ло, словно ватою, темный рот, засыпало глаза, уши, все лицо Мазова, и он сделался похожим на елочного деда мороза. И Толик решил, что напрасно он побаивался прадеда. И бороды его колючей зря боялся. У Мазова, того еще, деревенского Мазова, была такая привычка — сграбастать правнука и потереться щекой об его щеку. После этого саднило лицо, будто от колючей боярки. Так прадед шутил.

За сушилкой послышались говор и кашель. По простуженному и оттого резкому голосу Толя узнал Ступинского. Он каждую ночь обходил бараки.

— Староста! Где староста?

Староста негромко и мрачно отозвался. Ступинский шагнул в отсвет, падающий из окна. Не заметив Толю, съежившегося у стены, нагнулся над Мазовым, смахнул перчаткою снег с его лица, дождался яркого всполоха сияния, должно быть, узнал старика и достал из кармана носовой платок. Закрыв платком лицо Мазова, Ступинский вынул портсигар, размял папиросу.

— Остался у Мазовых кто-нибудь еще? — спросил он, прикуривая.

— Малец остался, Толька, — ответил староста.

— Сберег прадед, — задумчиво сказал Ступинский. — Не хотел, видно, чтобы род его с земли исчез. Овощи из нашей столовки тайком брал. Это Мазов-то! — Ступинский наклонился, сложил руки Мазова на груди, почти ломая их — руки уже схватились от мороза в локтях, — и сказал: — Да-а, целая эпоха ушла с этим матерым дедом!

Толик, близко стоявший от Ступинского, услышал все, что он говорил, и ждал, не скажет ли он еще что-нибудь. Но Ступинский задумался, сжег папиросу до мундштука и не заметил, как глотнул горячего дыма. Отплевываясь, он кинул папиросу в снег. Брызнули по косогору искры.

— Заберите покойного, — приказал Ступинский следовавшему за ним военному. — Схороните как следует. Где мальчик?

— Здесь я, дяденька, — отделился от стены Толик.

— Жалко дедушку?

— Жалко, дяденька. Всех жалко.

Ступинский взглянул на мальчика, поднял воротник его шубейки.

— Та-ак, значит, жалко? — И тут же встряхнулся, натянул перчатки. — Придется тебе, Анатолий Мазов, со мной идти. В другом месте жить придется. — Взяв Толика

за руку, он повел его за собой и уже издали, почти из-за угла, крикнул старосте сушилки: — Вычеркните его из своих списков!

Староста что-то мрачно буркнул в ответ и, поеживаясь, вернулся в сушилку, а военные подогнали подводу и закатили на нее мерзлое тело старика Мазова. Подвода скрипнула. Тронулась лошадь. Быстро побежала вниз по глубоко занесенному снегом откосу.

Толя приостановился, провожая прадеда взглядом, а потом перевел взгляд на тусклые, залепленные снегом окна сушилки, как-то ушибленно сгорбился, быстро-быстро побежал впереди Ступинского, потому что тропка была узкая и рядом идти им было невозможно.

Следом за мальчиком шагал хозяин города. Оступаясь в заносах, он начерпал в валенки снега, но не чувствовал ногами холода. Он думал и, думая, не отрывал взгляда от маленькой фигурки, которая рябила в плотной пряже снега, и снег ему казался черным, а мальчик все высветлялся, высветлялся.

Ступинский нагнал мальчика, стряхнул с его шапки и со спины снег, положил ему руку на плечо и шел сзади, уже не отпуская мальчика от себя далеко; и если бы кто-то увидел их, то принял бы мальчишку за поводыря, который вел за собою слепого человека.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Толя был первым беспризорником, приведенным в холостяцкую комнату Ступинского. Оттого и назвал Ступинский «крестником» мальчишку. Впрочем, «крестников» у него быстро набралось больше десятка, и они-то и оказались первыми жильцами детприемника, а после — костяком детдома, «старожилами», как их в шутку и всерьез называл Валериан Иванович.

Как-то так уж получилось, что Репнин вынужден был отдавать Толе Мазову времени и внимания больше, чем другим ребятам, хотя он ничем не хотел выделять его.

Началось все с того, что Толя, катаясь на лыжах, сиганул с дровяника, точно с трамплина, и поломал ногу. Больное дите что в семье, что в детдоме балуют и ублажают. Парнишка изнежился малость, начал увиливать от уроков и, если бы не Зина Кондакова, остался бы на второй год.

Зина была мастерица на все руки. Зашивала дыры на рубахах и штанах ребятишек, гладила к празднику суконные брюки, погладит и не спалит, даже стрелку сделает. И как-то так уж получалось, что, играя в прятки или в метки, она нет-нет да и оказывалась в паре с Толей. И если надо было что-нибудь заштопать, или платочек пометить, или брюки погладить — Зина делала это для Толи с особым усердием.

Однажды, играя в прятки, Толя с Зиной забежали в полутемную раздевалку, спрятались за вешалкой и замолкли. Толя помялся, помялся и начал прокашливаться.

— Давай будем дружить, — сказал он совсем осипшим голосом.

Зина шепотом же ответила:

— Давай.

Вот и все, что они сказали друг другу. Но как это повернуло их жизнь! Если раньше Зинка, дежуря на кухне, не разбиралась, когда подать Толе тарелку — первому или последнему, как скорее и ловчее, так и подавала, — то теперь ставила Толе тарелку непременно последнему, чтобы не «заметили». Играть в прятки они с ней перестали, оставаться наедине избегали, из школы идти вместе не смели.

И все-таки их дразнили женихом и невестой. Раньше не дразнили, а вот когда они начали таиться друг от друга, проходу не стали давать. Проведи ребятню! Песню ребята сложили про Толю и Зину такую, что ее никакая бумага не выдержит.

Кончилось все это дело тем, что Толя заманил снова в раздевалку Зину и, откручивая на своей рубахе пуговицу, сказал:

— Зинка, давай не будем дружить.

— Давай, — согласилась Зина и поковыряла стенку ногтем.

Толя еще что-то хотел прибавить, но лишь быстро глянул на нее, смутился и удрал из раздевалки.

Жить стало легче. Опять вместе играли, не таились от ребят, и, когда Толя поломал ногу, Зина первая пришла в больницу, принесла ему в кульке конфеты «Мишка на Севере» да еще тети Улины постряпушки.

Теребя косу пальцами, покусывая воротник халата зубами, она рассказывала о детдоме и обо всем, что было интересного в школе и на белом свете. Сначала она сбивалась от смущения, но потом пообвыкла в палате, и они

весело разболтались. Но перед уходом Зины им стало не о чем говорить. Они сидели просто так, и Зина смотрела в окно, а Толя закручивал жгутом одеяло на груди и раскручивал его.

— Ты приходи... еще, — напоследок выдавил он, и Зина быстро-быстро закивала головой: обязательно, мол, обязательно.

Толя понимал, что она и так бы пришла, но это как-то само собой вырвалось.

В следующее свидание Зина приволокла с собой кипу учебников, тетрадки, чернилку и ручку.

— Вот! — строго и важно сказала она. — Будешь заниматься. Нечего дурака валять. Останешься на второй год, так узнаешь!

Вид у Зины был строгий, как у преподавателя старших классов, а халат на ней большой, и, когда она садилась, халат доставал до пола и девочка походила на безногую куклу-матрешку. Коса ее тяжелая все спадала на грудь, и Зина время от времени кивком головы перебрасывала ее за правое плечо. «Воображуля!» — усмехнулся Толя и спросил:

— Это Валериан Иванович посоветовал тебе взять меня на буксир или ты сама вылезла?

— Ничего я не «вылезла»!

Зина обиженно отвернулась, и Толя решил: вылезла.

— Ладно уж, говори, чего проходили, — снисходительно согласился он. — Только задачки по алгебре и физике сама решать будешь, а я списывать.

— Там видно будет.

Зина же принесла Толе одежду, и он, слабый, бледный, впервые в жизни узнавший, какое это счастье подняться с постели и вернуться домой, выйдя на крыльцо больницы, едва не упал, захлебнувшись струистым северным воздухом.

Ребятня, встречавшая его, радовалась так, будто он с того света явился или с первого парохода сошел. Когда шли мимо школы, высыпали ученики первой смены, как раз большая перемена была, тоже шуму было и толкотни, как в праздник. Толя враз ровно бы знаменитостью какой сделался, и о нем узнала вся школа.

Еще издали он увидел приклеившееся к детдомовскому кухонному окну лицо тети Ули. На крыльце стоял Валериан Иванович и хмурился, пытаясь спрятать привет-

ливую улыбку. Зина помогла Толе подняться на крыльцо, и он, весь сияя, предстал перед Валерианом Ивановичем:

— Вот... домой пришел... сам, на костылях.

— Здравствуй, раз пришел! — шевельнул морщины у глаз Валериан Иванович и подал Толе руку, как большому, а потом притиснул его к себе, тут же отпустил и подтолкнул к двери дома.

Толя первым делом зашел на кухню к тете Уле. Она, конечно, всплакнула, поругала его, а потом дала стакан компота, полный урючных косточек, и, пока он колол их на столе гирей от весов, курила и глядела на него.

С этих пор тетя Уля наталкивала больного чем только могла. Екатерина Федоровна сшила ему новую белую рубашку с карманом на груди. Маргарита Савельевна подарила книгу «Байрон». Ребята завидовали такому Толькиному положению. Некоторым захотелось тоже поломать ногу, но чтоб небольно поломать. Зинку уже не дразнили и относились к ней и к Толе по-доброму. Правда, ребята же устраивали скачки на Толиных костылях, одолевая детдомовский коридор в четыре прыжка, и поломали костыли. И кто их разберет, этих ребят? У Паралитика никогда не брали костыль, а Толины так моментально пустили в ход.

Сделали Толе палочку с набалдашником. Парнишку уверяли, что с нею даже «красивше». И хорошо, что врач больницы углядел в городе Толю с этой форсистой палочкой, отнял ее и выписал новые костыли. А то бы снова попал Толя на койку или охромел бы на всю жизнь.

Зина и Маргарита Савельевна приступом взяли «больного», и он, к удивлению учителей, не остался на второй год и даже переэкзаменовку по математике на осень не получил.

Еще в ту пору, когда ходил Толя на костылях, вздумал он учиться музыке. Стал мало-мало тренькать на балалайке «Сербиянку» и бросил. Взялся за гитару. Осилил «Соколовский хор у «Яра». Тоже бросил. Переметнулся на мандолину, потом на гармошку. Прошел все инструменты, какие были в детдоме, быстро, легко, и... ни на одном играть как следует не умел.

Привезли бильярд. Толя гонял шары день-деньской, пока не сделался первым игроком в детдоме. Закинул и эту игру. Перешел на чику.

Чика давалась труднее. Среди ребят были невиданные

мастера по чике, и они обчистили Толю как липку. И оказался он весь в долгах, и ничего другого ему не оставалось, как сойтись с карманниками, никогда не переводившимися в детдоме. Они охотно и бескорыстно обучали Толю тонкому ремеслу.

У Толи длинные, гибкие пальцы. Тихий парнишка Женька Шорников с ангельским взглядом и неряшливо заштопанной шеей после операции, мальчик, на которого и не подумаешь, что он способен залезть в карман, позавидовал Толиным пальцам:

— С таким клепками озолотеть можно!

Женька ошибся. Кроме пальцев, карманнику полагается иметь и крепкую «гайку», как говорят ребята. С «гайкой» у Толи дела обстояли неважно... «Теорию» он освоил быстро. Дома, среди своих, делал классные «наколки». Но стоило ему войти в магазин и прислониться к карману, в котором таились деньги, как он вспыхивал, словно брался за горячую железяку, а потом бледнел, а потом дрожал, а потом попадался.

Но долги по чике Толя все-таки погасил. Он подрядился к одному водовозу черпать воду из проруби, и тот выдавал ему процент с каждой бочки.

Зато книжки читать Толе никогда не надоедало. Читал он что попало и где попало: в школе, на уроках, ночью, зажигая тайком свет, и даже в уборной умудрялся читать, чем приводил в изумление ребятишек и в негодование учителей.

Школьную и детдомовскую библиотеки Толя «проглотил», просился в городскую библиотеку, но там сказали, чтоб принес табель. Толя не пошел за табелем — худой у него табель, даже не худой, а чудной: по литературе, географии и истории в табеле отличные отметки. А по математике и тому подобным наукам у него лишь изредка «песики» провертываются. Остальные же «плохо» и «оч. плохо». И ничего Толя с собой поделать не мог. Другой раз заставит себя слушать и слушает, а его куда-то уводит, уводит, и окажется он в джунглях Африки либо на Северном полюсе...

Очнется — учитель по прозвищу Изжога формулы объясняет. При чем тут формулы?! К чему вся эта надсадная наука? Он станет путешественником или еще кем-нибудь поинтересней, и чихать ему на дроби и на Изжогу вместе с ними.

Не будь у Толи сломана нога, сроду бы не попасть ему

в хорошую библиотеку. Валериан Иванович — мягкая душа — не смог отказать больному мальчишке, сходил, записался в библиотеку отделения Севморпути — лучшую в городе — и попросил в свою карточку вписать и Мазова Анатолия.

Библиотекарь, не снимавший картуза с «капустой» даже здесь, в «храме книг», замялся:

— Вы знаете, ребят мы не записываем.

— А почему?

— Видите ли, — еще раз замялся библиотекарь с «капустой» на картузе, — эти книги собраны со всех концов страны в дар нашему городу, и мы стараемся сохранить их, а дети, знаете...

— Знаю. Рвут книги, треплют. Но разве те, что прислали сюда книги, — Репнин кивнул на стеллажи, — рассчитывали, что тома сии будут стоять свидетельством их добродетели?

— Ну зачем же? Мы выдаем книги летчикам, населению, у нас даже есть передвижные библиотеки, в том числе на Хатанге даже...

— Книги будут в сохранности. В крайнем случае, утрату возмещу.

— Тогда залог пожалуйте, — потупился парень с «капустой».

— Какой залог?

— Десять рублей.

— Хорошо, я пришлю с мальчишкой десять рублей.

— Ну не сердитесь. Такой порядок. Я извиняюсь, конечно... Простите...

— Порядок есть порядок. Против него я возражать отучен, — пробубнил Валериан Иванович.

Именно в те дни и свалилось как снег на голову письмо Толиного отца — Светозара Семеновича. Толя и не подозревал даже, что сам навел отца на свой след.

В больнице Толя познакомился с двумя беженцами из северного лагеря. Больница в Краесветске одна, и в нее направляли всех больных без разбора. Два эти арестанта бежали слишком рано, в апреле, и обморозили ноги. Их вылечили, вернули обратно, добавив по пять лет сроку.

В больнице от нечего делать Толя, должно быть, все рассказал этим беженцам о себе, а они в тесной лагерной жизни натолкнулись на Толиного отца — Светозара Семеновича Мазова.

Письмо было написано на полоске бумаги, снятой с

банки от сгущенного молока. Конверт из оберточной бумаги, склеенной хлебным мякишем.

Валериан Иванович с недоумением начал читать письмо, адресованное на Краесветский детдом.

«Уважаемый тов.!» Слово «тов.» было исправлено на «гражданин». «В нашу местность, где мы строимся, привезли из Краесветска беженцев. Они поознобились и лежали в больнице вместе с парнишкой по фамилии Мазов, по имени Анатолий, по отчеству Светозарович. Все сходится с моим сыном, возраст тоже сходится. Он остался маленький, когда меня изолировали. Я слышал, всех наших сослали в Краесветск, и что с ними — неизвестно. Может, поумерли, а мой сын попал в приют? Уж очень все сходится. Вот почему беспокою вас своим письмом. Напишите, правда или нет? Очень я переживаю. Пока ничего не знал, спокойней был. Может, нам никогда и не свидеться. Но уж одно знать — живой — радостно, и смысл бы в жизни стал. Сообщите, Христа ради, гражданин начальник. Очень я переживаю. Я не убегу отсюдова. Пусть был бы только живой да человеком бы стал. Извиняюсь за беспокойство. С низким поклоном *Мазов Светозар Семенович*».

Валериан Иванович долго сворачивал письмо, засовывал, никак не попадая в конверт. Отвернулся к окну. С дровяника прыгали ребятишки в мягкий торф. Толя сидел в сторонке, на чурбаке. Новенькие костыли его рядом. Он что-то кричал, подпрыгивал на чурбаке. В глазах его была зависть.

Валериан Иванович неделю читал и перечитывал письмо, не зная, как поступить: показать его Толе или скрыть?

«Нет, пусть ссыльный, пусть арестант, но все же отец родной... А если потом до последнего дня будут попрекать этим отцом ни в чем неповинного мальчишку?»

И все же, перемучившись сомнениями, с тяжестью на душе, Валериан Иванович решил отдать Толе письмо, да все чего-то тянул, никак не мог набраться духу.

В это время принесли еще одно письмо от Светозара Семеновича. Он предполагал, что первое письмо не дошло, затерялось.

«Надоумили меня добрые люди подать в розыск, на адресный стол. Но я решил прежде еще раз попытать счастья, и тогда уж действовать по-другому... Предчувствие о сыне у меня, — писал далее Светозар Семено-

вич, — все время во сне вижу, только почему-то маленького вижу, ползунка...»

Валериан Иванович хотел позвать к себе Толю, чтобы отдать ему оба письма. Но парнишка сам явился, открыл дверь и перекинул костыли через маленький порожек. Был он бледен и чем-то встревожен, пристально смотрел на Валериана Ивановича и не решался о чем-то спросить.

«Кажется, он узнал о письмах?! Это ж ребята! Они ж все пронюхают!..»

— Ты чего? — первым заговорил Валериан Иванович, соображая, как ему быть. — Не упал ли? — Он поглядел на Толину ногу, тяжело и толсто загипсованную.

— Нет, не упал. — Толя чуть приостановился и вдруг выпалил: — Это правда, что вы белый офицер?

Валериан Иванович сидел минуту неподвижно. Брови его медленно сходились к переносице, от которой покатила на лоб мертвенная бледность. Он готовился к этому вопросу, постоянно готовился и все же отвечать на него не знал что. Ведь не крикнешь мальчишке в лицо те же слова, какие он выпалил на точно такой же вопрос молоденькому следователю в кожаной куртке, в штанах-галифе и с железной непримиримостью в глазах: «Я русский офицер! И горжусь тем, что служил отечеству так, как велела мне честь и совесть русского офицера! Между прочим, среди них были Лермонтов, Пржевальский, Раевский, Кутузов, Суворов. А кто вы такой? По какому праву здесь, на моей земле распоряжаетесь?!»

Тогда все было проще. Следователь напорист, горласт и малообразован был. Валериан Иванович тоже был еще сравнительно молод, хотел красивой смерти и потому геройствовал, доводил до исступления следователя-юнца своей утонченной язвительностью и высокомерием.

Да, там все было проще.

А здесь вот что сказать? Что ответить этому мальчишке? Ему ведь все ясно. Есть красные и белые. Свои и чужие. Он видел их в кино. Белые — в окопах по ту сторону, красные — по эту. Белые стреляют из пушек, а красные с гиком летят на конях и рубят беляков нещадно, к великому удовольствию зрительного зала.

— Что ж ты стоишь? Сядь. Тяжело на костылях.

Валериан Иванович подвинул Толе табуретку, а сам отвернулся к окну.

— Да, я действительно служил в старой армии. Воевал, — поправился. — Сначала с немцами. А потом...

Услышав свой голос, Валериан Иванович вдруг понял, что он оправдывается. Оправдывается! Его передернуло. Почему, собственно, он должен оправдываться перед этим парнишкой? И перед всеми остальными детьми? Разве мало сделал для них? Разве он не отдал им всего себя? Разве он мало мучился? Неужели он должен всю жизнь мучиться? За что мучиться-то? Он разволновался, зашагал по комнате этим своим старым четким, строевым шагом, на который переходил всегда, когда нервничал. Скосил взгляд на Толю. Парнишка сидел убитый, низко опустив голову. Говорить ему сейчас что-нибудь было бесполезно — парнишка услышал главное: человек, к которому он успел привязаться, оказался беляком! И он уже вяло, просто чтобы не молчать, заговорил:

— Не все офицеры, Анатолий, вешали и пороли людей шомполами. Между ними, как и между прочими людьми, тоже есть разница. Когда-нибудь ты разберешься в этом. Потом, когда вырастешь. А сейчас оставь меня, пожалуйста... Пожалуйста...

Толя поднялся, утвердился на костылях, взялся за скобу, но не уходил.

— Да, одну минуту! — Валериан Иванович выдвинул столешницу и торопливо сунул под бумаги письма Толиного отца — забыл, что они лежат сверху. — На вот, — вынул он из стола и протянул Толе десять рублей. — Отнеси этот залог в библиотеку Севморпути. Там тебе будут выдавать книги. — Губы Валериана Ивановича покривило. — Без залога не дадут. Бери! Чего ты?!

Толя не сразу взял деньги. Он стоял на костылях, упрямо потупившись, а Валериан Иванович стоял с протянутой десяткой. Мальчишка пересилил себя и, чуть слышно сказав спасибо, засунул деньги в карман.

Уходил он словно побитый, скрипя новыми, еще не притертыми костылями. У него на шее отросла косичка — в больнице, видно, не стригли. И меж лопаток, приподнятых костылями, провалилась ситцевая рубаха. Валериан Иванович едва удержался, чтобы не погладить эту худую и почему-то усталую спину. И еще Валериан Иванович думал, что Толя, наверное, на отца мало похож, уж очень раним, порывист, порою жесток, а отец из-за имени ли, из-за склада ли письма представлялся Репнину человеком степенным, рассудительным и мягким.

Валериану Ивановичу боязно было оставаться одно-

му, и он словно гнался за мальчишкой, старался думать о нем, только о нем.

Толя спрятался в раздевалке и долго сидел там на подоконнике, ковыряя ногтем замазку, чувствовал себя в чем-то виноватым, а в чем — разобраться не мог. Прислушался, соскочил с подоконника, вышел в коридор. Навстречу ему, равномерно вскидывая ногу, шагал Борька Клин-голова. Толя прислонил костыли к подоконнику, изловил вспорхнувшую «жошку» и, когда Борька гневно уставился на него, дал ему по широкоскулой морде так, что Борька брякнулся в окно и чуть не вышиб раму.

К удивлению ребят, Борька Клин-голова отквитываться не стал. Ребята подумали: из-за того, что Толька на костылях. Но один Толя знал почему. Это он, Борька Клин-голова, разносит слухи по детдому, треплется о Валериане Ивановиче.

Проныра Маруська Черепанова узрела, что Маргарита Савельевна не заперла сейф. Она, конечно же, добралась до бумаг и прочитала их, в том числе и личное дело Валериана Ивановича, из которого и узнала, что он ссыльный офицер. Борька Клин-голова за обертку от шоколадки выпытал все у Маруськи и поддел в первую очередь Толю, которого все считали любимчиком заведующего.

Маргарите Савельевне, ведающей канцелярскими делами, Толя тоже попенял насчет сейфа. Она, как всегда, испугалась, изругала себя за утерю бдительности. Маруську Черепанову Толя приструнил по-свойски — взял ее за ухо и подержал маленько. Жаловаться Маруська на него не пошла: знала, что рыльце в пушку.

Все как будто хорошо: Борьке Клин-голове дал, воспитательнице выговор сделал, Маруську «воспитал», но никакого успокоения все равно нет. Как же это так? Валериан Иванович, такой вежливый, «постановой», по тети Улиному, такой ко всем ребятам справедливый, и...

Тут же Толя с удивлением подумал, как часто Валериан Иванович повторяет ему слова: «Разберись», или: «Потом разберешься». Парнишке же не потом, а сейчас подавай ответ, готовый, чтобы голову не ломать. Что ж эта самая жизнь — сплошная задача, что ли? А он вот не любит никаких задач, не переваривает математику!

* * *

Пока Толя решал свою задачу, Валериан Иванович, меряя шагами комнату, тоже решал задачу, но уже за себя и за него.

Чтобы ребята, те ребята, которым он отдал всего себя, сделались ему судьями, ему и в голове не приходила никогда такая мысль! И вот... Волей-неволей он пытается оправдаться перед ними, и прежде всего перед этим чувствительным и жестоким мальчишкой, который сдуру сломал себе ногу, а если за ним не доглядывать, и шею себе свернет.

Итак, шомполами он никого не порол, шкур с красноармейцев не сдирал и вообще лично сам никого не убил и не обездолил. Но и царь, и адмирал, которым он верой и правдой служил, лично сами тоже никого не убивали! И тем не менее...

Громкие слова насчет отечества и земли родной, которые он когда-то бросал кудлатому, петушистому следователю, и самому ему казались несколько театральными, и он без смущения и неловкости не мог вспоминать о них.

«Задним умом все мы, русские, богаты! Воистину так», — усмехнулся Валериан Иванович.

«Ну-с, хорошо! Было и быльем поросло», — говорил Ступинский. Как видишь, любезный товарищ, не поросло. Да и вряд ли порастет. Говорят, римский император Нерон уничтожил двести семнадцать человек. Гимназистик он в сравнении с нынешними императорами! А вот поди ж ты, от Римской империи и до наших дней дошел он под именем «кровавый». А мои грехи соответственны моей ординарной персоне: служил, способствовал, заблуждался, хотел российскую казну украсть. Служил кому? Если прямо говорить — врагам своего народа. Способствовал чему? Кровопролитию на своей земле и, как это ни ужасно, в конечном счете сиротству».

Он искупает свою вину!

Но разве есть вина мальчишки в том, что он родился именно у этого отца?

Глупо и вопрос-то ставить так. Глупо и жестоко. Однако он знает людей, которые и вопроса никакого ставить не будут. Им все совершенно ясно на этом неспокойном свете: есть свои и чужие, друзья и враги, люди с кристальной биографией и с подмоченной.

Трудно человеку с подмоченной... Даже если сам он ее не подмачивал, все равно трудно. И он, Валериан Иванович Репнин, человек с подмоченной, сделает все, чтобы мальчишка, его воспитанник, вышел в свет с хорошей, чистой биографией.

Поздней ночью Валериан Иванович сел к столу, обмакнул перо в «непроливашку», помедлил и начал писать:

«Глубокоуважаемый Светозар Семенович!

Действительно, в нашем доме проживает Ваш сын. Он растет хорошим парнем. Больше я ничего Вам о нем не напишу, чтобы не травмировать Вас. Вам и без того...»

«Ишь ведь сочувствие слюнявое, старомодное так и лезет из меня! Разве это человеку нужно?» — Репнин скомкал листок, бросил к печке, и на другом листке побежали ровные буквы. Перо спотыкалось о бумагу:

«Уважаемый Светозар Семенович!

Предчувствие Вас не обмануло. Да, в нашем доме живет Ваш сын. Но прошу Вас больше никогда не напоминать о себе. Так будет лучше. Сочувствую Вам, сожалею, что усугубил Вашу и без того горькую судьбу. Делаю это ради Вашего же сына.

С глубоким, искренним почтением Репнин, заведующий Краесветским детдомом».

Все. Опять проскользнуло это самое сочувствие, но, видно, уж ничего с ним не поделать. Валериан Иванович запечатал письмо в конверт, написал адрес, в котором номеров и цифр было больше, чем слов, и, чтобы не раздумать, не спасовать, среди ночи отправился к ближайшему почтовому ящику, опустил письмо.

Потом брел не зная куда. Возвращаться в детдом не хотелось. И встречаться с ребятами, особенно с Толей, тоже не хотелось. Чувство вины перед мальчишкой не проходило, а, наоборот, усиливалось. Ощущение у него было такое, будто он предал всех ребят, город этот и себя тоже.

«Так надо... так надо... так лучше...» — утешал себя он, но легче от этого не становилось.

«Пусть жизнь рассудит нас, — подумал Валериан Иванович, — и люди пусть рассудят...»

* * *

Все это было уже давненько. В библиотеке Севморпути Толя успел стать своим человеком, и ему давали книжки даже из «особого» какого-то фонда.

Библиотекарь с «капустой» оказался, можно сказать, героической личностью. Был он штурманом и однажды в непогодь полетел на Пясино. Заблудились. Авария. Летчик, что похоронен на площади у Краесветского горсовета, был его большим другом. Из-за могилы этой штурман не может покинуть Краесветск. Вот и торчит в библиотеке: у него отмороженная ступня. На самолеты в окно глядит, и картуз не снимает, и пиджак с эмблемой на рукаве.

Толя тоже рассказывал штурману обо всем, и тот теперь был в курсе детдомовских дел, знал Толиных друзей почти наперечет.

Жизнь детдомовская шла своим чередом от зимы к лету, от лета к зиме. Ребята незаметно для себя взрослели, взрослые люди, воспитывавшие и учившие их, незаметно для себя старели.

И вот в детдоме, в жизни его получился какой-то непонятный сбой. Начался он со смерти Гошки Воробьева, с кражи, с обыска.

Через день после кражи и обыска состоялось спешное совещание в гороно. К удивлению Валериана Ивановича, на совещании этом оказался председатель горисполкома Ступинский. Избрали его председателем не так давно, и потому он везде хотел участвовать сам. Хозяйствование Ступинского почувствовалось в городе. Почти прекратилось повальное строительство времянок и бараков с засыпными стенами, появились планированные улицы и на них двухэтажные капитальные дома. Откопан был в бумагах и пущен в ход проект водопровода, сделанный одним молодым инженером несколько лет назад. Водопровод этот состоял из двух труб, только были они подняты на стояки и уложены в утепленный короб. По одной трубе текла холодная вода, по другой — горячая. Труба с холодной водой не бралась ледяными пробками и не лопалась, потому что ее грела горячая труба.

Дядя Маруськи Черепановой, выездивший на водовозной бочке еще более крепкую справу и хозяйство, чем до раскулачивания, выдавал теперь племяннице на гостинец

не по рублю, а по гривеннику и грозился подрубить водопроводные стояки.

Ступинский, как только сошел с должности коменданта, вскоре женился. Жена его, рамщица с лесозавода, была дочерью переселенца, и многих это сильно озадачило, в том числе и Валериана Ивановича. Он думал — попадет Ступинскому. Но, видимо, обошлось.

«Интересно, зачем Ступинский пожаловал на это «узкое», по выражению Ненилы Романовны, совещание?» — подумал Валериан Иванович. Он не знал, что на этом настояли гороношные руководительницы, дабы придать вес и солидность совещанию.

Валериан Иванович сидел один, на отлете, как бы заранее и добровольно определив себе место подсудимого. Тугие мешки нарывами набрякли под его глазами, но глаза были спокойны и даже чуть сонливы от усталости. Руки неподвижно лежали на коленях. Тяжело опустились глубокие складки от уголков губ до подбородка. И все лицо его, до синевы выбритое, взялось крупными складками.

Докладывала Ненила Романовна Хлобыст. Завгороно Голикова ерзала, подпрыгивала, хмурилась, закатывала глаза и что-то решительными взмахами заносила в блокнот. Она все время делала суровый, начальственный вид. Не знала, стало быть, что никакого «вида» у нее не получалось и никогда не получится, потому что лицо ее плоское и круглое, вроде тарелки, и на эту тарелку, на самую ее середину, высыпаны мелкие предметы: сморщенный, как у мопса, носик, бровки с воробьиное перышко, глазки величиной с горошины, и ниже всего этого решительные усы, ротик гузкой, но тоже решительный.

Ступинский, спросив разрешения у женщин, назвав их при этом не без ехидства дамами, курил, скучно провожая взглядом струи дыма к потолку. Он терпеливо слушал, принимаясь время от времени вертеть перед собою деревянное пресс-папье. Рядом с ним сидела молодая девушка спортивного вида. Валериан Иванович догадался — его замена — и пожалел ее, да и ребят тоже...

— Ненормальная обстановка в детдоме создалась из-за панибратского, какого-то, извиняюсь за выражение, бабьего отношения к воспитанникам со стороны заведующего. Й-я понимаю, — Ненила Романовна сделала значительную паузу, глянула на Голикову. Та важно и утомленно прикрыла глазки: дескать, как это ни прискорбно, но... говорите. — Й-я понимаю, — продолжала Ненила

Романовна, — за плечами Репнина тяжкий груз прошлого, и этот груз не позволяет ему быть крутым с детьми...

— Он отхлестал штанами одного воспитанника по мордс. Паясничал тот... — вставил Ступинский.

— Разве? Я этого не знала! — удивилась Ненила Романовна. — Когда это было?

— Во время обыска.

— Ах, эта ужасная кража! — Ненила Романовна поскорбела лицом, а Голикова важно закивала головой: «Да, да, товарищи, это ужасно!» — Обыск был без меня. Я инспектировала школы, — пояснила Ненила Романовна.

— А ребятня — кассу! — хмыкнул Ступинский. — Продолжайте, продолжайте.

— Я заканчиваю, товарищи, — дрогнувшим от обиды голосом заключила Ненила Романовна. — Надо оздоровить обстановку в детдоме решительным образом, или там откроется резня. В конце концов на нас ляжет пятно, ибо можно опасаться за жизнь школьников и работников детдома!..

Девушка спортивного вида побледнела.

Ступинский, тая улыбку, покачал головой и лукаво, со скрытым смыслом глянул в сторону Репнина.

Валериан Иванович чуть заметно пошевелил усталыми губами, ровно бы улыбнулся ему в ответ.

«Если этим дамочкам власть да волю, — подумал Ступинский, — они устроят смех и горе». Он попросил слова. И, по опыту зная, что на таких говорунов, как Голикова и Хлобыст, нужно как можно меньше тратить слов — в словах они любого одолеют, — прямо и твердо пресек попытку заменить Репнина человеком, только-только закончившем училище.

— Пусть новенькая преподавательница посмотрит, попрактикуется, приобретет опыт и, глядишь, со временем заменит Репнина. А пока рано. Так или нет? — повернулся Ступинский к девушке, сидевшей рядом.

— Да, да, конечно, — поспешно согласилась она, — я вообще не собиралась в детдом. Я же историк. Мне бы в школу... В школу бы мне...

— Вот и отлично, — поддержал ее Ступинский. — В школе у нас учителя перегружены, и вы прибыли как нельзя кстати. А Репнин пусть сам расхлебывает ту кашу, которая у него заварилась. Нечего за него другим...

«Ах ты, борец за справедливость! Хитер, однако, весь-

ма хитер! — удивился Валериан Иванович. — Ишь как ловко вокруг пальца обвел начальшу-то! Чисто сделал, что хотел, и не обидел как будто никого при этом...»

Валериан Иванович покашлял в кулак и поинтересовался, может ли он быть свободным.

Вместе с ним вышел из гороно и Ступинский. Он длинно выругался и плюнул:

— Какие дуры! Какие дуры!.. И таким финтифлюшкам самое ценное доверяют! Ребят, а?

— Я вас не понимаю. Кто доверяет? Не вы разве?

— То-то и оно, что не один я. Будь моя воля, я б их годика два на бирже подержал, на укладку бруса вместе с другими бабами поставил бы. Они б им показали «мэтод»!

— Кто же вам мешает?

— Кто, кто! — сбоку поглядел на Валериана Ивановича Ступинский. — Дедушка пыхто. Негусто у нас специалистов. А этих из области прислали. Добровольцы! Специальное образование имеют обе. Гнать в шею прикажете? Прогнать, так в другой раз фигу с маслом дадут. Потому как считают — укрепили наше гороно. Ну, слава те, сидят они теперь в стороне от ребят и согласно «мэтоду» составляют бумажки, авось их читать в школах не будут. — Ступинский неожиданно сделал выразительный мальчишеский финт ногой. — А при случае мы их на магистраль отправим, на повышение.

— А если заставят?

— Что заставят?

— Бумажки читать, — гнул свое Валериан Иванович.

— Да чего вы все — если да если! Ну, если учителя будут действовать согласно бумажкам, скуку разведут в школах, жизнь засушат. Да все же я верю, что у них своя голова на плечах...

— Н-не знаю, не знаю, — пожевал губами Валериан Иванович. — Есть извечный трепет у русского человека перед казенной бумагой, и если он овладеет душами учителей...

— Опять — если! Если бы да кабы, так в нашем совхозе росли бы бобы... Пойдемте подвезу вас до Старого города. У меня теперь машина в личном, — Ступинский поднял палец, — распоряжении. Знай наших! — За этой бахвалистой шуткой скрывалось смущение — не привык еще Ступинский к разного рода персональным благам и стеснялся окружающих.

Репнин будто и не заметил этого смущения, ворчливо напомнил:

— Пассажирского автобуса, между прочим, до сих в городе нет. Ходят люди из Старого города в Новый в пургу и стужу за три километра...

— Как вас только и выносят ребятишки?! Оборони Бог, какой дедушка-соседушка! — усаживаясь в черную «эмку», снова пошутил Ступинский, но уже невесело пошутил: — А автобусов пока не будет. Четыре грузовые машины переоборудуются в гараже. И за это скажите спасибо. И за это...

— Что ж, благодарю, коли это так необходимо, — произнес Валериан Иванович с едва заметной иронией и за всю дорогу уже не разжимал больше рта, ожидал, когда Ступинский начнет расспрашивать про кражу.

Но и тот тоже молчал, уже, видать, мысленно переключившись на другие свои дела и заботы.

Машина суетливо бежала по деревянной мостовой, подпрыгивала на чурбаках, горбылинах, густо насоренных на дороге. По бокам, тоже подпрыгивая, плыли исполосованные ветрами и потайками, горбатые, туго сбитые сугробы снега. Из-за них ничего не было видно.

Попрощавшись со Ступинским возле управления лесокомбината, Валериан Иванович зашел в прачечную, а затем в горэлектросеть, уточнил там счета и, уже свободный от хозяйственных хлопот и забот на сегодняшний день, полностью отдался мыслям о только что прошедшем совещании. Сейчас, со стороны, все, что происходило в гороно, казалось маленьким, худо кем-то подготовленным спектаклем.

«Орлы кассу обчистили. Люди неповинные из-за этого страдают. По городу снова поползли слушки о детдомовщине, и каждое разбитое стекло, каждый вытащенный кошелек охотно и дружно списываются на детдомовцев, — мрачно рассуждал про себя Валериан Иванович. — Работникам гороно подумать бы о том, как помочь привести в порядок детдомовскую жизнь, некоторых воспитанников выселить бы следовало, остальных к труду приучать бы, а тут гороношный новый «мэтод», рассчитанный на подготовку белоручек и лодырей!»

— М-да, диалектика! — досадливо буркнул Валериан Иванович, медленно двигаясь к детдому по извилистой,

как попало протоптанной ребятишками тропинке. Она то прочеркивала затиснутые снегом кусты, то выбегала на чистину и смирно текла по сверкающему белому снегу, а местами делала бойкие, совсем необязательные загогулины или взбегала на бугорки, приостанавливалась, почти исчезала среди глубокого снега и тут же широким потоком, раскатанным обутками, бежала вниз, потом снова усмирялась и тонко виляла по кустарникам.

Валериан Иванович приостановился на невысоком бугорке, осмотрелся и глубоко вздохнул. От тающего снега наносило огуречным рассолом, а от тальников, уже молодо и свежо поблескивающих, тянуло горьковатой корой, почками, чуть набухшими у рылец. Щекотно в носу у Валериана Ивановича сделалось, он протяжно, громко чихнул, утерся платком, улыбнулся, но тут же прислушался к себе — кольнуло сердце. «Как-то моя личная машина переедет весну? Не сдала бы. Всякой всячины свалилось: Воробьев, кража, письмо Мазова, а тут еще дурочки гороношные». И как это часто случалось, Валериан Иванович вдруг заторопился, безотчетно забеспокоился, предчувствуя, что дома непременно что-нибудь стряслось.

Предчувствие не обмануло его. Только-только он обопнулся дома, едва успел, как говорится, пых перевести — затрещал телефон длинно и заполошно. Звонил директор школы и просил немедленно прийти. По голосу директора Валериан Иванович определил: ничего хорошего в школе его не ждет, и вообще редко его вызывали в школу, если там все было хорошо.

По той же тропинке, но уже быстро, спешил в школу Валериан Иванович, борясь с одышкой и теряясь в догадках. Он начерпал в калоши. Ногам стало тяжело и сыро, да некогда остановиться, вытряхнуть из калош снег. «Хоть бы не поножовщина, хоть бы не кража новая. Аппетит приходит во время еды».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Однажды...

Было это уже после того, как детдом наконец-то определили в постоянное помещение — отдали старое здание четвертой школы, на окраине города, за Волчьим логом, где вроде бы и полагалось быть детдому.

Однажды к дому с лихим разворотом подкатила оленья упряжка. На нарте привязаны ремнями узлы, сундук кованый, корзины, корыто и всякое разное добро. Неизвестно, как лепился на этой нарте каюр с хореем — эвенк в сокуе и бакарях. Он был кругл и неуклюж в меховой одежде. От дыхания пышно оброс куржаком башлык, поблескивали только кругленькие, раскосенькие глазки из куржака. От широколапых оленей валил пар, морды их тоже были в куржаке.

— Где начальник? Давай начальник! Говорку ему сказать хочу, — потребовал эвенк от ребят, высыпавших на улицу.

Пришел Валериан Иванович. Эвенк высунул темную руку в прорезь между пришитой рукавицей и рукавом, поздоровался и зачмокал губами:

— Беда, начальник! Большой беда, бойе*! — и сбросил вроде бы так просто лежавший на нарте сокуй. Под ним, меж узлов, за сундуком хоронилась девочка-подросток, закутанная в большую черную шаль. Она испуганно глянула на Валериана Ивановича, на ребят глазами, в которых стоял крик.

— Говорку тебе надо передать, начальник. Ребенок тепло веди, бойе, — показал приезжий на дом.

Валериан Иванович вынул девочку из узлов и на руках понес в дом. Она не сопротивлялась. Только в глазах ее увеличился крик, расширил их, выдавил зрачки.

— Ну что ты, что ты, детка? — Дрогнув сердцем от взгляда этих глаз, прижал к себе девочку Валериан Иванович. — Бояться не надо.

Девочка рыбиной забилась в его руках, вырвалась и побежала по коридору, молча и неуклюже, оставляя на крашеном полу следы снега. В раздевалке она запряталась в угол и затравленно смотрела оттуда.

— Не надо трогать ее, — сказал ребятам эвенк, оттирая их собою от девочки. — Играть бегайте, учиться бегайте. Я начальнику говорку скажу, — и грустно, почти с мольбой попросил: — Бегайте, бойе!

...Мать девочки, Зины Кондаковой, была артельной мамкой, иначе говоря, стряпкой в рыбацкой бригаде. Бригада эта на зиму съехала со станка — маленького поселка, притулившегося на берегу огромного озера. Мать Зины

---

* *Бойе* — друг, товарищ.

подрядилась караулить артельное имущество до следующей путины.

Из артели остались только два мужика: отец и сын Мартемьяновы. Они заключили договор на промысел песца. Мать Зины Кондаковой за плату обшивала и обмывала этих мужиков, надеясь сколотить деньжат, купить дом в Краесветске и зажить вдвоем с дочкой безбедно. Но поздней осенью заболела она, зачахла и скоро умерла. Мартемьяновы объяснили промысловикам-эвенкам, что загубил ее тяжелый климат Заполярья.

Следом за матерью начала чахнуть Зина.

В маленьком станке спрятать даже самую маленькую тайну невозможно. Да Мартемьяновы не очень-то и скрывали от эвенков, что они приспособили дочь артельной мамки вместо жены. Два запойных, туполобых бродяги, вечно кочующих по стране за фартовыми деньгами, они считали, что эвенков стесняться нечего. Бригадир оленеводов, Селинчир, учился в Краесветской совпартшколе, он знает закон, говорил много Мартемьяновым — так делать нельзя. Закон так делать не разрешает. Мартемьяновы говорили худо про закон, и тогда Селинчир велел связать Мартемьяновых, отвезти их под ружьем в город, а девочку на другой нарте — в хороший дом, где живут ребята.

У Валериана Ивановича волосы зашевелились, когда он выслушал неторопливый рассказ эвенка. Он долго не мог молвить ни слова, а эвенк чмокал губами и покачивал головой:

— Беда, бойе! Какой худой людя живет! Зачем такой людя живет?

— Да есть ли предел человеческой мерзости? — вдруг закричал Валериан Иванович, нелепо воздев к потолку сжатые кулаки.

Эвенк от неожиданности покатился к двери комнаты.

— Господи! — кричал Валериан Иванович. — Господи! За что же детей-то? За что-о-о?

Валериан Иванович со сжатыми кулаками, косо повалился, уронил стул, тумбочку с книгами.

Эвенк стучал зубами, шептал что-то, должно быть, заклятья. Уложив Валериана Ивановича на кровать, тетя Уля увела эвенка с собой на кухню.

Эвенк стянул через голову сокуй, шапку из пыжика и оказался небольшим косолапым парнем в расшитой бисером парке и бакарях. От него пахло рыбой и зверьем.

Тетя Уля хотя и гнула нос на сторону, однако угощала его радушно и вела приличную беседу, не выспрашивая ничего «секретного».

Вскоре на кухню, пошатываясь, вошел Валериан Иванович с пепельно-серым лицом и сказал эвенку, прервавшему чаепитие:

— Простите, пожалуйста.

— Ничива, бойе, ничива, — сочувственно закивал головой эвенк, — сэрсэ слабый, беда большой.

— Ульяна Трофимовна, позовите ко мне старших ребят и девочек. Сюда позовите, — устало попросил Валериан Иванович.

Пришли ребята, и среди них Толя Мазов.

— Анатолий, — все так же устало заговорил Валериан Иванович, — и все вы, ребята, слушайте меня. Слушайте внимательно. Среди вас нет более несчастного человека, чем та девочка, которую привезли сегодня. Она будет жить у нас. Перенесите ее имущество в кладовую. Девочку я пока определю к Ульяне Трофимовне. Потом она перейдет в комнату. И если я узнаю какую-нибудь пакость, я... я... я не отвечаю за себя. Не отвечаю... Вам понятно?

Ребята ответили недружно, однако утвердительно, ничего, впрочем, не понимая. Расспрашивать же заведующего не решались — таким они его еще никогда не видели. Никогда.

Узлы, корзины, сундук ребята стаскивали весело и быстро, кучей свалили добро в кладовую. Девочка, похожая в черной шали на старую галку, все еще таилась меж вешалками, со страхом наблюдая за ребятами. Пытались выманить ее, обедать звали, но она не шевелилась и даже не откликалась.

Эвенк сходил на улицу, принес тяжелый мешок и вывалил из него на пол кухни, как поленья, крупных мерзлых чиров с раскрошенными хвостами и плавниками.

— Тебе, начальник, — с нарочитой бойкостью проговорил эвенк. — Ты хороший людя, однако. — Подумал и несмело попросил: — Жалей девочку, бойе...

Валериан Иванович догадался: эвенк по простоте душевной предлагает ему рыбу вроде подмазки, на подхалимаж пошел ради того, чтобы заведующий был добрее к новенькой девочке. Валериан Иванович грустно усмехнулся, поблагодарил эвенка за рыбу и отдал распоряжение нахмурившейся было тете Уле:

— Сварите на ужин уху, рыбы с остатком хватит на весь дом.

Сам он отправился провожать эвенка, пожал ему на прощанье руку, велел поблагодарить бригадира Селинчира за то, что тот не дал погибнуть сироте, и самого каюра поблагодарил, отчего тот засмущался, пробормотал что-то по-эвенкийски и вдруг заблажил прямо с крыльца на дремно стоявших оленей, продышавших лунки в снегу. Они вскинулись, зашевелились.

— Мод-модо! — кричал эвенк, хореем направляя оленей в нужную ему сторону, и, немножко пробежав за нартой, упал на нее бочком.

Снег взвихрился за нартою, поднялся облаком. Издали, из снежного облака, послышалось:

— Жалей! Свиданя!..

«Если бы дело было только в том, чтобы жалеть, дорогой ты мой бойе, — проводив взглядом упряжку, подумал Репнин и еще долго стоял на холоде, глядя вдаль и ничего там не видя. — Если бы дело было только в этом...»

Как трудно было с Зиной в первые дни и месяцы! Она все забивалась в углы и глядела оттуда с невыносимой затравленностью. Ночью не спала, кричала. Девочки боялись жить с нею в одной комнате. Хорошо, что в доме есть тетя Уля. Она приручила Зину к себе, а потом и к ребятам.

Неожиданно Зина пристала к мастерице на все руки Екатерине Федоровне и жадно перенимала от нее женские ремесла, которыми та владела в совершенстве. В деле Зина и забылась. Она стала хорошо есть, у нее наладился сон, и пришло такое время, когда девочка уже без провожатого пошла в школу, а тетя Уля, наблюдая за нею в окно, вымочила слезами весь казенный фартук.

Но тут в городской газете напечатали заметку из зала суда под названием «Звери». Многие ребята в ту пору газет еще не читали. Маргарита Савельевна номер газеты «Большевик Заполярья» со статьей изъяла и ребятам не показывала. Однако весь Краесветск гудел и пересуживал страшную историю, и ребятам все стало известно, даже с прибавлениями.

Маруська Черепанова — первая разносчица новостей — трудилась в те дни без передыху. Лицо Зины опять потухло, глаза, в которых уже не было крика, опять заселила усталость старого-старого человека.

Зину куда-то вызывали, и даже в детдом приходила

врачиха и запиралась в комнате. А в школе учителя сострадательно относились к Зине и не ставили ей плохих отметок. В тот год она едва-едва перешла в следующий класс, и не перешла, если прямо сказать, перевели ее.

Маргарита Савельевна проявила неслыханную дерзость, хотя работала воспитательницей в детдоме первые дни и всего тут ужасно боялась. Она с недоумением и напором спросила как-то у врачихи:

— Что вы делаете? Это разве человечно? Девочка слезами обливается всякий раз, когда вы уйдете.

Врачиха изумилась, сказала, не такой, мол, цыпе учить ее человечности, однако в детдоме больше не появлялась.

Добро, привезенное эвенком на нарте, лежало то в кладовой, то в сарае, то на чердаке. Добро это должно было сохраняться до совершеннолетия Зины. Но оно частью порастерялось, частью его изъели мыши, и Зина сделалась как все — без «добра». И радовалась этому.

Постепенно забылась заметка в газете, и Зина перешла с последней парты на первую и учиться стала на зависть всему детдому. Ее на доску Почета сфотографировали и в каждой праздничной стенгазете писали: «Берите пример с Кондаковой», «Гордость нашей школы!» — и все такое прочее.

Лицо у Зины тонкое, смуглое, кожа на лице чистая и гладкая-гладкая. У нее уже немножечко торчало под платьем на груди, и потому девочка выглядела взрослее своих лет. Она охотно дежурила на кухне, помогала мыть полы, вязала кружева из ниток, вышивала, починяла рубахи и платьишки ребятишкам, гладила парням праздничные брюки. Она пыталась всем помочь, всем услужить, будто навечно провинилась перед людьми и хотела искупить эту свою вину.

Из-за Зины и получилась драка в школе, потому и вытребовал директор школы Валериана Ивановича.

Вырвался на большой перемене Женька Шорников из класса как угорелый, съехал по отполированному задами брусу лестницы на нижний этаж и хотел уж ринуться дальше, да видит: стоит узкоплечая девчонка со знакомой красивой косой на спине, стоит возле лестницы и плачет. Присмотрелся — Зина. Кондакова Зинка. Беспокойство Женьку охватило — давно уже она не плакала.

— Чего тюнишь? — спросил Женька.

Зина только руки к лицу плотнее прижала. Из-под лестницы высунулась Маруська Черепанова — человек, все знающий и все ведающий. Человек, необходимый детдому и потому в нем появившийся. Когда-то у Маруськи был сильно озноблен нос. Торчал этот нос красной фигушкой среди пухлых и конопатых щек. Да еще совсем отдельно от лица жили ее черненькие, сквозь землю видящие глазки, в которых таился «интерес». Такой «интерес», что, заседая в канцелярии или решая вопрос на кухне, Валериан Иванович на всякий случай кричал: «Марусенька! Быстрей проходи мимо двери!»

Маруська стрельнула по сторонам ушлыми глазками и с придыхом сообщила Женьке Шорникову:

— Ей про нехорошее говорили. Парнишка один начал, а другие тоже взялися...

— Который? — сразу взъерошился Женька. Маруська хотела улизнуть, ее дело сделано, однако Женька сцапал ее, Маруську, за руку и не выпускал. — Показывай, который?

— Вы его бить будуте?

— Говори, выдра! — тряхнул Женька Маруську так, что она едва на ногах удержалась. — Это уж наше дело.

— Вон тот, — показала Маруська на лобастого парня, бегавшего в конце коридора. — Гляди, Женька, у него отец грузчик городского обозу. Си-и-иль-ный, телегу с конем подымат. Мне дядя говорил.

— Положили мы на этого грузчика вместе с конем... — Женька огляделся по сторонам, заметив Мишку Бельмастого и приказал: — Быстро наших! Фрей один к Зинке приставал.

Мишка Бельмастый, полусонный, едва ворочающийся в другое время, сверкнув оловянным глазом, метнулся вверх по лестнице скакуном. Женька подошел к лобастому парню и сквозь зубы процедил:

— Отойдем, потолковать надо...

Парнишка пошел в папу-грузчика, мордаст был, рукаст и росл. Он смерил Женьку уничижительным взглядом и вразвалку пошагал напевая:

Ну что ж, потолкуем, коли надо!
Ну, кому какое дело, коли надо!..

Из-за песенки этой Женька не выдержал до лестницы и смазал парню по морде. Тот сгреб Женьку за рубаху, притянул к себе, но отквитаться не успел. Сыпанула дет-

домовская братва со всех сторон. Затолкали парня под лестницу. Там хранились старые плакаты, ведра уборщиц, древки от знамен. Били парня чем попало. Зинка исступленно кричала:

— Ребяточки, не троньте! Миленькие, не бейте!

На шум прибежал директор школы, сунулся под лестницу. В темноте его не распознали — тарабахнули ведром по голове. Он не отступил, дальше сунулся. Древком знамени добавили. Еле отбил парнишку и, ладно, догадался крикнуть ему:

— Беги отсюда!

Парнишка стриганул зайцем, разбрызгивая кровь на пол, крашенный желтой краской.

— Зверье! — кричал директор на взъерошенных, трясущихся детдомовцев. — Навязались на мою голову! За что вы его?

— За дело! Не ори! — окрысился на него Женька Шорников, смирный вообще-то парень и ученик хороший, а тут его словно подменили, осатанился в драке.

Директор онемел на минуту, а когда опомнился, ни одного детдомовца вокруг, и Женьки Шорникова нет — сгинули. Робко толпились подле лестницы любопытные зеваки, да причитала сторожиха, прибирая инвентарь под лестницей.

— Господи, скотину шелудивую так не бьют, а они своево брата! Совецкого учащего! Ай, звери лютые! Право, звери!..

— Звонок был? — поправляя галстук и вытирая царапину на руке, обратился директор к ученикам. — Почему торчите здесь?

Вернувшись в кабинет, директор раз пять звонил в детдом, и наконец-то Репнин откликнулся. Директор, правда, к той поре уже остыл немного, но все же настоял на своем. Пусть Валериан Иванович отчитается за своих «гавриков». Распустил, понимаешь!.. Воруют, дерутся, на директора руку подняли.

Выслушав директора, Валериан Иванович какое-то время мрачно молчал, затем боднул взглядом:

— Чего же вы от меня хотите?

— Как чего? Это же безобразие!

— Что безобразие?

— Драка, вот что! Вы должны сказать этим, своим...

— Сказать, что за подлость не надо бить? Нет уж, лучше вы сами им об этом скажите, а меня увольте. По моим,

временем утвержденным, понятиям — за подлость надо бить всегда и всех.

— Ну, знаете, Валериан Иванович, — развел руками директор, — рассуждения ваши благородны, слов нет, но вот сейчас прибегут родители того гаденыша, и что я им скажу? Что?

— То и скажите, что их гаденыша били за подлость. Если не поймут, — хуже для них. Это непедагогично, может быть, но я, как вам известно, не педагог...

— Да бросьте вы вечную эту свою песню! Я педагог, директор, а вон шишка на черепе — ваши огрели ведром! — И уже мирно буркнул: — Кормите их здорово, вот они и звереют. Так что же я должен сказать родителям?

— Не знаю. Меня занимает совсем другое. Что я стану делать с Зиной? У нас есть почти бандиты, и те деликатней ваших учащихся оказались. Она вот школу возьмет и бросит. Что делать? Переводить в другую школу? На отшибе от наших ей еще хуже будет. Здесь оставлять? А если еще сыщется такой же? Что делать, спрашиваю я вас? Дома кража. Меня в прокуратуру приглашают на собеседование. А вы тут с родителями... — Валериан Иванович достал платок, промокнул им потный лоб и, сбавив тон, рассудительно прибавил: — Грош им цена, коль с одним не могут справиться! — и с проскользнувшей гордостью за «наших» (а Валериан Иванович про себя всегда переживал, когда детдомовцев где-нибудь побеждали, били) глянул на шишку директора: — Славно поучили, — и тут же заторопился: я, мол, без намеков. — Он теперь оглядываться станет, прежде чем гадость сделать, язык лишний раз не распустит. На всю жизнь запомнит.

— Э-э!.. — махнул рукой директор школы, примачивая из графина шишку на косице. — Толкуй больной с подлекарем! Я ему — стрижено, а он — брито. Нельзя же так, в самом деле. Они вовсе распояшутся. Вы хоть поговорите с ними, взгрейте которых.

— Поговорить я с ними, конечно, поговорю. У нас назревает серьезный разговор. Разрешите откланяться? — Валериан Иванович не удержался, опять глянул на шишку директора и отвел глаза.

— Кланяйтесь. Никак у нас с вами не получается. Логика у вас какая-то...— Директор поискал сравнение и отмахнулся: — А никакой логики. Неразбериха! Анархизм педагогический. Всего доброго.

Когда Репнин с мокрыми калошами в одной руке и с

шапкою в другой проходил мимо шестого класса, дверь сзади приоткрылась и вслед послышался голос Малышка:

— Робя! Варьяныч сердитый, спасу нет! Ой, чё только дома будет?!

* * *

Но ничего не было и потом. Валериан Иванович ходил по дому в серых подшитых валенках, сумрачно посматривал да придирчивей сделался к работникам детдома. Щеки его, впалые от природы, ввалились еще больше. Под крутыми скулами темнела щетина. Он или не мог пробрить ее, или перестал тщательно бриться.

В детдоме витало предчувствие каких-то событий, ну просто пахло ими. Ожидание, томительность взвинчивали ребят, бросали их из края в край: от грусти к веселью, от молчаливости к шуму, от доброты к злобе.

В четвертой комнате веселились. Дружно, не сговариваясь, ребята разделились на голоса, подголоски и «взухивали» песню:

На полочке лежа-а-ал чемода-а-анчик,
На полочке лежал чемода-а-анчик.
На полочке лежа...
На полочке стоя...
На полочке стоя-а-а—ал чемода-а-а-анчик!

Валериан Иванович тихо приоткрыл дверь, вошел в комнату. Тугой волной ударило в него непривычным в этом доме запахом водки и табака. Здесь вроде бы все навечно пропиталось вонью хлорки и карболки, так пропиталось, что к этим запахам казенного помещения жители его настолько привыкли, что даже не замечали их. А тут резануло по носу таким ароматом, хоть ладонью закрывайся. Паралитик, раскачиваясь, дирижировал костылем. Толя Мазов запевал...

— Гражданка, уберите чемода-а-а-анчик!
Гражданка, убери-те чемода-а-анчик!
Гражданка, убери...
Гражданка, чемода...
Гражданка, убери-те чемода-а-анчик!

Пели здорово. Паралитик сиял и размахивал костылем. Голоса у него не было вовсе, и потому он затесался в дирижеры. Валериан Иванович слушал, нюхал. Его не за-

мечали. Лишь ломче на поворотах сделался голос Толи Мазова и нахальней чеканился припев:

А я его выброшу в око-о-ошко!
А я его выброшу в око-о-ошко!
А я его вы...
А я его бро...
А я его выброшу в око-о-о-шко!

— Где вы взяли деньги на водку? — громко спросил Валериан Иванович, вклинившись в песню. «Хор» недовольно смолк. Один Малышок еще тихонько повторял, увлекшись: «А я его вы... А я его бро...»

Кинув костыль с вырезанными на нем письменами под мышку, Паралитик прошелся по комнате и весело подмигнул компании:

— Деньги-то? На водку-то? Шли, шли, шли — и кошелек нашли.

— Пофартило! — восторженно поддакнул Борька Клинголова и обвел лукавым, хмельным взглядом ребят. — Купил, нашел — едва ушел, хотел деньги отдать, да не могли догнать!...

Сдержанный смешок прокатился по комнате. Паралитик философски закатил глаза, собираясь пуститься в рассуждения, но проворный Попик, хвативший больше других, сломал комедию и, обращаясь к ребятам, только к ребятам, выкрикнул:

Робятё, робятё,
Где вы деньги беретё?
Вы, наверно, робятё,
По карманам шаритё.

Ох, как хотелось дать по стриженому затылку этому парнишке с продувной рожицей и всем этим гулеванам, с тайной радостью ждущим скандала! Но этой радости Валериан Иванович им не доставил.

— Если я еще хоть раз замечу в детдоме пьяных, ты будешь в три шеи вытурен отсюда, — бесцеремонно объявил он Паралитику. — Ясно?

— А почему я? — изумился Паралитик, нагоняя на себя возмущение.

Валериан Иванович уже не слушал его.

— Мазов, зайдешь ко мне вечером. Нужен. Попов, отправляйся колоть дрова, а ты, артист, тоже займешься полезным физическим трудом, — махнул он Борьке Клинголове. — Остальным прибраться в комнате, проветрить

ее. Пахнет, как в кабаке! И спать! Еще одна попойка — и я расселю эту резвую компанию!

Веселье было нарушено. Вслед Валериану Ивановичу Паралитик с вызовом пролаял:

Гад я буду, не забуду этот паровоз!
Тот, который чи-чи-чи-чи...
Чимодан увез!..

Но подхватили «Паровоз» недружно, и никуда он не увез. Валериан Иванович вернулся, недобро глянул на Паралитика, развалившегося на кровати, и вдруг громко рявкнул:

— Встать!

Паралитик, стукнув костылем, подпрыгнул. Заведующий показал ему на дверь. Паралитик мелко-мелко, по возможности негромко, зачастил костылем и только в коридоре опамятовался, зашипел:

— Раскомандовался, понимаешь! Шибко испугалися! — однако убрался с глаз долой.

— Ульяна Трофимовна, сейчас к вам придут два песельника, заставьте их колоть дрова до самого вечера. Те лиственные чурки, которые с прошлого года валяются. И чтоб не отлынивали!

— У меня не больно отлынят, — заверила его тетя Уля. — Ишь ведь сопляки! Выпили на грош, на рупь ломаются! Ну сопляки-и!

— Вы об этом особенно не шумите.

— Да чего шуметь-то? Весь дом знает. Затаились и ждут потехи. В старое время вожжами бы, язвило бы их...

— Сейчас вожжами нельзя. Гороно велит воспитывать по новому методу, индивидуальные беседы и хоровое пение рекомендует, — мрачно пошутил Валериан Иванович. Заметив, что шуткой своей он не развеселил тетю Улю, сказал уже серьезно: — Не давайте тут вольничать, особенно тем, из четвертой. Я в милицию пойду, за детишками кассирши.

— Иди, Иванович, иди, чего поделаешь? Может, Бог даст, все обойдется. — И, понизив голос, добавила: — Больше на мово землячка жми, на запевалу-то сопливого. Он возворотит деньги. Я знаю его. Он характерный, но и понятлив тоже...

— Добро. Попробую, — согласился Валериан Иванович, а тетя Уля, приметив поблизости Маруську Черепанову, уже нарочито громко, с неумелым притворством продолжала:

— У меня не больно забалуются. Я чуть чего — и огрею... Не больно у меня-то...

Валериан Иванович тихо улыбнулся. Он знал: попадало ребятам от тети Ули и черпаком и поварешкой, а чаще веником или полотенцем. Но никто не обижался на нее. «Рукоприкладство» тети Ули как-то всерьез не воспринималось. Ребята даже вроде бы радеховньки были, если им попадало. А попробуй-ка кто-нибудь другой тронь! Возмущение будет. Бунт. Есть откажутся. И слушаются ребята тетю Улю больше и подчиняются охотней, чем Маргарите Савельевне. А уж как Маргарита Савельевна старается, как старается, но слаба она характером для таких ребят. Подлаживается под них, угождает им, а делать это, оказывается, надо с осторожностью и умением. Нельзя ребятам показывать никакой слабинки. Они тут же воспользуются ею и потом уж никогда не забудут, на чем можно «купить» или обвести старшего. Они тоже по-своему борются со слабостями людей.

«М-да, а дирижера этого с костылем все-таки придется отправлять с первым пароходом, — думал Валериан Иванович, шагая в милицию. — И Демешкова тоже. А тех архаровцев, что с ними приехали, ребята воспитывать будут. И воспитают, сами того не заметив».

Воздух был синеват, студен и резок. После нудного, застоялого духа карболки на улице дышалось так, что даже кружило голову. Воздух ощутимыми толчками бил в грудь, приятно бодрил и тревожил.

В логу подняло снег. Наверх пробило рыжеватую пену. Табуном линяющих куропаток она ползла, шевелилась по всей низине. На протоке, в устье лога, затемнела узкая промоина. В ней плавал мусор, обрезь досок — торец, как его зовут в городе, а у самого уреза воды светилась фиолетовая пленка мазута. Из промытого льда торчали угрюмые, замытые сваи. Протока сделалась проплешистой. Снег на ней почти съело, и она взялась лишаями. Но на острове снег лежал в непорочной белизне, широко и уверенно. До ледохода было еще далеко. Еще не раз и не два зазимок ударит, хотя, падая в промоину, и пошумливает под снегом пробравшийся по логу ручей, и солнце слепит в середине дня. Однако нет в нем ярости, нет еще силы. Игры в нем больше, чем работы. От игры этой нарушен ход природы, и оттого она вроде бы сбилась с ноги, кругом ощущалось замешательство.

Детей Валериану Ивановичу выдал под расписку де-

журный милиции, сидевший за деревянным барьером. Заведующий взял мальчика Аркашку и девочку Наташку, дошкольницу, за руки и вышел с ними из дежурки с коричневыми тесаными стенами, на одной из которых сиротливо висел вырезанный из журнала пейзаж Левитана «Золотая осень».

Нетрудно было заметить, с каким облегчением покинули дети прокуренное и проматеренное насквозь помещение. На улице был полдень. Много солнца. Некоторые горожане, торопя весну, надели очки, хотя сгорающий снег слепил еще не очень больно и вредно. Девочка отняла руку, заметив на вытаявших досках тротуара мелом нарисованные «классы», и запрыгала по ним. Бомбошка на шапочке ее каталась по голове смешно и весело. Под ногами девочки заговорил и запрыгал много раз латанный пестрый тротуар. Мальчик был серьезен. Он спросил, куда их с сестрою ведут. И Валериан Иванович чуть было по привычке не сказал: «Домой», но дети могли понять его неправильно, и он проговорил:

— В детдом, дети, в детдом.

Аркашка и Наташка разом присмирели, однако шли покорно. За логом вдруг оглянулись, будто прощались с городом, и Валериану Ивановичу показалось, что лица у детей в эту минуту были совершенно взрослыми.

— Ничего, Натка, — вдруг заговорил Аркашка. — Мы ведь не насовсем. Маму скоро выпустят, говорили.

«М-да, разговоры дошкольного возраста. Вот тут и попробуй упаси их, сделай, чтоб они меньше видели и знали. У взрослых аукнется — на детях откликнется. Хорошо бы тем, кто решает мировые дела и судьбы людей, поработать в детдоме или в школе, прежде чем решать их, эти дела».

— Ты в какой школе учишься, Аркаша? — спросил Валериан Иванович, чтобы как-то отвлечься самому и отвлечь детей, робеющих все больше и больше.

— В тринадцатой. А книжки у меня дома остались. И Наташкины тоже. У нее букварь есть. Мама купила. Я схожу. Можно?

«Мама, мама... — повторил за мальчиком Валериан Иванович. — Трудно, видимо, отвыкать от этого слова. И кто смеет отучать детей от него? Ах, негодяи, негодяи! Знали бы, ведали, что творят!..»

— За книжками и тетрадками ты сходишь. Букварь Наташин можешь не приносить. У нас буквари есть. А

игрушки прихвати. — Валериан Иванович хотел сказать Аркашке о том, что переведут его в четвертую школу, где учатся детдомовцы. Не сказал. Пусть мальчишка ходит в тринадцатую, в свой класс. И пусть надеется, пока возможно. Может быть, и в самом деле все обойдется. «Во всяком разе, я шеи посворачиваю воспитанникам своим дорогим, но мать ребятам верну!» — дал он себе слово.

Осторожно, как по каткому льду, шли Аркашка с сестрой впереди Валериана Ивановича по детдомовскому коридору, пугливо втягивая головы в плечи. Пока Валериан Иванович доставал ключ и открывал дверь, они стояли, прислонившись к стене. И откуда эта привычка даже у маленьких детей — стоять к стене спиной в минуты любой опасности?

Войдя в комнату, Репнин перво-наперво открыл форточку, велел ребятам раздеться. Из-под шапочки возникла жидковолосая челочка, и лицо девочки с зелеными глазами сделалось совсем шаловливым. Аркашка был в вельветовой курточке с замком-«молнией» — редкой вещью по тем временам — и в неумело, через край подшитых валенках, с которых натекло на половичок. Волосы у Аркашки рыжеваты, жестки, взгляд синеватых глаз строг и прям, губы сжаты.

Этот малый человек уже умел чувствовать беду.

Валериан Иванович велел Аркашке снять валенки и дал ему свои покоробленные кожаные сандалии. Наташка была в сереньких ботиках со шнурками.

— А я не наследи-ила, — пропела она.

Потрепав ее по голове, Валериан Иванович выглянул в коридор. Борька Клин-голова шел, увлеченно подпинывая «жошку».

Валериан Иванович поймал вспорхнувшую в воздухе «жощку» и приказал очнувшемуся Борьке Клин-голове срочно позвать Мазова.

Борька Клин-голова почесался:

— А «жошку» отдадите?..

— Я, кажется, велел позвать Мазова!

Борька Клин-голова засвистел мотивчик песни и вразвалку отправился выполнять приказ заведующего. «Эк ведь его! Шагу ступить без фокусов не в силах», — сморщился Валериан Иванович.

Толя Мазов вздрогнул, когда ему передали, чтоб он шел в «канцелярию», к заведующему.

С тех пор как Валериан Иванович сказал, чтобы он

зашел к нему вечером, Толя томился. Угадывал, что разговор будет, конечно, о деньгах, и боялся этого разговора. Думал, может, заведующий как-то забудет о нем, а тот, как видно, не забыл.

Толя протиснулся в комнату Валериана Ивановича и увидел девочку и мальчика, сидевших рядышком на стульях. И непонятное беспокойство пахлынуло на него. Девочка болтала ногами и крошила зубами печенинку. Мальчик держал печенье в руке, и оно совсем уже размякло в отпотевшей ладони.

Толя забыл поздороваться, ждал, поправляя рубаху, что скажет заведующий.

— Вот, — не поворачивая головы к Толе, что-то вытаскивая из ящика письменного стола, мотнул головой Валериан Иванович. — Это дети той женщины, кассирши из бани, у которой вы украли на пропой деньги.

Удивленно поглядел на Валериана Ивановича Аркашка, перевел взгляд на Толю, и лицо его вспыхнуло. Он опустил глаза, а сестра его все так же беззаботно болтала ногами и доедала печенинку. Брат незаметно положил на подол ее платья два кружочка, и глаза Наташки радостно заблестели. Девочка захлопала в ладошки, да так и застыла с поднятыми руками. Она обвела всех виноватым взглядом, медленно опустила руки и присмирела.

Толя стоял, как на суде, — руки по швам. Валериан Иванович был туча тучей, нервно пошвыривал какие-то бумаги на столе.

— Дети, Аркаша и Наташа, будут временно жить у нас, — жестко и медленно заговорил он наконец, давая Толе время уяснить смысл его слов. — М-да, поживут. До тех пор, пока не сыщутся деньги. — И уже совершенно будничпо, деловито закончил: — Они еще очень малы. Им присмотр нужен. Ты будешь им за...

— Вы — захлебнулся от разом вспыхнувшей ярости Толя. — Ну вы и... Смеетесь, да? Насмехаетесь? Я...

Толя выскочил из комнаты заведующего, свирепо саданул дверью. Ругаясь сквозь стиснутые зубы, заметался он по детдому и дал одному подвернувшемуся парнишке пинка. Тот горестно завыл и отправился искать Маргариту Савельевну, чтоб пожаловаться ей. Не принято было у старших ребят трогать малышей, и шкету этому, видать, не столько уж больно было, сколько обидно. «Изнежились, заразы! — ругался Толя. — Тронуть нельзя!

И чего это все вверх тормашками пошло?! А Валери-

ан-то Иванович? Вот ехидный, так ехидный! А я сам-то? Хорош! Чего наделали?! Чего наделали?!»

Вдали все еще завывал парнишка. Его окружили малыши, о чем-то расспрашивали, со злостью поглядывая в сторону Толи, затем гурьбой отправились в красный уголок и втолкнули туда парнишку, который из последних сил выжимал слезы и прибавлял голосу. Сейчас «воспиталка» заведет: «Вы, старшие, должны пример подавать, а вы...» Тьфу! Уходить надо, скрываться!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

У Толи было в характере: чуть что неладно — из дома долой, хоть в злобе, хоть в тоске, на улицу, к реке, в лес. И там, в одиночестве, он чаще всего успокаивался либо совсем уж погружался во мрак и делался невыносимо вредным, злым, досаждал кому только мог.

Лес, или то, что называлось лесом, начинался тут же, за последним бараком. Хилый северный лес, прореженный топорами и пилами, и ветру-то негде заблудиться, немножко отряхнулся от снега. По вершинкам низких елок прошли лыжни. Одна елка так и держала на вершинке кусочек лыжни, будто обломок рельса. С нее катились капли. Кедрачи над рекою стояли по-зимнему тихие и сонные, завязив в сугробах лапы. Строгие деревья, много перетерпевшие перед тем, как прижиться в Заполярье, они не заигрывали с ранней весной. Они терпеливо ждали устойчивого тепла. И птиц перелетных не было — первый признак того, что зима побалуется-побалуется и выдохнет: «Ш-ша!» И понесет снег и упрячет за ночь все, что успела сделать весна за месяц. Да и какая это весна! Баловство одно! Одно баловство!

Баловство. Ничего хорошего от него нет. Вон в детдоме появились новички. Ну и что же? Разве мало пришло новичков с тех пор, как Толя оказался здесь? Почти все пришли при нем. И обжились и называют домом. Но те все пришли, как им полагается. Кто-то осиротил их, или же волей судьбы они сделались сиротами. А эти...

Девочка и мальчик. Брат и сестра. Они жили и жили где-то с матерью — и вот. Зачем же так получилось? Из-за денег. Из-за восьмисот рублей. Трое людей, три человека живьем страдают. А сколько осталось денег? Водку

пили. Конфеты ели шоколадные. Папиросы курили «Казбек». И за все эти штуки кто-то расплачивается: трудом, тюрьмой, слезами. Да-а, а казалось все просто: взяли денежки — и веселись себе, гужуйся!

Вечерело. Солнце затуманилось в небе. Вокруг него пеленался туман. Проталины испуганно парили. Лес молчал. Птиц не было. Они еще не прилетели. Птицы знают, когда им надо прилетать. Они зря ничего не делают. У них жизнь веселая, но серьезная. Они не балуются.

Нет, сегодня и в лесу не было покоя. Толя пошел, а потом побежал из леса на биржу. Бродил меж штабелей, свернул к лесозаводу и долго стоял, наблюдая, как пилорама взлетала и опускалась, распарывая деревья, подъезжающие к ней на транспортере. Медленно подъезжает бревно, неохотно. Нервно подрагивая, проходит оно без остановки сквозь пилы. Доится струя в несколько ниток, и внизу поднимается сдобная желтая груда опилок.

Вот и все.

Бревно как будто расчерчено толстыми карандашами, и от него отваливаются длинными пшеничными ломтями горбыли, катятся по мерзлым желобам вниз. Под горбылями обозначаются в золотых прожилках шершавые плахи, и едут они на транспортере дальше, в длинные, насквозь пропитанные деревом и продутые ветром цехи. Там их сортируют баграми и крюками туда-сюда и распределяют по участкам биржи. А на бирже — в штабеля.

Это и есть та самая продукция, ради которой из-за моря-океана приходят в Краесветск иностранные и наши корабли. Говорят, за вес такой доски иностранные буржуи дают нам такой же вес сахара или чего еще. Вес на вес. Толя этому верит. И все ребята верят, потому что зовут краесветский пиломатериал золотым. Толя сам видел, как старый бракер на морпричалах погладил рукою пачку досок, поднимающуюся на иностранный корабль, и прищелкнул языком: «Земляница — не доска! — и со вздохом пошутил: — Сам бы ел, да деньги надо!»

Как его пилят, как он получается, этот пиломатериал, можно смотреть часами. Но смотреть уже было невмоготу. Замерз Толя. Подался в кочегарку к Ибрагиму, к тому самому Ибрагиму, что жил когда-то в сушилке и помогал вытаскивать мертвого прадеда. Звали карачаевца не Ибрагимом, а как-то по-другому. Но всех кавказцев кличут Ибрагимами. И сами люди настолько привыкают к этому, что порой забывают собственное имя. Ибрагим его тоже

забыл. И когда во время получки кассир выкликал его: Акбар-Мамед-Оглы Мамедов, он даже и к окошку не сразу шел, полагая, что кричат кого-то другого.

— А, Толя! — улыбнулся Ибрагим беззубым ртом. — Как живешь, дарагуй! Садысь катлу. У меня здесь Капкас! Кушить хочишь? Хлеб есть, сахар есть. Кипяток берем катла. Павар-рачиваем эта гайка, и вада гар-рачий — пажалста! Садысь, дарагуй!

У Ибрагима умерли в сушилке все родные. Он остался один. Остался потому, что был молодой, очень молодой, белозубый, подвижный. И еще потому, что первые зимы работал кочегаром в столовой. Теперь он живет в общежитии. Зубы белые его давно выпали от цинги, и сколько ему лет — трудно сказать. Может, двадцать, а может, сорок. Лицо Ибрагима испеклось в кочегарке. Разговаривать ему не с кем. В общежитии много русских парней и девушек, а карачаевец он один, и, кроме того, все его считают гораздо старше себя, и потому он живет наособинку, как те мужики и старики, коим доводится мыкать дни свои в молодежных общежитиях. Ибрагим радуется, когда к нему заходит Толя. Он считает мальчишку своим человеком. Угощает его, потчует. Ибрагим любит угощать и разговаривать.

— Пачиму такой гурусный? Веселый всегда, теперь гурусный? Можит, болизи? Можит, тоскуешь родину? Я весной тоскую родину.

— Что такое родина, дядя Ибрагим?

— Родина? Родина — где родился. Понятно говорю?

— Понятно, дядя Ибрагим. А где ты родился, дядя Ибрагим? — Толе, конечно, заранее известен ответ, но Ибрагиму так приятно говорить на эту тему.

— Капкас родился.

— Я знаю Кавказ. По географии проходили.

— Шту география? Шту география? — задумчиво протянул Ибрагим и уставился в топку на бушующий огонь. — Шту можит знат география о Капкас? Ты куший, куший, Толя. Куший...

— А это верно, дядя Ибрагим, будто у вас там все ходят с кинжалами и режут кого попадя?

Ибрагим ответил не сразу, постоял, поглядел на пламя, шарахающееся в яростной утробе топки:

— Кто режит, кто землю пашит, кукурузу убираит, овцы пасет. У меня кынжал не был, суровна сказали — резал, и однову брат — одну сторону, меня, отсы, мать —

другу сторону. Ты ешь, Толя, куший. Пачиму мало ходишь? Я тебе сердцем привет даю... — Он приложил руку к груди, но тут же смешался. — У меня весело — огонь. Много огонь, правда?

— Правда. На огонь глядишь, и думать хочется, да?

— Да, Толя, думать. Я муного думаю. Капкас думаю. Ты о чем?

— Я? — Толя закусил губу, тоже уставился на огонь и так, не отрывая взгляда от пламени, тихим голосом, как будто говорил с огнем, рассказал все.

Ибрагим какое-то время стоял с открытым ртом, ровно бы захлебнулся дымом, и вдруг загремел лопатой, дрова принялся швырять в печку.

— Ах, разбуйнык! Без кынжала резал человека! Дети где? Тебе шту директур гаварил? Деньги отдайте милисыо. Отдайте жизн тому женщина! Мало им слез! Мало им горя! Беги! Ибрагим лопатой можит.

Толя выскочил из кочегарки и помчался во весь дух с биржи. Никогда он еще не видел Ибрагима таким и никогда еще не уходил от него с такой тяжестью на душе, а, наоборот, бывало всегда светло и сладостно-грустно после посещения кочегарки, где много огня, много своего, какого-то таинственного и душевного уюта, где котел казался огромным, усмиренным Змеем Горынычем, в пасть которого дядя Ибрагим толкал и толкал деревянную пищу.

Детдом уже спал. Толя осторожно пробрался в четвертую комнату. В ней сделалось как будто теснее. Он осмотрелся и обнаружил рядом со своей кроватью еще одну кровать. Подошел ближе. На кровати под одеялом лежали Аркашка и Наташка. Он приподнял одеяло, простыню — пятна на простыне не было; не успели подлить ребятишкам чаю. Это первая, самая легкая «обновиловка»: налить чаю и дразнить «мокрухою».

— Чего тебе? — грозно спросил мальчишка, поднимая голову и загораживая рукою сестренку. Значит, он еще не спал и, видимо, спать не собирался.

— Ничего. Спи давай. Все спят, и ты спи. Не бойся.

— А я и не боюсь.

— Тебя как звать?

— Аркашкой.

— Верно. Валериан Иванович ведь говорил. А меня Толькой зовут. Спи давай и не бойся.

Мальчик затих. По окну шуршало, подрагивали рамы, начиналась пурга, весенняя, короткая, но зато уж снего-

вальная. Женька простонал во сне, бормотнул что-то, как косач на току, и затих.

— Вы зачем украли у мамы деньги? — приподнялся мальчишка на кровати.

— Ну, ты! — прошипел на него Толя.

Окно все шорохтело, за ним начинало посвистывать и подвывать. Загудели провода на столбе, и хрустнуло в невыключенном репродукторе. Толя, закинув руки за голову и заранее проникаясь жалостью, представил, как одиноко бредет какой-нибудь человек в этой ночи, в белой, разгорающейся замяти, и как дымится пока еще легким дымком каждый бугорок, каждая застружина, и как начинает он замерзать, одинокий этот человек, погружаясь в белый сон.

В коридоре или на чердаке что-то стукнуло. Толя очнулся, и обжигая босые ноги о холодный пол, просеменил к кровати Малышка. В полумраке он чувствовал следящие глаза Аркашки. Мимоходом Толя дернул за ногу Женьку Шорникова. Тот вскочил, не открывая глаз, нащупал ногами валенки. Толя прикоснулся к руке Малышка. Рука была спокойна. Малышок спал, улыбаясь узкой прорезью рта.

Возвратился Женька, юркнул в постель, промычал что-то и свернулся, натягивая на ухо одеяло. Малышок спал. У него бывали такие ночи, когда он не лунатил.

Зажав голову руками, сидел Толя на кровати Малышка. Ему неодолимо хотелось разбудить всех. «Да чего же вы спите-то? — заорать. — Плохо мне, страшно!»

И оттого, что орать он не мог, не имел права, а сам по себе никто не просыпался и ни о чем его не спрашивал, не сочувствовал ему, Толя схватил штаны и, натягивая их, с досады не попадая ногой в штанину, с клекотом нервно прохохотал:

— Спят! Хоть провались, сдохни хоть — спят! Это мне, падле, не спится! Мне больше всех надо! — Он рывком надел штаны, рубаху, валенки, и стало нечего делать.

Он прокрался в коридор.

Никого.

Блестит мытый пол в широком коридоре. На полу кресты от рам качаются. Разносится по коридору противный запах хлорки. Днем он почему-то меньше слышен. Уборная там, за поворотом коридора, почти против комнаты Валериана Ивановича. Первая теплая уборная с тех пор, как Толя попал в детдом. Прежде все в бараках ютились.

Прежде и детдома-то не было, а детприемник был, и жили как на пристани, ожидая постоянной отправки на магистраль. Это уж потом стало как дома, и помещение вот доброе получили. Жить в нем можно, хорошо в нем. Комнаты светлые, уборная теплая, а то на мороз выбегать надо было.

Да, все это прекрасно: дом, комнаты и так далее. Но нужно идти, куда пошел. Нужно! Необходимо!

Толя убрал кии с бильярда, прислонил их к подоконнику, шарики ладонями в треугольник согнал, прислушался — кошка на кухне орет. Пошел, выпустил кошку, хотел ее погладить, пошептаться с ней, но кошка в детдоме пуганая, прыжком ушла в темный угол.

Все-таки надо идти.

Тихо как. И никого нет.

Никого.

На цыпочках прокрался Толя в раздевалку. Западня на чердак в раздевалке. Он приподнял ее, подождал, пока осыплются земля и опилки. Придерживая западню, проскользнул в темную, дующую холодом дыру. На чердаке завывало. По стропилам снова прочеркнуло полосами снега. В трубах гудело. Пахло пылью и Зинкиным истлевшим добром, раскиданным по всему чердаку. Нога наткнулась на что-то мягкое. Толя отпрянул в сторону, зачиркал спичками. Огонек заколебался, подпрыгнул и погас. Под ногами старый олений сокуй, изрезанный ребятами на «жошки» и разную другую потребу: новогодние бороды и усы Деду Морозу, хвост лисе, уши волку — мех везде нужен, вот и разодрали сокуй.

Еще зажег спичку Толя. Вот она, труба, которая требуется. Он на ощупь пошел к ней, на ощупь же нашарил и кирпич, тот, за которым сверток. Но прежде чем решиться вынуть кирпич и перепрятать деньги, сделать перетырку, как говорят ребята, Толя присел на холодную слегу, сгорбился, задумался.

Белый снег на стропилах или чердачная глушь напомнили ему белую, яснолицую, вечно что-то шепчущую прабабушку Антонину, мученицу за семью мазовских, как звали ее на селе. Когда всю ораву Мазовых выселили из большого дома и жили мазовские у каких-то родственников, Толю все равно тянуло почему-то к старому дому. Однажды он забрел в огород, спускающийся задним пряслом к реке, заросший донником, коноплей, жалицей и краснолистой огневкой.

В огороде было убрано, и оттого он казался необычайно просторным. На межах через силу бодрился чертополох, соря пушистое семя, жабрей звенел сухими колючками, и репейник липучий цеплялся за штаны. На репейнике висели пестренькие щеглы. В бороздах между гряд белело. Капустные кочерыжки с одним-двумя листами присолены инеем. В углу огорода баня, до дернового верха захлестнутая бурьяном. Она темнела зевом распахнутой в предбаннике двери.

Толя пошел к бане по хрустящей от ледка борозде и увидел хилую морковную прядку в земле. Морковь вытягивали наспех, за космы, и не вся она выдернулась. Толя покопался в холодной земле, уже схваченной корочкой, и вынул потную морковку с бледным хвостиком. Мальчишка так почему-то обрадовался ей, что сейчас же откусил сморщенный конец морковки, в заусеницах которой темнели полоски земли. Морковка оказалась до того студеной, что заломило зубы.

Тут, на огороде, и сыскала Толю прабабушка Антонина. Она вытерла морковку передником, выдавила мальчишке нос, погрела дыхом его руки. Мальчик обнаружил, что по блеклому лицу прабабушки, из несостарившихся, чистых глаз как-то сами собой катились слезы, катились на шею, на суконную мужскую тужурку, кругло катились, как сок из подрубленной березы.

Толя взял и тоже заплакал.

— Ну, а ты-то чего ревешь? — спросила прабабушка Антонина. — Я родное гнездо обревливаю. Твое гнездо другое будет. Дай Бог, не такое, где люди людей изводят, где грыжу да надсаду добывают...

Она открыла дверь в баню, посреди которой стояла шайка с мыльной водой, забрала с окошка лампу без стекла, серо-коричневый обмылок, приперла дверь предбанника батожком, и они побрели с осеннего, ровно бы состарившегося огорода...

Прабабушка Антонина хотела умереть дома и убралась на тот свет той же осенью, следом за матерью Толи...

Толя замерз, вскинулся. И не стало огорода с белыми бороздами, седенькой старушки, бурьяна, потрескивающего на ветру, грустно почиркивающих щеглов.

Глухой, темный чердак остался, снежные полосы по слегам и поскрипывающий от ветра скелет дома. Ветер был тоже одинок, холоден и бездушен. Толя поднялся, вынул кирпич, опустил его к ногам. Зажег спичку, вытя-

нул за бечевку сверток. Стряхнул со свертка пыль и сажу, засунул его за пазуху, а кирпич вставил на место. Сам отряхнулся, постоял, успокаиваясь. Словно во вспышке зарницы увидел он еще раз прабабушку Антонину, пустынный осенний огород, низкое небо со снеговыми тучами и спустился с чердака.

Прошмыгнув в уборную, он при свете мерклой лампочки стал считать деньги. Пересчитал. Еще раз пересчитал и уронил руки. Осталось триста восемьдесять рублей. Быстро же разлетелись денежки! А может, Паралитик ополовинил? Деменкову еще отдал? От Деменкова назад ничего не получишь! Бесполезное дело!

В уборной у Толи была своя древняя заначка, под плинтусом, выеденным крысами. Он отогнул ногой треугольник плинтуса и засунул в крысиную норку сверток. Крыс уже давно перевели и исказнили ребята, а нора осталась, и знает ее один Толя. Он — старожил. А у всякого старожила есть свои тайны, свои заначки, свои печали и радости... Плинтус, спружинив, щелкнул. Толя стукнул по нему ногой, подгреб в угол комья серой хлорки, без нормы насыпанной уборщией.

В дверь уборной внятно постучали. Толя расстегнул штаны и, придерживая их, откинул крючок. За дверью стоял Валериан Иванович.

— Ты чего, Анатолий, закрываешься? Ночь ведь, — строго и внимательно всматриваясь в лицо Толи, спросил Валериан Иванович.

— С животом у меня неладно, — буркнул заранее придуманное Толя и отвел глаза, но тут же скорчился, заспешил к очку.

Репнин притворил дверь уборной, прошаркав валенками, ушел к себе. Он странно ходил последнее время — будто не ноги его носили, а он их.

Толя затянул ремешок, постоял с минуту и на цыпочках пробрался в свою четвертую комнату. Все он делал как-то автоматически точно, строго.

Он знал, на что шел.

Внутри его появилась окаменелость, из которой сочился медленный, тонюсенький ключик. В сердце накатывали перебои, становилось то жарко, то ознобом пробирало. Но далеко-далеко все это, будто внутри другого человека свершалось.

Толя разделся, опустился на кровать.

— Арканя, ты спишь?

Мальчик не ответил. Толя прислушался. Малышок не шуршал простынями. Удивительно спокойно спал он сегодня. Выходной, значит.

Не притаился ли?

Толя закрыл глаза, распружиниваясь, громко, длинно выдохнул — и сразу отпустило, разжалось что-то в нем там, внутри. Его затрясло, заколотило, и снова сделались слышны все перепутанные запахи большого дома: сырых валенок, преющих от сырости половиц и опилок, насыпанных в завалины и меж рамами. Сверх того козырьем все крыла вонь карболки и едва доплывающий сюда сверлящий дух хлорки. Толя кутался в одеяло, в простыню, набросил на себя еще пальтишко — дрожь никак не унималась, и запах хлорки никак не исчезал.

Наутро он прокрался в умывальник и, стараясь не бренчать увесистым соском, с мылом вымыл руки.

Тетя Уля уже растапливала плиту на кухне, курила и кашляла. Она выглянула в дверь, заметила Толю. И он ее заметил, остановился и вдруг смело сказал, глядя на дымящую папиросу:

— Дайте покурить, тетя Уля!

— Я вот тебе дам! Так дам, что своих не узнаешь!..

— Пожалуйста, теть Уля!

Тетя Уля втолкнула его в кухню, двинула табуретку и достала из кармана фартука пачку дешевеньких папирос.

— На! Кури здесь! Скорее сдохнешь! — ругалась приглушенным голосом тетя Уля. — Знал бы да ведал отец да мать-покойница, по какой ты дорожке пойдешь! Последние крошки ему отдавали, лелеяли его... Выкормили! Вырастили сукина сына!..

Толя курил и горбился, как старик, возле поддувала плиты. От табаку во рту сразу сделалось горько, кружило голову и подташнивало, но он не бросал папироски и не уходил из кухни. Ему очень хотелось слушать и слушать ругань тети Ули, и хорошо бы еще, чтоб стукнула она его чем-нибудь по башке, так стукнула, чтобы вылетела боль из этой чугунно-тяжелой головы.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На большой перемене Толя быстро собрал под лестницей школы Женьку Шорникова, Мишку Бельмастого, Малышка, Глобуса.

— Кто проболтается — зубы выбью! — предупредил Толя и мрачно помолчал. — Я перепрятал деньги из трубы. — И, подождав, когда дойдет до ребят эта новость, продолжал: — Осталось триста восемьдесят рублей. Надо восемьсот. Покумекайте, где взять остальные. И не трепаться — еще раз говорю!

Женька забегал глазами. Мишка Бельмастый очнулся от постоянного полусна. Малышок все улыбался. Глобус поглаживал свою огромную голову.

— Тебя зарежут, Толька, — первым заговорил Женька. — Против Паралитика, да? Против Деменкова, да? Лучше отнеси деньги обратно. Отнеси, ну их...

— А ребятишки?!

— Аркашка-то с Наташкой?

— Аркашка с Наташкой.

Задумались ребята. Натужливо сомкнув расползающиеся губы, стоял Малышок. Мишка Бельмастый сунул руку в карман и почесался. Забылся. Думает, насупив брови над хрящеватым переносьем. Весь он коренаст, мужиковат, большерук. Сильный парнишка. Если не струсит — надежной опорой будет.

— Так чего? — обратился именно к нему Толя.

— Не знаю — чего, — голосом неповоротливого человека, нелюбящего и неумеющего рассуждать, отозвался Мишка Бельмастый. — Это... Надо их домой... — И замолк уже накрепко, и пошел из-под лестницы, опасаясь опоздать на урок. Возле своего класса оглянулся, помаячил рукой. На него можно положиться. Он был с Толей.

— Я Деменкова боюсь, — признался Малышок, — и Паралитика боюсь. Они чего захотят, то и сделают...

— Ну, ты! — вспылил Толя. — «Захотят, захотят...» Завеньгал, — и, невольно скривив рот, передразнил парнишку. Тот прикрылся ладонью, как в классе у доски. — Нас-то вон сколько! — стараясь поправить неловкость, бодро продолжал Толя. — Нас целый дом! И если не трусить... Если не трусить...

— Толька, ты не злись, ладно? — просительно заговорил Глобус, парень уважительный, честный и попусту делать ничего не умеющий. Толя повернулся к нему со вниманием. — Я, может, неправильно скажу. Но надо поскорее отнести остаток денег в милицию. Чтоб мать Аркашкину и Наташкину выпустили. А остальные вернем потом. Может, где возьмем.

— Где? — Толя спрашивал жестко, прямо, отметая

тоном своим и взглядом всякие «может» и «как-нибудь». Ребята еще не совсем понимали, на что он их звал, чего добивался от них. А ему требовались помощники, все сознающие до конца. Помощники, которые не могли и не должны были бояться ничего. — Я спрашиваю, где? — повторил Толя и опять уставился на Глобуса.

И все, не только Глобус, но и Женька и Малышок, вдруг почувствовали превосходство над собою этого парнишки, Тольки Мазова, вчера еще дуревшего и игравшего вместе с ними, а сегодня ровно бы отделившегося от них силою какой-то или той ответственностью, которую он взвалил, а главное, смог взвалить на себя.

Вот так, наверное, и рождается командир. Все он человек как человек, незаметный, такой же, как все, но приходит минута опасности, минута, требующая, зовущая того, кто готов ответить за других, и он подает свой голос и становится впереди всех, зная, что отныне он ответственный не только за себя, хотя было бы, конечно, удобней, лучше и спокойней, если б вперед вышел кто-то другой и заслонил бы тебя своей спиной.

— Ладно, Толька, понятно все, не заводись, — потупился Глобус. — Я хотел как лучше. Мне... Мне очень жалко ту женщину. И Аркашку с Наташкой... — Глобус отвернулся. — Может, оттого, что мои папа и мама тоже...

Все тяжело и надолго замолчали. Вдали задребезжал звонок. Потекли ребятишки в классы. Коридор опустел. Оседала в нем пыль, устаивалась тишина.

— На урок нам надо, — несмело подал голос Женька. — Звонок был, а у нас Изжога. Напишет, падла, записку Варьянычу. Запросто напишет!

— Мне тоже надо, — грубо обрезал Толя. — Я тоже учащийся, нужно вам заметить! — съехидничал он, повторяя слова одной учительницы. Как всегда, обидев кого-то, он тут же поправился и все тем же грубым тоном, но уже с заметной помягчалостью прибавил: — Рисковать, братва, боязно. А что, если возьмут вместе с остатком: с триста рублями-то и нас?! Нас возьмут и раззяву-кассиршу к тому же не выпустят?

— Ой, Изжога в класс прошел! — Женька аж затанцевал на месте. Как видно, отношения с учителем физики у него были не очень отрегулированы.

— Хорошо, дуйте! — разрешил Толя, и парни рванули с места в карьер. — Но ноздрей мух не ловите! Шевелите мозгами!.. — крикнул он им вслед.

И он тоже нехотя поплелся в свой класс, сумрачный, подавленный.

Приоткрыв щелочку двери, Малышок (его просунули вперед, как личность, способную вызвать сострадание) жалостным голосом спросил:

— Можно, Терентий Афанасьевич?

Учитель, на то он и был Изжога, выдержал продолжительную паузу и ехидно спросил, медленно пройдясь взглядом по всем троим:

— Накурились?

— Нн-е... Хоть понюхайте. Дыхнуть можем.

— Еще мне этого не хватало! Обнюхивать вас! — пренебрежительно фыркнул физик. — Марш на место!

Ребята с облегчением, по возможности тихо расселись за парты. Физик метался у доски, вдохновенно объясняя новый материал, размашисто чертил мелом, рассыпал цифры и формулы по доске. Он любил свой предмет, но ребята не любили учителя за желчность и какую-то холодную неприязнь ко всему маленькому народу, а возможно, и к большому.

Совсем уж терпеть его не могли курильщики. В свободное от уроков время Изжога перед переменой прятался в уборной за дверью. Дождется, когда и без того проклятый законом и преследуемый всем взрослым населением мира, курец школьного возраста зажжет папиросу, — цап его за руку и ведет с горящей папиросой, а чаще всего с «бычком», поднятым с дороги. Ну, вел бы и вел, на то он и учитель. Так нет ведь! На лице Изжоги в этот момент такое выражение, будто он куропатку в силок заловил или повидла сладкого наелся. А уж в учительской он так обличал и срамил изловленного курильщика, что тот с горя, а может, из чувства протеста, начинал курить еще больше, и так, чтоб Изжога его видел, а поймать не мог, например — у кинотеатра, где можно скрыться в толпе единомышленников.

Особенные нелады у этого учителя были, конечно, с детдомовскими — публикой непослушной и почти сплошь балующейся табаком. Редкий урок не выдворял он из класса кого-нибудь из «голубых».

Ребята не сразу узнали, что так пренебрежительно именовал их Изжога в честь какого-то атамана Голубого, возглавлявшего недобитую банду и впоследствии вроде бы шлепнутого красноармейцами.

Но на этом уроке «голубые» вели себя удивительно

смирно. Физик даже оборачивался несколько раз, озадаченный — не творят ли «голубые» чего тайком? Нет, все трое сидели, подперевшись руками и уставившись на доску. Правда, вид отсутствующий, нездешний, но за это из класса не погонишь. И физик прикрикнул:

— Эй, голубые! Слушать внимательно. На следующем уроке буду спрашивать новый материал.

Женька толкнул Малышка ногой, и они настроились слушать учителя, а Глобус так и не очнулся.

Толя тоже попусту сидел в классе. Ничего он не слышал и не видел. Все думал. И чем больше думал, тем мрачнее на душе становилось. А тут еще Маруська Черепанова выползла на последней перемене и, поглядев по сторонам, предупредила:

— Толька, у Паралитика ножик! Во-острый!.. — И исчезла Маруська, прямо на глазах сгинула, как будто нечистая сила из болота вынырнула и в хлябь снова провалилась, а слова «ножик вострый» оставила.

«Ну, шпионка! Ну, шпионка задрыганная! Наподдаю я тебе когда-то!» — сердился Толя, хотя твердо знал, что никак наподдавать Маруське не сможет, он был к ней по-непонятному привязан.

* * *

После уроков Толя вышел из школы со «своими ребятами». Крыльцо школы замело белым снегом. Улицы замело. Дома замело. Все замело. Снова вернулась зима. Лишь на взгорках видны зализанные ветром темные проталины да над карнизами крыш висели обломанными клыками сосульки — жалкое напоминание о приходившей не ко времени весне.

Толя попросил ребят оставить ему обед и долго бродил по городу. Миновал центральную улицу, жилые дома, пролез в дыру деревянного забора на биржу и меж штабелей потащился по заметам, прочерченным конскими санями. Сейчас только кони и могут ездить по бирже и городу, а машины будут стоять до расчистки улиц.

Пробрало Толю ветром сквозь пальто. В тепло захотелось. Больше всего тепла было в кочегарке у Ибрагима.

— А-а, прибежал! Кушить хочешь?

— Хочу, дядя Ибрагим.

— Сэйчас, сэйчас, кипяток будит, хлеб будит, сахар будит. Этот гайка пава-р-рачиваим, иии... на тебе кипяток! Сэйчас, сэйчас!

Ибрагим, точно фокусник, из-за спины выкинул кружку с кипятком, подал кусок хлеба, сыпанул горсть сахару в кружку. Оставшиеся крупицы стряхнул с ладони себе в рот и принялся шуровать в топке. На шее и потном лице его рябели крошки коры.

— Денги как? — спросил Ибрагим, утираясь тряпицей, повешенной на вентиль котла. Спросил не оборачиваясь, едва слышно.

Толя дул в кружку, медлил с ответом. Ибрагим, нацелясь длинным чурбаком в печку, ждал.

— Денег осталось мало, дядя Ибрагим.

— Ух! — бухнул очередное полено в печку Ибрагим так, что поднялся столб искр и в зевастое отверстие сильно шибануло дымом.

Ибрагим бросил в притвор котла тяжелую чугунную дверцу и засверкал глазищами из сумрака кочегарки:

— Канпэт жрали! Папиросы курили! Вина, можит, пили?! Пили вина?

Толя наклонил голову, отставил кружку:

— Пили.

— Вот! — подпрыгнул Ибрагим и хлопнул кожаными рукавицами, будто выстрелил: — Капкас — разбуйник! Ты — разбуйник! Кынжал нэт, суравна разбуйник!..

Ибрагим еще долго бушевал, кидал поленья в топку, гремел лопатой, ломом ворочал головни в котле, махал метлою так, что щепье разлеталось во все стороны. Затем, захлебываясь, попил воды из горла закопченного чайника и немного успокоился. Однако с Толей не разговаривал: сердился, видно.

— У миня денги нэт, — заговорил Ибрагим, опираясь на лопату. — Послал денги. Вернулся Капкас мой брат. Дом строит. Я приеду Капкас — родину, — буду жить этом доме. Хлеб, сахар, кипяток — пожалста. Денги нэт. Нэт денги. — Последние слова Ибрагим проговорил совсем уж виновато.

— Ладно, дядя Ибрагим, не горюй, придумаем что-нибудь. Придумаем... Не горюй...

— Не гаруй! Придумаим! — заворчал Ибрагим и постукал согнутым пальцем по лбу Толи. — Шту хорошего можит придумат такая башка? Вместе думать будим. Я думат буду. Школа как идет?

— Ничего.

— Ничива — пустую место!

— Хорошо.

— Пуст будит хорошо! Иди домой. Ты миня... — Ибрагим поискал слово, но не нашел его, а Толя мысленно произнес за Ибрагима: «Огорчил», — и чуть было не попросил у него прощенья.

Побрел Толя из кочегарки на улицу, на холод. И никак не уходил из его головы потный, закопченный Ибрагим. Он, даже умирая с голоду, не взял ни у кого ни одной крошки, а, наоборот, еще, бывало, туда, в сушилку, принесет похлебку или кашу, а то и капусты щепотку-другую — сам не съест, людям отдаст. Ребятишкам чаще. Вроде бы только затем и появлялся из человеческого скопища Ибрагим, чтобы людям помочь. И опять растворялся в густо смешанном населении сушилки, как соль в хлебе — незаметная, но и необходимая человеку. А они? Ради забавы! Ради прихоти и озорства. Провалиться бы или под коня попасть! Хоть бы отлупил Ибрагим, так не отлупил ведь. И никто не отлупит. Паралитик разве? «Пусть попробует! Горло вырву! Зубами загрызу, но деньги не отдам!» — накалялся Толя, сжимая кулаки.

И первым, кого Толя встретил дома, был Паралитик. Ждал у дверей.

— Потолковать надо! — защурил и без того узкие зрачки Паралитик и пошел впереди Толи, грозно постукивая своим костылем.

* * *

Особым, вышколенным в беспризорничестве чутьем, каким-то редкостным, почти птичьим наитием детдомовцы всегда и заранее чувствуют надвигающуюся беду, как покалеченные люди чувствуют перемену погоды.

В четвертой комнате битком народу. И ни одной девчонки. Схоронилась было Маруська Черепанова в уголочке, за голландкой, но ее выковырнули оттуда, леща хорошего дали и авансом еще одного дали, чтоб не вздумала подслушивать и подсматривать.

Ребята сидят на кроватях, на тумбочках, на подоконнике, Деменков стоит скучный, безразличный ко всему, прислонясь спиной к голландке. Его-то первого и отыскал глазами Толя. В комнате тугим узлом стянута тишина.

Паралитик плотно захлопнул створки дверей и вставил ножку стула в дверную ручку, вгоняя стул до самого сиденья. Все. Комната закупорена.

— Ну-ка, подвинься! — толкнул в бок сидящего на койке Борьку Клин-голову Толя и, закинув ногу на ногу, по-деловому предложил: — Аркашку и Наташку выпустите! Малы! И вообще, у кого гайка слаба — пусть сразу...

— Когда кузнец кует, пусть лягушка лапу не сует, — солидно заметил Борька Клин-голова.

Аркашку и Наташку выпустили. Они, держась за руки, поспешили без огладки, должно быть, понимали, что тут неладное начнется скоро.

— Ну-с, — небрежно обняв руками закинутое колено и чуть покачиваясь, снисходительно обратился Толя к Паралитику, — так о чем же мы потолкуем?

Уж, кажется, и нельзя быть тише, чем было в комнате, однако сделалось вовсе мертво. Это «ну-с», вычитанное в книгах, выхваченное из какого-то кинофильма, и тон человека, соизволившего снизойти до беседы с этими личностями, обескуражили Паралитика и его корешков. Он забегал глазами, скрипнул костылем. Деменков курил, усмехался. Ребятишки пооткрывали рты. А глаза Попика, и без того выпуклые, вовсе подались наружу.

Парни думали: Толька испугается, может, со страху застучит в дверь или полезет в драку. И никому невдомек было: все, что делал и говорил Толя, было как раз со страху, и сам он не совсем еще сознавал, что делал. Просто эти ребята мало читали и потому мало знали того, другого Мазова, который собрался в нем из героев разных занимательных книг и жил вовсе самостоятельно, скрыто от всех. В нем было немножко от благородных разбойников, подобных Робину Гуду, и от рыцарей Вальтера Скотта. Были там и Роберт Грант, и капитан Немо, и Чапаев, и Арсен, и Тарас Бульба. Кого только там не было, в этом другом Мазове! И народишко-то все как на подбор отчаянный! Все как на подбор!..

Костыль застучал от двери и уткнулся мокрым концом с прибитой к нему блямбой в грудь Толи:

— Ты взял деньги?

— Я взял деньги.

— А-а-ах! — пронеслось движение по комнате, как вздох, как эхо.

И опять все замерло.

И опять получилось не так, как предполагали ребята.

Думали: Толька станет запираться, в крайности пошлет Паралитика подальше, и тот станет душить его. Толька в конце концов скажет, а может, и не скажет. Парнишка он с закавыками. На него как когда найдет. То не из-за чего слюни распустит, готов всех обнимать и все, что у него есть, раздать. А то ходит злой, как старая Сидориха, что живет в Иланском бараке. Тогда он заедается на всех и, глядишь, даст кому-нибудь или сам схватит колотушек. За дикость и покладистость права его, кажется, уважали даже Деменков и Паралитик и, уж конечно, вся остальная братия. И возьми эти разнесчастные деньги кто-нибудь другой — стали бы они с ним «беседовать»?! Прислонили бы к боку ножик — и выложил бы денежки, не пикнул.

— Т-ты знаешь, что эти д-деньги к-колхозные? — снова поднял костыль Паралитик.

Он начал заикаться — худой признак. Напускает на себя бешенство или в самом деле начинает беситься? С ним даже припадки бывают... Вот сейчас-то и начиналось самое страшное. Сейчас-то всего труднее удержаться в характере. Сейчас всего труднее...

Толька удержался.

— Деньги касанули зря! Почти половину отдали ему! — мотнул головой Толя в сторону Деменкова. — Это колхоз, по-вашему? Колхоз? Зря касанули деньги, и все!

Лишь до предела напряженные детдомовцы могли уловить чуть заметную уступку в голосе Толи. И еще уступка была в том, что он употребил блатное слово, а надо бы «ученое». Он знает их дополна. И глаза Толька опустил, на руки глянул. Правда, тут же поднял их, сощурился, но все уже заметили, что он «раскололся», и потому Паралитик изо всей силы пхнул его костылем.

В стену влип Толька.

— Деньги на кон, отец дьякон! — грозно ощерился Паралитик.

Но и Толька тоже был не из таковских. Тоже имел детдомовский нюх. Он чутливо ухватил — гнев Паралитика еще не в полном накале и с ним еще можно «толковать», а там уж что будет.

Толя коротким ударом отшиб костыль Паралитика. Качнулся Паралитик, не удержался на костыле, повалился на ребят, сидевших на кровати. Пока Паралитик не вскочил, пока не кинул опору свою — костыль под мышку, а беспомощно трепыхался, Толька стоял над ним сверху, зло

выпаливал слова, припасенные им специально для такого момента.

— Деньги не отдам! Режьте на куски — не отдам! За эти деньги... Нам забава! А ребятишки? Чтоб как мы! Как Гошка! — выкрикнув про Гошку, Толя смешался на мгновение — о Гошке после похорон никто не говорил и не поминал. Это было в себе и должно остаться в себе. Проговорился Толя, лишнее брякнул. И, поняв, что оплошал, еще громче и нервней закричал: — Т-ты, ур-родина, думаешь, всех поработил?! — Ох, как долго Толя подбирал это слово и как оно пригодилось! — Думаешь, поработил? А вот этого не хочешь? — потряс он штанами и вдруг увидел перед собой Паралитика, мерцающие, как в стылом тумане, глаза его с узкими зрачками, ровно бы пробитые долотом. Толька кинулся на них, на эти нахальные кошачьи глаза.

Раздался треск, звон.

За дверью комнаты послышался девчоночий визг и громкий топот.

Паралитик под Толей. Он подскребал к себе костыль. Толя откинул костыль подальше, под кровать, и, сжимая горло Паралитика, цедил:

— В тебе духу меньше, чем в моей ж... пшику! Да я ж тя одной рукой!

Это уж сверх всех возможных ожиданий! Это было немыслимо! Гроза всех живых людей на свете, сам Паралитик под Толей! Затылком его бухнул об пол Толька для убедительности и высказывал все, что ребята давно уже хотели бы высказать и не осмеливались. Детдомовцы — и не осмеливались! Срам-то какой!

— Отпусти калеку задрипанного! — презрительно закричал Женька Шорников, отцепляя Тольку от Паралитика. — Отпусти! Задушишь!

Толя нехотя разжал пальцы.

Деменков стоял у голландки, не шевелился. Он только подобрался весь, как перед прыжком, да глаза его освинцовели. Видно, драка подействовала.

Паралитик взвился, выловил костыль из-под кровати и скачком ринулся к Толе Мазову.

В руке у него блеснул короткий сапожный ножик.

— Эй, ты! — преградили ему дорогу ребята, разом повскакивавшие отовсюду. — Драться начистую!

Паралитик не хотел и не умел драться начистую. Для

этого надо силу, а у него ее не было. Но Толя тоже осатанился, кричал что попало, рвался к Паралитику.

Его держали.

— Да я его вместе с ножиком! Пусти! Пусти, говорю! Чувырлы боитесь! Недоделка боитесь!

На Тольке треснула рубаха.

Все-таки он добрался до Паралитика. Тот выдернул руку с ножом, но кто-то выбил костыль, и Паралитик повалился на пол. Толя сверху нырнул на него и напоролся бы на ножик, но вдруг увидел кованый ботинок. Деменков прижал к полу сухую желтую руку с ножиком!

— Ш-шя! — послышался грозный окрик Деменкова. — Чего хай подняли? Начистую так начистую! Но молча!

И раскатились ребята по комнате.

И сразу стало в ней два лагеря.

У дверей Паралитик, Деменков, Батурин, Борька Клинголова. Попик почему-то сидел на тумбочке, по-восточному созерцательно сложив ноги калачиком. За опрокинутыми кроватями грозно стоял, отдыхиваясь, Толя без рубахи. На грудь его с расцарапанного лица капала кровь. Паралитик специально отращивал ногти: если не хватало силы — рвал ногтями. Толя слизывал с губ кровь, глотал ее, забывая сплюнуть, да так же в забывчивости все поправлял и поправлял волосы, спадающие на лоб.

К Толе молча пододвинулись Мишка Бельмастый, Женька Шорников, Глобус и все остальные ребята.

Дверь трещала, зыбалась.

Кто-то ломился в комнату.

На узких слинялых губах Паралитика дрожали слезы, рубаха на нем тоже была распластана, он пытался заправить ее в штаны.

— Гроши! — протянул грозную, властную руку Деменков, и его черные, затяжелевшие глаза — сплошные зрачки — закатились под густые брови.

— Н-на! — харкнул Толя кровью.

— Гроши! — повторил Деменков, стряхивая кровавый плевок с ладони.

Дверь прогибалась. Ее взламывали.

— Н-на! — снова харкнул Толя и чуть не попал Деменкову в лицо. Плевок шлепнулся прямо в белую бухающую дверь.

Деменков глухо зарычал, метнулся, сцапал парнишку за горло. Толя всхрапнул и повалился спиной на тумбочку. Тумбочка упала, и Толя упал. Из тумбочки вывалились

книжки, чернилка-непроливашка, карандаши. Уже задыхаясь, хрипя, Толя крутанулся, нащупал ручку с пером «Союз» и воткнул ее во что-то мягкое раз, другой...

Деменков вскрикнул, разжал каменные пальцы.

— Начистую, сука! Начистую-у-у!..

Толя отскочил за тумбочку и передавленным голосом выкрикнул, размахивая ручкой, с которой брызгала кровь:

— Не будет по-вашему! Не-бу...

— Ш-шя! Хохотальник порву!..

— Тут тебе не тюрьма!

— Ш-шя!

Р-раз! Толя грохнулся через кровать головой в пол. Увидев над собой ботинок с подковкой, сграбастал ботинок. Деменков тоже упал и, схватившись с Толей, покатился на полу. Он добирался до Толиного горла, подтягивал его к себе, а тот долбил его обломком ручки в лицо, рвал зубами, пинался, бил головой. Деменков никак не мог совладать с парнишкой, хотя тот был куда слабее его. Руки Деменкова скользили по голому, мокрому от крови телу противника.

Возник костыль, заплавал, замельтешил перед Толькиным лицом и, сверкнув блямбой, опять улетел.

Паралитика сшибли.

Мишка Бельмастый вовсю лупил Паралитика его же костылем.

Деменкова тоже ударили сверху чем-то тяжелым. Он вскочил, слепо бросился на ребят.

Оскаленное лицо Деменкова заливало кровью.

— Ребята! Откройте, ребята!.. — кричал за дверью Репнин. — Откройте!

Но уже никто ничего не слышал.

— Угроблю! Всех угроблю! — хрипел Деменков, и от него с разбитыми лицами один за другим отлетали разъяренные ребятишки.

Паралитик, разбрызгивая кровь, колотился головой о стену, не мог найти свой костыль. Борька Клин-голова бестолково прыгал по кроватям, тумбочкам и почему-то отмахивался подушкой.

Фокусник! Он и в драке фокусник!

В ход пошли железные прутья из кроватей. Кто-то сунул прут Толе в руку, и он с диким ликованием вытянул этим прутом Деменкова раз-другой. Деменков пятился, загораживался рукою, выжидая момент, чтобы выхватить

железный прут и забить им, захлестать этого бесстрашного в ярости парнишку.

И в это время в комнату ударило холодом и снегом. Это Зина Кондакова вынесла полрамы, влезла в окно, промчалась к двери, вырвала стул из дверной ручки. Вбежал Репнин с намыленной щекой, в нижней рубахе.

— Ребята, что вы?! Деменков, негодяй! Мазов! Прекрати! Что вы делаете?! Стой!

— Пош-ш-шел ты!..

— Катись!..

— Отсыпься, пока самому не попало!

Репнин поймал Деменкова и с неожиданной силой швырнул его из комнаты так, что тот загремел коваными ботинками о порог и грохнулся в коридоре на бильярд.

— Р-разойдись! — с офицерским зыком рявкнул Репнин, выкидывая из комнаты ребят одного за другим.

Толя пытался поднялся с пола и не мог. Паралитик бился рядом с ним, хватаясь за стены и оседая на половицы, заляпанные кровью.

— Косарь! Дайте мне косарь! — выл он. — Пор-р-режу-у-у!.. Пор-р-ре-жу-у-у!

Деменков громко отсмаркивался в коридоре кровью, вытирался подолом рубахи. Затем, сильно пошатываясь, убрел на улицу.

— Милицию надо! Говорят, Тольку зарезали!..

— Не-е, Глобуса!

— Потрепись!

— Чё ты, чё ты?!

— Тыришься, да?

— Получишь! Гад буду, получишь!

— Сам не получи!

Это малышня, взвинченная, раззадоренная дракой, заедается друг на́ дружку.

Все население детдома толпилось у двери четвертой комнаты. Толю подняли с пола. Лица его не видать, волосы склеены. Из носу толчками били ключи крови, , изрезанная о стекла спина сочилась кривыми темными потеками. Он шел, нащупывая впереди себя рукой дорогу, а от тяжелых вздохов или всхлипов во рту у него тоже булькала кровь. Перед ним оторопело и почтительно расступались. Зина Кондакова, Маруська Черепанова (она уж не прозевает) и еще девчонки подхватили Толю под руки, повели в умывальник.

— Что ж это такое? Что ж это такое? — вздрагивая,

твердила Зина. — За что они тебя? Гады! Людоеды! — и умывала его торопливо, неловко. За рукава ей лилась красная вода, и она с отчаянием закричала: — Не останавливается! Врача надо! Умрет!..

— Это они его за деньги за какие-то, — сказала Маруська Черепанова.

Но было не до нее, и никто не обратил внимания на Маруськины слова.

— М-м-м, не-е, — мотал головою Толя и, захлебываясь, кашлял, брызгая на стену кровью. — М-м-м...

На Паралитика, выползшего в коридор, лила воду из графина Маргарита Савельевна и, как малому дитяте, выговаривала:

— Как же это вы? Разве так можно? Вы инвалид. Беречься надо...

Паралитик пытался послать воспитательницу ко всем богам, но вместо ругательств у него, как и у Толи, получалось одно мычание. А Маргарита Савельевна думала, что он соглашается с нею, и все говорила, говорила торопливо, путано.

Кастелянша принесла рубахи — нижнюю и верхнюю, хотела помочь Паралитику переодеться. Он вырвал у кастелянши рубахи. Придерживаясь за стену, добрался до костыля и пьяно поволокся в комнату. Дверь он закрыл стулом, затих там и до вечера вообще никого в комнату не пускал.

По четвертой комнате потерянно, ровно во сне, бродил улыбающийся Малышок и осторожно подбирал стекла, ставил на место кровати, тумбочки, стулья. Девчонки испуганно помогали ему. Выбитое стекло заложили подушкой. На наволочке ее густо краснели брызги.

В умывальник заглянул Репнин, взял Толю за волосы, откинул голову его и, видя, что мальчишка захлебывается кровью, приказал: «Снегу! Быстро!..» — а сам торопливо вытирал Толю полотенцем и, не обнаружив ножевых ран на теле мальчика, а только царапины от ногтей Паралитика, облегченно выдохнул: — Н-ну, господа хорошие! Ну, гренадеры-воины! Вы меня доведете!..

Толя хотел что-то сказать, но во рту у него опять густо забулькало.

— Молчи уж, рыцарь! — Бросил красное от крови полотенце на умывальник Репнин и быстро пошел на кухню. — Ульяна Трофимовна, где Деменков?

— Снегом утирается. Снег глотает, бандюга-каторжанец! И что вы его не турнете? Куда вы его пасете? Перевоспитать надеетесь? Таких только тюрьма да могила перевоспитают. Наш-то как? Толька-то?.. Тошно мне, тошнехонько...

— Ульяна Трофимовна, на всякий случай уберите из дровяника топоры. Спрячьте. Толя ничего.

Тетя Уля сорвалась и прытко засеменила в дровяник, повторяя:

— Господи, спаси! Господи, спаси! Где-ка взялась на нас напасть эта? Бандюги эти? Жили тихо-мирно, так нака тебе!..

Валериан Иванович позвал к себе Глобуса и Мишку Бельмастого. Оба они взъерошены, поцарапаны, и в глазах у них все еще воинственное пламя. Валериан Иванович велел драчунам привести себя в порядок и незаметно наблюдать за Деменковым и Паралитиком — как бы не учинили что-нибудь еще.

— А главное, не оставляйте пока Мазова одного. Уж коли начали вместе, держитесь вместе до конца.

— Не беспокойтесь. Будет полный порядок, — заверили Валериана Ивановича Глобус и Мишка Бельмастый. — Паралитик еле дышит, так ему дали. А Деменков пусть лучше не суется...

— Ладно, ладно, не суется... — Заведующий начал успокаивать Глобуса и Мишку. — А с этим, с заводилой, вы поаккуратней. Болен он все же, на костыле.

— Болен! Поаккуратней! А когтями дерет так... — не соглашались ребята, но все же дали слово Паралитика не задирать и драк никаких не учинять.

Из умывальника привели Толю. Он виновато улыбался разбитыми толстыми губами. Глаза его были полны слез. Он прилег на кровать, накрылся с головой простыней, одеялом и не шевелился: плакал, видно.

Мальчишки и девчонки толпились возле его кровати, готовые помочь ему, выполнить любое его приказание. Но он ни о чем не просил, ничего не требовал.

Появились Глобус с Мишкой и удалили весь народ, оставив Толю в комнате одного.

На бильярде вяло гоняли шарики парни из старших классов — это сторожа, охраняющие четвертую комнату.

По углам шушукались девчонки. Что-то будет дальше?

По коридору шлялись возбужденные умытые ребята с пятнами йода на лицах, некоторые в бинтах. То тут, то

там мелькали и распоряжались озабоченные Мишка и Глобус. Малышок, не переставая улыбаться, подметал в четвертой комнате. Женька Шорников, выполняя распоряжения Глобуса и Мишки, заколачивал найденной фанерой высаженное окно и старался как можно тише стучать молотком.

Толя выплакался, но так и лежал под простынею. Слышал, как принесли ему ужин и поставили на тумбочку, словно больному. Слышал, как, готовясь ко сну, на цыпочках ходили по комнате парнишки и, натыкаясь друг на друга или на кровати и тумбочки, пугливо замирали.

Рано все угомонились.

Попробовал дремать и Толя. Но голова гудела, боль была во всем лице, и очень горячо было глазам, и стучало в уши.

Ночью, сквозь горячий густой туман Толя услышал осторожные шаги. Кто-то наклонился над ним. Толя попытался открыть глаза.

Ресницы с трудом расклеились.

Возле него, оттененная светом, падающим из окна, стояла высокая девочка с косой, перекинувшейся на белую рубашку. Девочка схватила рукою разрез рубашки на груди. Она стояла и неотрывно глядела на него. И он уже начал думать, что видит ее во сне и что к нему явилась добрая и прекрасная Василиса, вся в белом, только почему-то ногами все время перебирает. «А-а, пол холодный, а она босая», — догадался Толя.

Девочка наклонилась, и он ощутил ее дыхание на щеке. Сердце, замершее было, колотнулось раз-другой и опять остановилось. Нет, не Василиса это пришла, а своя, детдомовская девчонка, но все равно хорошо, что она пришла, хорошо и немножко боязно.

— Толик, ты живой? — спросила девочка и коснулась теплыми губами его щеки, ровно бы для того, чтоб удостовериться, живой ли он.

Толю опалило жаром от этих губ, и он отозвался быстрым шепотом:

— Живой. Ты чего не спишь?

— Я об тебе беспокоюсь, — призналась девочка и, всхлипнув, отвернулась. — Ты мне как брат, может, еще лучше... Еще лучше...

Толя протянул к ней руку, потрогал за косу и удивился: какая коса толстая, мягкая. Как у Василисы Прекрас-

ной. Он попытался удержать в себе ощущение сказочного сна, но уже трудно было это сделать.

Сердце, должно быть от стыда, билось с перебоями, и дышать делалось все труднее.

— Ты не переживай из-за меня. Я выдюжу...

— Толик, ты не сердись на меня, я вот что скажу — попроси денежки детдомовские у Валериана Ивановича и отдай. Ну, туда отдай... — Зина махнула рукою за окно, в сторону города, и рубашка разошлась на ее груди. Она быстро прихватила рубашку и заторопилась: — Мы все, девчонки, решили копить денежки, кому родные дают или присылают. Вот. И все отдавать тебе. А ты казенные покроешь. Вот. Ты не сердись. Это Маруська Черепанова сказала нам: Ты на нее не сердишься?

— Я надаю ей когда-нибудь, не погляжу, что она девчонка, — сказал Толя, но таким тоном, по которому нетрудно было заключить — никогда он Маруську и пальцем не тронет. — А денежки нужны большие. Вам с девчонками копить придется до старости лет. — Толя нагнулся с кровати и поглядел на Зинины ноги — она и в самом деле была босая. — Простудишь ноги-то. Беги спи.

— Хорошо, — согласилась Зина, но не торопилась уходить и, не зная, о чем еще сказать, начала: — Холодно опять стало, — оглянулась на окно, чтоб и он удостоверился, что за окном холодно.

Толя погладил ее руку: дескать, можешь не мучиться, не придумывать слова. Можешь и так стоять или посидеть даже. Он как бы ненароком отодвинулся, освободив краешек кровати. Она глянула на этот краешек, и крупная дрожь пришла из нутра и заколотила, заколотила ее.

— Если тебе ничего не надо, так я пойду, — едва слышно прошептала Зина.

Толя чуть сдавил ее руку — как, мол, хочешь, и почувствовал, рука ее вспотела, но сама она дрожит вся. Ему сделалось не по себе.

— Ты чего? — приподнялся он.

Зина не ответила, а выпростала пальцы и попятилась к двери, подняв руки и ровно бы загораживаясь ими.

— Нет-нет, я побегу. Я замерзла. Побегу я. Ноги застыли. Ноги... — частила она, будто Толя ее не отпускал, будто удерживал.

Она все пятилась и пятилась, а голос ее линял, и зубы постукивали. Еще секунду постояв в проеме распахнутой

двери, она выскользнула неслышной ящеркой и притворила створку.

Толя слышал ее стихающие босые шаги, легкий скрип двери в девчоночьей комнате и даже чуть звякнувшую кровать как будто слышал, хотя отлично понимал, что этого он слышать не мог, стена все-таки между комнатами толстая, штукатуренная.

«Ну, что с нее возьмешь? Девчонка, она и есть девчонка!» — почему-то смущенно сказал сам себе Толя, отодвигая этим нехитрым умозаключением совсем другое, смутно-тревожное чувство, стараясь заставить себя забыть о том смятении, которое охватило приходившую к нему девочку.

Тайком. Ночью.

Нет, лучше об этом не думать. Ничего не было. Ему все-все приснилось.

Он осторожно потрогал разбитое лицо, чтобы болью отгородиться от мыслей о Зинке. Боль и в самом деле вернулась, как только вспомнил он о ней, жарко сделалось и душно. Толя резко откинул простыню и одеяло. Нет, видно, и болью не заслонишься от этого. Стоит босая девчонка перед глазами, и все.

Он смирился, притих.

Понесло его дремою, но впотьмах воровато подбирались, протискивались в голову и отдвигали дрему мыслишки о тайне, возникшей между ним и Зинкой. Тяжелела голова, и тело обременительным, чужим стало. Он начал слышать свое тело и тяготиться им.

Проходил час за часом, а мысли все же текли, бежали, перешибая одна другую. Неуклюжие, рваные и в то же время по-ночному грустные мысли.

Он был еще маленький, когда жил в сушилке, но успел наглядеться и наслушаться всего, да и ребята детдомовские знали всякой нечисти много и не таились с ней. Попадались в детдом уже и порченые, и порочные ребята — они делились своим опытом и воспоминаниями, жуткими и постыдными. Толя не хотел сейчас ничего знать об этом, отбивался мысленно от нечистых мыслей, все пытался свести к нежной сказке, к выдумке, а на щеке его ощущалось нежное прикосновение губ девочки, горячее дыхание ее, и рядом была стена, за которою не спала и мучилась сейчас Зинка. И страдание, неведомое до этого часа, стиснуло сердце парнишки.

Он рывком вскочил с кровати, подбежал к двери и

засунул поломанный стул в дверную ручку — и сразу облегченно уронил руки — все! Отгородился. Тихо вернулся Толя на кровать, потрогал свое разбитое лицо...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В школу в этот день Толя не пошел. Комната постепенно опустела.

Уборщица передвигала кровати, шуршала веником и недовольно ворчала. Принесла ведро, плюхнула на пол тряпку. Ее заставили мыть полы в этой комнате безо всякого череда.

Полы в детдоме мыли перед выходными. Уборщице помогали девочки, а ребята носили из озера воду. Озеро близко, за дровяником. На нем катушка и прорубь. Уборщица руководила работой, и все, а сейчас вот изволь сама заниматься грязным делом. Недовольна уборщица, плюется, ругается, стулья швыряет, с работы грозится уволиться.

Деменкова дома нет. Куда-то убрел. В третьей комнате притих Паралитик. Костыль его сегодня не бодрился, не постукивал.

И во всем доме тихо.

Те ребятишки, что учатся во вторую смену, делают уроки в столовой, в классной комнате — она же и красный уголок. При тетушке Нениле была здесь строгая канцелярия, а сейчас там висит портет дедушки Калинина, несколько плакатов, карта мира, рамка от стоячих счетов к стене прислонена, потому что кругляшки ребята повынимали на свои разные нужды. Тут же шкаф с одной дверцей, и в нем навалом балалайки, и мандолины без струн, да тренога от фотоаппарата. Аппарат братва под видом ремонта постепенно разобрала на части, и он как-то уж больше не собрался. А тренога осталась. Ею чертят пол, как циркулем, начисто сдирая краску, и азартно в фехтовальщиков играют.

Время от времени на все это составляется акт в присутствии шефов из лесокомбината, и все приобретается вновь и снова задолго до срока приходит в негодность.

Толя поднялся, посидел на кровати. Кружилась голова и позванивало в ней. И еще болела сломанная когда-то нога. Болела отдаленно, однако ступать на нее больно.

«Вчера досталось. Ладно хоть еще раз не поломали», — успокоил себя Толя.

Сходил проверил, на месте ли деньги. На месте. Порядок. В умывальнике хотел посмотреться в зеркало и не посмотрел. Побоялся. Умываться тоже не решился — вредно небось болячкам. Постарался незаметно проскользнуть мимо кухни — не удалось.

— Мазов, завтрак на столе!

Тетя Уля все еще сердилась. Раз называла его по фамилии, значит, сердилась. Пришлось зайти в столовую, выпить чашку густого кофе с пленкой и съесть два ломтя поджаренного хлеба.

Веселей сделалось. Возле дальнего окна, сдвинув столы, делали уроки девчонки, и среди них Зинка Кондакова. Пока Толя ел, они все время смыкались носами и — «шу-шу-шу».

«Кумушки», — презрительно покривился Толя и подался в комнату, собираясь с пользой провести время — всласть начитаться.

Почитать не пришлось. Едва достал из-под матраца «Блеск и нищету куртизанок», явился Валериан Иванович, подсел, глянул искоса на корешок книги, помятой во вчерашней свалке.

— Нравится?

Толя заложил палец в книгу, полуприкрыл ее.

— Нет. Надоело уж читать про буржуев. Все про буржуев да про господ. Редко когда попадется интересная книжка про простых людей.

— Тут ты, положим, хватил! Книг о простых людях написано море. Золя не читал? И не читай — рано еще. И Бальзака тоже рановато бы. А Тургенева, Горького, Чехова небось вот не читал.

— Проходили, — махнул рукой Толя. — Горький босяков описывает. Ничего мужики, только говорят, говорят, и все. И пьяные и трезвые говорят, да такое говорят, что башка трескается — ничего не поймешь. А Тургенев ваш, как дамочка, все у него мужики какие-то смирненькие да покорненькие...

— Тут ты, положим, тоже хватил. Рудин? Базаров? Инсаров, наконец? Смирненькие?

— А Герасим? — подхватил Толя. — У него собаку утопили, а он... А этот, как его? У Гоголя-то? Акакий Акакиевич? Герой! Шубу последнюю с него сблочили... А он?! И все какие-то!..

— Ну уж и все! А Пугачев? — подзадоривал Валериан Иванович. — А Степан Разин? А Болотников?

Толя шевельнул разбитыми губами и вызывающе сказал, глядя на Репнина:

— Эти сами по себе. Эти будь здоров мужики были! А их баре исказнили. А потом в книжечки вставили. Ворами обзывали. — Брякнув про воров, Толя даже съежился, глаза забегали.

Репнин не давал ему спрятать глаз, ловил ускользающий взгляд. Но мальчишка — хитрец, вспомнил, что у него все лицо в синяках, и рукой прикрылся.

— Анатолий, за что ты дрался с Деменковым?

Толя сидел, прикрывшись одной рукой, а другой загибал и разгибал голенище валенка.

— Ведь не просто так, признайся, не из одного же интереса вы схватились?

Толя все загибал и разгибал валенок.

— Не встревали бы вы в наши дела, — отвернувшись, еле слышно проговорил он.

— М-да! Вот и раз! — сраженно крякнул Валериан Иванович и угрюмо спросил: — В чьи же мне тогда встревать? В тети Улины?

Толя ничего на это не ответил.

— Значит, в тети Улины, — с обидой подтвердил Валериан Иванович. — И еще в банно-прачечные. Разрешаешь? Ничего, широкое поле деятельности...

— Валериан Иванович... — Толя смотрел прямо на Репнина. Левый глаз у него, весь ровно бы в темной окалине, едва светил щелкою, а над правым нависла разбитая бровь. «Кованым каблуком, сволочь!» — заключил Репнин. — Валериан Иванович... — Толя помедлил и оставил в покое валенок и глуше продолжал: — Я, может, никого так в жизни не уважал, как вас. — Такого признания, да еще от Мазова, да еще в такой момент, Репнин никак не ожидал. — Я сейчас все скажу вам потому, что хоть вы офицер были, а вы к ребятам относитесь хорошо, по-строгому относитесь, но жалеете их. Вот...

Толя перевел дух. Валериан Иванович понимал, чего стоило мальчишке такое признание, молчал, склонив голову, ждал, не двигался.

— Из-за денег мы дрались, — как будто перекатив огромную булыжину, выдохнул Толя. — Мы должны добыть деньги, чтобы у Аркашки с Наташкой мать была... Мы тиснули деньги, мы и вернем.

Валериан Иванович понял, что это все, больше Толя ничего не скажет, и больше он сейчас не имел права от него требовать. Конечно же, Репнин знал, из-за чего и почему случилось в детдоме побоище, и шел к Толе с намерением предложить свои услуги — вернуть оставшуюся часть денег (сколько их у Толи, Валериану Ивановичу известно не было), а остальные вложить из своей зарплаты. Но говорить ни об этом, ни о чем другом сейчас не следовало, не нужно, нельзя.

Валериан Иванович поднялся, сунул книгу «Блеск и нищета куртизанок» в тумбочку с оторванной во время драки дверцей и буднично сказал, ткнув в нее пальцем:

— Привинти шарниры. Отвертку возьмешь у меня.

— Хорошо.

Уже в своей комнате Валериан Иванович до того разволновался, еще раз перебрав в памяти короткий разговор с Толей, что вынужден был заварить чайку покрепче, посидеть наедине, поразмыслить. «Нет, решительно работу эту ни оценить, ни понять нельзя. — И сам себе, совсем уж потихонечку: — Как хорошо, что нашла она меня, эта работа!»

Ему легко думалось сегодня о ребятах, и то, что он их не понимал и не принимал иногда, не раздражало его, как это случалось не раз, и даже недавнее происшествие, выводившее его из себя, сегодня он обдумал до конца, а сумев обдумать, и понять его сумел.

И случай-то вроде пустяковый, но, однако, сложным оказался, озадачил всех, в тупик поставил видавшего виды Валериана Ивановича.

В новой четвертой школе открыли буфет. Городские ребята, сшибая друг дружку, мчались к этому буфету в перемену и покупали там всякую еду: конфеты, молоко, печенье или чай.

Детдомовцы носились по коридору. Те, что посмирнее, жались к стенкам. И только малыши-первоклашки иногда забредали в буфет и глазели на бурную торговлю. Женька Шорников на глазах у всей публики выдворил малышей из буфета, дал им леща: «Нечего кусочничать!»

Обо всем этом услужливо и не без прицела сообщила Валериану Ивановичу все та же Маруська Черепанова. Заведующий распорядился: к большой перемене носить ребятам в школу чай и бутерброды.

Тетя Уля до блеска начистила ведерный медный чай-

ник, приготовила бутерброды, заварила не чай, а какао, надела чистую белую куртку и вместе с дежурными торжественно понесла снедь в школу.

Вернулась она вконец расстроенная и убитая. Почти все бутерброды принесла она назад и какао тоже. Ребята не пришли в буфет. Их приглашали, звали, за рукав тянули, а они не шли. Даже под лестницей прятались.

Маруська Черепанова, Попик да Борька Клин-голова дали пример, нажрались бутербродов до отвала. На них косились. На другой день и они не явились в буфет. Однако, раздобыв где-нибудь мелочишку, детдомовцы с удовольствием и даже с вызовом толкались в очереди, лезли напропалую в тот же самый буфет.

Вот и весь случай. «Зело поучительный, — заключил Валериан Иванович. — И ничего в нем загадочного нет. Такта, такта побольше каждому, кто работает с ребятами и пытается влиять на них. Да еще с такими вот трудными и легкоранимыми ребятами. Из них, между прочим, тоже формируется новый человек. Что за человек будет, мне лично неизвестно. Но, глядя на одного только Мазова, с уверенностью могу сказать: пойдет прямо, напролом, вилять и дешевить не станет!»

Репнину невольно вспомнился Толин взгляд, его неприязненные, даже вызывающие слова насчет бар, которые «исказили» русских героев — мужиков.

Валериан Иванович понял, что мальчишка зачислил своего заведующего в ту категорию людей, из которых выходили баре и буржуи. И раздражен тем, что Валериан Иванович сбивает его, парнишку, с толку своим добрым отношением. У Валериана Ивановича шевельнулось подозрение насчет писем Толиного отца — не пронюхала ли Маруська Черепанова о тайне? Уж очень тонок, обострен у этих ребят нюх, и по одному нечаянному взгляду, по слову неловкому какому-нибудь...

«Господи, какая ересь в голову лезет!» — отмахнулся от этих липучих мыслей Валериан Иванович. Но тут же ему представился отец Толи, тоска его, ожидание, надежды. Представилось, как он спешит к почтарю после работы и не спрашивает уже, а ловит взгляд и по взгляду читает: снова нет, снова нет, снова нет...

И однажды...

«Нет, это наваждение какое-то!» — ругает себя за мнительность Валериан Иванович и заставляет себя не думать о Толе, о письме, о Светозаре Семеновиче, но не

удается ему это. Он-то знает, что человек, получивший его ответ, сухой, казенный, может впасть в отчаяние, плюнуть на все, уйти в бега, скатиться к лагерным волкам... Да мало ли что он может...

А Толя между тем лежал, прикрыв книжку, и тревоги одолевали его. «Где взять столько денег?» — сверлила голову одна-единственная мысль. И он уже каялся, что проявил непреклонность и отсек намерения Валериана Ивановича помочь им, а о том, что у заведующего такие намерения были, Толя догадывался. Вспомнил парнишка, каким застенчивым сделался Валериан Иванович, когда он сказал ему про уважение, как покраснел этот тяжеловатый, насупленный человек, как засуетился, отыскивая очки в кармане, а очков-то с собою у него и не оказалось. В комнате оставил.

Толе было неловко и в то же время приятно, что решился сказать такое Валериану Ивановичу. Сказал и ровно бы невесть какую работу важную сделал или дал кому-то подарок. И лицо побитое уж меньше болело. И вообще стало легче как-то, уютней на душе, и мысли ровнее пошли. Каким-то далеким, отмякшим проблеском сознания, еще не склееным сном, Толя отметил: «Вот это, видать, и есть счастье: не болит, теплынь под одеялом, и о деньгах можно не думать».

* * *

За полдень ребята вернулись из школы. Женька Шорников браво напевал:

Дер фрюлинг,
Дер фрюлинг*,
Трим-трам, тара-ра-рам!..

Значит, проходили немецкий стишок в школе, раз напевает Женька. Он все, что проходят в классе, услышит где-либо, обязательно напевает, переиначивая слова на свой лад. «Тетушка Ненила лесу попросила на ремонт квартерки» — это он, Женька, выдумал. «Встань скорей, о Терезита, от влюбленных слон бежит» — это он с пластинки песню «подправил». А уж с песней «Легко на сердце» он устроил такую распотеху, что весь детдом покаты-

* Весна, весна *(нем.)*.

вался: «И любит выпить директор столовой, и вместе с ним любят выпить повара!» — пел он.

Песня эта быстро разошлась по городу. А недавно Женька подхватил новую песню из кино и тут же переиначил ее: «У высоких стен универмага спекулянты в очередь стоят». Сейчас вот попал ему на язык немецкий стишок. Дня три-четыре будет Женька бормотать, изворачивая так и этак стишок, покамест не получится что-нибудь сногсшибательное, глупое, но смешное.

Немецкий стишок о весне из учебника немецкого языка Женька напевал на мотив блатной песни, и ничего, славно получалось.

— Немку доконали! — доложил он Толе. — Пришпилили стишок на спинку стула и дуем по написанному. Потом вышла эта цыпочка, Щелованова. И до звонка-то ноль целых хрен десятых осталось. Ну и тоже не выучила. А мухлевать не умеет. Ну и: ты... мы... фрю... ист... да... — Женька подыскал к Щелованової рифму и продолжал: — Немка говорит: «Вы почему все время смотрите мне на спину? Что у меня там имеется? Стих?» Только сказала и догадалась... Ну, зарыдала, из класса нах хаус. Всем зер шлехт, и мне тоже. А я немецкий люблю, сам знаешь. Зато мне по литературе «отлично» поставили. За Герасима. Я его так обрисовал — жуть! Только зря он по сопатке той барыне не съездил за собаку, на прощанье... Да, чуть не забыл: Ибрагим в школу приходил, тот, твой знакомый капказец. Велел тебе сегодня в общежитку... Как у меня фонарь? — приблизил Женька свое лицо к Толе.

— Сходит.

— Я к нему пятак прикладывал все уроки. Пятак гнутый. В чику им зубились. А то бы уж сошло. Может, тебе дать? Попробуй!

— Мои фонари пятаком не закрыть.

— Точно. Изукрасили тебя. Где недобитые враги?

— Помалкивают.

— Враг ушел в подполье, но он не дремлет! — продекламировал Женька, перекладывая учебники в тумбочку и напевая. «Изукрашу тебя, как картинку, и куплю я тебе ли-са-пе-ед!..» — Он ринулся в коридор, поиграть до обеда на бильярде. — Кто последний? Я за вами дергать в носе волоски! Ха-ха-ха!

«Выдумщик проклятый! — улыбнулся Толя. — Бодрится. Потому бодрится, что в драке был, хотя и силенок-

то у него... Не отступил, человеком себя почувствовал... Зачем же я понадобился Ибрагиму? Срочное чего-то, раз он в школе появился. Вечером схожу. В потемках фонарей моих, глядишь, не заметит».

* * *

Ибрагим в шапке, в полупальто с меховым воротником и в серых загнутых валенках. Сегодня он на отдыхе и вот приоделся. Смущаясь парадности этой, он как бы говорил всем видом: «Шту сделаишь, выхатнуй!»

Они шли по улице, и Толя сторонился освещенных окон и лампочек, нацепленных на столбы. Приморaживало, неохотно тянула поземка. Пурга сделала легкую передышку. Ночью заметет, завертит и понесет все, что можно понести.

Почему-то в Заполярье пурга ночи любит. Добавляет к ним жути. А они без того не больно веселые.

Ибрагим сообщил Толе новость. Городской драмтеатр, где работает кочегаром его знакомый, из-за легкомысленной доверчивости к природе остался без дров: в театре понадеялись на весну, так рано нагрянувшую в этом году, и спешно распределили меж работниками и артистами запас топлива. Теперь срочно нанимают поденщиков, платят им большие деньги — восемнадцать рублей за кубометр. Есть возможность подработать ребятам. Толя сам знает для чего.

— Хорошо, дядя Ибрагим, мы будем возить дрова.

— Пилу, топор я точил. Возьмешь кочегарке. Нарты?

— Есть. Их только подморозить.

— Латна. — Ибрагим остановился, посмотрел на серые валенки, на криво заглаженную по суконным брюкам «стрелку». — Скажи, кто тебя бил?

Толя вздрогнул, зашарил руками по карманам.

— Кто тебя бил? — В голосе Ибрагима Толе послышался кинжальный звон.

«Ибрагим-то ты Ибрагим, а все-таки кавказец!»

— Это ты про ряшку-то мою? — беспечно воскликнул Толя. — Я об столб ее своротил! Умора! Катался на лыжах, с берега на протоку, и бемс об столб! Умора!

— Какой столб на протоку?

— Да не об телеграфный. У лесотаски.

— Зачем катаишь лесотаски? Апасна! Два ноги ломать нада? Адын мала? Ух, нет родытели, ремни драт!

«Слава аллаху! Пронесло!» — сглотнул Толя слюну и перевел разговор на другое. Начал рассказывать о школе, о Женьке Шорникове, как он все песни переиначивает. Ибрагим развеселился, вытирая перчаткой слезы с глаз, кричал: «Хароши парень! Веди его маю кочегарку. Слушить хочу!» На прощанье Ибрагим небрежно сунул Толе в карман пальто рубль.

— Тому девочку и малчику канпет угощай. Женька угощай. Хароши парень! Пока! Ибрагим клуп пошел. Самодытельность. Лызгинка. З-замечательны капкасский танец! — Он сунул руки в боковые карманы полупальто и пошел враскачку. Над левым глазом Ибрагима серебрилась острая синевато-черная челка.

«Кавалер! Хоть ты сдохни — кавалер!» Рот у Толи растворился от восхищенного удивления и не закрывался до тех пор, пока Ибрагим не скрылся за поворотом.

Толя достал рубль из кармана, разгладил его, свернул вчетверо и спрятал в рукавичку на всякий случай.

Бродил по городу, чувствуя себя богатым. Он, правда, не уходил с центральной улицы и не приближался к «Десятой деревне» — там могло попасть от городских ребят.

В «Десятой деревне» уже прочно обосновался Деменков, имел там, по слухам, роскошную маруху, и если попадешь в руки ему или его дружкам — живым не уйдешь.

И рубль был в кармане, и работу вроде подыскал. Но беспокойно на душе у Толи. Домой идти не хочется. Прошлялся допоздна. Сегодня Маруська Черепанова дежурит, ужин обязательно оставит.

Метель раздурелась. Закрываясь пальтишком от снега, Толя пятился спиной к ветру и миновал уже пушной магазин по прозвищу «Крыса». Дымились мелким снегом все крыши и сугробы. Толя шел по тоннелю, образовавшемуся на мостовой. У Волчьего лога тоннель кончится. Дальше снег не чистят, дальше по песне Ибрагима, который сам их перевирает еще хлеще Женьки: «Калакольчек оторвался, звини, дуга, как хочишь сам...»

Толя плотнее запахнул пальтишко, надвинул шапку на самые глаза, собираясь сделать пробежку встречь ветру, но заметил цветастую рекламу кино, пришпиленную гвоздями к углу пушного магазина. Там всегда прибивали рекламы новых кинокартин.

Повернувшись на поветерь, Толя поплыл к «Крысе».

Рекламу забросало снегом. Виден лишь большой карий глаз с непостижимой печалью в глубине да изящная рука с белой манжетой, высунувшейся из-под черного рукава. Толя осторожно обмел рукавицей снег с рекламы и увидел человека со скрипкой. Взгляд человека из-под полуопущенных ресниц одновременно беспокоил и притягивал к себе. За скрипачом птицею парила женщина в белом платье, длинном и легком. Она пела что-то очень веселое, запрокинув голову. Рот ее, полный красивых и ровных зубов, смеялся во всю ширь, а глаза подернулись хмельным забытьем, но в то же время они все видели, эти веселые и лукавые глаза...

Из сенок магазина вылезла сторожиха, заорала на парнишку, полагая, что он хочет содрать рекламу. Толя поплелся на улицу Смидовича, к кинотеатру.

Он долго топтался у кассы, тиская в рукавичке рубль. «Ладно, займу у кого-нибудь, хоть у той же Маруськи, и куплю конфет», — наконец решился Толя и, приметив чубатого парня, вкатившегося на обмерзлых валенках в кинотеатр, попросил его купить билет.

— Тебя ж не пустят, малый, — сказал парень, но посмотрел на мальчишку, тряхнул белым от снега чубом и купил билеты. Оторвав один, посочувствовал: — Пропал твой целковый, хлопец.

Теперь взамен рубля Толя стискивал в рукавичке билет, стараясь не измять его, а то подумают: на полу поднял, либо подделал. Нет, билетик у него что надо, голубенький, хрустящий, рубль стоит. Взрослый билетик. Вот годов только еще без месяца пятнадцать — маловато для вечерних сеансов. И денежки вот издержал на билет, вместо того чтобы сладостей ребятишкам купить, а так все хорошо. Пустили бы только в зал, и совсем было бы все замечательно.

Мимо него проходили разные люди, совали контролерше билеты и шагали дальше, молчком или разговаривая. Они совсем-совсем не понимали, какие были счастливые! Какие счастливые!

За спиной контролерши фанерный щит. На щите, подняв руки, стоял героический Арсен. Прямо в лоб целились жерластые пушки «Потемкина». В обнимку шли Столяров и Орлова из кинофильма «Цирк». Дико мчались на диких конях басмачи из «Тринадцати», и грозно спрашивал матрос Артем с плаката: «А ну, кто еще хочет Петроград?!» Но Толя не смотрел на боевого любимого матроса,

он видел только что приклеенного на щит скрипача, который даже из-за спины контролерши, из-за скучающих зрителей отыскал печальными глазами мальчишку и звал, да что там звал — прямо притягивал к себе взглядом. Толя и не заметил, как двинулся к нему навстречу.

— Ты куда, шпана чернорылая?

Контролерша толкнула мальчишку в грудь. Не ожидавший толчка, Толя сильно поскользнулся на стылых валенках и упал.

— Зачем же так-то? — заметил контролерше гражданин в меховых бурках, должно быть, летчик, мимоходом подняв Толю.

— Работать мешают, толкутся тут, прошмыгнуть норовят, — смущенно оправдывалась контролерша, отрывая билет, и уже примирительно обратилась к Толе: — Уходи, уходи. Ишь, морда-то вся в синяках! В кармане небось поймали? Так в народе и шныряете, жулье! — и нажала кнопку за косяком.

Вдали задребезжал звонок. Сердце у парнишки толкнулось в грудь, как в стену, и сжалось. Ему нужно быть в кино сегодня, сейчас. Сегодня, именно сегодня должно что-то решиться в его жизни. Непонятная сила влекла его к скрипачу. Ожидание чего-то неведомого вселилось в парнишку. Очень плохо будет, если он не попадет в кино, не свидится со скрипачом, очень плохо.

Контролерша вторично нажала кнопку, выглянула за дверь и, не обнаружив зрителей, убрала стул, собираясь уже уходить.

«Все! — резануло парнишку. — Неужели все?!»

Толя торопливо, захлебываясь, залепетал:

— Тетечка, милочка, пустите, ради Христа! Пустите! У меня билет! Взрослый билет! За рубль. Тетенька!..

Понимал Толя — таким скудным запасом таких скудных слов едва ли проймешь контролершу, но другие на ум никак не приходили.

— Как же я тебя пущу? Вечерний сеанс. Приходи завтра. Завтра «Волочаевские дни», военное, как наши самураев сокрушили...

— Что вам стоит, тетенька? Ну, пустите, пожалуйста... Я... Всем ребятам скажу, чтобы не бузили в кино, чтобы не пробирались без билетов, только пустите...

— Я тебе русским языком сказала — нельзя! — отчеканила контролерша, уже сердясь. — Приходи завтра. Завтра, говорю, для вас, военное.

— Не надо мне военное! Я это хочу! — выкрикнул Толя, но тут же сообразил, что вышло у него капризно, а никаких прав у него на капризы нет, он — детдомовец. Будто оправдываясь, уже без всякой надежды, начал объяснять он, что сядет тихонечко в сторонке и никому мешать не станет.

В это время сзади раздались торопливые шаги, и контролерша рукой отстранила мальчишку.

Мимо Толи в фетровых ботах пробежала дамочка. За нею шел артист драмтеатра. Толя видел его однажды, когда всем детдомом ходили на спектакль. Этот артист здорово и смешно изображал Скапена, и даже Валериан Иванович, сам вон как умеющий играть, смеялся и после спектакля сказал, что, мол, играет актер вполне профессионально. Что это означало, ребята не уразумели, но догадались, что артист — будь здоров! Шел он, артист, в кино так, будто у него в запасе еще целый час и никаких звонков не было. Он благодушен, улыбчив, выпил, стало быть, маленько. Подав двумя пальцами билеты контролерше, артист внезапно спросил у Толи:

— А что, братец, рыжики в Греции растут?

Толя засмущался (еще бы, с таким артистом разговаривает!), подергал пуговицу у пальто и ответил, прикрывая разбитое лицо рукавичкой:

— Не знаю, дяденька артист.

— Ха, а ты откуда меня знаешь, братец? — удивился артист.

— Постановку смотрел.

— Ха, да ты памятлив зело, братец! — воскликнул артист. — И тебе, судя по всему, не терпится взглянуть на прекрасную женщину из этой кинокартины, а? — подмигнул он и рассмеялся, довольный собою.

Мальчишка прижал рукавицу к груди — билетом жгло ладонь.

— Мне в кино охота.

— Так пустите ж молодого человека в кино, — обратился артист к контролерше. — Сделайте его счастливым. Это так легко! — и хлопнул Толю по плечу.

— Ну уж, ладно уж, если с вами уж, — не в силах отказать такому завлекательному человеку, согласилась контролерша и дала третий звонок.

Толя юркнул впереди артиста в уже темный зал и присел на первое свободное место, сбоку ряда, чтобы, упаси

Бог, не помешать взрослым, хотя на других сеансах вместе с горластой ребятней здорово портил им кровь.

Экран замерцал, как бы прилаживаясь и нащупывая людей в зале, и озарился музыкой.

Музыка была как глаза скрипача: зовущая, грустная. В ней не гремели барабаны, не брякали тарелки. В ней пели скрипки, журчала вода, шумел дождь, шел белый снег. Потом музыка завихрялась веселостью и раздольем. Но веселость была такая, что от нее щипало глаза.

Обо всем на свете забыл Толя. Музыкант лучше всех понимал, что у парнишки, как у всех прочих людей, тоже бывают свои печали, свои мечты и своя, пусть еще мальчишеская, жизнь. И принимал он его как равного, со всеми бедами и радостями, со своей еще маленькой жизнью и с только-только нарождающейся жаждой любви, о которой парнишка и сам-то еще ничего не знал, а в снах, что виделись в последнее время, признаться себе стыдился. Но все неясные еще, тревожные и стыдливые желания вдруг из стыдных превратились в радостные, сладкие, будто было у них две стороны — темная и светлая. Музыкант касался лишь светлой, и все вокруг, как от волшебной палочки — от одного ее взмаха, преображалось в доброе и прекрасное. Толе казалось, что попал он в перекрестье лучей, исходящих от музыканта, и виден весь, и ничего в этом страшного и стыдного нет. И зло исчезло из мира, и горя нет, и смотрит на него мир усталыми, все понимающими глазами умного и сердечного человека. Своей музыкой он ослепил в людях зло, неуживчивость, зависть, тьму душевную, а высветил то, ради чего их рождали и растили матери с отцами, — самое доброе, самое лучшее, что есть или было в каждом человеке!

Музыкант жил своей, не совсем понятной Толе жизнью. Он любил и страдал, даже помогал делать революцию, нисколько не похожую на ту, какую Толя изучал в школе, видел в кино: с кровью, со смертями, с тифом, вшами, голодом...

Такую мелкобуржуазную, как в школе говорят, революцию — детдомовская братва, напусти ее — разгонит и еще карманы обчистит при этом.

Непривычные люди в этой картине. У них и страдания-то какие-то ненашенские. Певица, что чайка вольная и разлетистая, жена музыканта, сильная, умная и слабенькая, бедный чудаковатый извозчик, и даже граф, и даже

король, о каких не так, совсем не так рассказывают на уроках литературы и истории.

Неужели и короли бывают добрые?

Может, оттого, что все люди эти, короли и не короли, вышли из утреннего леса, в котором музыкант легко сочинил такой славный, такой простой вальс, что его уже не забудешь никогда, потому что такие вальсы, такие песни в каждой душе, и стоит только тронуть их волшебной палочкой, как они тут же и зазвучат.

Может, все люди как лес. Он был сумеречный, темный. По нему ехала форсистая кибитка. Дремал извозчик. Дремал он, и дремала она. Но проснулись птицы, проснулось солнце, и лес вдруг заиграл всеми цветами и каплями. Каждое дерево стало красиво по отдельности и в то же время было частицей большого леса с мохнатой и доброй душой. Сосны, солнце, бьющее сквозь лапник, очень похожи были на наши сосны, пестрые коровы на лугах — на наших коров, и солнце было такое же. Только пастухи не наши, не в дождевиках, ичигах или котах, а в коротких штанах, как у Скапена, и еще, в отличие от наших, непривычно трезвые.

...И опять полилась музыка... Музыка не лжет, не обманывает. Потому-то картину такую можно смотреть с закрытыми глазами, и все понять, все почувствовать, и главное — ощутить, что с тобою разговаривает и страдает живой человек, и никто не помешает любить его.

Давно Толя перестал различать слова, возникающие внизу экрана, да и видел он уже плохо. По лицу катились и катились слезы. И когда в темноту отчалил белый пароход, с него раздался голос той, которая навеки покидала музыканта, перед этим успев доконать жену его, графа и Толю вместе с ними:

О прошлом тоскуя,
Ты вспомни о нашей весне!
— О, как вас люблю я! —
В то утро сказали вы мне...

Грязной рукавицей заткнув рот, захлебнулся мальчишка слезами умиления, счастья, горя и радости и неожиданно для себя услышал, как публика во тьме зала дружно зашмыгала носами.

Один только раз плакал Толя в кино, когда матрос Артем хоронил своего комиссара, закладывая его плитняком, а волны навально бились о берег, и не верилось, что

комиссар погиб насовсем. Хотелось, чтобы комиссар приподнялся и чего-нибудь сказал или хоть моргнул бы близорукими глазами. Но он не поднялся, не моргнул. Матрос бережно прикрыл могилу комиссара своею бескозыркой и ушел. Ушел мстить белякам за друзей-моряков и за родного комиссара, которого Артем сначала не слушался.

А ребята плакали. Кажется, все плакали, сколько их было в кино.

И сейчас в зале люди тоже плакали — всяк о своем. И Толя плакал о своем. Ему жалко было певицу, оставшегося на набережной музыканта, жену его, тоскующую в большой и теперь уже богатой квартире. Но еще больше жалко было Гошку Воробьева, который лежал один на кладбище в такую студеную ночь, Зину Кондакову, Малышка жаль, даже Паралитика жаль, изувеченного на всю жизнь, и Мишку Бельмастого, и Аркашку с Наташкой — рублишко вот у них зажилил...

В зале вспыхнул свет, и зрители двинулись к выходу. Те, что шли поближе к последнему ряду, вытирая глаза, невольно обратили внимание на мальчишку, сидевшего на боковом месте. Он горько плакал, размазывая грязной рукавицей слезы по исцарапанному лицу, темному от синяков и ссадин.

Артист драмтеатра — он снова никуда не торопился, — подойдя к мальчишке, весело, по-свойски хлопнул его по плечу перчаткой:

— Э-э, молодой человек! Если на заре туманной юности искусительница вбила вас в тоску, что же будет потом?

Люди кругом заулыбались.

— Как вам?! И чего вы?.. Чего вы?.. — Толя чуть не крикнул задушенным голосом: «Фасоните!», но сдержался и, расталкивая людей, выскочил из кинотеатра.

На дворе мело-завивало, свету белого не видать. Люди, вышедшие из кинотеатра, растворились в пурге, и снова стало пустынно вокруг. Лишь гуляли по городу тучи снега, и ветер рвал лампочки со столбов, и казалось — вот-вот они каплями упадут в сугробы. Снегом заносило по застрехи бараки и домишки, окончательно захоранивало не ко времени нахлынувшую весну. Она подразнила, подразнила и сгинула. И музыка эта в кино тоже, как вздох весны, как зарница, мелькнула и погасла.

Воет, завывает ветер, кружит снег, и куда-то катится, несется в темноту земля вместе с этим городишком, с горсточкой его огоньков среди огромного, неоглядного мира

и с этим маленьким человеком, который бредет, не закрываясь от ветра и снега, неся музыку в сердце, содрогнувшемся от призрачного счастья...

Он выдохся, остановился, устало сел в сугроб. Его быстро засыпало снегом. Дремота вкрадчиво пеленала в мягкое. Мысли делались плавными, уютно и покойно на сердце становилось. Запела пурга скрипкою, возник пронизанный лучами солнца утренний лес, зацокали копыта лошади, и женщина, зовуще улыбаясь, протянула мягкие, ласковые руки.

«Нельзя!» — вздрогнул Толя и очнулся, сел, свалив с себя ворох рыхлого снега. Пересиливая дрему, разом вскинулся, вскочил и побежал встречь ветру, больно хлеставшему по лицу.

Тучи снега раз-другой пробило светом. «На кухне, — догадался он, — картошку чистят на кухне», — и побежал еще быстрее, уже на последнем дыхании гнал себя к этому кухонному огоньку, и ничего не было ему сейчас дороже светящегося настоящим, живым светом детдомовского окна.

* * *

Проснулся Толя утром, задолго до подъема, облил водой, зачерпнутой из озера, полозья нарт, вернулся домой, обмел валенки, коротко постучался к заведующему.

— Валериан Иванович, скажите, чтобы мне, Женьке Шлоникову и Мишке кастелянша выдала рукавицы новые, лыжные штаны и телогрейки. Мы будем дрова возить, зарабатывать, чтобы вернуть деньги...

— Почему втроем? Разве крали трое? — хрипловатым со сна голосом спросил Валериан Иванович и, недовольно взглянув на карманные часы, лежавшие на столе, решил одеваться.

— Нам больше никого не надо. Сами справимся.

Валериан Иванович пристальней посмотрел на Толю. Парнишка был угрюм, собран, и от синяков ли, уже скатившихся со всего лица к подглазьям, или от другого чего, на всем лице его лежала сумрачная тень, а во взгляде утвердилась злая решимость.

— Хорошо, — недовольно, однако уже приветливее заговорил Репнин и тут же нахмурился. — Коллектив быстрее. Кассиршу ведь держат, не выпускают. Я думаю.

— Сами справимся, — негромко, но твердо отрезал Толя. — А она, может, поумнеет, посидит так...

Валериан Иванович растирал ладонью грудь: «Поумнеет! Ишь, как его...» Кинув на плечо полотенце, Репнин вышел в коридор и, проводив взглядом парнишку, заключил: «Взрослым становится, — и покачал головой. — Таков удел этих детей — рано становиться взрослыми. Но сколько в нем неразберихи, злости и доброты! Все в куче».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Нарта в детдоме была своя.

Она лежала в дровянике кверху полозьями. Сооружение это особенное, изобретенное краесветскими жителями и, насколько известно, ни в каких городах и странах больше не повторялось, а с северными нартами общее у нее одно название.

На отвалах лесозаводов выбираются четыре тонких, гибких доски. Две заостряются на концах и чуть стесываются топорами на изгибе. На них накладываются еще две доски и тоже немного заостряются. Концы связываются веревкой или проволокой — что есть под рукой. Меж досок вставляются два копыла. Тесины, которым предназначено быть полозьями, немножко распариваются в горячей воде.

И все. Ложись на верхние доски брюхом и гни их изо всей силы. Загнув, прибивай гвоздями одну, потом другую к копыльям и смотри: если верхние доски шибче загнулись — плохо, снег будет носом зачерпываться; а если нижние — хорошо, нарта пойдет как щука. Только для этого нужно сделать самоглавнейшее: собрать на дороге конского помета, хорошо замешать его и не толстым слоем, но и не тонким, облепить полозья. Когда замесь примерзнет к полозьям, надо взять рубанок или острый топор и подровнять его. Тогда уж обливай полозья холодной водой. Нарта получается стылая, тяжелая, но по крепости и транспортабельности нет ей в мире равных.

Свирепствовала в Краесветске еще одна стихия — в нарты запрягали собак. Нет, не тех собак, что нарисованы в учебнике географии. Ребята ловили на улице первого попавшегося пса, чаще всего какую-нибудь горемычную дворнягу, привязывали к ней нарту или ее к нарте и

гнали вперед. Ни одной бродячей собаки не осталось в Краесветске — все при деле.

Ребятишки, да и взрослые тоже, возили на них дрова, воду — все, что придется. А еще состязались в скорости и устраивали борьбу на центральной улице города.

Пробовали и детдомовцы прикормить пару чьих-то псов, но Валериан Иванович дал разгон собакам и ребятам. Да и то сказать — слишком уж быстро зажирели псы на детдомовских харчах и ничего возить не хотели.

Последними в расписании значились уроки пустяковые, с точки зрения Толи: физкультура, пение, рисование, труд, и удирать с них считалось делом привычным, — он забрал в кочегарке Ибрагима топор, пилу и затем в дровянике детдомовском осмотрел нарту. Вздохнув еще раз о собаках, он пошел на кухню. На кухне тетя Уля гремела кастрюлями. Здесь же сидела Наташка, побалтывала ногами. Перед нею на столе горсть косточек из компота и на блюдечке сгущенное молоко. На голове Наташки маком пылал и трепыхался красный шелковый бант. Его купила тетя Уля.

Наташка прижилась возле тети Ули, и, пока Аркашка был в школе, она безвылазно находилась на кухне. Тетя Уля стучала ножиком, ложками, помешивала поварешками варево и что-то наговаривала девчушке, иногда прикрикивала на нее.

Шумливая, одинокая, эта женщина так ко всему в детдоме привыкла, что называла его тоже домом. В соседнем бараке дали ей отдельную комнатку, но когда она там бывала — никто не знал. Вставала тетя Уля раньше всех, ложилась позже всех. Кто она? Откуда она? Были ли у нее когда-нибудь семья и дети? Спросить об этом никто не догадывался, а сама о себе рассказывать она, видно, времени не выбрала.

Толя тоже как-то привык к тому, что на пароходе ехала совсем другая женщина и в сушилке жила тоже другая. Очень уж переменилась внешне тетка Ульяна с тех пор, как уехала из села.

Курить Ульяна начала в сушилке, после того, как потеряла всех родных и осталась одна. Толя и сказал о ней Ступинскому, когда тот искал деловую и хозяйственную женщину в детприемник.

Поначалу тетя Уля была в нем кастеляншей, уборщи-

цей и поварихой, а потом уж твердо определилась в одной должности.

У тети Ули в доме есть любимчики — аккуратненькие, чистенькие дети и еще те, что слушались ее или делали вид, что слушались, и не крали папирос. Папиросы она зорко стерегла, прятала их в разные места и все же не могла упрятать. Были такие ребята, которых тетя Уля жалела, — это больные, убогонькие, тихонькие. Были и те, кого она презирала, но побаивалась и не допускала дежурить на кухню.

Тех, с которыми тетя Уля начинала дом, она считала вовсе своими и по-свойски вмешивалась в их жизнь, даже требовала, чтобы они показывали ей табеля, и шибко честила их за неуспехи.

К Толе у тети Ули отношение особое — как-никак почти родня. Она уважала его за начитанность, но пугалась Толькиного норова. Никак не могла она его постигнуть, потому и прикрикивала на Толю чаще, чем на других ребят, давая этим понять, что хоть он и норовист, а все же пока соплячишка.

И стоило Толе попросить для себя и для Женьки с Мишкой обед пораньше, как тетя Уля тут же подбоченилась:

— Что это? Ишь вы, деляги какие! По отдельности кормиться, с отдельных блюдов? — Оторвавшись от своих дел и прикуривая папиросу, выуженную из-под передника, тетя Уля настроилась на длинный и громкий разговор. — У меня ноги не казенные и руки тоже! — и громыхнула кастрюлями. — Ходют, бродют, а я вертись тут, жарься... Дала б я вам кушанье, будь вы мои дети, за то, что женщину безвинно страдать заставили. Березовой кашей бы попотчевала...

Толя потрепал Наташку по банту и ушел, не дослушав тетю Улю. Она завелась надолго.

Женька и Мишка Бельмастый срядились на работу, надели новые валенки, напустили на них лыжные брюки, подпоясались брючными ремнями. Сделались парни толстыми, неуклюжими. В глазах у парней возбуждение. Толя тоже начал переодеваться, а Женьке сказал, чтоб он шел на кухню к тете Уле просить обед.

— На меня она опять злится.

Женька скоро вернулся.

— Тарелки с борщом на столе. Тетя Уля шумит: «Налито, так чего не трескаете? Подогревать не стану!»

Ох уж эта тетя Уля! Второе не поставила, а прямо швырнула на стол. Но макарон все же навалила больше, чем полагается, и в компоте по полстакана косточек — этого детдомовского лакомства, из-за которого шли вечные споры и раздоры за столами.

Поели. Толя отнес Наташке косточки, ссыпал на стол. Девочка обрадовалась, захлопала в ладошки и подгребла косточки к себе.

— Поздно вернетесь — ужин у дежурных спросите! — крикнула тетя Уля в раздаточное окно и, видно спохватившись, не мягко ли у нее вышло, заворчала, орудуя у плиты: — Рабо-о-отнички! Драть некому!..

Сборы закончены. «Работнички» весело скатились на нарте под гору и очутились на протоке. Разговаривали громко. Правда, разговаривали Женька с Толькой, а Мишка лишь одобрительно помигивал живым глазом. Дорогу перемело. Нарта то зарывалась щучьим носом в снег, то катилась по выдутому льду сама и бодала ребят в пятки.

На протоке дуло. Правда, снег уже не тащило, но ветер был холодный. От весны не осталось ничего, будто ее и не было вовсе. Лишь на штабелях леса слоеным пирогом спрессовался снег, подернутый коркой льда, у берегов кочковато схватилась выступившая в оттепель наледь.

Протока. Как это по географии? Старое русло реки? Или часть реки?

Но какая же это часть?

В Краесветске протока — самое главное. С весны и до осени вся жизнь тут. И не будь этой тиховодной, глубокой протоки, и города вовсе не было бы здесь, и оставалось бы тут все мертво, пустынно, как сотню и тысячу лет назад.

Сейчас зима. Конец зимы. На протоке лед. Из него торчат сваи, бревна, щетина древесных отбросов.

Китами лежат вмороженные плоты и лодки. Облупившейся краской светят красные бакены с пустыми, безглазыми фонарями. Баркасы на берегу кверху дном опрокинуты, вехи возле прорубей поставлены, замело их до вершинок. Проруби в ямках, в заветрии.

Возле лесотасок дымится вода. Тянет из промоин прелой корой, тиной и страхом. А с пирамид лесотасок свисают огромные и грязные, как редьки, сосулищи. Обледенелые бревна нехотя ползут на скрежещущих крючьях вверх. И вдруг раздается гром, гул, рабочие внизу, бросая багры, разбегаются в разные стороны — это скользкое

бревно сошло с крючьев и, ударяясь о цепи и зубья, пластая в клочья рубаху из коры, рушится вниз.

И опять тихо, мирно, бело вокруг. Тоска на протоке. Большая тоска. Глаза бы не глядели.

То ли дело летом!

Кишмя кишит протока! Катеров, рыбосборочных ботов, лодок-моторок, пароходов разных — речных и морских — тут, как рыбки тагунка в мотне невода. А ребятишек! Ребятишек! Удят, купаются, а накупавшись, греются у костра ребятишки, потому что вода в краесветской протоке и среди лета холодная. Шныряют по пристани парнишки: глазеют на иностранные пароходы; стреляют душистые сигареты у негров; угоняют лодки от дебаркадеров и спасательной станции; жуют вяленую рыбу, потихоньку снятую с мачт рыбосборочных ботов; катаются на бревнах и плотах; принимают и отдают чалки с судов; бегают в магазины по просьбе матросов, выпивая в награду глоток-другой; вечером делают налеты в овощной совхоз на острове; палят из тайком добытого ружья. Да мало ли дел у ребят на протоке! Спать некогда.

Не то сейчас, совсем не то.

Пароходы и баржи спрятаны в затон, в устье речек — в Медвежий и в Волчий лога.

Отстаиваются.

А в устье Волчьего лога у барж шла работа. Выморaживались баржи. Люди поддалбливали пешнями лед и постепенно забирались под брюхо барж, укрепляя их на деревянных клетках, проконопачивали суда, делали ремонт и пробивали для них ход в лог. Весной поднимется вода, баржи сгрудит в стадо за мысом лога, и они будут смирно стоять, пока не протащится лед. Затем баржи выведут по большой воде пароходами в протоку и отправят куда нужно с караванами.

Возле одной баржи горел костер, на нем котел со смолой. Вокруг толпились, потанцовывали, хлопали себя сами, почти все толсто и одинаково одетые люди. Поодаль, у другого костра, грелись стрелки. Из тех мужиков, что толпились вокруг котла, один колобком подкатился к ребятам. Стрелки сделали вид, будто нарушения не заметили.

— Нет ли курить, мальцы? — то и дело озираясь, неестественно бодрым голосом вскрикнул подбежавший. Подбородок у него прихвачен обледенелым от дыхания серым полотенцем. — Курить, хлопцы, не найдется? — повторил он вопрос и, подмигивая, пытался улыбнуться стылыми губами.

Толя знал: ни у Женьки, ни у Мишки курева нет, и все же смотрел на них — вдруг завалялось где? Они виновато переглянулись:

— Нету, дяденька.

— Пошукайте, родимые, может, где в карманах, в швах, пусть хоть с крошками. Разок бы зобнуть!

Ребята послушно обшарили карманы, вывернули их — нет ничего. Штаны и телогрейки из кладовой. Уже отчаявшись, человек, прибежавший от костра, быстро заговорил:

— Мы здесь все время работаем. Уведите табачку у корынцев, у папочек своих...

— Мы детдомовские, дядя.

— А-а, детдомовские! — обрадовался незнакомец, и сразу тон его изменился, сделался родственней: — Ну, вы-то достанете... Хоть бычков соберите...

— На место! — крикнул один из стрелков, и человек так проворно стриганул от ребят, что диво-дивное, будто и не было на нем тряпья, толсто подшитых валенок, латаных ватных штанов и бушлата, под которым чего только не надевано.

Ребята помаячили было людям у костра: завтра, мол, но стрелок и на них прикрикнул:

— Давай, давай отсюда!

До самого леса ребята виновато молчали. В лесу расшумелись. Дроворубы-шабашники, побывавшие уже здесь, проторили дорогу по Темной речке, узкую, правда, но проторили. А в лесу всяк торил себе ус. Ребята упарились, пока пробились к ложку. По скосам ложка кучками стояли узловатые, корявые лиственницы. В теплых краях купыри внушительней этих деревьев выглядят. Одно деревце отоптали, припялись попеременке подпиливать. Вскоре телогрейки побросали на снег, работали только в лыжных куртках.

Ширк-ширк! Ширк-ширк!.. Женька совсем плохо пилит. Толя тоже не сноровист по этой части. Никакого труда в детдоме нет. Не приучены к работе. Дрова, правда, возят и пилят сами. Но что на сотню голов те дрова? С удовольствием и веселостью сделают десяток резов — и больше уже не достается пилить, а только складывать.

Стоячее дерево подпилили криво, вернее сказать, перемозолили лиственницу. Мишка, поживший в бараках и изведавший всего барачного, терпеливо учил Толю и Женьку.

Ширк-ширк...

Наконец лиственница хрустнула, словно костяная, и упала в снег, искрошив черные сучья.

Сели передохнуть.

— Наденьте фуфайки, — подсказал Толя. — Простынете. А нам еще работать да работать... Ни шиша не умеем, воровать только.

Ребята как воды в рот набрали, ни звука.

Редкий лес, подбитый березкой да чахлым ельничком, чуть пошумливал на ветру. В нем было просторно и уныло. Весь он просматривался насквозь. Строчки следов белых куропаток петляли меж деревьев по свежим наметам, и кое-где в них вплетались быстрые, крадущиеся следы песцов. В озеринах и логах, где козырьком нависали тальники, сплошная топанина. Снег истолчен дикими оленями, мохнолапыми куропатками и зайцами. Весь лес искрился и позванивал. Он покрылся ледком после оттепели и теперь, шатаясь, расковывался. В снег сыпались ледышки, дырявили его сахаристую гладь. За речкой по сухой гриве темнела стена кедрачей. Сюда осенями ходили ребята за шишками. Зимой кедрач казался гуще, строже и печальней, будто грустили кедры по лету и по шишкам. Впрочем, в Заполярье все вечно ждут лета и вечно грустят о нем.

Под мягким снегом, набросанным ночью метелью-перекруткой, крепкий наст. Ребятишки провалились неглубоко и поэтому не сразу выдохлись.

Они раскряжевали лиственницу на три части, каждый кряж вывезли по отдельности к дороге и там уж погрузили на нарту. Потом свалили еще одно дерево. Получилось шесть кряжей, но воз все равно мал.

— На первый раз хватит, а там видно будет, — рассудил Толя.

Мишка ничего не сказал, впрягся в коренники; Толя с Женькой в пристяжку. И двинули. Сначала на Темную речку, а по ней уже на протоку.

По речке, почти сплошь затянутой стылой наледью, тонко припорошенной снежком, нарта катилась ходко и даже кое-где норовисто рвалась вперед, и ребята со смехом тормозили ее: «Ну ты, все бы брыкалась!»

На протоке подпалегли на лямки. Мишка с Толей впереди супряжно тащили, а Женька толкал воз сзади. Перли воз молча. Ругались по-мужицки, основательно, если нарта застревала в наметах или съезжала с дороги на раскатах.

За поворотом протоки показался город. В нем зажигались огни. Возле порта, за причалом, в скоротечных сумерках чуть виднелись привязанные к столбам самолеты, будто лошади у стойл. Один маленький самолет был оранжевого цвета и угольком светился на снегу.

По мере того как разгорались огни в городе, затухал уголек-самолетик на снегу и пестрая «колбаса», качающаяся на мачте над зданием авиагидропорта, погружалась в небо, в сумерки.

Издали город, прилепившийся на правом берегу протоки, почти в устье ее, казался разбросанным, дома в нем разбрелись куда попало: где густо, где пусто, будто с самолета горстями раскидывали дома по лесотундре. Но вот зажглись огни повсюду, домов не стало видно, и все приобрело порядок. Огни городские всегда что-нибудь прячут, скрывают собой. Почти сливаясь в сплошную цепь, окаймляют пятна огней лесобиржу. В середине ее, возле штабелей, уже редко и нехотя помигивают полуслепые лампочки. Ближе к Старому городу, у проходных, гудят непрерывным гудом лесовозы. Возле них огней больше. В Новом городе еще один квадрат — самый светлый — каток. На окраине уже квадрат не квадрат, а кривая дуга из лампочек, вытянутая вдоль берега, — нефтебаза.

Город заключен в огни. Люди живут и работают, высвеченные со всех сторон, а за ними темнота без конца и края. Верстах в девяноста от города, в сторону севера, лес исчезает совсем. Там тундра. Там ночь светлее от снегов, незатененных лесами и жильем. Ночь беспредельная и неспокойная от позарей.

Ребятишки по-своему любили свой снежный, заброшенный на край света город. В нем меньше радостей, чем в других городах, и оттого эти радости запоминались надолго и ценились своей дорогой ценой.

* * *

Самая большая радость в городе Краесветске — первый пароход.

Его начинали ждать сразу же после ледостава. И все разговоры, о чем бы они ни шли, никак не могли миновать первого парохода.

Стоят бабы в магазине в очереди, судачат, ругаются:

«Вот придет первый пароход, и понавезут всего: и картошки, и луку, и свеклы. Тогда у них сушенку никто не возьмет. Пусть сами едят!»

Расшумится нервный человек на производстве и грозит: «Ладно, до первого парохода дотерплю, а там вы меня только и видели!»

Совсем плохо хворому в больнице, смерть подходит, а его доктора обнадеживают: «Ничего, голубчик. Дотянете до первого парохода, а там уж...»

Там уж и сам больной знает, что все будет хорошо.

Жители вольные, те с середины зимы, как наступят морозы да длинные ночи, клянутся часу не остаться здесь, наплевать на большие деньги, на все блага, уехать куда глаза глядят.

Первый пароход ждут ученики-отличники, жаждущие за успехи попасть на разные слеты, в лагеря, а кое-кто даже и в «Артек».

Его ждут артисты драмтеатра и сама «аргонавт искусства», как называют в местной газете знаменитую московскую артистку, добровольно приехавшую работать на Север. Она вместе с другими артистами на лето ездит в Москву отдыхать и набираться мыслей.

Пароход ждут летуны, зазимовавшие здесь оттого, что пропили денежки и осенью им не на что было выехать.

Ждут рыбаки, прихваченные шугой в пути и тоже спустившие заработки от безделья, зимующие с судами, не поднявшимися к родному затону. Отпускники, уволенные в запас военные и всякий разный народ спит и видит первый пароход!

И вот после частых и продолжительных задержек в пути с юга на север является капризная, избалованная вниманием певцов и поэтов весна. Утомленная приходит, цвет и краску порастерявшая, но здесь и такой бедноватой весне рады.

Распирает нетерпением город, и все куда-то спешат, о чем-то громко говорят, поют даже и слушают сводку погоды, как ее никогда и нигде не слушают.

Если случается весной такой же зазимок, как нынче, город совсем замолкает, молчаливыми становятся жители его. В такую пору бывает много драк. Каждый день ползут слухи один страшнее другого из барака в барак, из дома в дом.

Нехорошо бывает в Краесветске, если задерживается

весна. Однако весна все равно наступит. Непременно придет...

Заюлят ручьи по городу, засинеют лога на острове, зашелушится, блеснет оголившимся мокрым льдом река. Видна сделается вся нерадетельность людская: брошенные на лед доски, бревна, лебедки и даже машины выпрут наружу и будут укором маячить, пока не утащит ледоход все это казенное добро. Баржи и лодки уведут с фарватера в закоулки. Перестанут летать и садиться на протоку самолеты.

Город на какое-то время останется без почты, без газет и новостей.

Но издалека по каким-то неведомым проводам идут слухи:

«Говорят, возле Вейска подвижка была!»

«Да что вы мелете ерунду! Возле Вейска уже пароходы шпарят, а подвижка наблюдалась у Ханска!»

«Так это что же выходит, — дня через три-четыре и у нас подвижка будет? А потом?..»

Что будет потом! Потом, как обычно, нарушив предсказания, протомив лишнюю неделю, а то и две краесветских жителей, неторопливо, надменно двинется широкая река. Следом за нею, как падчерица, послушно тронется тиховодная протока. И весь народ, какой свободный от работы и занятий, примчится на берег.В школах начнется повальная симуляция. С каждым днем станет подниматься, что квашня на опаре, возбуждение, и все будет казаться, что река нынче пошла неходко и вообще в природе с годами что-то не так делается.

Вот раньше бывало...

У Плахино вон затор будто бы образовался! С чего бы? На Севере, в таком широководье — и затор! Вот и смекай что к чему? Радио? Радио, оно и есть радио, а жизнь, она, брат, не по радио идет, она, брат, о-го-го!.. Да что за примером ходить? Возьмем погоду опять же...

Но тут скрипуны, а их на берегу не так уж много, стопорят.

Дело в том, что с погодой в Краесветске происходят вещи прелюбопытные. Климат здесь сделался мягче, слух есть, что скоро в Краесветске прямо под окнами возделают огороды, будет расти картошка, капуста и так далее.

Говорят, будто бы там, где появляется человек, вообще теплее делается. Земля вроде бы добреет.

С этим, конечно, спорить трудно. Вот он, Краесветск,

вот она, земля, вот он, остров, и на нем овощи растят уже в открытом поле. Вот он тебе и Север! И вот он, ледоход! Побыстрей бы ему, ледоходу-то быть. Да уж и то хорошо, что пошел лед, что весна, что климат лучше делается.

А как же иначе? Человек, он... И по радио опять же сообщили...

Спор на берегу непостоянен. Он волнами ходит, и что на волну попадает, о том и спор.

Вон ребятишки спорят, смотались из школы и спорят. Тема спора: какой пароход придет первый? «Спартак» или «Ян Рудзутак»? Одни говорят: «Спартак», другие — «Ян Рудзутак», третьи — «Косиор», превращая его при этом в «Костиора». Четвертый заявляет, что придет вовсе новый пароход, невиданный по красоте и неслыханный по силе, и что «Рудзутак» теперь уже вовсе не «Рудзутак», и «Косиор» вовсе не «Косиор», и все пароходы совершенно по-другому называются.

Всезнаек в Краесветске не любят и боятся, поэтому могут люди примолкнуть и разойтись, а если под горячую или пьяную руку попадешь — ребра переломают. Не ври, не болтай! И без того слухов много, и один другого нелепее, непонятнее...

Поредел лед на реке.

Косяки уток стригут над водой, падают у берегов, ждут, когда сойдут ледяные бельма с озер. Тальники по берегам и устьям речек залило. На кусты крысы повылазили. Их ребята достают палкой, к концу которой прибит острый гвоздь. Сдают шкурки по двадцать копеек за штуку в «Охотпушнину». Курева и конфет у ребят полны карманы, бойней от них разит.

Вода прибывает и прибывает. Уж вровень с ярами сделалась, смыла ледяные гряды по берегам и, миновав этот рубеж, пошла вода по логам в город, подняла хлам, своротила ларек, сапожную мастерскую, многочисленные поленницы и потащила все это по улице Смидовича, как по бурной реке, переворачивая и ломая. На протоке течение сделалось мощнее, а уж по реке и вовсе несет так, что моторки и те еле-еле поднимаются.

Но вот совсем очистилась ото льда и загрустила по пароходам пустая протока.

Редко-редко пронесет по ней заблудшую льдину, редко-редко проплывет бревно-утопленник, измученно погружаясь в воду и затем ниже по течению выбиваясь тупым срезом из воды. Тащит хворост, щепу, кружит не-

фтяные пятна, шлепается глина из подмытых яров. Поднялись, воскресли кусты по берегам. Все в тине, все измученные водою, они торопятся с листом, готовятся раскрыть на вершинах почки, иначе не успеть — лето здесь не любит ждать.

Протока пуста. Город полон ожиданий.

И как всегда, ожидание разрешается внезапно:

«Иде-о-о-т!!!»

Все, кто способен двигаться, сломя голову бегут на пристань.

В иную весну раз по пяти паника в городе поднимается из-за какого-нибудь рыбосборочного бота либо катера паршивого, показавшего дымок у горизонта.

Боты, катера ходят, чтоб они все перетонули! А парохода все нет. Раздражение нападает на людей, недовольство — ребятишки под руку не попадайся.

Когда все уж устанут, изнервничаются, показывается он, пароход!

Ребятишки лезут на крышу давно не работающей графитной фабрики, на столбы и снова спорят: кто это — «Спартак» или «Ян Рудзутак»? Но важно это уже только мальчишкам. Главное — идет! И не какой-нибудь катеришко, а самый настоящий белый пароход! Приблизившись к совхозу, что на острове Полярном, он начинает отрабатывать к другой стороне реки, к маленькому поселочку, и удаляется, удаляется...

Все знают, чтобы зайти пароходу в протоку, нужно обогнуть ягру — отмель, уходящую от мыса острова в реку, сделать большое полукружье, и все же находится худой человек. «Этот вовсе и не к нам, а в дальний порт!» — худым своим языком роняет он сомнение в публику.

Проносится ропот, бабий стон с причетом: «Да что же это такое? Ждешь его, ждешь, а он...» — «Да чего вы орете? — успокаивают их и себя мужики. — Как это он может мимо пройти? Сроду не бывало!»

И правда, сроду не бывало, чтобы первый пароход прошел мимо Краесветска. Ох, бабы, бабы!.. А где тот змей, что панику наводил? Змей примолк, затаился...

А пароход-то, пароход все идет да идет к прибежищу!

И плицами похлопывает: хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп!

Конечно, отсюда плиц не услышишь. Должно быть, это истратившееся сердце каждого краесветского жителя хлопает так ладно да громко. Ребятишки и мужики кото-

рые, не выдержав, бегут навстречу пароходу по берегу, соскальзывают по глине, скатываются с яра, машут руками, кричат всякую всячину.

Капитан, зная, как здесь ждут первый пароход, нажимает на гудок еще вдали, в самом устье протоки. Вспыхивает белое облачко над трубой, и спустя длинное время до города долетает мелодичный гудок. Тут же с лесозавода ему радостно откликается городской гудок. Весь берег ревет, как на стадионе, чего попало. Духовой оркестр ударяет в тарелки. Теперь оркестр будет играть до тех пор, пока у музыкантов не кончится дух.

Берег кипит, волнуется. Люди в праздничной одежде. Откуда-то и пьяных уж дивно набралось. Они плачут, ругаются, в воду лезут. Женщины вытаскивают их из воды, дают по загривкам. Мужики не обижаются на женщин — не тот момент.

Пароход возле самого прибежища, бочком-бочком подваливает он к дебаркадеру.

Все лезут на мостки.

Ребятишки, как обезьяны, карабкаются по канатам. Слышатся разнородные крики: «Карау-у-у-ул! Ратуйте-е-е! Ал-ла-а!..» Трещат сходни.

С парохода бросают чалку. Народ грудится на дебаркадере, каждый пытается лично схватить бечевку легости. Шкиперу дебаркадера никак не подойти к чалке. Он кроет публику, не подбирая выражений, — сорвал голос, и теперь уж все лето будет без голоса.

Капитан что-то дудит в рупор, не разобрать.

На берегу бухает оркестр.

Визжит девка, придавили ее, должно быть, а может, и щекотят охальники под шумок.

С парохода кричат. С дебаркадера кричат: «Анька! Анька! Я тебя узнал!», «Тихон, а Тихон, да где же вы так долго, мать вашу, размать вашу!», «Товарищи! Граждане! Не напирайте! Товарищи! Дайте трап сбросить!», «Сбрасывай! Кто тебе не велит?», «А где Марья-то, где?», «Марья, брат, преставилась. Осенесь еще...»

Кто-то запричитал.

Кто-то рванул гармошку.

Хрястнули мостки на дебаркадере. Народ заплавал. Утопленники будут. Это уж непременно. Без этого весной никогда не обходится...

Команде все же удается просунуть трап прямо в народ торцом. Хлынула толпа с обеих сторон, обнимаются, це-

луются, плачут. Ребятишки шныряют по пароходу. Пьяные рвутся в пароходный буфет, к пиву. Всю зиму не пробовали — в Краесветске пивзавода нет.

С борта парохода летят узлы, чемоданы. Один узел развязался, посыпались из него чугунки, ложки, поварешки, бутылка с красной соской разбилась.

Капитан парохода смотрит на все это спокойно. Такая уж стихия. Привык.

И вот все. На пароходе народа нет. А на берегу табор.

С этого дня в городе начинается совсем другая жизнь. Такая жизнь, что и уезжать никуда не хочется.

Правда, какого-то особого чуда, по которому так томились души людские, не произойдет. Те, что клялись плюнуть на все и уехать куда глаза глядят, обрадуются долгожданному лету. Им теперь зима кажется далекой и нестрашной. Да и подниматься надо, тащиться куда-то от хороших заработков. Стоит ли?

Вербованные, промотав деньги, завербуются еще на лето и осенью опять пропьются до порток. Рыбаки уплывут обратно на свои северные тони. Многих и многих первый пароход забрать на магистраль не сможет, ему есть кого везти, и срочно везти. Он, как правило, приходит «спецрейсом».

Но уже теперь ждать недолго.

Следом за этим пароходом пришлют еще один, потом еще, еще...

Пойдут караваны.

Через месяц-два забасит заморский гость, и до самой осени, до октября, будут гудки, гудки, гудки...

* * *

Тоскливо скрипит нарта на той самой протоке, где летом кипит тесная и шумная жизнь. Спешит нарта к тому самому городу, у которого от ледохода до ледостава вроде бы и шапка набекрень.

Вот и ввоз. Меж полозьями ископыть лошадиная вперемешку с навозом. Хорошо — ноги меньше скользят. Навалились ребята, вытянули нарту с возом на яр. А тут и театр рядом! За ним город в пухлых дымах, наполненный треском мороза, крепнувшего к вечеру.

Лихо подкатили ребята к театру. У-у-уф! Упарились! Но воз в другой раз можно прибавить.

За театром, возле кочегарки, шла работа. Шабашники рубили макаронник — отходы с лесозавода, пилили лиственные кряжи на метровые чурки, раскалывали их клиньями надвое. Макаронник горит, как хворост. Жару от него мало. А вот когда к макароннику добавят мерзлых поленьев, тогда зрителям тепло и артистам жарко.

Там и сям виднеются кучки бревешек. Каждый шабашник выкладывает свою кучку, свой штабелек. Завхоз театра, когда его пригласят, обмеряет кучку, черкнет в блокнотик — и будьте здоровы, получайте денежки.

Ребята свалили свои бревешки в сторонку и пошли домой. У них еще замерять нечего. Вот уж дней пяток поработают, тогда сдадут свою продукцию. А пока домой. Сегодняшний упряг — худо ли, бедно ли — сделали. Начали. Начало есть! А начало — всему венчало.

Нарту поставили в дровяник, резво катнулись по крашеному полу коридора на стылых валенках — и в столовку. Холоду нанесли с собой, шуму полную столовку. Тут же на стулья покидали шапки, телогрейки — замелькали ложки. Тетя Уля домой не ушла, кормит ребят, любуется ими исподтишка, борща оставила от обеда, и гречневой каши, да еще чаю горячего. Сухариков к чаю дала и молока сгущенного. Это уж сверх всего, как ударникам.

Все смолотили ребята. В сон потянуло. Но еще надо уроки делать. Ох уж эти уроки! Пропали бы они пропадом! А делать надо! В другой раз и плюнули бы, как-нибудь выкрутились бы. Сейчас умирай, но домашнее задание делай. Иначе дадут взбучку и не отпустят на работу.

Собрались в красном уголке. Лица горят от ветра. Посторонний народ из красного уголка выдворили. Остались Наташка и Аркашка.

Толя проверил Аркашкины тетради, посмотрел дневник и почесал затылок: «Мне бы так!» Наташке дал обертку от конфеты «Мишка на Севере», найденную у театра. Она довольнехонька, фантик из «Мишки» свертывает.

Толя полистал литературу. Задание: пересказать своими словами содержание поэмы Лермонтова «Мцыри».

«Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас...» — пробормотал Толя и посчитал, что этих строчек достаточно. Дальше уж как-нибудь само собой расскажется. «Свободолюбивый образ, дитя гор», «проклятое время, когда царил мрак, суеверие, страшный закон...», «но люди согревались мечтами о свободе...». Главное, насчет мечты не забыть, все, мол, мечты исполняются в наше

время, и сказка становится былью. Это учителя очень даже любят, когда своими словами.

С литературой покончено. Для Толи литература — пустяк. А вот с алгеброй и геометрией хуже, тут насчет мечты не загнешь. Решай задачу и еще доказывай, правильно ли решил ее, подлую. Не докажешь — пеняй на себя и на Изжогу. Завтра Толе опять придется списывать по алгебре и по физике у тех, кто хорошо учится по этим предметам и плохо по русскому и литературе. Взаимовыручка — главный конь в учебе. Без него никуда не уедешь...

Полистал, почеркал Толя кое-что, вызубрил одну формулу по физике на всякий случай — Изжоги он побаивался. И подался в свою комнату — книжечку почитывать. Женька и Мишка остались, хмурят лбы, пыхтят.

В коридоре шло состязание на бильярде. Трое или четверо мальчишек сидели уже под столом и кукарекали. Вокруг бильярда ковылял Паралитик и натыривался на ребят, пытаясь сыграть без очереди. Ребята не обращали на него внимания. Толя попер на Паралитика грудью:

— Ты, чувырло, цыть с глаз, пока я тебя не доделал!

— Кто?

— Я!

— Ты?

— Я!

Они стоят, поталкивая друг дружку плечом. Ребята перестали щелкать шарами на бильярде, посматривают. Те, что под столом, откукарекались.

У Паралитика спеклись и потрескались губы. Под глазами черно. Лицо его еще больше пожелтело и усохло. Должно быть, занемог после боя Паралитик и потому не показывался дня два из комнаты. Деменков куда-то исчез, он и раньше пропадал по нескольку дней, а иногда и по неделе, кантовался в «Десятой деревне». Появлялся сумрачный с перепоя, отсыпался сутками.

Паралитик без Деменкова — нуль. После драки — и того меньше. Малыши еще побаивались его по привычке, но те, что побольше, или избегали, или не уступали. А Толя настырничал, рыпался. Он так напоследок двинул Паралитика плечом, что тот едва удержался на костыле. Ребятишки кругом прыснули.

— Отойдем в сторонку, шибздик! — прошипел Паралитик, по-блатному пришепетывая, чтобы хоть этим прикрыть свое унижение и сохранить гонор.

— Чго, думаешь, испугаюсь? — Толя двинулся в раздевалку.

Ребятишки следом. Меж ними Маруська Черепанова шныряет, принюхивается. Мелькнуло за спинами ребят встревоженное лицо Зины Кондаковой, и Толя совсем распетушился и на Паралитика глядит с вызовом.

— Ты лягаш! — сказал Паралитик Толе, будто и не замечая притаившихся в раздевалке ребят, но говорил так, чтобы им тоже было слышно. — Перышко по тебе скучает! Перышко!

— А чего это, перышко-то? — явно издеваясь, спросил Толя и поковырял мизинцем в носу.

— Перышко? — растерялся Паралитик. — Перышко-рондо! — многозначительно сощурился он.

— А-а, — снова с издевкой протянул Толя. — Я рондом не пишу. «Союзом» больше, — намекнул он, и Паралитик аж подпрыгнул на костыле.

— Живешь до парохода, лягаш, понял? Нас — в исправиловку. Мы тебя — к маме. Понял?

— Ты, моща из святой обители! Будешь на ребят тыриться — и до парохода не доживешь! Задавлю! Припухни, как мышь в норке!

— П-п-псых! — прокатилось по всей раздевалке.

Очень уж ребятам понравилось, что Толька не сдрейфил. А больше всего им поглянулось, какому унижению подверг Паралитика Толька учеными словами. «Хорошо, что книжки читает: скажет — как оплеуху даст! Вон Паралитик-то скис и в комнату потопал, тук-тук костыликом». Вслед ему свистнули. Он обернулся и, оскалив зубы, погрозился костылем с железной блямбой. Топай, топай, не больно теперь костыля твоего боятся!

А Толька молодец! Он идет по коридору — грудь колесом, и всяк старается попасть ему на глаза и услужить чем-нибудь. Но Толька бескорыстный человек, никаких услуг и наград не требует. Он герой новой формации! Эх, не забыть бы ему еще этими словами на литературе бухнуть! Сразу «отлично» поставят. В крайнем случае «хорошо».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Деньги чаще всего водились у Маруськи Черепановой. Дядя ее до водопровода греб деньгу, что капиталист. Тогда люди бегали на протоку с ведрами и на речку — не больно это сподручно, особенно зимой да в метели. Воду

развозили в бочках по домам и баракам, копейка ведро. Дядя, встретив племянницу на улице, садил ее рядом с собой на бочку, расспрашивал про жизнь. Сам тоже не молчал. И Маруське становилось известно: кто где и как живет; кто кого побил или побить собирается; кто не скупой и не просит сдачи с гривенника, кто ждет эту сдачу, дрожа на улице с ведром из-за какой-то паршивой копейки; и какая будет погода: если худая — прибыль, хорошая — убыток; и что кино новое привезли, жуткое, про летчика, как он с неба упал; и что пожарного с работы сняли — уснул на каланче.

В последнее время из-за водопровода Маруськин дядя урезал гостинец до гривенника, но деньги все же у Маруськи водились — скапливала. И хотя она девчонка, просить деньги у нее не стыдно, потому что она хоть и выжига, но «своя в доску».

Толя скараулил Маруську на перемене у школьного буфета.

— Манька, дай мне тридцать пять копеек взаймы. — Тридцать пять копеек стоила пачка махорки. — Нет, дай лучше семьдесят. Заработаю — верну.

Маруська не сразу дала деньги, хотела выведать, куда они ему и зачем. Однако Толя хорошо знал Маруську и давнул ей пальцем нос:

— Много будешь знать — скоро состаришься!

И тогда Маруська, несколько разочарованная, развязала зубами носовой платок, в уголке которого был свернут фантиком рубль.

— Разменяй, — сказал Толя. — Мне нужно семьдесят копеек.

— Ладно уж, бери уж, — сказала Маруська недовольно и, убегая, зыркнула глазами. — Хоть сколь задавайся, я все равно узнаю про все...

«Узнает ведь, узнает, пройдоха! — почесал затылок Толя, засовывая деньгу в столбик рубашки, специально распоротый для того, чтобы прятать туда разные ценности. — Надо бы Аркашке с Наташкой за рублишко дяди Ибрагима купить чего. Ну ладно, заработаем, и я им не на рубль, а на тройку накуплю всего...»

С последнего урока ребята опять удрали. Пообедали и рысцой двинули на протоку. Возле порта забежали в ларек, в который во время навигации не протолкнешься, а сейчас в нем пусто. Продавец, хромой еврей по фамилии Кисский, а в народе — Киска, грелся у раскаленной печ-

ки. На рубль и мелочишку, копеек двадцать, завалявшуюся у Женьки, Киска дал целый карман добра: две пачки махорки, пачку «Ракеты» и еще три книжечки тонкой курительной бумаги добавил от себя, узнав, куда и зачем потребовалось ребятам курево.

Для начала парни по «ракетине» закурили сами.

Женька накашлялся до слез, но выдюжил, докурил папироску до мундштука. Кинули окурки в снег, упали на нарту, скатились с яра и опрокинулись в снег. Фартовая жизнь!

Ветер утих. Спокойно было и немо все вокруг. Рыхло наметенный снег чуть искрился. Небо серое. Из него высыпались редкие, ленивые снежинки и медленно, косо плыли в воздухе. Вороны, куда-то исчезавшие зимой, в ростепель появились и теперь кружились над протокой, каркали недовольно: дескать, была весна — и нету! Каркали, каркали вороны и черной шайкой подались к острову, в совхоз, — там есть чем поживиться.

На острове дымят избушки. Сотнями кошачьих глаз горят в теплицах стекла, где колдует уж который год женщина-агроном, приехавшая из Ленинграда. Недавно ее сфотографировали в газете, потому что она орден получила за картошку, за лук и еще за разные овощи, которые она вывела в теплице, и приучает их расти в Заполярье. Вот уж не думали ребята, что за такую работу ордена дают! Зимовщикам, пограничникам — это другое дело, те замерзают во льдах, диверсантов ловят. Герои!

Морозец стоял градусов на пятнадцать — звонкий морозец, и не верилось, будто совсем близко, в теплицах совхоза, зеленело все, и даже огурцы цветут желтеньким. А ведь цвегут, точно, ребята сами видели, когда ходили на экскурсию в совхоз прошлой весной.

Мимо парнишек с лаем и воем промчалась собачья упряжка. В упряжке коренниками шли три шавки, за ними — два лохматых пса. Псы гавкали, наступали на пятки шавок. Те, высунув языки, мчались во весь дух. Хозяин благодушно лежал на нарте и ни во что не встревал, а курил себе цигарку и ехал по дороге за дровами в лес.

Завистливыми взглядами проводили упряжку ребята. Поравнялись с логом, где у баржи орудовали пешнями люди. Продолбленная ими в толстом льду майна курилась студеным парком. По ту и по другую сторону майны, в которую целилась тупым носом баржа, лежали горы синего толстого льда.

У костра никого не было. Видно, не наступило время перекура. Но стрелки, их было трое, сидели на бревне и на чурбанах возле огня, не обращая никакого внимания на тех, кого стерегли. Убежать из Краесветска можно только летом и весною, ближе к пароходам. А сейчас куда побежишь? Вот и торчат стрелки для вида и для порядка.

Ребятишки подвернули к костру стрелков. Те уступили им место на бревне, и один стрелок, в буденновском шлеме, с помороженными щеками, полюбопытствовал:

— По дровишки, мальцы?

— По дровишки. — Толя достал пачку «Ракеты» и небрежно щелкнул по ней. — Закурите.

— Отчего и не закурить? — согласился второй стрелок, кряжистый, пожилой, с клешнястыми руками.

А третий стрелок, тот, что сидел на чурбаке, должно быть старший, потому что у него был наган, а не винтовка, упрекнул ребят:

— Молокососы, а туда же, курить! — но папироску тоже взял.

— Мы не курим, — отозвался Толя. — Это мы для форса. Берите, берите, — заметив нерешительность молодого стрелка, заторопился он.

Стрелок поглядел на старшего. Тот поморщился вроде бы от напахнувшего на него дыма и ничего не сказал. Стрелок сунул пачку «Ракеты» в карман полушубка. В это время к костру, как и вчера, колобком подкатил кругленький, тот, коренастенький парень в строченой бушлатине и, преданно глядя на стрелка с кобурой, нарочито бойко спросил, будто отрапортовал:

— Перекурить разрешите, гражданин начальник!

Стрелок с кобурой неторопливо пошевелил валенком головню в костре и нехотя, как полководец, кивнул.

— Пер-р-реку-у-ур! — заблажил на всю протоку колобок и, укатываясь, подмигнул Толе: дескать, мы тебя помним и ждем.

— Можно отнести им закурить, гражданин начальник? — немного робея и льстиво называя стрелка гражданином начальником, попросил Толя.

Два стрелка тоже просительно глядели на начальника. Тот снова пошевелил головню, снова поморщился вроде бы от дыма и лениво разжал губы:

— Один. Остальные на месте.

«Ай да «Ракета»!» Толя поспешил к барже и вмиг оказался в кругу людей, одетых в одинаковые бушлаты, в

шапки с крысиными меховыми ушами. «Вот куда так много шкурок-то крысиных идет!» — сделал он открытие, вспомнив, как люто и небрезгливо изничтожают веснами крыс городские ребята, и детдомовцы не отстают — им тоже деньги нужны. Парни лупят водяных крыс и свежуют, а девки «с крепкой кишкой» обезжиривают, обрабатывают и сортируют шкурки.

Все работавшие у баржи грудились вокруг огня, будто заклиная духов, тянули руки к нему. Почти у всех струпьями сходила со щек, с носов и ушей помороженная кожа. Все они небриты и толсто одеты. Все усталы и покорны.

— Здорово, браток! — поприветствовали Толю сидящие у костра.

Они не спрашивали насчет курева. Они деликатно ждали, взглядом прощупывали карманы мальчишки. У круглого колобка жадностью горели глаза. Толя не стал томить курильщиков, скорее вынул табак.

— Есть махорочка, есть! Курите, пожалуйста!

Куда и как исчезли обе пачки махорки, когда и как успели эти люди скрюченными от холода пальцами свернуть цигарки, Толя не заметил. Враз все задымили, гулко закашляли, заплевали, принялись со сладкими стонами лаяться.

Лица у всех сделались довольные-довольные.

— Дров добавьте в костер, дров! — спохватился молодой парень в реденькой, но пушистой от куржака бородке. Губы у него сухие, растрескавшиеся, нежные, избалованные когда-то были эти губы, вот потому и изветрели сильнее, чем у его напарников — мужиков.

— Да, да, — разом поддержало несколько голосов. — Пусть корешок погреется.

Кто-то метнулся за дровами. Больше эти люди ничем не могли отблагодарить Толю за добро. Он, счастливый тем, что смог им услужить и что среди этих людей быть не так уж страшно, как думалось прежде, возразил:

— Да сидите, сидите, я же не замерз. Я ж из тепла, — и вдруг осекся. Кто они, откуда? Всякие, наверное, тут: бандиты и головорезы — преступники, одним словом. А вот нету против них сердца у Толи. Мальчишка, конечно, и не подозревал, что сейчас в нем пробудилась и заговорила российская жалость, та ни с чем не сравнимая жалость, которая много вредила русским людям, но и помогала сохранять душу, оставаться людьми.

— Я ж говорил — принесет! — нарушил молчание

колобок. Полотенце, намотанное им вместо шарфа, приспущено, он хлебает, хлебает дым от цигарки: — Наша кость, подзаборщина! — хлопнул он Толю по коленке.

— Ну, как вы живете-то хоть? — спросил широкоплечий мужик не в бушлате, а в озеленелом старинном полушубке. Он, кажется, один только и был не обморожен. Взглядом и голосом этот мужик напоминал Валериана Ивановича, но говорил по-деревенски, на особый манер, растягивая «е» и чуть заметно мягко окая.

— Хорошо живем, учимся. Ну, учимся кто как. Ничего в общем.

— С питаньишком-то как? — задал человек этот, в полушубке, непременный мужицкий вопрос. — Чем хоть снабжают?

— Ну, чем? И кашей, и супом, и компотом, и какао дают.

— Какаву? — изумился мужик. — В детдоме — какаву?! В детдоме!

— А что?

— Заливаешь, парень! Коли б какавом кормили — не поехали бы в лес за дровами, — деликатно не согласился заключенный, присевший на корточки к огню, обутый в новые валенки, подпоясанный ремнем без пряжки.

— Да мы дрова возим не себе, — отозвался Толя, не понимая, почему ремень без пряжки.

— А кому же?

— Ну кому, кому?.. Надо одно дело провернуть...

К огню сунулся узконосый такой и узкоглазый парень небольшого роста, сильнее всех обмороженный, запаршивевший, в издырявленной от огня одежонке, и полюбопытствовал — с ними ли живут девчонки?

— С нами. А с кем же им жить?

Узкие глаза человечка замаслились, сделались еще уже, и он сунулся чуть ли не в самый костер:

— Спите вместе? Фити-мити, а?

— Вместе? Почему вместе? Мы в отдельных комнатах. Аркашка с Наташкой у нас. Они брат и сестра... — Внезапно Толя вспомнил, как приходила ночью Зинка в четвертую комнату, как она прихватывала рубашку на груди. Парнишку обожгло стыдом, и он поспешно приподнялся с чурбака: — Да вы что? Мы ж как родные! Мы ж...

— Ушейся! — рыкнул на узконосого парня колобок в бушлате и бросил в снег окурок.

Катнулся узконосый вверх тормашками, показав изож-

женные подошвы валенок с торчавшими из запятников сенными стельками.

— Я пошутил, — отбежав в сторону и торопливо домусливая цигарку, заныл узконосый.

— Ушейся! — многообещающие поднялся от костра человек с ремнем без пряжки, которого все у огня почтительно именовали Бугром.

Узконосый знал, видно, что с Бугром шутки плохи, отскочил еще дальше, подметая снег стельками, и больше не подавал голоса и не показывался — скрылся за баржей.

Но разговор уже разладился. Да и Женька с Мишкой махали с дороги.

— Я пойду, дяденьки. До свидания.

— Лучше прощай, дорогой, — мрачно, с далеко упрятанной горечью сказал Бугор, надевая рукавицы.

— Держи хвост дудкой, — посоветовал Толе колобок с выбитыми передними зубами, с курносым, когда-то, должно быть, озорным лицом.

Трудно стало дышать Толе, заложило грудь, но его тормошили, ободряли:

— Легкого возу!

— Учись как следует!..

— Дай Бог здоровья! — пробасил мужик в деревенском полушубке и пощупал грузной ладонью Толю за шапку. — Дай Бог здоровья, — глуше повторил он, отвернулся и пошел от костра, подобранный, подпоясанный, даже здесь выглядевший хозяйственным, степенным, с какой-то большой, но огрузшей спиною.

С дороги ребята обернулись. За баржей толклись люди, махая руками. Толя догадался — бьют узконосого.

— За что это они его?

— За дело. — Толя больше не оглядывался.

Под шорох нарты и под скрип снега он задумался. Все чаще и чаще Толя задумывался, и жить ему от этого делалось трудней.

Еще давно-давно видел он первый раз в жизни пароход. Из трубы его валил и расползался широко над водою дым, а по бортам висели красивые круги с буквами. По бокам парохода бушевал грозной силы огонь. Возле деревни пароход выбросил облачко пара и так загудел, что голос его разнесся по всем горам и долам. Поприветствовав деревню, дома, ребятишек на берегу, распугав коров,

овец и коней на выгоне, переполошив стрижей над рекою и загнав собак во дворы, пароход промчался дальше, унося в подкрылках жутко ухающий огонь.

Когда везли на Север, Толя увидел круги на бортах и узнал, что они называются спасательными, а под пароходом вовсе не огонь — это вертятся колеса с ярко-красными плицами. Не хотел Толя верить лишь одному, что это тот самый пароход с добродушным названием «Дедушка», который проходил, да что там проходил — пролетал мимо деревни как сказочная птица.

В Краесветске, городе леса и пароходов, Толя облазил не одно судно. На тросах буксиров сушились рубахи и подштанники, на кормах сложены поленницы дров, на мачтах ветром болтает стерлядей и осетров — вялится рыба. Из кают пароходов щами и жженым луком пахнет. На одном пароходе он видел даже самовар с трубой и подле него самую обыкновенную тушилку для углей.

И разочарование охватило Толю после того, как он дошел своим умом, что люди здесь тоже живут и работают, как на заводе.

Он сделал непростое открытие, что всяк человек на своем месте выполняет работу и оттого получается хлеб, соль, мясо, рубахи, ботинки, штаны, кепки, пальто и даже тетрадки, карандаши и учебники, и даже города, и все в городах, и все на этом свете сделано человеческими руками, рожденными для работы.

А он-то думал...

Толя с радостью стал отаптывать лиственницу — работа помогала избавиться от докучливых мыслей.

В этот вечер Толя, Мишка и Женька приволокли семь кряжей. А в следующий — восемь. Штабелек ребячий рос. Думали еще дня три повозить дрова и сдать завхозу театра первую партию своей законной продукции. Но на четвертый вечер появился Попик-бес и принялся искушать:

— Вахлаки! Волосатики! — обзывался он. — Сколько дров кругом, а они горбатят. — Попик ретиво принялся перекатывать лиственные кряжи из принятого уже к распиловке большого штабеля к унылой грудке бревешек, натасканных детдомовцами. — Так вам до гроба хватит! А тут раз — и готово! Что нам стоит дом построить — только печку заложить! — балагурил Попик.

Ребята сначала робели, а потом, махнув на все рукой, стали помогать Попику. «А что, если попадемся?» — Толя

оттащил нарту в сторону и поймал весело работающего Попика за рукав.

— Ты зачем сюда пришел? Кто тебя просил?

— Хэ, ухарь какой! Год возить будете, и год твои бедные дети кантоваться у нас будут, да? А мама их за решеткой страдать, да?

Мишка и Женька перестали работать, вслушиваются.

— Тебе какое дело?

— Денежки все тырили, а? Все? — наступал Попик. — Прожирали и пропивали все? Все? Говори!

— Ну, все.

— Тогда чего ты один в патриёты прешь? Я тоже, блин, патриёт! И такого, как ты, командира, я знать забыл! — С этими словами Попик подхватил бревешко, катанул его и вытаращил глаза свои белые на Мишку и Женьку: — Чего ждете? По щучьему веленью — ждете?! Ух, блин, народец! Каша в роте мерзнет!..

Были в Попике неотразимая привязчивость и натиск. Если он что затевал — устоять перед его напором невозможно было. Мишка с Женькой резво покатили бревешки, а Толе Попик сказал:

— Зырь! Если что — свистнешь! — и этим самым как будто его тоже вовлек в совместную работу.

Управились. Накатали штабель кряжей. Попик сбегал за завхозом. Тот явился с блескучим стальным метромрулеткой и спросил:

— Где ваши дрова, молодые люди?

— Вот эти! — пнул серым валенком Попик в темный, напряженно сгрудившийся штабель.

— Значит, эти? — молвил загадочно завхоз и обежал штабель кругом. Фетровые бурки на нем музыкально поскрипывали. — Значит, эти? — повторил он и сдвинул на затылок шапку-пирог.

«Ну эти, эти, чего волынишь? Принимай!» — томились парни. «Ох, попадемся! — у Толи потную спину пробрало холодом. — Чего мы натворили?! Ой, попадет нам!» — терзался он и перебирал от нетерпения ногами.

— Дровишки — будь здоров! — тараторил Попик. — Первый сорт! Из лесу, вестимо! Отец, слышишь, рубит, а я отвожу... — припомнил он стих.

«А-ай, гад! Ну и пройда этот Попик! Он отвозит! Вот гад! Умора!»

— Минуточку внимания, молодые люди! — обратился к мальчишкам завхоз. — Прошу сюда. Всех.

Ребята осторожно подошли. Толя остался в стороне возле нарты. «Засыпались!» Завхоз достал карандаш, а метр свернул и сунул в карман. «Неужели без обмера думает принимать? Не надул бы! Они такие, эти завхозы!» — такое подозрение мелькнуло одновременно у всех парней.

Завхоз постучал по торцу одного бревна толстым карандашом:

— Прошу прочесть здесь написанное!

Ребята дружно наклонились. На торцах бревен было размашисто черкнуто грифельным карандашом «Хы».

— Прошу взглянуть на нижние бревна! — так же вежливо потребовал завхоз. — Прочли?

— Прочли, — упавшим голосом ответили ребята. Попик забегал вокруг завхоза:

— Ну «жи», ну «хы» — не один ли хрен? Дровишки из лесу, вестимо, Принимай и гони монету!

— Монету? — уставился на ребят завхоз и, понизив голос, полюбопытствовал, как на экзамене: — А что обозначают эти «хы» и «жи», вы не задумывались, молодые люди? Не задумывались! Та-ак! Ну-с, ближе к делу: «Хы» — это значит хреновые работники. Поясняю: все шабашники, которые кормятся у театра, уволены с честных советских предприятий за прогулы, нерадение и прочие разгильдяйства. И выходит что? Выходит, они — хреновые работники. Отсюда и гриф — «хы». А ваш гриф — «жи». Я на хозработе собаку съел и вижу каждого пресмыкающегося насквозь. Вы — детдомовцы, значит, жулики. Ваш гриф — «жи». Дошло?..

Попик, подлый, первым махнул за театр. Женька и Мишка следом. Толя с нартой замешкался. На нарте пила и топор — бросать нельзя. Завхоз успел ему буркой привесить. Больно. Тяжелые бурки у завхоза.

Они одновременно — завхоз и Толя увидели топор на нарте. И у парнишки начало захлестывать голову какой-то мутной волной, что с ним случалось в минуты крайнего бешенства, когда переставал он себя помнить: «Все равно теперь. Денег не достать. Бабу погубили. Аркашку с Наташкой осиротили. Пропадать так пропадать!..»

— Еще пни! Пни! — сквозь зубы процедил он, с ненавистью глядя на завхоза. Пятясь к нарте, он протягивал руку за топором: — Еще только...

Ко времени вывернулся Попик, принялся махать руками и доказывать что-то завхозу.

— Но-но, не очень-то, — погрозил завхоз Толе и от-

толкнул от себя Попика. — Сгинь, нечистый дух! — пугливо оглядываясь, посеменил завхоз к кочегарке. — Чтоб и следочка тут больше вашего не было! — прокричал он издали и быстро исчез с глаз.

Молча тащились до Волчьего лога. Попик пытался вести себя беспечно и похохатывал, заискивающе глядя на Толю:

— Во, блин, хитрый так хитрый! Во нарвалися, так нарвалися!..

— Заткнись! — замахнулся Толя.

— Чё ты, чё ты? — попятился Попик в снег. — Бешеный! Я ж помочь хотел. Если бы там свет не горел, не попухли бы. Э-эх, бли-ин! — простонал Попик. — Надо ж было лампочки на столбах побить, а потом уж ферта этого звать!.. Э-эх, блин!..

— Заткнись, говорю, пока я тебе сопатку не расквасил! — пуще прежнего озлился Толя, дергая нарту, запахавшуюся рылом в снег. — Откуда ты, вражина, на нашу голову только и взялся?

— У сопатки хозяин есть, — вяло огрызнулся Попик.

Больше он не тараторил и не похохатывал, а о чем-то сосредоточенно думал. Возле дома он хлопнул одной рукавицей, порванной о бревна, о другую и заявил:

— Достану я вам эти гроши! Легавый буду, если не достану! — и вытер рукавицей нос. — Гутэн таг, дети! — Попик махнул ребятам и помчался на озеро, где катались и визжали девчонки да разная мелочь пузатая. Ему, этому Попику, все трын-трава, ни горевать, ни переживать он не умел и не хотел.

«Работнички» закрыли нарту в дровянике, упрятали топор и пилу. Ужинали они в этот вечер без всякого аппетита и удовольствия. Уроки и вовсе не стали делать. Пропади они, эти уроки, и все на свете пропади!

«Убежать бы куда-нибудь, скрыться и забыть обо всем», — сидя в комнате над раскрытой книгой, думал Толя.

Мишка и Женька виновато помалкивали. Попик на глаза не показывался. Очень был смутный и гнетущий вечер, раздражали шум и беготня ребятишек в коридоре. Толе хотелось подняться со стула, сходить в коридор, наорать на ребятишек, поддать разок, если потребуется, но даже пошевелиться было трудно.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Цинга давно не косит людей в Краесветске, но все же таится, как в загнете жар, и веснами разгорается. У краесветских жителей, в особенности у ребятишек, кровоточат десны, шатаются и выпадают зубы. Беззубые ребятишки в школах сюсюкают у доски, и учителя на них не кричат. Есть, конечно, которые придуриваются и сюсюкают нарочно, чтобы непонятно было, что они говорят, или за щеки держатся, гримасничают в расчете на сострадание. Глядишь, и не спросят. По классам несутся запахи чеснока и лука. Учителя не чуют — они тоже едят лук и чеснок.

Года три назад новое дело началось в Краесветске — нигде доброй воды не напьешься. В клубах, на производстве, в школах, в больницах — всюду отвар из хвои — «чудодейственное средство против цинги». Поэтому везде убирают бачки с водою, и хочешь не хочешь — пей отвар, спасайся от цинги. Мужики хоть водку хлещут. А у ребят один выход — снег лизать. Вот и тащат они в классы катышки снега, осколки льда, лижут его, сосут, а остатки за воротники девчонкам опускают. Визг в классах, хохот, веселье... Горлом маются, кашляют и хрипят школьники и пропускают занятия. Водолазов на улице атакуют встречные, глохтят ледяную воду прямо из черпака, ругают власти и медицину.

В детдоме дают по кусочку сахару или по конфетке-горошине за каждый стакан выпитого отвара. Есть охотники на конфеты, штук по десять зарабатывают, а иные нередко и обжуливают тетю Улю — конфетки и сахар получают за так.

От лесозавода спешно увозят отходы — опилки, корье, обрезь — на ближние озера. В городе плакаты: «Выйдем!», «Очистим!» — это все от пожара. Перед каждой весной дрожат краесветские пожарники.

Крутые утренники начались, и днем не отпускает. Еще будут ветра. Еще пометет да пометет. Но все равно скоро весна. Солнце нет-нет да и покажется. Показывается оно чаще всего по утрам, тусклое, как пятак, каким зубятся ребятишки в чику. Но скоро, уже скоро перестанет оно хмуриться, хлестанет сквозь дымы и туманы по Краесветску так, что зайдешь с улицы домой, и ничего не видно. Взрослые люди очки надевают, а ребятам где их взять?

Так обходятся. Прибегут с улицы, постоят-постоят, проморгаются.

Педсовет четвертой школы совместно со своим директором решил вплотную заняться детдомом, развернуть в нем воспитательную и культурно-массовую работу с целью подтянуть ребят к экзаменам. Для начала послали в детдом пионервожатую с активом — провести пионерский сбор и установить контакт.

Пионервожатая собрала детдомовских девчонок и нескольких тихих парнишек в красном уголке. Кричала: «Будь готов!» Ей отвечали: «Всегда готов!»

Кобылка ломилась в дверь, насмехалась, строила рожи. С совершенно бессмысленным видом в красный уголок забрел Борька Клин-голова, пиная «жошку». За ним тащились счетчики.

— Зуб! — сказал Борька Клин-голова.

— Дергай! — откликнулись счетчики.

И Борька Клин-голова «дернул» так, что пришлые аж содрогнулись.

Убрел Борька Клин-голова. Появился Попик. Он вежливо постучал в дверь, вошел смирненький, с балалайкой и попросил разрешения спеть песню, несмело давая понять, что хотел бы участвовать в самодеятельности пионерского отряда!

— Пожалуйста! — обрадовалась пионервожатая и захлопала в ладоши: — Ребята, тише!

Но ребята, особенно те, что толпились за дверьми, и без того замерли, ожидая потехи.

Попик ударил по двум струнам балалайки, потому что третьей не было, и с серьезнейшим видом запел:

Граждане, послушайте меня!
Гоп со смыком — это буду я!..

Сбор получился недостаточно удачным. Мало того, после сбора активисты были подкараулены за дровяником детдомовской шпаной. Ордою налетели детдомовцы, натолкали гостям снегу куда надо и не надо. И после уж никаких пионеров-отличников в детдом заманить было невозможно. Детдомовские пионеры ходили на сборы в школу сами и резвились там, мешали проводить эти сборы. Педсовет четвертой школы не отступал и по настоянию Ненилы Романовны принял более энергичные меры, «бросив» на детдом Изжогу, но он дальше кабинета Валериана Ивановича не просочился, ушел оттуда красный,

взволнованный: видно, не допустил его к своим ребятам заведующий.

Учителей как отрезало. Валериану Ивановичу из горо-но влепили выговор, а он влепил выговор Маргарите Савельевне, ответственной за пионерскую работу в детдоме. Маргарита Савельевна сначала поплакала на кухне, а потом тетя Уля налила ей стакан холодного киселя. Она его выпила, причесалась и бесстрашно сказала, глядя в распахнутую дверь кухни:

— Этот выговор меня многому научил! Я не могу и не хочу больше быть слепым орудием. Я сама...

— Вот-вот, — поддержала Маргариту Савельевну тетя Уля, с хитрой улыбкой слушая речь воспитательницы. — Построже, построже с ними, а где и наоборот, подобрее. Они хорошие, ребятишки-то, но сорвиголовы. Вот галстуки не носят. Старые галстуки-то, обмахрились на концах, застиранные. Наши-то ребятишки уж очень всякие разности меж собой и другими школьниками больно переживают, а тут еще галстуки. У тех новенькие, с зажимами, а у наших... Вот вы и поменяйте галстуки-то новые им. Затребуйте денег, купите материю и пошейте. Они всякой обнове рады. Дети ж...

— Благодарю вас за совет, — сказала Маргарита Савельевна и направилась в канцелярию, а тетя Уля строго вслед кинула:

— Меня на сбор позовите. Если что, я и огрею...

И тетя Уля полновластной хозяйкой распоряжалась на первом сборе. Народу было на нем немного, больше девчонки и ребятишки, посмирнее которые, да отличники учебы и поведения. Пробовали было снова затесаться на сбор Попик и Борька Клин-голова, но тетя Уля так их шуганула, такой крутой оборот делу дала, что они сразу оказались в канцелярии, а из нее уж направлены были заведующим таскать дрова с улицы на кухню.

На следующий сбор приглашен был артист театра, с которым вместе трудился когда-то на бирже Валериан Иванович. Он изобразил басни Крылова: и Слона с Моськой, и Волка, и даже Стрекозу, которая лето красное пропела. Сильный попался артист. Провожали его не только пионеры, но и все ребята до самого города, просили, чтобы еще приходил, и он обещал бывать у ребят почаще. И завязать «тесную дружбу» между артистами и ребятами. И даже сколотить драмкружок обещал, говоря уверенно, что дети здесь «сплошь одаренные, а Борька Клин-голова

и Женька Шорников рождены исключительно для искусства».

Маргарита Савельевна теперь не ходила, а летала по детдому, и вокруг нее роились девчонки. Валериан Иванович снял выговор с воспитательницы, и она по этому поводу опять ходила плакать к тете Уле на кухню.

Ступинский вместе с Валерианом Ивановичем побывали в комсомольской организации лесокомбината, и Ступинский напрямик спросил: знают ли комсомольцы о том, что в Краесветске существует детдом? Поначалу секретарь комсомольской организации удивился, но потом все же вспомнил и подтвердил, что да, существует, да все недосуг с ним познакомиться. Тогда Ступинский еще спросил: знают ли комсомольцы о том, что их предприятие шефствует над детдомом?

Ругался потом Ступинский, а секретарь помалкивал и краснел.

Секретарь этот оказался бывшим детдомовцем, после окончания техникума добровольно приехавшим сюда с небольшим отрядом комсомольцев. Очень обрадовался Репнин этому и разговорился с парнем, как с совершенно близким человеком, и впервые подумал о том, что скоро, через год-два, и его старшие воспитанники вот так же где-то будут работать и, возможно, даже руководить чем-нибудь. Даже руководить...

Валериан Иванович как-то поинтересовался:

— Лесозаготовка скоро кончится?

— Да... скоро, — соврал Толя и заставил себя бодро улыбнуться: все в порядке будет скоро.

— М-да.. — выразительно, как только он один умел, пожевал губами Валериан Иванович и, что-то прикинув в уме, добавил: — Н-ну, хорошо, хорошо, превосходно!

«Куда уж превосходней!» — уныло подумал Толя.

Вот уже несколько дней он, Мишка и Женька слонялись по городу после школы и домой являлись затемно, будто с лесозаготовок. Толя начинал склоняться к мысли плюнуть на все, заявиться в милицию с теми деньгами, какие есть, признаться в содеянном и выручить кассиршу. Но неожиданно столкнулся в городе с тремя парнями. Во рту у них коронки из блескучих оберток из-под индийского чая. Пальто у парней настежь распахнуты. Валенки загнуты до пят, брюки с напуском, широкие, грузчицкие. Парни из шайки Слепца.

Посвистывая сквозь выпадающие коронки, «слепцы»

приказали деньги принести в «Десятую деревню» не позднее ближайших трех дней.

«Деменков подослал! — догадался Толя. — Ишь, гад! Со Слепцом связался! Сроки устанавливает — не позднее ближайших трех дней! Ты у меня получишь ровно! На этот ультиматум я тебя покрою матом!» — заключил Толя свою мысль строчкою из блатной песни. Однако отчаянности его хватило ненадолго.

Нужно было что-то срочно делать. Иначе...

«Иначе на нож нарвешься, кассиршу эту задрипанную не выручишь, ребятишек обездолишь. Действовать надо, действовать, и поскорее...»

Толя — к Попику. Издали подъезжает к нему, с осторожностью. А тот сразу в лоб:

— Сколько грошей осталось?

Толя замялся.

— Я же не спрашиваю, где они лежат, псих! — вспылил Попик. — Откуда знать Юрию Михайлычу, сколько надо грошей? — продолжал он, навеличивая себя. Говорил он так, будто денег у него спрятана целая куча. Осталось только их отсчитать и развязаться со всей этой канителью.

Толя и на это никак не ответил. Боялся еще раз попасть в прорубу с этим Попиком. А тот его заминку истолковал по-своему.

— Продавал я кого? Продавал?

Нет. Попик никогда никого не продавал. И в любом щекотливом деле он умел остаться в тени. Натворит, нашкодит — и в сторонку. Во время драки был в четвертой комнате и ни одной царапины не добыл.

Толя все-таки сказал Попику, сколько еще нужно денег. Куда денешься? Без Попика теперь хоть пропадай: он и беда и выручка.

Попик, закатив выпуклые глаза, свистнул:

— Как вода деньги текут! — Потом подумал вслух: — Послезавтра выходной. Так, шкеты?

— Так.

— Вы все эти дни ездите по дрова. Для понта. Так?

— Так.

— А в выходной гроши как из ружья! Блин буду!..

— Не божись за каждым словом, — обрезал его Толя и пригрозил: — Лучше на глаза не попадайся, если деньги не добудешь...

— Заяц трепаться не любит! Раз Юрий Михайлыч сказал...

— Все! Тебе тоже трепаться не доведется в случае чего! — Толя не принимал сегодня шутовства Попика. Конечно, яснее ясного было — деньги Попик украдет. Не с неба ж они к нему свалятся. Но другого выхода не было. Вернее, другой не придумывался, в голову не приходил. А Попик если сказал — значит, точка! Попик не вор, а фокусник-вор! Он, как стрекоза, видит вокруг и сзади даже, и нюх у него что у пограничной ищейки. Он унюхает, он изобретет! О его воровской находчивости ходили разные легенды.

Еще когда Попик был в компании «вольных людей», компания эта стала «зубарики играть». Так охарактеризовал трудное положение, в каком они оказались, сам Попик. Покупатели и покупательницы, торговцы и торговки берегли карманы пуще глаза, а мужики и бабы деревенские, те вовсе прятали деньги в самое чуткое место. Так вот в эту гиблую пору Попик сделал классный «хопок» на базаре областного города.

Попик поотирался возле мужиков, торгующих скотом, посоображал маленько и на последние гроши в скобяном ряду купил молоток у глухого старика и с десяток разных гвоздей.

С этим молотком Попик появился возле дядьки, одетого в собачью доху, в лохмашки собачьи и в шапку собачью. Дядька сельский, только что продал корову. Сидел он в молочном ряду на деревянном прилавке, муслил пальцы и пересчитывал деньги.

Попик крутился вокруг него, молоточком постукивал и насылался:

— Дяденька, купи молоток!

— На што он мне, молоток твой?

— Пригодится в хозяйстве. — Попик вокруг ходил да постукивал, ходил да постукивал.

— Цыть! — прикрикнул дядька. — Тьфу, спутал сатана! — и снова принялся пересчитывать деньги.

А Попик все ходит да постукивает, ходит да постукивает...

— Так не купишь, дяденька, молоток-то? Гляди, какой чинный молоток! — и стук да стук...

— Да отвяжись ты, нечистая сила! — горестно взревел дядька. — Опять спутал!

Попик сунул на колени дядьке молоток и скучно так вымолвил:

— Ну что ж, раз ты не покупаешь молоток, я вынужден так просто гроши взять! — Цап у дядьки из рук пачку денег и ходу с рынка в базарную дыру. Дядька как ринется за Попиком, да не тут-то было! Попик приколотил доху к прилавку. Ну и...

— Держи-и-и! Лови-и!

Да разве Попика поймаешь?

* * *

Попик не взял Толю на «дело».

— С тобой вечно завалишься. Злосчастный ты, блин, что ли?

Толя намеревался возразить, но и ребята поддержали Попика.

— Правда, Толька, не ходи ты с нами. Если в случае попадемся, ты останешься, сообразишь что-нибудь насчет бабы той, да и нас выручать некому будет.

— Если уж тебе не терпится внести свой вклад в общее дело — попереживай за нас и помолися за Юрия Михалыча, чтоб не дрогнула, блин, его рука, — ораторски возгласил Попик и довольный собою свалился на кровать, задрав ноги.

— Трепло! — сказал Толя. — Я в городе на центральной улице буду ждать. Здесь не вытерпеть мне, — признался он.

Снарядившаяся компания уныло поплелась в город, а Толя сидел на кровати и курил, желая, чтобы вошла сейчас воспитательница, поймала его с папиросой и мораль бы прочитала, а он бы надерзил ей, может, легче бы на душе стало.

Маруська Черепанова надернула пальтишко и ринулась следом за парнишками, пытаясь подслушать разговор. Но разговору никакого не было, и она вернулась домой ни с чем, а пока следила за Попиком и его сподвижниками, улизнул из дому и Толя.

У входа на рынок Попик почитал на воротах объявления, принюхался по-собачьи и с удручением сказал:

— Это базар?! В Крыму на хитрой толкучке у мечети и то больше. Ну, ничего, — утешил он себя и ребят. — Не тушуйся, братва! Все штаны у краесветских граждан Юрий Михалыч вывернет, но гамзу добудет!

Женька Шорников, хвативший ледяной воды из бочки, потерял голос, шептал второй день. Он взял за шапку Попика, наклонился к его уху, с тугим напряжением прохрипел:

— Ты бедных не тронь! Тырь у богатых.

Попик прочистил пальцем в ухе:

— Знаю! Тоже кое-что по литературе проходил! — Попик взглядом победителя обвел барахолку и пошел, засунув руки в карманы, и еще раз напомнил: — Обеспечить залом, если что.

Залом — это как на сплаве: куча. Только здесь не из беревен, а из ребят. Если Попика «защучат» и он побежит, нужно падать под ноги преследующих, это и будет залом.

Но залом не понадобился. Через полчаса мимо ребят, дрожащих не столько от холода, сколько от переживаний, просеменил Попик, показав глазами на выход. За воротами он вынул из кармана мятые рубли.

— Вот все. Две наколки сделал, партманет взял, а там серебрушки. Третью наколку не могу. Третья меченая. Всегда, блин, попадаюсь на ней. — Попик уныло цыркнул слюной. — Попадусь, кто вас, патриётов, выручит?

Ребята приуныли, Попик задумался. Увидев в снегу «бычок», поднял его, прикурил и опять погрузился в размышления. Ему не мешали мыслить. Дососав окурок до картонки, Попик воткнул его ловким щелчком в сугроб.

— Жмем в новый универмаг!

В новом универмаге народу полно. В него ходят не столько покупать, сколько глазеть. Тамбур в универмаге двойной, чтобы меньше холода в помещение просачивалось. Попик покривился. Двое дверей, да к тому же с пружинами — это худо, но ребятам он ничего не сказал.

Парнишки околачивались возле дверей у голландки, среди покупателей и ротозеев, гревшихся здесь же. Попик переходил из отдела в отдел, скучно и юрко следил за покупателями. Наконец он «закрючил» даму в беличьей дохе, с шикарным кожаным ридикюлем и с золотыми серьгами в ушах. На руке у нее был перстень с клюквиной. Попик мысленно примерил этот роскошный перстень на свой палец и полюбовался им. Дама долго, с пристрастием смотрела в меховом отделе еще одну беличью шубу.

«Спекульнуть хочешь? — ухмыльнулся Попик в воротник пальто. — Давай, давай, увлекайся шибчее!»

В Краесветске меха были гораздо дешевле, чем на ма-

гистрали. Пушнина здесь добывается. Эту даму и облюбовал Попик, решив взять ее на шарап.

Дама отдала распоряжение завернуть шубу. Кассы в универмаге не было. Покупатели рассчитывались с продавцом. Попик обернулся, вытер нос двумя пальцами. К нему приблизились двое: Мишка Бельмастый и Женька. Остальные околачивались у дверей, на залом.

Дама отсчитывала деньги и жевала лиственничную серу. Ее суетные, костистые пальцы с кольцом, магически действующим на Попика, проворно перебирали, щупали, складывали деньги в стопку. В углах ее крашеных губ выступала пена, и всякий раз, как заканчивалась сотня, дама слизывала рыжую от губной помады пену и с прищелком давила зубом серу.

Попик все замечал, но кольцо с клюквиной просто сводило его с ума.

«Двести... двести пятьдесят... триста...» — отсчитывала дама, шевеля линялыми губами. Попик, считая, еще раз примерил кольцо на свой палец. Он даже ощутил его жесткую студеность на руке и мечтательно вздохнул: «Как вырасту, обязательно такое же куплю себе, блин я буду, если не куплю!..»

У прилавка добавилось народу.

Дама считает. Попик считает. Женька стоит сзади дамы. Он сделает ей «ласточку», если дама кинется за Попиком. Иначе говоря, упадет ей под ноги, и она полетит, как птичка, растопырив крылышки.

«...Триста семьдесят пять... четыреста... четыреста двадцать!»

Все! Больше не надо!

Но Попик чего-то ждет.

Попик все еще скучно смотрит на коричневое полупальто, аккурат его размера, и ровно бы цену разглядеть не может.

«Он же знает — нужно четыреста двадцать. Чего же тянет? Неужели скиксовал? Или на кольцо загляделся и...» — проследив за восхищенным взглядом Попика, испугался Женька, но додумать до конца догадку не успел.

«Четыреста семьдесят!» — прошептала дама.

И в этот миг денег не стало. Попик резко повернулся, накрыл стопку, и деньги будто корова слизнула языком.

Дама там и осталась стоять с прикушенным от напряжения кончиком языка, с занесенной над прилавком рукою, в которой краснела тридцатка, но еще краснело,

прямо кровяной каплей светилось кольцо, которое сразу перестало интересовать Попика.

Дама еще стояла в столбняке, она еще и моргнуть не успела, а деньги ее — четыреста семьдесят рублей — уже оказались в кармане у Женьки, и он пошел от прилавка со скучающим видом на разом ослабевших ногах, ровно бы валенки оказались набиты тряпками или в них вовсе не было ног.

Мишка Бельмастый занял его место.

Все шло по плану.

В стеклах двери заискрилась снежинка. Она делалась все ярче, ярче. Горело и еще много снежинок на стекле двери мелкозвездной россыпью. Но Женька целил прямым, напряженным взглядом одну среди них.

«Если не погаснет — уйду!» — загадал Женька. Снежинка вошла в полный накал, вот-вот мигнет и погаснет. Так бы и рванул дверь парнишка.

А сзади?

Сзади надвигающая тишина. «Машинист не так-то прост... Машинист не так-то прост...» А как же дальше?

Забыл. Надо сначала: «Шла машина из Тамбова...» — Торопиться нельзя. «Под горой котенок спал...» — Нельзя, нельзя-а-а... Поспешай тихонько. Сейчас спекулянтка заорет. Все заорут. Все забегают.

Снежинка вспыхнула, искорка-звездочка ее взорвалась и мелкой пылью рассыпалась.

Сзади визгом лопнула тишина, смяв ровный многолюдный гул магазина.

Дверь. Вот она. А за нею улица. На улице снег. Много снега. Снег вспыхивает и гаснет. И искры. Снег. Холод. Там хорошо.

Дохнуть бы холодом...

Попик наводил на себя. На стекле видно.

Дама метнулась за Попиком. Продавщица пытается откинуть створку прилавка. Створка по голове ей. Правильно! Не лезь не в свое дело!

Дама кувыркнулась вверх ногами — Мишка устроил-таки «ласточку».

Попик уходит.

Женька у двери. Вот она, скоба. Вот она...

А-а-ах! Все!

Тяжелая дверь, раскатившись, поддала ему в зад и выбросила из магазина.

Визг, грохот, крики, толкотня остались позади, за дверью.

Женька пересек улицу Шмидта, завернул в барак напротив магазина и только тут вытер испарину со лба, осмотрелся, подождал, пока выровняется дыхание. В коридоре барака никого нет. Женька выглянул в приоткрытую дверь.

Из магазина вылетел Попик с шапкой в руках и бросился в сторону «Десятой деревни». Хитер! «Десятая деревня» и этот грех примет на себя. Да и не сыскать в дровяниках да поленницах возле «Десятой деревни» человека, к тому же такого маленького, как Попик. И шапку не оставил! Шапки у детдомовцев из синего сукна с крысиным мехом — заметная улика...

Из магазина выхлестывало волну за волной. Люди кричали, махали руками, хохотали, возмущались. Один по одному выныривали из толпы и тут же растворялись ребятишки из Попиковой команды.

Барак, где пережидал Женька, был со сквозным коридором, как и большинство бараков города. Парнишка вышел в противоположную дверь барака, сорванную с петель, сторожко прокрался меж дровяников и заборов на другую улицу.

Часа через два промерзший до всех жилок Женька столкнулся с Толей, который искал его по всему городу, передал ему деньги и с чувством великого облегчения побежал домой.

Теперь деньги носил по городу Толя, и они, как свинцовые, оттягивали карман, жгли бедро поломанной ноги, и пах жгли, и грудь жгли.

Сам не сознавая, что делает, куда и зачем идет, Толя внезапно очутился возле кочегарки, на бирже, и спускаться начал по крутой узенькой лестнице, но шаги его замедлялись, замедлялись, и он остановился, послушал, как гремит ломом там, внизу, в жаркой преисподней, дядя Ибрагим, как с дикой хрипловатостью напевает шуточную свою песню: «Вот мчится тройка адын лошадь...» И такая зависть разобрала Толю к этому человеку, который ничем не запятнал, не запутал свою жизнь, и никакая беда, никакие передряги и несправедливости не смогли согнуть его! И хотя чаще всего видел Толя дядю Ибрагима в смоляной копоти, въевшейся в морщины, видел его иссаженные занозами, темные от работы руки, он не встречал еще человека чище и светлей его.

Грязь к дяде Ибрагиму не приставала.

Толя покусал зубами отворот пальто, утер ладонью глаза и нехотя убрел от кочегарки. Не мог он допустить, чтоб дядя Ибрагим знался с таким ворюгой и проходимцем. Ему с Попиком да с Паралитиком только и водить компанию.

Ходил Толя, ходил и до Нового города незаметно добрел. В Новом городе он нежданно-негаданно встретил Ваньку Бибикова. У Ваньки Бибикова родители переселенцы, не зная броду, кинулись однажды в воду — без разрешения, без документов умотали из Краесветска.

В дороге их, конечно, ссадили с парохода. Ребят по детдомам: двоих в Ейск, а Ваньку почему-то в Краесветск.

Два года прожил Ванька в детдоме. И вдруг родители вернулись. Переполоху было! Шутка ли, в детдом за парнишкой родители пришли! Не каждый день такое случается. А в этом детдоме и совсем первый раз случилось.

Ваньку провожали торжественно. Дали ему всю одежду, какая полагалась, конфет и печенья два пакета. Ванька со всеми прощался за руку, будто уезжал не за Волчий лог, а невесть куда.

Мать, пришедшая за Ванькой, прослезилась, кланяться начала ребятам, тете Уле, Екатерине Федоровне, Маргарите Савельевне, Валериану Ивановичу.

— Спасибо, что сберегли парня. Спасибо, что худому не научили. Век за вас Богу молиться стану...

Ребята с шумом высыпали за Ванькой, а возвратившись, разбрелись по углам.

Ванька в выходные дни приходил в детдом. Конфет-подушечек и пряников приносил, угощал малых ребят. Одет он в новую клетчатую рубаху, галстук на нем стиран-перестиран, черные валенки подшиты, но он форсил и хвастался.

— Мама купит мне таку вот, — крутил он пальцем над головой, — кепку суконную с пуговкой. А еще летось заберут из детдома Ольку и Тишку. Им уж по катанкам купили, по новым.

— Чё фасонишь? — взъедались младшие ребята. — Подумаешь, кепка! Подумаешь, катанки! А бильярд у тебя есть? А шашки? А компот тебе дают?

Нет, компота Ваньке дома не давали. Бильярда и шашек у него тоже не было. Зато у него родители были. А родители лучше шашек, бильярда и даже компота...

Детдомовцы по гостям ходить не любили. Если и забе-

гали к ребятам, то больше к тем, что жили повольней и победней. Такие чаще всего обитали в бараках. Выжившие в ссылке жизнестойкие кулачки сызнова разжились рухлядью, скотом, домишками и, как встарь, с надменностью обзывали пролетариями этих барачных жителей. Правда, переселенцы тоже разные.

«Того же Ваньку Бибикова взять», — думал Толя и вдруг, как по щучьему веленью, увидел этого Ваньку Бибикова. Швыркая носом, Ванька копошился в сугробе возле второй школы, добывая из снега тетрадки, учебники, чернильницу.

— Кто это сделал?

— А тебе-то чего-о-о?

— Говори, кто?

— Хмырь оди-ин! Я б ему всю маску растворожи-и-ил, да мамка не велела-а-а. Нам, говорит, смирно жить полагается. А у хмыря этого отец летчиком лета-ат! — Ванька, слизывая с губ слезы, все копался в сугробе.

— Чего еще не нашел?

— Карандаш. Отец отдере-е-от.

Толя взялся помогать Ваньке. Перерыли они вдвоем весь сугроб, карандаш не попадался.

— Хоть домой теперича не ходи-и, — плакал Ванька. — Им чё карандаш? Им ераплан не жалко-о-о...

Толя знал в лицо этого самого хмыря. Сидел как-то на одной парте с ним. Не одну учительницу довел тот до сердечного приступа. Его из школы в школу переводили. Другого давно б исключили. Уж очень знаменитый в Заполярье летчик был его папа. И пока он летал, сынок его нахальничал хлестче любого детдомовца.

Так долго копошившаяся злость вдруг толкнула Толю в школу. Он бежал по лестнице, и гнев его разрастался, будто наконец нашел он громоотвод, в который влепит весь заряд, сжигающий душу.

— Не трога-а-ай! — ревел Ванька.

Толя ринулся в школу — Ванька за ним. Толя ногой лягнул Ваньку, и тот полетел с крыльца.

— Не надо-о-о! Попаде-о-от из-за него-о-о!.. Зачем сказа-ал? — слезно раскаивался Ванька.

Толя влетел по лестнице на второй этаж и у первого попавшегося ученика спросил, где такой-то. Ему показали на раздевалку.

В раздевалке задастый парень в голубой шикарной курточке с «молнией» обрывал вешалки. Брал в охапку

три-четыре пальтишка, наваливался на них, и вешалки, всхлипнув, отрывались.

Раздевалка почему-то сооружена на пожарной площадке, почти под потолком.

К ней вела крутая узкая лестница.

Внизу испуганной стайкой толпились школьники. Толя влетел в раздевалку, взял за куртку с «молнией» парнишку и притянул к себе. На него с круглого, румяного, видать, никогда не битого лица с вызовом и смятением смотрели два сытых глаза. Он улыбался Толе, как своему. Цинга не тронула этого мальчика, все зубы у него на месте. У него всегда были чеснок, лук, свежие овощи, а может, и фрукты.

Толя расчетливо, изо всей силы головой ударил в улыбающуюся морду, услышал, как хрястнуло что-то переспелым арбузом, и столкнул парня с лестницы. Сынок пошел не в папу, летать не умел. Он падал с лестницы с грохотом и бряком. Приземлился грузно и, почувствовав на губах кровь, взвизгнул с поросячьим ужасом.

В конце коридора распахнулась дверь учительской, и оттуда помчались на шум преподаватели.

Толя скатился по брусу лестницы, успел еще раз пнуть катающегося по полу летчицкого сыночка, и пулей из школы.

На улице он схватил за руку Ваньку и умчал за собою через улицу в магазин.

Они смотрели в окно. Толю колотило. Ванька ежился от страха, думал, что их сейчас же арестуют.

Минут через пять из школы под руки вывели побитого сына летчика две учительницы. Они зажимали ему рот платком, наклонялись к нему, гладили.

Толя проводил их взглядом. «Выслуживаются перед таким... А зубы ему железные вставят, а то и золотые...»

— Смотри у меня, ни гугу! — погрозил он Ваньке пальцем...

— Могила! — заверил его оживающий Ванька и восхитился: — Хорошо ты его, по-нашему...

— Ладно, чапай домой, еще влетит от матери. Карандаш я тебе свой отдам. Приходи.

И Ваньку проводил Толя взглядом до угла, пощупал деньги в кармане, сжал их, стиснул в кулаке.

Скоро он остыл, успокоился, бродил по городу.

Опять болела нога. «И чего это она болит сильнее, когда

на душе муторно? Ноет и ноет, будто каменными пальцами на перелом нажимают. День какой-то выдался — не разбери-бери. Еще Ванька ровно с крыши свалился! А там домой придешь — цап-царап и... «Гуляй со мною, миленький!». Но будь что будет. Не могу больше один...»

Дома его ждали. Никто из ребят не попался. Единственного милиционера, кинувшегося за Попиком, тот привел к «Десятой деревне». Милиционер посвистел, посвистел и отступил за подмогой.

Все тихо дома. Никто ничего не знает. Женька и Мишка явились домой совсем недавно, будто с лесозаготовок.

Отпустило. Стали вспоминать, похохатывать. Голос у Женьки сипел пуще прежнего, перекалился, видно, голос. Бывает же! Говорят, у иных людей от страха живот слабеет или сердце разрывается, а у этого вот горло распаялось.

И хотя в комнате все ребята были в сборе, хотя они смеялись, радовались удаче, Толя нахохленно сидел на кровати и чувствовал себя будто на отшибе.

Одиноко ему было сегодня и дома.

— Ну, ты чё, патриёт? — подтолкнул его Попик. — Не лови мух ноздрями, работа сделана чисто.

— Зачем лишние деньги взял? — спросил Толя, как будто могло это иметь какое-то значение.

— А я на харю той мымры накинул полсотенную, — хохотнул Попик, — противная харя у ей, блин!

«Ох и хитрый! Ох и пройдоха!» Толя отделил от пачки полсотенную и протянул ее Попику.

— Твоя. Бери, — а сам с запоздалой раскаянностью подумал: «Отдать надо было Ваньке эту полсотенную. Вот бы Попик-то завертелся тогда!»

Взвесив на ладони пачку денег, Толя хотел сказать торжественно, как в книжке: «Клянусь, больше никогда не возьму чужого! Клянусь быть...» Но сказал хрипло и коротко:

— Все!

Ребята поняли его. Женька нервно забегал глазами и просипел:

— Я тоже все! Завязал!

Мишка Бельмастый ничего не сказал. Его если не втягивать в «дело», сроду ничего не возьмет, но за друзей готов страдать и хоть на казнь пойти. Попик захихикал, башку свою круглую почесал:

— А я не знаю. Гад буду — не знаю, — и перевел

щекотливый разговор на другое: — Кто в милицию с грошами пойдет?

— Я и Мишка, — ответил Толя. — Женьке нельзя. Женька слабый.

— И мне нельзя, — заверил Попик с сожалением. — Меня там знают. Вам хуже будет, если пойду. — Он еще почесал голову и посочувствовал: — Ох, блин, и дадут вам! Выдавать вы никого не могите, — как о решенном заранее, сказал он, — значит, дадут! Но Бог терпел и нам велел. Юрия Михалыча вон как лупцевали. И ничё — здоровый, жизнерадостный ребенок! Так говорит обо мне Марго Савельевна.

— И нас этим не удивишь, тоже биты! — хорохорился Толя. — Правду, Мишка?

Мишка ничего не ответил.

Попик еще поюлил маленько, потрепался, затем неслышно утащился в раздевалку, выждал момент и выскользнул из дому. Должно быть, в дежурный магазин подался, «свою» полсотенную расходовать и те рублишки, что вытащил на базаре и прикарманил. А может, к Деменкову утянется. Попик у всех «шестерит» помаленьку и в то же время вроде бы ни от кого не зависит. Такие оборотистые люди, как Попик, умеют устроиться в жизни, в любой.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В детдоме и без того было полно событий, интересных и разных, а тут еще приехал на коне профсоюзный дяденька Махнев.

Этого дяденьку, Махнева Авдея Захаровича, прислали в детдом шефы как представителя от Краесветского лесокомбината.Где-то за полмесяца до смерти Гошки Воробьева и прочих событий появился он, сухонький, весь изморщенный, как будто в печке его пекли. Был он весь такой домовитый и усатый, в длинных валенках, смятых под коленями, что ребята сразу же отнеслись к нему, как к деду, и потешались над его наивной простотой.

Он осмотрел жилье детдомовцев, похвалил за порядок, порадовался тому, что у каждого по две простыни, и сказал, что сам он сроду не спал на двух, чаще совсем без простыни обходился.

Затем Авдей Захарович пошел в кладовую, строго про-

верил кухонную раскладку. Тетя Уля и Валериан Иванович послушно отчитывались, подавали ему разные квитанции, накладные. И хотя все ребята знали, что ни тетя Уля, ни Валериан Иванович никогда не возьмут себе лишней крошки, все-таки переживали за них — вдруг недостачу обнаружит представитель от шефов? Вон как насупился, усищи растопырил. Так и норовит углядеть непорядок.

После проверки материальной части дяденька Махнев попросил выстроить ребят в коридоре. Кастелянша, тетя Уля, Маргарита Савельевна и Екатерина Федоровна бегали по комнатам, спешно меняли рубахи тем, у кого они уже запачкались, и заставляли надеть пионерские галстуки тех, у кого они были.

Все быстро, с любопытством и шумом построились.

— ...р-р-рна! — властно пророкотал Валериан Иванович команду и, ладно ударив валенком о валенок, стал по-военному докладывать Махневу о том, что дети такого-то детдома в количестве таком-то выстроены, а для чего — не сказал: не знал, должно быть.

Махнев, в самокатных валенках с кожаными запятниками, стоял, оттопырив руки, и с чувством большого удовольствия и достоинства принимал рапорт.

В это время появился в детдоме Ступинский — вести занятия по военному делу, которые проводил он теперь еженедельно. Он замахал руками, когда на него обратили внимание, — дескать, продолжайте, продолжайте.

— Ну, как живете, ребята? — спросил тенорком Махнев, как будто и не видел еще ничего и не знал.

— Мирово! — последовал дружный ответ.

— Как кормят?

— Мирово!

— Какие у вас отметки?

— Мировые!

Валериан Иванович поднял глаза к потолку, спрятал улыбку.

— А слушаетесь ли старших?

— Слушаемся!

— Хорошо слушаетесь?

— Хорошо слушаемся.

— Почему тогда приломали свои музыкальные инструменты?

— Они сами приломались.

— Как это сами? Они что, самоубивцы?

— Ага, харакирятся, как самураи...

Строй шевельнуло смешком.

— Как самураи, значит? Ловко! Денежки наши трудовые играючи переводите? Ловко! Ну ладно — подрастете, узнаете, как эти денежки добываются. А пока, конечно, я попрошу тама, — показал Махнев за спину, — чтобы вырешили средства от нас, шефов, на музыкальные инструменты, на постельное белье, и само собой, на всякое другое имущество...

— Еще на коньки и на лыжи попросите тама! — крикнули Авдею Захаровичу из строя.

— На коньки и на лыжи? — Авдей Захарович что-то прикинул в уме. — Ладно, попрошу, — и наставляюще продолжал: — Вот видите, как государство заботится о вас! А вы в распыл добро пущаете. Учитесь как следует, пока возможность есть такая. Не фулюганьте, старших слушайтесь.

— Постараемся!

— А какие жалобы будут на обслуживающий персонал, на заведующего тама либо на кого — говорите хоть теперя, хоть потом по отдельности. Мы проведем работу, само собой, разъясним. — Махнев тут же посуровел. — А в случае чего и привлекем, потому что мы, шефы, вроде как бы ваши совецкие родители.

Жалоб не было.

Был обед. Хороший обед — тетя Уля тоже не ударила в грязь лицом.

Махнев обедал вместе со всеми и опять хвалил ребят за порядок и тишину. Дивился даже: дома, мол, двое-трое «гавриков», а за столом иной раз такой ералаш подымут, хоть пори их, а тут сотня с лишним, и все идет чередом, все чинно, тихо, мирно. Особенно понравились Авдею Захаровичу дежурные в чистеньких передничках, такие проворные, такие вежливые.

Ступинский во время обеда сидел с Валерианом Ивановичем в комнате и дивился:

— Н-ну, прокураты! Н-ну, ловкачи!

Валериан Иванович хмуро усмехнулся:

— Мы еще и не такое умеем... М-да!

Он озабоченно прошелся по комнате и сказал, что позвал Махнева совсем не для парада и веселья. Авдей Захарович заведует столярными мастерскими, он же и член завкома — власть не малая. И нельзя ли с его помощью на лесокомбинат летом хотя бы некоторых ребят приспо-

собить — в мастерские, на биржу — вкус бы им к труду прививать надо. А то они летами вовсе дичают от безделья.

— Я тоже думал об этом, — подхватил Ступинский, — да все недосуг было с вами посоветоваться. Беседовал как-то с директором школы на этот счет, он руками и ногами замахал: мол, что вы, что вы, отвлекать ребят нельзя, они и без того учатся плохо, школу назад тащат.

— Положим, учатся они не хуже других, — обиделся за детдомовцев Валериан Иванович.

— Но и не лучше, — отметил Ступинский. — Кроме того, директор школы высказал опасение, что орлы твои, если их допустить в столярку, стащат инструмент или спалят ее, покуривая тайком.

— Очень это плохо, когда работу с детьми ведет человек, заранее думающий о них как о недругах. Очень плохо! Из-за этого у нас вечные нелады. Иначе мы бы совместно со школой давно бы уже все наладили и ребят приспособили бы куда надо и как надо. А директор лишь только табеля отдаст мне, вздохнет, как поп после обедни — слава те, Господи, отслужил! До осени избавился от детдомовских мучителей... Я вот о чем попрошу, — прислушавшись на секунду и поняв, что обед закончился, добавил Репнин. — Пожалуйста, поговорите сами с Махневым. Ребята после обеда добьют его, вот увидите, чуткостью добьют, и о деле мне с ним, с этим мил-человеком, не дотолковаться. Занятие я проведу сам. В свое время мосинскую винтовку изучил, как «Отче наш».

— Как с лесокомбинатовскими комсомольцами?

— Приятным пареньком оказался этот секретарь. Напрасно вы его тогда распушили. Он без году неделя на лесокомбинате. После праздника они придут к нам. Думаю, мы найдем общий язык. Буду просить, чтобы Зину Кондакову торжественно, при всех воспитанниках приняли в комсомол. Школа и мы рекомендуем.

— Затем пусть комсомольцы старших ребят возьмут в свои цехи, пусть к работе приучают и к дисциплине, а потом, глядишь, и в свою организацию примут, — посоветовал Ступинский.

— Воспитанники мои сначала одно дело должны сделать, — хмуро заметил Валериан Иванович. — Пусть сначала женщину из тюрьмы вызволят. А пока Зина Кондакова только и достойна...

— Ну, ну, вам виднее.

Опасения Валериана Ивановича подтвердились. После «мертвого часа», в который, конечно, ребята и не подумали спать, организовался хоровод. Девчонки и парнишки, коих в другое время ни в какой хоровод не загнать, взявшись за руки, ходили кругом и, чтобы потрафить гостю, дружно отрывали:

Взвейся, знамя коммунизма,
Над землей трудящих масс!
Нас ни Бог и ни святые
Не спасут нас в этот час!
Только красные герои!
Только красные орлы!
Только красные орлы!
Эх, пролетарские сыны!

Умиленный чутким приемом и песней, которую Авдей Захарович пел в гражданскую войну, еще в отряде Щетинкина, он ушел из детдома под вечер и, пожимая руку Валериану Ивановичу, чуть было не прослезился.

Валериан Иванович любезно провожал Авдея Захаровича до дверей и только поражался: «Вот чертенята! Вот довели ведь!..»

А ребятня, сдерживавшая себя целый день, начала резвиться так, что пыль столбом поднялась. Борька Клинголова и еще человек пять, спровадив шефа, ходили на руках по коридору, а остальные орали, бегали. И никакого удержу на них не было. Они довольны собой: наякорили профсоюзного дяденьку Махнева, коньки выпросили...

Ступинский, с непривычки оглохший от шума и гама, высказал шутливое сочувствие заведующему детдомом, сказав, что ему полагается надбавка зарплаты за «вредность» и выносливость, и тут же кинулся догонять Авдея Захаровича.

Настиг он его уже у Волчьего лога. Посмотрел сбоку на довольнехонького Махнева. Пристальнее приглядевшись, заметил: в глубине его морщин вместе с радостью залегла сумрачная скорбь. Должно быть, Авдей Захарович думал о детях, которые не дожили до этих дней.

Махнев приехал сюда с головным отрядом добровольцев и какое-то время возглавлял главную и важнейшую в то время силу — вел строительство жилья, а потом уж, когда полегче сделалось и организовались лесозавод, промучасток, лесобиржа, снова подался к своему любимому столярному ремеслу.

— Какое ваше впечатление, Авдей Захарович? — мотнул головой в сторону детдома Ступинский.

— Будто не знаешь? Какое же оно может быть, коли сироты прибраны, обуты, одеты!.. Это, брат, хоть кому поглядеть надо, хоть морякам, которые исчужа приплывают, хоть нашим пытикам, чтоб понимали, за что боролись...

— Ребята как?

— А что ребята? Ребята как ребята. Секачи и фулиганишки, само собой. Но уж уважительны! Уж обходительны!..

— Это первое впечатление, — осторожно заметил Ступинский. — Они ведь сегодня дурака валяли. Немножко надували вас...

— Ну-у? Хотя что ж! Как не надуть, коли человек с ветра и этот, как его, уполномоченный, еще деньги на коньки раздобыть может. Во дьяволята! — покрутил головой Авдей Захарович. — А песню-то, песню рванули, аж гвозди в рамах разгинались! Но опять же, ты не надувал, может, взрослых? Или должность твоя нонешняя не велит такое припоминать?

— Я ведь тоже мальчишкой был, как все.

— Вот то-то и оно-то. И небось, как все мы, сразу в работу, в труд, само собой, и некогда тебе ни поиграть, ни порезвиться, чтоб кровь в жилах ходила, чтоб вспоминать потом детство в радость...

— У них она, кровь-то, уж слишком... Надо бы поохладить, — возразил Ступинский и, перевалив через лог, продолжал: — Жизнь этих ребят не будет идти вечно за спиной у государства. Как шестнадцать стукнет, так и до свидания — добывай себе хлеб! А как его добывать? Дело-то к рукам не пристало. Ничего не умеют. Воровать, правда, ничего не скажешь, мастера. По карманной тяге есть такие чемпионы — закачаешься!

Разговор этот закончился тем, что Авдей Захарович дал слово подзаняться ребятами, «узясти их в оборот». И вот прикатил на длинношерстной лошадке. Ребята повыскакивали на улицу кто в чем — рады Авдею Захаровичу. А Махнев строг и неприступен, гаркнул на тех, кто к коню полез, пальцем погрозил, велел мешок в дом занести. В мешке забрякало, застучало. «Инструменты», — вмиг догадались ребята.

Махнев приказал откатить бильярд с середины коридора, брезгливо отшвырнул толстые обломки киев.

— И не совестно таким поленьями играть? Руки-то где у вас? Кто коня пойдет распрягать? Само собой, к саням его надо приставить, чтоб сено ел.

Трое парней ринулись распрягать коня, давай дугу выдергивать. Шатать ее давай. Дуга шатается, конь шатается, но ничего не выпрягается. Тогда еще пятеро парней на выручку пришли — и тоже без всякого сдвига.

Махнев инструмент выкладывал на стол и глазом в окно косил. Не выдержал, засеменил на улицу и там молча, внушающе дернул за ремешок внизу хомута — супонью называется, и вся сбруя, ровно бы с облегчением вздохнув, сразу расслабла. Конь, покорно стоявший, тоже облегченно вздохнул и пошевелил хвостом. В три минуты распряг Махнев коня, приставил его к саням головою, набросил на спину коню телогрейку и прикрикнул на онемевших от восторга парней:

— Деньги с кассы узясти — это у вас само собой, а вот чтоб дело простое справить — тут вас нету!..

— Подумаешь, конь! Мы на машинах будем! «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца — пламенный мотор!»

— И где этот пламенный умник?! — вскинулся на голос дяденька Махнев.

Но ребята затопали и, чтобы подразнить старика, нахально запели Женькой изверченную песню:

Все выше, и выше, и выше!
И вот уж коленки видать!..

А в коридоре ребята тем временем расхватывали фуганки с золотистыми, блестящими колодками, напарьи, стамески, ножовки. На столе бобылем остался молоток. Хитровато улыбавшийся Махнев покуривал трубочку с кривым мундштуком и ничего не говорил.

Покурив, он выколотил трубку о подоконник, сунул ее в кисет и попросил принести кирпич.

Кирпич ребята принесли из кухни, весело ожидая новой затеи.

И не обманулись. Махнев взял молоток, одним махом развалил кирпич надвое, вынул из кармана пару гвоздей и велел вбить их кирпичом в стену. Гвозди, как на грех, попались тонкие.

Махнев был терпелив. Почти все ребята и даже девчонки поколотили по гвоздям, и чем дальше, тем хуже шло дело — гвозди гнулись в три-четыре колена.

Авдей Захарович взял со стола молоток, выпрямил один гвоздь и в три удара вогнал его по шляпку в стену.

— Так какой, выходит, главный инструмент?

— Молото-о-ок!

— Само собой. С молотка начинается любая работа. А вы его оставили без внимания. То-то! И все-таки молоток — инструмент не самоглавнейший. Есть всем инструментам инструмент! Кто он такой?

— Шерхебель! — с немалым трудом выговорила Маруська Черепанова.

— А еще галтель! — вспомнил еще более мудрое название Борька Клин-голова.

— Сам-то ты галтель! — срезал Авдей Захарович Борьку Клин-голову, памятливого парнишку... — Ты погляди на нее, на галтель-те. Вся у ей полировка новая, не стертая — значит, употребляется она редко. Желобки ею наводят, фаски иной раз снимают и прочее.

Замолкли ребята, призадумались, не знают, какой главный инструмент.

Валериан Иванович, наблюдавший со стороны за всем этим занятием, потихоньку в кухню упятился. И там весь закольхался от смеха.

— Все, Ульяна Трофимовна, — заговорил он, вытирая согнутым пальцем глаза. — Придется нам потесниться, перетащить продукты в одну кладовку, а в другой будем верстаки ставить. Авдей Захарович намерен всерьез за наших чад взяться.

В коридоре меж тем все еще стояла глубокая тишина. Здесь напряженно работала мысль. Кто-то, истомленный вконец, не выдержал и заныл, умоляя дяденьку Махнева сказать, какой все-таки главный инструмент.

Авдей Захарович еще покурил, поправлял мундштуком усищи, сдвинул морщины на лбу поднятыми бровями и с грустноватым выходом сообщил, что главнейший инструмент — это голова. Подождал, пока пройдут удивление, досадливые усмешки, шевеленья, стуканья, и напрямик заявил, что этим инструментом ребята пока владеют слабовато.

— Ну уж... — начал было кто-то, но Авдей Захарович не внял голосу.

— Вот расхватали инструменты, в драку расхватали, само собой, а что имя делать, с какой стороны за них браться, и не знаете. Не знаете ведь? То-то и оно-то! И получается что? Учить вас надо — получается! А допрежь

чем учить, я с вас стружку сыму и потребую уважительности к труду и, само собой, к инструменту. Кто этого не желает — катись к едрене-фене сразу.

Хвостом таскались за Махневым ребята, в рот заглядывали, со всех ног бросались исполнять любое его задание или просьбу.

Махнев опять пообедал вместе с ребятами, смел крошки со стола в ладонь и высыпал их в тарелку. Младшие сделали то же, и он похвалил их за это. И к случаю рассказал ребятам, многие из которых выросли здесь и не видели пашни, про хлеб, как его сеют, как он родится и какие голодухи бывали на Руси. Чтоб не пропало у ребят настроение от гнетущих рассказов про голод, загадал им загадку: «Кто у плотника и, само собой, у столяра главный враг?» Томить не стал и тут же выдал разгадку: «Главнеющий враг плотника и, само собой, столяра — сук!»

— Плотник, ребята, когда умирал, знаете, что сказал? «Всем прощаю, но суку не прощу!» — Махнев поднял при этом палец с кривым, порубленным ногтем и тут же смешался, поняв, что ребята постарше, которые уловили неглубоко лежавшую двусмысленность каламбура, завтра в школе удивят кое-кого.

К вечеру кладовка была вымыта, окно в ней протерто, инструменты водворены туда и закрыты под замок. В следующий выходной день Авдей Захарович обещал привезти с биржи пиломатериал на верстаки.

Уже затемно провожали ребята Авдея Захаровича из детдома. Кучей валились в сани, смеялись, кувыркались, опять рванули песню, но на этот раз уже не понарошку, а настоящую, от души.

В тот же вечер в столовку зашел Валериан Иванович и сказал, чтоб никто после ужина не расходился. Ребята ждали объявления насчет коллективного похода в театр или на лыжах либо головомойку за плохую успеваемость в школе, а может, нового допроса насчет денег из бани. Но вышло совсем другое.

— Все поели? — спросил Валериан Иванович.

И когда получил утвердительный ответ, приказал поставить на середину стол и накрыть его. Стол накрыли красным полотном от старого лозунга, принесли графин с водой и стакан на блюдечке. Ожидалось торжество. Ребята, гадая, вытягивали шеи, шушукались.

— Прошу сюда! — обратился заведующий к Паралитику и показал на свободный стул рядом с собою.

По столовой прокатился гул изумления, и все зашикали друг на друга, а те ребята, что потихоньку улизнули из столовой, вернулись обратно. Паралитик зыркнул по сторонам, глаза его сузились, зрачки расположинило короткими ресницами.

— Не пойду! — отрубил он и для верности утвердился на костыле у стены.

Валериан Иванович уже хорошо знал натуру этого парня и, сняв очки, усмехнулся:

— Боишься?

Паралитик малость повременил, тоже усмехнулся и, громыхнув костылем, отодвинул стул, уселся, пригладил ладонью волосы. Они росли у него вразброс: на висках — вперед, на макушке, как на кочке, а надо лбом вроде козырька. Он попытался застегнуть верхнюю пуговицу, и пуговица как раз на месте — этакая редкость на детдомовских рубахах, но опомнился и застыл в надменном ожидании.

Валериан Иванович, искоса наблюдавший за Паралитиком, заговорил, показывая на него снятыми очками:

— Ребята, этому человеку через десять дней исполняется шестнадцать лет. Я говорю — человеку, потому что ни имени, ни отчества, ни фамилии своей он не помнит и ходит под вымышленной фамилией, с кличкой, как... как не знаю кто. А человек должен иметь свое имя. Так я говорю?

— Та-ак!

У Паралитика отвалилась челюсть, он пошевелился на стуле и уронил костыль. Подняв его, начал испуганно озираться по сторонам. Желтая кожа на его лице взялась пятнами.

— Последняя фамилия этого человека — Подкобылин.

Столовая раскололась от смеха.

— А имя — Игорь.

Новый всплеск хохота.

— Скажи нам, Игорь, какие еще у тебя имеются имена и фамилии?

Ребята перестали хохотать, двигаться, сделалось тихо в столовой. Паралитик встал, приладил костыль плотнее под мышкой, из-подо лба недоверчиво посмотрел на Валериана Ивановича — не покупает ли? Но заведующий ждал, по-доброму поощряя его кивком головы. Паралитик кашлянул, проскрипел:

— Поднарный была фамилия. — Лицо Паралитика

стало сплошным бледно-желтым пятном. — Это потому, что я, должно, под нарами родился.

Придурок какой-то хихикнул и тут же затрещину огреб. Тетя Уля, облокотившись на раздаточное окно, курила, глубоко задумавшись о чем-то своем. Маргарита Савельевна прижала руки к груди и жалостно смотрела на Паралитика.

— И еще была! — уже со злым вызовом выкрикнул Паралитик так, что тетя Уля вздрогнула и очнулась, а Маргарита Савельевна еще плотнее прижала руки к груди. — Еще была фамилия — Курощупов — кур я мотанул как-то у дяди одного, и еще была — Слабобрюценко. Выкидыш... И еще была...

— Довольно, довольно! — Валериан Иванович взял Паралитика за руку, видя, что того вот-вот хватит припадок, и усадил обратно на стул.

В столовой тишина и ожидание.

Паралитик уткнулся подбородком в протертую подушечку костыля. Перекладину костыля по-птичьи цепко держала его здоровая рука, а высохшая, как восковая, висела вдоль спинки стула.

«Да-а, инвалид. В такие годы инвалид!» — горестно покачал головой Валериан Иванович. Он тут же подивился, что и сам он, и ребята привыкли не замечать, не считаться с тем, что это и в самом деле больной, изувеченный человек. Стало быть, есть у парня силенка, коли он сумел жить наравне со всеми, не выказывая страданий и неполноценности своей.

— Вот видите, — с тихой грустью молвил Валериан Иванович, — как неуважительно отнеслись товарищи к товарищу своему и приучили его так же относиться к себе. А ведь ему нужно паспорт получить, гражданином становиться. Может он без фамилии жить и работать? — Валериан Иванович нарочно сделал упор на слове «работать», хотя уместней было сказать «лечиться».

— Не-ет!

— Значит, что нужно сделать?

— Придумать хорошую.

— Правильно. Чтобы человек ушел из детдома с именем и не стыдился бы его, чтобы и жизнь ему начинать самостоятельную, — Валериан Иванович сделал многозначительную паузу, — честную было бы не стыдно. Какую же фамилию? А может, ты сам уже придумал?

— Не-е, — шевельнул тонкими губами Паралитик. — Я не придумывал никогда. Мне все другие, друзья...

— Удружили, нечего сказать! — Валериан Иванович легонько хлопнул ладонью по столу, требуя полного внимания. — Что ж, ребята, подумаем за него, уже в последний раз.

Посыпались фамилии со всех сторон, сначала серьезные: Иванов, Петров, Анкудинов, Замятин, а потом начали ребята подсыпать фамилии озороватей: Чашкин, Ложкин, Кастрюлин...

Валериан Иванович догадался, чем все это кончится, и хотел уже остановить поток предложений, но в это время подняла руку Маргарита Савельевна и попросила слова.

— Поскольку обсуждаемый нами товарищ паспорт будет получать в городе Краесветске, то есть как бы вторично родится здесь на свет как человек, как настоящий уже человек и советский гражданин, я бы лично предложила и фамилию ему — Краесветский. Это здорово соответствует...

Дальше говорить воспитательнице не дали.

— Ур-р-ра!

— Мир-рово!

— Ай да мы, спасибо нам!

— А имя? Имя?

Валериан Иванович поднял руку, подождал тишины:

— Имя пусть сам выберет. Если захочет оставаться Игорем, пусть остается. Игорь — это древнее русское имя. Был даже князь...

Шум, гам, возня — говорить дальше не было смысла. Народ взбудоражился. Ребятишки, довольные собой и всем на свете, двигали столы и стулья, дружно убирали и мыли посуду, готовились смотреть кино и как будто давно уже забыли о краже, о школе, о городской шпане и о том, что сироты они. Только детям спасительно дано все запоминать и все забывать.

Паралитик незаметно исчез из столовки, кино не дождался.

А кино в детдоме особенное. Не кино — потеха.

Шефы из лесокомбината еще на Новый год подарили детдому узкопленочный киноаппарат, чтобы ребятишки не развлекались своедельным кино, на которое изводили обложки учебников, вырезая из них даже и не совсем приличные фигурки.

Аппарат этот вместе с медикаментами и другими цен-

ными грузами был доставлен с магистрали самолетом. Но в кинопрокате Краесветска оказались всего две узкопленочные ленты: «Дубровский» и «Джульбарс». Вот их-то с Нового года и гоняет Глобус, мозговитый парнишка. Башка у него круглая, большая, ума в такую башку много вмещается. Поначалу Глобуса в детдоме все, проходя, щелкали по голове. Гулко откликалась голова на щелчок, а Глобус ходил по детдому шарахаясь. Потом все наладилось — щелкнут Глобуса, а он стукнет кулаком в ответ. Подействовало. Один по одному начали окорачивать руки парнишки.

Киноаппарат Глобус освоил в один дых: сходил в кинотеатр, потом привел в детдом киномеханика, и тот ему втолковывал, что к чему. Да и как же иначе-то? Глобус — это Глобус! Один раз, говорят, он решил такую задачу, какую сам Изжога решить не мог.

Подряд раз десять посмотрели ребята ту и другую кинокартины — надоело.

Тогда Глобус внес «мысль» в искусство — стал показывать ленты задом наперед.

Всем нравилось, как скачет задом конь издалека к публике, а морды нету. Или сперва снаряд разорвется, а потом в пушку дым обратно залетает.

Толя заглянул в столовку, постоял у костяка. Собака Джульбарс прыгала не со скалы, а задом на скалу. Диверсант-басмач гнался за пограничником, пятясь спиной к экрану. Все наоборот, все непонятно, бессмысленно, все шиворот-навыворот.

Публика визжала от восторга, ногами топала. Наташка сидела на полу, хлопала в ладоши и трясла бантом. Аркашка пристроился рядом с нею на маленьком стульчике, заливался, забыв обо всех бедах. Здесь же торчала тетя Уля. Тоже дивилась потехе, била себя по бедрам: «Придумают же! Придумают же!..» — и хохотала старая.

«Чего смеются?» — пожал плечами Толя. Но он не осуждал ребят. Ведь и сам он еще совсем недавно смотрел с удовольствием такое вот дурацкое кино.

Теперь оно ему уже не интересно.

После той картины или по каким-то другим причинам стал он относиться ко всему вокруг иначе. И на ребят глядел уже совсем по-другому. Они сделались ему немножко чужими. Иногда Толю еще тянуло в кучу, подурить, повозиться, но что-то уже сдерживало, тормозило дурость и прыть.

Толя погонял шарики по бильярду, загнал их в лузы. К лузам девчонки когда-то успели сплести сетчатые мешочки. А когда — он не заметил.

Неторопливо подстрогал разбитые кии и не знал, что бы еще сделать. Читать? Но сегодня и читать не тянуло.

Как всегда незаметно, разом возникла Маруська Черепанова и поманила Толю к себе пальцем. Он нехотя наклонился.

— То-о-олька! — зашептала ему Маруська на ухо. — А Паралитик в уборной лает...

— Ты опять?

— Честное пионерское, лает! Вот те крест!

Толя побежал в уборную: не хватил ли припадок парня — разобьется. Подергал дверь — закрючена. Стал дергать сильнее. Послышался постук костыля. Из-за двери срывающийся голос послал всех с крутика. «Паралитик плачет», — догадался Толя.

— Придумаешь, задрыга! — набросился Толя на Маруську. — А ну, шагом-арш кино смотреть! Все бы подслушивала да поднюхивала...

Маруська шмыгнула носом-фигушкой и повела глазами на уборную.

— Я кому говорю? — повысил голос Толя.

И Маруська нехотя убрела в столовку.

* * *

Из комнаты девчонок в дверную щель просвечивало. Толя заглянул туда. Зина Кондакова, сидя на своей чистенькой кровати, вязала маленькую варежку (для малышей старшие девочки кое-что начали делать сами) и одновременно читала книгу, косо лежавшую на подушке, тоже очень чистой, заметно выделявшейся среди других.

Зина уже примеривалась к самостоятельной жизни.

— Как это ты умудряешься? — удивился Толя и невесело передразнил кого-то из учителей: — «Чтение — это тоже творческий процесс и относиться к нему надо со всей серьезностью», — а ты плетешь чего-то и читаешь!

Зина едва заметно улыбнулась и закрыла книгу. Увидев, что это учебник по радиотехнике, а не роман про любовь, Толя удивился еще больше.

— Плетешь! Не плету, а вяжу варежки Наташке. И готовлюсь помаленьку. Валериан Иванович учебники до-

стал. Я ведь через полтора месяца паспорт получаю... — Она глубоко, протяжно вздохнула. — Хочет он пристроить меня в гидропорт, на радистку учиться. А я как подумаю, что надо уходить из дому насовсем, к чужим людям, так мне страшно, так страшно! А ты когда? Через зиму?

— Ага.

— Быстро пролетит.

Толя ничего не сказал на это, взял учебник по радиотехнике, полистал его: схемы, таблицы, азбука Морзе — все это трень-брень, все это не для него. А что же для него? Что?

— Правильно как-то у тебя все идет, Зинка... И в школе, и везде. — Сам себе Толя уже опротивел — запутался он и не знал, как выпутываться, чего делать, и в его словах была неподдельная зависть.

Но Зина не поняла или не хотела понять и принять его слов.

— Да уж куда правильней, — нахмурилась она.

Уставший от тревог Толя и без того был туча тучей, а сейчас вовсе попасмурнел. Но Зина как будто не замечала, в каком он состоянии, тревожила и его и себя вопросами.

— Понимаешь, вот ерунда какая. Вот все мы живем вместе, учимся в одних школах, что безродные, что с родителями. И мы уравнены с ними. Во всем. Хорошо это? — Толя молчал, слушал с нарастающим интересом. — Сначала хорошо, когда все дети. А потом? Потом нехорошо. Да и сначала тоже не очень хорошо. Чего я говорю! Будь у Гошки с самого начала родители, дали б они его изувечить?

«Но у тебя вон были родители, а какой толк?» — хотел возразить Толя.

— Ерунда! Прямо ерунда! — глядя поверх Толи, тихо и раздумчиво говорила Зина. — Они могут жить с родителями, те их вырастят, определят на работу. Поддержат, когда трудно. А тут отчаливай на все ветры со справкой на жительство, начинай с заботы о том, чего завтра пожрать.

Зина прервалась на секунду и, разложив на коленях вязанье, погладила его, заперебирала спицами.

Толя сидел понурившись. Зина добавила ему мути в душу. А он-то шел сюда, безотчетно надеясь успокоиться.

— Не зря, видно, люди говорят — своей судьбы не обежишь, — помолчав целую минуту, добавила Зина.

— Значит, не обежишь?

— Не обежишь, — как эхо повторила Зина. Неуловимо быстро ходили спицы у Зинки в руках.

Она заканчивала детскую варежку.

«Я девчонка совсем молодая, а душе моей тысяча лет...» — глядя на Зину, вспомнил Толя слова затасканной песни и встал, ткнув кулаком в аккуратненькую беленькую подушку, которая раздражала его самой этой непривычной аккуратностью и белизной.

— Черт с ней, с судьбой. Судьба, рок, провидение — все это как в книжках. Я последнее время дотумкивать начал, что не по книжкам жизнь-то идет. Вон... — Толя чуть не проговорился о Валериане Ивановиче, о том, что он в белой армии был, а теперь их воспитывает, но Зинка, наверное, уже все это знала, а ей и без того...

— Ты чего кино-то потешное не смотришь?

— Ну его! — отмахнулся Толя. — Башка у меня гудит. Все думаю, как ту бабу-разиню выручить.

— Чего же ты один за всех? У нас ведь закон — все за одного!

— Болтаешь ты сегодня, — буркнул Толя. — Один за всех. Кабы один...

— Вот посадят тебя в кутузку, — с усмешкой заговорила Зина. — И я снова, как тогда в больницу, ходить к тебе стану. Передачу носить. Разговоры разговаривать. И снова буду девочкой, которой никуда не надо уходить из дому...

— Да ну тебя! Ехидная ты стала, спасу нет!

Толя еще раз двинул в подушку кулаком и ушел, с досадою стукнув дверью. Створка двери со скрипом отошла. Зина поднялась ее прикрыть и увидела: Толя, накинув на плечи пальто, прошел на улицу, опустив голову. Зина проводила его пристальным взглядом до поворота и притворила дверь.

Отбросив вязанье, она легла лицом на учебник по радиотехнике.

* * *

Он стоял, опершись рукою на перила крыльца, и со всех сторон плыло к нему крепнущее движение весны, предпраздничное, гулевое беспокойство нарастало вокруг.

За Волчьим логом (странное все-таки название — здесь никогда не бывало волков!) негусто толпились дома Старого города. Дальше они задернуты густеющей день ото дня дымкой, и оттого кажется, стоят дома сплошняком и даже не стоят, а вместе с биржею, с трубами, со столбами попрыгивают в мареве и куда-то плывут. Еще дальше за домами, мерцающими, как на простыне, подвешенной Глобусом вместо экрана, за этим вытаивающим из снега городом, сзади этого солнца, скатывающегося за реку, есть еще города, много городов — всяких, больших и маленьких. И вот скоро уже, совсем скоро Паралитику жить в них. Зине жить в них. И Толе жить в них.

Как жить? Что они знают о людях? Что люди знают о них?

Права Зинка, права — боязно покинуть дом, навсегда уйти из него туда вон, за Волчий лог. А ведь у него обе руки целы и нога одна лишь поломана, да и то он почти не хромает... Каково же будет уходить отсюда Паралитику? И Зинке? Она девчонка.

Говорят, в миру девчонкам труднее, чем парням.

А еще совсем недавно казалось Толе — так вот, как он живет, будет жить вечно, и ничего не изменится. Всегда будет знакомая и понятная братва, ворчливая, но тоже понятная тетя Уля, замкнутый, не очень понятный, но все-таки свой, привычный Валериан Иванович.

Куда же они пойдут? К кому? Как их примут?

«Ручеек, лишь слившись с другими ручьями, становится рекой. А река, только встретившись с людьми, получит имя», — вспомнил Толя слова, вычитанные в мудрой восточной книге.

Но мудрые слова эти, будь они хоть развосточные, слишком слабое утешение. Толя заметил: мудрости, изрекаемые людьми, вроде еды — на время утоляют голод, а потом опять есть хочется.

Единым махом думы Толи переметнулись на другое. Он вспомнил о деньгах. Он не желал сейчас о них думать, не хотел, отмахивался: «А-а, подумаешь!.. Ну, вернем — и все... Ну, изобьют мильтоны. Пусть бьют. За дело. Да и не изобьют. Разговоров больше. Шпана напридумывала...»

Из-за острова, с южных краев, подувало. Ветерок был плавный, без злости и стегающих по лицу порывов, какой надоел за зиму. В логах помутнело, березники загустели. Предчувствие капели и травы таилось в этом ветре.

Должно быть, немало времени Толя простоял на крыль-

це. Огней становилось все меньше и меньше. Город погружался в сырую ночь, в сон. Город, в котором Толя вырос и который вырос вместе с ним. Родной до каждого закоулка, до каждого дровяника и барака. Город этот скоротал еще одну длинную зиму, перетерпел зазимок, и за это он скоро получит много света, солнца и дождется первого парохода. Темнота на все лето покинет его, и немые, стеклянные ночи поселятся в нем.

Родной этот город, такой, оказывается, чужой, такой далекий, хотя до него рукой подать.

Он постепенно и стыдливо оттер на окраины лагерь, тюрьму. Дом инвалидов, детдом — оттер все, что угнетало глаз и душу людей.

«...Я буду совершенно счастлив, когда прочту в газетах, что там-то и там-то закрыта тюрьма — не стало преступников; закрыта больница — уменьшилось число больных; закрыт еще один детдом — исчезли сироты...» — говорил Ступинский. Давно еще, убеждая открыть в Краесветске детдом.

А на первом занятии по военному делу Ступинский толковал им, старшим воспитанникам детского дома:

— Столетия множество людей боролись и борются за то, чтобы все жили счастливо, были равны, чтоб не было богатых и бедных и чтоб все были сыты, радостны, не отнимали бы друг у друга хлеб, не убивали бы один другого из-за чьих-то прихотей. Но видите ли, какие пироги, ребята: многие борются за счастье всех людей, но у них есть противники, которые хотят счастья только для себя. И с ними приходится бороться. Боролись мы. Может быть, и вам придется. Наверное, придется. Живете вот вы здесь все вместе, в этом детском доме. Никто вас не учил и не призывал нападать и убивать. И надеюсь, никогда учить этому не будет. Но вот допустите мысленно такую крайность — фашисты нападут на наш город, примутся жечь его, рушить, придут в ваш дом убивать малышей, вашу добрейшую тетю Улю, девочек, Валериана Ивановича. Вы заступитесь за них?

— А как же?

— Да мы... Да мы горло вырвем!..

— Вот видите, какая четкая программа!.. Горло вырвем... — невесело улыбнулся Ступинский.

Многое запомнилось. Все запомнилось: и худое и хорошее. Память, стало быть, не умеет разделять жизнь на первый и второй сорт, как бракеры делят пиловочник на

бирже. Память все складывает в одну кучу, и сам уж разбирайся потом, что брать с собою, а что и забыть бы надо.

Вот забыть бы о деньгах, что лежат в крысиной норе. Забыть — об Аркашке с Наташкой, о милиции. Да разве сумеешь?

Ветер присмирел. Лишь тянуло из логов и ближних озер студеностью да слабо поцарапывались ветви стлаников, вытаявшие из снега. Радуясь тому, что сбросили груз, шептались они о чем-то, перещелкивались. Казалось, в дровянике стоит конь или корова и вычесывает о стенку с худых мослаков зимнюю, слежавшуюся шерсть. А то чудилось, будто собака выщелкивала зубами из шерсти блох, мнилась какая-то возня в кустах и даже писк.

Значит, вот-вот загуляет по Заполярью весна. Птицы всегда чудятся к теплу. А пока восстают вокруг и оживают невнятные шумы и звуки. И пока еще самое чуткое, переполненное предчувствиями человеческое сердце, только оно может уловить, как потягивается, расправляется просыпающаяся земля.

На тропе послышались шаркающие, грузные шаги. И вешние шумы замолкли, как мыши замолкают в подполье, если скрипнут ночные половицы. Раздался глухой, в перчатку, кашель, и Толя догадался — Валериан Иванович возвращается из города или с прогулки своей одинокой, вечерней, которую он усмешливо называет непонятным словом «моцион».

— Анатолий! — споткнулся у крыльца Валериан Иванович. — Ты чего здесь один, на ветру? Куришь?

— Нет, не курю. Думаю, Валериан Иванович.

— Думаешь? О чем же?

Толя ответил не сразу, и Валериан Иванович замялся, полагая, что некстати сунулся со своим вопросом.

— Да и сам не знаю. Обо всем, Валериан Иванович. Вот смотрю на город и думаю, — выдохнул Толя. Переступил, помялся и чуть слышно продолжал: — Книжек я начитался разных, и оттого, верно, ерунда у меня разная в голове. — Он помолчал, облокотился о перила, опять посмотрел на огни, на город. — У ребят вон все просто. А меня все куда-то тянет, все чего-то хочется. А чего — и сам не знаю.

— У всех наступает это, Анатолий. Только у одних раньше, у других позже.

— Что наступает?

— Кончаются игры, и наступает жизнь.

— Как это?

Валериан Иванович нахмурился, чувствуя, что слова у него какие-то слишком уж «воспитательные», что не так бы нужно сейчас говорить с парнишкой. Однако не находились они, эти слова, которыми можно было бы снять налет той отчужденности, что возникла между ними после того еще давнишнего разговора.

— Жизнь наступает с той поры, когда человек начинает задумываться над поступками и отвечать за них, — все так же назидательно, по-учительски кругло высказал свою мысль Валериан Иванович и от досады сморщился.

Они помолчали.

За логом успокоился, уснул город. Огней в нем почти не осталось. Темнота уменьшила пустырь, отделяющий детдом от города. Не видно было Волчьего лога, тропы. Казалось, протяни руку — и дотронешься до огонька крайнего дома и накроешь его ладонью.

Все шевелились, почесывались друг о дружку ивняки за сараем. Утомленно выдохнула пар теплостанция на бирже, и большое белое облако вспухло в высоком небе над темными домами, над трубой, что дымила из кочегарки дяди Ибрагима. «Ночь была темная, кобыла черная, едешь, едешь, да и пощупаешь — уж не черт ли везет?» — почему-то всплыла в памяти Толи прибаутка, неизвестно где и когда услышанная. «Ночь была темная...»

— Трудно это? — отгоняя от себя назойливую посказульку, спросил Толя.

— Отвечать за свои поступки? Нелегко. И чем больше дано свершить человеку, тем больше ему отвечать приходится.

Валериан Иванович никогда не мог забыть тех своих слов, которые он сказал в столовке, когда умер Гошка Воробьев, и простить себе их тоже не мог. Но, даже постоянно следя за тем, что говорит он ребятам, Валериан Иванович все же опасался брякнуть что-нибудь такое же, и вот из-за этой скованности говорил обструганно, и слова получались какие-то неживые, деревянные. Но Толя очень и очень нуждался в разговоре. Он разрешал какие-то свои сомнения и следил больше за тем, что ему говорят, а не как говорят.

— Выходит, лучше ничего не делать? Лучше взять да жить тихо, незаметно? — В вопросе Толи проскользнула невеселая ирония.

— Я думаю, тебе это не удастся, — Валериан Ивано-

вич возвращал Толю к прежнему, серьезному тону, не давал спрятаться за шутливостью. Он положил тяжелую руку на плечо Толи. — Я тебе много советов давал. Надоел небось разными советами? Но не могу удержаться, чтобы не дать еще один. М-да... — Репнин на время прервался и уже по-другому, мягче, доверительней, произнес: — Видишь ли, Анатолий, жизнь состоит на первый взгляд из мелочей. И человек начинается с того же. Запомни, пожалуйста, одну маленькую мелочь: прежде чем пообещать — подумай, а пообещав — сделай обязательно. Пообещаешь, допустим, горелую спичку поднять с дороги — подними. Пообещаешь сердце вынуть из груди и отдать другому человку — вынь!

— Вы всегда так делали?

— Я? К сожалению. Дал однажды присягу: служить верой и правдой царю — и служил.

— Так зачем же вы меня тому учите?

— Не лови меня на последнем слове, Анатолий. Я ж тебе сказал: прежде чем пообещать — подумай! Сам я, как видишь, обещал, иногда не задумываясь. И сильно ошибался.

— А сейчас как? Сейчас вы уже не ошибаетесь?

— Ошибаюсь. К несчастью, ошибаюсь. Но не в обещаниях. Потому что даю их людям, в которых снова начинаю верить. Нет ничего на свете тяжелее утраты веры в человека...

— Понятно, это вы обо мне.

— И о тебе.

— Завтра мы вернем деньги.

— Я сейчас от Ступинского. Он уговорил прокуратуру не торопиться с судом, отложить дело. Как видишь, мы верили в тебя и в ребят. И я рад, что не ошиблись. — Валериан Иванович снял перчатки, сунул их в карманы пальто. — Может быть, нужно, чтобы я отнес деньги? — доверительно проговорил он.

— Нет.

— Что ж, дело твое. Но ты все-таки подумай, не очень торопись.

— Хорошо.

Толя сунул руки в рукава пальто и с тоской подумал: «Если бы вы знали, где взяли мы эти деньги!»

Валериан Иванович голиком обметал обутки и уже шутливым тоном рассказывал притчу, неуклюже пытаясь развлечь парнишку:

— Так вот насчет обещаний. У негров племени лоанго есть обычай: за невыполнение обещаний и молитв, с которыми они обращались к деревянному богу своему, они вбивают в него гвозди. Не подражай богам, которых из-за множества гвоздей можно сдавать в металлолом. Такто, — улыбнулся Валериан Иванович. — Пошли домой, молодой человек. Утро вечера мудренее, утверждают старые люди.

Толя не ответил улыбкой на шутку Валериана Ивановича. Он лишь зябко поежился. Тупо уставившись взглядом в свои валенки, он нехотя поволокся в свою комнату, забыв вынуть руки из рукавов.

Валериан Иванович, открывая свою комнату, пристально посмотрел вслед Толе и, когда тот исчез за поворотом коридора, покачал головой и снова подумал: «Взрослым становится парень, взрослеет...»

Поздно затих детдом. Аркашка и Наташка спали, разметавшись. Наташка еще боялась ночью без брата, и ее, малышку, оставили тут. Она брыкалась во сне, сбрасывала ногами одеяло. Толя несколько раз поднимался, накрывая ребятишек, и подолгу стоял у окна, раздвинув строченные девчонками подшторники.

Окна помаленьку оттаивали. Толя машинально водил ногтем по оклейке и продырявил ее. С улицы в щель просочился холодок. Вторая рама тоже начала оплывать сверху и к рассвету зачернела почти до половины. С подоконника на пол натекла лужица.

Скоро будут выставлять рамы. Еще холодно. Еще чуть дохнуло теплом. Но все равно уже скоро. Шуму, веселья, радостной работы будет, как всегда, на весь дом. Глядишь, еще выдавят одно или два стекла, впустят в дом ветер, холод и солнце. В комнатах сразу сделается светлее, и на подоконниках в стаканах появятся веточки с набухающими почками, и через неделю-полторы из них выклюнутся беловатые листочки черемухи либо клейкие, сморщенные листочки березы. Ребятишки станут осторожно трогать их пальцами, а то и языком. Об эту пору, бывало, Толя приносил домой первые цветы беленькой ветреницы. Он знал одно солнечное местечко за сараем. Там, на взлобке, у озера, есть бугорок. Он вперед всех вытаивает, и, на тонких лапках разворачивая резные крылышки листьев, выходят на этот бугорок отчаянные белые ветреницы.

Поначалу над Толей смеялись, а потом привыкли. Нынче принесет цветы кто-то другой, совсем другой парнишка. Увидит на проталинке ветреницы, сорвет их и дома поставит на окно либо отдаст девчонкам — они всегда рады цветам.

И в выходной день взялись ребята за дело — повынимали вторые рамы, девчонки мыли стекла, скрипели тряпками и ладонями. Толя бегал с ведрами, носил воду девчонкам с озера. Маргарита Савельевна тоже мыла окна, распатлалась, водою облилась и все чего-то рассказывала, рассказывала и смеялась, а про себя думала, что ради таких вот минут стоит все вынести и работать в доме, растить ребят, которые поначалу наводили на нее ужас.

Толя, тоже забывшийся, веселый, первым заметил на тропе человека, который, проваливаясь в снегу, спешил к детдому в распахнутом полупальто, в шапке, сдвинутой на затылок, из-под которой выбивалась синевато-черная челка. «Дядя Ибрагим!» — Толя поставил ведра на снег. Нехорошее предчувствие холодом коснулось сердца Толи, но когда приблизился Ибрагим, сделалось заметно — лицо его сияющее и глаза с бешеным блеском. Весь он был какой-то непохожий на себя.

— Туля! Туля! — еще издали замахал рукой Ибрагим и, подскочив к парнишке, поднял его на руки, закружил, затискал. — Капкас! Родину — Капкас... Туля! Я умру, а? Умру, а?..

— Дядя Ибрагим! — вдруг закричал Толя и, привалившись к кочегару, пропахшему дымом и копотью, разрыдался.

Горячее чувство благодарности охватило Толю оттого, что в минуту самой большой радости этот человек вспомнил о нем, не забыл его, а он-то еще и сторонился дяди Ибрагима последнее время.

Ибрагим тоже плакал и успокаивал мальчишку:

— Шту ты!.. Шту ты... Капкас приезжай! Родину мою приезжай! Брат будишь! Сын будишь...

И когда они оба успокоились и сели, немножко смущенные слезами своими, Толя медленно, раздумчиво, будто пожилой мужик, сказал:

— Длинные дни тебе, дядя Ибрагим, покажутся до первого парохода.

— Ничива, — кротко вздохнул Ибрагим. — Мнуга ждал, мнуга терпел, маленько еще потирплю. Ничива...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На большой перемене к Толе подсеменила сытенькая и до того чистенькая девочка, будто ее мыли во многих водах с духовитым мылом, а потом еще облизали. Она известила, что сегодня будет первая предпраздничная спевка школьного хора. Начинается подготовка самодеятельности к Первомаю, и, хотя он, Мазов, подзапустил школьные свои дела и перестал ходить на репетиции самодеятельности, вожатая все же надеется, что у него осталась совесть и он, запевала, не подведет родную школу. Пусть не забывает, предупреждала вожатая, что рекомендацию в комсомол ему будет давать школьная пионерская организация, и если он будет себя неправильно вести...

Толя снисходительно оглядел сытенькую пионерочку. На ней глаженый галстук, на галстуке сердечком горело пламя металлического зажима. Не удержался, провел пальцем под носом девочки.

— Скажи своей вожатой, у меня сегодня будет еще та самодеятельность! Мне сыграют «Сени мои, сени!..».

— На балалайке? — не обиделась девочка. От сытости или еще от чего в ней уже бродили тайные крови, и она чуть кокетничала с мальчишками.

— Нет, на ребрах!

— Как на ребрах?

Ничего не разъяснил девчонке Толя, ушел, оставив ее озадаченной. Не сразу, но до нее дошло, что Мазов ее дурачил и издевался над нею, над активисткой школьной самодеятельности, и она побежала жаловаться вожатой.

Никогда еще Толя не возвращался домой так медленно, так подневольно. Ребятишки из первой смены промчались мимо него, толкнули разок-другой. Он не ввязался в свалку, шел, помахивая сумкой, сшибая с карликовых березок настывшие льдинки, даже напевал что попало, но что напевал — не слышал, о чем думал — не сознавал. Ближе к дому останавливаться начал, на небо, на лес глазел. Кустарники чадили пьянящей дымкой, запахом молодеющей коры и торопливо набухающих почек. На сильных вершинках ивняков почки уже лопнули, показав шишечки из серой шелковой шерстки. Под елками появились продухи. На дорожке, где Махнев проезжал, следы коня выперли. По березнику перепархивали дородные снегири.

Сидя на крестообразной вершинке ели, безостановоч-

но наяривал зяблик, лишь недавно объявившийся в этих краях, и с упругим жужжанием резали крыльями воздух резвящиеся бекасы. Беспокойство от зябликового трезвона, от суеты птичьей, от шума и гама пробуждающегося леса возрастало в Толе.

Ему все больше и больше не хотелось идти домой. Ведь вот пообедаешь и отправляйся туда... Надо.

Дома Толю ждал Мишка Бельмастый. Он стрельнул целым глазом в угол. Там на кровати вниз лицом, в брюках и рубахе спал Деменков. В комнате пахло перегаром. «Наблудился и пришел отсыпаться, — с ненавистью подумал Толя. — Ну погоди, скоро уж турнут тебя, гада, отсюда!..»

Тянуть с деньгами больше нельзя. Но и нести их, даже думать об этом не хотелось. Толя, почти не таясь, сходил в уборную, взял деньги из крысиной норы, сунул их в карман. Пачка денег оттопыривала штаны, и Толя даже самому себе стыдился признаться, какое жалкое и затаенное желание было у него: заметили бы деньги и отобрали бы.

Но деньги никто не отбирал. Даже Паралитик не отбирал деньги. А ведь заметил, наверное. Глаз у него на эти штуки наметанный. Паралитик совсем притих чего-то. Все больше лежит, укрывшись с головой одеялом. Не бодрится, не постукивает костылем, не орет на ребятишек, не раздает подзатыльников. Думает Паралитик, Игорь Краесветский, лежит и думает. Что-то он надумает? Может, устанет думать, плюнет на все да возьмется жить, как жил прежде? Едва ли. Он инвалид, обостренно чуткий к добру и к злу. Чего же больше сделали ему люди — добра или зла? Вот если бы вопрос этот был ему ясен, тогда другой оборот, тогда, может, послал бы он вниз по матушке по Волге всю эту печаль...

Как будто не так уж давно похоронили Гошку Воробьева. Много доставлявший хлопот старшим и зливший постоянно ребят, Гошка, когда был живой, почти никак не влиял на их жизнь и на поступки. А вот смерть его исподволь, незаметно переменила в детдоме многое. И Паралитика тоже. Да разве одного Паралитика? А Зину? А Мишку? А Женьку? А Глобуса? Да и Толю самого не перевернула она разве? А детдом?

В нем уже не властвуют безраздельно Деменков и Паралитик со своей компанией. Строже к себе, сплоченней стали жить ребята. Карманники детдомовские не

шныряют по магазинам, и среди них самый отчаянный, Женька Шорников, слово дал завязать.

И Толя дал. И Мишка...

Ребячливость бесшабашная и бездумная, веселая удаль покинули Толю. И он стал как будто ответственным тут за все, на него надеялись, ждали, что он сделает и скажет. Редко кто решался ослушаться, если он посылал куда или просил что-либо сделать.

И все, что касалось кражи денег и кассирши, ребята, не сговариваясь, переложили на Толю. Раз уж он Паралитика победил, с Деменковым справился, значит, сообразит, как быть.

Отступать невозможно, некуда. Нужно идти. Обязательно идти.

* * *

И они пошли.

Кутаясь в пальтишки, без разговоров, будто в стужу, шли, не глядя друг на друга, как идут подсудимые, очень виноватые перед людьми. И как у всяких преступников, в каждом из них теплилась надежда на милосердие и чудо.

Но чуда не случилось...

Они лежали в холодной, полутемной комнатушке на полу и медленно приходили в себя. В комнатушке пахло гниющим от сырости полом, грязной одеждой, перегаром и табаком, а вместе все эти запахи отдавали болотиной. Сюда, в эту комнатушку, на время кидали пьяниц, подобранных на улице, буянов, воришек и всякую шваль, которая есть в избытке и в таком маленьком городе, как Краесветск.

— Ну как ты, Мишка?

— Я?.. Я-то ничего... Как ты?

— Тоже ничего...

В коридоре послышался звон железа, шум, крик:

— Т-ты, попка! Убер-р-ри р-р-руки! Я таких видал и едал! Я т-таких сыр-рыми... — Ругань удалялась в глубь коридора. — Убери подобру...

— Вот и понесли крест, — дождавшись, пока шум и ругань затихли, сказал Толя с грустным смешком. — Так пишется в благородных книгах.

— Я думал, хуже будет.

— Я тоже...

Под потолком тускло горела лампочка в железном решетчатом колпаке. Толя первый раз в жизни видел свет, упрятанный за решетку, и подумал: «Надо было идти одному. Все равно не поверили».

Вдруг он услышал, как зашумел, зашмыгал носом Мишка. Толя еще никогда не видел и не слышал, чтобы Мишка плакал. Испугался:

— Ты чего, Мишка? Отшибли чего-нибудь? Отшибли?

Мишка плакал отвернувшись, закрыв лицо руками, и Толя каким-то уже не детским разумом дошел: ни утешать, ни расспрашивать Мишку не надо. Он вытянулся на спине и, не отрывая глаз от лампочки, принялся считать. Считал, чтобы и самому не расплакаться, и с неожиданной усмешкой подумал: «Вот и математика пригодилась. Не такая уж она зряшная наука...»

Постепенно Мишка утих. Толя обнял его, и Мишка, истинный, закаленный детдомовец, не сбросил руку Толи, а тоже обнял его.

— У меня вон бельмо, — глухо, как бы самому себе, сказал Мишка. — И вот меня всегда толкают, бьют шибчей, чем других. Отчего это, Толька?

— Не знаю, Мишка, не знаю. — Толя вынул из кармана в комочек скатавшийся платок — Зина обвязала его цветными нитками, — щемливо вспомнил о ней, будто был за тысячу верст от нее и уже давным-давно ее не видел. Сунув платок в руку Мишке, откинулся, снова заговорил: — Так, видно, устроено у людей: красивое все любят, балуют красивых-то, а уродов ненавидят. Верно, сами об себе думают, что красивые. А сами же урода-то породили. Вот и не могут этого себе простить.

Мишка утерся, содрогнулся от далекого, уже закатывающегося всхлипа и, забыв вернуть платок, молвил:

— А меня мать с отцом все равно любили. Я плохо все помню, но любили, знаю.

— Так то ж родители!..

— Да-а, родители!..

— Начальник-то, слышал? «У них родителей нет, так ты им как отец всыпь!..» Роди-итель! Папа! Своим деткам небось...

— Костыльника покрываете, мерзавцы! Деменкова-бандита спасаете, сопляки! — передразнил начальника милиции Толя. — Покрыли б мы костыльника с Деменковым штукой одной, если б...

— Ладно, Толька, ну их подальше. Давай лучше про родителей еще поговорим...

— Да я их почти не помню, Миха, — отозвался Толя. — Мать еще в деревне умерла. Как отца забрали,так и умерла. Отец, не знаю, живой или нет? Последним прадед умер. Всех пережил. Сто лет ему было.

— Н-ну-у-у! — Мишка приподнялся даже и поглядел недоверчиво на товарища — не загибает ли?

— Ага. Так говорили.

— Долго — сто лет! Уж повидал в жизни так повидал! И натерпелся, поди...

— Мне он ничего не рассказывал. Как приехали сюда, на Север, он уже не разговаривал. Молчал все. Оцинжал потом. Один раз как закричит!.. И умер. А бельмо тебе, Мишка, вылечат. Ты не беспокойся. Я в книжках читал, даже стеклянные глаза вставляют.

— Да я ничего, привык. Конечно, — понизил голос Мишка, — без бельма лучше бы. Мне командиром охота быть, пограничником. А кто меня такого в командиры возьмет? Э-эх, скорей бы уж вырасти! Я на любую операцию соглашусь. Пусть на стеклянный глаз, все равно соглашусь.

Мишка, оказывается, разговорчивый человек. Столько лет прожили в одном доме с ним, а Толя и не знал этого. Однако разговор скоро кончился.

— Хочешь, я тебе сказку расскажу? — предложил Толя.

— Давай, — обрадовался Мишка. — Ты здорово умеешь рассказывать. Я тоже, как глаз мне другой сделают, стану много книжек читать и наизусть рассказывать.

— Нет, лучше не читай. Учиться плохо будешь и блажной сделаешься. Говорят, от книжек даже с ума сходят.

— Ты ж не сошел!

— Я еще молоденький. Может, еще сойду...

— Брось тогда читать.

— Я пробовал. Тянет. Вот курцов к табаку тянет. Видал, как те, у баржи, махорке обрадовались? А меня к книжкам тянет. — Толя опять повернулся на спину, закинул руки за голову. —В книжках все больше про буржуев богатых и про несчастных рассказывается. Все больше описывается, как кто умер и как кого убили. И еще про любовь. В стихах чаще про любовь-то. Мне сперва не нравилось про это читать: канитель, думаю, разводят. Нет чтоб сразу сказать: я, мол, тебя люблю. Виляют, слова посторонние всякие говорят. Я сперва все в конец заглядывал.

Там, как в алгебре, ответ есть: то ли, се ли. А теперь вот и про любовь стало интересно читать. Есть одна книжка, про Квазимоду, про смерть его и про любовь. Квазимода был горбатый и тоже одноглазый, а полюбил красавицу Эсмеральду. — Мишка вспыхнул при воспоминании про одноглазого Квазимоду, но Толя не заметил этого и уже повел рассказ о великой и несчастной любви горбуна Квазимоды.

Мишка совсем приупыл от печального рассказа, и Толя, чтоб утешить Мишку, решил поведать ему про кино, которое потрясло его до основания. На Мишку кино не подействовало. «Он же музыки-то не слышал, а в этом кино главной музыка была», — догадался Толя.

— Мало ли чего там показывают! В жизни все по-другому. — Мишка махнул рукой, с угрюмой рассудительностью закончил: — А я маленький был, верил всему, дурак. Покажут, как утонул человек или захворал, так я и заплачу. А там артисты вовсе, и дома из фанеры да на тряпках нарисованные, сказывают.

— И я тоже верил, — спустя время отозвался Толя. — Тоже плакал. А в жизни и верно все по-другому, — совсем тихо подтвердил он, глядя вверх, на зарешеченную лампочку.

* * *

Поздним вечером, когда обезлюдели улицы, дежурный выпустил из прокислой комнатушки Толю и Мишу, погрозив на прощанье пальцем:

— У меня не болтать! И если еще раз попадетесь!..

Ребята вихрем вылетели из дежурки, не дослушав строгого человека, и помчались домой.

И когда за Волчьим логом, за бугристым пустырем, заершившимся от кустарника, они увидели светлое окно на кухне своего дома, оно показалось им таким дорогим и долгожданным, что у обоих подкатили к горлу слезы. И Толя вспомнил, как он уже много раз радовался этому родному для него огоньку, и подумал, что это большое, наверное, счастье — иметь на земле свое, всегда тебе светящее окно.

Тихо пробрались парнишки в раздевалку и не повесили свою одежонку вместе с остальною, а постояли и, не сговариваясь, сунули шапки и пальтишки с чужим, противным запахом в угол, за вешалки.

На кухне, вполголоса напевая: «В степи под Херсоном высокие травы...» — дежурные чистили картошку. Ужинать Толя и Мишка не стали, забрались в постель и разом, как бы свалив ношу, выдохнули:

— Мировуха!

— Мишка! — позвал Толя. — Иди ко мне.

Мишка рыбиной метнулся с одной кровати на другую. Парни залезли под одеяло, пошушукались, посмеялись, угрелись и незаметно в обнимку уснули.

Во сне оба вздрагивали, постанывали. Страшное, должно быть, снилось парнишкам. Женька Шорников и Малышок подняли головы. Они ждали Толю и Мишку, ловко притворяясь спящими. Натянули валенки парнишки и поспешили к Валериану Ивановичу.

Постучали.

Всегда чутко спавший Валериан Иванович зашевелился, зазвенела пружинами кровать, заговорили под грузным человеком все железки. Ребята приникли к дверной щели и в один голос доложили:

— Варьян Ваныч, все в порядке!

— Что в порядке? — хрипло отозвался заведующий.

— Толька с Мишкой отнесли деньги.

— А-а, ну хорошо, хорошо. Бегите спать.

Женька и Малышок ликующе подпрыгнули, поборолись маленько в коридоре, а потом прямо в подштанниках, по-домашнему, заглянули на кухню, взяли из таза горстку картофелин и уже в постели схрумкали их, как орехи.

* * *

Назавтра во время обеда за Аркашкой и Наташкой пришла мать. На ней была мятая, пахнущая дезинфекцией одежда. Должно быть, поспешила сюда прямо из камеры, и запах тюрьмы еще не выветрился. Лицо у нее утомленное, осунувшееся, с темными обводами у выгоревших глаз. Рукава телогрейки отчего-то свисали ниже рук, и чулок на женщине не было, утерялись, видно, в тюремной кладовке, а ждать, когда найдут чулки, она не захотела.

Злым рывком распахнула женщина дверь в комнату Валериана Ивановича.

Через несколько минут в притихшую столовую вбежала дежурная и с придыхом выкрикнула:

— Аркашка! Наташка! Вызывают в кабинет!

— Да пусть поедят, куда спешить-то? Не на пожар! — запротестовала тетя Уля, насыпая в кармашек Наташкиного платьица леденцов и урючных косточек. Сама же она и увела детей в комнату Валериана Ивановича, которую упорно именовала «канцелярией».

Валериан Иванович долго о чем-то разговаривал с матерью Аркашки и Наташки. Но о чем — ребята расслышать не могли, хотя и крутились у двери. Был уже звонок на «мертвый час», малыши разбрелись по комнатам, а все старшие ребята чего-то ждали.

Толя стоял, прислонившись спиной к стене, и тоже ждал. Лицо его как будто постарело за эти дни, лишь глаза ровно бы воспалились от сверкающего снега, а в теле расслабленность была, усталость. Болело под ребрами тупо, будто он проспал всю ночь на остуженных камнях. Потряхивало нутро мелконьким кашлем.

Наконец тетенька вышла, утирая концом полушалка глаза, и вывела за руку Наташку. Аркашка весь красный шел следом, потупившись, терзая в руках шапку. Наташка, заметив Толю, бросилась к нему, обхватила его руками и, заглядывая снизу вверх, счастливо сообщила:

— А к нам мама пришла!

Сердце у Толи растроганно дрогнуло, и тут же летучий холодок коснулся его. Через силу улыбнулся он девочке, потрепал яркий бант на ее голове. Женщина резко отдернула девочку к себе, сорвала бант, будто сорный мак, швырнула его к ногам столпившихся ребят.

Наташка захныкала.

Женщина подняла ее на руки, хлопнула ниже спины и прижала к груди, а к боку Аркашку. Загораживая своих детей собою, точно курица-парунья, она пятилась к двери и кричала отрывисто, словно с оттяжкой, наотмашь хлестала по лицам:

— Шакалы! Шпана! Воры! Сволочье!..

Дверь взвизгнула. Пудовая гиря подскочила вверх, бухнула в ободверину, скрипуче повторила: «Сволочье!» — и закачалась на проволоке.

В растерянной тишине только и слышалось это ржавое, тягучее поскрипывание. По замарелому стеклу промелькнула торопливая женщина с ребенком у груди и следом узенькая тень мальчика, тоже быстрая.

Гиря перестала раскачиваться, повисла, но что-то еще раз-другой подавившейся цыпушкой пискнуло под нею.

Ребят будто ветром размело. Кого куда. Толя остался один в коридоре. Он шагнул к окну, уперся лбом в холодное стекло, все в ребрах льда, и так стоял, весь обвиснув. От стекла приятно холодило лоб, и лишь это единственное ощущение он воспринимал сейчас. Еще ныло под ложечкой, и кожа на груди сделалась ровно папиросная бумага. В голове не было никаких мыслей, и внутри, там, где полагается быть душе, пустота. Будто вместе с женщиной, с детишками ушло все и осталась только саднящая усталость и скорбное сожаление неизвестно о чем.

Сколько простоял Толя один в коридоре, упершись лбом в оледенелое стекло, он не знал. Не хотелось ему идти в комнату, не хотелось видеть ребят, опять тянуло на улицу, в лес, в одиночество.

Слез не было. Не плакалось. А хорошо бы завыть, торкнуться башкой в раму. От подтаявшего льда текло по лицу и за ворот рубашки, но он не мог оторвать взгляда от маленького, с пятачок величиной, продуха.

В махонькое отверстие прямо на него выплывала лодка, по-живому зыбясь и обозначая сначала контурно, а потом явственно самое себя и все, что в ней.

А в ней на носу, как в гнезде, закутанный в дождевик мальчишка.

Щелкают коваными наконечниками шесты. На мелких местах щелкают резко, на глубоких — глухо.

Руки перебрасывают шесты. И рукава то спадают до запястий, то отлетают до локтей. На корме резкими, сильными рывками отталкиваются смуглые узластые руки, на которых набухли ветвистые жилы от кистей и до крутого локтя.

Это кормовой. Он управляет лодкой.

Женщина, что впереди, стоит с шестом, как в залуке, так и на струе, подбрасывает шест легко, непринужденно и о чем-то болтает, болтает...

— Ну что, Анатолий, тяжело? — услышал Толя и вздрогнул.

Лодка пропала, осталось перед глазами лишь мутное стекло с ребрами льда, оплывшими и истончившимися от дыхания.

Толя хотел закричать на Валериана Ивановича. Но не мог закричать. Перед ним стоял в помятых шароварах, в покороблепных кожаных сандалиях без ремешков пожилой человек с колючей сединою, искрящейся по щекам, и с чайником в руке. В голосе его как будто была строгость,

а в глазах, небольших глазах, перепутанных красноватыми ниточками, участие.

Толя отвернулся, провел пальцем по синеватому, расширившемуся продуху, похожему на детдомовское озерцо за дровяником.

Стекло скрипело, как тупая пила.

— Перестань! — покривился Валериан Иванович. — И почему ты не в постели? «Мертвый час» все-таки.

Толя упрямо молчал, и в этом молчании чувствовался закипающий вызов.

— Законы для всех одни. И пока живешь здесь...

Толя спиной чувствовал, как заведующий возвращался из кухни, нацедив чаю, как приостановился он у двери своей комнаты, потоптался, почти неслышно обронил свое: «М-да!»

— Может быть, зайдешь? Чаю бы попили, — словно оправдываясь, предложил несмело Репнин.

— Не хочу я никакого чаю! Ничего не хочу! Отвяжитесь вы, ради Бога! — тихо простонал Толя и откусил грязную льдинку с перекладины рамы.

Валериан Иванович ногою открыл дверь в свою комнату и, высоко держа чайник и стакан с блюдцем, исчез.

Толе почему-то сразу сделалось не по себе. Когда здесь над душою стоял Валериан Иванович, наорать хотелось или пожаловаться, припав к нему. Ребятишек вон увели — пожаловаться, двух чужих малышей, а ровно бы от души что оторвали.

Толя выплюнул льдинку, провел по лицу рукою. Стекло распаивалось, стачивались серые от пыли на подоконнике клыки. В верхней дольке рамы шмелем шевелился солнечный блик.

Ах, если бы еще раз увидеть лодку! Еще раз заслониться от всего!

Помнит шесты, руки, а лиц отца и матери не помнит. Не помнит, куда и зачем плыли. Но до удивительности отчетливо видит, как потемнело вокруг, слышит, как резче защелкали шесты, как забулькала вода у щек лодки. Берег побежал мимо, ровно бы на колесах, быстро, с рокотом. Суетясь меж выступивших из воды камней, нащупывая острием носа разрез струи, лодка плыла под сумрачный навес скалы, исполосованный птичьим пометом.

Отец и мать схватились руками за расщелины утеса, тревожно глядели вверх, а там грохотало, сверкало, рас-

калывалось небо. Утес вот-вот должен был вздрогнуть и низвергнуться на них.

Густо и шумно обрушился дождь. Он плясал рядом с лодкою, тонконогий, пузырчатый. Он вздрагивал, ежился, прыткой рысью припускал по черной воде. Молнии огромными серпами подкашивали его, как крупную траву, стрелами вонзались в густые, гибкие заросли. Небо рвало в клочья синим огнем. Грохотало так, что белые рыбки ельцы взлетали из раскрошенной воды, ворохами узких листьев опадали в лодку и подпрыгивали в ней.

Артельно, с шумом и гамом пронеслись на улицу детдомовские малыши. Они гнали по коридору чью-то шапку вместо мяча.

— Отдайте! Ну отдайте же! — суетился белобрысый мальчишка, пытаясь, как вратарь мячом, завладеть своею шапкой.

Толя подхватил ударившуюся в окно шапку, нахлобучил ее на белый кочан мальчишки и вытолкнул его за дверь.

«Мертвый час» кончился. Нужно было уходить.

Мимо комнаты заведующего Толя прошел на цыпочках, предполагая, что Валериан Иванович отдыхает.

А Репнин в это время сидел у окна, швыркал чай из блюдца, давно уже утратив все правила застольного этикета. Он думал неторопливо о том, что вот и еще одну беду, как гору, перевалили в доме, еще одна забота минула. А сколько их будет? Каких? Сама жизнь и работа тут такая — одолевать, искоренять людские беды. Здоровьишко ж не то уже. Да и годы немалые. Когда только и пролетели?..

Оставив недопитое блюдечко с чаем, Валериан Иванович выглянул в коридор. Толи нет. Ну и добро! Значит, легче парню стало. Значит, перегоревал. Ребячье горе отлегчиво, крылато.

Репнин заметил стул, все еще стоявший у двери, и оттуда, как выстрелы в упор, зазвучали слова женщины:

«Ворье плодите! Всех засудить надо!»

«Как это всех?»

«Тех, которые в милицию деньги принесли, арестовать — они об остальных расскажут!..»

«Мы уж тут сами разберемся, голубушка».

«Как же, разберетесь! Заодно с ними небось?»

«Не со всеми».

«Во-во! Я и говорю, одна шайка-лейка! Какой же процент они вам дают?»

«Когда как. В зависимости от настроения...»

М-да, это тоже надлежало вытерпеть, дать выпалить гнев человеку, а потом успокоить, умилостивить его, унижаясь и сдерживаясь, чтобы и самому не разораться и не навредить ребятам. Ведь если женщина будет добиваться, настаивать, могут для примера сослать в трудколонию Толю с Мишей — потом доказывай, что не они должны там отбывать наказание...

Валериан Иванович убрал стул. Женщина почему-то никак не хотела проходить от двери и все натягивала юбку на голые колени и прятала руки в рукава. Она стеснялась самой себя. Стыдливость свою она прикрывала грубой бранью, и заметно было — сразу полегче ей сделалось.

И то ладно.

Перед Валерианом Ивановичем проходят недавние события.

Гоша Воробьев. Кража. Брат и сестра — Аркашка и Наташка. Зина Кондакова. Паралитик. И прошлое не забывается, долит тяжестью. Парнишка стоит, упершись лбом в стекло. О чем он думает? Что свершается в его душе? Какая работа идет там? И пожалеть нельзя. И в разговоре блюди осторожность. Он сейчас чутлив ко всему, как птица при первой линьке. «А я потревожил его, старый осел... И слова-то подвернулись... И без того одиноко парню. Очень уж переменился он. Погрубел и понежнел — все вместе...»

Но тут же Валериан Иванович бранит себя за излишнюю мнительность: «Парнишка и парнишка, как и все прочие парнишки, и нечего преувеличивать. Он, видите ли, ждал немедленно награды за свой благородный поступок. Нет, ты, Анатолий-свет, проживи жизнь так, чтобы в конце ее люди сказали тебе спасибо, и тогда считай, что прожил ты ее не напрасно. М-да!..»

* * *

Помнит...

Дождь. Молнии. Река.

Как посветлело сразу, помнит. И хорошо дышалось.

На той стороне реки еще уходил с приплясом дождь, еще горы были отгорожены там рябящим пологом, про-

шитым солнечной пряжей. А у лодки все уже сверкало умыто. Со скалы часто и крупно капало. Из каменной расщелины шумно лилась коричневая, быстро иссякающая вода. Мутный поток тащил по глубокой реке растопыренную хвою, сосновые шишки, сухой гриб, головки фиолетовых цветков, кружило пустоглазую шкуру змеи.

У дряблых, зализанных водою щек лодки слоистой свилью переплеталась волна. Что-то в глубине ее возникало белое, пятнистое и тут же морщилось, исчезало.

Это был студеный зрак реки — он жил на самом дне.

От него исходило смутное, гнетущее ощущение. Родом данным инстинктом мальчишка почувствовал, что это ощущение холода и глубины надо преодолевать.

Вот он, борт. Вот вода. Близко. Рядом.

Как страшно было руке спускаться по борту, будто по утесу. На ковыляющих пальцах ползла рука, ползла по борту к воде.

Он обреченно ждал, как схватит его сейчас тот, с холодным зраком, и...

Но тут пальцев коснулось игриво что-то холоденькое, щекотливое. Он облегченно засмеялся и перевесился за борт.

Никакого зрака там не было. Бежала волна, пересыпалась пузырьками. Он хлопнул ее ладонью по макушке, и она воронкою закружилась, заулыбалась и ушла.Хлоп другую — и другая волна заиграла брызгами. И тогда решил он в охапку схватить косматую веселую волну, раскинул руки, бросился на нее. Туг же его схватило скользкими холодными лапами самого. Мгновенно обволакивающая покорность оттого, что доверился, обманулся, точно сон, спеленала его. Крик застрял в горле. Звон в ушах. Царапающая боль в носу. И быстрый, как просверк молнии, женский вскрик...

...Какая же связь между тем днем и нынешним? Почему раньше никогда не вспоминалась лодка?

Толя шел за город к кладбищу, надеясь, что там он додумает, поймет что-то, а додумав, поняв, обретет покой.

О том, что покоя ему теперь никогда не будет, он еще не знал.

Он шел один, и все, что было в его душе, а всего-то было еще горсточка, нес с собою. Но и эту малую ношу тащить уже было нелегко. Живые люди еще больше растревожили его, и он шел покаяться мертвому Гошке Во-

робьеву, покаяться и за себя, и за людей. Хотя с Гошкой он не водил дружбы, а просто жил с ним в одном доме.

Зазимок сдавал. Снова расквасилась дорога на кладбище, узенькая, хилая дорога. Прежде она была торная, а теперь редко по ней ходят и еще реже ездят.

Дул ветер, тугой, широкий, растянув вполнеба заводские дымы. Он подталкивал Толю в спину, щекотно шевелился за воротником пальтишка, из которого Толя так быстро и незаметно вырос.

Толя остановился. Нудило ломаную ногу старой, ржавой болью. Он потер ногу ладонью. В больнице говорили, что переломы у молодых так же, как и у старых, одинаково болят к мокропогодью.

На окраине города, ударившись стеклами в солнце, светился окнами дом. Успел он когда-то по-стариковски ссутулиться и осесть коньком к земле.

Боль в ноге поутихла. Толя хотел идти дальше, но так и остался стоять в дорожной выбоине, глядя на призрачно колеблющийся горизонт.

Оттуда, из туманной дымки, снова выплывала лодка. Солнце сжигало синюю паутину, высвечивая ее все отчетливей. Зарываясь носом в живую от солнца синь, лодка спешила к нему.

Толя за ухо стянул шапку, ровно бы желая услышать пощелк шестов, и стоял напряженный между старым многооконным домом, в котором ему осталось жить один год, и между лодкой, которая зыбалась на горизонте, в синих волнах, спешила и никак не приближалась к нему.

У спая неба и земли начало высветляться, остывать, и понесло оттуда знобкой, весенней свежестью. Она катилась над тухлыми испарениями болот, над чахлым редколесьем и переполняла тело мальчишки пьянящим властным и беспокойным зовом, лодка уже не взлетала на синие волны — померкла от предвечерней стужи синь.

Погрузилась лодка в глубину памяти.

Толя поежился, натянул шапку и двинулся дальше по дороге, на которой позванивали и крошились тоненькие, только что застывшие льдинки.

На кладбище он сидел возле просевшей, мокрой могилы, на мокрой кочке, заросшей брусничником, и впервые за много последних дней покойно было у него на душе, благостная расслабленность охватила его, и, если б можно было, он вытянулся бы сейчас на земле, глядел бы в

небо и ни о чем не тревожился, не думал, просто бы молчал и смотрел. Но земля была студеная.

Повсюду в логах еще белел снег, а в лесу еще только-только появились первые продухи. На такой земле и летом не разлежишься.

Толя нашел дощечку, подгреб землю, оползшую с могилы, срубил горбылиной несколько кочек с брусничником и перенес их на грязный бугорок.

На соседнем бугорке, вытаявшем из-под снега, кучкой стояли небольшие елки с обломанными, обшарпанными ветвями, и меж ними почудилось Толе движение, вроде бы кто-то из-за елок выглядывал.

Толя сделал вид, будто занялся работою, стал ворошить и мять руками комья глины, а сам, не поворачивая головы, наблюдал, что будет.

Шевельнулась лапка, другая, треснул сучок, и вот из-за ствола деревца высунулась сначала серенькая вязаная шапочка с заячьим хвостом на маковке, а потом лицо с красной фигушкой.

— Манька, проклятая! Ты чего тут делаешь?

Таиться больше не было смысла, и Маруська Черепанова быстро сообразила, как ей быть, хлопнула в ладоши и развела руками:

— Ой, как тут интересно написано!

Толя погрозил Маруське кулаком. Она обиженно вздернула подбородок и отвернулась.

— Хоть посмотри, если не веришь.

Толя, проваливаясь меж кочек и корней до щиколоток в сырой снег, побрел к Маруське. Она молча махнула на круглый крест с умело, в паз зарубленными перекладинами. По свежему стесу креста химическим карандашом написано: «Спи спокойно, друг Гаврила, теперя торопиться тебе больше некуда. Вербованные плотники Кирилл и Кузьма, да еще бригадир Захар Захарыч Кокоулин».

На ровном срезе елового, ладно сработанного креста лежала серенькая запятая синичьего помета и выступили по всему тесаному кресту капли свежей смолы.

Люди каждый день рождались и умирали, ученые и артисты, плотники и слесари, рабочие и начальники, женщины и мужчины, взрослые и дети — так было веки вечные, так будет, и ничего тут не поделаешь.

Правда, Гошку все равно жалко, и никак не проходит чувство вины перед ним, но и плотники эти, видать, тоже горестно винились перед товарищем своим, Гаврилой,

винились в том, что они вот живут, а он взял и помер. И это, наверное, было тоже веки вечные: кто-то кого-то жалел и помнил, и живые всегда горевали о мертвых, и, может, из жалости и памяти вырастала и получалась любовь.

— Ты зачем сюда явилась, Манька? — тихо спросил Толя, не отрывая взгляда от елового креста.

Маруська сразу же полезла под пальто, за пазуху, и достала Толин серый шарфик.

— В коридоре нашла, — сказала Маруська. — Голошеим ходишь. Захвораешь, дак будешь знать!

— Шарф я оставил на вешалке, Манька.

Девчонка рукою шоркнула по носику своему, пошмыгала, подумала и быстро нашлась:

— А меня Зинка послала. Погляди, грит. Он чумовой, грит, и всяко может быть...

— Манька, ты опять врешь? Сама поперлась?

— Ну, сама, сама, — быстро согласилась Маруська и так быстро, и таким тоном, которым понять она давала, что как, мол, тебе хочется думать, так и думай, а я человек маленький, подневольный, и мне ничего другого не остается, как угождать всем и выручать. Однако ж Маруську томила еще одна жгучая тайна, и она ошарашила ею Толю: — А тебе Зинка письмо пишет, вот!

— К... какое письмо? Чего ты опять буровишь? Ну, фантазер! Ну, хлопуша!

— И не хлопуша, и не хлопуша! — Маруська быстро укусила запястье своей правой руки и пробормотала заклятье: — Вам не услышать, нам не сказать! — Чтобы клятва получилась по всем правилам и как можно крепче была, девчонка для верности куснула руку еще раз.

Толя и не собирался выспрашивать ее: он знал, как надо подъезжать к Маруське и как обращаться с нею. Взяв за руку Маруську, строго хмурясь, он повел ее за собою с кладбища. Главное, сейчас с ней ни о чем не разговаривать и делать как можно недоверчивее и сердитее лицо.

— Жара стала какая! — Маруська расстегнула верхнюю пуговицу пальтишка и сдвинула со лба шапочку. Тайна жгла Маруську, распирала ее.

— Дышать нечем, — поддержал Маруську Толя и насмешливо покосился.

— Вот ты не веришь. А я вот все, все видела. Провалиться мне на этом месте! — Толя не отзывался. Маруська, стрельнув в него глазами, таинственно понизила го-

лос: — Она сперва писала: «Дорогой Анатолий...» А потом ходила, ходила, карандаш кусала, кусала и листик порвала. После написала: «Уважаемый Толя», а после... — Голос Маруськи сел до полушепота, а черненькие ягодки Маруськиных глаз вовсе выкатились наружу и перестали моргать. — «Родной Толя!..» Вот!

Толя никакого волнения не выказал, ничего с ним не происходило, и Маруська поклялась:

— Честное пионерское, не вру! Вот те крест!

Пальтишко у Маруськи расстегнулось, шапка съехала на ухо, вся она растрепалась. Толя застегнул на девчонке пальто, грубовато поправил на голове ее шапку и вздохнул:

— Беда мне с вами!

— Как не беда, — уже покорно согласилась Маруська. Никак она не могла предположить, что ее такое сообщение не будет иметь последствий и не потрясет Толю. Маруська уже сама сунула свою руку Толе, и он повел ее за собой, ворча на нее по праву старшего и радуясь тому, что чувство отчужденности, которое было возникло у него к ребятам, как рукой сняло, и он вроде бы выздоравливает после какой-то липучей и длинной болезни.

Они зашли с Маруськой в библиотеку североморцев. Парень в картузе с «капустой» очень им обрадовался, дал Маруське пряников и чаю налил.

Пока Толя рассказывал о всех новостях детдомовских, Маруська разглядывала стеллажи с книгами. Маруське тут очень понравилось.

Домой они возвращались поздним вечером.

— Ой, Толька, смотри! — вдруг остановилась Маруська и показала рукой на небо.

В той стороне, где плавала днем лодка в синих волнах, небо высветилось, резко очертив горизонт. Северный край неба замерцал, зашевелился, стальные полосы покатились по нему, и чудилось, что они вот-вот тонко зазвенят.

Позари заиграли — северное сияние. Значит, в Ледовитом океане была еще зима, льды там горами дыбились, и оттуда, из безлюдных краев, из северной ночи, летел безмолвный яркий привет.

Все ребятишки высыпали из детдома. Запрокинув лица, они смотрели в небо. Тихо подошли Толя с Маруськой к дому и тоже стали глядеть на это дивное диво, которое они видели много раз и все же наглядеться на него не могли.

Всякий раз сияние было ново, всякий раз наполняло оно душу трепетом и захватывающим ожиданием чуда. Хотелось ребятам запомнить все, унести эти позари, волшебное ощущение, возникающее от колдовства их, навсегда с собою.

Да разве запомнишь? Разве унесешь?

Небо каждую минуту менялось. Оно безудержно щедро, ярко и волшебно. По нему плещутся бесшумные волны, отливая зеленью и бархатистой синевой. А над краем земли мраморные колонны встают, и все небо вокруг выстилается блестящими плитами. По плитам раскатываются льняные и ржаные снопы, струятся многоцветные шелка, и огромные прясла из алмазного частокола поднимаются звеньями у горизонта.

Где же тут все запомнишь? Все уместишь в сердце и в памяти?..

Вспомнится, может быть, детдомовской девчонке этот раскатившийся от одного и до другого края неба узорчатый половик в тот момент, когда она ступит в избу жениха на свадебную, праздничную дорожку. И эта алая лента с прожелтью, что змеится над самым лесом, дышит холодным пламенем, заалеет перед ее глазами, когда нареченный вплетет ей в волосы ленту грубоватыми и трепетными руками.

А может, этот многорядный строй стальных штыков, сейчас вот только остро проткнувший красное живое полотнище, воспрянет в памяти бойца, и в грозном солдатском строю на мгновение увидит он себя малого, голоухого в этом призрачном и сказочном далеке?..

И хотя в школе на уроках не раз и не два рассказывали ребятам учителя о северном сиянии, объясняли им, что оно такое, из чего получается, как и откуда, все равно они воспринимали его с чувством первородности, все равно их охватывала благоговейная тревога. Как далекие их предки, может быть, совсем-совсем далекие, только-только еще начинавшие осмысливать себя и жизнь, первобытные люди, выползшие из каменных пещер, так же вот стояли ребятишки, запрокинув лица в небо, не в силах оторвать глаз от него, забыв обо всем на свете.

Они не дышали, пораженные загадочностью и могуществом того мира, который им предстояло открыть.

А открывши — жить в нем.

1961—1965

КОММЕНТАРИИ
ко 2-му тому

«Перевал» — первая моя повесть и первое «солидное» произведение в моей творческой жизни. Писал я ее по памяти, рассказывая почти документально о том, как мы с мачехой, Таисией Ивановной Черкасовой, молодой тогда женщиной, брошенные отцом, зимогорили на кордоне Сосновка, находящемся в пятидесяти верстах от устья реки Маны и родной моей деревни. Чтобы не быть связанным биографическим материалом, я дал себе побольше воли, почти всех и все в повести переименовал. Мне хотелось, чтобы в повести было больше светлой романтики, добра и радости, поэтому я пропустил, оставил «за бортом» сочинения почти всю ту страшную зиму, в которую мы с мачехой и ребенком чуть не погибли в глухой тайге.

Мне хотелось, чтобы повесть больше читали школьники и, стараясь сделать это позанимательней, я свое небольшое путешествие на плоту растянул аж на все лето, поместив главного героя в рабочую артель, ловко подсочинив кой-какие приключения на реке.

Работа над «Перевалом» доставила мне много радости, и повесть легко, как ни одно мое сочинение тех и будущих лет, шла в печати. Она появилась в 5-м номере журнала «Урал» за 1959 год. И в том же году, под очень симпатичной обложкой была издана в Свердловске. Повесть была одобрительно, даже ласково встречена читателями и критиками не только на Урале, но и в Москве, и Ленинграде.

Я никогда больше не возвращался к моей первой повести, не улучшал ее, не правил — она дорога мне в своем первозданном, наивном и простом, как вспаханная земля, виде. К сожалению, мне больше не довелось написать столь бесхитростно — открытой, почти по-детски ясноглазой вещи, о чем я весьма и весьма

сожалею. В конце шестидесятых годов по повести был снят фильм кинорежиссером Булатом Мансуровым под названием «Сюда не залетали чайки», на мой взгляд, вполне сносный фильм. В нем непривычную для себя роль бродяги и выпивохи — дяди Романа замечательно сыграл известный киноартист Павел Кадочников.

Фильм снимался на моей родине, на реке Мане, в тех же почти местах, где развертывалось действие повести. Я более месяца жил на Усть-Мане, каждый день общался с киногруппой, «постигая кино», и, соприкоснувшись ближе с этим родом искусства, потерял к нему всякий интерес. Правда, обретя некий опыт, я потом участвовал в создании нескольких сценариев по моим произведениям, но все это между главным делом, мимоходом, не отдавая много времени и сил этому побочному творчеству, может, потому и не было у меня в кино большой удачи.

По всей Сибири и кое-где на Урале, в заустенье пещер и скал, на склонах гор, в редких сосняках, но особенно охотно растет в лесостепных колках цветок — стародуб. Во многих российских областях и славянских странах его называют горицветом. В ботанических книгах и лекарственных справочниках у этого цветка древнее, красивое название греческого звучания — адонис. С древности этот цветок используется как сердечное лекарство. Есть у адониса — стародуба и еще названия, я насчитал их шесть. Читателю предстоит узнать из повести «Последний поклон», что бабушка моя была травницей, пользовала деревенский люд корешками, настоями и луковками трав, среди которых первенствовал стародуб. Думаю, что именно бабушка и посодействовала тому, что из всего сибирского лесного, цветного изобилия я еще в детстве выделил и навсегда полюбил цветок стародуб, который часто растет, цветет, точнее — доцветает в соседстве с ярким, броским жарком и при всей своей неяркости и незатейливости не проигрывает, не блекнет рядом с ним. В его пышной, густой зелени, пахнущей древностью и пещерой, самородком светится желтый, с застенчивой проалостью цветок, всегда навевающий на меня какое-то утишающее, задумчивое настроение, заставляя вроде бы вспомнить что-то забытое людьми, задуматься о судьбе нашей, о себе, вечности.

И как только начал я сочинительствовать на бумаге, вполне возможно, что и до того еще возникла во мне потребность изобразить что-то возвышенное и таинственное, связанное с этим цветком. И как только мало-мало у меня «окрепла рука», я попробовал написать этюд о цветке и только о цветке. Уже по наброску я понял, как бессильно слово перед могуществом природы, как много надо учиться и уметь, чтобы хоть отблеск таежного цветка, запах дремучих веков, таящийся в нем, пусть отдаленной струйкой просочился бы на бумагу.

Ничего не получалось, я в отчаянии рвал бумагу, развез этюд до рассказа, затем и до повести, в рукописи появилась занима-

тельность, она даже осовременилась в плохом смысле этого слова, и все-таки запах и цвет стародуба был в ней почти неощутим.

Чтобы отвязаться от наваждения, я напечатал повесть в альманахе «Прикамье», затем в одноименной книге в Пермском издательстве, но цветок стародуб, как первая любовь, не расцветший на бумаге, сиял в моем сердце и требовал или, может, нашептывал мне о себе во сне и наяву, чтоб я никогда не забывал о нем и о родине его — Сибири, чтобы непременно рассказал людям о лесных чудесах и таинствах, поделился тем богатством, которое цвело в моей душе, согревая ее, наполняя светом любви ко всему сущему и красивому, подаренному Создателем нам, грешным людям.

Много еще заходов сделал я на ту рукопись, много чернил и пота истратил, пока почувствовал, что на «данном этапе» мне лучше не написать о цветке — стародубе, не дается он мне. Добро, хоть многие красивости и дурного толка современность убрал. Добро, пусть не по запаху и цвету, по тональности и стилистике повесть находится в той «струе», которую я ощутил в себе.

Я отослал повесть в ближний ко мне журнал «Урал», и ее там быстро напечатали, в 6-м номере за 1960 год.

У повести было и осталось одно неоспоримо хорошее качество — она коротка, стало быть, удобна для печатанья.

Думаю, в одном из томов этого собрания будет напечатан ранний вариант повести, и читатели увидят, как я тщился перенести живой цветок на мертвую бумагу и как из этой затеи мало чего у меня получилось.

Надо сказать, что и с живым-то цветком — стародубом все не так-то просто, когда я пытался его перенести из тайги в свой овсянский огород, где я, как и на других участках на Урале, на Вологодчине насадил лесу и диких цветков — взойдет стародуб сразу после снега, невзрачным, полуживым росточком, даже и посветится саморо́дками в траве, но через весну — другую загаснет, утеряется. Из одиннадцати разных мест, где я садил в огороде цветок этот упрямый, лишь под больной, муравьями измученной березкой уцелел и вырос стародуб. Я пробовал из этого места перенести цветок еще куда-нибудь и снова он угасал, снова затеривался... Кстати, когда я спилил измученную болезнью березку, стародуб сразу же стал блекнуть, чахнуть и исчезать. Но один выводочек еще цел и всякий раз, в конце весны, когда «мои» стародубы в самом пышном сиянии, я склоняюсь над ними, вдыхаю таинственно-дикий запах, гляжу на сияние солнечного цветка и снова и снова убеждаюсь в том, что ни слову, ни кисти, ни всему человеческому гению с этим цветком, с чудом, тайной природы, не совладать. Они, лесные цветы, не только стародубы, Божьи создания, — они превыше нас. Нашего, еще незрелого разума не хватает постичь смысл присутствия растения, как и всякого иного существа на Земле. Убить, скосить, растоптать,

ободрать, оплевать, сжечь — можем, но отгадать, добраться самонадеянным умникам до высокого смысла жизни, увы, не дано — бессильны.

В сентябре 1944 года в польских Карпатах, за городом Дукля, знаменитым лишь тем, что в нем родилась жена российского царя Лжедмитрия Марина Мнишек, я был тяжело ранен и покатил в тылы наши лечиться.

На этот раз я лечился долго и мучительно, сперва в госпиталях бардачно-воровского советского толка — для рядового состава, пока, наконец, не угодил в маленький, бедный, но путный по тем временам госпиталь в городе Краснодаре.

Здесь меня несколько раз оперировали и здесь же случилась моя первая любовь, происшедшая по известному и привычному тогда сценарию: раненый влюбился в медсестру, медсестра — в раненого, ну и пошло-поехало, закрутилось известное во всем мире «кино».

Русскому писателю как бы самой судьбой назначено писать о своем детстве, о собаке, о лошади и, разумеется, о своей первой любви. Материал этот просто рвет грудь творца, просясь наружу, и как охотно простые люди, не умеющие писать «своими словами», тщатся рассказать о том великом, пресветлом и, может, единственно-неповторимом чувстве, которое посетило их когда-то в жизни и не угасает, согревая их до самой смерти, так и у писателя «чешется рука», болит сердце и память, требуя выхода наружу, просясь в повествование о подарке судьбы, этого, ни с чем несравнимого воспоминания, которое дороже всех драгоценностей в мире.

Разумеется, и мне, уже немного владеющему писательским ремеслом, хотелось написать о заветном, поведать людям и миру о счастье, которое посетило меня, украсило мою жизнь тем вечным чувством, название которому — любовь.

Заголовок повести возник разом — «Звездопад», который потом начали растаскивать ловкие творцы по книгам, стихам и песням. Черновик написался в три дня, в комнате литинститутского общежития, где я жил, учась на Высших литературных курсах.

Собрались сокурсники в моей комнате — послушать, чего я там натворил. Слушали хорошо, выпили еще лучше, поговорили, повспоминали «свое» и разошлись, посоветовав кое-что почистить и поправить.

Дальше все было не так просто и радостно, как за обшарпанным общежитским столом, где лихорадочно, с захлебом, потеряв сон и забыв про занятия на курсах, я гвоздил свою рукопись с восторгом и слезами, то в сердце, то на глазах.

Предстояло повесть печатать, а время-то, время-то — шестидесятый год! До того я напечатался лишь один раз в толстом столичном журнале «Знамя», где меня изжевали и замучили до

полусмерти. Но куда же деваться-то? Затолкал я рукопись в рукав нового пиджака и поехал на Тверской бульвар просителем, бедным родственником, автором ли — не поймешь. А на сердце робко и тревожно. На пути к «Знамени» я высадился на метро Новослободская и ноги понесли меня в журнал «Молодая гвардия», где работал редактором в отделе прозы знакомый мне еще по Перми, выпускник Литературного института, уже редактировавший мои творения в альманахе «Прикамье».

Я сильно устал и обессилел, так стремительно сработав «Звездопад», и сердце мое, судя по неосознанному позыву, жаждало общения, может, даже и успокоения.

Сижу я, значит, в полутемной комнате отдела прозы молодого журнала, трепЛюсь о том, о сем, как редактор-кореш вдруг спрашивает:

— У тебя чё в рукаве круглое, не поллитра? — пили тогда, да и потом, во все времена в «Молодухе» крепко.

— Нет, не поллитра, — говорю, — рукопись.

— Чья?

— Моя.

— Откудова? На курсах же все пьют и ничего не пишут...

— Неправда ваша. На курсах, как и везде и всюду в стране Советов, — кто пьет, а кто и работает.

— Так ты куда рукопись-то волокешь?

— В «Знамя».

— Да на хера тебе то кожевниковское ортодоксальное «Знамя» сдалось! Давай нам. Мы на подъеме, ищем рукописи талантливых молодых...

Я вытащил рукопись из рукава, отдал редактору. Он ворчит, выправляет ее:

— Ну вот, спортил рукопись! Ничего, ничего, получишь гонорар за повесть, папку купишь кожаную, с замком, или портфель, и все эти «Знамени», «Октябри» тем портфелем в свое время оглоушишь.

Хорошо у меня на сердце сделалось: вон как ловко все получилось — никуда не надо ходить или ехать, нигде в прихожей не преть. А тогда еще в буфете издательства «Молодая гвардия» все продавали за рубли. Выскреб я деньги из кармана и поехали мы с корешем на лифте в буфет, да и загуляли. Долго, помню потом, обнимались, целовались на остановке троллейбуса N 3, напротив метро «Новослободская». Помню, я еще выдал застенчивый намек редактору на прощанье:

— Ты это, рукопись-то не потеряй. Марья на Урале, здесь не знаю, где печатать, да и денег больше нету. Пропили.

— Да ты че, мля?! Поезжай, старичонка, домой. Отдыхай, ни о чем не беспокойся.

Поехал. Отдохнул. Жду звонка или вестей из редакции. На третий или на четвертый день является мой редактор, припух-

ший, полинявший, но при галстуке. Обнимает меня, слезу с глаз платочком утирает:

— Ну, старичок, мля, ты даешь! Ты сам не понимаешь, чего написал! Я уж на что тертый калач, читал и плакал. И Нинка — жена — плакала — я ей вслух кое-что прочел...

Ну как тут не опохмелить человека! Опохмелился он, оживился и спрашивает, нет ли у меня второго экземпляра.

— Утерял, гад!

— Да ты че, старичок, мля?! — и поясняет, что решено повесть давать сходу, немедленно, в очередной номер, а экземпляр-то всего один, а по закону полагается сдавать два, тогда и Илья Михайлович (Котенко, редактор журнала «Молодая гвардия») и Василий Дмитриевич (Федоров, зам. редактора), и Иван Григорьевич (Падерин — зав. отделом прозы) — мигом прочтут, двинут, сдадут.

Ошеломил он меня именами, должностями.

— Ну, коли так, коли по закону полагается..., — и отдал я ему второй экземпляр, и по тому, как прохиндей этот быстренько надел пальто, шапку и метнулся из моей комнаты, окончательно убедился, что первый экземпляр он по пьянке-таки потерял, но в отделе прозы о повести растрепался и теперь его там теребят, грозятся из редакции журнала выгнать, и скоро-таки выгнали.

С него, с редактора-забулдыги, и начались мои мытарства со «Звездопадом». Все начальство журнала прочитало рукопись быстро и одобрило ее, но между редактором журнала «Молодая гвардия» Котенко — слабым писателем, выплывшим из газетчика в литературную элиту на злободневных очерках, и зав. отделом прозы Падериным, писавшим романы на уровне своего шефа, но считавшим, что пишет он не хуже классиков, шла затяжная скрытая война, о которой я, конечно, не имел никакого представления. Могу лишь сказать, основываясь на своем уже богатом опыте, большое это несчастье для журнала, для издательства, коли в нем все начальство пишет что-то и особенно умело речи и доносы, которые зачастую переходили или, точнее, переливались одно в другое, как арабские сосуды.

Падерин решил утереть нос своему шефу моей повестью — вот-де, пока он, шеф, в отпуске творческом, не мешал отделу работать, зав. отделом и его творчески нацеленные кадры открыли даровитого автора, печатают его повесть, не сомневаясь, что она «загремит» на весь Союз и принесет журналу «Молодая гвардия» громкую славу. Сам Падерин взялся редактировать повесть и так ее, милую, отредактировал «под себя», что мой забулдыга-редактор назвал его мудаком и пригрозил, что де автор заберет повесть и отнесет в «Знамя», где ее с лапками оторвут, с ходу и без потерь напечатают, так как не может же у них печататься все время один Кожевников со «Щитом и мечом» иль с

социалистическим передовиком, тружеником Балуевым. Надо же разбавлять чем-то Кожевникова.

Падерин пофыркал-пофыркал и снисходительно отступился. Редактор мой в рукописи все быстренько восстановил, перепечатал — и в набор ее. Сам же лично и гранки привез мне в общежитие, сияет:

— Ну, старичок, айда в магазин. — Выпили, закусили, он и говорит: — Слушай, там у Василия Дмитриевича возникли кое-какие замечания. Он из отпуска вернулся, читал гранки и кое с чем не согласен. Ну, мелочи там, пустяки, не боись, мля.

Надел я чистую рубаху, умельцы-сокурсники галстук мне завязали, ощипался, причесался — ведь к самому Федорову, автору «Золотой жилы» и «Проданной Венеры» иду!

Много я ортодоксов, демагогов и убогих патриотов повидал за сорок-то с лишним лет в нашей затуркашной литературе, много неприятностей, ударов и ужасов пережил, но того, что произошло в кабинете любимого не только мною поэта Василия Дмитриевича Федорова, которого я впервые видел воочию, ни тогда, ни после встречать мне не доводилось.

В чем только не упрекал меня, в чем не обличал, чего не городил поэт Федоров — и все с «идейной точки зрения». Память почти ничего не удержала из той беседы, настолько я был ошеломлен и ошарашен нравоучениями, но обвинение в том, что я оскорбил советских женщин, все же застряло занозой в моем воспаленном мозгу.

Позднее я подружусь с Василием Дмитриевичем, моим земляком, талантливейшим поэтом и пойму, что таким людям, как он, доверять возглавлять что-либо и руководить чем-либо нельзя, не полагается — они не для того рождены. Я никогда не напоминал Василию Дмитриевичу о нашем разговоре, и он делал вид, что тоже его не помнит.

После Федорова вступил в действие еще один корифей литературы и передовой идеологии, мастер пера и мыслитель цековского направления, главный редактор Котенко Илья, и сказал, что он мягко и бережно прошелся по моей талантливой, но все же пока еще незрелой повести. Я глянул в гранки и вовсе упал духом: все, что в повести было хоть чуть-чуть живое, чуть-чуть оригинальное и выходило за рамки трафаретно-правильной литературы, будто корова языком слизнула. Я даже и не подозревал за собой такого тонкоумения, способности так гладко и правильно писать.

— Все! — сказал я Падерину. — Не надо и меня, и повесть больше мучать, ни к какому начальнику на разговор я больше не пойду, на черта оно мне, ваше начальство сдалось! — С этими словами я хлопнул дверью и пошел было вон из «Молодой гвардии», — но с порога вернулся и сказал своему другу-редактору:

— А рукопись ты мне, курвенский рот, верни, ту самую, что потерял, иначе я тя!..

Рукопись он так и не нашел, но ныл по телефону, мол, если упустит «Звездопад», его выпрут с работы, а у него туберкулезная Нинка впроголодь живет и за квартиру платить нечем, он Христом-Богом клянется, что с повестью все будет в порядке, сам он будет вести ее или перебьет всех этих...

В 9-м номере за 1960 год повесть «Звездопад» появилась в журнале «под милицейской фуражкой» (так тогда звали журнал за безвкусно-ляповатую красно-синюю обложку). Кто-то из умельцев-классиков, скорее всего Котенко, уже на выходе журнала догнал повесть и прошелся по ней в редакторских лаптях, к которым снова пристало все, что было живо, хотя бы чуть-чуть дышало юмором, в особенности пострадали те места, где я так упорно «оскорблял советских женщин», из чего я сделал заключение, что исправляли мои недостатки и редактор, и зам его, оба высокоидейные руководители литературного процесса, с пониманием задач и морали ЦК ВЛКСМ — органом которого была «Молодая гвардия».

На этом мои неприятности с повестью не кончились — на номер этого журнала не хватило денег. Не менее лихой, чем Котенко, романист и очеркист Пальман заключил договор на свой роман о великом сельском хозяйстве страны — он слыл в ту пору специалистом по сельскому хозяйству и загреб весь гонорар этого и еще нескольких номеров журнала, ну а мы все, кто позднее романа шли, кого печатали «по-дружески», договорами не обзавелись, получили шиш с маслом — жалкие рубли, отваленные за повесть, кои я с горя с тем же моим редактором-корешем и прокутил.

Падерин — романист никудышный, редактор — того хуже, но мужик с фронтовой закваской, устыдился всего, что со мной в «Молодой гвардии» утворили, велел принести рассказ, если он у меня есть. Я вскипел: «Ноги моей больше в этом сраном журнале не будет!» Но Падерин и мой редактор не оставили меня в обиде и покое, звонили, просили, обещали. Больше-то тогда никто меня не беспокоил, не звонил, не просил, и я не выдержал напору, вынул из стола и бросил им короткий рассказ «Поросли окопы травой» который за то, что он «страшный», никто не хотел печатать. Рассказ тут же, безо всякой редактуры заслали в набор и скоро он оказался в журнале, и за пять страничек мне заплатили в два или три раза больше, чем за повесть «Звездопад».

А повесть получила хорошую прессу, начала много издаваться и переиздаваться. Для каждого издания я делал «свой вариант», то есть восстанавливал первородный текст и в одном издательстве проскакивало одно похеренное место, в другом — дру-

гое, пока не восстановился весь мой текст, худой ли, хороший ли, но мой, мною рожденный, выстраданный. По этой повести я написал пьесу «Прости меня», которая ставилась в Москве, в Ленинграде, на периферии. Вологодский ТЮЗ удостоен был Государственной премии за спектакль по этой пьесе. Режиссер Игорь Таланкин снял одноименный фильм по мотивам повести на «Мосфильме», хорошо встреченный привередливым кинозрителем и кинокритикой.

Повесть «Кража» — самое крупное мое произведение из раннего периода работы. Писалась она долго и мучительно. Еще более долго и мучительно проходила в печать. Повесть была принята в журнал «Новый мир», за нее был выплачен аванс, но уже начались гонения и на главного редактора, и на журнал, приходилось ждать «подходящее время», а оно не наступало. И когда из родной Сибири пришло приглашение из журнала «Сибирские огни», новомирцы согласились передать в него повесть, где после кропотливой редактуры, отеческой опеки и помощи заместителя главного редактора, Николая Николаевича Яновского, повесть и увидела свет в восьмом и девятом номерах за 1966 год. А отдельным изданием, вместе с повестью «Где-то гремит война» — вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1968 году, тоже с большой нервотрепкой и перестраховочной возней в издательстве и в каком-то еще, мне неведомом, отделе ЦК ВЛКСМ, где хорошо, в отличие от меня знали, что надо и что не надо печатать «Молодой гвардии».

Обо всем этом и о многом другом из жизни современного писателя вы узнаете из повести «Зрячий посох».

С тех пор «Кража» переиздавалась и переиздается в нашей стране и во многих странах за рубежом. В 1975 году «Краже» вместе с повестями «Перевал», «Последний поклон» и «Пастух и пастушка» была присуждена Государственная премия РСФСР. По повести были сделаны инсценировки и поставлены спектакли в областных театрах, из них наиболее интересный в Красноярском ТЮЗе, но тоже поставлен с большим трудом и под бдительным идеологическим надзором. Именно после повести «Кража», в которой жестко и прямо рассказывалось об обездоленных советской властью детях, о погубленных и замученных в тяжких ссылках их родителях, я попал под подозрение в соответствующих инстанциях как «очернитель» жизни, не видящий ничего светлого в нашей созидательной, полной энтузиазма действительности, и вся последующая продукция, выходящая из-под моего пера, читалась с особым тщанием и пристрастием во многоступенчатой, как ее назвал Твардовский, советской цензуре.

В повести же была изображена жизнь детей, а детство, оно имеет прекрасное свойство не воспринимать «всерьез» окружающую действительность, оно и на вечной мерзлоте, в лесотунд-

ре и в тундре находило способы интересно жить, но главное — вырастать полноценными людьми, которые потом так пригодились гнавшей и презиравшей их партии и правительству в войну, во время тяжких испытаний при защите отечества.

Но главное было в том, что люди, перенесшие ссыльную недолю, русские люди не только выжили и выросли в каторжных условиях, вопреки тому, что должны были сплошь передохнуть. В полуночной, студеной стороне они построили город, готовили на продажу за море лесную продукцию и не разрушились духовно, хотя надорвались физически и преждевременные смерти скосили многие и многие ряды обездоленных, но стойких людей, недавних крестьян, дети которых уже никогда больше не вернутся на землю.

В одну из поездок в Игарку я показал своим спутникам помещение — контору рыбозавода, в которой когда-то размещался детдом, и рассказывал, как мы тут весело и даже бурно жили и росли, как на вытаявшем первом пятачке — деревянной террасе девчонки рисовали мелом классы и прыгали, дождавшись в мае первого теплого солнышка...

Смотрю, спутники мои и прежде всего жена моя, плачут, а я так весело, так самозабвенно рассказываю им о своем и нашем детстве. Чего же плакать-то? Русские люди, если им не мешать, и прежде всего дети способны растопить собой, своей жизнью и вечную мерзлоту, льды, украсить и огласить радостью вечные снега и пустыни. Даже такой могучей карательной силе, каковую держала при себе Советская власть, было не совладать с другой силой, народной, которая в конце концов заставила считаться с собой, уважать гонимых ею людей, считать их полноценными членами общества — сила силу ломит, и праведная жизнь труженика всегда перегнет силу вероломную, дурную, не Богом, а сатаной на землю насланную.

Вот вроде бы и все, а еще говорят у нас — скучно жить литератору и не о чем писать. Истории-то, здесь изложенные, касаются ведь ранних, очень маленьких повестей, в следующих томах продолжу разговор о дальнейшей жизни и работе в нашей литературе, многое вы еще узнаете, много занятного прочтете и откроете.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕВАЛ. Повесть	5
СТАРОДУБ. Повесть	109
ЗВЕЗДОПАД. Повесть	181
КРАЖА. Повесть	259
Комментарии	486

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

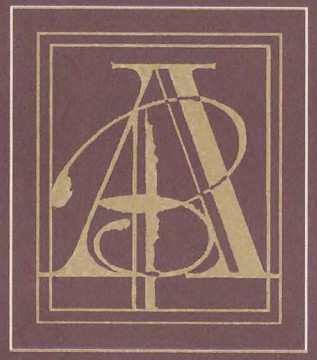
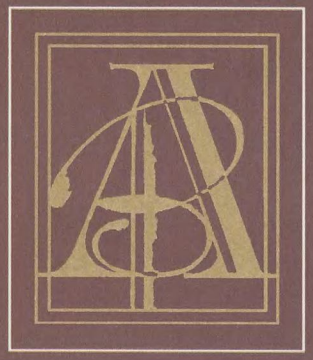
АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том второй

Художественное оформление **А. Озеревской, А. Яковлева**
Редакторы **А. Ф. Гремицкая, Г. И. Сысоева**
Художественный редактор **Е. В. Корнеева**
Технический редактор **Н. Н. Шабля**
Корректоры
А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко, В. Н. Клюшина, Е. М. Гаврилина
Оператор компьютерной верстки **Л. С. Васьковская**

ЛР № 010162 от 04.01.92

Подписано в печать 30.01.97. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная №1. Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 26.04. Уч.-изд. л. 26.86. Тираж 10000. С—002. Заказ 61.

Отпечатано на производственно-издательском комбинате «ОФСЕТ».
660049, Красноярск, ул. Республики, 51